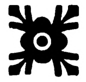
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том седьмой

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

Книга вторая

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Строители столицы. Заморские диковинки. Возле хмельного чана

1

Молодой Санкт-Петербург застраивался, хорошел.

Нева, Фонтанка, Мойка, каналы одевались в тесаный гранит. Отечественные и западноевропейские зодчие состязались в искусстве воздвигать величественные дворцы, хоромы вельмож, казенные палаты, храмы.

Многие десятки тысяч крестьян, покинув убогие, под соломенными кровлями, деревни, устремлялись на заработки в Петербург, чтоб скопить деньжонок на уплату оброка помещику. Чрезмерным трудом, ценою болезней, а нередко и смерти, влача зачастую существование бесприютных псов, они с большим радением приукрашали царствующий город.

В иные незадачливые годы, когда лихорадки, желудочные заболевания и другие недуги нещадно косили строительных рабочих, пятая часть их ложилась «костьми» в заболоченные земли Петербурга, и тысячи кормильцев не возвращались к своим семьям.

Рабочий люд стремился в столицу со всех концов страны. Из Белоруссии двигались землекопы, из Ярославской губернии — каменщики, штукатуры и печ-

ники, из Костромской — плотники, столяры, из Галичского уезда — «комнатные живописцы» и маляры, Олонецкий край давал мраморщиков и гранильщиков. «Мастера книгопечатания» были главным образом зыряне, выходцы из Вологодской губернии. Тульский край доставлял коновалов, кучеров и дворников, Тверская губерния — сапожников.

Только по одной московской большой дороге ежегодно проходило через заставу в Петербург до двадцати тысяч пешеходов. Да немалое число крестьян приплывало в столицу водой на плотах, баркасах и баржах с грузом строительных материалов.

Еще с зимы разъезжали по деревням мелкие подрядчики из ловких москвичей и ярославцев или приказчики крупных подрядческих контор. С разрешения помещиков они вербовали крестьян, давали им в задаток по рублю на семью, заносили в шнуровые книги, ставили условие быть в столице к пасхе, к началу строительных работ.

С весны Петербург становился оживленным, многолюдным. Через все заставы вливались в город партии крестьян, прибывавших со своими старостами на строительные работы. Ежели староста бывалый человек, он вел артель сразу к квартире подрядчика. Большинство же пришельцев, с пилами, топорами, сундуками, кошелями, валило на площадь возле Синего моста чрез Мойку, невдалеке от дворца графов Чернышевых. Здесь издавна было нечто вроде биржи труда — место найма рабочих, прислуги, а иногда и продажи рабов. Огромное скопище народу уже часов с четырех утра занимало всю площадь, оба берега Мойки, мост. Одни, сбросив с плеч инструменты, стояли, опершись на заступ или заложив мозолистые руки за спину, другие сидели на парапетах, на камнях, а третьи, утомившись, спали прямо на земле, положив под голову берестяной кошель.

Сбитенщики, пирожницы, лотошники, что «под брюхом лавочку носят», сновали между крестьянами.

— А вот сбитню горячего!..

— Кэ-эпченой рыбы!.. Сиги-и, стерляди! Кэ-эпченой рыбы!

— Пирожков крупчатных, пирожков!

Мужики облизывались, сплевывали, крутили бородами — им не до пирожков: эвот полдни скоро, а рабочего народу нисколь не убывает... Чего ж это хозяева-то не идут?

Но вот подъезжают, подходят приказчики, мелкие подрядчики. От артелей отделяются старосты, вступают в торг с нанимателями. Торг идет и час и два. Старосты божатся, бьют себя в грудь, указывают руками на артель: «Да ты, милай, глянь, какие молодцы-то!.. Да они черта своротят... Прибавляй, не обижай землекопов-то...»

Староста Пров Лукич сбавляет по полтине, подрядчик прибавляет по гривеннику. «Тьфу ты, скупердяй!» — плюет староста и отходит к своим посовещаться. Подрядчик, насулив обидно малую цену, идет дальше.

Тогда вся артель кричит ему:

— Стой, стой!.. В согласье мы... Эх ты, сквалы-ы-га! Время зря проводить неохота, а то бы...

— А не хотите, как хотите. На ваше место тыщи набегут... Только свистни! — Подрядчик, в синей чуйке, нахлобучивает картуз со светлым козырем и машет мужикам рукою: — Ладно, шагай за мной, ребята!

— Айда, братцы! — И вся артель в тридцать человек зашевелилась.

Артельная стряпуха, курносая, толстощекая, изрытая оспинами Матрена, взвалила на загорбок мешок с добром, продела руки в лямки, приготовилась идти.

— Будите рыжего-то. Ишь черт, храпит, словно у себя на полатях! Эй, Митюха, вставай, дьявол!

— Да никак он нажравшись! Три ему уши хорошень. Митька, Митька!

Двинулись, расталкивая толпу локтями. Рыжебородого пьяного Митьку ведут под руки; глаза у него закрыты, он с трудом переставляет ноги.

Вот на паре вороных подъехал в великолепном экипаже крупнейший столичный подрядчик Барышников. Не вылезая из фаэтона, он отдавал приказания двум подбежавшим к нему приказчикам:

— Вы, ребята, за рублем не гонитесь. Сулите цену настоящую, — лучше стараться будут. Да и жрать станут посытней — глядишь, и хворости середь них помене будет. А то учнут животами маяться, работы не жди!

— Так-с, так-с, так-с, — подобострастно поддакивали приказчики. — Число душ по спискам прикажете?

— Даже сверх можно! Плотников занадобится первой руки полсотни человек, второй — сотню. Каменщиков — человек триста пятьдесят, достальных по списку...

— Этак, Иван Сидорыч, восемьсот душ выйдет, — замечает один из приказчиков, — а подвалов-то у нас снято на четыреста...

— Ну, ежели на четыреста сняли, так туда и всю тысячу вбякать можно. Не господа, не подохнут!

Барышников приказал толстозадому кучеру, в клеенчатой шляпе и в запашном, синего сукна, кафтане, с талией под мышками, ехать к Казанскому собору, затем на угол Невского и Владимирской, затем на Сенную площадь и Никольский мост. Во всех этих местах пильщики, маляры, каменщики, чернорабочие каждый божий день терпеливо ожидают найма. Барышников велел своим многочисленным десятникам завербовать не менее двух тысяч человек. Он участвовал в постройке огромного дворца [1] для графа Григория Орлова, а также в облицовке гранитом берегов Мойки.

В позапрошлом году от строительных работ Барышников положил в карман сорок тысяч чистоганом, в прошлом — шестьдесят, а нынче, «ежели божья воля будет», собирается он нажить не менее сотни тысяч. Да еще откупа приносили Ивану Сидорычу огромные доходы. Теперь он был по-настоящему богат.

С тех пор как продал он земляку свой питерский трактир, Барышников заметно пополнел, как будто

[1] Мраморный дворец на набережной Невы, вблизи б. Троицкого моста. Дворец подарен был Екатериною фавориту своему Григорию Орлову.

стал выше ростом; он записался в купеческую гильдию, со вкусом одевался в немецкое платье, имел для выезда карету и четверку кровных лошадей, снимал хорошую квартиру. Теперь Иван Сидорыч больше походил на богатого провинциального помещика, чем на бывшего прасола и дельца, во время Семилетней войны ограбившего фельдмаршала графа Апраксина.

Его неотвязно обольщала мысль заделаться помещиком, быть неограниченным владельцем живых душ. Но, при всем своем богатстве, он оставался человеком низшего сословия, что лишало его права приобрести на свое имя землю с крепостными крестьянами.

Впрочем, закон строг и незыблем лишь для сирых и смиренных, богатому же да нахрапистому человеку всякий закон нетрудно обойти. В конце концов Барышников может скупить сколько угодно земли и сколько угодно мужиков не лично на себя, а на любое подставное лицо. Уж кому-кому, а Ивану-то Сидорычу Барышникову найти для такой роли верного человека не составляло труда: ему вся знать знакома, даже есть кой-какая зацепка и при дворе.

2

День был праздничный, солнечный. Возле Синего моста любопытства ради чинят променад петербургские щеголи: канцеляристы из коллегий, стряпчие, молодые офицеры, приказчики-гостинодворцы, заезжие помещики с женами и прочий праздный люд.

У Синего моста стоят шеренгой желающие наняться в услужение: толстобрюхие, румяные повара при фартуках и в белых колпаках, конюхи в безрукавках и начищенных сапогах, бородатые дворники с метлами. Вот отдельная группа чисто одетых, подтянутых, бритых, припудренных молодцов. Это — лакеи. Они нагло и презрительно посматривают на проходящих скромных барынек, но пред светскими господами, подъезжающими на рысаках, вытягиваются в струнку,

отвешивают манерные поклоны, придавая своим лицам рабски-покорное выражение.

— Послушай, как тебя... Выйди! — манит мизинцем, вылезши из кабриолета, знатный барин.

Лакей стремительно вырывается вперед, останавливается — руки по швам — пред господином, чуть набок склоняет голову, весь превращается во внимание. Слух его ловит несколько небрежно брошенных вопросов:

— Сколько лет? Где служил? Как звать? Почему меняешь службу? Есть ли рекомендации? Вольный или крепостной?

Не повышая голоса, стараясь придать фразам особую заученную интонацию и выразительность, отчетливо и внятно лакей отвечает господину. Тот оглядывает с головы до ног стройную, рослую фигуру молодца, красивое лицо его с быстрыми, смышлеными глазами. «Человек» ему нравится.

— Грамотен ли ты, Жан?

— Да, ваше сиятельство. Читаю книги, романы, почерк в письме имею добрый. В случае семейного торжества могу составить пиитическое приветствие. При досуге исполняю на скрипице заунывные и веселые пиесы.

— Давно ли из деревни, Жан?

— Седьмой год, ваше сиятельство. Прямо от сохи. Грамоте обучался самоуком, при досуге...

Барин немало дивится способностям будущего своего лакея, говорит ему:

— Сегодня же обратись в мою контору... Знаешь? Там тебе объявят условия и зачислят в штат.

— Мерси бьен, ваше сиятельство. — И Жан — или, как он числился по паспорту, крепостной помещика Трегубова, Иван Пряников, — одернув фрак и набекренив поярковую шляпу, пошагал к месту своего нового служения.

В другой части города, на Никольском мосту, стояли старые и молодые няньки и кухарки, в повойниках, платочках, чепчиках. За ними — живописная шеренга рослых, полнотелых кормилиц. Они в цветистых сарафанах, в тончайшего полотна белейших

сорочках с пышными рукавами и в высоких кокошниках, чрез шею — связки бус. У некоторых на руках младенцы.

Малокровные петербургские барыньки, в сопровождении лакеев или горничных, с пренебрежением проходя мимо низкорослых, щупленьких кормилиц, направляются то к одной, то к другой краснощекой, дородной женщине. Они просят кормилиц расстегнуть сорочку, пристально осматривают груди, щупают их, желая определить, достаточно ли туги, избыточно ли могут дать молока.

Сухопарая, в седых локонах старуха, за которой лакей бережно таскает на руках жирного мопса с прикушенным кончиком языка, осмотрев молодую женщину, сказала ей:

— Я тебя, голубушка, пожалуй, возьму. Я беру мамку для своей дочки, адмиральши, — ей бог даровал сына-первенца. Скажи, ты крепостная али вольная? И кто твой муж? И как тебя зовут?

— Зовут меня Татьяной. А мужа у меня нету, барыня. Я вдова. Да я вам опосля расскажу, вы будьте без сумления, — стыдливо опустила Татьяна синие, под темными ресницами, глаза. Ей и впрямь совестно было рассказывать о себе чужой барыне.

Жизнь молодой Татьяны сложилась так. Ее, сироту, девчонкой купил за семь рублей забулдыжный офицерик из мелкопоместных дворян, некто Вахромеев. Был он пьяница и картежник, жил на Литейной, в квартире из трех маленьких комнат. Сам занимал две комнаты, а в темной, выходящей окном в стену, жили три молодые купленные им девушки. Новую, Татьяну, поселил он в каморке под лестницей. Девушки ежедневно уходили к мастерице-швее, с утра до ночи обучались шитью и вышиванию гладью. Стала к швее ходить и Татьяна. Из рассказов старого солдата, коротавшего жалкую жизнь в кухне и бесплатно работавшего на офицера в должности денщика, стряпухи, няньки и прачки, Татьяна узнала, что офицер за пять лет скупил до тридцати молоденьких девчонок. Он обучал их какому-либо ремеслу, а когда они входили в возраст, развращал их; красивых иногда

сдавал выгодно в аренду на месяц, на два своим холостякам сослуживцам, затем перепродавал девушек с большим барышом в качестве домашних портних, кастелянш или горничных, а на их место приобретал за гроши новых. Он кормил своих рабынь скудно, одевал плохо, поэтому девушки волей-неволей должны были тайком от господина снискивать себе пропитание. Вечерами они заглядывали в кабачки или на купеческую пристань, с целью подработать деньжонок своими прелестями. По словам денщика, одна из девушек года три тому назад заболела дурной болезнью и заживо сгнила, другая от тоски повесилась, третья бросилась в Неву, но была спасена. Офицеру все это сходило с рук.

Был случай при Татьяне. Пришли к офицеру три торговца коврами, три чернобородых перса, ради покупки девушек на вывоз в Персию. Показывая товар лицом, офицер велел трем девушкам раздеться. Персы пришли от молодых красоток в восхищение и, не жалея денег, купили их по триста рублей за душу, — цена по тому времени необычайно высокая. Так как закон воспрещал продавать живой товар на вывоз за пределы государства, то офицеру Вахромееву пришлось в обход закона, по совету стряпчего, составить с персами официальное договорное условие, по которому хозяин отдавал девушек якобы в обучение ковровому мастерству, сроком на двадцать пять лет каждую.

Девушки с отчаяния, что их вскорости увезут невесть куда — на чужбину, предались столь неутешному рыданию, что на их вопли сбежался со всего квартала народ.

— На расправу! Офицера на расправу! Персюков на расправу! Бей их! — шумел, осведомившись о причине девичьего горя, народ. В окна квартиры Вахромеева полетели камни.

Явившийся наряд полиции, установив, что сделка совершена на законном основании, нагайками разогнал толпу. Защиты и спасения проданным девушкам не было.

Войдя в возраст, Татьяна стала любовницей офицера. Она ненавидела своего тирана, но, чтобы избавиться от постыдной жизни, у нее были только два пути: побег или самоубийство. Но бежать — это значит быть пойманной, наказанной кнутом и снова водворенной к господину. Оставалась смерть! Умирать Татьяне не хотелось. Она неустанно молила бога, чтоб лиходей скорей продал ее в какое-либо семейство. Но Вахромеев привязался к ней и не желал с ней расставаться. Она забеременела от него и родила.

Однако настал конец. Офицер проиграл в карты казенные деньги, его пришли арестовать; он схватил пистолет и застрелился. Что же после этого произошло с Татьяной? Нашлись добрые люди, которые помогли ей стать вольной. Дело разбиралось в одном из столов юстиц-коллегии. Дознано было, что самоубийца не имеет наследников, кроме новорожденного сына, мать которого, Татьяна Пирогова, крепостная самоубийцы, после судебного разбирательства объявлена вольной.

Через неделю ребенок умер, и вот Татьяна решила попытать счастья в кормилицах.

Пока барынька осматривала молодую женщину, вся недолгая жизнь промелькнула в ее сознании, как тяжелый сон. Ей едва минуло девятнадцать лет, но глаза ее задумчивы и скорбны. Только одно тяжелое видела она в жизни и на собственном опыте убедилась, что каждый человек имеет свою страшную судьбу, исполненную несчастий. «Пройди сквозь всю землю, ни единого человека не сыщешь счастливого», — говаривал, бывало, девушкам мудрый старый денщик офицера-самоубийцы.

Все это пришло Татьяне как-то вдруг, и такое смятение охватило ее душу, что она почти ничего не слыхала, о чем расспрашивала ее барыня.

— Три рубля в месяц будешь получать на всем готовом. Согласна ли?

— Согласна, — ответила Татьяна и, всхлипнув, заплакала.

— Идем. Кормилицам плакать нельзя, молоко прогоркнет. Садись на дрожки, милая... Степка, пошел!

Шестидесятилетний беззубый Степка зачмокал, задергал вожжами. Дрожки двинулись, затарахтели, увозя свободную Татьяну из плена в плен.

3

Солнце светило ярко, по-весеннему. Косые лучи его оживляли стройную перспективу улиц, кудрявую молодую зелень в садах и скверах, праздничные группы нарядно разодетых прохожих, лакировку шикарных карет, лоск выхоленных рысаков, легкие крылья порхающих в небесной синеве белых голубей.

Белокипенными брызгами рябилась Нева, а золотой шпиц собора Петропавловской крепости, подобно огненосному копью, вонзался в небо. Многочисленные челны, душегубки, лодки да нарядные, разукрашенные резьбой «рябики» знатных вельмож, правительственных коллегий и частных предпринимателей скользили по каналам, Фонтанке, Мойке и Неве. Этих любимых жителями средств передвижения было в столице не меньше, чем лошадиных упряжек. На иных рябиках гуляли по праздничному делу пьяненькие с гармошками, песнями, балалайками и выпивкой. Шумно и весело было на воде.

Вот увеселительный рябик князя Юсупова, похожий своим убранством на богатую венецианскую гондолу: в корме — просторный балдахин, украшенный портьерами малинового бархата с мишурной золоченой бахромой, в середине — места для двенадцати гребцов, в носу — хор песенников. Рябик играет под солнцем яркими красками, резьбой и позолотой. Гребцы сильные, загорелые красавцы, одеты в шитые серебром, вишневого цвета куртки, на головах шляпы с пышными перьями. Под балдахином старая княгиня с внуками — девочкой и мальчиком, два лакея, калмычонок в красном жупане, немка с англичанкой. Хор песенников в двадцать человек складно запевает:

Как у ключика у гремучего,
У колодезя у студеного
Добрый молодец сам коня поил,
Красна девица воду черпала...

Протяжная грустная песня плавно катилась над невскими водами.

— Суши весла! — скомандовал из-под балдахина молоденький барчонок в морской форме.

Белые весла были враз подняты. Вода стекала с лопастей хрустальными брызгами. Гребцы дружно пристали к хору. И как только ударила песня, на всех ближних рябиках сразу все смолкло. Как маленькие рыбешки, они окружили просторный рябик Юсупова и, держась на некотором от него расстоянии, всей флотилией двинулись вслед за ним по течению.

Старинная русская песня своим словесным складом и величием напева всех очаровывала, будила в сердце давно забытое, родное. Обаянию песни прежде всех поддались подвыпившие и пьяные: они трясли головами, косили набок рты, всхлипывали. Старушки устремляли усталые глаза вниз, жевали губами, вздыхали. Влюбленные девушки и молодые люди брались за руки, смотрели друг другу в глаза, как в волшебное зеркало, и, внимая песенным голосам, таинственно улыбались.

Юсуповский рябик остановился посреди реки, а песня плыла, плыла:

Как возговорил добрый молодец:
«Где ж любовь твоя, душа-девица?
Ты зачем мое сердце вынула,
А сама дала обещаньице
Моему врагу быть женой навек?..»

— Мочи весла! Приналяг! — скомандовал барчонок.

Рябик пошел к Васильевскому острову, к пристани купеческих иностранных кораблей. Там иноземные гости торгуют разными диковинками.

Вот сюда-то, в этот любопытный уголок столицы, и отправилась, ради развлечения внуков, старая княгиня Юсупова.

Сюда же катил на своих кровных рысаках и богач Барышников. Ему хотелось подобрать какой-нибудь любопытный презент для Алексея Григорьевича Орлова; с пустыми руками являться просителем в графский дом дело неподходящее.

На пристани Васильевского острова — как на ярмарке. Не один десяток больших и средних парусных кораблей под иностранными флагами был пришвартован к деревянной, из рубленых ряжей, набережной. Все палубы и берег завалены бочками с рыбой, икрой, сливами, маслинами, виноградным вином, английским эльбиром, олифой. Тут же лежали штабелями джутовые мешки с сахаром, рисом, орехами. Поверх штабелей, прикрытых сложенными парусами, спали в разных позах утомленные ночной гулянкой матросы. На скатанных в круг просмоленных канатах, на кнехтах сидели, покуривая трубки, или прохаживались по палубе караульные боцманы и вахтенные.

Сегодня воскресенье — выгрузки нет, трюмы заперты на замки, ключи у хозяев. Хозяева либо пьют вино с русскими купцами в своих каютках, либо толкутся среди гуляющей публики.

Пахнет соленой рыбой, смолой, олифой, сыростью, перебродившим вином. На поверхности воды играют солнечные блики.

На пристани и на берегу, под вековыми дубами с молодой листвой, идет торговля. Чернобородые греки и кудрявые, оливкового цвета, итальянцы продают разноцветных попугаев, крохотных, с грецкий орех, изумительного оперения колибри, одетых в теплые кофточки мартышек, шимпанзе, тропические растения, ароматические снадобья и прочие редкостные вещи. А вот моряки-голландцы, с бритыми лицами и курчавыми рыжеватыми бородами, растущими от уха до уха из-под нижней челюсти. Они в кожаных жилетах, в кожаных с наушниками шапках, в коротких штанах, белых чулках и грубых, неизносимых туфлях с толстыми подошвами. Голландцы торгуют небольшими, сочно написанными натюрмортами в золоченых рамах, а также шоколадом, жирными селедками в стеклянных бочоночках, кружевами, отрезами тончайшего голландского полотна. Ряд иноземных моряков-спекулянтов растянулся почти на версту — шведы, датчане, норвежцы, англичане, турки в красных фесках. У каждого приколот к шапке или к куртке ярлык с правом на розничную торговлю. Коммуникационные

столичные комиссары, проверяя ярлыки, не упускают случая воспользоваться от торгующих матросов мелкой взяткой.

Многочисленная гуляющая публика покупает диковинки с большой охотой, они приятны и недороги.

Какой-то франтик купил тросточку с рукояткой в виде обнаженной женщины; группа офицеров с хохотом рассматривает и покупает гравюры, изображающие «секретные акты» любви, соборный протоиерей подбирает по глазам очки: наденет и, морща нос, заглянет в страницы карманного евангелия. Купчиха сторговала ларчик, оклеенный цветными ракушками; монашенка соблазняется кипарисовыми образками с Афон-горы: пьяный немец-булочник с Невского проспекта ищет шнапсу, из карманов его белой куртки торчат две терракотовых фляги рижского бальзама. Большим спросом пользуются апельсины и финики в стеклянных банках.

Обе стороны объясняются знаками, мимикой или пишут цену на бумажке.

Барышников хотел купить огромного страуса, что тоскливо стоял привязанным за ногу к дереву, но подошел бывший царский денщик Митрич, узнал, что страус предназначается в подарок графу Алексею Орлову, и отсоветовал:

— Не примут-с... Они не таковские!

Барышников сказал:

— Хотелось мне попугайчика говорящего купить, да все неподходящие, лопочут не по-русски.

— Да, да! — ответил Митрич, поглядывая на сотни клеток с шумно кричавшими на все лады попугаями.— Вот ежели бы найти такого попугая, чтоб поматерно ругался... Холостые господа ругательных птичек сильно уважают. Знавал я такую птаху у графа Захара Григорьевича Чернышева. Оная птичка могла выражаться на двенадцать ладов. Она, бывало, матерится, а господа от хохота чуть на пол не падают.

— Кто же обучал-то ее? — спросил всерьез заинтересованный Барышников.

— А ее отдавали в науку олонецким пильщикам в ночлежку.

Барышников, пробиваясь локтями через толпу, отвел Митрича в сторону, разъяснил ему цель предстоящего визита к Орлову и показал ему изумительной работы небольшой черепаховый, с золотой инкрустацией, ларчик.

— Ужели и этот не примет?

— Не примут.

— Ну, а коль я сей ларчик золотыми червонцами набью?

— Они в деньгах не нуждаются... Что им деньги? Толкнитесь-ка вы, батюшка, лучше к братцу их, к Ивану Григорьичу. Братец и даяние ваше примет и дело с вами сделает. Таково мнение мое... А впрочем, вам видней.

— Гм, — сказал Барышников, — надо подумать. А ты что тут, Митрич?

— Да так я, скуки ради. Старуха моя от водяной болезни умерла. Поил, поил ее, голубушку, настоем из черных тараканов, — знатец один советовал, — а она, царство ей небесное, вся водой и взнялась. Теперь один как перст. Скучно. То к ней на могилку схожу, то в Александро-Невский монастырь — ко гробнице приснопамятного благодетеля моего императора Петра Федоровича... Ох-тих-ти...

— Иди ко мне служить. И тебе хорошо будет и мне честь — бывший императорский лакей при моей особе.

Огромная бородища Митрича зашевелилась от кривой улыбки. Он снял шляпу, — лысина засияла под солнцем, — и низко поклонился Барышникову:

— Премного благодарен вам, батюшка. Да ведь стар я.

— А я и не буду утруждать тебя больно-то. У меня лакей молодой есть. А ты станешь главным. Я тебе форму справлю с такими галунами, что ты и при дворце-то не нашивал. У тебя медали-то есть?

— А как же, батюшка, четыре штучки-с... А сверх того офицерский крест. Вся грудь увешана.

— Ну, стало быть, не надо лучше! Беру тебя!

— Сам государь изволил приколоть мне крестик-то. Оба мы с ним пьяненькие тогда были. Он говорит:

«Я, говорит, Митрич, люблю тебя... как папашу своего... На-ка, грит, носи. Да смотри, береги меня пуще». И при сих словах изволил снять крест со своея груди и мне приколоть. А вот я и уберег его... Ловко уберег благодетеля...— Митрич отвернулся, замигал, засопел, по его щекам покатились слезы.

— Не тужи. У меня тебе не хуже будет. У меня в намерении такие дела заворачивать, что ахнут все.

— Премного благодарствую. Я в согласье.

Старуха Юсупова остановилась возле места, где продавали привезенных негров — под видом отдачи их в услужение богатым вельможам. Во дворец Юсуповых как раз требовались два негра. Был у них один, но состарился, да, кроме того, граф Шереметев имеет у себя четырех негров, а Юсуповым в чем бы то ни было отставать от Шереметевых не хотелось. Старуха сторговала двух негров — одного плечистого, средних лет богатыря, другого — лет тринадцати мальчика с печальными глазами. Она заплатила высокую сумму, втрое превышавшую цену за хорошего русского слугу. Княгиня с внуками села в подкатившую за ней карету, поручив лакею с полицейским доставить негров на дом в рябике.

По ее отъезде разыгралась сцена, заставившая многих даже из видавших виды случайных зрителей содрогнуться. Старуха Юсупова не знала, что ей придется навеки разлучить отца с сыном. Если б она знала это, она купила бы вместе с мальчиком и отца его или же отказалась бы от покупки сына. Когда отец, уже седоватый, но мускулистый, плотный человек, увидал, что его сына уводят, а он остается и, может быть, будет продан где-нибудь в другом государстве, он бросился к плачущему детищу; сын повис на его шее и замер. Белки огромных глаз отца засверкали, толстые губы скривились в страшную гримасу, обнажив ряд белейших, как саксонский фарфор, зубов. Он обнял сына, и вся его коренастая фигура напряглась, как бы приготовившись к защите этого тихого мальчика, единственной его радости в жизни.

— Бери! — И лакей с полицейским подошли вплотную к мальчику.

Отец, скрежеща зубами, принялся отчаянно что-то выкрикивать гортанным голосом и изо всех сил отлягиваться от лакея. Затем он обрушил на голову полицейского такой сокрушительный удар кулаком, что тот слетел с ног, вторым ударом он разбил лицо лакея. А когда на чернокожего набросились матросы, он расшвырял их и с диким воплем бросился в Неву. Его кинулись спасать, подплыли на двух лодках, вытащили за шиворот, но он, выхватив из кармана бритву, на глазах у сына перерезал себе горло.

Со всех сторон сбегались люди. Толпа враз воспламенилась, как подожженный стог сухого сена.

— Видали, братцы? Иноземец жизнь свою решил!.. Стало, не сладко и ему доспелось.

— На чужбине, братцы, он... В чужой земле... Пожалеть человека надо.

— Хоть он и черный, а душа-то у него, может статься, побелей, чем у иного барина.

— А вот ужо поглядим, какова у наших бар душа!.. Грудины-то им вспорем!

— Мало им крепостных-то своих, так из-за морей ищут потехи ради!

— Накажет их за это господь-батюшка!

— Да еще как накажет-то!.. Цари им мирволят да потворствуют, а всевышнего не купишь!

Всех сильнее шумели набежавшие строительные рабочие, барская челядь, мастеровые.

4

Артель землекопов вместе со своим старостой, долгобородым Провом Лукичом, и подрядчиком пришагала наконец к двухэтажному каменному дому на Сенной. Подрядчик вытер платком вспотевший загривок и повел артель в полуподвальное помещение. Комната хотя и большая, но для тридцати душ довольно тесная; потолок — рукой достать, стены сырые, два небольших оконца. Нары в два ряда, скамьи, стол — вот и все убранство.

— А печка-то где же? Как же хлебы-те выпекать да обед варить станем? — спросил староста. — Мы без печки не согласны.

— Не будет печки, мы лопаты в руки, да и были таковы, — зашумела артель.

— Ну ладно, не орите, — сказал подрядчик. — Я кирпич предоставлю, а печника найдете сами.

На том и порешили. Подрядчик объявил распорядок:

— На работу, ребята, становиться в пять утра, с работы уходить в девять вечера, перерыв на обед — два часа.

— Ой-ой-ой! — зачесали землекопы в затылках. — Стало, это сколько же часов на тебя пуп-то надрывать? Эй, Лукич, а ну смекни.

Староста, пригибая к ладони пальцы и пошевеливая губами, сказал:

— Выходит, ребятушки, четырнадцать часов чистых... Много, хозяин.

— Много и есть... Да ты сдурел! — закричала артель. — Скрозь сутки, что ль, работать. Эх ты, мохнорылый черт! Не согласны мы без прибавки...

— Я вам прибавлю, окаянные! — зашумел на крикунов подрядчик. — Я вам так прибавлю, что своих не узнаете...

— Ну, так уж и не прогневайся, — раздались голоса. — Уж в таком разе так и работать тебе станем: разов десяток землю колупнем — да и за раскур!

— А это вот на что? — сказал подрядчик, угрожающе потряхивая жилистым кулаком. — Ахну — зубы счакают. А нет — в часть да портки долой, только говори, где чешется.

Артель присмирела. Подрядчик ушел.

Корявая тетка Матрена достала из кошеля завернутую в чистый платок икону богоматери, достала молоток с гвоздями, приложилась к иконе, забрала в рот гвозди и полезла прибивать образ в передний угол. Она трудилась с иконкою, а тридцать человек, разинув рты, смотрели на нее. Староста командовал: «Выше, ниже, правей чуток... Ладно, колоти!» Когда икона была водружена, все стали креститься на нее, вздыхать.

Староста послал Матрену на рынок купить чего-либо поснедать всухомятку. А под вечерок пускай она собирает всех в баню. После же бани они всем скопом пойдут в трактир горяченького попить — как он называется... чай, что ли? Да и водочки можно будет пропустить по махонькой.

Матрена ушла. Лукич сел за стол, вынул из сундучка записную книгу, чернильницу с гусиным пером и счеты.

— Садись, ребята. Надо нам расход-приход смекнуть, — сказал он и надел грубой работы очки. — Значит, милые, робить мы будем с первого числа мая до покрова, всего пять месяцев. Договоренная плата наша — по сорок копеек на день. Это в месяц ложится, выключая праздники, за двадцать пять ден... — он стал щелкать на счетах костяшками, — в месяц, стало быть, ложится десять рублев ровно. А за все пять месяцев на кажинную душу набегает по полсотни рубликов. Верно?

Все присмирели, внимательно вслушиваясь в речь вожака. Напряженная тишина нарушалась лишь мерным похрапыванием спавшего на нарах пьяного Митьки.

— На прохарченье сколько класть, ребята?

— Клади по три целковых на месяц с рыла, — сказал молодой паренек с заячьей губой, — по два пятака на день.

— Больно жирно! — замахали на него руками. — Клади, Лукич, по рублю на месяц.

— По рублю мало, ребята, — проговорил староста. — Давайте по два целковых, а там видно будет, можно и убавить.

Дальнейшие разговоры показали, что из пятидесяти рублей всего заработка каждый должен был уплатить своему барину пятнадцать рублей оброка да два рубля в месяц на харч, то есть десять рублей за все пятимесячное рабочее время.

— Вторым делом, ребята, кто за обедом будет материться — портки долой и по сидячему месту ложками лупить, — предложил староста.

— Ха-ха-ха! Согласны! — развеселились землекопы.

— Третьим делом, чтобы к нашей стряпухе Матрене ни-ни-ни... Она бабочка тихая, я пообещал ейной матери-старухе блюсти ее...

— Блюди, блюди! — опять захохотала артель.— Замок повесь ей либо колокольчик валдайский.

Староста забрякал на счетах костяшками, сказал:

— Стало быть, судари мои, ежели скостить оброк, да харч, да прогульные, всего-навсего домой вы припрете, не много не мало... по двадцать три рубля, — сказал он и вдруг закричал: — Стой, стой! А себя-то с Матреной, старый хомяк, забыл! Мне, ребята, как еще в деревне уговор был, по рублю с носу за труды за мои да Матренушке по полтине — ей делов выше головы будет.

Матрена приперла на себе хлеба, квасу, сеченой капусты, репчатого луку.

— Вот, мужики, — сказала она. — Харч здеся-ка дорогой: оржаной хлеб решетный грош фунт, а ситный-то копейка... А к мясу и приступу нет: говядина фунт три копейки, а свининка-то четыре, — по базарной росписи, говорят...

— Пусть свинину баре жрут, — возразил парень с заячьей губой.

Помолились. Принялись за еду. Лукич расправил бороду, взял деревянную ложку, сказал:

— Эх, мужицкое крошево, кисло да дешево! Хлебай, робя!

5

Пьяница рыжебородый Митька пред началом работ направился, по примеру прошлых лет, в церковь, чтоб подать священнику «трезвую записку» с зароком не прикасаться к вину до положенного времени.

Сначала он зашел в церковную сторожку, битком набитую такими же, как и он, бражниками. В унылых позах, с мутными глазами, стояли они перед седым дьячком, строчившим «трезвые записки». Когда очередь дошла до Митрия, дьячок спросил его:

— Сколько кладешь?

— Богу две копейки, тебе грошик.

— Маловато, чадо. По носу вижу, что ты питух горький, бесов возле тебя вьется, как возле меду мух. Клади богу три копейки, священнику две, мне копеечку.

Митрий согласился. Дьячок, пофыркивая носом, стал скрипеть гусиным пером по бумажке:

«Раб божий Дмитрий зарекается пред престолом господним к вину не касаться до Михайлова дня, сиречь восьмого ноембврия, а ежели он, раб божий, зарок допрежь срока нарушит, да будут ему на том свете муки лютые».

Дьячок прочел, получил мзду, спросил:

— Ты поди неграмотный? Тогда становь вот здеся крестик.

После обедни все сто двадцать пьяниц слушали особый молебен о ниспослании винопивцам воздержания. Затем священник отобрал от каждого записки, подсунул их под престол и сказал:

— Кто напьется до положенного срока и не смоет сего греха покаянием, того ждут великие беды.

Все новые трезвенники вышли из церкви в глубоком унынии. Стиснув зубы и глядя в землю, они в озлобленном молчании расходились по домам.

Староста Лукич вскоре направился на постройку Мраморного дворца, чтобы пригласить работавшего там своего земляка Ваньку Пронина сложить артели русскую печку. На огромной постройке трудились главным образом рабочие Барышникова. Здесь было более четырехсот человек. Работами распоряжались приказчики да десятники, а главным командиром был смотритель Петр Петрович Рябчиков. Он когда-то служил при сенате старшим писчиком, хапнул крупную взятку со вдовы-помещицы, начальства не спросив и с начальством не поделясь, а поэтому и выгнан был со службы «за пьяные дебоши и предосудительное поведение». Вида он был свирепого: пучеглазый, лохматый, жилистый. Ходил руки назад, закусив зубами

нижнюю губу. Чрез плечо — плеть. Он почти ежедневно пьян с утра, имел привычку пакостно ругаться, был также «ёрзок на руку». К месту постройки приходил раза два в день, и тогда его сиплый от перепоя голос гремел не переставая, наводя на рабочих уныние и страх. Остальное время смотритель проводил по трактирам, иногда валялся пьяный где-нибудь в канаве.

Проходя мимо разговаривавшего с печником Прова Лукича, смотритель вытянул старика плетью. Лукич круто обернулся к обидчику, крикнул:

— Это за что же? А?..

Смотритель, потряхивая плетью, как ни в чем не бывало пошагал дальше, окруженный приказчиками. Они уже успели накляузничать ему на некоторых нерадивых, по их мнению, рабочих.

Подойдя к артели плотников, со всем старанием занятых своим делом, Рябчиков рявкнул:

— Который?

— А вот курносый, шея шарфом обмотана, — шепнул приказчик.

Смотритель взял курносого парня за шиворот и нанес несколько ударов плетью. Запуганный парень не посмел даже пикнуть.

День был субботний. В Петропавловской крепости, как раз через Неву, против постройки, куранты отбили шесть раз. По городу заблаговестили ко всенощной. Рабочие сняли шапки, покрестились и снова принялись за дело. Даже под праздник им льготного времени не было. А многим вот как хотелось сходить в церковь, душу отвести: послушать знаменитых певчих, поглазеть на народ, на благолепное служение.

Печник Ванька Пронин, разминавший на подмостках глину, сказал Прову Лукичу:

— Ты, отец, пройдись по набережной, а через часок-другой опять приходи. Эвон, видишь, возле забора палатка белеет да флачок метлесит, — ну-к об это место и приходи.

Лукич так и сделал. Погулял, полюбовался на зеркальную Неву, на рябики, на увенчанный архангелом золотой шпиц Петропавловской крепости, посмотрел,

как сотни две солдат копрами сваи на невской набережной бьют, наконец пришел к палатке, что в углу строительного участка, и присел на штабель скобленых бревен.

У палатки стоял огромный дубовый чан с железными обручами. Возле чана — высокий одноглазый человек с мочальной бороденкой, при фартуке и в черном картузе. Лукич с удивлением заметил: на вбитых по краям чана гвоздях висели рубахи, картузы, портки, сапоги, даже лапти, и прочий ношеный скарб. «Что такое?» — подумал он.

С воли, с площади, скорым шагом приблизился к чану черномазый, с серьгой в ухе, малый и резким голосом крикнул одноглазому:

— Ведро!

Одноглазый почерпнул из чана ведро жидкости и перелил ее через воронку в две полуведерных фляги. Черномазый забил фляги деревянными с тряпкой втулками, запихал в мешок, взял мешок под мышку и ушел.

«Вареная вода, должно», — подумал Лукич и направился к одноглазому напиться.

— А ну, приятель, почерпни-ка водички мне, — сказал он, — угорел чегой-то я, — знать, с селедок, страсть пить хочется.

— На сколько тебе? — спросил тот и подергал за протянутую меж кольями веревочку. Висевшие на ней оловянные посудинки в виде черпачков задрыгали, заплясали, как блестящие рыбки. — На копейку, на две, а вот эта — на три, в ней три глотка добрых.

— Да бог с тобой, — поднял Лукич голос, — да ведь ее вон сколько в Неве, водицы-то твоей...

Кривой всхохотнул бараньим голоском:

— С такой воды, браток, живо угоришь и лапти вверх. Не вода это, а самая забористая сивуха. Хлебнешь — упадешь, вскочишь — опять захочешь.

— Ты лясы-то, вижу, мастер точить. Ярославец, что ли?

— Нет, мы московские, — ответил кривоглазый, поддев из чана трехкопеечным черпачком сивухи. Он понюхал ее и стал тихонечко выливать обратно, оче-

видно пытаясь соблазнить старосту. — Эх, добро винцо! Барышниковское! Ведь я не от себя, а от господина подрядчика Барышникова. У него пять таких распивочных... У него, у Барышникова-то, мотри, в пяти местах стройка идет по Питенбурху, а в шестом — в Царском Селе — пруды он чистит. А вот тот парень, с серьгой в ухе, что ведро взял, этот от меня вразнос торгует.

— Так-так-так, — поддакивал Лукич и, указав на развешанное вокруг чана барахлишко, спросил: — А это что же?

— А это... Кое пропито, кое в залог сдадено. Вот за эти самые сапожнишки недопито восемь посудинок трехкопеечных. Сегодня суббота, хозяин придет, бог даст, допьет.

Оказалось, что кривой арендует палатку у Барышникова за тысячу рублей и наживает, по его собственному признанию, чистоганом рублей шестьсот.

— Куда ж тебе, грешный ты человек, этакую прорву денег? — сердито спросил кривого Пров Лукич.

— Хах, ты! — И одноглазый снова засмеялся бараньим голоском. — Ну и дед-всевед! Задом в гроб глядишь, а ума не нажил. Первым делом — избу я поставил себе новую на Васильевском острову; вторым делом — корову-удойницу да лошадок завел... Да вот графу Шереметеву платить надо, барину свому.

— Из крепостных, значит? Да ты бы выкупил себя на волю.

— Хах, ты, — опять хахнул кривой. — Он, брат, граф-то Шереметев, никому воли не дает, не-е-ет, брат! Многие его крепостные мужики в Питере да в Москве в купцах ходят, в ба-а-льшущих купцах! Взять моего соседа из нашей деревни, Митрия Ивановича Пастухова, — о-о-о, главный во всем Питере богач, самой первой гильдии купец и фабрикант великий! Он к графу-то, к Шереметеву-то, на четверке рысаков подъезжает, не как-нибудь. Во, брат, какие мужички есть! Это понимать надо. — И кривоглазый целовальник, захлебнувшись хвастливыми словами, вскинул палец вверх. — Уж он бы, Пастухов-то наш, мог бы

на волю откупиться, он графу миллион сулил, да граф не отпущает. Вот какой граф-то Шереметев, барин-то наш!.. А ведь он, гляди, не гордый, Пастухова-то иным часом к обеду кличет... Призовет, а там уже целая застолица князьев, графьев да генералов. Ну, Митрий Иваныч обхождение знает, со всеми об ручку поздоровкается, сам в лучшем наряде, под бородой да на грудях медали со крестами; сидит в кресле честь честью, наравне со всеми пьет-ест. А граф подымается со стаканом в руках, да и говорит: «Ну, господа, тепереча выпьем мы за моего мужичка, за Митрия Иваныча Пастухова, он мне миллион давал, чтобы я его на свободу выпустил, а я не хочу. Мне антиресно, говорит, что в крепостных у меня такие мужики. Ведь вот он, миллионщик, пожалуй, всех вас, господа, с потрохами купит, — а я, промежду прочим, могу его, как раба, сейчас же на конюшню отправить и порку дать».

— Да уж не врешь ли ты? — усомнился Пров Лукич. Он заинтересовался рассказом, стоял возле чана, расставив ноги и опершись подбородком на длинную палку с завитком.

— Тьфу ты! — рассердился целовальник. — Мне сам камердинер его сиятельства сказывал. А знаешь, сколько купец Пастухов платит Шереметеву оброку-то?

— Да поди тысяч с полсотни в год?

— Десять рублей всего! — закричал целовальник, и его большой кадык задвигался вверх-вниз по хрящеватому горлу. — Вровень со мной платит... Не берет больше граф! Понял ты это?

Вскоре ударил сигнальный колокол.

— Шабаш, шабаш! — раздавались всюду близкие и далекие выкрики.

К целовальнику подбежали два подростка.

— Что, пострелята, запозднились? — строго сказал целовальник. — Надевай скорей фартуки! — и, обратясь к Прову Лукичу, проговорил: — Это наследники мои, отцу помогать прибежали.

Толпы рабочих быстро расходились по домам. А человек с полсотни, перескакивая через котлованы, канавы, штабеля, мчались, как бешеные кони, к чану, чтоб занять поскорей очередь. Несколько позже набежали рабочие с чужих соседних строек.

— Налетай, налетай! — оживился целовальник, улыбаясь одним глазом. — Не все вдруг, по одному да почаще, по одному да почаще!

Прибежал и печник Ванька Пронин.

— Пров Лукич! Шагай скореича, — кричал он земляку. — Угощай, отец!.. Магарыч с тебя.

Лукич примостился с ним в очередь. Все, глотая слюну и держа в руках кто головку лука, кто кусок хлеба с селедкой, начали чинно продвигаться к чудодейственному чану.

Длинный конопатый дядя принялся упрашивать хозяина отпустить ему два глоточка в долг. Целовальник замахал на него руками:

— Проваливай, проваливай!.. Ведь ты же заработок получил.

— Получил, да не пришлось мне ни хрена! Старик у меня умер, в деревню довелось послать денег-то. Да вот помянуть родителя-то, царство ему небесное, желательно.

— Сымай рубаху, — скомандовал конопатому хозяин. — Шеввелись, копайся, в руки не давайся.

— Как же я голый по городу пойду? Без рубахи-то?

— Разувайся... Только сапожнишки твои гроша медного не стоят.

Влас стал, ругаясь, разуваться. Целовальник приказал сынишке перевязать сапоги лычком и повесить на вбитый в чан гвоздик.

Влас, не торгуясь и не спросив, какую цену целовальник кладет за сапоги, вместо двух глотков выпил с горя четыре трехкопеечных ковшичка, по три хороших глотка каждый. Затем, шатаясь, отошел в сторонку, опустился на колени, стал усердно креститься на Петропавловский крепостной собор, бить земные поклоны и, пофыркивая носом, приговаривать:

— Упокой, господи, душеньку родителя моего Панфила... Эх, батька, батька...

А целовальник деловито кричал ему:

— Эй, богомолец! Рыжий! За сапожнишки твои тридцать копеек кладу, пропил ты двенадцать.

Влас только рукой махнул, а люди зашумели:

— Уж больно обижаешь ты народ, Исай Кузьмич... Худо-бедно — рублевку стоят сапоги-то. Они, почитай, новые.

Подошел лохматый мужичок-карапузик в рваной однорядке с длинными, не по росту, рукавами и в обмызганном, нескладном, как воронье гнездо, картузишке. Весь облик его — жалкий, приниженный, виноватый. Он поднял на долговязого целовальника свое изможденное, с козьей бородкой и редкими усиками лицо, подморгнул и прошептал стыдливо:

— Пять чепурушек трехкопеечных, Исай Кузьмич... На, получи! — И он сунул ему горстку медяков.

Целовальник особым, среднего размера, ковшиком поддел порцию пойла и подал карапузику. Тот вздохнул, перекрестился и жадно прильнул к ковшу губами. Целовальник крикнул:

— Пей над чаном! Сколько разов вам толковать! А то наземь текет добро-то.

— Ладно, — просипел мужичок, послушно перегнулся над чаном и с наслаждением, закрыв глаза и причмокивая, принялся тянуть из ковшика. Вино, омывая усики, бороденку, подбородок, покапывало в чан.

И вдруг, когда уже в ковше засверкало донышко, грязный, засаленный картуз сорвался с головы питуха, шлепнулся в чан, как большая утка в озеро, и утонул.

— Ах ты сволочь! — зашумел целовальник. — Четыре копейки штрафу с тебя.

Все захохотали. Парень с веселыми глазами крикнул:

— Пошто он утонул-то? Чугунный, что ли, у тя картуз-то?

— Трубка в нем цыганская, — засипел испугавшийся карапузик, утирая мокрый рот подолом рубахи. — В кулак ростом трубка-то, глиняная.

Выудив со дна утопленные вещи, целовальник забросил трубку в репей, а набухший вином картузище принялся, ради пущей экономии, выжимать, выкручивать над чаном, как прачка белье. Выжав почти досуха, целовальник со всей силы хлестнул мужичка картузом по щеке.

К чану неожиданно подошел с воли все тот же широкоплечий малый с серьгой в ухе и, как в первый раз, резко отрубил, словно в медную доску булатным молотом ударил:

— Ведро!

В стороне стояли двое беспоясных, подававших прошлое воскресенье священнику «трезвые записки». Они впились взорами в тех, что глотали водку, и то и дело густо сплевывали, скоргоча зубами; на их напряженных лицах холодная испарина.

Один, не выдержав, ткнул себя кулаком в грудь пониже бороды, хрипло закричал:

— Зарок, так твою! Заррок!.. — И быстро пошагал прочь. По дороге он сгреб камнище и, выпучив глаза, швырнул его в пробегавшую собаку.

— Заррок!..

Другой из зарочных, с печалью посмотрев приятелю вслед, остался на месте. Вся душа его, видимо, стремилась к чану, но упрямые ноги будто вросли в грунт; посмеиваясь, люди говорили в его сторону:

— Мученик! А ведь все одно нарушит... Днем раньше, днем позже — обязательно обманет бога-то.

ГЛАВА II

Интимные вечера в Эрмитаже. Волшебные устрицы. Бунтишка

1

Целовальник в своем рассказе Прову Лукичу действительно против истины приукрасил очень мало.

Весь город говорил об именитом купце — крепостном крестьянине графа Шереметева; весь город

дивился необычайному русскому мужику, пришедшему в столицу с пустой котомкой, в лаптях и сумевшему стать миллионером, дивился и одному из графов Шереметевых, который за свои несметные богатства был прозван Младшим Крезом.

Поводом к этим разговорам был званый обед в великолепном дворце графа Шереметева, что на Фонтанке. Среди высоких вельмож и знатных лиц, приглашенных на обед, присутствовал в качестве почетного гостя и худородный мужичок, подлый раб графа Дмитрий Иваныч Пастухов.

Эрмитаж — что значит: келья, убежище отшельника — был самым любимым во дворце местом Екатерины. Здание Эрмитажа, сооруженное французским зодчим Деламотом в 1765 году, выходило на Неву и было соединено с Зимним дворцом аркой, переброшенной через Зимнюю канавку [1]. В Эрмитаже помещались театр и картинная галерея, основание которой положил Петр I. При Екатерине уже насчитывалось более двух тысяч картин знаменитых европейских мастеров. Здесь Екатерина проводила интимные вечера среди близких своих людей, и быть приглашенным на такой вечер считалось большой честью. Гости и хозяйка подчинялись правилам, сочиненным в шутливой форме самой императрицей. Например: «1. Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги... 3. Быть веселым, однако и ничего не портить, не ломать и ничего не грызть... 5. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих уши и головы не заболели... 9. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий всегда мог найти свои ноги для выхода из дверей», и т. д.

За нарушение правил виноватый должен был выпить стакан холодной воды и прочесть страницу «Телемахиды». Регламентом предписывалось также при обращении к Екатерине называть ее просто по имени

---

[1] Эрмитаж достроен и выведен главным фасадом на Миллионную (теперь ул. Халтурина) улицу в 1849 году.

или — мадам, так как под сводами Эрмитажа она желала быть лишь радушной хозяйкой.

Придворные спектакли обычно заканчивались рано, и хозяйка немедля переходила с гостями в эрмитажный салон. Тут начинались игры в билетики, отгадки, фанты, жмурки. Игры шли шумно, резво и даже фривольно. Екатерина была первая затейница.

Однажды, отстав от игры в фанты, она села за карты. Вдруг в компании веселящихся наступила тишина. На вопрос Екатерины, что означает сия заминка, ей смущенно ответили:

— Ваш фант вынулся.

— Что ж присуждено мне делать?

— Велено вам сесть на пол.

— Для чего же нет. — И Екатерина, оставив игру в карты, тотчас села на пол.

Помимо веселья, подчас подымались в Эрмитаже и вопросы государственной важности, а иногда, присматриваясь к людям в их непринужденном поведении, Екатерина определяла характер каждого, делала оценку уму и способностям, и нередко через эрмитажные куртаги производились назначения лиц на государственные должности.

Граф Александр Сергеич Строганов, сумевший снискать благорасположение императрицы живым своим характером, однажды, после спектакля, за чашкой чаю в Эрмитаже, начал было рассказывать Екатерине про любопытный шереметевский обед...

— Знаю: слышала. Вы там присутствовали?

— Да, мадам. Не только присутствовал, но после оного и носом немножечко клевал.

Екатерина с улыбкой погрозила ему пальцем и стала оправлять левой рукой локоны.

— Я слышала и о Пастухове, да и о других коммерческих людях из крестьян. Это — крепостные Шереметева, Уваровых, Воронцовых, Ягужинского и прочих. Оные крепостные люди имеют ювелирные лавки, экспортные заграничные конторы, шелковые фабрики. Я, Александр Сергеич, к промышленным людям

отношусь с полным решпектом. Они наперекор дворянству умеют капиталы созидать, из грошей делают миллионы, тогда как господа дворяне, наоборот, от миллионов зачастую доходят до нищенской сумы. Я ценю труды Вольного экономического общества, да и сама, как вы, верно, осведомлены уже, пекусь о торговле и промыслах российских.

Екатерина рассказала о том, как лет пять тому назад тульские и казанские купцы — Виноградов, Пономарев, Вахромеев и другие — составили содружество для торговли с заграницей, как она своим иждивением соорудила фрегат о тридцати шести пушках «Надежда благополучия». Купцы погрузили на судно железо, юфть, парусные полотна, табак, икру, воск, канаты и под начальством фактора компании, казанского купца Пономарева, вышли в дальнее плавание и благополучно прибыли в Ливорно.

— Я счастлива, — заключила Екатерина, — что по моему почину впервые на водах Средиземного моря был поднят российский торговый флаг. Впервые!

Екатерина движением руки опять оправила локоны, откинулась на спинку кресла, приподняла обнаженные плечи и, приняв величавую позу, как бы напрашивалась на искреннюю, без лести, похвалу.

— О великая и премудрая государыня! — воскликнул наблюдательный Строганов. — Под славным скипетром вашего величества искусства, торговля и промышленность державы российской немалое процветание имеют.

Екатерина с благосклонной улыбкой кивнула ему головой и потянулась к табакерке. Он тоже вынул табакерку и добросовестно зарядил ноздри ароматной темно-желтою пыльцой. Екатерина же, сделав вид, что взяла понюшку табаку, изящно щелкнула пред ноздрями пустыми пальцами и тотчас отерла нежнейшим, невесомым платочком свой, римского склада, нос.

Любуясь каждым жестом Екатерины, граф всякий раз, как и многие из царедворцев, подпадал под обаяние этой несравненной сорокапятилетней женщины, не утратившей ни свежести лица, ни стройности стана.

«Она даже кашляет с удивительной грацией», — подумал он.

— Теперь расскажите, граф, как же вел себя этот купчина Пастухов? — спросила Екатерина.

— С охотой! — ответил Строганов. — Оный купчина вел себя с подобающим достоинством и без тени робости или унизительного низкопоклонства. Вот Пастухов встал, поднял бокал и, обратясь к Шереметеву, молвил: «Ваше сиятельство, я считаю за великое счастье присутствовать за вашим столом, пить за ваше здоровье и, чтобы не впасть в отчаяние, не терять надежды на то, что когда-нибудь вы соблаговолите отпустить меня на волю». А граф ему в ответ: «Голубчик Дмитрий, миллион отступного ты мне даешь?.. Оставь деньги при себе! Для меня больше славы владеть не лишним миллионом, а таким человеком, как ты».

— А знаешь, Александр Сергеевич, — молвила Екатерина, наливая Строганову чай: — Скажу тебе конфиденциально, как я однажды подкузьмила этого самого сумасброда-спесивца. Будь друг, послюшай... Некий петербургский фабрикант, тоже из крепостных Шереметева, бывает часто в Риге и ведет немалый торг с заграницей. Я стороной проведала, что в его дочь влюбился лифляндский барон. Мужичок рад случаю породниться с молодым бароном, но тот ни за что не хочет вступать в брак с крепостной девушкой. Ну, ни за что, ни за какой сдобный коврижка, как говорится... Фабрикант-мужичок дважды валялся в ногах Шереметева, давал ему выкупного тоже, кажись, миллион, но спесивец и слышать не пожелал о вольной. И что же, и что же? Бедняжка девушка безутешна, мужичок стал зело запивать... И я, Александр Сергеич, пустилась тут на маленький бабий хитрость. О-о-о, мы, бабеночки, себе на уме. И вот слюшай, слюшай... Это произошло вот тут же, где мы с тобой сидим. Я при большой компании сказала Шереметеву: «Милый граф! Я восхищена вашим благородным поступком, я от души благодарна вам!» А он мне: «За что, Екатерина Алексеевна?» — «Как за что? Неужели не догадываетесь? Ваш поступок заключается в том, что вы, не взяв никакого выкупа, дали вольную вашему

крепостному, фабриканту Ситникову...» (Тут я маленечко приметила, как граф выпучил на меня глаза и пожал плечами.) «Господа, вы слышали?» — адресовалась я к присутствующим и почувствовала, как мои щеки от моего вранья запылали. «Вы, милый граф, — сказала я, — облагодетельствовав отца, сделали счастливой и его дочь. Сия молодая особа, став ныне вольной, сможет соединиться узами Гименея с горячо любимым ею женихом. Словом, вы, граф, сотворили доброе дело, пред которым бледнеют ваши прочие добрые дела. Еще раз выражаю вам свою горячую признательность. Я, милый граф, в великом от вас восторге», — закончила я свою роль... Что же оставалось делать атакованному мною графу? Он поднялся — этакий красный, этакий пыхтящий, злой, — я испугалась, что его кондрашка хватит, — рассыпался в благодарности за мои милостивые слова и материнское попечение о своих подданных и в момент скрылся... А назавтра я узнала, что он тотчас подписал Ситникову вольную, внушив ему: «Ты, голубчик, всем толкуй, что свободу получил от меня не сегодня, а еще неделю тому назад». Каково!

— Я об этом невероятно остроумном казусе впервой слышу, — с притворным восторгом воскликнул Строганов, — и немало дивлюсь, мадам, вашей сугубой скромности.

— Но, милый друг... Не могу же я о всяком пустячке трубить пред глазами всего света.

— Слава вам, Екатерина Алексеевна! Вы изобретательны, как...

— Как ведьма с горы Брокен или гомеровская Цирцея?

— Нет, что вы, мадам! — захлебнувшись приливом нежных чувств, снова воскликнул Строганов. — Вы — гений добра и... и... красоты.

— Шутник! — засмеялась сквозь ноздри императрица и с игривой легкостью стукнула его веером по белому гладкому лбу.

И вдруг раздался слащавый иронический голос:

— Нет, нет... Нет, я ничего не вижу... — Неуклюжий, большой, пухлый Елагин — сенатор и «главной

придворных спектаклей дирекции начальник», грузно опираясь на толстую трость и шутливо прикрыв глаза ладонью, остановился вблизи Екатерины. — Нет, нет... Я ничего не видал, не слыхал.

Императрица и Строганов сидели в уютной глубокой нише, задрапированной шелками и заставленной пальмами. Через зал проходили придворные дамы и кавалеры.

— А-а, мсье франкмасон! — позвала Елагина Екатерина. — Иди сюда, Иван Перфильич. Садись скорей... Ну, как нога твоя?

Тучный Елагин с шарообразной большой головой, неся на щекастом холеном лице широкую улыбку и сильно прихрамывая, приблизился к Екатерине, поцеловал ее протянутую руку, по-приятельски обнялся со Строгановым и сказал:

— Только не франкмасон, мадам. Я суть великий мастер нашей ложи вольных каменщиков, коя подчинена лондонской ложе — матери...

— А тебе ведомо ли, Перфильич, что членом этой лондонской ложи-матери состоит и всеизвестный авантюрист Калиостро? — спросила Екатерина, обливая Елагина насмешливым, холодным взглядом. — Впрочем, я ваших тонкостей не понимаю и масонских устремлений не признаю... Все, что окутано тайной, вроде ухищрений вашего колдуна и алхимика Калиостро, есть шарлатанство, какими бы высокими принципиями оно ни прикрывалось. Истина же всегда выступает в свет с приподнятым забралом. Так-то, мой друг...

— Но... всеблагая матушка великая государыня... я мог бы вам возразить... — начал было оправдываться ошеломленный таким афронтом истый масон Елагин, улыбка сбежала с лица его. — Я с юности моей имею склонность ко всему таинственному.

— Сие сожаления достойно, — тотчас возразила Екатерина. — Да ты садись... А что касаемо до толпы, увлекающейся всякий трансценденцией и теозофическими бреднями, уж ты не обессудь меня, — эта толпа отнюдь меня еще не знает. Предрассудки, как и тиранство, никогда не были и не будут душою свободных

наук, а я готова постоять за оные... История же с магом Калиостро, с тем, как он всякими подземными гномусами и огненными саламандрами одурачивает вельможных простофиль, — позор для моей столицы! Дивлюсь, — закончила она по-французски, — дивлюсь, что самое вздорное мнение, становясь всеобщим, смущает надолго разум и здравое суждение. — Она сделала паузу и отхлебнула глоток остывшего чаю. — Так вот что, мосье Елагин... Раз Калиостро к тебе вхож, так ты, ежели не страшишься его чар, намекни ему, пожалуй, чтоб он поскорей убирался из Петербурга, пусть не испытывает моего терпения, иначе я вышвырну этого розенкрейцера из России... по этапу!

Екатерина нервничала, то и дело распахивала и резко складывала веер, и вместо ласковых, теплых огоньков глаза ее стали излучать холодный блеск. Всем троим сделалось неловко. Елагин, признавая правоту Екатерины, чувствовал себя виноватым.

Один из ближайших сподвижников Екатерины, Иван Перфильич Елагин, не был ни богат, ни знатен. Но, пользуясь крупными от двора подачками и занимая хорошо оплачиваемые, но бездоходные должности, жил пышно и открыто. На одном из петербургских островов, впоследствии названном по его имени — Елагиным, он имел дворец, нередко посещаемый вельможами, столичными сановниками, избранными певцами Итальянской оперы. Иногда в летнее время заглядывала сюда и сама Екатерина.

Уважая Елагина за его правдивость, порядочность и широкую образованность, она была связана с ним и чисто литературными делами. Елагин совместно с другими придворными помогал ей переводить «Велизария» Мармонтеля. Императрица почитала его как самого трудолюбивого переводчика; он в свое время перевел многотомный роман Прево «Приключения маркиза Г.», перевел мольеровского «Мизантропа» и даже, подражая своему учителю Сумарокову, пробовал кропать стишки, иногда повергая их на суд Екатерины.

Однако за последнее время, с тех пор как Елагин был посвящен в масоны, а затем он стал приглашать

Калиостро в свой дом на медиумические сеансы, отношение к нему Екатерины заметно охладело.

Калиостро, этот ловкий проходимец, после странствований по Южной Франции, Италии и Мальте попал в Митаву, а затем и в Петербург. В качестве якобы врача и алхимика он сначала занимался изготовлением жизненного эликсира и добыванием из ртути золота посредством философского камня. Впрочем, золото, и в довольно большом количестве, он добывал отнюдь не с помощью философского камня, а от продажи жизненного эликсира и чрез наглый обман слишком доверчивых своих знакомцев из столичной знати.

В число обманутых русских простофиль первым попал Елагин, а за ним и блестящий екатерининский вельможа — Александр Сергеевич Строганов.

Екатерину особенно раздражала та печальная действительность, что близкие ей люди, поклонники великих энциклопедистов, были столь бесхарактерны и беспринципны, столь слабы в рациональном способе мышления. «В них никакие Гельвеции, никакие Вольтеры, — думала она, — не смогут искоренить мистических настроений. Такие люди всегда стремятся за пределы возможного, поддаются фантастическим бредням о других мирах, якобы населенных душами людей умерших, с коими можно вступать в сношения через особо избранных людей, вроде Калиостро, Сведенборга, Сен-Мартена и прочих чудодеев».

Екатерина с душевной горечью думала об этих так называемых образованных русских людях высшего общества, легко попадающих из настроений мистических в лапы ловких мистификаторов.

Через зал величественно и неспешно нес свою фигуру граф Никита Иванович Панин. В его опущенной левой руке портфель красного сафьяна с золотым гербом. Сановник, отыскивая царицу, бросал взоры направо и налево. Вот он увидел ее и, не изменяя горделивой поступи, а лишь чуть-чуть ускорив шаг, направился к императрице.

— А, Никита Иваныч!.. Добро пожаловать к нашему шалашу, — поторопилась сказать Екатерина, косясь на красный, иностранной коллегии, портфель.

— Во-перьвых, — целуя изящную надушенную ее руку, проговорил Панин. — Во-перьвых, прошу прощения, Екатерина Алексеевна, что я по необходимости нарушил ваше рандеву с друзьями.

— В чем есть сия необходимость? Неотложные дела? — И царица снова покосилась с неприязнью на портфель. — Турция? Франция?

— И Турция и Франция, Екатерина Алексеевна. И ежели вы милостиво разрешите мне... — начал Панин, приготовившись открыть портфель.

Но Екатерина, коснувшись веером его руки, произнесла официальным, лишь слегка и с натугой подогретым тоном:

— Граф, только не здесь. Решать дела я привыкла у себя в кабинете, где скоро имею быть.

— Прежде всего я пекусь об интересах России, мадам...

— Я тоже, граф, — сухо сказала Екатерина.

Движением губ выразив на лице легкую гримасу досады, граф холодно поклонился и с подчеркнутой поспешностью отошел прочь от Екатерины.

Царица была довольна тем, что ей представился случай несколько принизить в глазах посторонних своего давнишнего противника. Сложное чувство таилось у нее к этому гордому, умному и просвещенному человеку, первому сановнику империи и воспитателю ее сына Павла. Он помогал ей войти на ступени трона, и за оказанную помощь она оставалась неизменно признательной. Но этот же самый Панин, опираясь на свою партию, мечтал лишить ее престола в пользу малолетнего Павла. Унизительный для Екатерины торг вел с ней Панин накануне самого переворота, жертвой которого стал царствовавший в то время Петр III. Под личиной доброжелательства и дружбы всесильный Панин собирался не более не менее — превратить ее в послушную ему куклу на троне.

— Я мыслил бы, — говорил тогда Панин, — императором быть Павлу Петровичу, возлюбленному вашему сыну.

— А я, при малолетнем сыне моем, регентша?

— Да, государыня, — отвечал Панин твердо.

Как?! Ей быть регентшей при сыне, чтоб, когда он возмужает, навсегда утратить власть? Нет, никогда этого не будет, ни-ког-да!

— Я так несчастна, так унижена своим супругом, что для блага России готова скорее быть матерью императора, чем оставаться супругой его, — с горечью ответила Екатерина и заплакала.

Екатерина всегда будет помнить, как Панин упал к ее ногам, стал утешать ее, стал целовать ей руки. Каждый поцелуй его был для Екатерины поцелуем Иуды. И она тотчас решила припугнуть Панина, в прах разбить его дерзкие мечтанья.

— Но... милый друг мой, Никита Иваныч, — сказала она, — у меня единая надежда на бога, на вас и на преданную мне гвардию. Да, да, на гвардию...

Она видела, как властный царедворец весь внутренно сжался. Карта его была бита. Да, Екатерина опиралась, с помощью братьев Орловых, на многочисленную гвардию; Панин — лишь на десяток-другой сановитого дворянства.

Такого коварного поступка она вовеки не могла простить Панину. Но ведь он главный механик всего государственного аппарата, он влиятельнейший из вельмож, он мудро руководит внешней политикой, с его мнением считается Европа. Словом, в то время Панин много значил для дела Екатерины. Однако это было десять лет назад, а теперь... Теперь престол Екатерины крепок и незыблем, «бразды правления» она сама научилась держать в своих руках, а наследник престола Павел еще слишком юн и лишен необходимых качеств в опасной борьбе за власть. Он никогда не посмеет, да и не сможет свергнуть мать с престола. Ему не на кого опереться, и никакие Панины не в состоянии помочь ему.

Такие мысли, то четко, то вразброд, вскипали в мозгу Екатерины. Сердце сжималось, взор

устремлялся куда-то вдаль или обращался внутрь взволнованной души.

Нет, она и здесь, в этом тихом убежище, не может оставаться лишь любезной хозяйкой, каждый час и каждый миг она — императрица.

Рассеянно прислушивается Екатерина к беспечной болтовне двух своих друзей, она им улыбается, иногда произносит ту или иную фразу, но взор ее, как бы пронизывая каменные стены, видит шагающего по дворцовым залам Никиту Панина. «До свидания, до свидания, Никита Иваныч... От подножия престола вы скоро будете устранены окончательно».

После досадного разговора с Екатериной граф Панин понуро шел по коридорам огромного пустынного дворца, пробираясь на половину великого князя Павла.

«Вот ужо-ка, ужо она женит сына, всякими милостями осыплет меня и вышвырнет! Землями наградит да золотом. Ей казенного-то сундука не жаль, — все больше и больше раздражался Панин. — Эх, Никита, Никита!.. Ляжками, брат, ты не вышел, да и нос у тебя не столь казистый — а ля рюсс. А то бы...» — горько проиронизировал он над собою.

В китайском, с темно-красным драконом, чайнике дежурная фрейлина подала горячий чай, цукерброды и сухарики. Екатерина налила гостям по чашке.

Камер-лакей неслышной поступью приблизился к царице и поднес ей на серебряном подносе два пакета с сургучными печатями.

— Из действующей армии, ваше императорское величество. Экстра! — отчеканил браво лакей, стоя навытяжку.

По знаку царицы он удалился. Екатерина читала надписи на конвертах. В правом углу одного было крупно и безграмотно означено: «В сопственые ручьки... екстра». Это от Григория Орлова. На другом, мелким почерком: «Экстра». Это от Григория Потемкина. Два Григория, два фаворита — бывший и будущий. Они как легкое облако проплыли перед взором Екатерины, улыбнулись ей и оба исчезли. И на их месте появился на миг во всей реальности красавчик

Васильчиков. Екатерина нервно шевельнулась, вздохнула и положила нераспечатанные конверты на круглый столик.

В этой скромной келье она не только императрица, но и женщина, с прихотливыми чувствами, с непостоянным сердцем. Впрочем, Екатерина Алексеевна не без основания могла гордиться тем, что она в первую очередь императрица-женщина и лишь потом — женщина-императрица. Разум всегда властвовал у нее над чувствами.

— Итак, господа,— после длительной паузы начала Екатерина, — в Турции война, кровь проливается, смерть разгуливает, а мы вот тут сидим да кой-кому косточки перемываем.

— Смею ласкать себя надеждой, мадам, — торопливо проглотив цукерброд, сладким голосом проговорил Елагин, — что война расширит пределы вашей империи и...

— Гений войны, — подхватил Строганов, — повергнет к вашим сияющим стопам все Черное море. А в нем... рыбы, мадам, рыбы!.. На всю Россию хватит!

— Ты все шутишь, Александр Сергеич, а мне, право, не до шуток. Ведь пять лет воюем...

— Но, матушка! Но, всеблагая! — воскликнули оба гостя. А Строганов сказал: — Надо бы, Екатерина Алексеевна, к регламенту ваших вечеров добавить: «Входящий, не омрачай чела своего глубоким раздумьем».

— Да, ты прав, Александр Сергеич, — сделав над собой усилие, вновь оживилась Екатерина.

2

— Ты, Перфильич, извини меня и не злись, — сказала царица подобревшим голосом. — Как ты со своим костыльком управился по столь высоким нашим лестницам? — И она указала глазами на толстую с серебряным набалдашником трость его.

— О всеблагая, — складывая молитвенно руки и наклонив крупную голову к правому плечу, воскликнул

Елагин. — Я воспарил в сию тихую обнтель на крыльях Мельпомены и Терпсихоры.

— Я думаю, что тебе помогали все девять муз, а десятая на придачу — Габриэльша... Великий ветреник ты, Перфильич, неисправимый ферлакур. Я чаю, ты восхищен своей Габриэльшей выше меры.

— Это не есть восхищение ума, Екатерина Алексеевна, но восхищение сердца, — слегка грассируя, произнес Елагин.

— Охотно верю. Но страсти наши всегда против разума воюют, — с притворной застенчивостью улыбнулась Екатерина. — А столь прилежное восхищение сердца иногда в ногу ударяет, и человек с того разу начинает на костыльках ходить.

Елагин, комически состроив виноватую мину, распустил пухлые губы и пожал плечами, а Строганов, прикрыв рот рукою, сипяще захихикал.

Великосветскому миру, падкому на всякие слухи о любовных шашнях, было известно, что пожилой лоботряс и селадон Елагин по уши втюрился в красивую итальянскую певицу Габриэль. Много было смеху и пересудов, когда узналось, что жестокосердная оперная дива, желая поиздеваться над влюбленным в нее Елагиным, принудила его сплясать вместе с ней веселый танец. Тучный, неуклюжий, как бегемот, да к тому же и подвыпивший, директор оперы Елагин, исполняя каприз подведомственной ему дамы сердца, проделав несколько бравурных па с припрыгом, вывихнул себе ногу и на целый месяц слег в постель.

Екатерина разгневалась на Габриэльшу, но не ради ее коварного поступка с Перфильичем, а потому, что эта певица, перезаключая контракт на следующий театральный сезон, заломила с дирекции неслыханную годовую плату в десять тысяч пятьсот рублей, тогда как на содержание всей оперы отпускалось двором всего семнадцать тысяч в год.

Екатерина улыбнулась смеющемуся графу Строганову и, повернувшись к Елагину, спросила его:

— Послушайте, Иван Перфильич, а верно ли, будто бы когда вы сказали Габриэльше, что-де в России столь огромное жалованье только фельдмаршалы

получают, Габриэльша будто бы тебе ответила: «Ну так пусть ваши фельдмаршалы и в опере поют». Правда сие или вымысел?

Да, это была правда. Но Елагин с деланным возмущением, пристукнув тростью об пол, не задумываясь возразил:

— Это, мадам, злостная ахинея, чушь, анекдот досужих сплетников.

Екатерина, сразу подметив, что он, щадя Габриэльшу, врет, смущенно отвернулась от него.

Елагин собрался уходить, ссылаясь на появившуюся боль в ноге. Екатерина резко встряхнула лежавший на столе звонок. Мигом, как из-под земли, явились два изящно одетых молоденьких пажа и фрейлина.

— Проводите его высокопревосходительство до кареты, — приказала императрица.

Когда все удалились, она, приняв из рук Строганова очищенный апельсин, сказала:

— Он большой повеса, этот самый толстячок. Помесь селадона с сибаритом...

— Есть, мадам, смачное, круглое словцо: «бабник».

Екатерина рассмеялась:

— Бабник, бабник!.. Ах, как это чудесно, — и, достав золотой карандашик, записала в книжечку: «Бабник — сиречь по бабским делам мастер».

— Про таких господ пышнотелые субретки из простушек говорят: «Этот барин ерзок на руку», — наддавал жару краснобай Строганов.

Екатерина снова рассмеялась. Кончики ушей ее закраснелись, видимо, от смущенья перед Строгановым, она записала: «Ерзок на руку — сиречь в бабской стратегии имеет достодолжный натиск и проворство, раз-два-три».

— С тобой, Александр Сергеич, поведешься, многим фигуральностям и веселым терминам научишься.

— Да, матушка, это правда... С собакой ляжешь — с блохами встанешь, как говорится.

— А знаешь, мне, как в некотором разе сочинительнице, хотя и весьма посредственной, все эти простонародные словечки и присказки зело необходимы.

— Матушка! — воскликнул Строганов. — Да вы же...

— Помолчи, Александр Сергеич, знаю, что расхваливать будешь мои листомарательные опусы. А вот господин стихотворец Сумароков да журнальных дел мастер Новиков поругивают меня в своих статейках. Иной раз, черт их возьми, пребольно. Хотя я к ним, к этим диатрибам, особой обиды не питаю, а все русское, народное — былины, песни — я ценю не меньше, чем они. Вот я и пословицы собрать заказала Ипполиту Федоровичу Богдановичу...

— Собирание пословиц было бы осмотрительнее заказать актеру Чулкову, — сказал Строганов. — Он записывает пословицы и песни непосредственно из уст народа и не портит их.

Екатерина, выразив на лице мину притворного недоумения, подняла брови и проговорила:

— А знаете что... Я очень ценю как пиита Михайлу Попова.

— Попова? Но ведь они с Чулковым только готовые песни собирают.

— Попов и сам отменно изобретает их, — перебила Екатерина. — Я знаю две его песенки по образцу народных, я наизусть вытвердила их. Одна, «Ты бессчастный добрый молодец», даже певчими моими распевается.

— Вы, мадам, видать, обожаете народные песни?

— А ведомо тебе, при каких обстоятельствах я полюбила их? Как-то, еще будучи великой княгиней, я ночью прокралась в комнату тетушки, императрицы Елизаветы, прельстила меня песня: кто-то складно-складно пел чудным голосом. А пел ее наш милый Алексей Григорьевич Разумовский[1], бывший пастушок... Он поет, а чуть пьяненькая матушка Елизавета подшибилась рукой, глядит на него и плачет. Сцена — умиления достойна. И я-то едва-едва не расплакалась, столь складно, столь изумительно пел граф Разумовский. С тех самых пор я без ума от простонародной песни.

---

[1] Тайно венчанный супруг императрицы Елизаветы Петровны.

— Я ценю Попова более за его комическую оперу «Анюту», — почтительно выслушав Екатерину, сказал Строганов.

— Да, — возразила Екатерина, — но Вольтер сделал свою «Нанину» более тонко. А сюжеты обеих пьес сходственны.

Часы пробили одиннадцать. Императрица, привыкшая ложиться в десять и чем свет вставать, заторопилась. И только лишь показалась она в зале, как ее окружила блестящая свита, и она, привычно улыбаясь всем, двинулась во внутренние помещения Зимнего дворца.

Вскоре, пользуясь правом входить к царице без доклада, проследовал в ее покои Никита Панин с красным портфелем под мышкой.

8

Иван Сидорыч Барышников, подъехав к дворцу графа Шереметева, что на Фонтанке, прошел в графскую вотчинную контору.

Две большие чистые горницы разделялись на «столы», или на «повытья». Особый судейский стол, накрытый красным сукном, помещался за перилами; на нем — «Уложение о наказаниях», приказы и формы графских бумаг. На высоких стенах царские портреты, писанные масляными красками, и эстампы с изображением генералов. На большой стене возле стола вотчинного управителя — генеральная всех вотчин ландкарта. Через сени, за железной дверью — кладовая для хранения денежных сборов с крестьян и предприятий, рядом с ней караульня с большим комплектом вооруженной стражи, рассыльных и артельщиков; все они, как и все служащие в конторе, — крепостные Шереметева. Против караульни вход в архив.

Когда Барышников вошел в контору, все встали — бургомистр, приказчик, секретари и писари, поднялся даже сам вотчинный управитель. Все отдали Барышникову поклон, как известному по Петербургу богачу. Барышников удовлетворенно прикрякнул, склонил

в их сторону голову. Служащие сели, снова принялись скрипеть перьями, переписывая сводные ведомости, шнуровые книги. А управитель еще раз поклонился Барышникову и указал возле себя на стул. Управитель вотчинами, сухонький маленький старичок с приятным бритым лицом, Петр Иваныч Сывороткин, тоже крепостной Шереметевых, безвыездно жил в Питере, получал достаточное жалованье, выстроил в деревне многочисленной своей семье два хороших, под железом, дома и был собственной судьбой вполне доволен.

— Ну, а как ваш сынок-с? — улыбчиво спросил Сывороткин.

— А мой Ванька в шляхетском кадетском корпусе обучается. Через годика два, глядишь, офицером будет.

— Приятно-с. Очень, очень приятно слышать-с!

— А я к тебе, брат, Петр Иваныч! Присоветуй! — И, слегка пригладив ладошкой рыжие волосы, Барышников изложил управляющему цель своего приезда: он, изволите ли видеть, задумал приобрести себе, — конечно, на подставное лицо, — тысчонку-другую мужиков с землей, — так вот не присоветует ли ему Петр Иваныч, куда по таким делам податься, в какую губернию ехать? Да, может быть, и сам граф Шереметев уступит Барышникову участок из своей смоленской вотчины?

— Ведь я сам-то из Смоленской губернии, вот и хотелось бы обосноваться на родине.

— Да оно конечно-с, — подумав, ответил приятный старичок. — У их сиятельства и в Смоленской и в иных прочих губерниях деревеньки с землицей есть. Вознесенская, Мещериново, Братцево... да мало ли. Только навряд ли его сиятельство пожелает переуступить их. Однако стукнитесь к его сиятельству, авось договоритесь. А что касаемо адресочков разных господ, что, как я слышал, не прочь продать свою земельку, то... — Он вынул записную книжку из кармана своей серой куртки с золочеными пуговицами, на которых был изображен герб Шереметевых, и сказал: — Ну-с, вот вам бумажка, вот перышко, прошу записывать-с.

Выйдя из вотчинной конторы, Барышников заметил на стене коридора объявление и стал читать:

«Дворецкий его сиятельства графа Шереметева С. Л. Лакров продает сироп для делания бишофу. Цена бутылки 2 рубля, из коей выходит 12 бутылок бишофу».

— Интересуетесь? — окликнул его проходивший в контору дворецкий.

— Ох, голубчик, господин Лакров! — повернулся к нему Барышников. — Я у тебя сиропу бутылочек пять куплю. На-ка получи. — И он подал ему золотой. — Доложись, пожалуй, обо мне его сиятельству да не оставь словечко замолвить за меня. Я вот по какому делу... — Барышников кратко рассказал ему о своих хлопотах.

Граф Петр Борисыч Шереметев, или, как его прозвали за несметные богатства, Младший Крез, был не в духе. Сегодня в его великолепном дворце званый ужин. Да не какой-нибудь, не для одной вельможной знати, к которой чванный граф относился в душе с большим презрением, — на этом ужине будет присутствовать высочайшая особа — великий князь Павел Петрович. Может статься, и сама «матушка» пожалует.

И, как на грех, во всем Петербурге нет свежих устриц. Скандал! Без устриц великий князь за стол не сядет, приученный к сей гастрономической дряни старым чертом Никитою Паниным. Во все места, где только можно встретить модные сии моллюски, были посланы гонцы: в рыбный ряд, в рыбные лавки богатых коммерсантов, ведущих торговлю с заграницей, на купеческую пристань. Устриц не оказалось нигде... Вот так российская столица, черт бы ее драл!.. Устриц — и тех нет!

Высокий, тучный и несколько сутулый граф, с гладко причесанными на прямой пробор французом-куафером русыми волосами, шагал по кабинету. Серые глаза под высоко вскинутыми бровями были сердиты, маленький рот раздраженно кривился.

— Даже в Гостином дворе у Гирса нет. А у него уж всегда свежие каперсы, анчоусы, цитроны,

трюфеля и устрицы. У Форзелиуса и Генриха Шульца на Невском тоже нет. Ахти беда!

Граф запахнул табачного цвета бархатный халат и, скользя по изящным наборным паркетам мягкими сафьяновыми сапогами, спустился вниз, к парадному крыльцу, зашел в переднюю, что рядом с вестибюлем, сел под окно и стал смотреть сквозь стекла во двор, нетерпеливо поджидая вновь посланных по городу гонцов: авось каким-нибудь чудом удастся им добыть эти проклятые устрицы.

— Ну, прямо хоть ужин откладывай. Нет, сие дело невозможное. Ха, черт... Бывает же... Полцарства за бочонок устриц!

Степенно вошел в сером будничном полукафтанье старичок дворецкий. Он остановился в пяти шагах от графа, замер, гордое лицо его окаменело, он отчетливо, не тихо и не громко, произнес:

— Ваше сиятельство. Известный коммерческий предприниматель господин Барышников прибыл во дворец вашего сиятельства и просит вашу милость дать ему аудиенцию по наиважнейшему делу. Ожидает в приемной.

— Ах, Ванька Барышников?! Гони к черту!

— Слушаюсь! — И дворецкий, сделав недовольную мину и пожав плечами, направился к выходу.

— Впрочем, стой. Спроси-ка, нет ли у него устриц? Он пройдоха. Полцарства за бочонок устриц! И спроси, чего ему надобно?

Граф несколько повеселел. Вдруг Ванька Барышников, этот прожженный жулик, выручит. Вот бы!

Вновь явившийся дворецкий, притворно вздыхая и соболезнуя своему хозяину, заявил:

— Ваше сиятельство. Оный Иван Сидорыч Барышников просил вашей милости доложить, что он насмелился явиться к вашему сиятельству с самой нижайшей просьбой: не продадите ль вы ему тысячу крепостных крестьян с землею в одной из вотчин вашего сиятельства. Он мог бы даже купить до пяти тысяч мужиков...

— Что, что? — приподнялся с кресла граф. — Я?.. Ему?.. Крестьян?.. Ну, а устрицы?

— Устриц нет у него, ваше сиятельство... И не предвидятся. Он сам ищет для подарка Алексею Григорьевичу Орлову.

— Вон гони! — закричал Шереметев. — Я знаю этого каторжника. В три шеи гони! Ежели будет ко мне шляться, на конюшне выпорю! — Граф был в гневе. Большое круглое лицо его побагровело.

Дворецкий понуро шел к ожидавшему его Барышникову. Как же «посполитичнее» ответить этому выжиге? А то он, чего доброго, разгневается, да и золотой империал стребует обратно. О Барышникове дворецкий знал всю подноготную. Какой-то задрипа мещанишка из Вязьмы, он в Семилетнюю войну втерся к главнокомандующему графу Апраксину в доверенные. Как говорили злые языки, Апраксин получил взяточку от Фридриха II и велел Барышникову доставить в Питер несколько бочонков якобы с селедками, а на дне каждого бочонка было спрятано золото. Тароватый Барышников об этом пронюхал и, как прибыл из Пруссии в Питер, передал графине Апраксиной одни селедки, а золото же притаил. С того и в люди вышел. Эх, человеки! Божьего-то суда нет на вас, на подлецов...

Граф Шереметев, вдвое перегнувшись, недвижно сидел в кресле как истукан. Уголок рта подергивался в нервном тике. Граф чувствовал себя несчастным из несчастных.

Снова появился дворецкий. Он не вошел чинно, как всегда, он потерял весь лоск и выправку; патрицианское, со строгими чертами, лицо его утонуло в радостной улыбке — стало похоже на самое обыкновенное лицо какой-нибудь смеющейся бабки Феклы, и голос у него сделался пискливый, с петушиной прихлюпкой. Позабыв, что пред ним сам сиятельнейший граф, первейший богач во всей империи, он как полоумный завопил:

— Петр Борисыч, батюшка!

— Что? — вскочил граф Шереметев.

— Купец Шелушин к тебе, Назар Гаврилыч, твой крепостной...

— Ну? — И Шереметев от сладкого предчувствия перестал дышать. Перестал дышать и дворецкий. — Да говори же, черт тебя заешь!..

— Кажись, с этими самыми, как их... Тьфу!.. Память от радости отшибло.

— Да уж не с устрицами ли?

— Во-во-во! С ними.

Шереметев побежал к крыльцу, от радости он прихлопывал в ладоши: «Ура, ура!»

Назар Гаврилыч Шелушин, с аккуратно подстриженной темной бородкой, с живыми, быстрыми глазами, уже вкатывал дубовый бочонок на крыльцо.

— Назарка! Назарка! Черт, дьявол! — в веселом исступлении закричал Шереметев, бросился к купцу и стал обнимать его, как пропадавшего без вести и вдруг появившегося родного сына. — Ну, выручил, выручил! И откуда это бог тебя принес?

— Из Риги, ваше сиятельство! Только-только паруса спустил на своем кораблике... Да вот услыхал, что вы интересуетесь... Я мигом к вам. Свеженькие... Куда прикажете, в кухню?

— Пойдем, пойдем, пойдем... Кати сюда. — И Шереметев, подоткнув полы халата, сам стал помогать купцу катить бочонок. Сел в кресло, опрокинул бочонок вверх дном, велел подать бумагу и перо.

— Ты сколько мне, Назар, сулил, чтоб я тебя на волю выпустил?

— Двести тысяч серебром, ваше сиятельство, — склонив голову набок и, словно ласковый кот, заглядывая в глаза своему владыке, сказал сладким тенорком купец. — У меня, ваше сиятельство, три сына молодца. В двоих дворянские дочки влюблены, а третий сам в одну иноземку благородненькую втюрившись, извините. И ни одна невеста за крепостных рабов не идет замуж: ни дворяночки, ни иноземочка. А ныне дела моей фирмы, слава богу, хороши: лен, пеньку, да сало, да мед с добрым барышом продал в Риге. И согласен буду вашей милости за выкуп все триста тысчонок предложить.

Граф Шереметев, разложив бумагу на верхнем дне бочонка и не слушая купца, быстро писал. Затем по-

сыпал бумагу песочком из фарфоровой песочницы, поднял голову, взял бумагу за уголок и подал ее купцу:

— Получай, господин Шелушин, Назар Гаврилыч. Отныне вольный ты... Со всем родом твоим.

— Батюшка!.. Петр Борисыч!.. — И больше ни слова купец не мог вымолвить; он всплеснул руками, его рот скривился, нижняя челюсть затряслась. Но вот, передохнув, он забормотал: — А деньги, а триста тысяч... Я мигом...

— Мне сегодня устрицы дороже твоих денег. Понял?

Назар Гаврилыч рухнул графу в ноги.

В отдалении стоял старичок дворецкий. Наблюдая эту сцену, он тоже втихомолку хлюпал носом. Ему понятна была радость купца, но он не понимал поступка графа. «Мать-богородица! Бывают же такие сумасшедшие!.. Да он лучше сдернул бы с купца триста тысяч да этими деньгами бедность бы одарил. Мало ли несчастных на белом свете», — думал он горько.

4

Подрядчик, у которого работала артель Прова Лукича, оказался человеком бессовестным: зря налагал на землекопов штрафы, увеличивал часы рабочего дня, неаккуратно выплачивал деньги. Хлопоты дела не улучшили: полиция была подрядчиком подкуплена, отвечала на неоднократные жалобы отказом и застращиванием арестовать Лукича, а его артель, якобы неблагонадежную, выслать по этапу. Артель впадала в нищету, в отчаянье, и вот уже целую неделю питались люди водою и хлебом.

Митрий после трезвого зарока крепился долго, работал со всем усердием, но, когда начались неприятности с подрядчиком, он, как говорится, соскочил с зарубки и запил горькую. Однажды вечером будочник приволок его пьяным и в совершенно голом виде. Матрена, взглянув на него, ахнула, всплеснула руками и заплакала. Артель купила Митьке новую рубаху за

восемь копеек, новые штаны из казинета за четырнадцать копеек и липовые лапти за копейку с грошом.

Во многих других артелях столицы тоже было не лучше. В летние месяцы от плохого питания стали развиваться желудочные болезни, рабочие умирали в больницах, а главным образом по убогим своим квартиренкам — в подвалах, сараях, на баржах. Умерло двое и в артели Прова Лукича.

Строительные рабочие, встречаясь в трактирах, кабаках и живопырках, узнавали друг от друга о житье-бытье столичного работного люда. Из разговоров было ясно, что далеко не все подрядчики такие живоглоты, как подрядчик артели Прова Лукича, или богачи, первостатейные купцы Долгов, Митрясов, Кошкин и другие. Наряду с ними были подрядчики и добросовестные, вроде купца Барышникова. Хотя и они старались выжать из рабочих всю силу, но разорять их вконец считали делом безбожным, хлопотливым и, главное, для себя невыгодным: пойдет про них худая слава, и на следующий год опытных рабочих, пожалуй, пряниками не заманишь к себе.

Эти встречи и разговоры в конце концов привели к тому, что в одном из трактиров какой-то пропившийся стрюцкий состряпал от четырех тысяч рабочих жалобную бумагу на имя самой императрицы. А через неделю, в праздник, двести пятьдесят человек выборных двинулись к Зимнему дворцу.

Их ко дворцу не допустили, они остановились на площади и взорами, полными надежды, влипли в окна величественного здания. Как только появлялась в каком-либо окне женская фигура, вся толпа падала на колени, кланялась, вожак потрясал бумагой. Фигура быстро исчезала. Так, принимая показавшуюся в окне женщину за матушку царицу, толпа трижды валилась на колени. К ним вышел из дворца некий бритый барин и стал на ломаном языке что-то разъяснять, шуметь и ругаться. Из толпы заорали:

— Чего он лопочет, немецкая морда! Пущай русского пришлют...

На смену немцу явился молодой, статный офицер. Он ласково сказал:

— Вы что, братцы? Вы, видать, с какой-то просьбой к ее величеству? Государыни в столице нет, она имеет пребывание в Царском Селе. Только я не советую вам туда ходить: подавать прошения в руки государыни запрещено. Вы оставьте свою бумагу в канцелярии по приему прошений, на высочайшее имя приносимых.

Толпа, состоявшая из бледных, испитых оборванцев, присмирела. Первым заговорил высокий скуластый плотник:

— Милай!.. Ваше благородие! Ты погляди, в какую последнюю нищету пришли мы?.. Стыдобушка по городу пройти.

Едва он проговорил это, как из переулка показался большой наряд конной полицейской стражи. Толпа разбежалась, но, по условию, снова собралась на Сенном рынке. Решили, не откладывая, сейчас же идти в Царское Село. Дошагав до Пулковских высот и свернув влево, они вскоре увидали густо поросшую зелеными парками возвышенность и сверкавшие над зеленью пять золотых главок дворцовой церкви. В конце Кузьминского поселка их встретила у Царскосельской заставы рота гвардейских солдат.

Между столицей и Царским Селом, через каждые пять верст, стояли сигнальные вышки. С вершины их — днем флагами, а с наступлением темноты условными огнями — столица могла переговариваться с Царским Селом. Очевидно, о походе артели в императорскую резиденцию было своевременно сигнализировано. Комендант, в предотвращение беспорядков, поспешил дать ходокам отпор. Он подлетел к ним на рослом коне и браво гаркнул:

— Куда прете!.. Разойдись!

Изможденные двадцатипятиверстным переходом, мужики едва держались на ногах.

— Ваше благородие, милостивец! Допусти, ради создателя, до матушки, просьбицу охота ее милости вручить, — завыли они в голос и направились было вперед.

— Осади, лапотники, осади! — заорал комендант, он подскакал к своим гвардейцам, махнул им рукой.

и те, опустив ружья со штыками, железным шагом двинулись на оторопевших ходоков. Артель, оробев, попятилась с ругательствами, криками:

— Братцы! Это что же, погибать?! Где правда, где бог? До матушки не допущают...

А кучка смельчаков, свернув с дороги, в отчаянье побежала в улицы Царского Села. Но все тотчас были переловлены подоспевшим казачьим разъездом. Был схвачен и пьяница рыжебородый Митька.

Все арестованные были впоследствии судимы как бунтовщики. Суд постановил выдрать виновных плетьми, посадить на полгода в тюрьму, затем выслать этапным путем на родину.

Многие тысячи строительных рабочих, узнав о царскосельском происшествии, пришли в волнение. Возгорались бунтишки, мелкие перетырки с полицией, было в разное время убито из мести три десятника, два приказчика и управляющий, еще пропал без вести управитель подрядчика-живодера купца Долгова.

Встречаясь в корчмах, банях, а то где-нибудь за городом, в лесочке, сезонники говорили:

— Наперло нас со всей России дворцы да палаты им, гадам, строить. А нам-то какая корысть? Ни с чем сюда пришли, ни с чем и домой вернемся.

— До царицы не допущают, вот что ты толкуй.

— Кабы велела, так допустили бы, беспременно бы допустили. Это она сама препон кладет.

— Видать, страшится мужиков-то...

— Вестимо, страшится. От мужика чижолый дух идет, а она, толстомясая, приобыкла с гвардией гулять... Чаи, кофеи, пампушки...

— Третий ампиратор, Петр Федорыч, этак-то не делывал. Он мужика берег, а гвардию-то, слыхать было, по шерсти не гладил.

— Вот за это самое Орловы-графья, жеребчики-то матушкины, и повалили его.

— Пойдемте-ка, братцы, всем скопом в Александро-Невский монастырь панихиду по нем, по батюшке, служить пред гробом его.

— Эх, и дураки вы, братцы! — прозвенел надсадный, с хитрой подковыркой, голос. — Да нешто по живому панихиду служат?

— А и верно! — спохватились мужики. — Есть слых, быдто жив-невредим он, батюшка наш.

— Есть, есть, мужики... Эвот анадысь какой-то старичок солдатик на работе к нам подсел да сказывал, что-де...

И зачались и потекли из уст разные были-небылицы, слухи, домыслы, общий смысл которых: «Император Петр III жив, скрывается до поры в народе».

Но никто еще в столице путем не знал о суровых событиях, начавшихся на Яике.

ГЛАВА III

Гроза надвинулась. «Встань, сержант!..» Первые казни

1

В Яицком городке [1], возле палат коменданта, резко бил барабан. Это означало: офицерам и старшинам немедленно собраться в комендантскую канцелярию.

Было 19 сентября 1773 года. Семь часов утра. Косые лучи осеннего солнца пронизывали кисейные занавески на окнах, ложились по крашеному полу золотистыми квадратами. В одном из таких квадратов сидел четырехлетний голоногий мальчик в одной исподней рубашонке [2]. Толстощекий, пышненький, он лепил из хлебного мякиша солдатиков и лошадок. Возле него стояло на полу блюдце со сметаной. Мальчик попыхтит, попыхтит, да и лизнет сметанки.

— Барабан... чу, барабан, батенька! — прокартавил он и, бросив мякиш, посмотрел на отца снизу вверх.

---

[1] В 1775 году, после подавления восстания, переименован в Уральск, а река Яик — в реку Урал.

[2] Будущий знаменитый баснописец И. А. Крылов.

— Да, брат Ваня, барабан, — сказал отец и заторопился. — Давай, давай, мать!

Это Андрей Прохорыч Крылов, капитан. Он плотный, короткошеий, в темной рубахе с расстегнутым воротом и босиком. Волосы белокурые, длинные; он заплетает их в косичку с бантом, как положено артикулом.

— Черт бы их драл-то! Пожрать не дадут! — брюзжал он, отодвигая от себя сковородку с недоеденной жареной рыбой.

Из-за перегородки, где топилась русская печь, стремительно вышла смуглая, раскрасневшаяся у печки капитанша и поставила перед мужем кучу горячих пряженчиков на оловянной тарелке, а следом за ней девочка-калмычка несла в глиняной кружке чай, вскипяченный в чугунке.

— Полно-ка, не торопись! Не на пожар, успеешь, — сказала капитанша мужу и велела девчонке принести из спальни шпагу, мундир и сапоги капитана.

Вслед за девчонкой бросился и Ваня. Он притащил отцу шляпу, широкую шелковую опояску и офицерский знак.

Андрей Прохорыч смачно жевал сдобные пряженчики, посматривая через окно на улицу. По пыльной дороге шагал, как цапля, долговязый сержант, за ним, застегивая на ходу мундир, поспешал кривой старшина. В церкви наискосок благовестили к ранней обедне.

— Батенька, не ходи на улку, — сказал Ваня. Он стоял у стола, положив подбородок на столешницу, нос и щеки у него в сметане. Захлебываясь и стараясь подобрать слова, мальчик лепетал: — Там, батенька, Пугач... У-у, какой... Страшный-престрашный!

— Ты чего это разболтался?.. Какой такой Пугач?

— Царь это.

— Ах ты, дурак этакий, ососок!.. Вот погоди, я-те дам царя... Мать, умой его да подай-ка сюда плетку...

Ваня взглянул на хмурое лицо отца, сорвался с места и прытко удрал через сенцы в спальню. Он плетки не боялся, его всегда стращают, а не бьют. Он

пуще всего не любил умываться, особливо с мылом... Ой, ты! глаза больно щиплет. Нет, уж лучше под кровать залезть, там и притаиться: поищут-поищут, да и плюнут. Нет уж, пусть сами умываются, а я еще маленький!

Вошел денщик, старый хромой солдат с косичкой, под мышкой щетка, в руках начищенные, в заплатах, сапоги.

— Ну, что слышно, Семеныч? — спросил денщика Крылов.

— Идет, ваше благородие... В окрестностях показался, — натягивая на барина сапоги, зашамкал Семеныч. — Еще утресь, до зорьки, бекетчики наши на сопке солому жгли, знак давали, — стало, идет злодей, идет нечистая сила...

— Ха! А мы-то ищем его по степу целый месяц. Слых есть, а где он, неумытая образина, поди знай... Из казачишек клещами не вытянешь. А вот оказывается, что он и сам идет. Да полно, не врут ли?

— Пошто врут! Истинная правда, ваше благородие. Вчерась трое калмычишек на базар прискакали, бучу подняли: «Айда царю встречу, бачка-осударь войной прет!»

— Пускай прет, не шибко-то испугаемся: ворота на запор, да и к пушкам... А ты, старый болтун, помалкивай, — рассеянно сказал Крылов и, наскоро перекрестившись, вышел на улицу.

Проводив барина, Семеныч потоптался, спросил хозяйку:

— А как же с базаром-то? Идти ли, нет ли?

Капитанша подхватила с лавки корзину.

— Иди, иди. Мяса купишь, осетринки. Да штоф красного уксуса не забудь, — и дала ему на покупки двадцать копеек медью. — Смотри, поскорей приходи... Чегой-то боязно...

— Да не страшись, матушка... У нас сила, а у него чего? Только бы поближе подманить окаянного. Враз схватим!

Денщик ушел, и капитанша опустилась в камышовое кресло и, страдальчески сложив брови, устремила растерянный взор в передний угол, где полочка

с дешевыми, покрытыми фольгой, иконами, с черствой просвиркой и пучком вербы от «страстей господних». Сердце женщины замирало.

— Матушка-богородица, отведи грозу, спаси, помилуй воина Андрея да младенца Ивана, — шептала она.

— Ну, кого же тебе, старшина, в помощь дать? — обращаясь к кривому Окутину, говорил комендант Яицкой крепости, полковник Симонов. — Ну, скажем... Крылова, капитана... Да вот он и сам легок на помине... Поздненько, поздненько, барин. У нас горячка, а ты...

— Винюсь, господин полковник. Не чаял столь ранней тревоги, — вытянулся посреди канцелярии Крылов.

— Ладно, садись.

Широкоплечий, коренастый Крылов неуклюже уселся рядом с молодым сержантом за длинный, накрытый красным сукном стол. Возле подтянутого, узкоплечего и сухого Симонова устроился толстый, лохматый, брыластый, с опухшими от пьянства глазами войсковой старшина — полковник Мартемьян Бородин. Он дышал тяжело и подремывал: вчера всю ночь прогулял у кума на крестинах. По другую руку Симонова сидел хмурый секунд-майор Наумов. Остальные офицеры и младшие старшины — кто за столом, кто возле стен, на обитых сукном лавках.

С простенка меж окон глядела на всех улыбчивая Екатерина в золоченой раме.

— Стало, ты, господин Окутин, набрав конных казаков с сотню али больше, выйдешь в поле вместе с отрядом секунд-майора Наумова, в коем отряде быть двум либо трем некомплектным ротам пехоты, — отчетливо говорил Симонов. — Приказываю изыскать способ злодея схватить, толпу разогнать. А как настроение казаков?

— Сумнительное, господин полковник.

— Старайся в отряд набирать казаков, к службе нерадивых, образом мыслей вольных. У меня особой

надежды на них нет. Ежели и передадутся злодею, жалеть не буду, без них воздух чище станет. А старшинской стороны казаков покамест не тревожь, они нам пригодятся; еще неизвестно, как обернется дело-то. С богом, Окутин!.. Не зевай, гляди в оба! — закончил Симонов и, посмотрев в одноглазое лицо Окутина, смутился.

Обиженный словами Симонова — «гляди в оба» — Окутин наморщил лоб и сел.

— Ну-с... За сим... сержант Николаев!

Тот поднялся, высокий и поджарый. На молодом, сильно загорелом лице со светлыми, песочного цвета усами выражение растерянности и тревоги.

— Тебе предстоит задача многотрудная. Возьмешь у подьячего восемь опечатанных конвертов и на пути в Оренбург развезешь их по форпостам. А конверт за сургучными печатями — лично губернатору Рейнсдорпу. Конверты береги, они с важным оглашением о воре Емельке Пугачеве, похитившем имя покойного государя Петра Третьего. Сбирайся в путь, брат Николаев, незамедлительно.

Сержант поклонился и вышел. Вся его стройная фигура как бы надломилась, на лицо набежала тень.

Симонов позвонил. Два гайдука с нагайками через плечо ввели калмыка. Три дня тому назад его схватил в степи казачий разъезд старшины Окутина. Глаза у калмыка раскосые, злые, усы и бородка реденькие.

— А ну, молодцы, вытяните его вдоль спины покрепче! — хрипло выкрикнул дремавший перед тем Мартемьян Бородин.

Гайдуки крест-накрест ударили калмыка нагайками.

— За что, собак кудой, бьешь? — ощетинился тот.

— Тебя не бить, а убить надобно, — буркнул старшина Окутин и покосился на Симонова.

— Отвечай, Аманов, — резко заговорил Симонов, — какие дары вчера получил вор Пугачев Емелька от киргиз-кайсацкого Нур-Али-хана?

— Осударь принял от хана коня да седло с бешметом, — помолчав, откликнулся калмык.

— Какой государь? — ударил кулаком в стол Симонов, и большой шрам на его щеке потемнел. — У нас государя нет, есть государыня.

— А ну, всыпать! — махнул Мартемьян Бородин гайдукам и понюхал из тавлинки табаку.

Гайдуки принялись было стегать калмыка, но Симонов их остановил и, обращаясь к Бородину, произнес сквозь зубы:

— Полковник Бородин, допрос веду я... И... прошу не вмешиваться!

Окутин, достав из сумки, подал Симонову две бумаги:

— Оба эти письма калмык Аманов вез от злодея к Нур-Али-хану. Одно по-русски, другое по-калмыцки.

Отхлебнув из стакана воды, Симонов громко огласил:

— «Я ваш милостивый государь Петр Федорович. Сие мое именное повеление киргиз-кайсацкому Нур-Али-хану для отнятия о состоянии моем сомнения. Сегодня пришлите ко мне вашего сына Салтана со ста человеками в доказательство верности вашей с посланным сим от нашего величества к вашему степенству ближним вашим Уразом Амановым с товарищами. Император Петр Федорович».

— Как ты появился возле злодея Пугачева? — спросил Симонов, комкая в кулаке послание самозванца.

— Я прибыл вместе с муллой Забиром от Нур-Али-хана к осударю с дарами, — ответил через переводчика все еще озлобленно Аманов.

— Кто писал сие гнусное письмо?

— Ваш казак Болтай, Идоркин сын.

— А ты знаешь Идорку? — спросил Симонов.

— Он у меня бабу украл, жену мою.

Тучный Мартемьян Бородин хихикнул, зачихал в платок.

— Где ты встретил злодея Емельку Пугачева?

— Осударь вчера находился ниже Чаганского форпоста. При нем яицких казаков триста душ. Осударь сюда идет...

Офицеры и старшины переглянулись.

— Уведите его... Набить колодки и — в подвал! — выкрикнул комендант Симонов и, опершись кулаками в стол, поднялся.

2

Глазастый молодой казак крикнул со сторожевой вышки Чаганского форпоста:

— Государь с толпой показался!

Казаки, старые и молодые, вылезли из своих плетеных, обмазанных глиной шалашей и, защищаясь ладонями от утреннего солнца, воззрились в степь. Там, в клубах пыли, двигались всадники.

Чаганский форпост, как и прочие форпосты Оренбургской линии, являлся одним из защитных пунктов против набегов калмыков и киргизов. Форпосты и пикеты строились на один манер, они имели вид маленькой крепостцы: невысокий земляной вал, сторожевая бревенчатая вышка, несколько шалашей, чугунная старая пушка да человек двадцать казаков.

Костер горел. В котле кипела баранья, с пшеном, похлебка. У корыта, засучив рукава, старый казак стирал белье. Возле котла, принюхиваясь и пуская слюни, вертелась черная собачонка.

К стоявшим на валу казакам, отделившись от толпы, подскакали три всадника. Один из них крикнул с седла:

— Признаете ли государя Петра Федорыча? Вот он самолично шествует с верным воинством своим к Яицкому городку — спасать всех казаков от лютыя напасти.

— Признаем! Давно поджидаем батюшку, — с готовностью откликнулись казаки. — Ой, да, никак, это ты, Чика?

— Я, — ответил Зарубин-Чика. — Сколько вас здесь? Шастнадцать. Седлайте коней, теките к государю. Да не мешкайте! — И всадники поехали дальше.

Вскоре группа казаков Чаганского форпоста подошла на рысях к стану Пугачева.

— Здорово, детушки! — поприветствовал Емельян Иваныч соскочивших с коней молодцов.

— Рады служить тебе, ваше величество! — закричали казаки.

— Съединяйтесь, детушки, с моим воинством. Будете верны мне, государю, — ласку мою восчувствуете, стану льготить вас, а отстанете от меня — смерть примете. С изменниками я крут!

— Твои рабы, ваше величество! — вновь закричали казаки и повалились на колени. — Не вели казнить, вели миловать.

— Встаньте, детушки! Я ваш отец и царь ваш, — ласково произнес Емельян Иваныч.

Казаки поднялись и с любопытством стали присматриваться к государю. Не высок, не низок, в плечах широк и мясист, а в талии поджар. Полнощекое строгое лицо в густой черной бороде с легкой проседью; волосы подрублены по-кержацки, под горшок, на лоб зачесана подстриженная челка; меж крутыми пушистыми бровями нет-нет да и врубится глубокая складка. Глаза темные, жаркие, пронизывающие: встретишься взором с ними и — мимовольно дрогнет сердце. Одет батюшка не по-царски, просто. На нем тканный из верблюжьей шерсти поношенный бешмет, подпоясанный шелковым кушаком с кистями, на голове мерлушковая с красным напуском шапка-трухменка. Поди у батюшки и царская сряда есть, да он, видать, бережет ее, в походы-то не надевает: эвот пылища какая по дорогам, по сыртам.

Пугачев взад-вперед расхаживал по луговине. То смотрел в землю, то вскидывал голову, пристально вглядывался в побуревшую степь, в какое-нибудь показавшееся пыльное облачко. Иногда он сердито сплевывал сквозь зубы.

Уже несколько форпостов с охотой передались новоявленному императору. Присоединялись к его толпе и казаки, жившие на зимовьях или скрывавшиеся в бегах от преследования коменданта и старшин.

Пугачев старался казаться довольным таким успешным началом, но душа его была неспокойна: предвиделось много трудностей. Впереди Яицкий городок с полковником Симоновым, Оренбург с гене-

ралом Рейнсдорпом, — впереди вся жизнь, окутанная грозовым туманом.

Вот, по команде царя, все вскочили в седла и тронулись в путь-дорогу. Рядом с Пугачевым ехал чернобородый, с темно-бронзовым, как у грека, лицом Зарубин-Чика. Нос у него большой, горбатый, глаза быстрые, веселые. Громкоголосый Чика никогда не унывает. Вот и сейчас он старается развлечь государя, чтоб в дороге не скучал, но тот через плечо смотрит на него и говорит:

— На Яицкий городок войной идем, а пушек у нас черт-ма...

— Да, пушек маловато, а кои с форпостов поснимали, пять штук, так нешто это пушки? Из них очумелую собаку не убьешь.

— Да-а, — раздумчиво протянул Пугачев. — Ежели б у нас батарейки на две добрых пушек было, ну тогда, как говорится, отойди-подвинься. А при пушках чтоб бомбардиры ухватистые... Да ведь возле пушек-то я и сам могу орудовать, дело бывалое.

Он вспомнил про свой поход в Пруссию, где вместе с донцами сражался в молодых годах против войск Фридриха II. Вспомнил и про старого бомбардира Павла Носова, с коим водил на той войне дружбу. «Эх, где-то ты теперь, родимый старичок? Жив ли?» — подумал Емельян Иваныч и, вздохнув, молвил:

— Вот ужо, как скопим силу, на уральские заводы доверенных людей учнем спосылывать. Пушки там заберем, новые лить будем. Тамо-ка, слыхал я, знатецы по пушечным делам имеются.

— Да уж это так... Лишь бы нам народом обрасти. Не торопись, батюшка. Ведь ты и в царях-то третий день ходишь. Выступили мы семнадцатого, а сегодня... девятнадцатое сентября.

— Нет, Чика, поспешность не вредит, — возразил Пугачев. — А ведь, слышь, артиллерия — дело великое, Чика. На Яике из пушки вдарить — по Москве да по Питеру гулы пойдут. Ась? — И Пугачев похитрому прищурился на Чику, отчего лицо его из сторожко сурового сделалось простым и по-мужичьи добродушным.

— Да уж... Чего тут, — проговорил Зарубин-Чика и, указав рукой вперед, добавил с облегчением: — А вот и городок наш на виду, ваше величество. Эвот кресты-то взблескивают на солнышке.

Церковные кресты сияли в далеком мареве, солнце спускалось, чистое небо голубело над головами. Пугачев раздумчиво молчал.

— Не пора ли привал, ваше величество, да поснедать... — опять сказал Чика, и вся толпа по знаку Пугачева остановилась.

В тороках у казаков и в телегах были туши баранов, живые, связанные попарно куры, хлеб, сало. Стали разводить костры. И в суете не заметили, как к стану подкатила бричка с рогожным верхом. Ее конвоировали двое верховых казаков.

— Вылазь! — крикнул один из конвоиров. — Чика, примай! Барина пымали.

Из брички угловато стал вылезать долговязый бледный сержант Дмитрий Николаев.

Колченогий возница соскочил с облучка и попросил у рыжеусого казака Давилина покурить. А сержанта подвели к сидевшему на пне Пугачеву.

— Откуда, кто таков? — подбоченясь, спросил пленника Пугачев.

Сержант, руки по швам, назвал себя и добавил, что послан комендантом Симоновым вплоть до Астрахани курьером.

— Подай сюда бумаги, что с собой везешь.

— Бумаг у меня не имеется, — дрогнувшим голосом проговорил Николаев. — Послан словесно упредить на форпостах, чтоб не дремали, потому как по левому берегу Яика орда показалась.

Пугачев, чувствуя на себе ожидающие взоры казаков и приставших к его толпе крестьян, колебался: как ему поступить с сержантом из вражеского лагеря? А вот как... Ведь он, Пугачев, царь среди своего народа, — стало быть, его ответ сержанту должен быть словом государственным.

— В таком разе, ежели ты по казенному делу, то поезжай, — веско сказал Пугачев. — Ежели насчет орды, так это дело нужное, государственное.

Сержант Николаев поклонился, четко сделал налево кругом (Пугачеву понравилась выправка его) и, переполненный радостью, что спасся от гибели, поспешил к кибитке. И только лишь занес он ногу, чтоб сесть, как сильная рука казака Давилина цепко схватила его за шиворот.

— Стой, изменник! А это что? — И Давилин сунул в лицо Николаеву восемь опечатанных пакетов. — Возница-то твой не столь крив душой, как ты. Пока тебя государь опрашивал, возница-то из твоей сумки указы симоновские выпростал... Марш к государю!

Трепещущий Николаев снова предстал перед Пугачевым.

— Что скажешь, друг? — тихо, без злобы, скорее насмешливо спросил Пугачев.

Николаев стоял ни жив ни мертв, низко опустив голову.

Давилин вручил государю пакеты и обо всем торопливо сказал ему. Пугачев повертел пакеты и передал их своему молодому секретарю, Ване Почиталину:

— Читай в гул, появственней!

Выслушав, Пугачев разорвал бумаги и ледяным голосом сказал окружающим:

— Что ж Пугачева ловить? Пугачев сам в городок идет. И коли я — Пугачев, как они облыжно называют меня, так пусть словят и в цепи закуют. А ежели я истинный государь, должны они с честью встретить меня. Дураки, изменники!.. Государя своего с каким-то беглым казаком спутали... — Он прихмурился и, не глядя на казаков, обратился к пленнику: — Пошто же ты обманул, сержант, государя своего? Пошто правды враз не сказал нам? Давилин! Вели-ка приготовить молодцу перекладинку...

Прямой и тощий Николаев неуклюже взмахнул локтями и пал Пугачеву в ноги:

— Винюсь пред вашим императорским величеством!.. Убоялся, смалодушничал. Верой и правдой служить буду... помилуйте!

— Не слушай его, батюшка, он те наскажет!.. — кричали казаки от старой ветлы, перекидывая через ее сук аркан с петлей.

— Брось галдеть! — порывистым взмахом руки остановил Пугачев казаков. — В животе да в смерти не вы, люди подначальные, а один бог волен да я, государь. Встань, сержант! Милую тебя, служи мне верно!

И, обратясь к притихшим казакам, продолжал:

— Господа, войско казацкое! Он человек в военном артикуле грамотный, пускай вам, а такожде и мне, государю вашему, служит. Без знающих людей царскому величеству быть не подобает. Секретарь! Мы, божиею милостью, определяем сержанта Николаева для начала в помощники тебе...

— Слушаю, ваше сиятельство! — тряхнув льняным чубом, выкрикнул голубоглазый юноша Ваня Почиталин.

Все бывшие при этом случае казаки, татары и крестьяне, чувствуя над собой сильную руку «батюшки», пришли в радость. «Батюшка» справедлив, «батюшка» гневен, да отходчив, уж он-то умеет защитить их, надо крепко держаться за царскую его полу.

Казаки на цыпочках ходили возле «батюшки», говорили друг с другом вполголоса, сторожко поглядывали на своего государя: не моргнет ли глазом, не соблаговолит ли приказать чего.

А несчастный сержант все еще трясся, не попадал зуб на зуб. В его раздернутом сознании беспорядочно мелькали Симонов, семья, товарищи, перекинутый чрез сук аркан, в клочья изорванные казенные пакеты. «И этот бородатый детина, с черной грязью под ногтями, с выбитым, надо быть, в пьяной драке, передним верхним зубом, — царь... Господи помилуй!.. Да уж не сон ли все это?.. Всемилостивая государыня Екатерина Алексеевна, пощади подлого раба своего, долг свой нарушившего!» — вскидывая глаза к голубому небу, вздыхал он.

Обедали в лощине, опоясанной древними кудрявыми ветлами. Проворный татарин-толмач Идорка едва успел подать «батюшке» лучший кусок баранины с чесноком, как с караулистого дерева, что на поляне, скатился толстогубый, чубастый Ермилка. Он прытко подбежал к пятерым своим товарищам, в сторонке от компании хлебавшим из котелка рыбную щербу. Те,

побросав ложки, вмиг вскочили на коней. И вот полдюжины всадников помчались по степи к дальним, верстах в трех, кустам.

Обед продолжался. На Ермилку с товарищами мало кто обратил внимание. А меж тем отряд Ермилки, разбившись надвое, летел во всю скачь, одни поправее, другие полевее, чтоб отрезать какому-то безвестному всаднику путь к отступлению. Пред этим всадником бежал что есть силы некий человечек. Вот он с маху опрокинулся на землю, — удавка поймала его за шею; а как только всадник подскакал к нему, человечек, освободившись от петли, опять побежал. Всадник в момент настиг его и дважды вытянул нагайкой. Человечек пронзительно закричал и, выхватив нож, бросился на всадника. Тут на них с двух сторон наскакали казаки.

— Хватай! — И Ермилка ловко поймал за узду чужого коня, во всаднике он узнал молодого казака Скворкина. — Скворкин, долой с коня, Тимоха, залазь...

Тяжело дышавший Тимоха Мясников, бросая ненавистные взгляды на своего обидчика и ругая его, устало залез в седло. Скворкину связали назад руки и, понуждая нагайками, повели меж двух коней к стану.

Когда Мясников, соскочив с коня и сорвав шапку с головы, стал подходить к государю, тот, сидя по-татарски на ковре, аппетитно ел баранину. Мясников забежал пред его лицо и повалился в ноги.

— Здравствуй, раб мой верный, казак Мясников, — покровительственно сказал Емельян Иваныч, сразу узнав знакомого ему Тимоху Мясникова. Наскоро облизнув пальцы, он вытер их об рушник и подал казаку руку для лобызания. — Где был? Что видел?

— Ой, батюшка, ваше величество, — часто взмигивая, словно собираясь заплакать, начал обычной своей скороговоркой краснощекий с беловатой бороденкой Тимоха Мясников. — В кустах, батюшка, хоронился от комендантских сыщиков, в кустах да по трясинам... А вот сволочь, старшинский казачишка, таки скрал

меня. — И Тимоха мотнул головой в сторону Скворкина.

В некотором отдалении стояла группа молодых казаков, среди них Ермилка и только что изловленный Скворкин. Все с обнаженными головами, один Скворкин в шапке.

Угрюмо покосившись в их сторону и заметив связанного по рукам молодца, Пугачев внимательно вслушивался в слова Мясникова.

Тимоха опять слезливо замигал, шумно высморкался и, утираясь подолом рубахи, закончил тенорком:

— Этот высмотрень нагайкой меня сек да орал мне в уши, чтобы я сказывал, где царь приблудный и сколько за собой он силы ведет? Бородиным Матюшкой гад этот подослан выслеживать за тобой, батюшка...

— Господа казаки, подведите его ко мне да развяжите ему руки, — проговорил Пугачев, кивая головою на изловленного старшинского прихвостня.

Тот был опрятно одет, на ногах новые, расшитые шелком татарские сапоги с загнутыми носами. Ермилка, крикнув: «Долой шапку!» — дал ему затрещину, шапка слетела в кусты.

— Ая-яй, ая-яй, — глядя в упор на Скворкина и покачивая головой, начал Пугачев. — Смотрю я на тебя и дивлюсь: замест того, чтобы мне, государю, служить, ты умыслил против меня шпионничать. Уж лучше бы дома сидел, а шпионить-то меня пусть бы кто другой ехал, постарее да посмышленей тебя. Экой дурак ты!

И уже большая толпа собралась вокруг «батюшки». Казаки хотели подать свой голос, чтобы казнить сыщика, да побоялись, как бы государь опять не прогневался на них. Однако Давилин и Дубов перебивая один другого, говорили:

— Подлинно он плут... Прикажи, надежа-государь, повесить гаденыша... Батька его завсегда обиды нам творил. Да и сын не лучше батьки смертный оскорбитель и обидчик наш...

— Прикажи, ваше величество, вздернуть гада! — осмелев, закричали казаки. — Самый мерзопакостный

он, даром что молодой... Ишь глазищами-то зыркает, словно змея из-за пазухи!..

Парень и впрямь косил во все стороны желтовато-рыжими глазами, как бы собираясь броситься в кусты. И никакого внимания «батюшке», хотя бы слово молвил, хотя бы голову перед царем склонил.

Пугачев поднялся, заложил руки за спину, раз-другой прошелся по ковру, сказал глухо, но крепко:

— Что ж, господа казаки... Ежели не люб он вам...

Он не договорил, но казаки поняли его царскую волю и поволокли молодца к старым ветлам.

8

Секунд-майор Наумов, перейдя со своим отрядом через реку Чаган и выставив возле моста две пары пушек, дальше не пошел. Верстах в трех от него маячили пугачевские всадники, толпились люди. Наумов приказал старшине Окутину двинуть вперед сотню казаков, чтобы разведать силы врага.

Окутин боялся далеко отходить от пехоты и пушек, он не надеялся на верность своих казаков: войсковые шпионы еще вчера упреждали его, что промеж дурных казачишек мутня идет. Сотня Окутина, вместе с бывшим при ней капитаном Крыловым, остановилась.

Вдруг со стороны пугачевцев показался казак, он высоко держал над шапкой бумагу. Крылов и Окутин двинулись ему навстречу.

— Указ... указ государя! — голосил всадник и, подскакав к Окутину, вручил ему пакет. — Государь приказал прочесть всем... на голос!

— Какой такой государь? — закричал Окутин.

Но казака уже и след простыл. Окутин, не читая бумаги, сунул ее капитану Крылову, тот спрятал бумагу в карман.

— Что ж вы не читаете? Читайте, что там писано... — загалдели казаки.

— Молчать! — прикрикнул Окутин. — Не ваше дело!

— А чье же, как не наше? — вызывающе проговорил пожилой казак Яков Почиталин. — Братья казаки, требуй!

Поднялась словесная перепалка. Окутин с Крыловым, оробев, дали сотне приказ отступать к отряду Наумова. Но в кучке влиятельных казаков Андрей Овчинников, Яков Почиталин, Лысов, Фофанов во весь голос дружно закричали:

— Кто государю служить готов, айда за нами!

И больше сотни казаков, вскинув над головами ружья и пики, умчались по направлению к стану мятежников.

— Пропало Войско Яицкое, — в унынии сказал Окутину капитан Крылов. — Уж раз измена завелась, так пойдет!

Казаки-пугачевцы встретили перебежчиков, ликующими кликами. Ваня Почиталин, усмотрев среди подъехавших всадников своего отца, бросился было к нему со всех ног, но, вспомнив, что есть он у государя персона, сразу придал себе солидность и, подойдя к родителю, важно, со степенностью сказал:

— Здравствуй, батенька... Всё ли здоров?

И когда Яков Митрич прижал сына к груди и трижды с родительской нежностью поцеловал его в вихрастую голову, в лоб и в губы, секретарь государя скривил рот и всхлипнул.

Между тем Пугачев с едва скрытой радостью принимал верных слуг. Все они, сдернув с голов шапки, стояли на коленях.

Увидав среди них плешивого Митьку Лысова, Пугачев несколько омрачился. Не нравился ему этот низкорослый, хитрый, с козлиной бороденкой, человек. Еще так недавно, когда войсковые депутаты чинили в степи Пугачеву посмотренье — быть или не быть ему царем, — этот самый Митька Лысов разные каверзные подковырки Пугачеву пускал.

Первым по старшинству лет подошел к руке «батюшки» большеусый, со впалыми щеками, Яков Почиталин.

— Что ты за человек? — спросил Пугачев.

— Я, надежа-государь, родным отцом довожусь Иванушке, что писарем тебе служит.

— Иван, верно ли сказывает?

— Истинно верно, ваше величество.

— Ну, царское спасибо тебе за сына, старик! Служи и ты мне, как предкам моим отцы твои служили.

Тем временем на помощь секунд-майору Наумову из крепости подошла еще сотня казаков под началом старшины Витошнова.

Заметив, что пугачевцы всей толпой двинулись в обход моста, защищенного пушками, Наумов приказал старшине воспрепятствовать переправе мятежников в брод на другой берег Чагана. А бывшему среди сотни пожилому казаку Шигаеву секунд-майор сказал:

— Слушай, Максим Григорьич... Я тебя знаю давно за человека умного... Сделай милость, как войдешь в соприкосновение с толпой, урезонь казаков, чтоб откололись от вора...

— Ладно, — буркнул Шигаев и надвинул шапку на глаза.

Сотня Витошнова на рысях пошла встречу пугачевцам. Подпустив сотню на близкую дистанцию, Пугачев подал команду:

— Детушки! Окружай изменников с флангов, а я с тылу по хвосту вдарю... Вали в обхват!

Взвились кони, засверкали на заходящем солнце сабли, пыль по степи пошла. Однако рубиться не пришлось: почти вся сотня, насильно захватив своего старшину Витошнова, передалась мятежникам, и лишь с десяток казаков помчались обратно наутек, но их поймали, связанными приволокли к Пугачеву и потребовали немедленной им казни.

— Пускай до утра сидят под караулом. А завтра моя высочайшая воля воспоследует, — сказал государь.

Пугачев был настроен сейчас на самый бодрый лад: ведь за один день к нему переходит самовольно вторая сотня боевых казаков. Это ли не удача!

Толпа переправилась через реку и, оказавшись в тылу отряда секунд-майора Наумова, принудила его убраться в крепость.

Наступил вечер. Толпа расположилась на ночлег.

За ночь невдалеке от палатки государя казаки соорудили виселицу, они надеялись, что так или иначе, а супротивникам народным доведется качаться на веревках.

На другой день после завтрака Пугачев приказал казакам собраться в круг. Горнист Ермилка в медный, начищенный бузиной, рожок проиграл сбор. Со вчерашнего дня на нем красовались расшитые шелком татарские сапоги, снятые им с повешенного сыщика.

Пугачев искал случая, чтобы укрепить в своем молодом войске незыблемую уверенность, что есть он не вор Емелька, как внушало казакам яицкое начальство, а истинный государь.

— Позвать сюда старшину Витошнова! — велел он.

Начальник передавшейся вчера сотни, Андрей Витошнов, был человек старый, сухой, лицо скуластое, со втянутыми щеками, борода седоватая, взгляд исподлобья, хмурый.

Пугачев уселся на покрытый ковром пень. Подошедший Витошнов оказался как раз под виселицей, петля болталась над самой его головой.

Пугачев устремил на старика пронзительный взор свой. Сердце Витошнова захолонуло.

— Ты, старик, много разов бывывал в Питенбурхе. Видал ли меня там, владыку своего? — внятно спросил Емельян Иваныч.

Казаки разинули рты, ждали, что ответит старшина. Витошнов потупился, переступил с ноги на ногу и, запинаясь, ответил:

— Кабыть видал, батюшка. Помню.

Глаза Пугачева засияли. Он поднялся, громко сказал:

— Слышали ль, детушки, что старик молвит? Видел меня в столице и ныне признал во мне третьего императора Петра Федорыча.

Казаки ответили одобрительным гулом. Из толпы раздались голоса:

— Надежа-государь, а что повелишь делать со старшинскими змеенышами?

— Надлежало бы их на путь наставить да к присяге привести. Авось в ум войдут да нам верно служить будут, — присматриваясь к толпе, сказал Пугачев.

Поднялся шум. Два степенных казака, Овчинников да Максим Шигаев, стали внушать «батюшке», что казачество этим людям не верит. Они, мол, богатенькие, им и присяга не присяга, они, мол, все равно государевых слуг мутить станут.

— В прошлом году зимой, — тебе, батюшка, ведомо, — в Войске Яицком мутня была, — сказал Максим Шигаев, помахивая концами пальцев по надвое расчесанной бороде, — в те поры наши казаки генерала Траубенберга прикончили. Так уж мы знаем, что эти молодчики старшинской руки держались, супротив громады шли.

— В нас, в казаков войсковой бедняцкой руки, картечами палили!

— Истинная правда... Так! — снова зашумели в толпе.

— Не лучше ль, батюшка, ваше величество, — сказал Овчинников, — повесить их, чтоб им в наказанье, а прочим во страх.

— За Витошнова-старика мы поручимся, — кричали казаки. — И за Гришуху Бородина поручимся, даром что он племянник Мартемьяна, нашего гонителя. А этих — смерти предать! Довольно им измываться над нами!

Пугачев насупился, невнятно пробурчал: «Верно, ежели попала под каблук змея — топчи!..» — взмахнул рукой и резко возгласил:

— Быть по-вашему!

Кривой, «страховидный» казак Бурнов, избравший себе службу царского палача, поспешил исполнить повеленье «батюшки».

ГЛАВА IV

Именное повеление. Клятва. «Бал продолжается!»

1

Капитан Крылов возвратился домой поздним вечером; было темно, в теплом небе звезды мерцали, Ваня уже спал.

— Ну, мать, пропало Войско Яицкое, — раздраженно сказал он жене. — Казачишки бегут к вору как полоумные... Ужо-ко он медом будет их кормить. Андрюшка Витошнов сбежал, старый черт, с целой сотней дураков, да утром утекло полсотни... Заваривается каша!

Семеныч подал капитану умыться, капитанша принесла бок жареной индейки да флягу с травничком, однако Крылов за стол не сел, а поспешил к коменданту.

У Симонова сидели Мартемьян Бородин и секунд-майор Наумов, пили чай с вареньем из ежевики и с сотовым медом. Крылова пригласили к столу. Вместо захворавшей комендантши чай разливала Даша, миловидная девушка, приемная дочь Симонова.

— Подкрепился дома-то? — спросил Симонов Крылова.

— Не успел, господин полковник.

— Дашенька, скомандуй-ка борщу капитану... Отменный борщ!

Крылов вынул из кармана бумагу мятежников и, рассказав, как она попала к нему, передал ее коменданту.

Тот надел очки, приблизил к себе свечу, стал вслух читать:

— «Войска Яицкого коменданту, казакам, всем служивым и всякого звания людям мое именное повеление». Ах, бестия! Складно... И почерк добрый, — встряхнул бумагой комендант. — Неужели сам он, Пугач, писал?

Мартемьян Бородин заглянул через плечо Симонову в бумагу и, распространяя сивушный дух, прохрипел:

— Сдается мне — Ванька Почиталин это. Его рука. Его, его! Он лучший писчик по всему Яику, он, помнится, мои атаманские реляции, на высочайшее имя приносимые, перебелял... Он, он!.. Недаром к вору удрал, наглец... Только бы поймать, праву руку отсеку пащенку! Стойте-ка! — Тучный Бородин, опершись о столешницу, поднялся, шустро подошел к окну и, распахнув раму, заорал во тьму сентябрьской ночи:

— Эй, казак!.. Дежурный! Скачи к Яшке Почиталину, веди его, усатого дьявола, на веревке в искряную избу либо на гауптвахту. Да пук розог приготовь! Приведешь, мне доложишь...

— Напрасно хлопочешь, Мартемьян Иваныч, — вмешался Крылов, с аппетитом хлебая борщ. — Яков Почиталин и племянник твой Григорий с казаками к вору утекли...

— Да ну-у?! — протянул Бородин и снова заорал в окно: — Эй, казак! Отставить!

Симонов, поморщившись, сказал Бородину:

— Экой ты неспокойный. Сядь, — и стал продолжать чтение «воровской» бумаги:

— «Как деды и отцы служили предкам моим, так и мне послужите, великому государю, и за то будете жалованы крестом и бородою, реками и морями, денежным жалованьем и всякою вольностью». (Вот он чем берет их, болванов, — заметил Симонов.) «Повеление мое исполняйте и со усердием меня, великого государя, встречайте, а если будете противиться, то восчувствуете как от бога, так и от меня гнев. Великий государь Петр Третий Всероссийский».

Симонов отшвырнул бумагу, а Бородин затряс усищами, зашумел:

— Встретим, дай срок! Уж мы тебя, злодея, встретим... Ах ты каторжник, ах ты рыло неумытое. Царь... Ха-ха-ха! Мы те покажем Петра Третьего Всероссийского!.. А ну-тка, Андрей Прохорыч, отмахни мне кусочек поросятинки. Ха, подумаешь, дерьмо какое, в цари полез!.. Дашенька, подай мне,

старику, горчички да водочки чуток... С горя, ей-богу, с горя! Ведь я, Дашенька, кумекал с Гришкой окрутить тебя святым венцом, а глянь, что вышло... Ну, подожди ж, племянничек родимый...

В просторной горнице темно, лишь две свечи в бронзовых подсвечниках горели, и никто не заметил, как густо скраснела Дашенька: у нее на сердце не Гришка Бородин, а гвардии сержант Митя Николаев. Где-то он, благополучен ли? Поди уж к Оренбургу подъезжает. Ой, Митя, Митя!.. Уехал и проститься позабыл.

...А в это время сержанту Николаеву рубили ножом косу: подвели к стоячему дереву, примостили затылком, да и тяпнули.

— Ну вот, и казаком стал, — проговорил краснощекий Тимоха Мясников и бросил пук волос в траву.

— А ведь ты, Николаев, из господишек: либо сбежишь, либо нас продашь, — сказал Митька Лысов и зло захохотал.

— Ни то, ни другое, — сердито возразил сержант. — Не хуже вас служить стану государю...

— Ой ли?.. — И нахрапистый Митька, опять захохотав, погрозил сержанту пальцем.

...По белой стене мотались-елозили тени от сидящих за столом. Вот одна быстро вздыбила и уперлась головой в потолок. Это поднялся комендант, полковник Симонов:

— Значит, как я и говорил вам на совещании... (Крылов, опоздавший к совещанию, особо внимательно вслушивался в слова начальника.) В першпективе предстоят нам немалые хлопоты со злодейской толпой. Добро, ежели поймаем вора... Только как ловить будем, какими силами? У меня пятнадцать штаб- и обер-офицеров, пятьдесят три сержанта с унтер-офицерами да семьсот человек рядовых, ну еще сотня оренбургских казаков, на коих, признаться, я шибко-то положиться не могу. Вот и вся моя воинская сила! А крепостца наша, увы, в самом плачевном положении. Вот в каких обстоятельствах застает неимоверный по внезапности и каверзный по дерзости своей подлый казус. И доверительно вам

говорю, господа командиры, не могу я решиться на риск вывести все наши силы за городок, чтоб сразить злодея: выведешь, да, чего доброго, и назад не вернешься. Ведь сами знаете, каково настроение яицких казаков и всех жителей в городке, население при всякой в наших рядах заминке примет сторону самозванца.

— Искру туши до пожара, беду отводи до удара, господин полковник, — сказал Крылов.

— То-то же и есть! — в волнении воскликнул Симонов, ероша стриженные в бобрик волосы. — Пуще всего опасаюсь, что искра разгорится в пламя... при нашем невольном попустительстве. — Он вздохнул и потупился. И все вздохнули. — Итак, взвешивая обстоятельства, нам волей-неволей остается взять тактику оборонительную. И положиться на господа бога, а наипаче на самих себя. Гм, гм... Надеяться на помощь Оренбурга вряд ли следует: Рейнсдорп сам может оказаться в опасном состоянии. Да еще неизвестно, когда мой курьер сержант Николаев доскачет до него, а может, и вовсе не доскачет... — потряхивая головой, тихо, с грустью, закончил он.

Черноволосая круглощекая Дашенька при этих словах заморгала и незаметно смахнула тонкими пальцами навернувшиеся слезы.

Гости раскланялись с хозяевами, пошли к выходу. Симонов, остановив Бородина, взял его под руку, отвел к окну.

— Вот что, господин старшина, — сказал он, — хотя ты такой же полковник, как и я...

— И сверх сего бывший войсковой атаман, — проговорил басом Мартемьян Бородин, вскинув на Симонова мутные полупьяные глаза.

— Да, — подтвердил Симонов. — Но все-таки хоть ты и «сверх сего», а подо мной, брат, служишь, ибо я комендант вверенной мне ее величеством крепости. А по сему, имея в виду времена тревожные, приказываю тебе: пить брось! — резко сказал Симонов. — Ежели хоть однажды нарушишь мое приказание — на меня не пеняй: тотчас будешь посажен на гауптвахту

и к тебе будет приставлен лекарь с пиявками и рвотным...

— Да боже сохрани! Да что вы, Иван Данилыч, батюшка. Брошу, брошу!.. Ведь я и не пью много-то. Ведь это я с праздника покуролесил, воздвиженьев день был, — заторопился, запыхтел Мартемьян Бородин, — двадцать пять лет верой и правдой служу всемилостивой. И верность свою докажу ее величеству. Рубите мне голову с плеч, ежели я на аркане не приведу к вам вора Емельку! — потрясая кулаками и жирным загривком, закричал Мартемьян Бородин, отечные мешки под его глазами взмокли, он скривил рот и пьяно завсхлипывал.

Оба полковника обнялись и простились.

Симонов остался в столовой один. Да еще Дашенька тут же прибирала посуду. Он оперся в стол ладонями, опустил черноволосую, с легкой проседью голову и желчно подумал про только что ушедшего Бородина: «Неуч, лихоимством и подлостью стяжавший немалые богатства. Рабов, негодяй, завел себе из калмычишек. Если б не был ты мздоимцем да утеснителем, и восстания на Яике не случилось бы. А не было бы восстания, и Пугачев в здешних местах был бы немыслим. Ты, Мартемьян Бородин, создал Пугача!»

— Вы что сказать изволили, папенька? — спросила Даша.

— А? Нет, я ничего, — откликнулся Симонов. — Иди-ка, там тебя на кухне Мавра ждет.

Даша вытерла большую фарфоровую кружку петербургского ломоносовского завода и, вздохнув, вышла. Как только захлопнулась за ней дверь, Симонов схватил из шкафа штоф с водкой, с проворностью налил почти полную кружку, перекрестился, выпил залпом, крякнул и, махнув рукой, побрел к себе в спальню.

2

К полдню, приблизясь к городку версты на полторы, толпа в нерешительности остановилась: на том же месте, как и вчера, стоял отряд секунд-

майора Наумова, впереди отряда — густые рогатки, а перед рогатками — четыре полевые пушки.

Лишь только часть пугачевцев пошла, для пробы, конным строем на отряд, пушки загрохотали, засвистела картечь, конники повернули обратно. Огорченный упорством Яицкого городка, Пугачев на совете сказал:

— С голыми руками супротив пушек соваться нечего. Я свое войско верное зря тратить не стану. Пойдемте прочь куда-нито. Авось одумаются, гонцов за нами спосылают. Тогда с честию войдем в городок.

— Пойдем, ваше величество, по линии до Илецкой крепости, — мазнув по надвое расчесанной темнорусой бороде, присоветовал высокий сутулый Максим Шигаев. — По пути форпосты встренутся, людей да пушки забирать там станем.

Казаки поддакнули Шигаеву. Пугачев подумал, снял шапку, почесал затылок. Ему нравился этот степенный казак с умными серыми глазами, да, в сущности, и спорить-то было не о чем.

— Ну ин пойдем по линии. Так тому и быть, — сказал он.

Двинулись степной дорогой вверх по Яику.

Возле форпоста Рубежного, пройдя полсотни верст, толпа остановилась на роздых. После обеда Пугачев велел трубить сбор в казачий круг. Снова залился-зазвенел рожок губастого Ермилки. Звание горниста было его гордостью.

Когда круг собрался и Пугачев вошел в него, шапки с голов как ветром сдунуло.

— Вот, детушки, — громко начал Пугачев, — вас таперь у меня поболе четырех сотен. Неверная жена моя, немка окаянная Катерина, что со дворянами престола родительского лишила меня, она и вас всех, детушки мои, пообидела, лишила Войско Яицкое привилегий и вольностей и замест атамана подсунула коменданта Симонова. Ну, бог ей судья. А вот я, третий император Петр Федорыч, обычаи ваши древние блюду и сызнова дарую вам казацкое устройство, согласуемо древним обычаям. И положил я подкре-

пить вас чинами и званием, чтоб вы не бегали от меня, а были во всем довольны. Сего ради повелеваю выбрать вам себе вольным выбором атамана, полковника, есаула и четырех хорунжих. А ты, простой казак Давилин, отныне будь при моей особе дежурным, вроде адъютанта... Ну, с богом!

Казаки закричали «ура», стали швырять вверх шапки. Пугачев поклонился кругу, отер пот с лица и пошел в свою палатку. Его поддерживали под локотки Яким Давилин и Зарубин-Чика, искренне привязанный к государю и больше всех оберегавший его.

Уж солнце стало садиться, когда Емельяну Ивановичу доложили, что круг закончил свое дело.

Андрей Овчинников выбран войсковым атаманом. Дмитрий Лысов полковником, старик Андрей Витошнов есаулом. Кочуров, Григорий Бородин и еще двое — хорунжими.

— В сем звании вашем мы согласны утвердить вас. Служите мне и делу нашему верою и правдою, — торжественно молвил Пугачев стоявшим на коленях выбранным и допустил их к целованию руки. Поискав глазами, подозвал он к себе сержанта Николаева:

— Исполнил ли ты, молодец, повеление мое, написал ли присягу?

— Готова, ваше величество. — И сержант с учтивыми поклонами поднес государю лист бумаги.

— Секретарь, огласи присягу, да погромче, чтоб многому людству слышно было.

Иван Почиталин принял с поклоном из рук государя лист, вскочил на телегу, где, хлопая крыльями, горланил на всю степь красноперый петух, и неспешно, смакуя каждое слово присяги, прочел:

— «Я, казак войска государева, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пред святым его евангелием, в том, что хощу и должен всепресветлейшему, державнейшему, великому государю императору Петру Федорычу служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови, в чем да поможет мне господь бог всемогущий».

Все казаки стояли без шапок, каждый вскинул вверх правую руку.

— Клянетесь ли повиноваться мне, своему государю? — вопросил Пугачев.

— Клянемся! — гаркнули во всю грудь казаки, потрясая шапками. — Верой и правдой служить обязуемся!

— Клянетесь ли, что не спокинете меня, государя своего, и не разбредетесь по ветру, покамест мы вкупе не повершим дела великого?

— Клянемся, надежа-государь! Повелевай нами, свет наш!

Долго еще слышалось по степи: «Клянемся, клянемся!» Сам государь и большинство казаков смаргивали навернувшиеся слезы. Государь любовался бравыми, готовыми на подвиг молодцами, казаки любовались государем. От сердца к сердцу, из очей в очи шли невидимые токи взаимного доверия между вооруженной ратью и вождем ее.

О завтрашнем дне не думалось на людях. Только ночью, когда в изголовье — боевое седло, у ног конь привязан, а вверху бескрайная крыша в звездах, мятежному казаку, будь он молод или стар, не дают покою думы о будущем. Казак ворочается с боку на бок, надвигает шапку на глаза, на уши, чтоб забыться, но думы не покидают его, и думы эти страшны. Они страшны потому, что к прошлому нет возврата, что навсегда отрезан путь к семье, к горькому родному дыму, от которого порой, быть может, градом катились из глаз слезы.

Прощай, прошлое, прощай, родимая семья! Теперь казак-мятежник живет лишь настоящим часом.

А в настоящем — яркое солнце светит, в небе журавли летят, пылит дорога, надежа-государь со свитой едут, знамена реют, телеги тарахтят, и красноперый приблудный петух поет свое «кукареку».

А там, позади, на страх врагам, покачиваются в петлях одиннадцать раздетых, разутых богатеньких казаков.

И вот уж во сто глоток грянула, взвилась лихая песня. Ежели будет во всем удача, то дня через два, присоединив к себе попутные форпосты, государева рать должна вступить в казачий Илецкий городок.

Не доезжая Оренбурга, версты за три от него, старый яицкий казак Петр Пустобаев услышал в городе пальбу из пушек и приостановился.

— О мать пресвятая богородица... что же это? Уж не злодей ли окаянный в город вошел? Как бы в лапищи к ему не угодить, в богомерзкие. Чу!.. Опять палят...

На дороге из-за кустов показался верблюд, на нем маленький бронзоволикий черноусый киргиз в малахае. Верблюд, мерно вышагивая и чуть покачиваясь, шел из города. Конь Пустобаева захрапел, заплясал, бросился в сторону. Казак передернул узду, вытянул коня плетью, крикнул:

— Эй, малайка! А что в городу, чи спокойно, чи нет?

— Э-э-э... покой, покой... нашаво... — раскачнувшись, ответил киргиз и, подмигнув казаку, захохотал.

«Пьяная морда», — подумал Пустобаев. Миновав Меновой двор, он въехал в город. Было семь часов вечера, только что кончилась всенощная, трезвонили колокола. На городской окраине избушки, мазанки либо огород с полверсты, в нем шалаш, а на грядках с капустой вороньи пугала. Сыпучий песок кругом, беспризорно бродят коровы, козы, овцы, с лаем бросаются под ноги казацкой лошадки зубастые псы. Пустобаев работает плеткой направо-налево.

А вот и базар, торговые ряды, соборная церковь, цейхгауз, гауптвахта, дома купцов и начальства, дворец губернатора. Все тихо, разбойников нет, жители ходят спокойно, мирно. И тут только Пустобаев заметил: у богатых домов, в Гостином дворе и на высоких шестах дворца губернатора развеваются флаги... Вот так оказия!.. Царский день, что ли, какой? А в окнах дворца уйма света, свечи да свечи, как в божьей церкви о пасхальной заутрени.

Он зашел в кордегардию и сказал дремавшему за столом дежурному старому капралу, чтоб тот немедля доложил губернатору о прибытии курьера от коменданта Симонова «по самонужнейшему делу».

— Пакет, что ли, у тебя? Давай я снесу, — потягиваясь и зевая во весь рот, сказал капрал.

— Ну, как можно... Лично, из рук в руки приказано... Самонужнейше!

— А что стряслось?

— Как что стряслось? Нешто не знаете? Нешто наш сержант не приезжал к вам с донесением?

— Никакого сержанта...

— Ай, боже ж ты мой! — воскликнул бородатый казак, опускаясь на лавку. — Неужто злодей изымал его?

— Да что случилось-то?

— Как что!.. — гулко крикнул Пустобаев и замотал бородой. — По степу Емелька Пугач с шайкой бродит, народ мутит, форпосты берет, к Яицкому городку делал подступ... Ах, боже ж ты мой... Вот те и Митрий Павлыч Николаев!.. Ну, иди, иди, господин капрал, доложись... А по какому разу у вас артиллерийская пальба и флаги везде выкинуты? Уж не государыня ли матушка именинница?

— Никакая не государыня, а сама губернаторша именинница, сама Росдорфша, вот кто, — с необычайной важностью, очевидно желая поразить воображение провинциального казака, сказал старый, беззубый капрал и самодовольно запыхтел сквозь усы: — Ну, шагай, проведу тебя в палаты через кухню... Только навряд ли примет сам-то. Поди выпивши, а то и вовсе раскорячился. Винища этого самого таскали, таскали к обеду, конца краю нет. Целый полк в лоск споить можно... На-ка, хвати чарку и ты. — Он достал из шкафа с делами штоф водки, поднес казаку стакан и сам выпил. Пустобаев только теперь заметил, что капрал не особенно тверд на ногах. — Так какой, говоришь, Пугач, что еще за Пугач такой?

— Вот увидишь... А не увидишь, так услышишь...

— А ты не стращай, — пробубнил капрал, направляясь через сад в кухню. — Мы с его высокопревос-

ходительством и не таких Пугачей пугали. А то заладил — Пугач да Пугач... Тьфу! А еще казак... Шагай веселей!

— Он государем назвался, Петром Третьим... Вот он какой Пугач-то!

— То есть как это государем назвался?! — заорал капрал, входя с казаком в кухню. — Ах, государем? Петром Третьим, покойником? Ах ты, сукин ты сын!.. Я те покажу... Эй, повар, прачка, кухарка, хватайте разбойника, бунтовщика! Я те покажу, как государем называться! — И капрал сгреб казака двумя горстями за густую бородищу.

— Да ты что, пьяная твоя харя! — заорал казак и с маху брякнул капрала на пол.

Вся кухня враз захохотала. Казак присмотрелся: кухня была пьяна. Вошел молодой офицер.

Казак стоял в передней вот уже порядочно времени, а из покоев никто не появлялся. Где-то в задних комнатах сотрясала стены духовая музыка, раздавался размеренный трескучий топот и лязг шпор — должно быть, шли там плясы. При свете двух оплывших свечей на подзеркальнике казак осмотрел себя в огромном, от потолка до полу, зеркале: русая, с сильной проседью борода целехонька, от капральских пьяных лап, кажись, ни один волос не пострадал. Ну и слава те господу!

В соседнем зале беготня, выкрики, визгливый женский хохот, — надо быть, в жмурки господа играют. Казак услыхал приближавшиеся к передней мужские голоса, отскочил от зеркала, вытянулся в струнку.

— Да, да, да... Касак? Ах, касак?.. От Симонофф?.. Где он, где?

В переднюю вошли четверо: сам генерал-поручик Иван Андреич Рейнсдорп, два его адъютанта и молодой офицерик, что повстречал казака в кухне.

Губернатор был невысок и мало осанист, с круглым брюшком, ножки тонкие, в длинных чулках, башмаках и серого цвета атластных кюлотах. Такой же, со срезанными полами, кафтан, расшитый серебряной травкой, на кафтане — звезда, кресты, медали. Яйцеобразное, раскрасневшееся от выпивки лицо гу-

бернатора было маловыразительно: преобладали черты туповатости, чванства.

Из апартаментов в переднюю он нес себя как бы на цыпочках, прижав локти к бокам, оттопырив мизинцы и слегка повиливая бедрами. Увидав в отдалении замершего на месте человека, он приостановился, вскинул к глазам лорнет, оправленный в черепаху и золото, и стал наступать на Пустобаева. Позабыв дышать, дюжий детина глядел в лицо генерала бодро и преданно. Генерал ближе, ближе... И вот лорнет его уперся в бородищу казака. «Гм»,—сказал генерал и стал отступать, пятясь задом. Остановился, чуть выставил правую ногу вперед, выпятил грудь, чтоб казаться воинственным, и командирским охрипшим баском крикнул с задором:

— Здорово, касак!

— Здравы бывайте, ваше высокопревосходительство!—выкатив глаза, гаркнул казак-бородач с такой силой, что подвыпивший губернатор покачнулся, удивленно вскинул рыжие брови и, обернувшись, подмигнул толпившимся возле дверей гостям:

— Вот голос... Очшень, очшень карашо... Кто такой, что скажешь, касак?—И губернатор снова поднес к большим карим глазам изящный лорнет свой.

— Дозвольте репортовать! Строевой казак Яицкого городка Петр Пустобаев, спосылован господином комендантом Симоновым с важным пакетом к вам, батюшка, ваше высокопревосходительство, и повелено мне оный пакет препоручить вам в собственные ручки... Дозвольте репортовать!

Губернатор, оттопырив мизинец, украшенный бриллиантовым перстнем, с миной брезгливости принял пакет за уголок двумя пальцами и чрез плечо протянул его адъютанту:

— Симонофф... пакет... Что за экстренность. Можно бы повременить! У меня, видишь, бал.

— Самоважнейшее дело, батюшка!—опять гаркнул Пустобаев.—Господин комендант приказал: ежели, говорит, тебя, Пустобаев, в дороге словят злодеи да пакет отберут, ты, говорит, ежели, говорит, от

петли избавишься, как можно старайся утечь от разбойников и прямо, говорит...

— Тсс... Стой, касак!.. Какие разбойники, какая петля? Какая утечь? Пфе... Гаспада! Ви слюшаете? У меня в губернии тишь да гладь, да божья благодать... А они там, а они с Симонофф... — вспетушился, засеменил взад-вперед ножками губернатор.

— Насмелюсь доложить. К Яицкому городку подступал намеднись Емелька Пугачев с изменниками... Он государем себя назвал, Петром Федорычем, силу скопляет, грозит, лиходей, всех перевешать, кои не согласятся признать его богомерзкую харю за государя покойного...

— Што, што, што?! — Губернатор округлил рот, вскинул к глазам лорнет, попятился.

И среди гостей, толпившихся в дверях, раздались восклицания любопытства, тревоги.

— Пасфольте, пасфольте... — бормотал губернатор, то повертываясь в сторону гостей, то устремляя свой взор на казака. Его жирное, яйцеобразное лицо еще более раскраснелось, темно-рыжие букли с косичкой жалко мотались. — Или я очшень есть пьян, или твоя Симонофф, как это... ну как это?.. Твоя Симонофф сбился с ума... есть помешанный... Его маленечко надо в дольхауз сажать. Но я, кажется... я, кажется...

— Иван Андреич!.. Вы ни капельки не пьяны, вы душка, — прозвенел от дверей голосок, и маленькая блондинка с крупным бюстом, одетая в бальное, смело декольтированное платье, вольным жестом послала молодящемуся губернатору воздушный поцелуй. — Кончайте же скорей, Иван Андреич... Нас ждут фанты...

Глаза губернатора потонули в блаженной улыбке. Забыв про яицкого казака, коменданта Симонова, злодея Пугачева и обратясь всей своей персоной к блондинке с пышным бюстом, он поцеловал концы собственных пальцев:

— Данке зер, данке зер... Один момент, и я... тотчас, тотчас...

— Пугач от Яицкого городка отогнан, ваше высокопревосходительство!.. — гаркнул казак, с удивленьем и злобой посматривая на генерала и на барыньку. — Так что полторы сотни наших казачишек ускакали к нему, к злодею... Дозвольте доложить! Передались, значит...

— Шо, шо, шо? Как ты скасал, дружок? Ах, ты еще здесь? Поручик! Распоряжайтесь касаку водка...

В толпе громко зашептали: «Кресло, кресло генералу». В дальних комнатах продолжала греметь музыка, все также слышался трескучий, подобный ружейным залпам, топот лихих танцоров.

— Данке! — Поблагодарив услужливого офицера, губернатор устало опустился в придвинутое ему кресло. — Гаспада! Я слюшаю битого часа вот этот касак и нисшшево не паньмайт... — развел он руками. — Пугашов, Пугашов... Какой такой Пугашов?..

— Ваше высокопревосходительство! — с ноткой досады в голосе воскликнул адъютант, держа в руке рапорт полковника Симонова. Он все время порывался доложить губернатору содержание бумаги. — Разрешите...

— Ба! — прервал его генерал, ударив себя ладошкой в покатый морщинистый лоб. — Припоминайт, припоминайт... Вильгельмьян Пугашов... Знаю!

— Осмелюсь, генерал, доложить...

— Знай, знай!.. Лютше вас знай... Он каторжник, рваный ноздря. Был схвачен, посажен в казанский тюрьма, но милейший Яков Ларионович Брант[1] очшень маленечко прозевал его, и сей каторжная душа маленечко ату, ату... бежаль...

— Разрешите, генерал! — И адъютант в лакированных ботфортах щелкнул шпорами. — Его сиятельство Захар Григорьич Чернышев[2], не далее как месяц тому назад...

— Знай, знай!.. Лютше вас знай... Граф Чернышев приказал хватать его, хватать! — Губернатор оскалил белые ровные зубы и срыву схватил руками воздух. —

---

[1] Казанский губернатор.
[2] Президент Военной коллегии (военный министр).

И што же? Я выпускал своя канцелярия сотни бумаг, сотни наистрожайших приказов... Но где его поймать? А вот он... он, рваный ноздря, сам дается в руки... Хе-хе-хе... Гаспада! Нет, ви слишите, ви слишите?.. Государь... Петр Федорыч... Симоноффа напугал... Хе-хе-хе! Слюшай, касак! Разговаривай Симонофф, пусть он спит спокойно. Таких Петр Федорычев мы маленько вешаем и плеточкой стегаем до самой смерть... Генерал Рейнсдорп зорко смотрит своя губерния, и государыня императрисс им очшень, очшень довольна. И сей злодей потерпит казнь сами люта... Только, полагаю, сей злодей и в поминках нет. Видумка, фата-моргана, сказка... Пфе, пфе...

— Разрешите, генерал. Комендант Симонов излагает факты... И факты содержания весьма острого...

— Только не тотчас, не тотчас, — вскочил с кресла генерал и, прижав локти к толстым бокам, отмахнулся ладонями. — Зафтра, поручик, зафтра. Горячка нет, пустой вздор. Слюшай, сержант! Отведи, голюбчик, касака на кухня, чтоб был сыт, пьян и... и... нос в кабаке. Прощай, касак! Обнимай меня, генерала... — И губернатор, благосклонно улыбаясь, двинулся навстречу казаку.

— Не могу насмелиться, ваше высокопревосходительство, — попятился Пустобаев и провел рукавом кафтана по губам, чтоб приготовиться к поцелую. — Недостоин я...

— А вот я насмеливаюсь, я достоин! — Низкорослый генерал обнял верзилу и поцеловал его в бороду. — О! Учитесь, молодежь, как надо обращаться рюска простой шалвек... — сказал губернатор.

Офицеры с улыбкой пристукнули каблуком о каблук. А казак Пустобаев запыхтел, завздыхал. Губернатор быстро повернулся кругом, щелкнул пальцами:

— Але, але, гаспада... Бал продолжается! — И, окруженный толпой гостей и подхваченный под руку блондинкой, он направился в апартаменты.

— Люблю простой рюска народ, люблю касак... А образованный класс, о, нет, нет... где-то там, в облаках... мечты, химеры, а штоб твердо на почва стать, нет того, нет того... Вот я — немец... с гордостью го-

ворю — немец... У-ти-ли-таризм! О! Чтоб не сказать более... Гаспада! В фантики... Гоп-ля! Больше жизни!.. Бал продолжается!.. А где ж именинница?

Возвращаясь ни с чем из Оренбурга, казак Пустобаев у самой Татищевой встретил запряженную парой кибитку с рогожным кузовом, ее сопровождали два верховых казака.

— Ой, матушка! — заглянув внутрь кибитки и узнав в сидящей там женщине капитаншу Крылову, вскричал Пустобаев, сдернул шапку, соскочил с коня. — Да куда же вы собралися? Уж не в Ренбурх ли?

— В Оренбург, в Оренбург, — сказала капитанша, высунув из кузова бурое, пропылившееся лицо. Кибитка остановилась. — Андрей Прохорыч так распорядился, отправил нас с Ваней, а сам, голубчик, один-одинехонек остался... в этакую-то страсть... — Капитанша выхватила из рукава беличьего салопа носовой платок и всплакнула.

Рядом со смуглой сухощавой капитаншей сидела дородная нянька, а меж ними — Ваня. Он безмятежно спал, перегнувшись в колени матери.

— А что ж, матушка... И верно рассудил Андрей-то Прохорыч... Неровен час... А в Ренбурхе от злодея сподручней отсидеться-то можно... Ну, да бог хранит... А как же, матушка, вас ангелы божьи невредимо чрез толпу-то злодейскую пронесли?

— Да ночью проскочили... Ой, да и страху было. Ведь они подле Илецкого городка стоят. А вот бог пронес.

— Я, матушка, в обрат возьму, провожу вас до Ренбурха-то.

— Что ты, что ты, Пустобаев! Поди тебе губернатором спешное поручение дадено...

— Да нетути, матушка. Именины, вишь ты, у губернатора-то, сама генеральша именинница, гостей полон дворец, и все пьяные, и губернатор под турахом. Дак ему не до Пугачева! Полопотал, полопотал дурнинушку какую-то, покривлялся, опосля того возгаркнул: «Продолжайте бал!» — да с тем и убрался... Э-эх... Одно званье, что губернатор...

Капитанша словам Пустобаева подивилась и разрешила сопровождать ее до Оренбурга. Пустобаев обрадовался. У него страшно болела голова, он прошлой ночью в генеральской кухне столь усердно налакался водки да всяких вин, что с ним лихо приключилось, на весь губернаторский дом стонал и охал. Теперь в самый раз будет в Оренбурге опохмелиться.

Сзади кибитки примостился на сене хромой солдат Семеныч, денщик капитана Крылова. Его голова с потешной косичкой моталась, как у мертвого барана. Старое, изморщенное лицо было красно, он пускал слюни и сладко спал.

— Пьяный?

— Пьяный, — улыбаясь, ответили едущие в ряд с Пустобаевым казаки. — Дважды с козел кувыркался. Ну-к мы прикрутили его полотенцем к задку. Тут спокой!

— А где же добыл он вина-то? — с надеждой спросил Пустобаев.

— Да вином-то мы, слава те Христу, мало-мало запаслись, — сказал молодой казак. — Не хошь ли, дед?

— А ну дай чуток сглотнуть... Дюже башка трещит.

Могутный и широкоплечий, он приостановился, ужал в пудовую лапищу глиняную баклажку с водкой, задрал седоватую бороду и, что приняла душа, — откушал.

Вот и слава богу, и развеселился. Догнал кибитку, перегнулся в седле, заглянул в лицо Крыловой, гулко прокричал:

— Вспомнил, матушка! Ей-богу, вспомнил...

— Что вспомнил-то?

— А как же, — заулыбался Пустобаев, оттопырил большой палец и с маху ткнул им в свою грудь. — Его высокопревосходительство изволили меня самолично в бороду причмокнуть.

— Да неужто? Поцеловал, что ли?

— Как есть! — еще громче закричал Пустобаев. — Мы с ним оба-два обнявшись были. Я тверезый, они выпитчи...

Крылова улыбнулась, а Пустобаев продолжал, вдруг похмурев лицом:

— И вот еще что, матушка! Николаева-то нашего, сержанта-то, что с донесеньем к губернатору спосылан, нетути в Ренбурхе!

— Как так? — ахнула капитанша. — Да где же он? Неужто... к злодею угодил?

— Похоже, что так, — трезвея, подал казак голос и тяжело вздохнул.

ГЛАВА V

Илецкий городок. Царский лик. Раздумье

1

Новоизбранный атаман государева войска Андрей Афанасьевич Овчинников, имея на левой руке белую повязку — знак власти, въехал с двадцатью конными казаками в Илецкий городок.

Городок расположен на возвышенном левом берегу Яика, вблизи устья реки Илека и в стороне от большого тракта на Оренбург. Кругом по яицкому левобережью тянулась всхолмленная степь. Городок обнесен земляным валом, имеющим вид неправильного четырехугольника, а поверх вала — бревенчатый заплот с раскатами и батареями для двенадцати пушек. В крепостцу вели двое ворот, в ней помещались казармы, покои для начальства, провиантский магазин, соляная управа, несколько домов зажиточных казаков; остальная же казачья масса жила в трехстах домишках возле вала, — здесь был базар, каменная церковь, кой-какая торговля и соляные лавки.

Илецкие казаки права на рыбную ловлю не имели, занимались хлебопашеством, скотоводством, работали по добыванию соли на соляных развалах.

Местность возле городка и даже в самой крепости изрыта глубокими ямами; в некоторых из них копошились киргизы, калмыки и казаки, ломали каменную соль, огромные куски ее сваливали на тачки и отво-

зили к штабелям. Илецкая высокого качества соль славилась издревле, ею снабжалось почти все Приволжье.

Овчинников остановился со свитой на базаре. Длиннолицый, горбоносый, с русой, кудрявой, как овечья шерсть, бородкой, он сказал толпе набежавших казаков:

— Я послан от самого государя Петра Федорыча...

Но его тут же перебили возбужденные голоса:

— А как же наш атаман Портнов третьеводнись на казацком кругу оглашал бумагу коменданта Симонова, а в оной бумаге сказано, што все врачки, мол, что Петр Федорыч давно умерши, а бунт, мол, бунтит беглый донской казак Емелька Пугачев, защищайте, мол, от него, злодея, крепость...

Народ шумел. Овчинников крикнул с коня:

— Братья казаки! Не слушайте никого, меня слушайте. К вам идет истинный государь, он в семи верстах отсюдова. И вы, атаманы-молодцы, дурость свою бросьте, а встречайте его величество с хлебом да солью. А ежели перечить будете да воспротивитесь — смотрите, атаманы молодцы, государь грозен, непокорных он вешать станет, а городок ваш выжжет и вырубит. Собирайте круг, решайте!

В набат звонить было запрещено. Нашелся барабан. В сопровождении оживленной кучи мальчишек барабанщик быстро прошагал по городку.

Услыхав бой барабана, илецкий атаман Лазарь Портнов взобрался на земляной вал и стал наблюдать, что творится на площади.

Меж тем Андрей Овчинников и с ним шесть казаков из его свиты двинулись к дому зажиточного казака Ивана Творогова, знакомого Овчинникову.

Узнав от Овчинникова, что сейчас на кругу решается участь городка и что завтра должен прибыть сюда сам государь, Творогов обрадовался и выразил желание дать приют высокому гостю у себя.

— Уж я всмятку расшибусь, а батюшке утрафлю...

Был вечер. На огонек пришел безбородый, как скопец, Максим Горшков. Он несколько дней скрывался от преследований Симонова и Мартемьяна

Бородина. Он один из той пятерки[1], которая еще так недавно, запершись ночью в бане Тимохи Мясникова, целовала крест на верность Пугачеву и торжественно клялась хранить известную им пятерым тайну, что Пугачев не царь, а самозванец. Тайну эту пятерка хранила крепко.

Узнав о том, что «государь» намерен завтра вступить в Илецкий городок, Максим Горшков простодушно обнял Овчинникова, потом Творогова и грубым голосом, с оттенком сильного волнения, воскликнул:

— Ну и праздничек у нас будет! Свет увидим!..

И уже к ночи прибыла к Овчинникову депутация от круга.

Большинство порешило принять государя с честию.

Атаман Лазарь Портнов, еще вчера приказавший вырубить звено в мосту чрез Яик, чтоб воспрепятствовать переправе Пугачева, только что узнал от своих наушников о постановлении круга и, потеряв мужество, решил этой же ночью бежать.

Но предусмотрительный Овчинников распорядился поставить возле его дома караул.

На следующий день к полудню войско Пугачева чрез восстановленный за ночь мост переправилось на илецкую сторону.

Возле открытых крепостных ворот большой толпой стояли одетые по-праздничному казаки со знаменами и пиками, женщины, ребята. Впереди толпы два священника в парчовых пасхальных ризах, лохматый дьякон, дьячки и клир с хоругвями, запрестольными крестами, иконами в серебряных окладах. Вся эта цветистая картина с белой приземистой церковкой, поросшим блеклою травою и бурьяном крепостным валом, выглядывающими из-за него красными крышами построек, полусгнившим, в лишаях, бревенчатым тыном поверх вала и кудрявыми садами возле

---

[1] М. Г. Шигаев, Т. Мясников, И. Зарубин-Чика, Д. Караваев, Максим Горшков.

хат, — вся эта необычная картина, мягко освещенная утренним сентябрьским солнцем, поражала и настраивала на особый лад Пугачева. Он впервые въезжал в укрепленный городок как признанный государь.

В свежем воздухе весело звенькали, трезвонили, бухали колокола, клир дружно и уверенно пел церковную стихиру, лохматый дьякон, не переставая, махал курящимся кадилом в сторону приближающегося государя, в тысячу ртов кричал приветствия народ, взмахивая шапками, цветистыми шалями, вскинув к небу сверкающий частокол остроконечных пик.

И как только подъехал государь, знамена и пики преклонились, а народ, от беспорточного мальчишки до престарелого попа, стал на колени.

Пугачев со свитой подъехал ближе, осадил коня, приосанился, обвел толпу неспешным строгим взглядом и громко поздоровался:

— Здорово, господа илецкие казаки!.. Встаньте, детушки!

Народ дружно поднялся на ноги и, кто во что горазд, до хрипоты кричал:

— Будь здоров, надежа-государь!

Государь соскочил с коня, передал поводья дежурному Давилину, четкой поступью подошел к иконе и, перекрестясь, приложился к ней. Оба священника и дьякон успели благоговейно облобызать руку императорской особы. Пугачев принял сей знак раболепия как должное, однако левый его ус пошевелился от плохо скрытой ухмылки. Затем он, сделав так же четко полуоборот, принял на оловянном блюде хлеб да соль от Максима Горшкова с Твороговым.

Окруженный народом и свитой, под сенью церковных хоругвей, он затем торжественно прошествовал чрез крепостные ворота к церкви. По правую и левую руку от него в пылавшей на солнце парче и с воздетыми крестами шли два священника, молодой и старый, а перед царем, пятясь задом, беспрерывно кадил ему лохматый, тоже в золотой парче, соборный дьякон. Дымя ароматным ладаном, он то и дело кланялся великому гостю поясным поклоном.

Колокольный трезвон вдруг смолк, заговорил государь:

— Вы не верьте, детушки, что вам супротивники мои наскажут. Я доподлинный государь есть. Служите мне верой и правдой. А я, великий государь, ужо отведу от вас, горемык, утеснения и бедность.

— От утеснения и бедностей избавить обещает! — подхватили в толпе, с улички на уличку. Весть эта от кучки к кучке пробежала по всему городку.

— Когда бог сподобит Питенбурх покорить да престол оттягать, я у великих бояр и деревни и села отниму, посажу их на жалованье, пусть служат. А тех, что с престола меня сбросили, тем без пощады головы порублю. Сын мой, Павел Петрович, человек молодой, так он поди и не знает меня, отвык от отца-то... Коим-то веком одно дитятко нажито. Дай бог мне снова свидеться с ним... — На глазах государя навернулись слезы.

Так, шествуя к церкви, беседовал Пугачев с окружавшим его народом, а сам нет-нет да и покосится на идущего рядом с ним старого попа. И вдруг сурово сказал ему:

— Чего пялишься на меня, поп? Не признал, что ли? — и сдвинул брови.

По спине старого попа ледяной холодок прополз, поп обомлел, откачнулся от Пугачева, прошамкал:

— Признаю, признаю, батюшка ваше величество... Как не признать!

— А коли признаешь, поминай только мое, государево, имя в церкви, а имя государыни похерь. И чтоб напредки такожде было. Как донесут меня ноги до Питера, я Катерину в монастырь заточу, пускай там грехи отмаливает. А ты, поп, верный народ мой приведи к присяге.

После молебна духовенство первое присягнуло государю, затем присяга учинена была всему илецкому войску.

Когда государь вышел из церкви, загремели ружья, затрезвонили колокола. Он приказал отворить двери кабака, пусть ради государева праздника побалуется народ винишком безденежно.

Но вот лицо его омрачилось, будто вспомнил он нечто досадное.

— А где же здешний атаман... как его... где Лазарь Портнов? Пошто он рапорт не чинил и не присягал мне, государю своему? Уж полно, не утек ли хитрец?

— Дозвольте, ваше величество, — шагнул вперед Андрей Овчинников, держа руки по швам. — Оного злодея атамана я своевластно заарестовать приказал. Уж не прогневайтесь...

И люди стали жаловаться государю, что атаман Портнов шибко обижал их и многих вконец разорил. Максим Горшков с Твороговым подтвердили голоса эти.

— Коли такой он обидчик, а мне супротивник, прикажи, Овчинников, чтоб ныне же злодея предать смерти, — сказал Пугачев.

2

Весь второй этаж богатого дома Ивана Творогова отведен для государя.

За накрытым в красном углу, под иконами, большим столом восседает на подушке Пугачев. Он уже успел побывать в жаркой бане, разомлел, красное лицо его в мелкой испарине, он утирается свежим рушником и пьет холодный настой на малине с медом.

— Доложь мне, пожалуй, Иван Александрыч, как илецкие-то казаки живут, ладно ли? — спросил он хозяина.

— Да не ахти как живут, батюшка...

— Ты садись, Александрыч.

Творогов сначала отказывается, затем с низким поклоном нерешительно садится против Пугачева. Он считает его истинным государем Петром Федоровичем, поэтому в обращении с высоким гостем радушен и чрезмерно подобострастен. Пугачеву это по сердцу, он разговаривает с хозяином милостиво и доверчиво.

Свита государя, во главе с Андреем Овчинниковым, не смея без зову приблизиться к столу, смирно стоит

возле большой, украшенной изразцами печки, посматривает в сторону государя, ловит его взгляды, перешептывается. Государь доволен и поведением свиты. Пусть стоят, пока не прикажет им сесть. На то и государь он!

Стол накрыт на десять персон. Оловянные тарелки, железные вилки, стальные, в костяной оправе, ножи, деревянные ложки. Три серебряные чары, стаканы, кружки, глиняные и стеклянные жбаны, фляги, зеленые штофы дутого стекла. Большая солонка и высокие подсвечники, искусно высеченные из крепкой илецкой каменной соли. Пугачев любуется всей этой утварью, прищелкивает языком, спрашивает, где сии диковинки выделывают.

— Да у нас же, наши казаки, надежа-государь, старики которые. Ведь в здешних местах соль ломают.

— Видел! — говорит Пугачев. — Весь грунт ископанный. Много соли-то?

— Без краю. Инженерной команды офицер намеднись приезжал, сказывал: наша соль первая на свете и хватит ее на тысячу лет. А продает ее казна по тридцать пять копеек с пудика.

— Дороговато, — сказал Пугачев, — ужо я сбросить прикажу, — чтоб по два гривенника...

— Ой, надежа-государь! Пока вы в баньке парились, наши казачишки всю соль-то из складов растащили безденежно, вграбки...

— Как это можно? — поднял Пугачев голову. — Давилин! Поди уйми народ... Моим именем...

Давилин сорвался было с места. Хозяин сказал:

— Да уж поздно, батюшка. Что с возу упало, считай — пропало!

— Ахти беда, ахти беда какая! — сокрушенно покачивал головой Пугачев. — Этакой убыток казне причинили, неразумные...

В это время три женщины, мать хозяина, его красивая жена Стеша и подросток дочка, притащили снизу варево, жарево. Поставив блюда на стол, они кувырнулись втроем в ноги Пугачеву. Тот, заглянув в лучистые Стешины глаза, протянул женщинам руку для лобызания.

— Благослови, батюшка ваше величество, поснедать, — кланялся Пугачеву хозяин.

— Благодарствую, ништо, ништо! — сказал Пугачев и, обратясь к свите: — Ну, господа атаманы, залазьте, коли так, за стол. Ты, Андрей Афанасьевич, садись по праву мою руку, — велел он Овчинникову. — Ты, Чика, по леву, а хозяин супротив государя пускай сидит, — так во всех императорских саблеях полагается. А достальные гости — кто где садись.

Помолясь на икону, все чинно уселись, женщины ушли, началась еда.

— Завтра, атаманы-молодцы, мы государственной важности дела станем вершить, смотренье крепости учиним, в складах наведем ревизию. А сей день — отдых, — сказал Пугачев, принимая из рук хозяина серебряную чару.

Ели много, смачно чавкая и облизывая пальцы, пили еще больше. Женщины то и дело подносили новые блюда с бараниной, рыбой, курятиной.

Стеша всякий раз, крадучись, поглядывала на красивого, статного батюшку-царя.

Пугачев, слегка охмелев, стал на язык развязен.

— Империя моя богата, — говорил он, обгладывая куриную ножку. — В Сибири соболь да золото, на Урал-горах железо да медь, — там пушки льют. А у вас вот — соль. Вот сколь богата, господа казаки, держава моя великая! С заграницей не сравнить нашу Россиишку, далеко не родня. Там только одна видимость. Бывал я в Пруссии у Фридриха, бывал в гостях и у турецкого султана, и у папы римского прожил в прикрытии сколько-то годов, — всего насмотрелся.

И он, не отставая в аппетите и проворстве от прочих едоков, принялся рассказывать о славном городе Берлине, о Кенигсберге, о том, какие в Кенигсберге богатые ярмарки живут и какие на эти ярмарки съезжаются морем и сушей люди со всего света. Тут тебе и поляки, и французы с англичанами, эфиопы и гишпанцы. Еще говорил он о том, как ездил на охоту с Фридрихом Прусским, как они устукали матерущего медведя в пятьдесят пудов, как из райских птиц

жареное кушали: ну, такой превкусной пищи сроду не доводилось есть, да навряд ли когда и доведется.

Казаки, уничтожая снедь и пития, слушали государя со вниманием.

Невоздержанный полковник Дмитрий Лысов перехватил хмельного. Сначала икота напала на него, затем сон стал одолевать, — он упер плешивую, с козлиной бородкой голову в столешницу и громко захрапел. Пугачев, прервав рассказ и насупив брови, уставился на него. Еще с первой их встречи на степном умете не лежала у Пугачева душа к нему.

— Поднять полковника! — приказал Пугачев. — Пускай прямо сидит пред государем. А не может — уведите его.

Лысова выволокли вон и уложили в сенцах.

Трапеза тянулась допоздна. Все были пьяны, кроме Пугачева и хозяина. Все вышли пошатываясь.

Слышно было, как по улицам, с песней, с балалайкой, с бубнами, гуляли илецкие казаки.

Дом казненного атамана Портнова был расхищен дочиста. Казаки принесли Творогову триста серебряных рублевиков, жалованый ковш, два бешмета, кафтан, канаватную лисью шубу и кушак.

— Примай шурум-бурум для государя!

Государь почивал после обильного обеда. Во сне стонал, скорготал зубами и вдруг вскочил: ему пригрезилось, будто генерал Петр Иваныч Панин, крикнув: «Взять Бендеры!» — пребольно опоясал его нагайкой. Свесив ноги, Пугачев сидел на пуховиках за пологом, весь от пота мокрый, хлопал в темноте глазами, не мог сообразить, где он? Неужто в Турции? Но ни Бендер, ни Панина! Мертвая тишина.

— Эй! — крикнул он. Тьма молчала. — Эй! Где я?

— Здесь, ваше величество! — Из соседней комнаты вышел со свечой хозяин. — Проснулися? Уж очинно мало почивать изволили, — часу не прошло...

— Да неужто? — изумился и вместе с тем обрадовался Пугачев. — А я, брат, взопрел, Иван Александрыч. Дюже мягко у тебя тут, да и гораздо угревно под

пологом-то. Спасибо тебе. Да ты, часом, не грамотен ли? — спросил Пугачев, причесывая гребнем взлохмаченную голову.

— Мало-мало грамотен, ваше величество. — И серые, с хитринкой и лукавством глаза Творогова выжидательно воззрились на государя.

— Добро, добро, Иван Александрыч! Грамотеи мне шибко нужны. Послужи, брат, мне. Награждение примешь.

Пугачев встал и прошелся по горнице, устланной узорными дорожками. Тут Творогов подал государю присланные казаками вещи. Пугачев принялся рассматривать их.

— Это называется военная добыча, трохвеи, — оживленно говорил он, примеривая шубу. Он деньги рассовал по карманам — карманы огрузли, шубу повесил на колок и сказал: — А знаешь, Иван Александрыч, можно ли сюда поболе девок нагнать приглядистых, чтоб песни поиграли, потешили бы сердце мое царское.

— Ой, батюшка ваше величество! Да разом, разом все сполню! Плясунов не надо ли, казачишек?

— Ни-ни!.. — погрозил батюшка пальцем. — Только мы с тобой — ты да я. Ну я-то плясать не стану, мне не подобает с простым людом. Ну, а ты-то попляшн, ты молодой. Кой тебе год-то?

— Тридцать два минуло, батюшка.

— Добро, добро! Ты вот что, ты никого не пускай и Давилина не пускай... А караул возле твоего дома держат?

— Держат, батюшка... И две пушки выкачены. — Хозяин быстро вышел, сказав: — Сейчас холодненького вам пришлю.

Пугачев распахнул окно. Прохладный воздух ворвался в горенку, и пламя свечей заколыхалось. В небе уже стояли звезды, с площади доносились шумные крики, песни. Вот мимо окон поспешно прошагал хозяин, за ним пробежала его дочь-подросток. А к Пугачеву вошла красивая, полногрудая Стеша, поставила на круглый столик баклагу с питьем, проговорила нараспев:

— Пожалуйте, батюшка, прохладиться!

— Благодарствую, — ответил Пугачев, внезапно обнял Стешу и с силой поцеловал ее в сочные губы, сказав: — Знай государя императора!

Та охнула, отстранилась, на мгновение закрыла лицо руками, затем руки упали, мускулы лица дрогнули, и не понять было Пугачеву — улыбается Стеша или плачет.

— Свет мой! — страстно выдохнула Стеша.

3

Огоньки, огоньки, много огоньков! И девок много! В большой горнице, где был обед, из угла в угол протянуты под потолком крест-накрест две бечевки, к ним привязаны три дюжины свечей, да четыре свечи горели на столе в высоких подсвечниках из соли. Свечи, толстые, самодельные, горели ярко, не чадили.

Государь восседал на широком мягком стуле посреди дверного проема в спальню, как врезанная в раму картина. По обе стороны его горели на круглых столиках две свечи, нарочно зажженные Стешей, чтоб лучше был виден лик царя.

Стены оклеены розоватыми, в цветах, шпалерами, потолок выбелен, на низких окнах — кисея и гераньки. На стене у входной двери в порядке развешаны ружья, сабли, прочие военные доспехи. Вдоль стены — прикрытые коврами сундуки с добром.

Осматривая горницу при свете свечей и наткнувшись взором на окованные жестью сундуки, Пугачев вспомнил купеческий сундук, добытый им со дна Волги, вспомнил весь свой путь с Ванькой Семибратовым на Каму[1] и вспомнил молодую красотку Катерину. «Вот бы посмотрела теперь на меня, на государя императора», — с невольной тревогой подумал он, дивясь своей судьбе, вознесшей его из безвестного бродяги в степень государя. Вспомнив о далекой Катерине, о соловьиной ночи на реке, он тотчас же пере-

---

[1] В село Котловку, в 1767 году.

вел свой взор на Стешу, сидевшую в пяти шагах от него. Глаза их встретились. Стеша облизнула губы и потупилась. «Хороша хозяйка, приглядиста!» — вновь подумал он и, заслышав шаги вошедшего в горницу плечистого хозяина с медной сулеей в руке, отвел глаза от запылавшего лица́ смиренной Стеши.

— Вот, ваше величество, сладкий медок, год в земле зарытый был. Для ради вас выкопал. Выкушайте чарочку. Только дюже крепок он, много пить поостерегитесь, батюшка! — Хозяин, наклонившись, кричал эти слова в самое ухо государю, обычным же голосом говорить было бесполезно: тридцать девушек, сидевших вдоль стен на лавках и на сундуках, с такой силой и с таким самозабвенным азартом горланили песни, что звенело в ушах и вздрагивали стекла.

Пугачев жмурил довольные глаза то на голосистых девок, то на колыхавшиеся задорные огоньки свечей. Он выпил меду, крякнул, утер усы, сказал:

— Ну и добер мед твой, Иван Александрыч! Слышь-ка, мне подобает девкам деньги швырять, а у меня рубли. Не можешь ли разбить их на серебряную мелочь, пятаки да гривенники?

Творогов охотно на это согласился. Пугачев отсыпал ему в полу пригоршню рублевиков и выпил вторую чару меду. В голове у него загудело, по рукам, по ногам потекла пьяная истома. Взглянул на девок, те уже в пляс пошли. Песня, взвизги, топот — дом дрожит!

Девки не больно-то приглянулись Пугачеву: «мелкого роста», плотные, присадистые. «Не девки, а крупа», — разочарованно подумал он. Но вот в плавном хороводе показалась статная, высокая девица. Она то подбоченивалась и улыбчиво кивала головой подругам, картинно вправо-влево изгибалась, вскидывала руку, помахивала платочком, как бы подманивая к себе милого, и, поводя плечами, плыла мелкой переступью по раскидистому кругу.

Пугачеву показалась она столь гибкой, столь прекрасной, что его сердце вперебой пошло, а большие глаза вспыхнули, как у филина во тьме.

Все до единой девки глаз не спускали с Пугачева, а она хоть бы разок взглянула в его сторону. Пуга-

чев мазнул по усам, по бороде ладонью, вздернул плечи, приосанился. А как он считал себя одетым для царской особы не особенно нарядно, то, когда подошел хозяин с целым блюдом серебряной мелочи, он сказал:

— Подай-кось мне шубу сюды, Иван Александрович, чегой-то мерзну я.

— Мигом, ваше величество!.. Только жарища у нас, с чего бы это вы заколели-то?.. — Пугачев запахнул накинутую на плечи богатую, с огромным воротником шубу и снова сел, величественный, важный, каким и подобает быть царю.

Все до единой девки, топоча ногами, глаз не сводят с государя, а вот та гордячка только платочком машет и опять никакого вниманья ни к государю, ни к его лисьей, крытой алым канаватом шубе. Ах ты бесенок!..

— Кто такая? — спросил Пугачев стоявшего сзади него хозяина.

— А это Устинья Кузнецова, ваше императорское величество, яицкого казака Петра Кузнецова дочерь. Матери нету у нее, у бедной, сиротка. В наш городок к тетке погостить приехала.

— Не в замужестве?

— Нетути... Ведь ей только шестнадцать годков сполнилось. Вы не глядите, что такая рослая... Девчонка и девчонка!

Пугачев прищурил правый глаз, засопел сквозь ноздри, сказал:

— Слушай, Иван Александрыч, я сейчас стану деньги швырять... Что, в полу-то дыр да щелей у тебя нету, не закатятся?

— Пол плотный, батюшка, потешьтесь, пошвыряйте...

Пугачев ужал в обе горсти мелочь, размахнулся и швырнул в пляшущих девок:

— Лови, красавицы, на орехи да на пряники!

Девки с криком: «Спасибо, батюшка, спасибо, надежа-государь!» — бросились подбирать повсюду раскатившиеся деньги. А вот Устинья Кузнецова и не подумала ловить царскую подачку, она отерлась белым

платком, оправила волосы и села под окно, к государю боком, точно бы и в помине его нет. Ну, право же бесенок, а не девка!

Государь схватил еще горсть денег, вскинул руку и, словно картечью из пушки, стрельнул прямехонько в Устинью Кузнецову. Но охмелевшая рука промахнулась, серебряная картечь пролетела мимо, ударила в стену, зазвенела, взбренькала и рассыпалась, как град.

— Устинья! — нетерпеливо крикнул Пугачев. — Подь сюда, девонька!

Она тотчас встала, быстро, четко подошла к государю, низехонько отвесила ему поклон.

Лицо у нее продолговатое, нежное, румяное, аккуратно очерченные губы плотно поджаты, льняного цвета, вьющиеся на висках волосы заплетены в тугую косу. «Ой, красива!» — про себя молвил Пугачев, невольно отводя взор от задорно-бесстрашных темных глаз ее.

— Вались, вались батюшке в ноги да целуй ручку государеву, — делая растопыренной ладонью жест книзу, командовал хозяин.

— Не надобно, отставить! — крикнул Пугачев. Рывком сбросив шубу с правого плеча, он вытащил из кармана горсть серебряных рублей, сказал девушке: — Подставляй подол, красавица. Прими дар от государя. — Та приподняла концами пальцев красный, в белых кружевах фартук. Пугачев всыпал туда деньги: — А когда станешь замуж выходить, весточку пришли мне, эстафет. Государь желает на свадьбе на твоей пир вести. Ну, ступай, красавица, с богом да поиграй мне песенок. Мастерица ты!

Устинья сызнова низко поклонилась государю и, поводя наливными плечами, прочь пошла.

Пугачев потянулся к третьей чарке. Хозяин только головой крутнул: годовалый мед после третьей валит всякого.

— Опасаюсь, ваше величество, как бы не сборол вас мед-то? — сказал он.

— В препорцию, — ответил государь и, перекрестясь, выпил.

А девки снова завели песни и плясы. Устинья звонко зачинала:

Чтобы рученьки играли,
Чтобы ноженьки плясали...

Девки подхватывали:

Ай-люли, ай-люли,
Скачет заяц в криули!..

Поднялся бурный пляс. Хозяин сбросил кафтан и, ударяя ладонями по голенищам, тоже кинулся плясать. Пред охмелевшими глазами Пугачева все крутилось, метлесило, дом качался, стены прыгали, вихрь по горнице ходил, огоньки свечей мотались ошалело — вот-вот сорвутся и, как жар-птицы, в поднебесье улетят.

— Ай-люли, ай-люли! — гремели песни, и пол с треском грохотал, гудел.

— Ай-люли, ай-люли, — выпив четвертую, затем и пятую чару, стал подпевать, стал прихлопывать в ладоши Пугачев.

Чтобы щечки розовели,
Девьи губоньки алели...

— Ай-люли, ай-люли! — гремели голоса, и горбоносый хозяин подскакивал с присвистом под самый потолок.

— Ай-люли, ай-люли, — с улыбкой подпевал счастливый Пугачев.

Все плыло, крутилось, кувыркалось, а он подпевал да подпевал. Затем откинулся к спинке стула, блаженно улыбнулся, сказал:

— В пле... в плепорцию... Ась? — смежил глаза и захрапел.

4

Солнце едва показалось, а Пугачев был уже на ногах. Пошел в баню, чтоб веничком похвостаться да вчерашний хмель выбить. Ну и мед! Затем он завтракал. Хозяин предлагал опохмелиться, Пугачев наотрез отказался:

— И тебе на деле не советую.

Давилину он отдал приказ, чтоб тот распорядился седлать коня.

— Да немедля передать атаману Овчинникову, чтоб все войско было в крепости в строевом порядке, а илецких казаков выстроить особо — три сотни, в походной амуниции.

В крепость он прибыл в сопровождении Ивана Творогова и всей свиты. Опять в честь государя стали палить пушки, но он тотчас запретил, — нечего попустому порох тратить.

Подъехав к илецким казакам, стоявшим в конном строю, он поздоровался с ними и громко возгласил:

— Господа илецкие казаки! Поздравляю вас с полковником, каковым быть имеет, по моему высочайшему повелению, вестный вам казак Иван Александрыч Творогов. Ему покоряйтесь, отселе он главный начальник ваш.

Казаки закричали благодарность и согласие, а произведенный в полковники Творогов скатился с рослого коня и пал государю в ноги. Затем казаки, сотня за сотней, не спеша проехали пред государем.

Государь слез с коня и произвел подробный осмотр крепости. Объяснения давали новый полковник Творогов и бывший сержант, ныне хорунжий Дмитрий Николаев. Были тщательно осмотрены пятнадцать пушек, годными признаны десять, из них четыре медных. У трех не было лафетов, лежали на поломанных телегах. Государь приказал, чтоб к завтраму же были сделаны лафеты.

— Чумаков! — обратился он к яицкому казаку Федору Чумакову. — Мне вестно, что ты знатец в батарейном деле. Так будь же у меня начальником всей моей артиллерии. Ты вместе с Николаевым забери из складов порох, свинец, снаряды и представь мне оных список.

— Слушаюсь, надежа-государь, — сказал, низко кланяясь, кривоногий сорокапятилетний Федор Федотыч Чумаков. У него круглое костистое лицо, нос толстый, с защипочкой, бурая борода лопатой.

От здания к зданию, от батареи к батарее обычной своей походкой шел Пугачев столь быстро, что свита едва поспевала за ним вприпрыжку.

«Ну и легок батюшка на ногу!» — думал всякий.

Обошли крепостной вал.

Все повернулись взором к церкви. Возле нее, на суку древней осокори, висел, руки вниз, разутый и полураздетый атаман Лазарь Портнов.

К Пугачеву вперевалку подошел упитанный, румяный человек с густой, опрятно расчесанной бородой, снял обеими руками шапку и, чинно поклонившись, сказал:

— Позволь, надежа-государь, слово молвить. Аз раб божий православной древлеапостольской веры, храмы наши убираю малеванием, а такожде и лики старозаветных икон подновляю. Вот намеднись довелось мне писать лик старца Филарета, всечестного игумена...

При упоминании о Филарете, игумене раскольничьего скита, что на реке Иргизе, глаза Пугачева расширились. Еще так недавно, под обликом бродяги, Емельян Иваныч прожил у него в укрытии три дня. Тогда в мятущуюся душу запали многие слова умного старца. Игумен говорил, что Петр Федорыч, может быть, жив, а может, и умер, как знать? Только народ ждет его с упоением. И еще: «Народ похощет, любого вождем своим сотворит, лишь бы отважный да немалого ума человек сыскался», — произнес тогда старец поразившие Пугачева слова.

И вот сейчас пред ним бородатый богомаз... Уж не обмолвился ли ненароком игумен Филарет, не сказал ли чего лишнего этому человеку? И Пугачеву стало неприятно. Он взглянул на румяного голубоглазого бородача с немалым подозрением. Но открытое, добродушное лицо живописца успокоило его. Человек в черном длиннополом казакине, на кожаной лямке через плечо висит перепачканный мазками красок деревянный ящичек, кисти рук живописца белые, с длинными пальцами.

— Говори, что тебе надобно и как звать тебя?

— Зовут меня Иван, сын Прохоров. А как вы были, батюшка, скорым заступником веры нашей древлей, обрелось во мне усердие писать лик ваш царский, — заискивающе улыбнулся живописец.

— Изрядно, изрядно! — Пугачев покрутил усы, поднял плечи.

— Для ради сего в укромное место куда-нибудь нужно, надежа-государь...

Сержант Николаев, смущенно хлопая глазами, сказал не без робости:

— Наидостойным местом я почел бы канцелярию, ваше величество, там и холст сыщется. Да и находитесь вы своей особой против нее.

— Добро, добро, Николаев! Нехай так, — сказал Пугачев и пошел в канцелярию. Все последовали за ним.

Сержант Николаев тронул живописца за плечо и показал глазами на висевший в дубовой раме поясной портрет Екатерины: валяй, мол, на нем. Живописец подморгнул, улыбнулся, кивнул головой в сторону Пугачева: а вдруг, мол, батюшка на это прогневается. Николаев шепнул: «А ты спроси».

— Ваше царское величество, — масленым голосом обратился бородач живописец к Пугачеву. Он без тени сомнения принимал его за истинного императора. — Хоша у меня припасена для ради письма лика вашего подгрунтованная холстина, да, вишь ты, беда — подрамника нету.

— Да как же быть-то, Иван Прохоров?

— Да вот как быть... Дозвольте, батюшка, посадить вас на всемилостивую матушку. — И живописец указал рукою на портрет.

Пугачев пристойно рассмеялся (подражая ему, все вокруг заулыбались), крутнул головой, сказал:

— Ну и штукарь!.. Чего ж ты, бороду, что ли, намалюешь Катерине-то да усы?

— Пошто! Я напредки грунтом ее перекрою, а как грунт поджухнет, вас на оном писать зачну.

В канцелярии было довольно светло, Пугачев обернулся к портрету и прищурился. На него впол-

оборота глядела величавая дама с большими глазами, с поджатыми, слегка улыбавшимися губами, с оголенными круглыми плечами, к правому плечу голубая лента, на груди осыпанная драгоценными каменьями звезда.

— Гордячка!.. Заговорщица!.. — Он сдвинул брови, лик его стал грозным. Живописец, неотрывно наблюдавший за Пугачевым, переступил с ноги на ногу, оробел. — Вот ужо соберу силу да тряхну Москвой, тогда и тебе, красавица, туго будет... Станешь локоток кусать, да не вдруг-то укусишь. Ладно, сажай на Катьку! — приказал он бородачу.

Портрет сорвали со стены. Пыль, дохлые мухи, паутина, живой паук...

Живописец попросил государя, чтоб все ушли. Не мешали бы. Пугачев оставил дежурного Давилина. Живописец раскрыл ящик с кистями и красками в стеклянных пузырьках, заткнутых деревянными пробками. Терпко запахло скипидаром и олифой. Покрыв портрет серым грунтом, бородач сказал:

— Ой, беда, многотрудно писать лик-то ваш, батюшка, зело много скорби в очах-то ваших светлых. А вторым делом, эвот, эвот какие складки меж бровей-то к челу идут, как у Николы-чудотворца, — гневлив на неправду Христов угодник был. — Говоря так, речистый живописец перетащил с Давилиным на середину канцелярии дубовую скамью. Давилин свернул втрое свой чекмень и положил под сиденье государя.

Тот сел, расчесал гребнем усы, бороду, приосанился, поправил высокую мерлушковую шапку. Давилин взломал кинжалом запертый кленовый шкаф, добыл голубоватые листы добротной бумаги. Иван Прохоров, близоруко прищуриваясь и оскаливая зубы, внимательно рассматривал лицо Пугачева и штрих за штрихом накладывал на бумагу очиненным липовым углем. Это был набросок, проба.

— Слышь, Прохоров? — сказал Пугачев. — А долго ль мне, как статую, сидеть доведется?

— Да не столь долго, надежа-государь, прожухнет грунт скоренько, у меня средствия особые подме-

шаны...— откликнулся живописец и, чтоб развлечь батюшку, стал рассказывать: — За веру стражду, ваше величество. Из богоспасаемого града Воронежа от гонителей веры нашей бежать повелось, страха ради. И даде мне приют всечестной старец Филарет, под единою кровлей обретаемся с ним вкупе.

Пугачев вновь встревожился.

— Сколь давно ты у него проживаешь-то?

— Да с весны, батюшка, с нынешней весны, с месяца мая. Старец-то в Казань меня спосылывал, к Щелокову-купцу. Теперичь вобрат вертаюсь. В Яицкий городок заезжал, а там, ведаешь, рабов божьих нашей веры довольно. Да беда! В руки Симонова-коменданта едва не угодил...

— Ах, наглец, изменник! — сказал Пугачев, отмахнувшись от мухи. — Не уйдет он от моей царской руки. Его да еще Крылова-капитана со всем отродьем в петлю вздерну... Супротивление оказывали мне.

— Ну, вот таперичь, ваше величество, замрите, — прервал царя живописец, взял загрунтованный портрет Екатерины и, помолясь на восток двуперстием, приступил к делу. — Не ворочайтесь, батюшка, сидите смирно. Да не можно ли в пресветлые очи-то улыбочку пустить, а то горазд хмурый выйдете, батюшка...

— Благодарствую, пущу, — сказал Пугачев. Но как ни старался, не мог придать глазам веселость.

— Ах, ах! — сокрушался живописец. — Хошь морщинки-то по челу меж глаз как-нито разгладьте...

Портрет писался в напряженном молчании.

Были выписаны глаза да основные черты лица, все же остальное едва намечено.

— Сие распишу и без вашего усердного сидения, батюшка. Зело притомились поди?

Пугачев действительно заскучал. Но сознание, что его пишут как царя, давало ему силы переносить скованность неволи...

— Ну вот, присмотритесь, ваше величество...

Пугачев подошел к портрету.

— Неужто я таков? Горазд грозен да немилостив...

— Сущий вы, батюшка, — что видело око мое, то и на холст положило, — потупясь, ответил живописец. — Взор царственный, вселяющий в души смертных немалый трепет, неправду людскую, аки огонь, сжигающий.

— Давилин, схож ли я?

— Капелька в капельку, ваше величество! Ежели бороду снять, на великого Петра Алексеича смахивать станете...

— На дедушку моего? Не врешь, так правда! — сказал Пугачев и вышел. Портрет ему не понравился. Он ожидал увидеть себя в славе и сиянии, с державой и скипетром в руках. И пожалел затраченное время.

...Через две недели портрет был в келье игумена Филарета. Кланяясь в ноги старцу, живописец восторженно говорил:

— Лик государя объявленного, Петра Федорыча, списал, великого заступника веры нашей...

— Покажь, покажь.

Живописец развязал портрет, упакованный в синюю набойчатую скатерть, и, как некую святыню, подал игумену. Тот долго всматривался в черты изображенного лица. Наконец воскликнул:

— Ай-ай-ай! Хоть и не больно схож, а он... Камо гряду от лица твоего? Аще взыду на гору, ты тамо еси; аще спущуся во ад, ты тамо еси... Вскую шаташася. — Старец произносил слова эти каким-то загадочным голосом, а в его глубоких темных глазах поблескивали огоньки.

Живописец смущенно нашептывал старцу:

— В народе толкуют, атамана Портнова в Илецком городке вздернул царь-батюшка, Симонова собирается казни предать. Ну и грозен, грозен Петр Федорыч, радетель наш! А власти не признают его, за беглого казака Омельку Пугачева принимают, окаянные!

Филарет, как вошли в келью, сказал:

— Надлежит сему государеву портрету подписану быть. Мы умрем, а он останется на посмотренье людям.

Зная, что Иван Прохоров не горазд в грамоте, Филарет достал из-за божницы пузырек с чернилами, очинил гусиное перо и приготовился писать. Перед тем, не доверяя очам своим, он заглянул в пожелтевшую тетрадь с записями о событиях и встречах и на давней странице сыскал строки: «Сего числа имел беседу с забеглым казаком по имени Емельян Пугачев; нашей веры человек, но дик и странен, днесь же попаляем в сиром звании своем гладом духа и проворством помышления».

Живописец, кланяясь в пояс, молвил:

— Ты, отче Филарет, пиши тако: сей-де лик пресветлого императора и государя Петра Федорыча Третьего, великого ревнителя веры нашей древлей, писан-де той же веры Иваном, сыном Прохоровым... в тысяча семьсот...

— Да уж не учи, знаю! — перебил его старец и оправил очки. Скорбно, про себя, в бороду улыбаясь, он на обратной стороне портрета вывел следующую надпись:

«Емельян Пугачев, родом из казацкой станицы, нашей православной веры, принадлежит той веры Ивану, сыну Прохорову.

Писан лик сей 1773 года сентября 21 дня» [1].

5

Государя со свитой угощал обедом Иван Творогов. Перед началом трапезы, кланяясь, он сказал:

— Бью челом, хлебом да солью да третьей любовью, — и всем налил водки.

А государю поднесла чару на медном с эмалью персидском блюде сама Стеша. Красивая, рослая, румяная, с лукавым в глазах блеском, она была в лучшем наряде и походила на боярышню.

Но Пугачев, приняв чару, хотя и положил на блюдо пять рублевиков, взглянул на Стешу равнодушно.

---

[1] Портрет с приведенной надписью (на обратной стороне холста) хранится в Историческом музее в Москве.

Обиженная Стеша горестно вздохнула, потупилась. А вот как ей хотелось, чтобы государь чокнулся с ней и при всех поцеловал ее. Неужли эта птичка остроносая, Устька Кузнецова, батюшку приворожила?

Все выпили в честь новой полковницы-хозяйки и полковника-хозяина, а когда Творогов взял бутыль, чтобы снова налить водки, Пугачев махнул рукой:

— Убрать! Не гоже теперь.

Казаки переглянулись, бороды их печально повисли. За обедом был совет, куда назавтра путь держать? Решили двинуться к крепости Рассыпной.

— Оная крепостца махонькая, ваше величество, — сказал Творогов, покручивая кудрявую бородку. — Она по ту сторону Яика, по пути к Оренбургу. В полугоре стоит. Супротив нее киргиз-кайсаки вброд Яик переходят, народу пакости чинят.

— А кто там комендант и много ли воинской силы? — спросил Пугачев.

— Комендантом там майор Веловский. При нем полсотни оренбургских казаков да рота старых солдатишек.

— Не больно страшно, — сказал Пугачев. — Почиталин, напиши-ка им мой манифест. А где сержант Николаев? Пущай и он вместях с тобой работает, он поболее тебя учился-то.

Казаки опять переглянулись. Им не нравилось, что государь приближает к себе какое-то дворянское отродье.

Сержант Николаев без зова обедать с государем не посмел. Приближенные косятся на него, как на чужака, особенно Митька Лысов, а с ним заодно Давилин. К тому же душевное состояние сержанта было самое подавленное. Он сидел на земляном полу, жевал хлеб с маслом, глаза его застилались слезами.

С трепетом осматривал он последнюю судьбу свою. Предвидение своего трагического конца повергало его в трепет.

— Что я наделал, что наделал... Уж лучше бы быть мне повешенным, нежели изменником... — шептал сержант, но, взглянув на висевший труп

казненного Портнова, судорожно передернул плечами. — Ну как мне быть? — уж в который раз безответно вопрошал он самого себя. — Бежать? За мной следят. Да и как явлюсь с обрезанной косой к полковнику Симонову. К тому же предатель возница наверняка всем разболтал, как я кувыркался в ноги Пугачеву. А ежели остаться служить верой и правдой? Но кому служить? И чего эта толпа изменников хочет? Всех их ждет веревка с перекладиной... А вместе с ними и меня!

Он, двадцатипятилетний молодец, стиснул дрожавшие губы, голубые выпуклые глаза его засверкали, пристукнув кулаком в землю, сержант неожиданно для самого себя выкрикнул:

— Служить!

Все в нем замерло, все подчинилось этому внезапному, но крепкому решению. Да, он будет служить новому хозяину, как верный пес. И никаких помышлений об измене!

— Служить! — еще решительней выкрикнул сержант.

Он снова стал взвешивать все обстоятельства, вдумываться в нелегкие, сложные условия предстоящей жизни. Ну что ж... Пугачев даровал ему жизнь, приблизил его к себе, и в тяжелый час он, Николаев, всегда найдет у этого человека защиту.

А вдруг Пугачев воистину есть государь Петр Третий, как о том твердит разбойник Чика и тот старый дурак, Почиталин?

Царь! Пострадавший, убитый, воскресший, ищущий для народа правды! Диво мне, что он царский облик потерял, — вон сколько в рабском виде жил, простым смердом...

Сержанту показалось, что земля вздрогнула под ним и заколыхалось небо: он закрыл руками лицо, как от сильного света, и повалился навзничь.

— Николаев! — Эвот ты где валяешься... Беги скорей, государь кличет...

Он поднял голову. Пред ним стояли два вершних казака. Он вскочил и побежал.

— Дашенька, милая Дашенька! — спотыкаясь, бормотал он на бегу. — Ты думаешь, что я погиб? Нет, я жив еще... Но — погибаю!

...Дашенька в эти минуты лежала в своей горенке, на деревянной, под кисейным пологом, кровати, ее голова завязана мокрым полотенцем, глаза покрасневшие, заплаканные.

Из Оренбурга возвратился сегодня в Яицкий городок старый казак Пустобаев. После доклада коменданту он зашел в горенку Дашеньки и поведал ей горькую весть о том, что сержант Митрий Павлыч Николаев до Оренбурга не доехал, сгинул без вести. Но никто, как бог! Придет время, суженый возьмет да и объявится. И убиваться столь прекрасной девоньке нечего: в отчаянье, сказывают, грех один, а мы все под милостию божьей ходим.

Ни приемной матери, ни приемному отцу своему Дашенька не обмолвилась ни словом. Рассудительная и своевольная, она решила пережить беду одна. Ну, может быть, при случае посоветуется с тайной подруженькой, Устей Кузнецовой, девушкой умной, с твердым характером, Дашеньке преданной.

«Эх, Митя, Митя! Неужли же угодил ты в руки разбойника, неужли же злодей голову срубил тебе, а тело бросил на растерзание волков степных?» — мысленно причитает Даша, и белая подушка ее мокра от слез.

...И откуда знать было осиротевшей Дашеньке, что Митя ее жив, невредим? Вот он сидит в избе с кудрявым молодцом Иваном Почиталиным, и веленьем государя оба сочиняют манифест. Они пишут наспех, государь не терпит промедления и, наверное, укажет им внести какие ни на есть в манифест поправки.

«Сим моим указом в Рассыпной крепости всякого звания людям повелеваю: как вы, верные мои рабы, служили и покорны были напредь сего мне и предкам моим, так и ныне в самом деле будьте верны и послушны, стремитесь с истинною верноподданническою

радостью и детскою ко мне, государю вашему и отцу, любовию...»

Сержант Николаев пишет бумагу со всей искренностью, двоедушничать — не в его нраве, ему хочется, чтоб этот бородатый человек остался его трудом доволен и чтоб крепость Рассыпная без пролития крови подчинилась ему.

«Кто же сего моего указа не послушает, тот сам узнает праведный гнев противникам моим».

Окончив, оба молодца направились к государю.

Но было уже поздно, стоявшие у крыльца на карауле казаки повернули их обратно:

— Не приказано пущать. Его величество почивают.

Когда Пугачев ушел на покой в отведенную ему спальню, новая полковница, Стеша, услала своего мужа на тот конец улицы, к дьяконице, за дрожжами, — завтра, мол, гостей на дорогу пирогами придется угостить.

И только новый полковник за ворота, Стеша опрометью вверх по лестнице: надо же царю-батюшке оправить изголовье.

Комендант Рассыпной крепости, майор Веловский, «возмутительного» пугачевского листа не принял. И как стали приближаться пугачевцы, он открыл по ним огонь из ружей. Но защитников крепости было весьма мало. Веловский объявил, чтобы все, кто хочет спастись, бежали в комендантский дом. Офицеры и несколько солдат заперлись в крепком деревянном доме и стали метко отстреливаться из окон. Среди войска Пугачева были убитые и раненые.

— Зажигай! — кричали озлобленные пугачевцы и с пуками горящей соломы стали прокрадываться к осажденному дому.

Пугачев послал Давилина с приказом, чтоб дом не поджигали, а супротивников взяли живьем.

— А то, вишь, ветер: крепость огнем возьмется, все жительство безвинных людей сгорит. Не можно это, детушки.

Вскоре казаки, осыпаемые пулями, вломились в комендантский дом и всех защитников доставили к Пугачеву. Он отдал такой приказ: майора Веловского с женой и офицера повесить, сдавшихся солдат поверстать в казаки, обрезать им косы, привести к присяге.

Забрав три пушки, порох и снаряды, войско на следующий день выступило к Нижне-Озерной крепости.

Пугачев чувствовал себя уверенно. Войско его дерется храбро, берет форпосты и крепости, уничтожает походя вражеские отряды. Еще осталось взять три крепости, а там — знай катись вольной дорогой к самому Оренбургу.

ГЛАВА VI

Нижне-Озерная и Татищева. Дух крепостного гарнизона. Ссора

1

Губернатор Рейнсдорп получил новое известие: прискакавший из Илецка гонец доложил, что городок занят мятежниками и население встретило самозванца с хлебом-солью.

Беспечный, бестолковый губернатор, вместо того чтоб это известие проверить, разослал по городу приглашения на новый бал по случаю коронации императрицы.

Среди бала пришел рапорт коменданта Татищевой крепости, полковника Елагина, о занятии Пугачевым Илецкого городка и казни атамана Портнова. Казалось бы, известие ошеломляющее. Но чтоб не омрачать торжества, губернатор скрыл от гостей грозившую всем опасность. Он был совершенно уверен в силе Оренбургской крепости, в отваге защитников ее и в собственной непогрешимости в делах военных.

Пугачевцев же он считал просто-напросто шайкой

разбойников, пополнявшейся изменниками-казачишками. Намерения этой обнаглевшей шайки — погулять, попить, пограбить. Впрочем, у генерала Рейнсдорпа разговор с «воровским сбродом» будет недолог, без особого труда он сотрет с лица земли всю «нечисть»!

Итак, прежде всего — спокойствие, спокойствие... Бал продолжается!

На другой день после бала явился с письмом посланец Нур-Али-хана. Этот владетельный азиат вел хитрую игру: он хотел оставаться верным царствующей императрице и в то же время вести дружбу с новоявленным царем. Рейнсдорпу он писал:

«Мы, на степи находящиеся люди, не знаем: сей ездящий вор ли, или реченный государь сам?» Далее он предлагал губернатору, ежели в том будет нужда, собрать своих пять тысяч киргизов, идти по следам самозванца и пленить его.

Рейнсдорп на словах передал посланцу, что в помощи хана не нуждается, так как для «сокрушения злодея» достаточно и русских войск.

В тот же день, получив, в дополнение ко всем другим известиям, тревожный рапорт полковника Симонова, губернатор сделал распоряжение бригадиру барону Билову выступить с воинским отрядом при шести полевых пушках навстречу самозванцу. Билову предписывалось идти к Илецкому городку, злодейскую толпу разбить, мятежников переловить.

К вечеру 25 сентября 1773 года отряд барона Билова прибыл в Татищеву крепость, что в шестидесяти шести верстах от Оренбурга. А часа два спустя подъехал туда на бричке и сам Билов.

Комендант крепости, старик Елагин, с нескрываемой радостью встретил его возле крепостных ворот.

— Ну вот, батюшка Иван Карлыч, и вы пожаловали, спасибо! А утресь ко мне дочерь заявилась, Лидочка. Она, ежели изволите помнить, с нонешней весны в замужестве за Харловым, комендантом Нижне-Озерной. Ну, вот он и отправил ее в родительский дом: в Татищевой, мол, укрытие-то покрепче... Ох, господи, вот до чего дожили, Иван Карлыч!.. Слы-

хано ли, видано ли, чтоб казаки, нарушив святую присягу, к разбойнику передались! Ну да ничего! Мы им покажем где раки зимуют... В бараний рог согнем... И без промедления! Как полагаете?

— По сведениям, у злодея до трех тысяч касаков и всякий сброд, — тяжело шагая рядом с Елагиным и посапывая, отозвался тучный, коротконогий барон Билов.

— Откуда там три тысячи?! А хотя бы и так. У нас ведь тринадцать пушек.

— У него, по имеющимся данным, тоже пушки есть. Но... будем уповать, что пресечем!..

— Он, батюшка Иван Карлыч, этот супостат Емелька, в Илецкой Защите атамана Портнова повесить приказал... Таковы слухи в народе.

— Фсдор, фсдор! — вращая водянистыми глазами, выкрикнул Билов и потянул из кармана трубку с кисетом.

— Нет, не вздор, — неожиданно рассердясь на легкомыслие немца, сказал полковник Елагин. — Да что вы, Иван Карлыч, все как-то в натыр идете?..

Они шли по узкой крепостной уличке, обстроенной приземистыми, крытыми соломой глинобитными казармами, кирпичными красными складами фуража, амуниции, топлива, зарывшимися в землю и обложенными дерном пороховыми погребами. Между постройками — небольшие огороды с грядами мака, подсолнухов. Много скворешен на шестах. У колодца с журавлем — два длинных корыта, жидкая вокруг грязца и деревянные надолбы, огрызенные лошадьми. Человек пятнадцать молодых казаков, по-особому подсвистывая — фиу, фиу, — поят коней, с оживлением что-то рассказывают, громко хохочут. Завидя командиров, смолкают и, перемигнувшись друг с другом, без особой охоты и радения, кой-как вытягиваются пред проходящим начальством. Рожи у казаков себе на уме, в прищуренных глазах их отблеск тайных мыслей. Рассеянный Билов этого всего не замечал, но благоразумный и пытливый полковник еще и до этого дня видел в поведении своих людей нечто странное, пугающее, и это сильно угнетало его.

Да взять хотя бы этих пожилых, плохо бритых солдат с обветренными, морщинистыми лицами. Вот они сидят вдоль казарм, на завалинках. Двое, поглядывая на багряно-мутный диск заходящего солнца и сугорбясь, тянут грубыми голосами, как слепцы, заунывную стихиру; другие, вооружившись большими иголками, сощурившись, латают порты и рубахи. Иные, поставив в ногах шайки с водой, при помощи шомпола и палки неторопливо промывают стволы ружей и пищалей, а иные сидят вовсе без дела, балакают, как старухи у паперти, позевывают, закрещивая беззубые рты. Словом, держат себя солдаты так, будто кругом тишь да гладь.

Проходя, Елагин нарочито строго смотрит в их сторону. Солдаты неохотно встают, и уже нет того, чтобы — каблук в каблук, грудь вперед, руки по швам. Один даже не подумал подняться. Поелозив задом на завалинке, он спрятался за спину стоявшего перед ним и притаился.

— Кувалдин! — в полный голос окликнул старого солдата полковник. — Встать, сукин сын... Ко мне!..

Шаркая по земле ногами, старик кой-как подбежал.

— Почему не встаешь, когда пред глазами начальство! — Старик мялся, молчал. — Тебя или не тебя спрашиваю?

— Слеп я стал, ваше высокоблагородие, не дозрил вас.

— Какой же ты к чертовой матери воин, как же ты во врага стрелять будешь? Раз слеп стал, в могилу, значит, пора...

— Пора, пора, это так, — тряхнул головой Кувалдин и вызывающе, с оттенком угрозы добавил: — Вот ужо многие в нее, в могилушку-то, уляжутся. А будя божья воля, тожно и мне несдобровать.

— Пшел прочь, дура! — крикнул на старика Елагин.

А вот и комендантский, крепко выстроенный одноэтажный каменный дом. Высокое крыльцо с пери-

лами, палисадник, рябина, полосатая будка, часовой с ружьем, полосатый столб, на столбе вестовой, в полпуда колокол.

— Покорно прошу, многочтимый Иван Карлыч, запросто поужинать у меня, да и переночевать.

Встретила их печальная Лидия. Ей двадцать третий год, она невысока, с тонкой талией. Серые под густыми бровями глаза на миловидном загорелом лице выразительны и грустны.

Барон Билов тупо взглянул на нее, расшаркался и поцеловал ей руку.

В клетке под потолком высвистывала канарейка, ей откликались из соседней горницы сразу два щегла. Денщик принял от Билова дорожный архалук и трость.

2

Всем елагинским хозяйством заправляла комендантша. Толстенькая, кругленькая, со здоровым румянцем на щеках, она по своим довольно обширным полям и пашням разъезжала верхом на калмыцкой лошадке.

Время позднее, осеннее, а у нее еще овсы не скошены, вконец пересохли, зерно течет. Виной же тому ее супруг — полковник Елагин. Как ни ссорилась с ним, как ни корила его: «Службист неразумный, в генералы, что ли, тянешься?» — он все же на своем поставил и заместо полутораста солдат, нужных для второго сенокоса и прочих полевых работ, отпустил за последний месяц всего сорок человек, да и те — калека на калеке: «Ты, мать, в мои дела не суйся. Орда по степи грабежами промышляет, киргиз-кайсаки, не могу же я крепость обнажить». Вот чем прикрывается, непутевый!

Но сегодня у нее на работе, слава богу, все сто сорок человек.

— Давай, давай, старички!.. Давай, давай, солдатики! — покрикивая, скачет она на своем коньке по жнивью, подобно воеводе.

Она в длинных мужских сапогах, в короткой

юбке, из-под которой выглядывают полосатые шаровары. На голове — солдатская войлочная шляпа.

Старые солдаты вяжут снопы, с трудом разгибают затекшие спины, потягиваются, брюзжат:

— Приморились, матушка. С утренней зари бьемся, а уж скоро солнцу закатиться. Домой пора.

— Ладно, ладно... Выспитесь еще...

— Да ведь через силу-то и конь не потянет. Не молоденькие!

— А ты, капрал, знай подгоняй их, чего слюни-то распустил? А то у меня живо за решетку угодишь! Ну, ну, дружней. — И комендантша скачет к двум молодым казакам, сгребающим сено в копны.

Старики, не слушая окриков капрала, бросают работу, сходятся в кружок, садятся на снопы, закуривают носогрейки.

Глядя на эту странную группу утомленных людей, трудно было признать в них стойких воинов, геройством которых немало восхищался в свое время прусский король Фридрих. Согбенные, с погасшими глазами на морщинистых медно-бурых лицах, с пучками кое-как заправленных волос на затылке, они напоминали собой скорее сельских пономарей, чем боевых солдат.

— Вот, братцы, какова наша служба царская... — ворчат старики, разминая сухими кулаками затекшие поясницы. — Не ее величеству служим, а комендантше...

— У нас ли одних так?! У всех ахвицеров этакая же повадка — гонять солдат на работы на свои... Планида наша такая, — откликается соседям сухонький, низкорослый старичонка и широко раскрывает в позевоте беззубый рот: зубы съело время, повыбило начальство.

Действительно, не только у полковника Елагина, но и по всему Яику, вместе с Яицким городком, вместе с крепостями и столицей края — Оренбургом, атаманы, старшины, офицеры и даже сам генерал Рейнсдорп, обзаведясь большими хуторами, в той или иной мере занимались сельским хозяйством и в качестве рабочей силы употребляли солдат, казаков, бег-

лых, изловленных киргизов, калмыков. Иные же, как атаман Мартемьян Бородин, за гроши скупали рабов из бедноты малых народностей и закабаляли их себе как вечных данников.

3

Крепость Нижне-Озерная, куда подступал Пугачев, стояла на крутом утесистом берегу Яика и была обнесена бревенчатым частоколом. На стенах и возле ворот — несколько пушек. Крепостной гарнизон — это горсть престарелых солдат, не более того — драгун да полсотни переселившихся сюда оренбургских казаков.

Комендант крепости, майор Харлов, отправив свою жену в Татищеву, к отцу ее, коменданту Елагину, ждал от тестя подкрепления.

Елагин с дочерью Лидией чуть не на коленях умоляли барона Билова скорей идти с войском выручать Харлова и крепость. Но Билов отказался: пусть Харлов спасает себя, как знает. Впрочем, он вышел с отрядом в поле, прошел верст пятнадцать и вернулся: не хватило отважного духу!

Таким образом, Нижне-Озерная крепость обречена была на самозащиту. Харлов все еще ждал какой-то, откуда ни на есть, помощи, как чуда. Но вместо помощи все оренбургские казаки, как только стало смеркаться, вскочили на коней и умчались в сторону войск Пугачева.

Харлов пришел в отчаянье, однако решил защищаться до конца. С помощью денщика он перевез свои пожитки в дом своего кума Киселева, расставил возле пушек крепостной гарнизон с четырьмя офицерами и, приметив уныние старых солдат, сказал им:

— Смерти ли боитесь? Не бойтесь смерти, бойтесь измены государыне.

Солдаты вздыхали, смотрели в землю, что-то бормотали невнятное, иные осеняли себя крестом. Чтоб подбодрить их, майор Харлов поднес им водки и сам выпил. Когда стемнело, с раската, где стояли пушки, ясно было видно, как верстах в двух от крепости засветились костры пугачевцев.

— А ну, зажигай фитиля! — скомандовал по линии Харлов.

Старые бомбардиры с неохотой разобрали по рукам длинные палки с намотанной на концы паклей, стали макать паклю в лагунки с дегтем, высекать огонь и раздувать трут.

Харлов сам навел на костры жерла пушек и подал команду:

— Поджигай запалы!

Со скалы, где крепость, дыхнув длинным огнем, ударило в степь несколько пушечных выстрелов.

— Ваше благородие, да нешто ядро достанет ворога? Только зря заряды сничтожаем, — раздраженно сказал криворотый бомбардир. — Эхма-а, — вздохнул он и, казалось, хотел добавить: «Сдаваться бы надо, ваше благородие, вот что!»

— А мы без ядер палить будем, для острастки! — как бы оправдываясь, проговорил Харлов и закричал: — Подтаскивай, ребята, картузы с порохом! Дуй вхолостую! И врагу острастка и нам веселей. А как подойдут разбойники, мы их позаправде пугнем...

От костра, где стояли в козлах ружья со штыками, раздались сердитые выкрики:

— Разбойники ли, нет ли, а только одно осталось нам: сдаваться!

— Нам супротив его силы не выдюжить...

— Казачишки не зря спокинули крепость-то.

— Людство малое у нас, а в петле помирать кому охота!..

Харлов дрогнул, но не подал вида, что слышал эти возмутившие его голоса. Он опять скомандовал:

— Запалы! А ну, веселей!

Пушки вновь ахнули в темную глухую степь огнем и дымом. Мрачный Харлов отошел в край раската и, запрокинув голову, потянул из фляги хмель. «Да, на таких надежды нет... Видно, отвоевался ты на этом свете, Харлов! Прощай, Лидочка, голубка моя, прощай», — шепчет он и с тоскою вглядывается в сторону Татищевой, куда скрылась лю-

бимая жена, с которой ему довелось прожить всего пять месяцев.

Снова ревнули в темную ночь, одна за другой, четыре пушки. Комендант допил водку и велел денщику наполнить флягу до краев. В голове у него зашумело. Он приблизился к группе солдат и, напрягая волю, крикливо произнес:

— Чего приуныли, ребята? Давай-ка песню!

— Не до песен, ваше благородие, — глухо подал голос старый криворотый бомбардир. — Надо бы помолиться да к смерти приготовиться... вот чего! — В мутных глазах старика стояли слезы.

«Кончено, все кончено», — решил про себя Харлов и отошел прочь.

Небо на востоке стало розоветь, на западе сереть, занималось утро. Вскоре лагерь Пугачева пришел в движение.

Захмелевший от выпитой водки и от бессонной ночи, Харлов стоял с молодым офицером Мишиным на раскате. Он махнул барабанщику рукой. Как-то ненужно, сиротливо зазвучал барабан: тра-та, тра-та-та... Дремавшие солдаты встрепенулись.

— К пушкам! — скомандовал Харлов.

— К пушкам! — закричали офицеры.

Солдаты с подавленною бранью вскарабкались на вал.

По бурому полю на крепость надвигалась конная толпа. Впереди, на статном коне — сам Пугачев, за ним — свита, знамена, лес поднятых пик.

Крепость молчала. Сдается, что ли? Но вот внезапно пушки зевнули, засвистела картечь, заскакали ядра.

— Ах, изменники! — сдвинув густые брови, ахнул Пугачев и подстегнул коня.

Отряд пошел к крепости рысью.

— Ваше царское величество, — подскакал к Пугачеву встревоженный Яков Почиталин. — Поопаситесь, батюшка... Отъехали бы вы к сторонке... Вишь, ядра...

— Старый ты человек, а говоришь чистую дурь, — спокойно ответил Пугачев. — Разве пушки на царей льют?!

— Запалы! Запалы! — не сводя с надвигавшегося врага глаз, командовал Харлов.

Пушки гремели не переставая. И вдруг, словно сговорившись, смолкли. Пугачевцы приближались. С их стороны уже слышались ружейные залпы.

— Давай! Чего ж вы!.. — заорал Харлов и оглянулся. У пушек и за валом почти никого не было. Лишь, прячась за частоколом, маячили тенями десятка полтора стариков да на валу суетились четыре офицера, пытаясь надсадистыми криками: «Назад, черти! Назад!» — вернуть разбегающихся кто куда солдат.

Харлов теперь сам, в одиночку, перебегал от пушки к пушке и зажигал запалы. Пушки грохали вслепую. Офицеры снова с поспешностью заряжали их, обезумевший Харлов поджигал запалы, сам себе командовал: «Пли! Пли!..»

Но уже с треском рушились ворота, пугачевская конница вскочила в крепость. Харлов выхватил саблю.

— Ура! Ура!.. — закричал он дико, пронзительно и бросился с валу навстречу коннице.

Ударом пики ему выбили глаз, на щеку брызнула кровь, глазное яблоко моталось на толстом нерве, как маятник. Исступленный Харлов продолжал помахивать саблей направо-налево. В него вонзилось сразу несколько пик.

Изрублены, исколоты были все офицеры и почти все солдаты. А те, кому удалось бежать, снова вернулись и, пав на колени, вопили дико:

— Признаем государя, отца своего!..

Казаки-оренбуржцы, что вчера ускакали из крепости в стан Пугачева, рассыпались — одни по домам, другие — по складам, третьи бросились в дом харловского кума Киселева.

— Эй, показывай, где харловское добро?

Им указали. Они принялись вытаскивать пожитки на улицу. Два казака — трезвый и успевший здесь, в крепости, вдрызг напиться — вцепились в большой расписной сундук. Дочь Киселева кинулась им в ноги, заплакала:

— Ой, родные, государи мои!.. Я ж невеста... Это ж мой сундук, с приданым!

Казак, который потрезвее, отступился от сундука, сказал пьяному:

— Пойдем. Грех забижать Анютку!

Но пьяный ударил девку сапогом в лицо, она облилась кровью, завыла. Вбежали еще пятеро.

— Подхватывай! — крикнул им пьяный.

Сундук выволокли. Девка мчалась по улице.

— Где надежа-государь? Где?! — кричала она, не помня себя.

Пугачев стоял на раскате, осматривал с Чумаковым пушки. Девка повалилась в ноги царю и, целуя сапоги его, запричитала.

— Встань, милая, — приказал Пугачев и, подхватив девушку под мышки, поднял ее, как перышко. — Кто смел обидеть тебя?!

Пораженная неожиданной милостью, запинаясь и хныча, она рассказала о своем горе. Пальцы рук Пугачева сжались, разжались. Чрез ноздри задышав, он крикнул Давилину:

— Немедля найтить!

И вот молодой пьяный казак, с глазами тупыми и наглыми, сдернув шапку, остановился пред царем. А кругом — сбежавшийся народ: казаки, солдаты, жители.

— Он? — спросил государь. — Этот?

— Этот самый, — ответила девка. — Кузька-похабник, он здеся-ка в казаках служит... Эх ты, бесстыжай!..

— Детушки! — крикнул Пугачев, подымаясь на лафет пушки. — С пьянства да с грабительства немысленно нам дело свое зачинать! Обижать беззащитных женок, да сирот, да стариков недужных по нраву ли вам? Вот девушку изобидел, паскудник... Да что она, княгиня, что ли, какая альбо барыня?! А вторым разом — он, безумнай, пьян нажрался. Наше же дело военное, наше дело государственное... А посему... да исполнится царское повеление мое... Давилин! Оного Кузьку вздернуть на крепостных воротах, пусть все зрят, чего достоин!

— Помилуй, помилуй... — вопил пьяный казак, упав пред Пугачевым на колени.

— Вора миловать — доброго губить, — крикнул Пугачев.

4

Татищева крепость переживала крайнюю тревогу: было получено известие о разгроме Нижне-Озерной и гибели майора Харлова.

Лидия Федоровна упала в обморок, комендантша бросилась на колени пред образом, дородный комендант Елагин, застонав и побагровев, рухнул в кресло. Но вслед он пришел в себя... Не время отдаваться отчаянию, надо действовать. На горах, в каких-нибудь трех верстах от крепости, показалась толпища пугачевцев.

Он жадно выпивает кружку холодного квасу и спешит в канцелярию. Там бригадир барон Билов.

— Ну что ж, — овладевая собой, говорит Елагин и вопросительно смотрит в глаза неподвижно сидящего за столом тучного, с блеклыми глазами, бригадира. — У нас с вами, Иван Карлыч, около тысячи человек воинской силы, да пятнадцать пушек, да крепостные стены, хоть и деревянные, а прочности доброй. Авось устоим? Как вы чаете?

— Устоять должны, — выдавил сквозь зубы барон и, округлив толстые губы, пыхнул табачным дымом.

— Я бы просил вас немедля выслать в поле изрядный секурс, чтоб дать врагу сражение.

— И не подумаю, — более твердо сказал Билов, выхватив изо рта трубку и взмахнув ею.

Елагин поднял брови.

— Это почему, позвольте вас спросить? По какой причине вы изволили молвить «не подумаю»?

— Как, как почему?.. — И Билов, пристукивая в пол длинной трубкой, раздельно сказал: — Перво, я старше вас чином и не находил бы столь нужным давать вам ответа. Два — я только-только вернулся из похода, быв на позиции восемнадцать верст от вашей крепость.

— Ради чего же порешили вы вернуться, не дав майору Харлову помощи?

— Ради того, что там, в Нижне-Озерной, пальба пушек... Весь мой штаб офицеров советовал вернуться, так как...

— Так как вы трус! — выпалил, снова весь побагровев, Елагин.

— Как вы смейт?! Я прикажу вас арестовать!.. — И, замахнувшись длинной, в два аршина, трубкой, барон кинулся на Елагина.

— Не приближайтесь, не приближайтесь! Зарублю! — И Елагин схватился за шашку.

В эту минуту в прихожей скрипнула дверь, послышалось покашливание, в канцелярию явились к утреннему своему часу писаря.

Первым опамятовался полковник Елагин. С волнением в голосе он сказал Билову:

— Господин бригадир! Бросим пререкания. В сей грозный час они не к лицу нам и не ко времени...

— Господин полковник, извиняйт меня... Нервы, нервы! Не сплю ночей.

— У меня тоже... тоже не сладко на сердце, — примиряюще проговорил Елагин. — В животе и смерти бог волен, как говорится... Одначе мнится мне, что всех нас ждет неминучая гибель.

— Может, вас ждет гибель, меня не ждет гибель, — пробубнил с досадою барон и, показав Елагину мясистую спину, направился вперевалку к выходу.

Елагин резко встряхнул звонком. Вбежал дежурный.

— Капитана Березкина!

Явился офицер Березкин — щуплый, облезлый, безбровый, с тупо вытаращенными глазами человек. Елагин приказал ему взять отряд из пехотинцев и казаков, пушку и выйти из крепости, чтобы разведать силы мятежников.

Вскоре заскрипели на всю степь давно не мазанные крепостные ворота, отряд вышел в поле. За действиями разведки полковник Елагин наблюдал с вышки, сооруженной на крепостном валу.

Барон Билов с сотником Падуровым стояли возле вышки.

Тимофей Иваныч Падуров, статный тридцатипятилетний красавец с пышными темными усами и чубом, прибыл во главе казачьего отряда из Оренбурга вместе с Биловым. В день своего приезда, проходя мимо дома коменданта, он увидел стоящую на крыльце красивую молодую женщину. «Кто такая, неужели жена этого старого верблюда Елагина?» Он снял шапку, тряхнул чубом, со всей учтивостью поклонился ей и, не останавливаясь, прошел в канцелярию. Узнав, что это супруга майора Харлова, он стал изыскивать способы поближе познакомиться с ней. И вот сегодня утром новое ошеломляющее известие: она — вдова. «Черт побери, а не грех бы и приволокнуться за красоткой», — неожиданно подумалось ему. Но он тотчас же себя пресек: «Омерзительно и глупо. Ведь такое горе у нее стряслось, а я женат и сына имею взрослого... К черту!.. Однако, что с нею станется, когда будет взята крепость? Бедная женщина...»

Отряд офицера Березкина, казавшийся вблизи очень внушительным, отдаляясь от стен крепости, постепенно превращался в малую толпишку: степные пространства съедали его. Не успели люди пройти и версты, как с ближних гор лавой ринулись на них всадники.

— Погибли наши! — сказал Падуров, и глаза его заблестели.

Билов облизнулся, зашлепал губами и не успел ответить Падурову, как уже все было кончено: офицер Березкин, поддетый на пику, рухнул с коня, пехота с казаками частью порублена, частью захвачена в плен, и лишь солдат Колесников с тремя товарищами, нашпоривая лошадей, успели умчать пушку в крепость.

— Ах, шорт их возьми, ловко бьются! — прищелкивая языком и сопя, сказал Билов спустившемуся с вышки Елагину. Билов успел хорошо выпить и сытно закусить.

ГЛАВА VII

Комендант Елагин. «Детушки! На штурм! На слом!» «Открой мне очи ...»

1

Крепость пришла в смятение. Всех солдат, молодых и старых, выгнали из казарм, поставили под ружье вдоль крепостного вала, канониры с бомбардирами разместились на деревянных раскатах возле тринадцати медных и чугунных пушек. Тридцать стариков, сказавшись больными, залезли спасаться в казармах под нары, но свирепые капралы обнаружили их и погнали на фронт палками. В обывательских домах — немолчный плач женщин, перебранка: всех мужчин, способных носить оружие, приказано сгонять на защиту крепости. Всюду ропот, недовольство, слезы.

Слезы, уныние и в дому коменданта. Лидия Федоровна в траурном черном платье сидит в обнимку с матерью в спальне. Обе безмолвно плачут. Как ни доказывал им комендант Елагин, что крепость безопасна, у них неистребимое предчувствие страшных бедствий.

— Маменька, сестрица, не бойтесь, — вбежал шустрый семилетний Коля. За его поясом — деревянный кинжал, в руке — копье, конец которого обтянут свинцовой китайской бумагой из-под чая. — Бригадир Билов приказал всем своим казакам выйти из крепости да рассыпаться по степи. Сотник Падуров уже повел казаков. Я тоже побегу, догоню да рассыплюсь... — И мальчик воинственно потряс копьем. — Маменька, дозвольте!

— Только тебя там не хватало, — сказала мать, моргая красными глазами. — Подай-ка нашатырь в бутылочке.

Подавая нашатырь, черноглазый Коля говорил взахлеб:

— Не плачьте, маменька. У нас еще тысяча... У нас одних казаков при Падурове шесть сотен.

А Падуров... молодчина! Он мне чего-то подарил... Лидка, пойдем покажу.

— Это что еще за Лидка! — оборвала его мать.

— Он мне леденчик подарил... Видишь, Лидуха? И еще чегой-то. Пойдем. — И он подмигнул сестре.

Мальчик чувствовал себя взрослым и, подражая отцу, старался, как умел, подбодрить женщин, но его маленькое сердце все же тревожно билось и страдало.

В соседней комнате послышались грузные шаги коменданта.

— Мать, выйди-ка сюда...

Крепкая, приземистая комендантша сорвалась с места и, звеня висевшими у нее за поясом ключами, проворно выкатилась за дверь.

— Лидка, на... — И мальчик, косясь на дверь, сунул сестре записку. — От него это...

Лидия развернула вчетверо сложенную, четко написанную бумажку и прежде всего отыскала подпись: «Тимофей Падуров». Сердце её болезненно сжалось, густые брови в изумлении приподнялись. «Несравненная, бесценная Лидия Федоровна. Я знаю, что вас постигло неутешное горе. Я ласкаю себя мыслью помочь вам, но путей к тому не ведаю...»

Ее рука с недочитанным письмом упала на колени, кончики побледневших губ обвисли, веки задрожали, голова поникла.

— Чего, чего, чего он пишет-то? — подметив волнение сестры, зачастил смутившийся Коля.

Но вот в спальню мрачной тенью, шатаясь, вошла комендантша. Закрыв пригоршнями мокрое от слез лицо и шатаясь, она завыла:

— Кормилец-то наш, желанный-то наш, отец-то наш...

— Маменька! — обомлев, вскочила Лидия. — Маменька, что стряслось?

— Чистое белье надел... К смерти приготовился...

Женщины бросились друг дружке на шею, громко зарыдали.

— Да ну вас совсем, — часто замигав, жалобно сказал мальчик, острые плечи его быстро поднялись и опустились. — Бабы какие... Воют и воют целый

день...— Он укоризненно покосился на женщин, но глаза его вдруг залились слезами. Он бросил копье, сорвавшимся цыплячьим голосом закричал: — Только и плачут, только и плачут!..— и, кривя рот, всхлипывая, побежал к выходу.

— Стой, Николенька,— поймал его вошедший в спальню отец.

Полковник был в новом мундире, при всех орденах. Седые волосы всклокочены, мужественное лицо бледно, губы подергивались, меж бровями вертикальная врубилась складка.

— Ну вот... Только вы ничего не опасайтесь... Ну вот... страшного ничего. Крепость устоит да еще и побьет супостатов-то. А все ж таки... на всякий случай... По закону христианскому благословить хочу. Ну, Лидочка...

Дочь, вся сотрясаясь, опустилась на колени, обняла ноги отца, прижалась пылавшей щекой к его новым, начищенным ботфортам со шпорами.

Мальчик стоял тут же. Он старался осмыслить происходящее. Но слезы застилали свет. Он видел, как лицо сестры исказилось мукою, как у отца дрожат колени и подергивается правая щека. Мальчик шевельнул плечами и вытер отсыревший нос рукавом рубахи.

Трижды перекрестив и поцеловав дочь, старик Елагин обратился к жене.

— Прощай, старушка,— выдохнул он и громко зафыркал носом.— Да ты не страшись. Бог милосерд. Все обойдется как нельзя лучше. Тридцать лет прожили с тобой. Прощай, старенькая...— В широкой груди его захрипело.

— Прощай, Федор Павлыч, прости меня.

— Прощай, касатка моя!

— Прощай, Федор Павлыч, батюшка! — Какими-то отрешенными глазами она с благоговением смотрела в его лицо, как на икону. Он обнял ее. У старухи дрожал подбородок, дрожали ноги, дрожала душа.

Полковник подозвал сына. Мальчик быстро справился с собой, перестал плакать и, вплотную

придвинувшись к отцу, стал рассматривать изящные, с золотом и эмалью, кресты на груди отца.

— Ну вот, Николай... Ты мужчина. Не куксись.

— Я ничего... я... я...

— Учись, слушайся, уважай старших. Завсегда будь мужественным, храбрым. А как подрастешь, имей попечение о сестре, о матери. — У старого полковника кривился рот, трепетало правое веко. — И... завсегда будь верен царю, отечеству... как и отец твой... Прощай.

Пять сотен оренбургских казаков приказанием Билова рассыпались по степи. Сбоку, то бросаясь вперед, то возвращаясь, гарцевал сотник Падуров. Этим маневром Билов рассчитывал задать мятежникам страх: пусть видят злодеи, сколь велика сила защитников.

Стал гулять ветерок, пыль понеслась, хвосты лошадей задирались в сторону крепости.

На вал, к тому месту, где было начальство, взобрался козлиной тропинкой священник в епитрахили, с крестом и евангелием. Он прочел краткую молитву, окропил пушки и воинов, осенил крестом Билова с Елагиным, офицеров и всех защитников. Коля таскал за ним кадило и медный кувшин со святой водой.

— Отец Симеон, осените святым крестом казаков в поле, — громко сказал Елагин. — Глядите, на них набегают мятежники.

Действительно, подскакав к отряду Падурова сажен на тридцать, пугачевские всадники дали по казакам ружейный залп. Два казака упали, задетая пулей лошадь, взлягивая задом, понеслась по степи и брякнулась на землю.

Отец Симеон высоко воздел руки с крестом и, троекратно осеняя поле брани, во всю мочь запел:

Взбранной воеводе — победительная!
Яко имущая державу непобедимую...
От всяких нас бед освободи, да зовем ти...,

Наблюдавший в подзорную трубу Билов вдруг заорал не своим голосом:

— Ах он... так его! Измена!.. О бог мой... Измена... Стреляйте в него, стреляйте!.. Пушка! Пушка!..

— Измена! — закричал и Елагин.

«Измена, братцы, измена...» — прошумело по всему гарнизону.

— Измена! — крикнул не то испуганно, не то восторженно и семилетний Коля, улепетывая домой с известием, которым он собирался удивить мать и сестру. — Измена, измена! Падуров злодеям передался. И все казаки. Измена! — без передыху кричал он, бросив медный кувшин и крутя кадилом, как пращой.

...Падуров выхватил белый платок, замахал нападающим: «Стой! Стой!» Затем он скомандовал казакам построиться по сотням, и всем гамузом с криком «ура», со склоненными пиками оренбуржцы двинулись в сторону пугачевцев.

— Урра! Урра!..— охрипшими от радости глотками встречали новых друзей пугачевские конники.

Со свитой подъезжал Пугачев. Падуров соскочил с коня, обнажил голову.

— Рапортую, государь! — молодецки гаркнул он и, всматриваясь в чернобородое лицо Пугачева, мысленно ухмыльнулся: «Вот так Петр Федорыч... Хоть бы бороду обрил». — Рапортую: пять сотен оренбургских казаков бьют челом вашему величеству, просят принять их под высокую царскую руку.

— Благодарствую, — проговорил Пугачев, окидывая орлиным взглядом бравую фигуру Падурова. — Кто таков?

— Сотник Тимофей Иванов Падуров.

— Так будь же моим полковником! Господа оренбургские казаки, вот вам полковник ваш!

— Урра! — заорали только что передавшиеся казаки, швыряя вверх шапки.

Тут с крепости грянули, одна за другой, одиннадцать пушек.

— Ого! — сказал Пугачев и, прищурив правый глаз, свирепо покосился на крепость.

2

С присоединением казаков Падурова силы Пугачева значительно окрепли. Емельян Иваныч решился на штурм крепости. Часть войска под начальством старика Андрея Витошнова он направил на Татищеву, с низовой стороны реки Яика, а сам двинулся сверху по течению.

Однако Билов и Елагин удачной пальбой из пушек и ружей успели отбить обе атаки.

— Стой, детушки, — сказал Пугачев, когда обе его части сошлись вместе. — Негоже нам зря ума людей терять. А умыслил я тактику. Нужно ветер запрячь, чтобы помогал нам, детушки. Ишь кожедер, завихаривает...

Падая с гор и все усиливаясь, ветер дул прямо на крепость.

— С нами бог, — весело щуря то правый, то левый глаз, проговорил Пугачев и приказал поджечь наметанные возле крепостных стен большие стога сена.

Взнялось, закрутилось, пыхнуло в разных местах пламя. Ближняя к крепости степь сразу оделась в огромные шапки огня.

— Ги! Ги! Ги! — радуясь огню, как малые ребята, гикали, приплясывали татары, казаки, калмыки. — Нишаво, нишаво, бульно ладно...

Озорной ветрище, крутясь и воя, налетал на шапки, с шумом ощипывал с них косматые золотые перья. Шапки дрожали, качались, таяли, никли к земле. В густых клубах розоватого, черного, желтого дыма, отрываясь от шапок, летели на крепость жар-птицы. С вихрем ветра, дыма и пламени, распушив золотые крылья и хвост, жар-птицы садились на соломенные крыши сараев, амбаров, хибарок, стоявших впритык к крепостному тыну. И в одночасье деревянные стены крепости были охвачены огнем.

— Вот так бачка-осударь! — восторженно прищелкивали языками татары. — Бульно хитро... Якши, якши!..

В крепостной церкви забили сполох. На валу рассыпалась мерная дробь барабана. Гарнизонные сол-

даты, защитники крепости, таращили на пожар глаза, в смятенье бормотали:

— Глянь, глянь, огонь за стены перелетывает. Пропали мы и все наше жительство!

Иссиня-желтое пламя коварно и ласково гладило, щупало темные бревна крепостных укреплений. А налетавший порывистый ветер мигом раздувал вялое пламя в прожорливую бурную силу. Стены до самого верха, до батарей запылали. Загорелись крепостные ворота.

— Горим, горим! — завопили впавшие в отчаянье солдаты. А те из семейных солдат и вольных людей, которые жили оседло в хибарках и лачугах, уже больше не слушая приказаний начальников, побежали спасать свое добро и семейства.

Но многие солдаты, кое-кто из бомбардиров, живших в казармах, остались на месте. Зарядив пистолеты, пищали и ружья, они делали вид, что готовы к отпору врага.

Елагин и особенно Билов пришли в крайнее замешательство, не зная, что предпринять. Билов дрожал, оплывшее лицо его стало иссиня-белым.

— Пали! Пали! — кричал охрипший Елагин.

Но палить было некуда: густым дымом заволокло все пространство, а снизу, цепляясь багровыми когтями, ползло по стене вверх пламя, и земля под ногами тлела. Воздух накаливался. Было нестерпимо жарко. Солдаты срывали с себя сермяжные куртки, кутали в них головы, пятились от огня.

Пушки что было силы гремели впустую сквозь дым и огонь. Внизу, под самой стеной у горевших ворот, полковник Елагин внезапно услышал зычный выкрик:

— Де-е-етушки!! На штурм!.. На слом!..

Это, привстав на стременах, подавал команду сам Пугачев, и в его голосе было столько силы и власти, что, помимо воли, сознание полковника пронизала мысль: уж не есть ли это в самом деле российский престолодержатель?!

Ломая деревянные рогатки, заслоны, надолбы, пугачевцы вслед за вождем своим прокладывали дорогу к воротам.

— На слом! На слом! — гремели освирепевшие голоса.

В крепостном поселке шум, гам. Бабы, солдатки, ребята, переругиваясь и гайкая, волокут из горящих жилищ всякий скарб, выгоняют со дворов скот, бегут с ведрами за водой. Дурным голосом мычат коровы, заполошно визжат свиньи, скачут как угорелые козлы. А набатный колокол все гулче, все отчаянней. Но вот загорелась церковь, и колокол смолк. Пожар разгулялся среди крепостных построек не на шутку.

— Господин полковник! — подскакивал к задыхавшемуся в дыму Елагину то один, то другой офицер. — На казармах воспламенились крыши, церковь горит, канцелярия горит... Вашему дому угрожает огонь. Что делать?

— Стрелять, вот что! Соблюдать присягу!..

На лысую голову, на жирный, в складках, загривок Билова старый солдат льет из ведра холодную воду. Билов отфыркивается, бормочет: «Боже мой, боже мой, подобный крепость потерять... Я никогда не питал надежды на этот франт Падуров, но... крепость!» И закричал истошно:

— Елагин! Где полковник Елагин?

А полковник в это время подбежал с горстью верных солдат к самому краю вала, выхватил пистолет и страшным, лающим голосом командовал:

— Залп! Залп!

Солдаты, три офицера и Елагин стреляли вниз, в дым, прицеливаясь по буйным крикам осаждающих.

— Забей пули! Сыпь на полку порох! Залп! Залп!.. — кашляя и плача от едкого дыма, командует Елагин.

Вот снизу, из клубов густого дыма, ударил ответно дружный залп, два солдата упали, остальные, оробев, скатились с вала.

По тесовой, поросшей лишайником крыше каменного дома Елагина бесстрашно сновала приземистая комендантша. В мужских бахилах, в короткой старой юбчонке, в овчинной кацавейке и порыжевшей солдатской шляпе, она со старым денщиком торопливо усти-

лает верблюжьими кошмами обращенный к пожарищу скат крыши. В воздухе жарко, как в печке.

— Давай воды! Давай воды! — подбежав к торчавшей над крышей пожарной лестнице, сколоченной из жердей, звонко кричит комендантша, обливаясь потом.

Кухарка, два солдата и чернобородый конюх таскают из колодца воду, ведро за ведром подают наверх. Комендантша все позабыла — что с мужем, что с сыном, что с дочерью, с внезапно явившейся силой она хватает ведра и, позвякивая связкой ключей у пояса, опрокидывает воду на крышу и снова швыряет ведра вниз: «Давай, давай!..»

...Кругом треск, грохот, пламя, дымище. Вдруг гулко ударила пушка, а следом — крики, стоны, страшная брань. Это полковник Елагин, подтащив с солдатами пушку вплотную к горящим воротам, поджег запал, пушка взревела и ахнула картечью в толпу ринувшихся на штурм пугачевцев.

В Елагине нет страха, он больше не помнит себя. Туман или дым вокруг него, пожар или молнии, рев пушек иль громовые раскаты — все спуталось в его сознании. Он был в состоянии мрачного бешенства.

— Пли! Пли! — исступленно хрипел он, вперяя обезумевшие глаза в то ужасное и неодолимое, что было смертью. Мстительно вскинув кулаки, полковник скрипел зубами и, ничего не поняв, не успев даже почувствовать боли, рухнул на землю. Пронзенное массивное тело его было тотчас же подмято мчавшейся с диким ревом конницей.

Началась резня. Всюду сверкают ножи, кинжалы, острия топоров. «Режь, бей, коли!» Страшные чернобородые, рыжебородые, усатые, бритые лица. Зубы стиснуты или злобно оскалены. В накаленных яростью глазах забвенье всего, чем перед тем жили, радовались и печаловались люди. Дым, огонь, лязг сабель, жалобное ржанье раненых коней, стоны падающих солдат... Штык порет сердце, выстрелы, выстрелы, визгливые выкрики, протяжные стоны, ругань, проклятия.

Солдаты побросали оружие, — их сотни три, — вскинули руки, кричали: «Сдаемся, сдаемся!»

...Комендантша, забыв семью и себя, стреляла через окно чердака по бегущим врагам. Возле нее три ружья и две пары пистолетов. Выстрелы метки, вот двое свалились — казак и татарин, за ними еще и еще.

Скачет Падуров, что-то кричит. Комендантша, хищно прищурясь, взяла его на прицел... Она стреляла без промаха. Но тут кто-то схватил ее за волосы и поволок по узкой лестнице вниз: «А-а, ведьма чертячья!»

...И снова пронзительный, на всю крепость, голос Пугачева:

— Де-е-тушки! Воинство мое! Пожар туши! Кое водой заливай, кое землей забрасывай... спасай погреба с порохом. Государеву казну спасай! Рви огню голову!

Из конца в конец сотни глоток подхватывают:

— Заливай! Государь приказывает!..

Дружной работой огонь сбили быстро. Ветер затих, воздух стал неподвижен. Дым помаленьку рассеялся.

Больше трехсот плененных солдат гнали пугачевцы в свой лагерь, за полверсты от крепости. Пленным отрезали косы, привели к присяге, переименовали в «государевы казаки».

На крепостной площади, возле церкви, качались на виселице бригадир Билов и комендантша Елагина.

Вскоре из крепости прибыл в свой стан Пугачев. Ему представили толпу пленных офицеров, приказчиков соляных складов, казначея, мелких торгашей. Среди пленных были и Лидия Федоровна Харлова с семилетним Колей. Их нашли на чердаке у просвирни.

Сотник Падуров не имел возможности даже перемолвиться с Харловой. Бледный, взволнованный, он стоял позади государя, сидевшего на табурете под деревом.

Пугачев приказал всех офицеров и одного из приказчиков повесить. Иван Бурнов, набычась, подошел к обреченным и погнал их в сторонку. Никто из смертников о помиловании не просил.

Пугачев подал знак. К нему подвели Харлову и ощетинившегося, как звереноқ, Колю, за поясом у него — деревянный кинжал.

Лидия Харлова в черном платье с приставшей к нему сенной трухой. Она остановилась в пяти шагах от Пугачева и, с омерзением взглянув на него, низко опустила голову. Левая щека ее запачкана сажей, платье местами разорвано, обнажилось круглое белое плечо.

— Ну, здравствуй, красавица, — сказал Пугачев, — кто ты, откуда и как попала сюда?

Падуров, встав лицом к Пугачеву, с волненьем сказал:

— Дозвольте, ваше величество... Это дочь коменданта Елагина со своим братом, вдова коменданта Нижне-Озерной — Харлова. Прошу милости вашего величества отдать их под мое защищение.

Харлова вэбросила голову, широко распахнула на Падурова глаза. Пугачев сидел, чуть нагнувшись, оперев локоть о колено, и покручивал бороду.

— Негоже, полковник Падуров... — косясь то на Падурова, то на Харлову, проговорил он. — Да ты воином прибыл ко мне али... бабьим заступником?.. Давилин! Прикажи отвести эту с мальчишкой в мою палатку, — сказал он и, обратясь к остальным пяти пленным: — А вы будьте моим именем вольны, идите с богом по домам. На вас вины не зрю.

Из крепости утром прибыл сержант Николаев.

— Ваше величество! Деньги в сумме двух тысяч трехсот семидесяти трех рублей пересчитаны и опечатаны. Как изволите распорядиться?

— Дайте-ка нам с Падуровым коней, — приказал Пугачев.— А ну, полковник, айда за мной в крепость казну принимать.

Подъехав к канцелярии, оба всадника соскочили с седел. Обиженный государем Падуров был хмур и зол. Пугачев похлопал его по плечу и, подмигнув, сказал:

— Не хнычь... Крепость-то наша... Льзя ли, нельзя ли, а пришли да взяли! Так-то-ся, полковник. — Он сказал это столь задушевным голосом и столь милостиво при этом улыбнулся, что впавший в уныние Падуров сразу повеселел.

При виде вошедшего царя все бывшие в комендантской канцелярии встали, бросили на пол дымившиеся козьи ножки, низко поклонились ему. Атаман Овчинников и полковник Творогов доложили государю, что казенные деньги пересчитаны, а на складах проверяется амуниция, фураж, харч, оружие.

— Чтоб всему списки были сготовлены, — сказал Пугачев. — Это, Почиталин, твое дело! С тебя взыск будет. Как перепишешь, мне подашь.

Ваня Почиталин поклонился, Пугачев велел при нем сызнова пересчитать деньги. «Денежка счет любит», — сказал он, а когда все было кончено, мешок с медью и сума с серебром и золотом опечатаны, он приказал всем удалиться, кроме Падурова.

— Запри дверь, — сказал ему Емельян Иваныч.

8

Канцелярия коменданта — большая горница с низким потолком. Обшарканные задами и спинами стены грязны. На некрашеном полу окурки, плевки, мусор, несмываемые брызги чернил. На стене прокопченная большая карта России, указ Военной коллегии, чертеж пушки и гаубицы. Возле писарского стола на гвозде нитки для сшивания дел, линейка, огромные ножницы. Портрет Екатерины снят с простенка, брошен в угол, на его месте стоят со связанными крест-накрест древками государевы знамена.

Пугачев с Падуровым перешли в кабинет коменданта. Здесь уютнее, чище. Пугачев сел в комендантское кресло за широкий стол. Он ножницами остриг кончик гусиного пера, стал чистить им под ногтями.

— Веришь ли ты в меня, Падуров? Признаешь ли правое дело мое? — неожиданно и как бы между прочим спросил он казака.

— Я присягу вам чинил, ваше величество, — негромко ответил Падуров. — Если б в дело ваше не верил, супротив бы вас шел, а не с вами, как ныне.

— Благодарствую, — проговорил Пугачев глухо. — А коли веришь, помоги, брат. Ты, вижу, человек здешний, бывалый, вот и в депутатах государственных хаживал...

— Сей знак свидетельствует о моем депутатском звании, коего я не лишен и поныне. — И Падуров показал Пугачеву висевший на груди золотой жетон Большой комиссии.

— Добро, добро! — Пугачев, наморщив нос, с любопытством рассматривал значок, даже поколупал его ногтем. — А я в таких книжных людях, как ты, нужду имею шибкую, полковник. Служи!

— Усердно благодарю, ваше величество, — откликнулся Падуров. — Готов служить.

— Ну, а чего да чего ты в депутатах делал-то? — спросил Пугачев, расстегивая ворот и отдуваясь.

Падуров, не торопясь, начал рассказывать о том, как в 1767 году повелением Екатерины созвана была в Москве Большая комиссия для выработки Нового уложения, то есть основных законов. В Москву съехались тогда пятьсот шестьдесят четыре депутата. Вот в их-то числе и был депутатом от Оренбургского войска сотник Падуров. Заседания Большой комиссии продолжались целых шестнадцать месяцев. За это время Падуров познакомился со многими депутатами, почасту беседовал с ходоками-крестьянами из разных мест России. Пребывание в Москве, по словам Падурова, пошло ему на большую пользу: увеличились его знания о бесправном положении крепостных крестьян и заводских работных людей, о роли вельмож в стране, а также крупного и мелкопоместного дворянства, о торговом сословии.

— Одним словом, ваше величество, чрез депутатство свое я совсем иным человеком стал. Будто бы с горы высокой посмотрел на жизнь отечества своего... Раньше-то ко всему равнодушен был и никакого лю-

бопытства к жизни не имел, жил и жил, как дикий козел в степу. Опосля того задумываться начал — что, да почему, да нельзя ли, мол, каким-либо способом рабскую жизнь нашу хотя бы на малую толику облегчить.

— Во! — вскинул Пугачев указательный палец. — Дело балакаешь, полковник, дело!

— А сняли бельма с моих глаз два офицера-депутата — век не забуду их — Козельский да Коробьин. Светлые головы, дай им бог! Они за мужика, ваше величество, стояли, да ведь как! Без трусости, без малодушия. Опричь того много вольных речей и от прочих депутатов наслушался я...

— Ишь ты, ишь ты, — поддакивал Пугачев, то прищуривая, то открывая правый глаз.

— Матушка Екатерина уж и сама не рада стала, что народ с России собрала да допустила говорить по-людски. А испугавшись, повелела работы Большой комиссии закрыть якобы по причине начавшейся войны с Турцией, — вздохнул Падуров.

— Коварница... Ах, коварница... Да ведь я знаю ее ухватки-то лисьи, знаю, как она хвостом-то долгим следы горазда заметать.

— Правда ваша, государь. И промеж депутатов свое мнение о матушке втайне разглашалось. И ничего путного из ее затеи не вышло: поводила-поводила депутатов за нос, да и по домам отправила. Но все же, я чаю, мозги-то у многих чрез пребывание в Москве проветрились. А сие, государь, России на большую пользу.

Пугачев молчал, присматривался к темноусому статному Падурову, как бы взвешивая: хитрит казак или и впрямь душу открыл настежь. «Нет, кажись, нашего поля ягода», — подумал Пугачев и молвил:

— Я окраину эту оренбургскую не больно явственно знаю, не бывывал здеся. И выходит шибко пакостно: замест того чтобы армию свою вести, плетусь туда, куда ведут меня. А гоже ли это, подумай-ка, полковник?

— Сие дело поправимое, ваше величество. Дозвольте... — Он заглянул в один шкаф, в другой шкаф,

порылся на полках, вытащил кучу чертежей и, найдя нужную карту, раскинул ее пред Пугачевым.

— Вот план расположения сторожевых линий всего Оренбургского края.

Глаза Пугачева пытливо насторожились. Он с напряжением принялся слушать казака, вникая в каждое его слово.

— Вот это город Оренбург с крепостью.

— Где? — Пугачев, посапывая, уткнулся в план.

— А вот! — указал карандашом Падуров. — Извольте видеть... На запад от Оренбурга идет самарская линия укреплений до самой Самары.

— Где Самара?

— Вот Самара. От нее идут крепости Борская, Бузулукская, Сорочинская, Чернореченская и другие вплоть до Оренбурга.

Пугачев долго рассматривал местоположение этих «фортеций». Падуров далее стал указывать на линию крепостей к югу от Оренбурга, чрез Яицкий городок до Гурьева у Каспийского моря, и к западу — до крепости Орской.

— Всего тогда было выстроено, государь, сто четырнадцать укреплений.

— Скажи на милость, сколь много... Сто четырнадцать! — воскликнул, подняв брови, Пугачев. — А вот ответь мне, кто оные крепости строил, когда и по какой нужде? Я чаю, уж не Петр ли Великий, дедушка мой, спроворил?

Падуров покосился на «внука» Петра Первого, сказал:

— Нет, государь. Почитай, все крепости и самый город Оренбург основал лет тридцать тому назад начальник Оренбургского края, генерал Неплюев. Тогда этот край только-только завоеван был нами. А ради чего строились тут крепости, доложу вашему величеству как-нито после, ныне же страшусь притомить вас, разговор долог будет...

— Толкуй безотложно... Открой мне очи! — Пугачев смутился слетевшим с языка признанием темноты своей и опустил взор. Затем взглянул на собеседника и; видя все то же, исполненное доброжелательством,

лицо его, заговорил потеплевшим голосом: — Я, ведаешь, во дворце-то многому учен, да, горе, — не тому, чему надобно. А как, чуешь, довелось мне от Гришки Орлова бежать да сколько лет по Руси-то во образе мужичьем скитаться, так я, веришь ли, все перезабыл. Не гокмо разные там хитрые науки, а и по-немецкому байкать запамятовал. Во, брат Падуров, как!.. Ну и напредки скажу тебе: не жалею об этом... Не жалею и не жалею, — повторил он и глубоко, всей своей широкой грудью передохнул. — Я, брат Падуров, как в народе жил, таких наук набрался, что они там, в Питере-то, во дворцах-то, чихать смешаются... от моих наук-то. Я всю Россию на них опрокину! Наука у меня твердая! Ась, ась?

Он все еще не спускал с Падурова пристальных, как бы выщупывающих глаз. Падуров чувствовал, что ему немедля нужно успокоить этого насторожившегося человека. Да, успокоить, заверить его в своей преданности. И, чуть помешкав, он сказал, глядя, как в бездонный колодец, в большие темные глаза Пугачева:

— Я так полагаю, ваше величество, что и дед ваш, Петр Первый, тем и могутен был, что народа не гнушался и, подобно вам, от народа сирого науки перенимал...

— В прицел, в прицел брякнул! В самый прицел! — обрадованно закричал Пугачев и всем корпусом отвалился в кресло. — Ну, сыпь дальше, сказывай.

— Как только Оренбургский край был завоеван, начался грабеж местных земель русскими промышленниками. Взять, к примеру, Белорецкий завод братьев Твердышевых. Оный завод купил у башкир семьсот тысяч десятин земли с лесом и без леса за шестьсот рублей, то есть за тысячу десятин уплатил меньше чем по рублю, или за медную копейку — двенадцать десятин.

— Ая-яй... Пошто же они, дураки, за такую пустяковину продавали-то?

— Насильно, ваше величество. А которые не соглашались, тех в тюрьму.

— Ах, трясучка их забери... Злодеи... — Причмокивая, Пугачев сокрушенно покачал головой.

— Опричь того, насмелюсь сказать вам, что татарская беднота страдает, пожалуй, еще горше, чем башкирская. Богатые татары помещики, ваше величество, владели огромными землями, правительство закрепощало за ними землепашцев-татар, — продолжал Падуров. — Наиболее богатые помещики-татары возводились в дворянское достоинство.

— Ишь ты, богатые возводились, — желчно сказал Пугачев. — А вот мы бедных учнем возводить! А всех великих графов, злыдней проклятущих, на рели вздернем! — И Пугачев пристукнул кулаком в столешницу.

Падуров, не торопясь, рассказал Пугачеву, что и прочим народностям живется тоже несладко. Недаром всего лишь два года тому назад сто семьдесят тысяч калмыков, покинув родные степи, откочевали в Персию.

— Видать, на тутошних раздольных степях только богатым просторно жить-то, а бедному люду... тово... шибко ужимисто.

— Так, государь, — склонил Падуров голову. — Такожде тесно и на Южном Урале, где вельможи да купцы начали заводы строить. Горные промыслы год от году приумножались, а посему и земля под заводы все больше да больше урезывалась у башкирцев. Особливым же хищником был граф Петр Шувалов с родственниками да приспешниками.

— Ну вот, ну вот,— сказал Емельян Иваныч и, опустив подстриженную «в кружало» голову, отдался малое время раздумью. — Все иноверцы, такожде и мужики русские, — проговорил он, — шибко утесняются правителями, да барами с купечеством, да судьями лихими. Люто претерпевает народ. Эх ты, горе, горе! Слышь, полковник... Вот ты про башкирцев сказывал. Это когда же у них растатурица-то была, мутня-то?

— А последнее восстание возгорелось, ваше величество, двадцать лет тому назад. Обиженные башкирцы по душевной простоте верили в могущество

императрицы Елизаветы, что даст им заступление. Они трижды засылали к ней депутацию, но всякий раз депутатов схватывали еще в Башкирии, местные власти срубали им головы. После сего мулла Батырша Алеев разъезжал по Башкирии, подбивал башкирцев да татар с киргизами на священную войну против поработителей. Тогда оренбургский губернатор Неплюев, скопив военную силу, измыслил натравить народ на народ. Когда башкирцы и киргизы затеяли меж собою распрю, генерал Неплюев этим коварно воспользовался. И восстание было потоплено в крови. Погибло тогда шестнадцать тысяч убитыми, четыре тысячи брошено было в тюрьмы, у трехсот человек отрезаны носы и уши, семьсот деревень сожжено.

— Так, так! Хм... — угрожающе вымолвил Пугачев, набрал полную грудь воздуху, надул щеки и с шумом выдохнул.

— Вот, государь, как доднесь обстоит дело, — закончил Падуров. — А башкирцы, да и другие народы, я сам слышал, давно толкуют промеж собой: «Носится, мол, слух, будто на государственный престол мужской пол возведен будет замест бабьего. В то время, мол, какой ни есть милости просить постараемся. И что мужской пол царских кровей — это, мол, спасшийся от смерти император Петр Федорыч Третий».

Пугачев согласно кивнул головой и, все так же отдуваясь, медленно прошелся по канцелярии.

— Приготовьтесь, государь! — с волнением возгласил Падуров. Ему вспомнились громкие складные речи знаменитого князя Щербатова в московской Грановитой палате, и, выбирая слова, он произнес приподнятым голосом: — Думается мне, что шествие вашего величества яко царя и заступника всех обиженных будет зело успешно.

— Благодарствую, полковник, благодарствую, — сказал Пугачев, растроганный сердечными словами Падурова.

Наступило недолгое молчание. Пугачев, прищурившись, пристально глядел в сторону. Под впечатле-

нием только что слышанных слов в его сознании вдруг возникла картина: широкая степь, вдали лесистые горы, изжелта-красный шар солнца падает на край земли, и некий живой поток быстро несется по коричневой степи от солнца к Пугачеву. Вот поток ближе, больше, шире... И вьется... облаками пыль, и топот гудит над степью. Это — дикие, гривастые кони, распушив хвосты, закусив удила и всхрапывая, мчат на своих хребтах несметные полчища всадников. Ближе, шире, громче... Стоп!.. Пугачев, как в саду, в обстании цветов всех красок: яркие маки, желтые кувшинки, тюльпаны, васильки. Это бронзовые быстроглазые люди в цветистых халатах, в тюбетейках, в меховых малахаях на бритых головах радостной ратью окружили Пугачева. «Детушки, верные башкирцы, будьте со мной, я осушу слезы ваши!» — «Бачка-осударь, веди нас куда хочешь!» И степь задрожала и солнце остановилось от воинственных кликов. «Детушки, верные мои народы...» — начал было Пугачев, но обольстительное видение дрогнуло и, подобно степному мареву, изчезло.

— Ась? — произнес, встряхнувшись, Пугачев и стал собираться. — На-ка ключ, отомкни вон тот поставец да подай сюда сумку с золотом.

Когда приказ был исполнен, Пугачев сорвал с сумы печати, а суму протянул Падурову:

— Бери, друг, сколько надо... Да бери больше на расходы на твои. Люб ты мне!

Темные обветренные щеки Падурова вспыхнули.

— Нет, ваше величество, — потряс он головой. — Видно, еще не все дворцовые науки вами забыты, — он угрюмо глядел на Пугачева и не прикасался к червонцам. — Не гневайтесь, государь, но слово мое такое: я живота и помыслов своих на червонцы не перекладаю!

Пугачев в упор смотрел на него, затем сказал:

— Спасибо, брат Падуров, спасибо. Первый ты не погнался за корыстью. И, коли так, вот тебе моя государева рука!.. — И он крепко-накрепко обнял его.

Растроганный Падуров долго молчал.

ГЛАВА VIII

На Москву или на Оренбург? В Каргале. Тайные подруги

1

Утром было совещание: куда идти дальше?

Военный совет заседал в той же комендантской канцелярии. Накануне ночью было немало выпито вина. У всех трещали головы. Зарубин-Чика нет-нет да и клюнет носом и со страхом выпучит глаза на государя.

Первым говорил Падуров. Он сказал, что от крепости Татищевой лежат две дороги: на Оренбург и на Казань. По его мнению, с Оренбургом возиться нечего, город сильно укреплен, да и на кой прах, по правде-то сказать, он нужен? А надо идти прямо на Казань, на Волгу. Скорей всего, что там армия государя быстро станет обрастать народом, пристанут крестьяне, волжские бурлаки да башкирцы, поднимутся татары, и тогда, усилясь, можно-де смело повернуть на Нижний, а там — и на Москву. Зело важно застать правительство врасплох, пока оно не очухалось, пока не собрало для отпора нужные воинские части. И вот тогда-то правительству поистине-де будет худо, потому что все императрицыны войска ныне угнаны в Турцию. А ежели засесть под Оренбургом, то еще неизвестно, скоро ль доведется сей крепкий орешек раскусить. И в случае долгого сиденья под Оренбургом правительство-де употребит это время себе на пользу, оно даже может заключить скороспешный мир с Турцией и двинуть против государевой армии свои освободившиеся полки.

— Мой совет брать путь на Казань, — заключил он.

— Ну нет, дружок, Тимофей Иваныч, — сразу же стали возражать ему атаманы, есаулы и полковники. — Как это возможно, чтобы наш главный город Оренбург мимо пройти. Да нас галки засмеют за такое дело-то! А Казань да Нижний не уйдут от на-

ших рук, и Москва не уйдет. Башкирцы же с кочевниками сами сюда привалят всем гамузом... Первонаперво Оренбург надо сокрушить, чтобы Рейнсдорпишка в спину нам не вдарил. Вы что, Тимофей Иваныч?!

— Добро, добро, — подтвердил Пугачев, — сия военная тактика завсегда может приключиться. Мы пойдем, а он, немчура, и саданет нам в зад.

— Нечем ему будет садануть-то, ваше величество, — хмуро сказал Падуров.

Споры обострились. Горбоносый атаман Овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, крикливо говорил:

— Мы, братцы казаки, в случае лихо приспеется нам, можем от Оренбурга-то откатиться, хвосты в зубы, да и наутек — либо в Золотую Мечеть, либо в Персию, либо в Туретчину, куда и сам батюшка звал нас. А ежели под Казанью захряснем, ну уж не прогневайся, уж оттуда, чтоб утечь, таких не будет способов. Окромя того, Оренбург давит да душит нас, прямо за горло берет. В первую голову боем его взять треба. Без Оренбурга нам не быть!

— Ну, а ты как думаешь, Максим Григорьич? — спросил Пугачев умного Шигаева.

Тот поднялся, высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой, и, покашливая, тенористо заговорил:

— Что ж, ваше величество... Нам на Москву начхать, да и на Питер начхать! Да, может, нам и средствиев никаких не хватит на Москву-то поход чинить. А нам, всем казакам вкупе, желательно бы свое казачье царство иметь, с казацкими свычаями древними, с вольной волей казацкой, и чтобы столицей нашей был вольный город Оренбург. Вот как, ваше величество, старики наши и все казачество желало бы. Да ведь и сам ты, батюшка, пленных солдат в казаки писать повелеваешь. Да и в армии своей ты не регулярство, а казацкое войсковое строение заводишь, согласуемо обычаям древним. Об чем еще деды наши при Степане Тимофеиче Разине мечты имели!

— Не толико ваш край, а и всю Россию я чаю в казаки поверстать, — сказал Пугачев.

— А уж это как придется, — боднув головой, не утерпел съязвить сухощекий, плешивый Митька Лысов. — Вон и Разин Степан оное мечтание держал, а что сталось?

Пугачев с неприязнью покосился на него.

Падуров крутил и покусывал свои молодецкие усы, затем сказал в сторону Шигаева:

— Врага нужно поражать в сердце, Максим Григорьич. А твой Оренбург — ноги.

— Нет, не ноги, Тимофей Иваныч, нет, не ноги, — обидчиво ответил Шигаев и покашлял. — Петербург с Москвой есть голова, а Оренбург — сердце. Ведь за Оренбургом-то вся Сибирь лежит.

— Оренбург погоды не делает, да и сделать николи не сможет. Оренбург окраинская сторона, и не в Оренбурге суть, — с дрожью в голосе высказывал Падуров.

— Обидно слышать это от тебя, Тимофей Иваныч, — заговорили вокруг с упреком. — Ведь ты сам казачьего роду-племени, а балакаешь, аки москаль какой.

Стало тихо. На дремавшего Чику напала икота. Он выпил ковш воды и смочил голову.

— Ну, а ты, стар человек, как полагаешь? — нарушив молчание, спросил Пугачев есаула Андрея Витошнова.

Скуластый сухой старик с седоватой бородой, посматривая исподлобья на Пугачева, робко ответил:

— Куда поведете, батюшка, верное воинство свое, туда и мой конь побежит.

Все бывшие в свите стали упрашивать государя принять путь к Оренбургу.

Пугачев ответом замешкался.

Доводы Падурова были более понятны и близки его горячему сердцу, чем упрямое желание приближенных. Однако и речи Овчинникова о том, что в случае неудачи можно от Оренбурга в Туретчину и в Персию податься, тоже казались Пугачеву

резонными. Но главное — у него не было охоты вступать в раздор с большинством. Он сказал:

— Немедля идти под Казань было бы куда складнее, господа атаманы. Ну, ежели ваше общее намеренье Оренбургу осаду со штурмом учинить, я, великий государь, супротивничать не стану вам.

Свита поклонилась государю. Подвыпивший Чика встал, ударил шапкой о ладонь и с пьяной горячностью сказал:

— Ваше величество, отдели мне сколько-нито войска. Я один на Казань пойду!

— Иди-ка ты, Чика, не на Казань, а на сеновал... Проспись, — со строгостью посмотрев на лупоглазого цыгана Чику, сказал совсем нестрого Пугачев.

Пугачевцы прожили в Татищевой трое суток. Проводили время весело, в гульбе. Забрав лучшие по всей яицкой линии пушки, амуницию, провиант, вино, соль, деньги, они двинулись к Чернореченской крепости.

Комендант крепости Краузе загодя скрылся в Оренбург, а крепость встретила Пугачева с честью.

На роздыхе явилась к Пугачеву дворовая девушка капитана Нечаева, взятого в плен в Татищевой. Ей было лет под тридцать. Высокая, ядреная, чернобровая — кровь с молоком, — она кувырнулась Пугачеву в ноги и завыла. Пугачев приказал ей подняться, спросил, как звать ее и что ей надо? Она встала, сказала, что зовут ее Ненилой и что ее шибко тиранствовал барин офицер Нечаев. Сказав так, она снова кувырнулась в ноги. Пугачев спросил:

— Как же ты, этакая крепкая да гладкая, барину-то поддалась?

— Да ведь я-то гладка, а он, пес, того глаже... Изгалялся всяко, плетьми стегал.

Пугачев приказал разыскать капитана Нечаева и вздернуть. Ненила в третий раз кувырнулась Пугачеву в ноги:

— Спасибо, надежа-государь, заступничек наш... Уж не оставь меня, рабу.

— Куда же мне тебя приделить-то? — в раздумье промолвил Пугачев. — Погодь, погодь... А смыслишь

ли ты, Ненилушка, щи да кашу варить, ну там еще разные царские блюда, вроде кукли-цукли всякие, меринанцы...

Ненила утерла широкие губы, весело сказала:

— Кашу да щи завсегда сварю... Я, чуешь, управная.

— Так будь же моей стряпухой, потрафляй мне.

Ненила еще раз повалилась Пугачеву в ноги.

Обращаясь к старику Почиталину, которому были вручены ключи от склада, Пугачев сказал:

— Слышь, Яков Митрич! Приодень возьми девку, сарафанишко какой-нито дай поцветистей да ленточек, бабы это любят, да отведи, слышь, в палатку мою. Пущай она мне да заодно и барыньке Харловой услужает.

2

До Оренбурга оставалось всего около тридцати верст. Если б Пугачев не провел зря четверо суток в Татищеве да в Чернореченской, он легко мог бы овладеть не готовым еще к обороне Оренбургом. Однако использовать столь удобный случай пугачевцы прозевали.

Известие, что Татищева крепость пала, привело Рейнсдорпа в испуг. Сильная крепость, надежный оплот Оренбурга, в руках разбойников! Нет, это нечто невероятное... «О, какой катастрофа! Этот Вильгельмьян Пугашов вовсе не разбойник, он во много разов лютее разбойника, он со свой сброд коварна шволочь», — по-русски думал он, бегая вдоль кабинета и нервно кусая сухие губы.

Еще 24 сентября Рейнсдорп трем губернаторам — казанскому, сибирскому и астраханскому — отправил бумаги о появлении Пугачева и об угрожающей всему краю опасности. А 28 сентября, получив сведения о трагической судьбе Татищевой крепости, экстренно собрал военное совещание. Присутствовали: обер-комендант генерал Валленштерн, войсковой атаман Могутов, действительный статский советник Старов-Милюков (бывший полковник артиллерии), чиновники

Мясоедов да Тимашев и директор таможни Обухов — люди важные, откормленные, самонадеянные.

Рейнсдорп задвигал рыжими бровями, придал лицу выражение воинственности и начал:

— Господа! Этот, шорт его возьми, касак Пугашов со своя шайка угрожает Оренбургу. И брать его за простой разбойник не есть возможно. Он, шорт его возьми, опасный коварный враг. Это-это так и есть, прошу верить мне, старого вояке. Ну-с... Будем подсчитать, с богом помолясь, наши силы.

Развернули ведомости, сводки. Оказалось, вся Оренбургская губерния охраняется тремя легкими полевыми командами, — в них всего 1230 человек, — да несколькими гарнизонными батальонами и местным казачьим населением. Эти ничтожные воинские части разбросаны по необъятной территории, и, при сложившихся обстоятельствах, подтянуть их в срок к городу было почти невозможно. Собственно же защитников Оренбурга числилось всего 2900 человек, из них регулярных войск не более 174 человек да гарнизонных солдат (большинства престарелых и калек) 1314 душ. Остальные — казаки-инвалиды, обыватели и еще 350 татар, на верность коих было опасно положиться.

Решили, что со столь малыми силами нечего и пытаться вступать с мятежниками в открытый бой, а дай бог как-нибудь отсиживаться в крепости, пока не придет выручка извне.

О количестве мятежников сведений у Рейнсдорпа не было. Однако предположительно говорили, что Пугачев располагает по крайней мере тремя тысячами конников и многими пушками. А главная беда в том, что силы злодея все возрастают. Так, было оглашено донесение, что пятьсот башкирцев, высланных из Оренбурга в помощь Татищевой крепости, подобно отряду сотника Падурова, целиком передались мятежникам.

— Вот вам! — воскликнул Рейнсдорп и снова и снова тянулся к табакерке. Кончик белого носа его от частых понюшек стал коричневым, покрытые веснушками щеки раскраснелись.

Постановили тотчас отправить приказ начальнику Верхне-Озерной дистанции, бригадиру Корфу, чтоб гарнизон и орудия как Пречистенской крепости, так и уцелевших от мятежной заразы форпостов немедля были направлены в Оренбург.

Вторым пунктом постановили, все мосты через Сакмару разломать, комяги и лодки сжечь, дабы неприятель употребить их для себя не мог. Далее было постановлено привести артиллерию в исправное состояние, подчинив ее Старову-Милюкову; разночинцам, имеющим ружья, назначить места для обороны крепости, а безоружных определить для тушения пожаров; при сем «дать обер-коменданту строгий приказ, чтобы никто из тех мест, где кто назначен, отнюдь не отлучались, хотя бы и пожар собственного дома увидели!»

Совещались без перерыва с утра до вечера, съели тут же за столом два больших пирога с осетриной, много выпили квасу и воды с вареньем. В канцелярии от табачного дыма сизо, окна закрыты наглухо, — губернатор боится простуды. Для очистки воздуха кривой казак затопил печь камышовыми дудками. Губернаторша дважды присылала мужу микстуру от геморроя и подагрические капли. Лекарства подавал на серебряном подносе бравый лакей из польских конфедератов, в галунах и свежих перчатках.

С башенки над зданием гауптвахты раздался мелодичный бой курантов, пробило восемь часов. Все утомились, стали впадать в легкое обалдение; губернатор, а за ним и другие, прикрываясь ладонями, сладко позевывали.

Но вот все ожило. За окнами послышались многие голоса, топот, пофыркиванье и ржанье коней. Все бросились к окнам. Чрез площадь двигалась в беспорядке конная небольшая толпа сеитовских татар, два дня тому назад посланных из Оренбурга в количестве трехсот человек на помощь Татищевой. Из лачуг, домов, домишек выбегали жители, с любопытством расспрашивали возвратившихся, что, как и почему вернулись.

— Кудой де́ла! — кричали с коней гололобые татары. — Кудой де́ла! Татищева горит мало-мало, начальство секим-башка, Чернореченский крепость забирал сапсем... Ой, бульно кудой де́ла...

— Чернореченская сдалась, что ли?

— Сапсем сдалась!..

— А чего мало вас? — не отставали жители. — Злодей, что ли, перебил?

— Пошто перебил... Мало-мало наша сеитовцы ихней толпа побежаль... Сэ равно ветер — жжих! — и нету... Сто, да ешо полста... э... Яман-дело!

Начальство, прильнув к окнам и чуть приоткрыв рамы, в угрюмом молчании прислушивалось к говору улицы.

— Фу-у... Слыхали? Вот вам... Каша заваривается не на шутку, — отдуваясь, проговорил хриплым басом тучный директор пограничной таможни Обухов. — А где же его высокопревосходительство? Где Иван Андреич?

Губернатора в канцелярии не было. Сторожа зажигали в шандалах свечи.

Меж тем Иван Андреич Рейнсдорп, как только услыхал о падении Чернореченской крепости, незаметно и с великой поспешностью вымахнул из канцелярии и чрез остекленный переход, соединяющий присутственные места с апартаментами, чуть не вприпрыжку побежал к себе в покои.

Покинутые губернатором начальствующие лица, водившие между собой крепкую дружбу, принялись взволнованно из угла в угол вышагивать. То закинув руки за спину, то с жаром жестикулируя, они стали костить губернатора, обмениваясь сначала негромкими отрывочными фразами, перешедшими затем в горячие, полные желчи откровенные высказывания. Да как же, помилуйте! Творится нечто необычное. Горсть яицких казачишек-бунтарей передалась разбойнику. Вот тут-то сразу и нужно было раздавить этот ничтожненький бунтишко. А что сделал губернатор? Вместо энергических действий он задавал пиры, похваляясь своим военным гением. Ха! Гений... Геморроидальная шишка, плясун, бабник. Загородные

дворцы себе строит на казенный кошт, рабов закабалил... Острожник Емельян Пугачев больше месяца в его губернии шатается, а он и сном-духом не ведал об этом. Вот теперь дождался гостя, теперь узнал! Поди-ка сунься! И вы заметили, господа, что Рейнсдорп перестал Пугачева разбойником ругать, а величает: «неприятель»? И воистину, какой же разбойник, ежели крепости ему сдаются, башкирцы с татарами бегут к нему, даже Падуров, уж на что был надежный человек — депутат, сотник, человек толковый, книжный, — и тот не постыдился передаться самозванцу. Да, господа, враг у ворот, а мы к его встрече не готовы. А кто в сем повинен? Иван Андреич Рейнсдорп.

— Его высокопревосходительство просит вас, господа, проследовать в его опочивальню, — звонко прокричал с порога адъютант.

Губернатор принял их, лежа в кровати. На голове белый колпак с розовой кисточкой, на курносом лице болезненная мина. Начальствующие подобный прием справедливо считали для себя оскорбительным; они друг с другом переглядывались, пожимали плечами. Тучный Обухов сердито пыхтел, намереваясь тотчас же удалиться.

— Извиняйт, господа, — слабым голосом проговорил губернатор. — Маленечко... как это, как это... занедужился, эскулап уложиль немного в постель. Садитесь, господа. (Все сели, хмурые, обозленные.) Итак, господа, мне только что доложил сотник сеитовских татар Мустафанов, что неприятель занял Чернореченскую. О, какой несчастье!

— А кто ж виноват, ваше высокопревосходительство? — шумно сопя, начал директор таможни Обухов. — Не наш ли штаб виноват, дав врагу время столь много усилиться.

— Ви, любезный Митри Павлич, хотите сказать — винофат губернатор Рейнсдорп? — Опершись о стол волосатыми кулаками, губернатор быстро приподнялся. — Да, может быть... Но мой поступка критиковать никто не иметь права, кроме... кроме ее величества, государыни императрисс...

— А равным образом и Военной коллегии во главе с графом Захаром Григорьичем Чернышевым, — колко сказал обер-комендант генерал Валленштерн, зная неприязненное отношение к Рейнсдорпу графа Чернышева.

— Шо, шо? — завертел головой оскорбленный губернатор. — О, мы с граф Чернышеф старинный друзья, чтоб не сказать боле... Итак, господа, враг у ворот...

— У гнилых ворот, ваше высокопревосходительство, — добавил неожиданно и резко Обухов. — Крепость как следует принять врага не готова...

— Шо? — Глаза губернатора стали злыми, он сорвал с головы колпак и бросил его в ноги. — Итак, враг у ворот. Но ви не трусьте, ви держите большой надежда на мой предостаточный военный опыт. В мой голова двадцать прожект, самых очшень хитрых. Я его, сукин кот, ату-ату! Чрез двух недель эта самая царь Петр Федорыч, шорт его возьми, будет на цепочка приведен сюда, и мы на площадь при весь народ отрубим его дерзкий голофф... — Лицо губернатора раскраснелось от внутреннего возбуждения и резких воинственных жестов руками. Он устало выдохнул воздух и снова прилег. Рыжие, с сильной проседью, завитушки волос свисали на выпуклый лоб его.

Едва сдерживая едкие улыбки и только краем уха вслушиваясь в болтовню губернатора, начальствующие лица с немалым любопытством осматривали богатое убранство спальни. Стены обиты светло-розовым персидским шелком, резная, под слоновую кость, искусной работы мебель, над кроватью пышный балдахин, увенчанный золоченым толстощеким купидоном. Венецианское зеркало, севрские умывальные приборы. Под расписным потолком два хрустальных, французской работы, фонаря. Драгоценные персидские ковры на полу. Всюду расточительная роскошь, великолепие.

«Казна-матушка все стерпит», — думали начальствующие лица — иные с болью и тревогой в сердце, а кто и с плохо скрываемой завистью.

— Ждем ваших распоряжений, генерал, — сказал, подымаясь, плотный, пучеглазый Валленштерн.

— Извольте, господа, очшень мало отдохнуть, — сказал он, — и после сего приступить осмотр крепость, сами тщательный, сами аккуратный.

— Как? Ночью?

— Ночь! Ночь! С факелами. Время военный. Каждый минут очшень дорогой. И чтоб вся инженерская команд была с вами. Господин адъютант, распоряжайтесь через три часоф мне экипаж... Я сам приму распорядок осмотра.

3

Рейнсдорп страшился, что со столь малым числом защитников крепости ему будет трудно оборонять Оренбург от Пугачева. А Пугачев, как раз наоборот, считал, что с его слабыми силами нечего к Оренбургу и нос совать. Именно поэтому Емельян Иваныч охотно принял приглашение жителей татарского селения Каргалы не оставить своей царской милостью и навестить их. Вот и хорошо. Пожалуй, часть татар воссоединится с ним. А из Каргалы он махнет в Сакмарский городок, населенный яицкими казаками. Нет сомнения, что и те примут его руку. Вот тогда-то уж можно будет и Оренбургу приступ учинить.

— Нам, господа атаманы, силы свои скоплять надо. Сего ради умыслил я идти в Каргалу да в Сакмарский казачий городок.

Пугачевцы ехали то глинистой, то солончаковой степью с невысокими гривками и сыртами. Слева были видны в далеком мареве сизые отроги гор. День выдался солнечный, по-осеннему свежий. Суслики и тушканчики, покинув норы, грелись на солнце. Завидя шумную ватагу, они приподымались на задние лапки, с любопытством вытягивали мордочки навстречу всадникам, принюхивались и, лукаво засвистав, ныряли в норки. Эти певучие посвисты, похожие на веселую игру, сопровождали пугачевцев всю дорогу.

Вдруг Пугачев засуетился, закричал ехавшему с ним рядом старику Почиталину:

— Дай, дай скорей! — и сорвал с его плеча ружье.

Орел-стервятник, круживший над степью, враз сложил крылья и камнем пал на зазевавшегося суслика. Ударил смертельный выстрел. Видевшие это казаки радостно захохотали.

— Ой, надежа-государь. Вот это вдарил!.. По-царски!

Пугачев, возбужденно улыбаясь, передал ружье Почиталину. Чубастый горнист Ермилка уже волок за ноги большую, с доброго барана, птицу.

— Куда прикажешь, ваше величество, курочку-т? — зашлепал он толстыми губами и в простодушной улыбке растянул рот до ушей.

— Ощипли да покроши во щи... Видать, курица навариста, — развеселясь, засмеялся Пугачев.

Обласканный вниманьем государя, захлебнулся хохотком и казак Ермилка. Его узенькие глазки утонули в мясистых, нажеванных щеках. Облизываясь и пофыркивая, он с гордостью косился на молодых казаков: мол, смотрите, каков я, самого государя в смех вогнал. Глядя на государя и на Ермилку, ближние шеренги конников тоже улыбались: было всем приятно, что государь не гнушается пошутить с простым казаком.

Пугачев, прищурив правый глаз, покосился на фаэтон с Харловой, ее малолетним братишкой Колей и Ненилой. Фаэтон, сверкая на солнце лакировкой, двигался по гладкой луговине в стороне от дороги, — там не так пыльно. Рядом с фаэтоном ехал на крупном коне полковник Падуров. Он пытался завести разговор с Харловой, но та молчала, понуро опустив голову. Измученные, покрасневшие от слез и бессонницы глаза ее были обведены темными тенями. Время от времени оборачиваясь в сторону чернобородого царя, Падуров издали кидал на него конфузливые, опасливые взгляды: а вдруг «батюшка» из пустяковой ревности вознегодует на него? В сердце Пугачева действительно вскипала временами не то что ревность, а нечто близкое к досаде супротив бабьего угодника Падурова, но он всякий раз подавлял это чувство. Да и стоит ли беспокоиться из-за этой

неподатливой барыньки? Недотрога, плакса, капризница! «Я к ней с лаской, а она, знай, слезами умывается... Смотрю, смотрю, да и выгоню в три шеи. Чистоплюйка черт!..»

— Слышь, горнист! Ты покажи-ка эту курочку Лидии Федоровне да мальчонке ейной. Пущай подивятся.

— Федоровне? — переспросил Ермилка Пугачева. — До разу... — и, тряхнув чубом, тронул свою лошадку.

Пугачев видел, как Ермилка подъехал к экипажу, бросил орла в ноги женщинам и, то ударяя себя в грудь, то оборачиваясь и тыча в сторону Пугачева, с жаром что-то говорил.

Харлова резко отвернулась, сидевший против нее Коля потрогал орла ногой и с пренебрежением спросил Ермилку:

— Кто, Пугач убил?

— Государь птицу подстрелил. Своеручно...

— Для тебя — государь, для меня — бродяга, — сказал Коля, и глаза его сверкнули.

— Молчи, щенка кудой! — прохрипел татарин-возница и, круто обернувшись, замахнулся на мальчишку кнутом.

— Не смей! — крикнул вознице Падуров, а мальчонке крепко погрозил пальцем.

Харлова, тронув брата за колено, испуганно запричитала:

— Коленька, умоляю... Будь умница...

У мальчика задрожали веки, чуть покривился рот, он взглянул в побледневшее лицо сестры, всхлипнул и часто замигал, уставясь взором в бегущую под ногами пыльную дорогу. Затем внезапно схватил орла и резким движением выбросил его из фаэтона.

«Змееныш какой», — подумал Ермилка, хотел обругать его, да не посмел Падурова. Но вот Падуров приподнял шапку, с чувством сказал: «Прощайте, Лидия Федоровна», — и бочком-бочком, стараясь незаметно миновать государя, отъехал к своей части оренбуржцев. Ермилка тоже было собрался поворотить коня. Окидывая простоватым взглядом унылую

Харлову и краснощекую Ненилу, он решил, что дородная девушка хотя и перестарок, а много краше барыньки, да и характер у Ненилы куда лучше.

Первого октября, в полдень, каргалинские татары торжественно встречали государя.

Каргала[1] стояла в стороне от тракта, в двадцати двух верстах от Оренбурга. Населявшие ее татары были зажиточны, они занимались скотоводством, хлебопашеством и торговлей с хивинцами, бухарцами и прочими соседними азиатскими народами.

В Каргале было около трех тысяч жителей. Числом построек она мало уступала Оренбургу. Но постройки деревянные, глинобитные, каменных жилищ — наперечет. Избушки, домишки понатырканы как бог на душу положит. Улочки узкие, кривые, грязные. Сотни псов.

На торговой площади возле мечети разостланы по луговине дорогие ковры, поставлен резной дубовый стул. К подъехавшему государю приблизились два татарина, подхватили его под руки. Вся же толпа татар, сняв шапки, пала ниц, уткнув лбы в землю. Вдали маячили празднично одетые женщины, они не смели приблизиться к священному государеву месту.

— Встаньте, детушки, — сказал Пугачев, садясь на стул. — Где у вас люди-то хорошие да почтенные?

— Ой, бачка-осударь, все в Оренбург забраны. Валла-билла!.. — ответили татары и стали подходить к целованию государевой руки. Видный старик в чалме и в круглых серебряных очках, прикладывая правую ладонь то к лбу, то к сердцу, вступил с Пугачевым в разговор. Зажиточный, бывалый, он езживал в Казань, в Москву и в Мекку на поклонение гробу Мухамета, говорил по-русски чисто.

— Весь сеитовский татар с Оренбургу к тебе, бачка-осударь, убежит, — сказал старик. — Да и отсель бульно много наших правоверных за тобой собирается. Бульно много.

Вслушиваясь в певучий голос старика, Пугачев подумал: ежели татары так охотно собираются идти

---

[1] Она же Сеитовская слобода.

к нему, то, пожалуй, еще охотней пойдут под его знамена столь богатые конной силой башкирцы. Он повернул голову и негромко сказал стоявшему на почетном карауле, с обнаженной саблей, полковнику Падурову:

— Сменись, мой друг, с кем-нито, да возьми с собой Ваню Почиталина, да еще Николаева. Да где-нибудь в избе спроворьте-ка высочайший манифест ко всем башкирцам. Чтобы всем им было ведомо, и пускай всякий без сумнительства и промедления ко мне спешит с конем, а того лучше о-двуконь.

4

Три пугачевца и четвертый юный татарин Али, ознакомленный в казанской медресе с мудростью ислама, с жаром стали составлять воззвание к башкирскому народу. Они сидели в просторной и светлой избе родителей Али. Сначала дело шло туго, но вот мать Али и его сестра, красавица Фатьма, поставили на стол два жбана с крепким кумысом и деревянные крашеные чашки в виде тюбетеек. Отец Али имел двадцать кобылиц, мать славилась уменьем готовить волшебный степной напиток.

Фатьма была одета в яркий халат, перехваченный по тонкой талии золотистой шелковой, с кистями, шалью, на открытой точеной шее ожерелье из золотых и серебряных монет — русских, персидских, турецких. Матовое, с легким румянцем, лицо ее оживлялось сиянием черных глаз. Игривая и сильная, как степная кобылица, она сразу ошеломила влюбчивого Падурова. И все давнишние и недавние его сердечные уколы и царапины в момент иссякли. Померк в его сознании и печальный облик страдающей Лидии Харловой. Черт возьми, черт возьми!.. погиб, опять погиб Падуров...

Мать увела девушку. Падуров снова потянулся к кумысу. Стало шумно. Обсуждалась каждая фраза манифеста, строки все больше и больше словесно расцветали и кудрявились:

«Я во свете всему войску и народам утвержденный великий государь, явившийся из тайного места, прощающий народ, делатель благодеяний, сладоязычный, милостивый, мягкосердечный российский царь император Петр Федорович, во всем свете вольный, во усердии чист и разного звания народов содержатель».

«...За нужное нашел я желающим меня показать и, для отворения милостивой моей двери, послать нарочного к башкирской области старшинам, деревенским старикам, малым и большим. Заблудшие и изнуренные, в печали находящиеся, услыша мое имя, ко мне идите... Мне, вольному вашему государю, служа, душ ваших не жалейте, против моего неприятеля проливать кровь, когда прикажется быть готовым, то изготовьтесь».

«...Слушайте! Когда на сию мою службу пойдете, так и я вас помилую. Ныне я вас жалую даже до последка землями, лесами, жительством, травами, реками, рыбами и хлебом. Как вы желаете, всем вас пожаловал по жизнь вашу, и пребывайте так, как степные звери, в благодеяниях и продерзостях, а я даю вам волю, детям вашим и внучатам вечно».

«...А что точно ваш государь сам идет, то с усердием осмотрения моего светлого лица встречу выезжайте».

«...Кто же, на приказания боярские в скором времени положась, мне изменит, то таковые милости от меня не просите и ко гневу моему прямо не идите»[1].

Вдруг с улицы послышались быстро приближающиеся крики: то ли «ура», то ли «алла» кричал народ.

— Государь к нам едет, — сказал Али. — Мы обедом станем его потчевать.

— Где, здесь? — с изумлением спросил Падуров.

— Тут кудой, теснота, — сказал Али. — Рядом наш большой дом... Там.

Они все поспешно вышли на улицу.

---

[1] Обращение к башкирскому народу, датированное 1 октября 1773 года, приводится здесь в сокращении.

Возле двухэтажного соседнего дома Пугачев остановился: Али держал царского коня под уздцы, а его отец — старик в чалме, с очками на носу, — и еще другой татарин почтительно подхватили государя под руки.

Приподняв занавеску, из-за оконного косяка скрытно пялилась на государя Фатьма. Падуров поклонился Пугачеву и, сказав: «Готово, ваше величество», — подал ему вложенную в конверт бумагу.

Взошли наверх. Женщины, слегка прикрывая длинными рукавами свои лица, кувырнулись государю в ноги. Усталый Пугачев протянул им для целования руку. Он не обратил на Фатьму ни малейшего внимания. Пройдя в маленькую комнату об одном окне, Пугачев сел к окну (под его ноги чьей-то волшебной рукой подсунулся коврик) и велел секретарю, Ване Почиталину, зачесть написанное.

— Вот встань-ка рядом со мной, чтоб мне видать было.

Секретарь принялся за чтение. Голос у него выразительный, звонкий. Пугачев, перегнувшись, неотрывно следил за строчками, по которым бежал взор секретаря.

— А ну, еще перечти, да не борзясь, а с толком...

Продолжая с напряжением следить за строчками и за глазами секретаря, Пугачев, казалось, старался запомнить каждое произнесенное Почиталиным слово. Затем он взял указ в руки, наморщил лоб и, шевеля губами, сделал вид, что внимательно читает.

— Эх ты... Врачки какие... Падуров, гляди сюды, — сказал он. Падуров стал сзади Пугачева и, перегнувшись чрез его плечо, заглядывал в те строки, на кои «батюшка» указывал толстым пальцем. — Вот тута, видишь, сказано: «...услыша мое имя, ко мне идите», а подобает сказать: «идите, мол, конны, а того лучше о-двуконь». Я ж, Тимофей Иваныч, о сем упреждал тебя... Забыл?

— Запамятовал, ваше величество.

— Вдругорядь будь памятливей, взыск чинить учну. А вот, гляди, в этом месте сказано: «Ныне я вас жалую даже до последка землями, лесами» и

прочим, прочим — добавить предлежит, *«а такожде денежным жалованьем, свинцом и порохом».*

Пугачев указывал строки совершенно точно и читал написанное правильно. Падуров с удовлетворением подумал: «А ведь «батюшка» грамоте-то неплохо знает». На самом же деле из выкрутасистого, с завитушками почерка своего секретаря Пугачев не мог разобрать как следует ни единого слова. Да он и не пытался это сделать: этакую писарскую кудрявину и доброму-то книжнику надо пообедавши читать.

— Немедля прикажи, Тимофей Иваныч, Идыркею перетолмачить на башкирскую стать.

— Слушаю, ваше величество! — ответил Падуров. — Сделаю вставки, что усмотреть изволили, да кой-какие ошибочки письменные я заметил... Исправить надлежит.

— Сойдет и так, — возразил Пугачев и почесал в затылке. — Лишь бы явственно было да мысли подходящие... Давилин! — обратился он к дежурному, — а ты, друг мой, коль скоро бумагу переделят, немедля отправь ее сей же день в Башкирию. А в кое место гонцу скакать, наш хозяин-бабай укажет тебе.

Сержант Николаев чувствовал себя в этот день отвратительно. С душевным смятением он думал о своей милой Даше. Как-то она там, жива ли, здорова ли, думает ли о нем хоть изредка? Да! Пусть сержант Николаев успокоится: Даша о нем помнит.

Сегодня первое октября, большой праздник — покров. Сержант вспоминает, как в этот день он хаживал к обедне, как из церкви провожал Дашеньку до дому. То-то было хорошо: погода свежая, трава седая от инея, спелой рябины на ветках — красным-красно.

Сегодня покров. Дашенька действительно ходила с приемной матерью в церковь. Все так же ярко светит остывающее солнце, все так же спелой рябины на ветках красным-красно, только нет милого, некому проводить Дашеньку до дому.

И вот, по случаю праздника, под вечерок приходит в гости к Дашеньке тайная подруга ее Устинья Кузнецова. Капитанша сердится на Дашеньку: невместно, мол, дочке коменданта водиться с простой казачьей девкой. Но Дашенька любит Устинью за ее верный характер, за девью красоту, за печальные песни.

Устя помолилась на образ с горящей лампадой, сняла с головы шелковый полушалок и, поцеловав Дашеньку в губы, сказала:

— А ведь я твоего суженого видела, Митрия Павлыча...

— Уж не во сне ли?

— Пошто во сне... Въяве видела, вот как тебя.

Дашенька всплеснула руками:

— Ну сказывай, сказывай скорей, где, когда?

Девушки сели возле предзеркального столика. Устинья, пощелкивая орехи, стала не спеша рассказывать, как она недавно гостила у тетки в Илецком городке и как в это самое время городок передался без боя толпе мятежников.

— Вот тут-то, в толпе-то этой, я и усмотрела сержантика-то твоего...

— Ой, да очнись, Устинья! Что ты, в какой толпе?

— Да в той самой, вот в какой... Худой да длинный, а волосы-то по-казачьи острижены, косу-то ему обкорнали, и одет-то он по-казачьи, не вдруг признаешь...

— Господи, да как же он попал-то? — заметалась, всполошилась Даша. — Да говорила ли ты с ним?

— А и не подумала говорить. Он рыло отворотил от меня — да ходу! Должно, чует, что совесть не чиста.

Дашенька вынула из-за пояса носовой платок, собираясь заплакать. Устинья, спохватившись, затараторила:

— Да ты, подружка, не тужи... Он и сам поди не рад... Я все узнала. Он в полон попал. Казаки ладили повесить его, да сам батюшка помиловал. Вот он и остался служить ему, батюшке-т, в петлю-то не больно сладко лезть, до кого хошь доведись... Да мы

твоего дружка выручим, подруженька, не горюй, ягодка моя... Вызволим!

Даша заплакала. Устинья опустилась возле нее на колени, обвила ее за шею сильными руками.

— Ой, Митенька, Митенька, — заливалась слезами Даша. — Ну кто, кто его станет выручать?

— Да мы с тобой, вот кто... Я батюшке песни пела да плясала, — батюшка мне пять рубликов пожаловал. Вот и поедем к нему. Уж я батюшку-т упрошу, укланяю.

— Какой это батюшка, что за батюшка такой? — насторожилась Даша, перестала плакать и осторожно сняла со своих похолодевших плеч теплые руки Устиньи.

Казачка поднялась с полу и, придвинув стул, села колени в колени с Дашей.

— Слушай, — зашептала она, озираясь на дверь, — Батюшка — доподлинный царь-государь... Вот кто батюшка.

— Это душегубец-то? Побойся ты, Устинья, бога! — воскликнула Даша, губы ее задергались.

— Да не шуми ты! — сдвинув брови, загрозилась Устинья. — Неровен час, полковник Симонов нагрянет, папаша нареченный твой. — И снова зашептала: — Только ты, подруженька, молчок, никому не брякай. А я тебе вот что... Сам Иван Александрыч Творогов его за государя признал, а уж он казак умнющий да богатый.

— Стало, он умен, твой Творогов, а все достальные дураки — и папенька, и Крылов, и губернатор... Вот какое, девка, у тебя понятие... Да ты с ума сошла, чего ли? Разбойника, душегуба за царя принять! Да истинный-то Петр Федорыч одиннадцать лет тому назад умер. Про это и в книгах пропечатано. Что же он, из могилы, чего ли, встал?

— Откуда мне знать, — с сердцем проговорила Устинья. — В народе говорят — похоронили подставного, а доподлинный-то государь в сокрытие ушел.

— Эх ты дура-дура! — потряхивая головой, укоризненно сказала Даша.

Устинья встала, накинула на голову полушалок, проговорила охрипшим от возбужденья голосом:

— Да мне что? Плевала я! Не мой суженый. Ну и сиди... Прощай!

ГЛАВА IX

Каторжник Хлопуша. Фатьма рушит закон. Бачку-осударя татары торжественно несут на кресле

1

Ночной осмотр крепости был губернатором отменен до следующего дня. Крепость давным-давно не ремонтировалась, хотя деньги на ее благоустройство ежегодно из Петербурга получались.

Правительство имело полное основание полагать, что Оренбургская крепость, сооружавшаяся одиннадцать лет инженерными генералами, снабженная семьюдесятью добрыми орудиями и всем необходимым, представляет собою необоримую твердыню. На самом же деле все укрепление состояло из земляного вала с десятью бастионами и двумя полубастионами, примыкавшими к обрывистому правому берегу Яика. Между бастионами — четыре выхода из города. Одеты камнем были только два бастиона, на остальных не завершены даже земляные работы.

Окружавшие город рвы заросли бурьяном. Обыватели свозили сюда ободранные туши дохлых лошадей, битые горшки, бутылки, щепки, всякий дрызг. Через ров в любом месте ездили на телегах, и лишь в немногих местах, где откосы взяты в камень, было невозможно пробраться из крепости в город. Бревенчатый частокол вдоль вала и ограждающие ров рогатки отсутствовали. Крепостные ворота затворов не имели.

Губернатор хватался за голову, с отчаяньем выкрикивал:

— Всех, всех суду предать!

Но окружавшие его начальствующие лица и некоторые штаб-офицеры утешались тем, что в первую голову предавать суду пришлось бы губернатору себя.

Было сделано распоряжение: немедленно приступить к углублению рва и проведению всех необходимых крепостных работ силами гарнизона, сидевших в тюрьме каторжан и всех способных к труду местных жителей. Работать день и ночь. Уклоняющихся и нерадивых наказывать тут же, на месте.

Вскоре закипела работа. Появились тысячи тележных подвод. С ночи по всему фронту работ зажглись костры. Слышались крики, ругань, понуканье, скрип немазаных колес. По улицам города, чрез осеннюю тьму, сновали люди с фонарями, плелись, позвякивая кандалами, каторжники, скакали курьеры, вышагивали, гордо подняв голову, верблюды с поклажей на горбах.

Столь внезапно поднявшаяся суматоха напугала жителей и породила многие толки. В народе стали поговаривать, что Емельян Пугачев, которого начальство всячески стремится опорочить, совсем даже не простой казак, а «другого состояния».

У костров, как только отвернутся капралы с понукалами, сходятся нос к носу люди.

— Ну как, братухи, неужто это и впрямь Петр Третий к нам шествует? — раскуривая от уголька трубку, шепчет бородач с подбитым глазом.

— Он, он, — враз отзываются козьи бородки, длинные носы, сутулые спины. — Самоглавнейше — он... Он, батюшка, жив-живехонек, из Питера-т скрыться успел...

— Вре-о-о...

— Правда-истина... — шамкает беззубый коренастый старичок, подвязанный по ушам пестреньким платочком. — У меня в землянке намеднись казак с его стану ночевал. Ну-к он все обсказывал, казак-от. У него, брат, войсков — уйма. И пушек сколь хошь... Попы навстречь выходят, с образами...

— Я тебе дам, старый черт, попы! — выплывает из тьмы на свет костра капрал и трясет нагайкой. — Ррразойдись!

Подобные разговоры который уж день носятся по городу, будоражат жителей. Начальству известно, что пугачевцы подослали в Оренбург своих головорезов-возмутителей, начальство из кожи лезет, чтобы поймать их, но они неуловимы.

Чтоб положить конец всяким вздорным кривотолкам Рейнсдорп измыслил составить воззвание к жителям и огласить оную публикацию в воскресенье, 30 сентября, во всех семи церквах.

Каменный, с золотыми куполами, Введенский собор до отказу набит молящимися. После обедни на амвон вышел курчавый губастый дьякон. Он положил на аналой бумагу, обвернул концом парчового ораря указательный перст, перекрестился и отверз уста:

— «По указу ее императорского величества, из Оренбургской губернской канцелярии публикация».

Народ всколыхнулся, вытянул шеи, замер.

«Известно учинилось, что о злодействующем с Яицкой стороны в здешних обывателях, по легкомыслию некоторых разгласителей, носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть. Но он, злодействующий, в самом деле беглый казак Емельян Пугачев, который за его злодейства... — тут дьякон загрохотал на весь собор: — *наказан кнутом, с поставлением на лице его знаков, но чтоб он в том познан не был, для того пред приверженцами своими никогда шапки не снимает*. (По народу прошел вздох изумления.) Почему некоторые из здешних, бывших у него в руках, самовидцы, из которых один, солдат Демид Куликов, вчера выбежавший, точно засвидетельствовать может...»

И вдруг из густой толпы молящихся резкий тенористый выкрик:

— Ври, дьякон, да не завирайся! Лицо у батюшки царя чистое, почище, чем у тебя, дьякон, и ноздри целы! А как батюшка прикладывается к святым иконам, шапочку завсегда снимает... Эх ты, брехало! А вы, миряне, принимайте батюшку без сумления. Он доподлинный царь!

Сначала все замерли, оцепенели, затем поднялась небывалая сумятица. Народ кричал, кто во что

горазд, женщины испуганно взгайкивали и визжали, дьякон, выпучив глаза и потрясая публикацией, оглушительно взывал:

— Братия! Тихо, тихо...

Два лохматых стражника, врезавшись в толпу, волокли смелого пугачевца вон из церкви. Пред самым выходом, у паперти, стражников схватил народ, чернобородый пугачевец вымахнул на улицу, мигом вскочил на свою шуструю кобылку, и — только пыль взвилась. Имя пугачевца — яицкий казак Костицын.

Эта глупейшая губернаторская публикация, впоследствии оказавшая несравненную услугу Емельяну Пугачеву, наделала много неприятностей начальству. А Рейнсдорп, узнав о происшествии в соборе, едва не умер от «конгестии». Военный врач бросил ему кровь.

Директор таможни, тучный Обухов, злобствовал и на дурака губернатора и на церковную оголтелую толпу. Его жена, невысокая блондинка с пышным бюстом, знакомая нам по губернаторскому балу и питавшая к Рейнсдорпу нежные чувства, будучи весьма религиозной, молилась в этот день в соборе. Она стояла в передних рядах, вблизи амвона, и, когда началось смятение, каким-то несчастным случаем угодила в костомятку. Вернулась с богомолебствия весьма потисканной и без бриллиантовых сережек.

2

Итак, сказав на военном совещании: «В мой голова двадцать прожект самых очшень хитрых», — Иван Андреич Рейнсдорп начал их осуществлять.

Прожект с публикацией возымел на жителей действие отрицательное. Тем не менее приказом губернатора лживая публикация читалась и в войсках. Все воинские силы были размещены теперь вдоль оборонительной линии укреплений, разбитой на семь участков. К каждому из семидесяти орудий было приставлено по пяти человек прислуги.

Наступила очередь второму прожекту губернатора.

— Вот что, — сделав курносое лицо таинственным, сказал Рейнсдорп статскому советнику Тимашеву. — Я ночь и день думаю да думаю... Не есть ли, душенька, в ваша тюрьма этакий, этакий большуща злодей, разбойничка? У меня гениальный прожект, чтобы не сказать боле...

— Есть, ваше высокопревосходительство, — охотно и в то же время с удивлением ответил Тимашев, подумав: «Что за штучку хочет еще выкинуть милейший Иван Андреич?» — Этого добра хоть отбавляй.

— О! Отбавляй мне, душенька, какого-нибудь сукина кота, рвана ноздря.

— Да вот — Хлопуша, ваше высокопревосходительство, — сказал Тимашев. — Два раза из Сибири бежал, воровал и разбойничал в пределах Оренбургской губернии, четыре раза бит кнутом, ноздри рваные, на роже поставлены знаки. Он некогда и в моей вотчине работывал поденщиком, в сельце Никольском. А ныне оный каторжник Хлопуша содержится в нашем остроге, скованный по рукам, по ногам.

— О! О!.. Клопуша...

Через час пред губернатором стоял очень высокий, плечистый, сутулый, с изуродованным лицом человек в железных кандалах. Взлохмаченные волосы на голове и в бороде — цвета грязной мочалы, глаза белесые, холодные, на лбу и щеках клейма: «В. О. Р.». Нос повязан тряпицей.

— Здорово, Клопуш! — бодро поздоровался губернатор, с омерзением присматриваясь к человеку и в то же время радуясь в душе, что этот сильный, отъявленный злодей лучше всех исполнит мудрейшее губернаторское поручение. — Ну, какафо, сукин кот, поживайте?

— Да срамно, ваше превосходительство, — глухо прогнусил Хлопуша. — Сырость, темень, жратво собачье... с тухлятинкой.

— Малядец, малядец, Клопуш! — Кончики ушей и полные, отвисшие щеки Рейнсдорпа раскраснелись. Он встал, сунул руки назад, под скошенные фалды кафтана, прошелся взад-вперед и, остановясь пред Хлопушей, крикнул:

— Ты свободна! Я тотчас прикажу снять с тебя эта... эта... цепочечка. Ты свободна! В острог больше не ходить будешь... Полный свобода!

Хлопуша, гремя кандалами, повалился Рейнсдорпу в ноги:

— Батюшка... Отец, отец... — И голос его сорвался: закованный в железо человек до самозабвенья любил волю.

— Встань, сукин кот Клопуш. Хочешь мне слюжить?

— Ой, батюшка, ой, ваше превосходительство! Да с полным моим усердием...

— Слюшай, знаешь ли ты про злодея Вильгельмьян Пугашов?

— Нет, батюшка, не слыхивал. Ведь я в остроге без выпуску сижу.

Тогда губернатор кратко рассказал о Пугачеве, похитившем имя покойного государя Петра Федорыча и угрожавшем нашествием со своей толпой на Оренбург.

— Ах он змей! Ах он варнак!.. — И Хлопуша в припадке притворного усердия затряс кулаками, зазвенел железами. — Прикажи, ваше превосходительство... Да я его... варначину! Убью и не крякну!.. Ах он сволота несчастная!..

— Так-так-так, так-так-так, — как селезень, прикрякивал губернатор, восхищенный горячей готовностью каторжника. — Слюшай, Клопуш... Убить не надо. А ты его живенького... на веревочка, на цепочка, ату-ату. Схватывай и маленько тащи-тащи сюда. За сей подвига тресот рублей получишь... Больше, больше! Пятьсот рублей. И полный оправдань... В капрал произведу! От государыни императрисс медаль получишь. Еще чего, еще чего... — облизывая губы, возбужденно тараторил губернатор и с победоносным видом бросал многозначительные взоры на сидевших за столом четырех начальников: дескать учитесь, как нужно обращаться с простым людом, видите, видите — даже самый закоренелый преступник стал смирен, как овечка.

— Ты мне, батюшка, деньжат малую толику дай, ваше превосходительство... Да дозволь перво к бабе моей сходить, она недалечко тут, в Берде.

— На, на, на, Клопуш... Вот тебе рубль, вот три, вот пять, вот десять рублей. Будет?

— Премного довольны вами, ваше превосходительство. — И Хлопуша, ужав деньги в огромную горсть, низко поклонился Рейнсдорпу.

— Момент!.. Бабочка твоя... как это, как это? — подарка... Адъютант! Але-але! — И, мотнув головой адъютанту, чтоб следовал за ним, он шустро пошел во внутренние покои.

— Комедия, — сказал негромко директор таможни, толстобрюхий Обухов, и, потащив за собою суконную скатерть, стал неуклюже вылезать из-за стола.

— Н-да, прожектец, — подмигнув, поднялся за ним начальник артиллерии Старов-Милюков.

Тимофеев и обер-комендант Валленштерн продолжали сидеть за столом, внимательно посматривая на страшного Хлопушу. Лицо преступника казалось неподвижным, но наблюдательный Валленштерн подметил, что его белесые глаза лукаво поблескивали, как бы насмехаясь и над губернатором и над бывшими здесь господами. Непринужденно почесываясь, Хлопуша чувствовал себя великолепно, хотя ему не совсем еще верилось в незыблемость счастья, столь внезапно свалившегося на его отпетую голову. Два конвойных солдата, справа и слева от него, стояли с ружьями не шелохнувшись.

— Клопуш, Клопуш! — ворвался чрезмерно возбужденный губернатор в сопровождении адъютанта, тащившего под мышкой кусок шерстяной ткани. — Вот это, мой миленький, твоя бабочка от меня подарок.

— Премного благодарны, ваше превосходительство! — И обрадованный Хлопуша во все лицо так широко заулыбался, что тряпица приподнялась, обнажив черный провал на месте носа.

Губернатор с брезгливостью отпрянул от него, уткнулся лицом в надушенный платок, затем велел

адъютанту, чтоб тот передал Хлопуше четыре пакета.

— Тут, миленький Клопуш, указы о злодей Пугашов и увещательный письма к инсургентам. Один пакет отдавай яицким касакам, другой — илецким, третий — оренбургским, а четвертый — давай в ручки сам Вильгельмьян Пугашов. Всем будешь рассказывать, что он не государь есть, а беглый касак. Паньмайт?

— Понимаю, батюшка... Много довольны.

Хлопуша, чтоб не спутать, кому какой пакет вручить, рассовывал их по разным карманам, погромыхивая цепями и приговаривая:

— Этот яицким, этот ренбургским...

— Итак, Клопуш... Я, и господа начальство, и весь народ станет дожидай тебя с Пугашов три-четыре дней.

— Уж поверь, батюшка, уж сполню!

— Господин адъютант, распоряжайтесь расковать Колпуш, дать ему полная свобода. Прощай, миленький сукин кот Колпуш, да сохраняйт тебя сам господь бог.

Хлопуша крякнул, поклонился и пошел, цепи загремели. Губернатор облегченно, всей грудью, сделал «уф-фу-фу» и для очистки воздуха приказал зажечь в комнате ароматные курительные «монашки».

— Ну-с, господа! — важно отставив ногу, затянутую в белый нитяный чулок, и выпятив брюшко, губернатор пытался придать своей особе осанку испытанного хитрейшего вельможи. — Убедились ли вы, что я кой-который панимаю обращеньи простой народ?

— Убедились, ваше высокопревосходительство, — едва сдерживая улыбки, ответили начальники.

— Поздравляйт меня, господа. Я беру смелость предсказайт, что сей инсуррекции я положу скорого конца. Я одержу громкий побед над злодеем без пушка, онэ зольдат, онэ крепость... А теперечко приступим, господа, военный совещаний. Генерал-майор Валленштерн! Ваш доклад...

3

Состояние духа Падурова было зыбкое. Его влекли боевые подвиги, но и татарка Фатьма не выходила из ума. За царским обедом она не показывалась. Шербет и свежий сотовый мед подавал Али. Падуров не досидел до конца пиршества, сказавшись больным.

Прогулялся по селению. Вдруг захотелось написать далекому товарищу. Толмач Идорка отвел его в избу своего знакомца, бедняка татарина. Падуров вынул из сумки бумагу с походной чернильницей, стал писать:

«Вот, друг любезный Гриша!

Поди не забыл еще, как мы с тобой под конец наших заседаний в Грановитой палате сдружились. И много кой-чего путного говорено было меж тобой да мной насчет крестьян крепостных да бар. И был промежду нас уговор, что, ежели где случится огневой мятеж, вроде Разина Степана, быть нам на том мятеже вместе, стоять за правду вместе. Сообщаю, любезный приятель мой, что я свое слово сдержал. Ежели тебе еще не ведомо, то не замедля узнаешь, что на Яике поднялись искать своих прав казаки. Я с пятью сотням оренбуржцев передался на их сторону. Ныне нахожусь при особе государя Петра Третьего, чудесной силой явившегося к нам на защиту угнетенных».

Далее Падуров подробно описал свою первую встречу с государем, длительные беседы с ним, ход начавшихся военных действий, сочувствие народа, который все больше да больше прилепляется к «батюшке».

«Доподлинный ли он государь Петр Федорыч, уверить тебя не могу. За одиннадцать лет скитаний в народе, как он говорит, он и впрямь мог многое из науки растерять и натуральное обличье утратить. Старые казаки, в оно время бывшие самовидцами царя в Петербурге и в Ранбове, те признают его за истинного Петра Федорыча. Токмо, на мое мнение, раз я, от жизни своея отрекшись и оставя семью свою, положил за благо стать под знамена нововявленного спасателя народного, то не все ли мне

едино, доподлинный ли он, или подставной от казаков самозванец? Лишь бы понимал, что к чему, да великим делом смыслил править.

Звать тебя сюда я не зову той причины ради, что, первое: попадет ли тебе в руки письмо сие, надлежащей уверенности не имею; второе: не ведомо мне, тот ли ты человек, чем был шесть лет тому назад.

Итак, пишу тебе токмо интереса ради. В протчем же, как на душу ляжет тебе, так и поступай. Посылаю я тебе сию экстру, да не ведаю, скоро ль ты ее получишь».

На конверте надписал:

«Его высокоблагородию, господину офицеру Г. Н. Коробьину. Город Санкт-Петербург, Васильевский остров, каменный дом за № 5».

Пришел молодой Али в безрукавном, алого сукна, зиляне. Глаза горят.

— Чего носа повесил? — насмешливо спросил он Падурова и положил руку на его плечо.

— Да так чего-то... Вот письмо написал приятелю в Россию, да как доставить — ума не приложу.

— Твой ум кудой, — захохотал Али. — Давай сюда, батька мой мало-мало в Москов ездить будет, оттудова в Питер.

Падуров с готовностью передал письмо и объяснил, куда и кому его доставить.

— Слушай, Али... — начал Падуров и остановился. Поднял на юношу глаза, сердце забилось. Спросил: — Твоя сестра Фатьма — девушка?

— Нет, вдов... Его хозяин туркам убит на война. Той неделя наша мулла казенный известье получил. Фатьма не плачет, Фатьма не любил его.

Сердце Падурова застучало еще сильней, к щекам кровь бросилась, он проговорил:

— Слушай, Али... На твоей сестре жениться хочу. Уж очень она, Али, по нра́ву мне пришлась.

Али снова захохотал, запрыгал на одной ноге и, явно шутя, сказал:

— Да она и так пойдет. Зачем жениться? Она велела тебе, пожалста, говорить: «Миленькой мой, усатенькой».

Тогда Падуров вскочил, бросился обнимать Али.

Эта забубенная головушка — легкомысленный, но преданный Пугачеву оренбургский казак, когда попадал в боевую обстановку, всякий раз совершенно перерождался. Он тогда забывал свою оставшуюся в Оренбурге семью — жену и взрослого сына, забывал свой хорошо построенный дом и крепко налаженное хозяйство и, как отчаянный пловец, не имея твердой уверенности, переплывет он бурную реку или нет, безоглядочно бросался в пучину походной жизни.

— Слушай, Али, хороший мой, да ведь отец твой не отпустит ко мне Фатьму-то? Ведь у вас закон очень строгий.

— Какой тебе дело — отец! Теперя другой виремя, видишь — какой виремя. Беспарадка... Новый царь-осударь пришла, новый закон давать будет. Кабы старый виремя, а то виремя сапсем другой. А я тоже... Я завтра адя-адя!.. С государем ухожу.

— А где государь?

— Бачка-осударь с молодой татарам на луг скакать бросился. Шибко якши скачет... Адя-адя! Прамо стрела, прамо стрела, прамо ветер. Пожалста...

Быстро вошла в избу набеленная, насурьмленная, вся сверкающая Фатьма. Сразу запахло цветами, степью, свежестью. Пораженный Падуров вскочил, замигал, не мог взять в толк, что ему делать.

4

По случаю приезда государя послеобеденное время Каргала проводила весело.

День был серенький, солнце то покажется, то надолго скроется в тоскливо ползущих облаках.

Блеклая степь, ярко разубранные кони, пыль. На невысоком взлобке разбита палатка из белой киргизской кошмы. Возле палатки два знамени, двое часовых; в открытой палатке — государь.

По склону взлобка и внизу — огромная толпа празднично одетых каргалинцев. Татары в длинных

ситцевых, ниже колен, рубахах, в безрукавных зилянах, в цветных полосатых халатах, в голубых шабурах и бешметах, на чисто выбритых головах — расшитые шелком тюбетейки. Мулла и хаджи — то есть правоверные, побывавшие в Мекке, — в белоснежных чалмах.

Женщины — в широчайших, с нагрудниками, рубахах, в разноцветных шароварах, в зилянах или ярких халатах; на головах накинуты покрывала, а то надеты шелковые, унизанные монетами, колпачки.

Выхоленные кони стоят в стороне. Гривы заплетены, как у девок, в косы. В гривах ленты. Хвосты расчесаны. Молодые джигиты, поблескивая глазами и раздувая ноздри, держат коней под уздцы.

Крепкий чалый конь Пугачева привязан возле палатки. На нем отделанное чеканным серебром бухарское седло — подарок старика хозяина, где остановился Пугачев, хаджи Забира Сулейманова.

— Еге-гей! Идут! Адя-адя! — закричали в толпище, и все устремили взоры на быстро приближавшееся облако пыли.

Это мчатся на конях-птицах лихие наездники, взявшие двенадцативерстовой круг по степи.

Вот скачет-скачет первый всадник, гикает, бьет коня плетью. За ним — другой, третий. И прямо — к флагу, поставленному против палатки. У флага — судьи. Взмыленные лошади широко поводят боками, дрожат, белая пена комками падает с губ на землю.

От великой толпищи, как от моря волна, оторвалась ватага любопытных.

— Валла-билла!.. Ура-а! — и ринулась к флагу. За ними — свора веселых собак.

Остальные семнадцать всадников далеко отстали. Но и они показались, — снова бегущее облако пыли, снова топот, взмах плеток, гиканье.

Пугачев подал знак платком. Три победителя, отерев пот с бронзовых лиц и подхватив друг друга под локти, спешат к государю. Валятся ему в ноги, встают, целуют руку.

— Благодарствую. Молодцы, джигиты! — сказал Пугачев и каждому дал по три рубля серебром.

— Спасибо, бачка-осударь, — широко улыбались джигиты бронзовыми лицами, черными, черными глазами, белыми зубами. — Бири нас себе-себе... Вуйна будим вуевать.

— Идите, детушки, под мою царскую руку и других с собой зовите.

Затем затеялись скачки. Были поставлены высокие, в рост человека, заслоны из речных камышей. Молодые джигиты вскочили на свежих холеных коней.

Один за другим кони-птицы понесли седоков на приступ. Надо было перескочить четыре заслона. И никто не мог этого сделать. Лишь один Али сумел взять три заслона, а четвертый все-таки сшиб.

Но вот неожиданно вырвалась вперед и понеслась, как из лука стрела, черноокая Фатьма. Пораженные зрелищем мулла и хаджи в белоснежных чалмах и вся толпа сердито закричали:

— Ой, ой... Баба!.. Закон рушит... Валла-билла!.. На что похоже!..

Конь Фатьмы черный, долгогривый. Фатьма — в белом казакине, в красных шароварах, в парчовой шапочке с собольей оторочкой.

Пугачев нетерпеливо поднялся с кресла, приложил к глазам руку козырьком, чтоб лучше видеть.

Легкий конь Фатьмы, отшвыривая копытами пространство, взвился раз, взвился два, взвился три, — взятые заслоны остались сзади.

Сбоку, не отставая от Фатьмы, скакал на своей быстрой лошади Падуров.

И вдруг, когда конь татарки летел, подобно пуле, из-за четвертого заслона с лаем кинулась под ноги коня огромная, как волк, собака. Пугливый конь на всем скаку резко метнулся в сторону, потерял равновесие и с маху брякнулся на спину, четырьмя копытами вверх.

— Фатьма! — вскричал Падуров и проворно скатился с седла на луговину. Он подхватил тяжело подымавшуюся красавицу и поставил ее на ноги.

— Нишяво, ладно, миленький Падур... Маленько нога.

И, не успели опомниться, — под ликующий рев толпы сам царь скакал на приступ. Он вытянул губы, подобрал щеки, всем корпусом подался вперед и — дал коню волю. Конь взвился раз, взвился два, взвился три... Гиканье, плетка, коню пятками в бок, и — все осталось позади.

— Урла! Урла!.. — сотрясая вольный воздух, загромыхала степь.

Царь-победитель повернул коня и, подъехав к народу и к судьям, сказал прерывистым голосом:

— А нут-ка... Подымите-ка камыши на пол-аршинчика кверху... на кнутовище.

Судьи защелкали языками, затрясли широкими лбами:

— Уюй, бачка-осударь, бульно высоко... Кудой дела... Конь поди не шайтан... Да и сам ты, бачка-осударь...

— Государю подобает высоко взлетать. Давай!

Пугачев отъехал сажен на двести. Разгоряченному коню не стоялось: то выплясывал, поводя ушами, то выделывал курбеты. Пугачев огладил коня, пошлепал по его вспотевшей шее, нахлобучил шапку и, нагнувшись к луке, вихрем ринулся вперед.

Вся степь замерла, только стальные копыта размеренно били то в землю, то в воздух да селезенка играла в широкой утробе коня. Степь закачалась, звон в ушах, ветер, сердце стукочет, грудь перестала дышать, искры в глазах, взлет, взлет, взлет, еще последний страшный — над высоко приподнятой преградой, и — ровный, ровный бег в славу, в ликующий гомон толпы.

Вот бачку-царя усадили в кресло, несут в кресле на руках. Бубны, дудки, свистульки. Песня.

Надвинулся вечер. За вечером упала на землю беззвездная темная ночь.

Этой же ночью Хлопуша двинулся на поиски Емельяна Пугачева.

Он успел побывать в Берде у бабы с сыном, попарился в бане. И вот идет сквозь тьму, как сквозь

путаный сон. Сон это или явь? Воля, паспорт, деньги! Не брякают больше кандалы, натруженные цепями ноги тоскливо ноют. Ну и наплевать, пусть ноют, нужно поторапливаться, — губернатор дал сроку всего три-четыре дня. Да как бы еще губернатор на попятную не сыграл, с них, с окаянных, станется. «А ну, скажет, к лешему в ноздрю этого Клопуш... Взять его, сукина кота, схватить в Берде у бабы да сызнова на цепь». Емко шагая по ровной степной дороге и представив себе дурашливого губернатора, Хлопуша даже улыбнулся. А все-таки хорошо, что он в ночь ушел, — теперь лови ветра в поле!

Перед утром его сморило. Он подался влево от дороги, прилег в кустах. А поутру, уже солнце встало, унюхала его набеглая собака, облаяла. Он присел и взглянул на собаку по-свирепому. Та сроду не видала такого странного безносого лица, таких белых выпученных глаз... Испугалась, заполошно тявкнула и, ощетинив шерсть на хребте, отскочила прочь.

— Что за человек? — вдруг подлетел к Хлопуше разъезд казаков. — Паспорт есть?

— Нетути.

— Хватай его! Это каторжник, безносый... с клеймами...

— Ну нет, молодчики... Меня не вдруг-то схватишь, — гнусавым басом спокойно сказал Хлопуша и обмотал нос тряпкой.

— Ты кто таков? От Пугача подосланец чи к нему бежишь? Признавайся!

— К нему бегу, молодчики. Это верно... По указу самого губернатора. Вот и грамотка, ежели маракуете читать. — И он подал пожилому конопатому казаку бумагу.

Тот, глядя в бумагу, долго шевелил губами, затем, сказав: «Чудеса, да и только», — прочел вслух:

— «Всем заставам, пикетам, секретам и разъездам предъявителю сего свидетельства ссыльнокаторжному Хлопуше, он же Соколов, чинить беспрепятственный пропуск. Обер-комендант генерал-майор Валленштерн».

— В которой стороне Пугач? — спросил с важностью Хлопуша, обратно принимая бумагу.

— А кто его знает, — сказал старший. — Слых есть, что злодей с под Татищевой к Каргале путь взял.

Хлопуше не хотелось больше оставаться с казачишками, он сказал: «Прощевайте», — взял котомку и пошел. Отойдя с версту, сел у ручейка, подкрепился вяленой рыбой с хлебом и — дальше в путь.

Поздно вечером каргалинские угодья начались. А он все шел, все шел. И уже в потемках соткнулся нос к носу со знакомым бердянским кузнецом из казацких детей, Сидором. Разговорились. На вопрос Хлопуши, где найти Пугача, кузнец ответил:

— Государь стоит с войском на старице реки Сакмары, на самом берегу.

— Какой государь, — перебил его Хлопуша, — я про Пугача спрашиваю...

— Для кого Пугач, для кого и царь. Ты к нему, как к царю, подходи, а не то...

— Как подойти, знаю, — прогнусил Хлопуша.

— А чтоб тебе приметно было, увидишь там повешенных трех человек...

— О-о-о, — протянул Хлопуша. — Это пошто же их?

— Подосланы будто бы от Рейнсдорпа были.

Хлопуша засипел, закашлялся.

ГЛАВА X

«Все мы гулящие, Ненилушка». Пугачев окинул оборванца суровым взглядом. Заветное письмо. На Оренбург!

1

А в ночь на 2 октября в Сакмарский городок приехали несколько казаков с Максимом Шигаевым и Петром Митрясовым. Им нужно было подготовить жителей к приему государя.

На следующее утро была устроена в версте от города встреча. Пугачев подъехал со всем войском, поздоровался с народом, слез с коня, приложился к кресту, поцеловал хлеб-соль и сел на стул. Он был не в духе. Еще вчера Шигаев доложил ему, что строевые казаки, по требованию губернатора, ушли из Сакмарского городка вместе с атаманом в Оренбург.

— Где у вас казаки? — обратился он к народу.

— В Оренбург забраны, ваше величество. А кои на службе, — стали отвечать из толпы. — Да еще двадцать человек оставил атаман для почтовой гоньбы, только и тех-то нету тутотка.

— Сыскать! Всех сыскать! Не сыщите — только и жить будете. Поп! Тебя атаманом в этой местности ставлю.

Священник упал Пугачеву в ноги:

— Помилуй, батюшка. Какой я атаман?!

— Ладно. Не хуже будешь того, кой убежал к Рейнсдорпу.

Пугачев удалился в лагерь.

— Вот, ваше величество, — доложили ему там. — Трех подосланцев наши разъезды пымали: из Оренбурга они.

— Повесить! — крикнул Пугачев. — Бурьян в поле — рви без милости!

Страховидный Иван Бурнов пошел делать свое дело.

К Пугачеву, сняв шапку, приблизился, в сопровождении Давилина, казак Костицын.

— Дозволь, надежа-государь, слово молвить. (Пугачев кивнул головой.) Был я, батюшка, в соборе, в Оренбурге... И слышал, как дьякон всему народу губернаторскому дурнинушку вычитывал...

Костицын подробно рассказал о происшествии в соборе, о том, какие в городе ходят толки, и, вынув из кармана, подал Пугачеву печатную публикацию Рейнсдорпа.

— А это, ваше величество, я в торговых рядах со стены содрал. Вот по такой гумаге дьякон-то и вычитывал.

Пугачев, прищурив правый глаз, воззрился в бумагу, зашевелил губами. Шрифт публикации был крупный, содержание короткое; Пугачев, хотя и с большим трудом, все-таки осилил кое-что из напечатанного, сказал Давилину:

— Пускай секретарь сюда прибежит. Да присугласи-ка ко мне всех атаманов с полковниками да есаулами. Да и казаков скличь! — Костицыну он подал три рубля. — А это вот за верную службу прими. И впредь служи тако. Ступай.

Когда собрались все в круг, Иван Почиталин, по приказу Пугачева, громко стал читать публикацию. Пугачев внимательно присматривался к выражению лиц собравшихся казаков. Вдруг все заулыбались, затем захохотали. Пугачев, тоже усмехаясь, во весь рост поднялся, снял шапку, сказал:

— Вот я и шапку снял... Смотрите! А губернатор, наглец, пишет, что никогда я шапки не снимаю, боюсь воровские знаки показать. Зрите сами: знаков на мне нет, лицо чистое, ноздри целы. Ах, злодей, злодей... То я беглый казак Пугачев, то ноздри у меня рваные! Вот как всего оболгал меня Рейнсдорп, дай бог ему... Ах, изменник!

— А вы, ваше величество, начхайте на него! — тряхнув бородой, воскликнул Андрей Овчинников. — Вишь, он зря ума какую хреновину нагородил: богу на грех, людям на смех!

— Ему, губернатору-то, с горы видней, — как всегда, с ужимками, двусмысленно бросил Митька Лысов.

— Я вас, ваше величество, еще в молодых годках видывал, — вкрадчиво проговорил, кланяясь, старик Витошнов. — Как в то время вы любили правым глазком подмаргивать, а передние зубки у вас были со щербинкой, такожде и ныне мы зрим в вас.

На глазах Пугачева появились слезы. Он тронул языком пустоту, где когда-то был зуб, и сказал:

— Слышали, господа атаманы, что верный мой полковник Витошнов говорит?

— Надежа-государь! — громко закричали все, а всех громче неистово выкрикивал Иван Зарубин-Чика. — Умрем за тебя, за государя своего!

Все чинно разошлись. Сутулый, кривоплечий Митька Лысов, вышагивая, что-то бормотал себе под нос, разводил руками, крутил головой, хихикал.

Час был поздний. Горели костры. Ветер дул. По небу волоклись хмурые тучи. Обмелевшая Сакмара брюзжала, взмыривая на шиверах и перекатах.

У царской палатки — или, по-татарски, кибитки — стояла краснощекая Ненила. Скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки, она поджидала государя. Печальная Харлова лежала в соседней кибитке за пологом. Быстрым шагом, как всегда, приблизился к Нениле Пугачев. Она развязала на нем кушак, пособила снять кафтан, взяла шапку, велела присесть на камень, стала стаскивать сапоги. Он упирался руками в ее мясистые плечи. Она сказала:

— Ужин сготовила... Кумысу да меду каргалинские татары привезли. А Лидия Федоровна все плачет да плачет. Поди, надежа, распотешь ее.

— А парнишка где?

— А ейный парнишка, Колька, в моей кибитке, эвот-эвот рядышком.

— Ты, слышь, и ему пожрать дай, Ненилушка.

Давилин расставлял часовых вблизи кибитки Пугачева.

— И так кормлю. А ты, батюшка, хошь бы покойников-то приказал убрать, — кивнула она головой на трех висевших неподалеку губернаторских шпионов. — Страх берет. Как и спать стану.

— А ты Ермилку либо Ваньку Бурнова положи к себе, — шутил Пугачев.

— Тоже молвишь, батюшка, — обиделась Ненила. — Я поди не курвина дочь, не гулящая какая...

— Эх, все мы гулящие, Ненилушка, — вздохнул Пугачев, взял зажженный фонарь и вошел в палатку.

Рано утром, едва солнце встало, он был уже на ногах. Он поехал поздороваться с каргалинскими татарами, пятисотенный боевой отряд которых вместе с Падуровым, Али и Фатьмой прибыл ночью в лагерь.

Пугачев был бодр, радостен. Шутка ли — полтысячи таких удалых всадников влились в его молодую рать. Да еще сотня сакмарских казаков подоспела.

Падуров, сняв шапку, сказал ему:

— Прошу разрешения вашего величества татарке Фатьме жить при мне.

Глаза Падурова то улыбались, то страшились.

— Ладно, так и быть, — подумав и нахмурившись, сказал Пугачев. — Эх ты, бабник...

— Она не баба, — она воин, ваше величество.

— Хорош воин, с коня вверх тормашками сверзилась, — ухмыльнулся Пугачев, вспомнив скачки на празднике.

В полдни татары устроили состязание с яицкими казаками в бегах и борьбе.

Пугачев остался у своей палатки вдвоем с Шигаевым. Неспешно прохаживались между палаткой и берегом реки, где под ветерком покачивались на виселице трупы. Говорили о делах, о том, что надо-де приводить армию в порядок: число людей подходит к трем тысячам, и двадцать добрых пушек есть, пора, мол, на полки народ делить да покрепче дисциплину заводить. Пожалуй, время и под Оренбург подступ сделать, и так сколько времени зря промешкали.

— Да еще, ваше величество, доложить хочу: ночью мои ребята схватили высмотреня. Казачишка молоденький. Я его вздернуть приказал. — Они подошли к самой бровке высокого берега и повернулись, чтоб идти обратно. Внизу, под обрывом, послышались шумные шорохи: галька шуршала, потрескивали ветки кустов. «Козлы либо овцы скачут», — подумал Шигаев. — Подослан был оный сыщик губернатором Рейнсдорпом, чтобы пушки наши заклепать да промеж казаков мутню вчинить, — продолжал он вслух. — Да надобно и вам, батюшка, остерегаться одному-то гулять. Береженого бог бережет...

И тут, не пройдя от берега и пяти шагов, вдруг, как по команде, будто им в спину ударил кто-то, оба быстро обернулись.

На них, словно из-под земли выпрыгнув, тяжело шагал высокий сутулый человек с завязанным носом, в косматой шапке, он исподлобья глядел в их лица разбойными глазами.

— Стой! Башку ссеку! — вне себя вскричал Шигаев и выхватил саблю.

— Брось, — прохрипел верзила. — Ты косарем-то не больно маши. Я стреляный и рубленый! — Сердито взглянув на Пугачева неприятными, белесыми, как оловянные шары, глазами, верзила спросил его гнусавым голосом: — А где тут у вас самозванный царь? У меня нуждица до него...

— Пошто он тебе? Какая еще нуждица? — перебил его Пугачев, одетый в простой казачий чекмень.

— А уж это не твоего ума дело, — переступил с ноги на ногу верзила.

И едва успел он рот закрыть, как три ражих казака, выскочив из-под ярового берега, разом сшибли его с ног.

Тяжело подымаясь с земли, он поливал сваливших его казаков отборной руганью и с неприязнью косился на Шигаева.

— Ой, батюшки-светы! — вдруг вскричал Шигаев. — Хлопуша, да неужто это ты?

— Я самый, — задышливо проговорил Хлопуша; в груди его хрипело. — А это ты, никак! Здравствуй, Максим Григорьич.

Пугачев с ног до головы окинул оборванца суровым взглядом и насупил брови.

— Ты что за человек? Откуда? — спросил Пугачев.

— Да вот он знает меня, кто я таков, — ответил Хлопуша и тряхнул локтями, желая освободиться от крепких казачьих рук, державших его.

— Ваше величество, это — Хлопуша, я его знаю. Он человек бедный, порядочный. Мы с ним вместе в оренбургском остроге сидели. Я, ваше величество, осужден был по казачьему бунту, — сказал Шигаев, сняв шапку и покашливая. — Ребята, не держите его.

Хлопуша, поняв, что пред ним сам Пугачев, тоже стащил с головы шапку, кой-как кивнул ему и, ухмыляясь в бороду, сказал:

— К тебе я.

— По какому делу? Служить мне хочешь али убить подослан?

Хлопуша молчал. Он стоял теперь в окружении набежавших казаков. Они не спускали глаз с широкоплечего детины.

— Отвечай, — строго повторил Пугачев. — Кем подослан? По какому делу?

— А вот по какому, — ответил Хлопуша, неспокойно моргая глазами, и, порывшись за пазухой, вытащил четыре пакета. — Один тебе, а три казакам велено. Сам губернатор приказал. Только перепутал я их... Да уж бери все, мне не жалко! — Прикрякнув, он протянул пакеты Пугачеву.

Пугачев повертел их перед глазами и, не распечатывая, велел отнести к себе в палатку.

В это время из-за бугра вымахнул всадник. Остановившись, он обернул коня назад, кому-то замахал шапкой и закричал пронзительно и тонко:

— Али-ля!.. Здеся бачка-осударь? Адя-адя!..

И вот пред Пугачевым — нанизанные на общий аркан четыре связанных по рукам человека. Их поймали на дороге каргалинские татары. Пугачев стоял в окружении приближенных. Он спросил пленников:

— Кто вы такие?

Тогда все четверо повалились на колени.

Старик Пустобаев, сдерживая гулкий бас, в волнении проговорил:

— А послал нас, твое царское здоровье, наш полковник Симонов из Яицкой крепости в Оренбург с бумагами. Вот и бумаги... Уж не прогневайся. — И огромный старик достал из сумки большой пакет.

— Поди прими, — приказал Пугачев сержанту Николаеву.

Сержанта бросило в испарину. Он хорошо знал этого услужливого старика, и молодому человеку вдруг стало до боли стыдно взглянуть в глаза его. Он подскочил к нему и быстро выхватил из его рук бумагу.

— Знаешь ли ты, дед, кто перед тобой стоит? — спросил Пугачев и подбоченился.

Долгобородый, богатырски сложенный Пустобаев взглянул на Пугачева мутными, будто пьяными глазами и громогласно сказал:

— А откуда ж мне было знать-то, батюшка?.. Мы люди подначальные. А начальство нам все уши прожужжало: Пугачев да Пугачев...

— Совести в тебе нет, старик, — сказал Пугачев. — Начальству веришь, а народу, что за царем идет, не веришь.

— А вот теперича я хошь и стар, а вижу: как есть государь ты, ваше величество... Я, пожалуй, в согласье... того... послужить тебе.

— Пошто же ты раньше вольной волей не пришел к моему царскому имени? Ведь ты только тогда пришел и царем признал меня, когда на аркане тебя привели...

— Винюсь, батюшка... Маху дал, — сказал старик, и большая борода его затряслась.

— Ну, так повесить всех четверых, — приказал Пугачев. — Пускай восчувствуют, как мимо меня в Оренбург гулять. Вздернуть!

Шигаев и другие степенные яицкие казаки стали упрашивать Пугачева помиловать старика Пустобаева и молодого мальчишку, яицкого казака Мизинова.

— Пустобаев, ваше величество, невзирая, что стар, а начальство чинами не жалует его, по сей день в рядовых он, — сказал Шигаев, помахивая ладонью по своей надвое расчесанной бороде. — Как бунт был, старик-то войсковую нашу руку держал.

— Помилуй, батюшка! — гаркнул Пустобаев и пристукнул себя кулачищем в грудь. — Служить буду верою-правдою!

От его трубного голоса у Пугачева зазвенело в ушах. И все ласково воззрились на поднявшегося огромного, как матерый медведь, деда. Сердитые глаза Пугачева улыбнулись.

— А тебе, малец, сколькой год? — спросил он Мизинова.

— Это мне-та? — со страху кривя рот и подергиваясь, проговорил Мизинов. — Мне в покров семна-

дцать сполнилось. Лета мои не вышли еще, а вот Симонов... это самое... как его... забрал меня в казаки.

— Ну ладно, молодой ты. С тебя и взыску нет. Живи! И ты, старик, здоров будь. Идите с богом. Николаев, проводи их. Накормить, напоить вдосыт! И коней вернуть. Ну да уж и вас двоих милую. Идите все четверо. А где этот... ноздри рваны у которого?

— Я здеся-ка, — нехотя выдвинулся из толпы Хлопуша. Он возвышался над всеми на целую голову.

— Взять его под караул. Опосля сам вызову его. Покрепче подумай, с каким умыслом шел ко мне, — обернулся к Хлопуше Пугачев. — Не оправдаешься — не взыщи, только ты и свету видел. Почиталин! Пойдем-ка разберемся в бумагах, что от Рейнсдорпа с ним присланы.

2

Юный, голубоглазый, похожий на девушку Мизинов, как только услышал себе помилование, враз залился обильными слезами.

— Что, дурачок, воешь? — гукает старик Пустобаев. — Радоваться должо́н.

— Я и то радуюсь, — хлюпает Мизинов, и уже облегчающий смех охватил его. — Ой, да и напужался я... Вот страх, вот страх-то...

Пустобаев вышептывал шагавшему рядом с ним сержанту Николаеву:

— Да, Митрий Павлыч, а мы все думали, что тебя в живых нетути. Барышня Дарья Кузьминишна извелась вся по тебе... Стой-ка, стой-ка, — старик порылся за пазухой и, вытащив, передал Николаеву маленький за печатью пакет. — Не до́зрили, не отобрали.

Николаев вглядывался в письмо, в ласковые любезные сердцу девичьи слова. Руки его дрожали, и дрожал в них голубой бумажный листок.

Они подошли к шалашу из соломы и веток, жилищу Николаева. Сели. Дед, ухмыляясь, подшучивал над Мизиновым. Сержант Николаев читал:

«Ненаглядный мой Митенька! Ежели тебя захватили в полон, беги скорей домой, всякие способа

выискивай, чтобы убежать от разбойника. Да сохрани господи и царица небесная жизнь твою! Ты, Митенька, не верь никому, что он царь, он великой государыни нашей сущий супротивник...»

Тут строки заскакали в глазах сержанта Николаева, сердце заныло, в груди стало тесно, не хватало воздуха. «Подлец, подлец я... Изменник. Бежать! Куда бежать? Поздно... Милая Дашенька, несчастная моя Дашенька».

— Чего ты мотаешься-то, Митрий Павлыч! Чего ты побелел-то? — старик выволок из широких штанов посудину с сивухой и подал ее потерявшему себя Николаеву. — Ну-ка, братцы, зеленó! Не прокисло бы оно!..

Сержант с торопливой жадностью проглотил добрую порцию противного теплого пойла. Перед его глазами дробились, скакали черные каракульки:

«Устинья Кузнечиха обещает съездить в стан злодея, уклàнять его, чтоб отпустил тебя. Поначалу мы рассорились с ней, после помирились. Она девка хоть и норовистая, а добрая. И меня подбивает ехать. Говорит, что царь милостив до нее и твоего суженого, говорит, беспременно отпустит. А я ее ругаю, дуру... Какой он царь! Ты, драгоценный Митенька...»

— А вот они где! — И пред компанией появился сутулый, покашливающий Шигаев.

Дед, запрокинув вверх бородатую голову, тянул из штофа зелье. С трудом оторвав губы от бутылки, он крякнул, сплюнул и трогательно проговорил:

— Ну, Максим Григорьич, батюшка, уж и в соображенье не возьму, как и возблагодарить тебя... Спасибо тебе, милостивец! Кабы не ты, смерть бы нам с мальцом...

И они оба с вихрастым юнцом Мизиновым низко поклонились Шигаеву. Тот подсел к ним на луговину, сказал, похлопывая деда по крутому плечу:

— Ты, Пустобаев, не сумневайся в государе-то. Он доподлинный! Завтречко тебе с Мизиновым присягу учиним.

— А я в отпор и не иду, Максим Григорьич. Мне кому ни служить, так служить.

— Ты этак-то не брякай, старик, — вразумительно сказал Шигаев. — Одно дело народу, царю его служить, другое дело — тем, кто народ в тоске держит, в порабощении.

— Оно точно, — вздохнул старик и опасливо огляделся по сторонам. — А по правде-то тебе сказать, Максим Григорьич, уж ты прости меня, дурака старого... Сдается мне, не затмил ли сатана ваши очи погубления ради? Как бы в подлецах не остаться, Максим Григорьич. Присягу-то всемилостивой государыне рушить — душа дрожит. Ведь меня скоро и на тот свет позовут. Каково-то мне будет там пред господом глазищами-то хлопать да ответ держать. Господь-батюшка скажет: «Что ж ты, Пустобаев, под конец часу своего-то проштрафился? Нешто не толковали тебе рабы мои — полковник Симонов да генерал Рейнсдорп, что Петр Федорыч давно помре? Эй, скажет, ангелы-архангелы, покличьте-ка сюда душу усопшего Петра Федорыча!..»

Умный Шигаев, закусив бороду, с улыбкой покашивался на захмелевшего старого казака.

— И вот войдет усопший Петр Федорыч, а на головушке-то его — мученический злат-венец. И велит ему господь бог: — «А ну, скажет, изобличи-ка, усопший Петр Федорыч, казака Пустобаева, что за раз две присяги рушил: и тебе и благоверной супруге твоей Екатерине Алексеевне». — «Господи, скажет тогда Петр Федорыч, он, старый хрен, весь пред тобой, нечего и обличать его. Раз он, пьяный дурак, вору Пугачеву присягнул, сажай его скоряе в котлы кипучие».

— Стой, старик, — прервал его улыбавшийся Шигаев.

А юный казачок Мизинов, слыша такую речь старого казака, всхлипнул, отвернулся и, крадучись, снова облился слезами.

— А ты вот что́ в оправданье богу-то скажи, — проговорил Шигаев, ласково заглядывая в угрюмые глаза Пустобаева. — Господи, скажи, престол твой предвечный столь высоко над землею вознесен, что тебе, господи, и не видно, как великие дворяне да

архиереи обманывают тебя. Ведь они Петра Федорыча-то насильно с простола свергили да живота лишить хотели, только люди добрые пособили бежать ему да в народе укрыться. Он промежду народа двенадцать лет скрывался, всякое горе людское выведал, а как невмочь стало ему человеческие страдания выносить, он, батюшка, и объявился. И я, мол, господи, вторично присягнул ему. Да и еще скажи богу-то: ведь ты и сам, господи Христе, во образе человека бедного такожде по земле ходил, такожде вызнавал, какую маяту простой люд терпит. Не ты ли, господи Христе, молвил: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Вот, Пустобаев, как надо господу-то отвечать.

Пустобаев сидел сгорбившись, упорно глядел в землю, думал. Наконец сказал:

— Одно дело — царь небесный во образе простого человека, другое дело — простой человек во образе царя. Ты, брат Максим Григорьич, писанием церковным не собьешь меня. Хоша я и темный, а в писании-то со слыха не хуже другого прочего кумекаю. Ежели я уверую, что он царь, а не приблудыш, присягну, а ежели...

— Как знаешь, — сразу охладев, проговорил Шигаев, поднялся и пошел прочь. — Думай, старик.

Во многих местах горели костры, разбившееся на кучки войско готовило себе обед. Кой-где у костров, подоткнув подолы и засучив рукава, стряпали молодые и пожилые женщины: это каргалинские татарки и сакмарские казачки, провожавшие своих мужей и сыновей в поход. Вдоль берега Сакмары стояли на лафетах в два ряда восемнадцать пушек и два единорога, возле них — вооруженные артиллеристы, канониры. Тут же разбита палатка начальника артиллерии Чумакова. В укромном месте, вдали от костров, на возах — ядра, гранаты, порох в картузах. Строгий казачий караул никого сюда не допускает. Возле палатки войскового начальника, атамана Андрея Овчинникова, говорливая кучка молодых казаков загото-

вляет походные хорунки (знамена). Две казачки — одна рябая и брюхатая, другая скуластая и тонкая, как жердь, — напевая песни, проворно без устали работают иголками: на широкие цветные полотнища знамен нашивают кресты, вензеля, изображающие $\frac{П}{III}$ и короны.

Стан раскинулся на версту. Дымочки тянутся к небу, слышен крикливый говор, песня, хохот. Вдали кони пасутся. Их сторожат казаки и приставшие к войску псы. Тощий пес с обвисшим задом лечится какой-то одному ему ведомой травой: сорвет стебелек, пожует, проглотит. По зеленой пойме реки жирует стадо войсковых овец.

Губастый горнист Ермилка поймал в реке двух небольших черепах и несет их в подарок — одну Ненилe, другую — барыньке Харловой.

Мальчик Коля прибежал в палатку к сестре.

— А ты, Лидка, все плачешь? — говорит он ей, поднимая брови и взвизгивая. — Ну, что ж такое... Эка штука... Меня Ермилка на коне катал. Вмах-вмах!..

Лидия сквозь слезы улыбается. Круглолицая, побледневшая, с темными кругами возле глаз, она стала еще красивее, оттенок горести и страдания придал еще больше прелести простым, милым чертам ее лица. Она нагружает карманы брата леденцами, пряниками, дает вина ему.

Коля с жадностью пьет, прикрякивая, как взрослый, просит еще. Душа его тоже скорбит безмерно: о чем бы он ни думал, ему все время мерещатся покойные отец, мать... Иногда среди ночи он отрывает голову от подушек и через тьму взывает к матери: «Мама... Мамусенька моя!..» Но тьма молчит. Коля похудел, поблек, кисти его рук стали как бы восковыми. Притворяясь веселым, он высвистывает песенку, говорит:

— Ермилка на трубе меня обещался выучить. Вчерась он играл, а мы с Ненилой плясали... А чего мне горевать-то? Мне тут по нраву жить... Любопытно... И черепахи есть.

Он говорит быстро, взахлеб, и чувствует, что сестра не верит его веселости. Коля затихает. Резко отвернувшись от сестры, он старается остановить подрагивающий подбородок и успокоить плаксивую гримасу на лице. Вот он овладел собой, улыбнулся. Ласково он смотрит на сестру и снова быстро-быстро говорит:

— А ты, Лидка, не больно-то... Ты не ссорься с ним, не лайся. Ты не серди Пугача-то... Эко дело... Наплевать!.. И Ненила говорит... Зря, говорит, она рыло воротит в сторону. Это про тебя-то. И вправду, Лидочка, миленькая... Нас с тобой защитить некому! Батеньки нету, маменьки нету. Мы одни здесь...

Лидия схватила брата в охапку, усадила на кровать с пуховыми перинами, и оба они, прижавшись друг к другу, заплакали.

— Ли-ли-лидочка, — хлюпал мальчик, целуя сестру в мокрые глаза. — А что, ежели я Падурова упрошу... чтобы он у-у-у-укра-украл тебя... Вскочили бы мы на три коня, да прямо в-в-в Оренбург... А там бы он женился на тебе... Вот бы... Вот бы!..

Вдруг раздалось вблизи: «Ура-а, ура!.. Гайда!» Мальчик опрометью выскочил из палатки и побежал к себе.

Земля задрожала, всадники примчались; Пугачев, красный, возбужденный, быстро вошел в палатку Харловой.

— Ну что, Лидия Федоровна? Опять вся в тучах да в непогодушке? — Он строго, но улыбчиво взглянул на поднявшуюся женщину и бросил в угол саблю. — Все плачешь?.. Эх, глуха ты, как ноченька! Не дождаться, видно, мне зари твоей... Эй, кто там? Тащи сюда испить чего... Кумыску, что ли, да покрепче!..

3

Сержант Николаев ушел от Пустобаева в кусты, сидел в укрытии, вновь и вновь перечитывал Дашино письмо. Вдруг ветви зашуршали, сержант суетливо сунул письмо в карман.

— А, барчук, влопался? — захохотал выросший пред ним Митька Лысов. Сутулый, небольшой, брюхатенький, личико треугольником, лисьи глаза ядовито прищурены. — Так-так-так... А ведь я знаю, сволочь ты этакая, ведь ты стрекача хочешь задать да прямо к Рейнсдорпу; о-так, о-так, ваше превосходительство, у Пугачева, у кровопивца, войска три тысячи, сто пушек, и все такое...

— Чего ты зря ума плетешь, Лысов?

— А-а-а, не по носу табак? Да меня, брат, не проведешь! Ведь ты батюшку-то и верно за Пугача считаешь. Хоть и втерся к нему, сволочь этакая, а...

— Как смеешь меня, сержанта, сволочить?!

— Ха! Сержант... Ты сержант, а я полковник... Встать, паскуда дворянская, раз с тобою полковник говорит! — И подвыпивший Лысов выхватил саблю.

Николаев вскочил на ноги.

— Напрасно вы, господин полковник, обижаете меня, — со злобной дрожью в голосе сказал сержант. — Я не втирался к государю, а он сам меня завсегда зовет. Вот и присягу писать велел. Я государю рад стараться...

— И без тебя старателей сколь хошь... А вот ты, дворянчик, ластишься к Пугачу... то бишь к государю, и нас, простых людишек, не дворянского роду, оттираешь от пресветлых его очей... Сма-а-три, брат! — И Лысов, перекосив рот, погрозил сержанту пальцем. — А ну-ка, вывертывай карманы, сволочь! — Митька Лысов шагнул к переставшему дышать сержанту. «Письмо... Пропала моя голова... Петля будет», — стегнуло черным светом в голове обомлевшего молодого человека.

И только лишь Лысов руку протянул, чтоб выудить из кармана Николаева губительную бумажку, как раздались сразу три-четыре голоса:

— Николаев! Николаев!.. Где ты, черт?.. Государь тебя кличет. Эй!

Чудом спасшийся Николаев, как птица под

выстрелом, сорвался с места и понесся к палатке Пугачева.

— Стой, стой! — орал ему вдогонку Митька Лысов.

Но длинноногий сержант несся чрез кусты, чрез поле, как волк от охотника. По пути на миг остановился у забытого костра, с сердечной болью бросил в пламя Дашино письмо и — дальше.

— Вот что, друг, — сказал Пугачев вошедшему в палатку Николаеву. — Чтоб наутро были здесь поп да татарский мулла: верных мне каргалинских татар да сакмарских казаков к присяге приведем. Да покличь-ка сюда этого безносого... как его... рваные ноздри... Пущай придет.

— Слушаюсь, — сказал Николаев, повернулся по-военному налево кругом и... лицом к лицу столкнулся с ворвавшимся в палатку Митькой Лысовым.

— Стой, стой, изменник! — схватил он Николаева в охапку. — Надежа-государь, прикажи обыскать его, у него, у дворянской сучки, в кармане подметные письма от Симонова... Сам видел...

Николаев рванулся, оттолкнул нахрапистого Митьку и бодрым голосом сказал:

— Ваше величество, этот человек спьяну поклеп возводит на меня...

— Выворачивай карманы, сволочь! — закричал Митька.

— Брось орать, Лысов, — сказал хмуро Пугачев.

— Ваше величество, вот я весь перед вами, — уверенно проговорил Николаев. — Прикажите со всем тщанием обыскать меня на ваших глазах. И ежели что найдется, снимите с меня голову. А ежели ничего не сыщете, защитите меня...

Пугачев пристально посмотрел в его простое, открытое лицо и сказал тихо:

— Иди, Николаев. Верю тебе и всякое бережение к тебе держать буду.

Тогда Митька Лысов, встряхивая локтями и чуть не замахиваясь на Пугачева, дико закричал:

— Вот так царь, ну и царь у нас!.. Дворянчику верит, а мне веры нет... Ха-ха...

Пугачев прищурил на Митьку правый глаз и ударил в ладони. Вбежавшему увешанному кривыми ножами широкоплечему Идыркею сказал:

— Возьми-ка полковника за шиворот да выведи. Во хмелю он.

Николаев шел за Хлопушей с чувством радостного облегчения. И уже в который раз вновь и вновь давал себе слово верой и правдой служить человеку, назвавшемуся государем. «Только одно добро от него вижу для себя, одну милость, — растроганно думал он. — И, кто его знает, ежели рассказать бы ему про мою любовь к Дашеньке, может, и отпустил бы он меня на волю...»

Вместе с приведенным в царскую палатку Хлопушей пришли атаман Овчинников, полковник Творогов, секретарь Ваня Почиталин.

Пугачев был в цветном персидском халате с желтыми золотистыми шнурами, темные и густые, зачесанные наперед волосы закрывали ему выпуклый лоб. Он сидел, все стояли.

— Оправдываться припожаловал? — спросил Пугачев Хлопушу и, оглядывая его изуродованное лицо, стал прикрывать то правый, то левый глаз. — Поди много ты на своем веку обедокурил. Ну-ка, сказывай, кто ты, кем подослан и с какой целию? Не оправдаешься — очам твоим защуриться придется.

— Я оренбургский ссыльный, каторжник, — сказал верзила; он уже без наглости, а почтительно и прямо смотрел на Пугачева. — Зовусь Хлопушей, а по паспорту — Соколов, сам из простонародья. На уральских заводах середь работных людей бывал. Оренбургский губернатор снял с моих рук-ног железища и послал меня в твою толпу, чтобы людям твоим и тебе передать пакеты, а что́ да что́ в тех пакетах, мне не ведомо.

— Зато мне ведомо, — тихо произнес Пугачев. — Сказывай дальше!

— И губернаторишко велел еще мутить твою толпу, чтобы людишки твои изловили бы тебя, ба-

тюшка, да притащили бы к нему, к этому самому Рейнсдорпу. Еще приказано было, чтобы порох у тебя спортить, а пушки заклепать. — Он говорил внатуг, с остановками, гукающим, гнусавым голосом, моргая бровями.

— Ну вот, лови меня, ежели тебе велено, да тащи к Рейнсдорпу. — сказал Пугачев так же тихо, но глаза его воспламенились. — А тебе в том корысть большая будет — Рейнсдорп озолотит тебя.

— Нет, батюшка, меня уж и так озолотили: вишь, как обличье-то испохабили. — И Хлопуша шевельнул перстами тряпицу на носу.

Пугачев покачал головой, сказал:

— Вот, господа атаманы, какие губернаторы-то у меня сидят, сами видите! Им только бы простых людей кнутьями бить да ноздри рвать. Ахти беда... Погоди, погоди, доберусь ужо я до этого Рейнсдорпа, так не токмо ноздри, а и ноги-то из зада вырвать ему прикажу. — Он вскочил, сгреб со стола бумаги губернатора, сунул их секретарю. — Почиталин! Брось в огонь сии богомерзкие писачки. Писал писака, а звать его — собака! Слушай, Хлопуша. Шагай-ка, брат, ты в оборот к губернатору...

— Ни в жисть, батюшка, будь он трижды через нитку проклят...

— Полно-ко ты, полно, — язвительно перебил его атаман Андрей Овчинников и с явным подозрением посверкал на каторжника умными серыми глазами. — Ведь ты подослан к нам убить государя. Ты, все у нас подметя, сбежишь от нас, да и перескажешь Рейнсдорпу-то. Лучше правду говори, а то, как свят бог, повесим!

— Я всю правду молвил, — опустив руки, ответил Хлопуша.

— Твоя правда-то прямая, как дуга, — не унимался Овчинников.

— А есть ли у тебя деньги-то? — не слушая атамана, спросил Пугачев.

— Четыре алтына осталось, — ответил Хлопуша, переминаясь с ноги на ногу. — Правда, что Рейнсдорп пожаловал мне малую толику, так я всё бабе

своей оставил с мальцом. Они в Бердах живут, в бедности маются.

Пугачев сходил за ковер, к кровати, вынес семь рублей, сказал:

— Возьми покамест да приоденься, а это лохмотье сожги. Полковник Творогов! Распорядись выдать ему из цейхауза одежонку. А ты, Хлопуша, как поиздержишься, скажи. Ну, ступай, друг мой, будь свободен. На тебе нет вины.

Когда оправданный верзила облегченно запыхтел и, поклонясь, ушел, Овчинников приступил к Пугачеву:

— Воля твоя, ваше величество, а на мою стать — повесить его надлежит. Прикажи, государь. Он плут и каторжник! Вот помяни мое слово, он и людей наших учнет подговаривать. Прикажи покончить с ним.

— Ну нет, Андрей Афанасьич, об этом забудь и думать, — возразил с сердцем Пугачев. — Он еще сгодится нам. Такие, обиженные начальством, люди завсегда пригодятся нам. Оно, конешно, присматривать трохи-трохи надо! А как охула никакого не будет на него, тогда поразмыслим, что да как.

— Тебе виднее, — потупясь, раздраженно ответил Овчинников. — Твоя воля. А только сам, батюшка, ведаешь: черт игумену не попутчик.

— Он не черт, а у нас не монастырь. Ась? — прищуря правый глаз, проговорил Пугачев и, чтоб отвязаться от Овчинникова, стал, не переставая, широко зевать, закрещивая рот двуперстием.

Передовая разведка Пугачева вечером 3 октября уже гарцевала возле Оренбурга. И в то же самое время боевой отряд майора Наумова при ликующих кликах горожан входил в город.

Несколько дней назад Наумов был послан комендантом Яицкой крепости Симоновым в погоню за Пугачевым. Получив в дороге известие, что силы врага значительно окрепли, Наумов счел за нужное, не возвращаясь в Яицкий городок, идти чрез степь скорым маршем прямо в Оренбург.

Майор привел на выручку города двести сорок шесть человек хорошо обученной пехоты и триста семьдесят восемь верных правительству зажиточных казаков, коими командовал лютый враг Пугачева, бывший атаман Мартемьян Бородин, или, как его звали пугачевцы, жирный Матюшка.

Удрученный предстоящими событиями, губернатор Рейнсдорп с приходом неожиданного подкрепления воспрянул духом.

На военном совещании, осведомившись, нет ли каких «самых лютчих вестей от сукин кот Клопуш», он сказал:

— Ну, господа, поздравляю! С прибытием храбрый майор Наумофф наша Оренбургская крепость, в случае атаки, в состояние пришла.

При этом он встал, подошел к Наумову и, троекратно, крест-накрест, по старинному русскому обычаю, обнимая, облобызал его.

В субботу 5 октября в одиннадцатом часу утра армия Пугачева перешла Яик, миновала Казачьи луга, что в пяти верстах от города, и после небольшого роздыха двинулась к Оренбургу.

В армии было около 2500 человек, 20 орудий, много зарядов и 10 бочек пороху. Пугачев приказал Овчинникову:

— Растяни народ в одну шеренгу да так и веди! Пущай Рейнсдорпишка думает, что у меня десять тысяч войска, да волосы на себе рвет. А как приведешь на гору, остановись, в тех мыслях, чтобы городским — меня, а мне — городских видно было.

Военная хитрость Пугачева удалась. Увидав столь великую армию противника, город пришел в крайнее смятение, жители уже представляли себе неминуемую гибель, по всему городу поднялся плач и неутешное рыдание.

Барабаны ударили тревогу. С колоколен зазвучал набат. Гарнизон стал по местам. На батареях зарядили пушки.

Все с нетерпением и страхом ждали приступа грозного врага, которому сдаются крепости, в стан которого толпами устремляется народ.

ГЛАВА XI

Неприятное известие. Табакерка императрицы. «Анафема»

1

Граф Григорий Орлов весной 1772 года отправился в Фокшаны на конгресс для участия в дипломатических переговорах с Турцией.

Как уже было сказано, императрица навсегда охладела к своему любимцу и в его отсутствие приблизила к своей особе некоего Васильчикова. Узнав о столь коварной перемене, «дуралей Орлов», как его заглазно называл Никита Панин, тотчас бросил в Фокшанах все дела и поскакал обратно. Но под самым Петербургом ему был нанесен жестокий удар: он был задержан в Гатчине, и ему было предписано выдержать там, в его собственном дворце, длительный «карантин».

Орлов был потрясен черной неблагодарностью Екатерины. В его душе столь сильно «бушевало оскорбленное самолюбие», что он первые дни неволи беспросыпно пил и был близок, по свидетельству окружающих, к самоубийству. Лишь чрез несколько месяцев он получил разрешение явиться в Петербург, отправился туда и при свидании с Екатериной понял наконец, что сердечные дела его непоправимы. Он поспешил уехать «в отпуск» в Ревель.

В конце мая 1773 года Орлов вновь получил разрешение явиться в столицу. Стараясь искупить свою вину пред ним, — ведь он же, безвестный тогда офицер, «завоевал» Екатерине престол и корону! — императрица наградила его княжеским достоинством, преподнесла ему в подарок так называемый Мраморный дворец, что́ на Неве, и дозволила занять все прежние служебные посты.

Возможно, этою благосклонностью императрицы Орлов был обязан отчасти и тем, что Екатерину не переставали беспокоить мечтания Павла о троне самодержца. Она не то чтобы видела в сыне сколько-

нибудь серьезного соперника, но предерзостные его мечтания, о которых неустанно доносили ей тайные соглядатаи, напоминали Екатерине вообще о всяких случайностях, и потому незачем было пренебрегать ничем и никем, кто мог бы в черный час оказаться если не опорою, то хотя бы «подпорою» ее престола.

Тогда же, намереваясь отвлечь девятнадцатилетнего Павла от его сумасбродных мыслей о власти, Екатерина решила женить его. И, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев, она, неизменно трезвая и крайне практичная, не удержалась и тут от сложной дипломатической игры, в результате которой выбор ее пал на принцессу Вильгельмину, дочь ландграфини Гессен Дармштадтской.

Как раз в разгар лета, когда недавно пожалованный княжеским титулом Григорий Орлов вновь осваивал возвращенные ему почетные службы, в столицу прибыла ландграфиня с тремя своими дочерьми-невестами. Павлу ничего не оставалось, как одобрить выбор матери и связать свою судьбу с одной из трех — Вильгельминой. Впрочем, отличаясь с отроческих лет крайней чувственностью и влюбчивостью, Павел всерьез увлекся юною принцессой, тем более что она, как и он, избегала светского шума, парадов, танцев, слишком обильного общества подруг... (Это не помешало, однако, столь скромной Вильгельмине, после того как она сделалась женой Павла, обзавестись любовником в лице близкого друга своего мужа, Андрея Разумовского. Об этом коварстве жены и друга Павлу стало впоследствии известно.)

Так или иначе, Вильгельмина овладела сердцем Павла, и вскоре она была крещена в православную веру, наречена Натальей Алексеевной и всенародно объявлена невестой цесаревича.

Обер-гофмейстер граф Никита Панин, скрыто враждебные отношения с которым у Екатерины продолжались, был, само собой разумеется, от роли наставника цесаревича отстранен. А в день своей коронации, 22 сентября, за неделю до бракосочетания Павла, императрица осыпала Панина милостями и наградами.

О, если бы великий сердцевед, «фернейский патриарх» Вольтер, прикрывшись шапкой-невидимкой, мог наблюдать свою «Северную Семирамиду» в минуты, когда она составляла список наград ненавистному ей человеку! Какую жестокую борьбу противоречивых страстей подметил бы он в душе «несравненной Като», каким ядовитым сарказмом наполнилось бы его собственное сознание.

Панин получил звание фельдмаршала, 8500 душ крестьян с землею, 100 000 рублей на обзаведение, очень ценный серебряный сервиз, дом в Петербурге, ежегодной пенсии 25 000 да годового жалованья 14 000. Все эти щедроты для недостаточно богатого казенного сундука, при необычайной дешевизне жизни, были по тому времени колоссальны.

Но Панин все-таки остался глубоко раздосадованным, потрясенным, убитым, потому что его заветная мечта о переходе престола к цесаревичу с усилением, таким образом, его, Панина, личной власти навсегда погасла. Вступивший в совершеннолетие Павел не только не стал по праву императором, но даже не был допущен матерью к какому бы то ни было участию в управлении государством. «Я хочу сама управлять, и пусть об этом знает Европа», — не раз заявляла императрица своим друзьям.

В виде некоего протеста — пусть знает Екатерина! — Панин часть пожалованных ему земель подарил трем своим секретарям: Фонвизину, Бакунину и Убри́. Разумеется, здесь также был своеобразный жест пред лицом истории.

После отставки Панина императрица вздохнула свободно. «Дом был очищен», — писала она несколько позже госпоже Бьельке.

Она понимала, что из всех ее врагов самый опасный не тот, кто искусно владел оружием и обладал вооруженными приверженцами, а тот, кто умел играть силами общества в данной исторической обстановке и мог вовремя самый малый афронт истории обратить в разящее оружие противу ее, монархини... Любой гвардеец был в состоянии по ее приказу выбить меч из рук любого ее врага, но меч, коим

вооружен Никита Панин, просто выбить из его рук невозможно, как невозможно силою меча остановить страсть и волю, мысль и веру человека... Да, этот ревностный масон имел далеко зашедшее влияние не только на ее жалкого сына, но и на многие умы как в самой империи, так и за ее пределами... И вот — ура, ура! — Панин отставлен, вернее — «выставлен». И значит — дом очищен.

По случаю бракосочетания Павла, происходившего 29 сентября 1773 года, был устроен ряд пышных торжеств, придворных блестящих балов. Около двух недель столица празднично шумела. Затем молодая чета со всем «малым двором» отбыла в Царское Село, куда вскоре начали поступать первые слухи о самозванном Петре Третьем.

Эти слухи (часто через голову придворных вельмож Екатерины) были весьма смутны и содержали немало от темных сказочных россказней, какие цесаревич слыхал еще в младенчестве от окружающих его нянек, мамушек и от самой царицы Елизаветы. Тут было все: крушение Вавилона, близость «второго пришествия» и многое другое, мрачное, таинственное и грозное, что нашло, однако, живой отклик в отуманенном сознании панинского ученика-масона.

Разумеется, Павел не представлял себе мужицкий бунт иначе, как мятеж воров и разбойников, но ужас пред ними был едва ли сильнее того чувства, которое терзало его сердце при мысли о загадочно жуткой судьбе отца-императора и о роли в этой судьбе матери-императрицы.

2

В Белом зале Зимнего дворца гремел оркестр преображенцев: там шли танцы. В Золотой гостиной, где присутствовала императрица, придворный певческий хор исполнял «Ивушку», «По улице мостовой», «Лучинушку» и другие песни.

Екатерина в музыке разбиралась плоховато, на музыкально-вокальных концертах в Эрмитаже она,

прежде чем начать аплодировать, присматривалась к соседям, но народная хоровая песня была близка ее пониманию, и она почасту приглашала к себе песенников.

Императрица сидела в удобном кресле, в некотором отдалении от сцены. Позади нее стояли два пажа. Под ногами ее лежала гобеленовая подушка. Рядом занимал кресло восточный принц Джехангир; у него было красивое темно-бронзовое лицо с небольшими иссиня-черными усами. Это был легкомысленный, совсем еще молодой человек.

Два толстогубых евнуха держали над ним нечто вроде легкого шелкового балдахина. Третий евнух помахивал на своего властелина пышным, из страусовых перьев, опахалом. На голове принца повязана тончайшего белого шелка чалма, перевитая нитями крупного жемчуга.

Свечи в люстрах, хрустальных жирандолях и настенных кенкетах горели ярко, разливая по залу живой трепещущий свет.

Когда взоры принца встречались с лукаво улыбавшимися глазами Екатерины, его лицо тотчас облекалось в улыбку, он прикладывал правую ладонь ко лбу, к сердцу и почтительно наклонял голову в сторону повелительницы. Пока рука принца перемещалась ото лба к сердцу, его изящные длинные пальцы, унизанные бриллиантовыми кольцами, трепетали и двигались, подобно щупальцам осьминога. Это делалось умышленно, с единственной целью поразить воображение гостей игрою дивных сокровищ.

Впрочем, он весь был осыпан драгоценными каменьями, он весь блистал богатством. Недаром в предпринятом им путешествии в Париж и Лондон, с заездом в Петербург, его сопровождал эскорт в сто сабель лучших наездников Индии.

Екатерине принц нравится. Она про себя зовет его чудаком. Она, пожалуй, интереса ради, не прочь была бы исполнить с ним индийский дуэт мимолетной утехи, но ее новый друг, Григорий Александрович Потемкин, недавно прибывший с театра турецкой войны, неотступно и зорко оберегал ее. Ее и, разу-

меется, свою честь! А мощный хор певчих в атласных малинового цвета, кафтанах, будто отвечая на затаенные мысли Екатерины, пел:

Голова болит, худо можется,
Худо можется, нездоровится,
Я украдуся, нагуляюся,
Уворуюся, нацелуюся.

Прислушавшись к песне, Екатерина переглянулась со своей соседкой, графиней Брюс, слегка ударила ее веером по обнаженному полному плечу, и обе они, с оттенком нежной и милой таинственности, засмеялись.

Певчих сменил хор рожечников. В антракте к Екатерине и ее высокому гостю подкатили столик с вазами апельсинов, винограда, слив, цукербродов и всевозможных восточных сладостей. Лакеи обносили гостей десертом на легких подносах. Екатерина, подавая принцу вазу с шоколадом, сказала по-французски:

— Нравится ли вам, мосье, наше общество и пение хора?

— О мадам! — воскликнул он гортанным тенорком, несколько коверкая французский язык. — Пользуясь вашим благосклонным гостеприимством, я чувствую здесь себя, как на небесах.

— Нет, мой друг, у нас здесь все земное. Но почему вам вздумалось путешествовать в одиночестве? Вы, правда, очень молоды, но, я полагаю, у вас есть супруга?

— У меня тысяча супруг и полторы тысячи... одалисок, мадам, — как ни в чем не бывало сказал он. — Но я всех их променял бы на... — Он хотел сказать «на вас, мадам», но счел это все же неучтивым. — Всех их я променял бы на одну из ваших восхитительных красавиц и... и... дал бы еще в придачу семь белых слонов.

Екатерина весело рассмеялась.

В это время загремел дружный хор рожечников, разговор пресекся. Все семьдесят музыкантов были одеты в светло-зеленые, с желтой выпушкой, кафтаны.

Вскоре через зал стремительно пронес свою атлетическую фигуру Григорий Потемкин. Едва за ним поспевая, торопилась вприпрыжку его свита. В голубом кафтане и серебристо-белом парике, он пронзающим взором своего единственного живого глаза[1] искал Екатерину.

Все сидящие как-то сразу подобрались и повернули лица в его сторону. Придворные угадывали, что фортуна неудачливого фаворита Васильчикова уже клонится долу, а князь Орлов, вызванный Екатериной из Гатчины, вряд ли сумеет вернуть себе утраченное расположение императрицы. Значит, на державном небосклоне взойдет третья звезда, и ею, без сомнения, будет Григорий Александрович Потемкин. Екатерина встретила своего любимца кивком головы, улыбкою, мягким прищуром глаз.

Оставив свиту посреди зала, Потемкин, возбужденный, раскрасневшийся, быстро подошел к Екатерине, склонился к ней и поцеловал протянутую ему руку.

— Пляшешь, Григорий Александрович?

— Пляшу, матушка, — мужественным голосом ответил Потемкин и неприязненно покосился на принца. Тот в свою очередь настороженно оглядывал великана с ног до головы.

Вынув из камзола золотые часы-луковицу и взглянув на них, Потемкин вполголоса произнес:

— Скоро одиннадцать. Тебе, матушка, почивать пора.

— Нет, еще рано, — всматриваясь в его сильное, выразительное лицо снизу вверх, откликнулась Екатерина. — А ты иди, Григорий Александрыч, попляши еще. Ты отменно пляшешь, — видно, сам Меркурий подвязал к твоим ногам крылышки... До пора бы тебе и на фронт поспешать, — полувопросительно, с оттенком некоторой нерешительности, почти робости, добавила она негромко.

---

[1] Другой глаз, замененный стеклянным, он потерял от болезни.

— Поспешу, поспешу, матушка... А скоро ли эта заморская птица какаду улетучится от нас? — Он покосился на пылавшего золотом, яхонтами, алмазами индийского принца и, поклонившись Екатерине, так же стремительно, как вошел, ринулся, никого не замечая, в зал, к танцам.

— Ревнивец, — обратясь к своей подруге, графине Брюс, шепнула Екатерина и поднялась. Вскочил и принц. Тотчас за ними поднялись и все гости.

Императрица предложила принцу руку, и они оба, окруженные свитой, двинулись в Белый зал. Принц издал некий птичий звук, и тогда евнухи, переменив места, вознесли балдахин над головой царицы.

Принц млел, принц был покорен Екатериной. Поддавшись искушению, он украдкой погладил бело-розовую оголенную руку ее. Екатерина сдержанно улыбалась, продолжая милостиво кивать публике, стоявшей шпалерами на ее пути.

Вдоль стен первого зала тянулись длинные столы, изобильно уставленные всевозможными фруктами. Во втором зале на столах горы пирожных, мороженого, шалей (желе), шоколадных и прочих конфет, от которых веяло тонким благоуханием. В третьем зале — ендовы и бутылки с прохладительными.

В Белом зале было многолюдно: на вечере присутствовало до восьми тысяч приглашенных горожан. Шли шумные танцы. Петербург продолжал веселиться.

Екатерина приостановилась. Потемкин с азартом отплясывал мазурку. Он так крутился и с такой силой топал, что по дворцу шли гулы.

Принц дал евнухам по легкому щелчку и, переняв у них ручки балдахина, сам теперь держал его над головою «божества». Проводив императрицу до жилых покоев, все возвратились в пышные, торжественные залы.

Разгорячившийся принц выпил залпом три бокала холодного шампанского, вынул из кармана миниатюрный граненый флакончик с отрезвляющим сна-

добьем, изготовленным факирами, понюхал из него взатяжку правой и левой ноздрей, затем, оставив евнухов и двух своих адъютантов, смешался с массой гостей. Он ходил среди них, как по базару, и бесцеремонно рассматривал хорошеньких женщин, словно цыган лошадей. Затем он выбрался к танцующим и, забыв Екатерину, сразу был пленен тремя очаровательными красавицами: графиней Шереметевой, графиней Строгановой, княжной Уваровой. Рослые, цветущие, резво переступая ножками, они то стремительно неслись в веселом танце, то, грациозно приседая, медленно проплывали в менуэте.

Принц пощелкивал языком и пальцами, издавал звуки, подобные блеянию барашка, хлопал в ладоши, улыбался.

После гавота все три грации, подхватив друг дружку под руки и обмахиваясь веерами, прохаживались в окружении светской молодежи по залу.

Принц следовал за ними. Он был от красавиц в непосредственной близости и не спускал жадного взора с их оголенных спин. Вот он быстро опередил их, затем круто повернулся и, сверкая алмазным пером в чалме, двинулся им навстречу. Прикладывая ладонь ко лбу и сердцу, он отдавал им жеманные поклоны, в то же время всматриваясь в их возбужденные танцами лица. Он проделал это три раза, то есть три раза обгонял их, и снова шел им навстречу, и снова отвешивал им поклоны, вызывая своим поведением улыбки и дружный смех наблюдавших его гостей. Он отошел к столу, наскоро выпил еще бокал шампанского, снова понюхал отрезвляющее снадобье, вынул из кармана блестящую дудочку и продудел какие-то призывные ноты. К нему подскочили его люди. Он сказал адъютанту:

— Приведи сюда самого главного, самого высокого, что подходил к царице.

Адъютант побежал чрез анфиладу комнат и скоро вернулся.

— Генерал Потемкин, — сказал он, — ожидает вашу светлость в Круглой зале.

Охмелевший принц не без гримасы досады пожал плечами, но все же поспешил за адъютантом.

В небольшом круглом зальце, куда он вошел, никого, кроме Потемкина и его свиты, не было. Потемкину было известно о странном поведении принца в зале. Он сидел за овальным столиком, на котором помещался графин с винным крепчайшим спиртом, разбавленным ямайским ромом, и два больших кубка. При появлении принца Потемкин поднялся.

— Ваша светлость, — сказал он по-французски, и его живой глаз заулыбался. — Пред началом нашей беседы мы, по русскому обычаю, должны осушить с вами кубки в честь всероссийской императрицы. — И он подал принцу до краев наполненный кубок.

Принц тянул обжигающий напиток долго. Покончив наконец, он выпучил глаза и с головы до ног встряхнулся. Принц и Потемкин разговаривали стоя.

— Генерал, — начал Джехангир, — мне необходимы три женщины, которых я облюбовал: две беленькие в голубых одеждах и одна черненькая в белом. Желал бы приобрести их в собственность. И чем скорее, тем лучше! Думаю, это сделать будет нетрудно: женщины очень некрасивы собой, подслеповатые и кривобокие, и я надеюсь, что их владельцы не возьмут за них дорого... Я прошу, ваше превосходительство, оказать мне содействие.

— Но, ваша светлость, мы людьми не торгуем, — возразил Потемкин, и его мясистые напудренные щеки дрогнули в едва сдерживаемой улыбке.

— О, я привык, генерал, чтоб мои просьбы исполнялись, — задирчиво проговорил принц, и так как его ноги стали от выпитого спирта слабеть и подгибаться, он схватился левой рукой за край стола.

— Повторяю вам, ваша светлость, мы человеческими душами не торгуем.

— Генерал! — вскричал косноязычно принц. — Во-первых, я говорю о женщинах, а вы — о душах... И потом, вы говорите неправду. Я просматривал ваши газеты... И переводчик все утро читал мне объявления о продаже именно людей... душ...

— Гм, гм, — промычал Потемкин; по его высокому лбу скользнули морщинки. — В редчайших случаях, принц, некоторые хозяева действительно продают людей, но... только не на вывоз за границу, ваша светлость, только не на вывоз!

— Неправда, неправда, генерал! Мой человек вчера купил очень молоденькую красотку за горсть золота...

— Поверьте, принц, эта красотка будет от вашего человека отобрана полицией...

— Ошибаетесь, генерал. Ваша полиция получила две горсти золота и...

— Ваша светлость, — перебил его Потемкин, — прошу вас выпить кубок в честь вашей прекрасной Индии, — и подал Джехангиру до краев наполненный кубок.

— Гран мерси, гран мерси!

Потемкин выпил кубок не морщась; принц расставил ноги, на его лице изобразилось отчаяние, он пил огнеподобную жидкость большими глотками, с содроганием. Оправившись, он произнес вопросительно:

— Итак?

— Я должен сообщить вам, принц, что хотя наш закон иногда и потворствует землевладельцам, помещикам, продающим своих собственных слуг... Слуг, собственных! — особо выразительно подчеркнул Потемкин. — Но ведь вы... хотите купить не рабынь, а вольных титулованных дворянок: двух графинь и княжну.

— Тем лучше, тем лучше! — с азартом вскричал принц и, пошатнувшись, схватился за край стола уже обеими руками. — Вы, может быть, думаете, у меня не хватит средств? Генерал, мой друг, мой дорогой друг... Я люблю их... Я... я... я не могу без них существовать. О мои белоснежные богини! Бог олло, бог керим, бог рагим... — Он оторвал от стола руки, страстно всплеснул ими, и его отбросило в сторону.

Широкая грудь Потемкина приподнялась, бока заходили от скованного хохота, но он все-таки сдер-

жался. А принц снова присунулся к столу, вцепился в него, как утопающий в плывущую корягу, и закричал:

— Пол-Индии за три северных жемчужины... Но я желаю видеть их обнаженными, подобно богиням. Позвать красавиц!

Потемкина как прорвало: уткнувшись лбом в пригоршни и вдвое согнувшись, будто у него внезапно схватило живот, он с грохотом выбежал вон.

К пьяному принцу, изумленному поведением Потемкина, подскочил с поклонами старший евнух и засюсюкал:

— Сын солнца сияющего, брат луны, потомок великих моголов, владыко владык. Ты забыл припасть священными ноздрями к чудодейственному флакону и вдохнуть в себя живительную силу, возвращающую опьяненному ясность рассудка.

Принц достал волшебный флакончик для отрезвления, нюхнул, однако ноги его стали как вата, он бессильно сел на пол, затем растянулся во весь рост по ковру, сплюнул, раскинул руки, пробормотал что-то, и в момент заснул.

Его бережно положили на диван.

Потемкин, выскочив из зальца, как раз повстречал трех красавиц, прельстивших принца, — Шереметеву, Уварову и Строганову.

— Григорий Александрыч, что с вами? — воскликнула черноглазая Шереметева. — Куда вы столь стремительно и в столь великом веселье?

Он приостановился, выпрямил корпус, раскрасневшееся лицо его все еще коробилось в гримасе смеха.

— Медам!.. О медам! Вы запроданы! За три миллиона! И завтра же едете в Индию! В качестве жен принца. Все три! Ха-ха-ха!.. — залился он. — Бегу за указом к ее величеству... Вот, чаю, потеха будет.

Екатерина еще не ложилась на покой и, выслушав Потемкина, долго вместе с ним смеялась этой индийской истории. В приступе веселости она даже хотела тотчас же позвать к себе трех красавиц, невольных героинь сегодняшнего бала, и на сон гряду-

щий слегка позубоскалить над потешной перспективой быть им, великосветским дамам, рабынями заморского ферлакура. Потемкин вдруг помрачнел, потер лоб, закинул руки под кафтан, на поясницу, и, вышагивая по будуару, сказал Екатерине:

— Матушка, великая государыня, перестань смеяться, тут ей-ей не до смеху. Сам перст судьбы, в положениях острых, указует тебе на горькое неприличие торговли рабами. Ведь мы, матушка, как-никак все ж таки — Европа!

Екатерина поняла его и тоже помрачнела. В ее сознании вновь воскресли давние речи, когда-то раздававшиеся в Грановитой палате. Даже такой незыблемый столп вельможного дворянства и блюститель патриархальных нравов, как князь Щербатов, и тот, не стесняясь высказывался тогда против варварского обычая торговать людьми, как скотом.

— Так что же мне, по-твоему, делать, Григорий Александрыч? — страдальчески подняв брови, сказала Екатерина. — Я опубликовала закон, запрещающий продавать крестьян без земли... Разве этого... недостаточно?

— Законы пишутся, чтоб их исполнять, — с внешним хладнокровием ответил Потемкин. — А те, кому ведать надлежит, полагают, что законы существуют для того, чтобы корысти ради обходить их. И обходят, ваше величество!

Екатерина задумалась, закурила польского образца пахитоску. Пальцы, меж которыми пахитоска была зажата, дрожали.

— Ну, а что бы, Григорий Александрыч, сделал... ты?

— Пожалуй, я всем супротивникам, кои нарушают закон, стал бы рубить головы, как рубил Иван Грозный. — И Потемкин шумно задышал.

— О, рубить головы... Но ведь мы как-никак все-таки Европа! — повторила Екатерина только что оброненную им фразу.

Как всем умным людям, было Екатерине свойственно чувство иронии, которое в мрачные моменты

жизни облегчало ей состояние духа. И теперь, представив себе Потемкина в роли палача, казнящего непослушное дворянство, она засмеялась с особым придыханием в нос.

— Хотелось бы нам посмотреть, мой Грозный Григорий, как стал бы ты вести себя, обладая не мелким, как ныне, а крупнейшим дворянским поместьем. Мнится нам, что рука твоя не учинила бы посягательства на собственную голову... Или я ошибаюсь?

В ее голосе звучали насмешка и горечь. Он угрюмо взглянул на нее, видимо собираясь дать ей не совсем приятную для нее отповедь, но, сдержав себя и слегка побледнев в этом усилии воли, спокойно сказал:

— Я не искушен, матушка, в диалектике, говорю что́ думаю. А думаю тако: не знаю, каким был бы я в образе магната, но мне доподлинно ведомо, что иные помещики, даже из знати, закоснелые суть азиаты. У них в одной руке Вольтер, в другой кнут! А пыжатся вон как: мы-ста да мы-ста! Сами же суть казнокрады, лихоимцы и преступники. Вот для сих голов топорик-то я и наточил бы... Не позорь великую державу!

Екатерина собиралась возражать ему, но он, захмелев от выпитого перед тем спирта, не слушая ее, продолжал с хмурою запальчивостью:

— Наши военные действия обещают нам славный конец. Россия Екатерины разверзнет новое окно в Европу... с юга! И, ты прости мне, матушка,— голос его дрогнул,— страшусь, страшусь, даже помыслить: с чем, с каким, извини меня, рылом, явимся мы в калашный ряд Европы?! Будь моя воля...

Неслышно ступая, Екатерина подошла к нему, ароматной розовой ладонью прикрыла ему рот, сказала:

— Ax mon enfant terrible[1]. Пусть твою голову не терзают сомнения... Европу, мой милый, будет интересовать не наше «рыло», а злаки с наших земель-

[1] О мое строптивое, капризное дитя!

ных угодий. Поспешай на театр войны, возвращайся победителем, и ты будешь увенчан лаврами славы.

Он схватил царственную руку и припал к ней горячими губами.

3

Пока длился этот разговор, чрез октябрьскую темную ночь по площадям и безлюдным проспектам уснувшей столицы катил к Зимнему дворцу президент Военной коллегии, граф Захар Чернышев. Он вез императрице ошеломляющее известие: она больше не вдова, в оренбургских степях объявился воскресший из мертвых супруг ее, бывший император Петр III.

Известие о мятеже «бродяги Емельки Пугачева», недавно бежавшего из казанского острога, доставили Чернышеву с недопустимым промедлением, и не без основания граф опасался, что царица в великом будет гневе. Против ожидания, гнева не последовало.

Письмо главнокомандующего Москвы, князя Волконского, адресованное на имя Чернышева, а также донесения Рейнсдорпа и Брандта Екатерина выслушала с внутренним напряжением, на ее щеках выступили алые пятна, однако ничем иным она не выдала своего волнения, даже попробовала сострить.

— Что-то мой супруг стал часто воскресать, — проговорила она щурясь. — Доведется поглубже зарыть его в землю...

— Сняв допреждь того голову ему, как, бывало, делывали мы с другими прочими Петрами Федоровичами, объявленцами, — воспрянув духом, сказал Чернышев.

Екатерина, заглянув ему в глаза, неожиданно потупилась. В памяти ее ожил печальный образ Петра, его предсмертные письма к ней, вся трагическая судьба его. И на какое-то мгновение тревога с новой силой коснулась ее сердца.

— Когда возгорелась смута? — спросила она, придавая взгляду своему повелительность и строгость.

«Ну вот, начинается», — снова оробев, подумал Чернышев и ответил:

— Восьмнадцатого сентября, ваше величество, сей Пугачев подступил к Яицкому городку, но комендантом Симоновым был прогнан.

— Стало, важнейшее известие шло до нас месяц. Сегодня пятнадцатое октября. Такое поистине черепашье поспешение горькому смеху подобно, — уже с раздражением добавила Екатерина.

— Подобное промедление, всемилостивая государыня, надо думать, проистекло от нерачительности губернатора Рейнсдорпа, коему я...

— Ох, уж мне немецкий сей кунктатор! Да притом же, сколь помнится, он и глуп, как... как два индюка!..

— Я отправляю ему строгий выговор, ваше величество, — пристукнув в пол носком сапога, сказал Чернышев.

— Да, да, выговор и... воинскую силу!

— Полагаю, государыня, что в Оренбургском крае своих войск с преизбытком, чтоб с божьей помощью с бунтовщиками прикончить.

— Граф, — с усмешкой произнесла Екатерина, нервно крутя на пальце бриллиантовый перстень, — пока мы с божьей помощью соберемся Пугачева имать, сей бродяга с помощью мужичьей задаст нам такого жару-пылу, что... Впрочем, я довольно утомлена, два часа ночи. Ты, Захар Григорьич, завтра собирай военный совет, на оном буду присутствовать лично в девять утра.

Прощаясь с графом, она заметила ему:

— Среди петербургской черни разговоры о казацком бунте носились еще недели две назад. Я о сем предуведомлена чрез Тайную, розыскных дел канцелярию. И зело ныне раскаиваюсь, что должного внимания на сию эху народную не обратила.

Вслушиваясь в ворчливый голос Екатерины, Чернышев только пожимал плечами, но возражать не решался. Не Тайная канцелярия, а он, граф Чернышев, докладывал императрице о слухах среди простолюдинов, и не две недели, а всего восемь дней тому назад...

«Либо у матушки память коротка, либо по-прежнему она не склонна признавать свои ошибки... Но,

черт побери! Какая же поистине волшебная сорока притащила на хвосте этот анафемский слушок о самозванце? — раздумывал Чернышев, возвращаясь в карете чрез спящую столицу к себе. — А главное, главное, на целую неделю раньше официального извещения... Вот и не верь после этого в людскую болтовню на площадях».

...Как кровь по кровеносным сосудам докатывается до самых отдаленных от сердца участков живого тела, так и по большим и малым проселочным дорогам во все уголки России катилась весть о начавшемся под Оренбургом народном смятении. От языка к языку, от селения к селению, из уезда в уезд, из губернии в губернию! Казань, Астрахань, Саратов, Пенза, Рязань, Москва были уже достаточно насыщены темными слухами. Дошли эти слухи и до царствующего Санкт-Петербурга.

В ночь с 4 на 5 октября, при полном неведении властей о событиях, было выужено из кабаков и заключено в полицейские участки с десяток подвыпивших гуляк, которые мололи по пьяному делу всякий вздор о каком-то царе-батюшке, появившемся на Яике: будто бы царь-батюшка этот собрал большую силу и обещал извести на Руси всех помещиков, землю их отдать мужикам, а весь черный люд всячески льготить своей царской милостью.

Узнав, что люди, схваченные в разных местах и допрошенные в разных участках столицы, показали, как по уговору, одно и то же, генерал-полицмейстер встревожился. На следующий день по всем базарам, различным притонам и просто по людным местам были разосланы опытные сыщики присматриваться, подслушивать, вынюхивать, хватать. И схвачено было до сотни крикунов. Ответы на допросах с пристрастием опять были те же: появился-де под Оренбургом царь Петр Федорович Третий. Но откуда шли подобные слухи и кем они были пущены в народ, точно узнать не удалось.

Генерал-полицмейстер немедля доложил обо всем графу Чернышеву. Чернышев — Екатерине. Императрица отнеслась тогда, восемь дней тому назад, к столь исключительному известию совершенно спокойно, с некоторым даже безразличием. Она только сказала:

— Сия народная эха ничего сериозного не обозначает. Либо есть это фантазии темного люда, либо происки наших внешних врагов, кои всегда стремятся сеять смуту в умах наших подданных. Да суди сам, Захар Григорьич, ежели б этакая болтовня была согласованной с истиной, губернатор Рейнсдорп не преминул бы нас о сем уведомить. Но Рейнсдорп молчит, — значит, его губерния в спокое.

Вот тебе и спокой!

4

Отпустив Чернышева, расстроенная Екатерина приказала себя раздеть и, даже позабыв освежить лицо любимым своим притираньем «неувядающая роза» (изобретение придворного врача Рубини), бросилась в постель. Ее обычный ужин — сливочный сыр с тмином, молоко и творог — остался нетронутым. Она взглянула на каминные часы — без пяти минут три, закрыла глаза и... почувствовала, что ей долго теперь не уснуть.

Она спустила с плеч сорочку, чтобы легче было дышать, поправила ажурный кружевной чепец, закинула руки за голову и задумалась.

И сразу, как птицы на одинокое дерево в степи, налетели всяческие, государственной важности, заботы. Время стояло тревожное. С переменным успехом пятый год тянулась война у Черного моря, финансы государства истощались, крестьянство и городское население нищали, живая сила страны шла на убыль.

Мало было радости и во внешней политике. Недавний раздел Польши породил зависть держав, в этом акте не участвовавших. Так, Франция, недоброжелательно настроенная к России, натравливала против Екатерины короля Швеции. Таким образом,

ненадежным становилось и положение северо-западных русских границ. Словом, нынешний 1773 год едва ли не самый тяжелый.

Да, было над чем призадуматься! А тут еще это гадкое известие о смуте. Она отлично понимала, что всякий серьезный мятеж, ежели его вовремя не подавить, может обратиться в подлинное бедствие не только для государства, но и для личной судьбы ее, Екатерины.

Взять хотя бы Никиту Панина. Сей муж отстранен наконец от великого князя Павла, но продолжает жить и действовать, а его партия все еще сильна, и этот хитрый сановник не преминет, разумеется, использовать затруднительные обстоятельства в империи, чтобы с новым рвением нашептывать Павлу всяческие злокозненные прожекты об истинном самодержавии, которое, с соизволения царя небесного, поможет царю земному, божьему помазаннику, осчастливить народ.

В секретном ларьке императрицы еще хранятся изъятые у Павла таинственные рукописи масонов о царе — духовном вожде народа!

И вот, вдобавок, эта смута на Яике! Новый претендент на престол, новый враг!

«...Это... это мой личный враг, может быть самый опасный из всех врагов, — не находя душе своей покоя, шепчет Екатерина. — О да, да... Бродяга Пугачев бежал не столь давно из казанского острога... Помню, отлично все помню... И, нет сомнения, человек сей зело опасный! А ежели так, то... немедля, немедля пресечь... уничтожить! — выкрикнула она, вскинув, как бы разя незримого врага, обе руки. — Вырвать смуту с корнем!.. Раз и навсегда! Иначе...»

«Ах, как долго не писала я моему мудрому другу... — обрывая тревожное течение мыслей, вспомнила о Вольтере. — Завтра же надо сообщить ему все, просить у него отеческой поддержки, зрелого совета. Впрочем... какой же совет может преподать сей добрый сентиментальный старец? Его философические воззрения столь же возвышенны, сколь и непрактичны. А ныне, как никогда, мне нужны

ясность мысли и решительность, непреклонная решительность, холодная трезвость мысли! Жаль, весьма жаль, что Потемкин должен быть занят врагом внешним. Вот человек, который мог бы стать мне в бедах истинной опорою! Но... как, однако, печально, что в трудные часы жизни приходится опираться на персоны... И сколь велико, надо полагать, счастье венценосца, коему опора — все его отечество! Выпадет ли когда-нибудь подобное счастие мне?.. Боже мой, ведь уже тридцать лет провела я в лоне этой страны, и о сю пору многое в ней для меня загадка! Уж не потому ли, что я, царствующая монархиня, все еще только гостья здесь?»

«Да нет же, нет! — отмахивалась она от этих пугающих ее залетных мыслей. — Кажется, я начинаю утопать в сфере вольтеровских обольстительных заблуждений... Нет и нет! Счастие России — мое счастие, и мое счастие — есть счастие и слава Российской империи».

Уже брезжил за окнами туманный рассвет, когда императрица забылась наконец.

Переступив в положенный утренний час порог царской опочивальни, камерфрау застала свою повелительницу спящей. Царица лежала ниц, уткнувшись лицом в подушку. Правая ее нога, изящная и бледная, со следами чулочных подвязок на нежной коже, высунувшись из-под пухового одеяла, то и дело судорожно подергивалась.

Камерфрау, постояв некоторое время в нерешительности, сделала на всякий случай книксен пред спящей императрицей и неслышно скрылась за дверью.

5

Военное совещание при Государственном совете началось ровно в девять. Председательствовала Екатерина. После бессонной ночи лицо ее носило следы крайнего утомления. Но все-таки заседание она вела энергично, положа в основу обсуждения непреклонное желание спешными мерами пресечь мятеж.

— Я с горечью вижу, — говорила она с нескрываемой ноткою раздражения в голосе, — вижу, что и без того время упущено! Злодей, как сие усматривается из донесений губернаторов, знатно усилился и такую на себя важность принял, что, куда в крепость ни придет, всюду к несмысленной черни сожаление оказывает, яко подлинный государь к своим подданным. Сими льстивыми словами разбойник и уловляет глупых, темных людей. А наипаче прелесть им оказывает обещанием... земли и воли! Вот в чем опасность наибольшая, господа генералы! Итак, надобно наметить и без отлагательства привести в действие меры к уловлению злодея. Но я желаю, и это прошу запомнить, — подчеркнула Екатерина, — я желаю, чтоб известие о бунте и все меры к его прекращению хранились в крайней конфиденции, дабы не давать повода заграничным при нашем дворе министрам к предположению, что смута имеет для государства какое-либо сериозное значение.

После краткого обмена мнениями постановлено было: приказать князю Волконскому командировать из Калуги в Казань генерал-майора Фреймана и отправить из Москвы на обывательских подводах триста человек Томского полка с четырьмя пушками: кроме того, из Новгорода в Казань послать на ямских подводах роту гренадерского полка с двумя пушками. Вот пока и все.

Впрочем, было еще предписано коменданту Царицына, полковнику Цыплетеву, всячески препятствовать переправе Пугачева на правый берег Волги, а коменданту крепости св. Дмитрия [1], генералу Потапову, — не пропускать Пугачева на Дон, в случае если бы злодей вздумал направиться к себе на родину.

Был «наскоро» выбран и главный военачальник — молодой генерал-майор Кар, коему поручалось «учинить над злодеем Пугачевым поиск и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышления прекратить». И еще сообща-

[1] Ростов-на-Дону.

лось в предписании тому же Кару, что вслед ему будет выслан «увещательный манифест» к населению.

На другой день для составления манифеста был вновь собран Государственный совет. На заседании, среди прочих членов совета, присутствовали граф Никита Панин и только что прибывший из Ревеля князь Григорий Орлов. Императрица поставила пред советом вопрос:

— Считают ли господа члены Государственного совета достаточными меры, принятые на первый случай для пресечения мятежа?

— Ваше величество, я считаю, что силы, как на месте сущие, так и туда посланные, с избытком достаточны для угашения мятежа, — ответил первым Захар Чернышев. И весь Государственный совет молчаливым киванием голов с ним согласился. — Это ничтожное возмущение не может иметь иных следствий, кроме что будет некоторая помеха рекрутскому набору да умножит шайки всяких ослушников и разбойников... Что такое «его величество император» Пугачев? — произнес Чернышев с такою серьезно-ядовитой миной, что невольно все заулыбались.— Это безграмотный донской казачишка, бродяга и пропойца! Какая за ним сила? На мой глаз, две-три сотни яицких казаков-изменников да сотни три, ну много — пятьсот мужиков с клюшками, да всякого безоружного сброда. Вот и все его содейственники! А у нас... а у нас там, по Оренбургской линии... помилуйте! — довольное количество регулярства, с пушками, с мортирами, и все верные, преданные вашему величеству войска, — сказал он, поклонясь Екатерине. — А на опасный случай — в запасе сибирский корпус генерала Деколонга. Я чаю, что сибирский губернатор Денис Иваныч Чичерин уже извещен Рейнсдорпом о сем казусе.

Итак, все более выяснялось, что Государственный совет считал силы Пугачева и возможности распространения мятежа ничтожными, а наличие имеющихся в угрожаемых местах воинских частей для уничтожения «злодейской шайки» вполне достаточными.

А между тем по российским просторам, один за другим, скакали в Петербург курьеры. Передовой из них уже подъезжал к Москве. Он дня через четыре появится в Петербурге и ошеломит правительство вестями чрезвычайными. И никто не ведал, — а меньше всего граф Чернышев, — что в то время, пока из Оренбурга скакал губернаторский курьер, Оренбург уже был со всех сторон обложен пугачевцами и что отныне очень долго в столице не появится очередной курьер губернатора Рейнсдорпа.

В дальнейшем ходе заседания был зачитан проект манифеста. Составленный наспех манифест был сух, мало толков и вообще никакими положительными качествами не отличался. Приказано было отпечатать его в двухстах экземплярах и вручить Кару. Тем временем Кар по грязнейшим осенним дорогам уже подвигался к Москве, и курьер с манифестом нагнал его 18 октября в Вышнем Волочке.

Три дня спустя после заседания Государственного совета, поздно вечером, Захар Григорьич Чернышев, лежа у себя на софе в домашнем халате, читал восточную повесть Вольтера «Задиг, или Судьба». Чернышев нашел эту повесть игривой, острой, полной занимательными приключениями Задига, который, поборов силой разума все препятствия, становится царем Вавилона, и все подданные прославляют его мудрое царствование. Ну вот, книжица осилена, и, надо надеяться, Екатерина не будет уже теперь шпынять Чернышева за то, что он мало читает этого старого еретика, автора «Орлеанской девы».

Стук в дверь. Вошедший адъютант подал Чернышеву два донесения Рейнсдорпа от 7 и 9 октября. Чернышев читал бумажки, волнуясь, пожимая плечами и посапывая. Он даже вспотел. Рейнсдорп доносил, что Пугачев овладел несколькими крепостями и предал казни чрез повешение некоторых комендантов. В толпу злодея продолжают передаваться большие казачьи отряды, и уже третьи сутки злодей стоит под Оренбургом. Состояние духа оренбургского

гарнизона, особливо же офицеров, нерешительное и требовало беспрестанного с его, Рейнсдорпа, стороны бодрения.

— Фу ты черт, — выдохнул Чернышев и, отбросив донесения, принялся читать адресованное ему лично письмо губернатора.

«Регулярная армия в десять тысяч человек, — писал Рейнсдорп, — не испугала бы меня, но один изменник с тремя тысячами бунтовщиков заставляет дрожать весь Оренбург. Священное имя монарха, коим этот злодей злоупотребляет, и его неслыханная жестокость отняли у моих офицеров почти все мужество, и, к несчастью, среди них нет и двух, испытанных на практике. По милости всевышнего, мы поймали 12 шпионов, подосланных этими злодеями. Двое назначены были умертвить меня...»

— И жаль, что не умертвили, — процедил с крайней досадой Чернышев. — Старый колпак! Да он куда хуже покойного фельдмаршала Апраксина.

Граф быстро оделся, швырнул томик Вольтера в угол между тумбой и софою, набожно перекрестился и, преисполненный тревоги, помчался, несмотря на поздний час, во дворец.

Выслушав Чернышева, Екатерина сказала:

— Как видишь, Захар Григорьич, ты недооценивал события. Высокомерие свое оставь и принимайся без промедления за дело по сериозному.

«Это самое могла бы ты, матушка, сказать и себе», — с горечью подумал граф, а вслух промычал что-то в свое оправдание и поспешно ретировался.

Мрачные известия произвели среди двора изрядный переполох. Столица стала развивать лихорадочную деятельность.

Прежде всего Екатерина, изменяя дружбе своей с безбожником Вольтером, обратилась за помощью к церкви. Она просила казанского архиепископа Вениамина о том, чтобы священники его епархии читали по церквам увещевательные наставления, кои удерживали бы паству от темномыслия и присоединения к самозванцу.

В Москву, Псков, Бахмут, Могилев помчались курьеры с приказом Военной коллегии местным военачальникам отправить скорым поспешением на ямских подводах в Казань, Царицын и Саратов отряды: три роты Томского полка, два гусарских эскадрона, четыре легких команды — с повелением командирам их хранить в наивысшем секрете цель и назначение передвигаемых частей.

Генерал-фельдцейхмейстеру князю Григорию Орлову предписано было отправить в Казань на ямских две тысячи ружей, а в Москву — две пушки крупного калибра с прислугой и зарядами.

Приказ губернатору Рейнсдорпу гласил: «Изыскивая все способы, постарайтесь вы, губернатор, накопившуюся мятежническую толпу разбить и рассеять, а заводчика всему злу, самозванца Пугачева, схватить: у вас регулярных войск состоит в таком количестве, что всякая шатающаяся шайка отнюдь противостоять им не может, когда только споспешествует руководству войскам ее величества храбрость и мужество».

Был также послан приказ и командующему сибирским корпусом генерал-поручику Деколонгу, — елико возможно, отвращать воинской силой «помянутого бездельника» от государевых в Сибири рудокопных заводов. Но столичный приказ не застал Деколонга на месте, он уже успел выступить из Челябы к Оренбургу.

Сибирский губернатор Чичерин, жительствующий в Тобольске, проявил кипучую деятельность. Он направил на подставных лошадях к Оренбургской линии три роты с двумя пушками и стал мобилизовать приписных казаков, отставных солдат и даже татар. Зашевелился и комендант Троицкой крепости, бригадир Фейервар, — он тоже начал передвигать воинские части сообразно с обстановкой.

Деколонг между тем уже достиг Троицкой крепости и просил разрешения Рейнсдорпа двинуть свои сильные полевые команды на помощь Оренбургу. Однако вскоре Деколонгом был получен от Рейнсдорпа оскорбительный ответ: Рейнсдорп с обычной,

присущей ему, тупостью писал, что в полевых командах Деколонга он вовсе не нуждается и что в самом непродолжительном времени, уповая на милость божию, он, губернатор, собственными силами изменника Пугачева прикончит. А бригадиру Фейервару губернатор дал строгий выговор за то, что тот посмел запросить воинскую помощь из Сибири: «Требования ваши я почитаю за излишние».

Получив такой афронт, и Деколонг и Фейервар только головами покачали.

Казанский губернатор, старик фон Брандт, точно так же проявил воинственную деловитость. Регулярного войска в его губернии было крайне мало, всю надежду он возлагал на отставных солдат-поселенцев, правда, не имевших оружия и забывших воинскую муштру. Тем не менее он велел генерал-майору Миллеру собрать эти силы и расположить их по южной границе Казанской губернии. Всего было собрано до 1500 поселенных солдат.

Брандт выехал на ближайшую к мятежу границу губернии, чтоб зорко следить за поведением бунтовщиков. Он приказал ставропольскому коменданту, бригадиру фон Фегезаку, собрать сколько возможно войск и двинуться на выручку Оренбурга. Помимо того, Брандт отдал приказ симбирскому коменданту, полковнику Чернышеву, идти со своим отрядом к самарской линии укреплений [1], забирая по пути калмыцкую конницу и регулярные части. Одновременно с этим было распоряжение премьер-майору фон Варнстедту отправиться с отрядом из Кичуя к Бузулуку.

Таким образом, против безвестного дотоле Емельяна Пугачева ополчились, как мы видим, Рейнсдорп и фон Брандт, Валленштерн и Деколонг, Фейервар и фон Фегезак, Миллер и Варнстендт, Кар и Фрейман, а впоследствии — Михельсон, Меллин, Муфель и другие.

---

[1] По этой линии, между Самарой и Оренбургом, следующие крепости: Борская, Бузулукская, Сорочинская, Татищева и др.

Встревоженная Екатерина пользовалась теперь всяким случаем, чтоб выведать настроение народа, особенно крестьянства. Интересовали ее и настроения землевладельцев.

Узнав, что бывший гетман Малороссии Разумовский перебирается на зиму в свой Глухов, поближе к Киеву, царица имела с ним беседу.

— Послушай, Кирилл Григорьич, — сказала она. — Как будешь переезжать к себе, узнавай состояние умов крестьян, а заодно и помещиков, и какова там эха пугачевской смуты. Ведь я, сам ведаешь, только из своего окна вижу Россию, а что творится в глуши, где мне знать?

— Да, матушка, — прикинувшись простачком, ответил ей бывший гетман, точивший на Екатерину зуб, — ведь она, по-царски наградив Разумовского, вырвала из его рук власть. — Ты не Петр Великий, это он, бывало, всюду поспевал и в бричке и верхом, а инде и пешим по болотам. Для него Россия, как облупленное яичко, на ладошке была. А ты, матушка, женщина, тебе и бог простит. Тебя хоть и прокатят по Волге до Казани, так нешто покажут явь-то нареченную!

Гетман знал, что эти слова сильно заденут императрицу. И Екатерина действительно смутилась. Однако, чтоб замаскировать это, она рассыпалась пред графом в благодарности за его искренность и прямоту, а в подтверждение слов своих достала из кармана робы драгоценную табакерку и наградила ею бывшего гетмана, сказав:

— Я очень уважаю и люблю тебя, Кирилл Григорьич, маленечко люби и ты меня... Чуть-чуть, чуть-чуть, — с неуловимой прелестью врожденного кокетства закончила Екатерина.

Разумовский ехал пышно, по-царски, и в каждом уезде, чрез которые лежал его путь, был с триумфом встречаем местными дворянами. В очень удобной, на качающихся рессорах, карете, запряженной восьмеркой лошадей, и в сопровождении собственного полу-

эскадрона молодцов, одетых в гусарскую форму, граф въехал однажды под вечер во двор богатого помещика.

На подъезде гость был встречен хозяином и тридцатью, со всего уезда, помещиками в пышных париках, праздничных кафтанах, шелковых чулках. Женщины отсутствовали, — хозяйка дома была в отъезде.

В десятом часу начался торжественный ужин с французско-украинским обильным столом. Сначала было скучно, чинно, как в мужском монастыре, произносились обычные тосты — за царствующий дом, за высокого гостя, за хозяев. Затем, в меру опорожненных бутылок, застолица оживилась. Один пред другим помещики старались рассказать графу что-нибудь занятное, изощрялись в остроумии, с собачьей преданностью заглядывали великому вельможе в глаза.

Лишь один скромно одетый старичок со впалыми, будто стесанными щеками (сидел по край стола, на торчку), насытившись яствами, сосредоточенно и мрачно глядел в тарелку с остатками недоеденного рябчика и не принимал участия в шумной беседе. Он, казалось, был болен либо чем-то сильно удручен. Впрочем, на него никто не обращал внимания.

— ...Да он сам, сам расскажет! — восклицал, продолжая разговор, граф Разумовский. Он отрезал серебряным ножичком и клал в рот сочные куски арбуза. — Иван Абрамыч, будь друг, расскажи!

— Да вы, ваше сиятельство, лучше меня расскажете, — отозвался черноволосый, с приятным лицом, адъютант графа, молодой подполковник Бородин.

— Ну, ладно! Только где трохи-трохи брехать начну, одерни меня за фалду... — Граф подбоченился и начал: — Сей чоловик був по то время парубком... Скильки тебе годков-то було?

— Восемнадцать, ваше сиятельство. Но я был хлопец крупный, и мне давали все двадцать пять.

— Ось! — поднял палец бывший гетман. — И вот слухайте, панове, який этот хлопчик был засоня. Едет он с эстафетой к фельдмаршалу Салтыкову от самой матушки Елизаветы, — превечный покой душе ее. —

Граф перекрестился, а глядя на него, и все гости, не угашая улыбок, тоже перекрестились. Лишь мрачный старичок сидел, как изваяние, смотрел в тарелку.— А дело було в Прусскую войну. Грязюка на дорогах — лошадям по колено, а дорога тряская, таратайка дыр-дыр-дыр по каменьям... Тут уж не до сна, а того гляди, от трясовицы очи выпрыгнут. Ровно семь суток проскакал хлопец по такой грязюке, и день и ночь, и день и ночь. Да так за это время умаялся, так уездился, что... В какой городок ты приехал?

— В первый от границы прусской городишко.

— Видит он: двухэтажный домочек с вывеской: «Кофейня». И сейчас же — туда. Подымается наверх, ему навстречу две немки, две хозяйки: «Ах, русский офицер, ах, пожалуйте!» — и тотчас побежали готовить кофе. А сей хлопчик, как у него очи уже не взирали на божий свет, повалился на кушетку и, пока кофе готовили, заснул... Ха-ха!..

— Ха-ха-ха! — отозвалась предупредительно застолица.

— Ось добре. Немочки принялись гостя будить. Не тут-то было! Уж что они над ним ни вытворяли: и уши терли, и дубом ставили, и в ноздре щетинкой щекотали, а вьюнош, как зарезанный гусак, тильки головой мотае да мычит... Ось добре... А немочки-то в помещении одни проживали, ни прислуги, никого. Матильде годиков под сорок, Кларе годиков под тридцать, родные сестры. И обе, заметьте себе, девушки, а младшая — Клара — еще прехорошенькая, пышка! А как были они зело набожны и девическую честь свою блюли пуще глаза, то, дабы избежать всяких среди соседей кривотолков, рассудили вытащить вьюношу на холодок. Вот они с великим кряхтеньем, за руки да за ноги выволокли его со второго этажа на улицу и положили на лавку у ворот. А вьюнош и ухом не ведет, вьюнош спит, як освежеванная свинячая туша. Ха-ха-ха!..

— Ха-ха-ха!.. — всхохотнула застолица.

— Ну, продолжай, дружок, теперь ты сам,— обратился граф к адъютанту и вынул из кармана табакерку.

Осыпанная бриллиантами золотая табакерка, отражая в себе огни двух люстр, засверкала волшебным сиянием. Все взоры влипли в чудодейственную штучку, глаза загорались то вожделением и завистью, то очарованием и любопытством. Граф, наблюдая вприщур восхищенные лица публики, не спеша пощелкал по крышке табакерки двумя перстами, тщеславия ради повертел ее перед огнями люстр, открыл, понюхал табаку и только лишь хотел опустить в карман, как услышал почтительный, задыхающийся от восторга голос соседа, осанистого, с благородным лицом, помещика:

— Осмелюсь, ваше сиятельство... Дозвольте полюбопытствовать.

— Зàраз, зàраз... Прошу. — И граф передал табакерку соседу.

Табакерка пошла по рукам от гостя к гостю.

— Ну, дружок, мы ждем, — вновь обратился граф Разумовский к адъютанту.

Тот, сочтя, что второй раз отказываться неприлично, вытянул руки, посмотрел на красиво отточенные ногти и начал:

— Дальше было так, господа. Обе девушки, поскольку стояло ночное время, легли в постельку спать. И вдруг слышат — по крыше дождь барабанит. «Матильдочка, — сказала Клара, — как же быть? Ведь офицера промочит холодный дождик, он может заболеть...» — «Придется внести его, Клара. Не дай бог захворает да еще умрет... Все-таки жаль!» — «Но как же нам с мужчиной ночевать? Что скажут соседи? Это очень неприлично, это грешно». — «Бог простит, давай внесем...»

— От-то чертяка! — захохотал граф, прихлебывая ароматный глинтвейн. — Откуда же знаешь их разговор? Под кроватью у них, что ли, сидел?

— Нет, граф... Я спал в это время не под кроватью, а под дождем, но они впоследствии сами рассказали мне. Итак, оные девушки снова вволокли меня во второй этаж и положили на ту же самую кушетку. Проснулся я на другой день, к обеду. Вскочил как сумасшедший. Боже мой! Эстафета ее

величества, фельдмаршал Салтыков!.. Хозяйки затoропились готовить завтрак, а я побежал за лошадьми. Страшно болел затылок. Я пощупал его, он весь вспух, весь в шишках. Ну, значит, девушки, вопреки их уверению, что будто бы бережно несли меня на руках, волокли меня почем зря, и дважды, дважды пересчитал я затылком ступени их проклятой лестницы!

Гости засмеялись. Лакеи налили вина.

— Ха! Вот как спят русские люди! — воскликнул слегка захмелевший граф и с укором посмотрел на присутствующих. — А особливо крепко спит, в смысле иносказательном, наш дворянский корпус. И до таких пор дворяне будут спать, покуда гром не грянет. О господи, прости меня грешного, и я таков, и я таков. «И в лености все житие мое иждих», как в церкви поется. — Он едва лишь покосился на бутылку бургундского, как все подмечающий красавец лакей с ловкостью и манерной грацией наполнил хрустальный бокал вином и подвинул графу.

— Да, ваше сиятельство, — вздохнул хозяин, узкоплечий, высокий и большеголовый человек в голубом атласном кафтане со звездой и в огромном старинном парике. — К стыду нашего дворянского сословия, мы, во вред себе и государству, малодеятельны, празднолюбивы и не любопытны.

— Не то я видел, господа, обучаясь за границей, — сказал граф. — О, поверьте... Там дворянин-помещик изощрен в науке. Культура злаков там разработана в доскональности. Помещик там от земли берет все, что она может дать. А мы что? Мы только от мужика берем все, под метелку. От земли же ничего не умеем брать. — Граф, оставив украинские словечки и шутливый тон, говорил теперь с серьезностью. — И вот — результаты... Поди вам ведомо, что где-то там, в оренбургских степях, проявился самозванец во образе покойного императора Петра Федоровича, воюет крепости, мутит народ, обещает мужикам землю, ведет их против помещиков... Словом, под Оренбургом грянул гром. Ну, а у вас, в вашей Смоленщине, как мужики себя ведут?

— Да будто бы спокойно, ваше сиятельство,— пожимая плечами, ответили дружно помещики. — Однако среди народа заметно некое шатание умов, небрежение господской работой и прочие признаки свойства зело тревожного. Мужики как бы чего-то ждут...

— Вот, панове дворяне, откуда беда-то на вас идет. Мужик восскорбел о рабском своем состоянии и оное восхотел превозмочь...

— Сие неистовое его хотенье, ваше сиятельство, противно богу, закону и традициям дворянским, из предвека существующим,— проговорил хозяин.

— Ну, бог-то тут ни при чем, а дворянам, верю, противно! — жмуря в лукавой улыбке утомленные глаза, сказал бывший гетман. — Ну, и как же вы думаете, господа помещики?.. Представьте себе, что мужицкое смятение будет все расти да расти. Как надлежит в сие время помещику относиться к мужику? Ну-тка, ну-тка...

Гости, переглядываясь друг с другом, молчали. Сосед графа, солидный, осанистый человек, сказал басом:

— В ежовых рукавицах в сие время мужика надлежит держать, чтоб пресечь в нем вздорные мечтанья в самом корне...

— Вот именно! — раздались голоса. — Ныне о послаблении речи быть не должно.

— Ну-тка, ну-тка,—с поощрительной настойчивостью понукал дворян вельможа. Ему необходимо было наиточнейше знать, чем дышит помещичья Россия, — таков ведь строжайший наказ матушки.— Ну-тка, ну-тка, — еще раз повторил он и, вспомнив о табакерке, засунул пальцы в верхний карман камзола. Но табакерки там не оказалось. Меж тем помещики, перебивая друг друга, продолжали разговор. Забыв о понюшке, граф стал внимательно вслушиваться в их речи.

— Вот вы толкуете — ежовы рукавицы, — с жаром говорил краснолицый помещик, потряхивая полными, нажеванными щеками. — А где эти ежовы рукавицы? Дайте их нам! Вот недавно у меня мужики

перепились да побушевать вздумали, мне из города прислали для усмирения четырех инвалидов, при них офицера с деревянной ногой. Так не им меня, а мне их защищать пришлось от подлого народа.

— Да, ваше сиятельство! — загалдели со всех сторон. — С этой турецкой войной государство внутри бессильно стало. А тут слухи о самозванце. Мужик голову поднял, того гляди за топоры возьмется да красного петуха учнет пускать...

— К тому есть примеры! — поднявшись, звонко выкрикивал подвыпивший сутулый помещик в рыжем парике. Он говорил быстро, был суетлив, успевал хватать со стола темно-синие сливы, бросать их в рот и торопливо прожевывать. — ...Взять князя Треухова, у него только что закончился бунт мужиков. Или взять помещика, секунд-майора Красина, у того мужики убили приказчика, удавили бурмистра, сам Красин бежал в Смоленск, а мужики весь барский хлеб по домам разворовали. Или скажем...

— А как же вы, любезные дворяне, толковали, что у вас в губернии тишь да гладь? — перебил его Разумовский, насмешливо прищурив глаза и потряхивая головой.

— Обеспокоивать вашу особу, граф, не хотелось нам...

— Я правду от вас хочу слышать, а вы меня баснями...

— Просим прощенья, граф, — как шмели, загудели помещики, уставясь преданными глазами в помрачневшее лицо Разумовского. А подвыпивший помещик в рыжем парике, поддев на вилку соленый груздок и отправив его в рот, закричал:

— Увы, увы, ваше сиятельство! Мужики у нас непокорство проявлять привычку взяли, по овинам собираются, разговоры ведут, а о чем говорят — неведомо! И ни плетей, ни тюрьмы не страшатся. У меня на той неделе убежали двое и двух коней свели. А среди моей дворни толки: дескать ускакали на барских конях к объявленному царю под Оренбург.

— Вот вам... Не угодно ли, — раздраженно молвил Разумовский и глубоко вздохнул. — Да, панове,

не умеем мы заботливыми хозяевами быть, не хотим о мужике пекчись. Чрез это самое добрую уготавливаем почву для всяких Пугачевых. Сами себе яму роем, панове!

— Дозвольте, ваше сиятельство, доложить, — прокричал с дальнего конца брюхатенький человек с живыми черными глазами; он сорвал с лысой головы парик, помахал им себе в лицо и, чуть приподнявшись, сунул его под сиденье. — Быть хорошим хозяином и своим мужикам благодетелем в нашем отечестве возбраняется, ваше сиятельство.

— Как так? — поднял брови граф.

— А так! В шестьдесят втором году, когда государь наш Петр Федорович тихую кончину воспринял («Дал бы бог тебе такой тихой кончиной помереть», — ухмыльнулся про себя Разумовский), нашу Смоленскую губернию голод посетил. А как у меня при небольшом, но исправном хозяйстве были порядочные-таки запасы хлеба, то я, щадя жизнь своих голодающих крепостных, принял их на свой кошт. И мои крестьяне в благодарность за то, что я их кормлю, стали работать даже усерднее, чем раньше. И что же случилось, ваше сиятельство? Нет, вы послушайте, вы только послушайте!

— Бросьте-ка вы, Афанасий Федорыч, докучать его сиятельству. Знаем, знаем... Чепуховый ваш рассказ, тоску наведете только, — раздались два или три протестующих голоса.

— Нет, не брошу!.. Нет, соседушки дорогие, не брошу! — напористо выкрикнул толстобрюхенький Афанасий Федорыч и посверкал на крикунов обозленными глазами. — Вдруг, ваше сиятельство, наезжают ко мне скопом со всего уезда помещики, — кой-кто из них сидит за сим столом, — и начинают мне уграживать: «Ах ты такой сякой, да мы на тебя жаловаться будем, ты черный народ возбуждаешь к бунту». Я, не ведая никакой вины за собой пред правительством, прошу их объясниться. А они мне: «У наших мужиков нет ни куска хлеба, и мы ни зерна не даем им, а ты своих кормишь. Да как ты смеешь? Да знаешь ли, что чрез это воспоследует?» —

«Знаю, говорю. Мои крестьяне живы будут, а ваши с голода помрут». — «Врешь! А выйдет вот что: наши мужики, проведав, что ты своих кормишь, а мы не кормим, перебьют нас всех. Ты бунтовщик, ты дворянское сословие позоришь... Мы сейчас подаем бумагу губернатору, чтоб он приказал арестовать тебя».

— Ха-ха-ха! — раскатисто и громко захохотал Разумовский. — Значит, — ату, ату его! Не будь я своеволен...

На этот раз графского хохота никто не поддержал, а его сиятельству приспело наконец желание нюхнуть табачку, он похлопал себя вновь по карманам, нахмурился и выкрикнул:

— Господа! Потрудитесь возвратить мою табакерку. У кого моя табакерка?

Все зашевелились, заерзали, зазвучали отрывистые фразы, пререкания. «Иван Иваныч, я ж вам передал, помните?» — «А я передал Федору Петровичу». — «А я, а я... Я уж не помню кому... Тут через стол все тянулись».

— Ну что ж, табакерки не находится? — выждав время, спросил граф голосом потвердевшим и поднялся.

Наступило молчание. Все сидели, пожимая плечами, подозрительно косясь друг на друга. Всяк почувствовал себя необычайно гадко. Гости, а в особенности хозяин, понимали, что произошел величайший скандал: среди дворян был вор.

— В таком разе уж не погневайтесь на меня, панове, уж я сам буду разыскивать табакерку... Я бы плюнул на это дело и ногой растер, ежели бы сам ее купил, а то табакерка-то суть презент самой матушки... Потрудитесь уж, господа, вывернуть карманы... — проговорил граф Разумовский не то в шутку, не то всерьез.

Все, хмуря брови и сопя, принялись с поспешностью выворачивать карманы.

Первым был обыскан хозяин, вторым адъютант графа подполковник Бородин. Граф осмотрел карманы, прощупал горячими ладонями его спину, бока

и грудь, даже пошарил за широкими голенищами ботфорт. Все поняли, что граф не шутит. Граф внимательно осмотрел третьего, четвертого, пятого, осмотрел, наконец, двенадцатого и приблизился к тихому старичку, все в той же мрачной позе сидевшему последним, с правой стороны стола.

Старичок весь дрожал, его бросало то в жар, то в холод, горящее ярким румянцем сухощекое лицо его покрылось испариной, седой паричок жалко съехал на ухо.

— Встань, любезный! — приказал подошедший к нему граф. — Ты что ж карманы не вывернул, любезный, а?

Вскочив на ноги, старичок взглянул в глаза графа тихим, умоляющим взором, прижал к груди стиснутые в замок кисти рук и чуть слышно прошептал:

— Ваше сиятельство, будьте великодушны, не губите!.. — Он едва передохнул и полузакрыл глаза. — Пощадите меня, пойдемте в соседнюю комнату, я вам все открою, — нашептывал он и, не в силах от волнения стоять, схватился руками за спинку кресла.

— Пойдем, душенька, пойдем, — громко произнес граф. — Иди вперед, указывай дорогу!

И граф двинулся вслед за сухоньким старичком, расхлябанно шаркающим больными ногами по натертым паркетам. На старичке помятый, серого цвета кафтан с протертыми возле локтей рукавами и стоптанные, порыжелые сапожонки.

Осанистый пухлый граф напоминал собой откормленного сибирского кота, а серенький старичок был похож на приговоренного к лютой смерти неопытного мышонка.

Великолепный вельможа, сияя драгоценными каменьями, нанизанными на его богатый рытого бархата кафтан и щегольские туфли, на ходу повернул голову к гостям и многозначительно потряс вытянутым указательным пальцем, как бы говоря: «Ну и распатроню я этого мазурика».

Когда они оба — граф и старик — скрылись, за столом начались бранчливые пересуды:

— Вот мошенник... Ну можно ли было...

— Нет, это сверх всяких вероятий...

— Ну, укради он у меня или у кого другого, а то у вельможи, всему свету известного...

— Да кто его, господа, притащил сюда, этого прощелыгу?

— Сам притащился...

— Царь небесный, со мной чуть не приключился удар... Уж я лакеев своих заподозрил... Господи боже мой!

А там за дверью маленький старичок, то и дело прикладывая к глазам засморканный платочек, срывающимся задышливым голосом пытался разъяснить графу плачевное свое положение:

— Видит бог, видит бог, ваше сиятельство, я табакерки вашей не брал и к ней не прикасался...— чрез всхлипы и вздохи говорил он, выстукивая зубами дробь.— А как я беден и малую имею толику землицы, а детей содержу шестеро, да жену, да женину мать, в параличе лежащую, то почасту мы и голодом сидим. Вот жена иным часом и наущает меня: поезжай, Васенька, туда-то, я-де слышала, званый обед там, хоть и не сприглашен ты, а как-нито проскочи, упроси лакеев, укланяй, они-де авось смилосердствуются — пустят. А за столом-то наедайся с усердием, да и нам-де кой-чего прихватишь... Так, ваше сиятельство, я на своей кобылке да в бричке рогожной и разъезжаю по богатым людям, снискивая себе пропитание. Вот, ваше сиятельство, и сюда я таким же манером попал, крадучись.

— Но почему ж ты не показал карманы, раз заявляешь, что у тебя табакерки моей нет? — видя явное запирательство старика, раздраженно спросил граф.

— Ваше сиятельство, грех вам столь обидно думать на меня, на старого. Ежели повелите, я здесь не токмо что карманы, сам до наготы разденусь... А при всех гостях не вывернул я карманы потому что, вот, извольте посмотреть: в этом кармане две доли пирога у меня с мясом, в этом — кусок пирога с вареньем, а в этом — парочка рябчиков, а в этом белый хлеб с ветчиной да с белорыбицей. Это суть и есть пропитание для нищего семейства моего! —

Изможденное лицо старика взрябилось в горестной гримасе, он упал графу в ноги и залепетал: — Не губите, ваше высокое сиятельство... И, умоляю вас, никому не сказывайте о моем... невольном... прегрешении!

— Это не грех, не грех, голубчик, — с чувством соболезнования молвил граф и, поспешно, насколько ему позволяла дородность, подхватив расслабленного старика под мышки, поставил его на ноги. — Верю тебе, старче! На-ка, брат, возьми на бедность, — граф запустил руку в глубокий карман штанов, чтоб достать несколько золотых монет, и вдруг ущупал там драгоценную пропажу... На мгновение, он пришел в столбняк, красногубый рот его передернулся. Затем, сунув старику горсть червонцев, он, потеряв всю свою респектабельность, с облегчающим хохотом вошел в столовую:

— Эврика! Эврика!.. Господа! Пропажа нашлась. — Он поднял руку и посверкал табакеркой пред огнями. — И знаете, кто вор?

— Знаем!.. — хором, с ожесточением ответили гости.

— Я вор! — ткнул граф Разумовский табакеркой себя в грудь. — Прошу прощенья за треволнения!

Все уставились на графа выпученными глазами. И не успели еще вокруг опомниться, как вбежал лакей и, подскочив к хозяину, что-то сказал ему на ухо.

Хозяин с шумом поднялся, задышливо проговорил:

— Господа! Несчастье. Кажется, старичок-то у нас... того!

Все быстро, толкаясь в дверях, вошли в соседнюю комнату. Щупленький, сухощекий старичок, в парике с косичкой, разметался на полу в жалкой позе, вверх лицом. Левая рука его откинута, в скрюченных пальцах — червонцы, дар Разумовского. Из кармана торчит кусок пирога. На лице тихая, виноватая улыбка, будто старичок хотел сказать: «Уж вы не прогневайтесь, господа... Ненароком я... Уж так приключилось со мною».

Граф Разумовский сказал:

— Ну, этакому дворянину отныне никакая мужичья смута не страшна.

— Ему, ваше сиятельство, и при жизни мужичья-то смута не была страшна! — подхватил кто-то из гостей резким до неприятности голосом.— Покойник — сосед мой по имению... У него и крепостных-то душ всего-навсего семеро, да и те, извините меня, древнего возраста, а то калеки-с...

Все угрюмо поглядывали то на покойника, то на знатного гостя, а тот, опустив голову, растерянно вертел в пальцах драгоценную табакерку.

В ту самую пору, когда граф Разумовский «усиливался изучать» настроения смоленского дворянства, в городе Казани, в грозовой атмосфере надвигавшихся событий, разыграна была некая церковная интермедия.

5 октября поутру архиепископ Вениамин выехал из монастыря в кафедральный кремлевский собор в парадном, отделанном яркой позолотой «берлине», на шестерке лошадей; кучер — в голубом кафтане, с плюмажем. Впереди рысцою подвигались двое верховых архиерейских служек в зеленых епанчах; передний держал на руке святительскую мантию, задний — серебряный посох. Встречные, не исключая татар, срывали шапки, отвешивали низкие поклоны проезжавшему владыке.

После торжественного облачения в мантию, при пении хора, престарелый седобородый Вениамин с паперти проследовал в собор, где и совершил краткое молебствие. Затем, в окружении духовенства и клира, под сенью хоругвей, весь в сиянии золотой парчи, он появился на высоком воскрылии собора. Все здесь преисполнено было пышности.

У подножия кремля лежал в блеске осеннего солнца большой полурусский, полутатарский город со многими мечетями и церквами. Вдали, сквозь темное кружево голых деревьев, отсвечивала, туманилась Волга. Кремль был набит народом. Возле собора люди стояли густо, плечо в плечо. Впереди, в длиннополых синих кафтанах, именитые казанские купцы-бородачи: Крупенниковы, Носов, Мухин, Корнилов,

Кобелевы, Пчелины, Иноземцев и многие другие. Некоторые с медалями, а иные, занимавшие в городском магистрате выборные должности, в мундирах и при шпагах. Отдельной, довольно многочисленной группой стояли пленные польские конфедераты с Пулавским во главе.

Внизу, справа, четким строем замерли два батальона одетых в бушлаты солдат с развернутым, потрепанным в боях полковым знаменем. Слева выстроились воспитанники первой казанской гимназии с ее директором, подполковником фон Каницем, и тринадцатью учителями.

А непосредственно перед воскрылием собора и на широких каменных ступенях его — начальствующие лица, вся знать, а также немало помещиков, бежавших в Казань со своими семьями из бунтовавших деревень и селений.

Впереди всех, на бархатном коврике — старый губернатор Брандт. Несмотря на довольно теплый день, он в меховой шубейке. Бритый, быстроглазый, с румяными отвисшими щечками, он бросал вокруг воинственные взоры, спесиво пожевывал губами.

Начался торжественный чин проклятия. Полковник скомандовал войскам: «На караул!» Ружья дружно звякнули к ноге, барабаны ударили тревожную дробь.

Высокий и тучный протодьякон, получив благословение Вениамина, выступил на лобное место и осанисто перекрестился. Бой барабанов смолк. Наступила тишина. В толпах люди раскрыли рты, уставились взорами на протодьякона. Он недавно был переведен в Казань из Вологды с повышением. Народ имел случай слушать его впервые: ужо-ка грянет!

Протодьякон шевельнул могучими плечами, открыл широкую пасть и, вместо громоносного басистого возгласа, неожиданно воскричал тонким, резким, пронзающим душу тенорком. Изумленные богомольцы засипели от неудержимого смеха, благопристойно утыкаясь лицом в пригоршни.

— Богоотступник и злодей, — раздельно вопил фистулою протодьякон, — злодей, поправший законы божеские и человеческие и дерзновенно похитивший

велелепое имя в бозе почившего императора Петра Федоровича Третьего, беглый донской казак Емелька Пугачев да бу-у-удет...

— ...анафема! — возгласил Вениамин.

— Да будет, а-на-фе-ма, проклят! — неистово закончил протодьякон.

Мощный хор, при медленном погребальном перезвоне колоколов, мрачно трижды пропел:

— А-на-фе-ма! Ана-фема! Ана-фема!

В народе завздыхали, затрясли головами. Трудно было разгадать, что думал народ. Расходились люди молча, потупившись в землю. На лицах пасмурно и хмуро. Старушки плакали: близится, мол, светопреставление, грядет антихрист с окаянным своим воинством во образе нечестивца Пугача, выродка от блудницы девки.

А в этот самый час Емельян Пугачев, только что преданный анафеме, в бодром расположении духа «чинил порядок» среди своего придвинувшегося к Оренбургу воинства. И то же, что в Казани, солнце щедро заливало благостным своим золотом дикие степные поля — плацдарм предстоящих грозных битв.

ГЛАВА XII

Стычки. Золотая горенка. Девичья ссора

1

Армия Пугачева, возросшая до 2400 человек, стояла на горе в бездействии. Несколько смелых яицких казаков и татар спустились в форштадт [1] и пробовали затащить на колокольню Егорьевской церкви пушку, но Рейнсдорп распорядился пугнуть их артиллерийскими выстрелами и зажечь предместье. Смельчаки бежали. Предместье запылало.

Казак Иван Солодовников подскакал к самому

---

[1] **Форштадт** — предместье города (*нем.*).

крепостному валу, воткнул в землю колышек с привязанной к нему бумагой, гаркнул: «Государев указ!» — и под свист пуль умчался.

Указ Пугачева до солдатской массы не дошел, его прочли немногие офицеры и тотчас же отправили Рейнсдорпу. Бумага гласила:

«Сим моим именным указом регулярной команде, рядовым солдатам и офицерам повелеваю: послужите мне, своему законному государю Петру Федоровичу, до последней капли крови и, оставя принужденное послушание к неверным командирам вашим, которые вас развращают и лишают вместе с собой великой милости моей, придите ко мне с послушанием и, положа оружие свое пред знаменами моими, явите свою верноподданническую мне, великому государю, верность, за что награждены и пожалованы мною будете. Как вы, так и потомки ваши первые выгоды в государстве моем иметь будете и славную службу при лице моем служить определитесь...» и т. д.

Рейнсдорп, сердито хмурясь, прочитал бумагу дважды, подивился ее складному слогу, подчеркнул иные фразы и велел подшить к недавно заведенному *«Делу № 41 о государственном злодее, беглом казаке Емельке Пугачеве»*.

Два дня продолжалось спокойствие. На третий — часть пугачевцев двинулась к Меновому двору, чтоб поживиться там купеческими товарами. Меновой двор, где производилась главная торговля со степью, стоял в двух верстах от города, за рекой Яиком. Обнесенный каменной стеной с несколькими рядами лавок, складами и службами, Меновой двор представлял собою обычный тип восточных базаров.

Рейнсдорп выслал отряд драгун и казаков, которые прогнали мятежников и около сотни человек захватили в плен. Ободренный сим успехом, губернатор так обрадовался, что за фриштыком, кушая пирог с солеными груздочками, велел даже кликнуть своего немца-повара:

— Вот што, голюбчик Шульц... Я тебя поздравляю с очень вкусным пирожком, а ты мне поздравляйт с победа. Выпьем!

Пред обедом, на военном совещании, он настоял издать приказ.

— Завтра, девятого,— сказал он,— дружно атаковать неприятеля. Я ему, сукин кот... Я ему, я ему... Капут!

Однако наутро явился в расстроенных чувствах комендант крепости генерал-майор Валленштерн, человек деятельный, храбрый, умно насмешливый.

— Наши дела, Иван Андреич, весьма печальны, — сообщил он Рейнсдорпу.

— Шо, шо, шо? — вскричал тот, выпучив глаза. — Я вас не понимайт....

— Командиры частей, назначенных вами в наступление, только что заявили мне, что их офицеры, да и многие нижние чины изъявляют великую робость, ежели не страх...

— Пасфольте, пасфольте... Но мы же победили!

— Победителями были вчера, а сегодня в войсках роптание.

— Что ж делать? Какоф ваше мнение?

Валленштерн, относившийся к Рейнсдорпу иронически, ответил:

— Я здесь человек новый, две недели тому назад переведенный из Сибири, а посему затрудняюсь дать вам должный ответ.

— Тогда ответ дам я... Вылазку отменить! — закричал Рейнсдорп и, размахивая руками, принялся вышагивать по кабинету. — Нас мало войск и нет карoших офицеров. Не могу же я, не могу же я... сам вести зольдат в атака. Шорт знает што такое... Пфе!.. А этот Клопуш, помните? Он еще не вернулся из командировка?

— Надо полагать, что и не вернется.

— Шо?

Чтоб доконать губернатора, Валленштерн сказал:

— В городе пойманы два шпиона. Под пыткой оба показали, что подосланы Пугачевым убить... гм... гм... господина губернатора.

— То есть меня?

— Судя по тому, что в оной должности состоите вы, ваше высокопревосходительство, Пугачев имел в прешпекте именно вас.

Губернатор опустился в кресло. Лицо его приняло багрово-синеватый тон. Был немедля позван полковой лекарь — бросить Рейнсдорпу кровь.

Оправившись, он стал писать уже известное нам всполошное письмо графу Чернышеву.

Прошло три дня. Приняв оборонительную тактику, Рейнсдорп поневоле предоставил Пугачеву свободу действий. Пугачев становился таким образом полным хозяином края. Вскоре, однако, Рейнсдорп сообразил, что далее так продолжаться не может. Он был ответствен за судьбу края, а наипаче того дрожал за собственную карьеру, благодаря чему проявил неожиданно даже личную храбрость. Так, он, например, по три раза в день появлялся в самых опасных местах, стал обходить позиции, шутил с солдатами, подбадривал офицеров.

Тем временем Пугачев все шире и настойчивей развивал свою деятельность. Он всюду рассылал гонцов с пылкими воззваниями, приглашающими в его армию калмыков, ногайцев, киргизов, заводских и крепостных помещичьих крестьян. Он повелевал выпускать на волю всех содержавшихся в тюрьмах «и у протчих хозяев имеющихся в невольности людей».

Не в пример казенным, написанным невразумительным канцелярским языком приказам, реляциям и рапортам, грамоты Пугачева большей частью были кратки, общепонятны и толковы. Они писались либо его секретарями при личном участии вождя, либо скопом, когда любой атаман, а иным часом и случайный казак или мудрый старик крестьянин нет-нет да и подадут свой голос, нет-нет да и ввернут крепкое словцо. А когда черновая бумага зачитывалась Пугачеву, он сам делал поправки.

— Больно кудревато, — говорил он. — Ты прямо пиши: «Голова будет рублена».

Вот яркий, замечательный по стилю образец письменного народного творчества — одно из октябрьских воззваний Пугачева к русскому населению:

«Приказание от меня такое: буде окажутся противники, таковым головы рубить, кровь проливать, чтобы детям их было в предосторожность. И как ваши предки, отцы и деды, служили деду моему, блаженному богатырю, государю Петру Алексеевичу, и как вы от него жалованье получали, так и я ныне и впредь вас жаловать буду, за что вы должны служить до последней погибели, и буду вам за то отец и жалователь. И не будет от меня лжи, а многая будет милость, в чем я дал мою пред богом заповедь. Если кто против меня станет противник и невероятен, таковым не будет от меня милости — голова будет рублена, а па́жити[1] граблены».

У Пугачева во всяких людях недостатка теперь не было, и манифесты к мусульманскому населению писались по-татарски, по-арабски, даже по-турецки и на иранском наречии. Эти манифесты распространялись на местах во множестве по наслегам, кочевьям, улусам.

Манифесты эти сочинялись в восточном вкусе — выспренне, витиевато и образно, а самый титул императора преподносился с большой пышностью:

«Тысячью великий и высокий и государственный владетель над цветущими селеньями, всем от бога сотворенным людям самодержавец, тайным и публичным даже до твари наградитель, усердственный и в святости искусный, милостив и милосерд, сожалительное сердце имеющий, явившийся из тайного места, делатель благодеяний, прощающий народ и животных в винах, государь император Петр Федорович, царь российский, во всем свете славный, еще и прочих, и прочих, и прочих».

Однажды, когда заслушивался указ башкирским старшинам, Максим Шигаев сказал Пугачеву:

— Как бы, ваше величество, по первости-то не отпугнуть башкирских-то стариков, верхушку-то башкирскую. Может, они по первости и не столь склонны против государыни выступать. Как бы они в сумни-

---

[1] Па́жить — имущество.

тельство не пришли, да и народ свой не помутили. Кто их ведает, что у них на уме-то.

Пугачев, заложив руки назад и опустив голову, прошелся, затем, пристально заглянув в лицо Шигаева, сказал:

— Дело, Максим Григорьич, говоришь. Пожалуй, доведется и Катерину уважить. А как настанет пора-время, народ сам разберет, что̀ к чему.

Очередной указ был переделан, вставили в текст весьма хитроумное добавление:

«И ныне душевно-усердствующей и сердечно-вернейшей, дражайшей, светлое лицо имеющей, сладчайший и честнейший разговор имеющей государыне вашей служите безызменно... Повелениям же моим будьте послушными, не вложа в ваши сердца укривления. Верьте точно: вначале бог, а потом на земли — я, сам властительный ваш государь. И мне служить будете».

— Ну вот, теперь, пожалуй, в самый аккурат, — выслушав исправленный указ, указал Пугачев; живые глаза его улыбались. — Хоша Катя моя и дражайшая и сладчайшая, а государь-то властительный все же не она, а я!

Башкирский мулла Кинзя Арсланов, получив один из пугачевских указов, отправил собственноручное письмо башкирскому старшине Аблаю Мурзагулову и прочим старшинам: «Желаемое нам от бога дал бог нам. От земли потерянный, царь Петр Федорович подлинный сам, клянусь тебе богом».

И таких собственноручных, от своего разумения писанных посланий к башкирцам и кочевникам среди известных народу лиц было немало.

Когда же, случалось, подслушивал Емельян Иваныч бранчливый говорок промеж не забывших старину казаков о том, что-де не больно ли усердно царь-батюшка «нехрѝстей» к сердцу принимает, не чрез край ли мирволит всяким там калмычишкам и прочей орде, Пугачев подзывал к себе недовольных и со строгою вразумительностью говорил:

— Как есть мы единая, всея державная Россия, то и предлежит быть в ней всякому сущему племени

единый увет и порядок. Я допрямá вам, детушки, толкую: тако и в писании сказано: «Славят всевышнего все племена и народы». А всевышний, как и царь земной, един на всех, вроде пастыря в стаде. Мотри же, — добавляет он строго, — у нас в стане никаких чтобы межусобиц, никаких раздоров не было промеж себя. Нам окаянствовать не к лицу, детушки, а надобно жить купно со всеми. По какому хошь пальцу вдарь обушком, всей руке больно... Для руки все пальцы одинаковы, такожде для государя вашего — все народы... Верно ли сказываю, детушки?

Люди многодумно переглядывались между собой, и кто-нибудь из степенных казаков, один за всех, давал батюшке ответ:

— Истина твоя, царь-государь... Ты — отец народам.

По-иному держал себя Емельян Иваныч с провинившимися атаманами, слыша от них злое слово в сторону «нехристей». Однажды, поймав на такой брани полковника Лысова, сгреб его за ворот, будто в шутку, да так тряхнул, что у Митьки счакали зубы и шапка покатилась на землю.

— Ты чего это, полковничек, лаешься? Сам ты в таком разе из басурманов басурман... Мотри, брат, чтобы этой погудки я от тебя впредь не слышал!

И затем, видя растерянность Лысова, продолжал более мирно:

— Эх ты, теленок несмысленый... А еще в полковники выбран... Мне не то обидно, что татар да башкирцев с калмыками костишь ты, а то обидно, что людишки-то эти в моем воинстве и ничего от них, окромя верности, мы не видим. Уразумел?

А Зарубину-Чике он по этому поводу, с глазу на глаз, сказал:

— Вот что, друг... Последи-ка ты за Лысовым. Дюже задирист он насчет инородья-то. Межусобицы да раздоры середь нашей армии не нам, а Катерининым приспешникам нужны. Верно балакают: семеро промеж себя дерутся, осьмой радуется.

Чика согласно кивнул головой, но в оправданье стариков заметил:

— Искони у нас, казаков, этак-то повелось, сам знаешь, батюшка. Мы, эвон, и мужика ниже себя ставим... Ну, да ништо, ваше величество... Обомнется — обтерпится! А последить за Митькой — послежу, будь в надеже.

2

Еще не прошло и месяца, как Пугачев поднял восстание, а уже не только смежные две губернии — Оренбургская и Казанская, но и обе столицы, потеряв покой, пришли в смятение.

Местные власти, не имея общего руководства, маневрировали находившимися в их распоряжении малочисленными отрядами вслепую. Петербург слал генерала Кара.

В то же время со всех сторон большими толпами к Пугачеву подходил народ.

В Башкирии был получен государев указ, произведший на тамошний народ неотразимое впечатление. И Башкирия зашевелилась. Прибывший туда от бригадира Корфа сержант Белов обратился к собравшимся с приказом идти на помощь Верхне-Озерной крепости. Башкирцы, осердясь, кричали в ответ:

— Довольно русским начальникам обижать нас! Мы все идем к заступнику-государю.

Первая партия в четыреста конных, вооруженных луками и копьями башкирцев и впрямь вскоре прибыла к Пугачеву. Затем старшина, он же мулла, Кинзя Арсланов и Еман Серай привели еще тысячу своих соплеменников. Довольный Пугачев произвел муллу Кинзю Арсланова в полковники.

По мере того как регулярные войска распоряжением Рейнсдорпа покидали маленькие крепостцы, форпосты и собирались в центральных пунктах обороны, оставшееся население с особой охотой принимало сторону новоявленного государя, брошенные же укрепления тотчас занимались пугачевцами. Так были заняты крепости Пречистенская, Красногорская и другие более мелкие укрепления.

Пугачев о многих занятых пунктах, за их отдаленностью, даже и не знал. Новые самозванные начальники захваченных укрепленных мест, действуя без его ведома, но его именем, всюду встречали привет и сочувствие народа.

Помещики, видя надвигавшуюся на них грозу, оставляли свое добро и кто куда бежали. Все имения верст на двести вокруг Оренбурга были брошены владельцами. Первыми удрали из своих гнезд отставные офицеры Ляхов, Кудрявцев, Куроедов, еще Михайло Карамзин [1].

Едва успел старый Карамзин выбыть с места, как в его село Михайловку нагрянула дюжина яицких казаков. Работавшие у церкви крестьяне бросились было бежать.

— Стойте! — закричали казаки.— Ведите сюда вашего барина на суд, на расправу.

— Ох, кормильцы... Выбыл, выбыл барин.

— Тогда собирайте поголовно всех на господский двор.

Сбежавшимся крестьянам седоусый казак Назарьев объявил:

— Мы посланы от армии государя Петра Федорыча зорить помещичьи дома, а всем вам, крепостным крестьянам, давать волю. Отныне вы, мужики, вольны! На помещика не работайте, податей ему не платите, скот и земли барские, а такожде хлеб забирайте себе.

Вскоре в Михайловку пришли три крестьянина из соседней деревни. Был праздник, церковь и церковная ограда полны народа. Один из прибывших, старик Травкин, собрав вокруг себя крестьян, сказал им:

— Вот мы втроем были под Оренбургом, у самого батюшки. Он принял нас милостиво, спросил: «Служить ко мне, что ли, прибыли?» Мы же ответствовали: «Нет, не служить, а к тебе, отец, на посмотренье. И насчет воли спросить у тебя, свет наш». Батюшка сказал: «У меня нет невольников, у меня все вольны, и вы такожде. Всем объявляйте, что податей помещикам не платить, на помещиков не работать, некрутов

[1] Отец знаменитого историка Н. М. Карамзина.

в царицину армию не давать. А чтобы верные крестьяне ко мне шли». И выдал нам, свет наш, великий указ. Вот он! — Старик Травкин вынул из-за пазухи бумагу с печатью и наказал народу: — Зовите попов, пущай чтут вгул царскую бумагу.

Из церкви вышли на паперть два священника. Один из них спросил собравшихся:

— Что надо, православные?

Старик Травкин подал бумагу, сказал:

— Читай, батя, в народ. От государя Петра Федорыча грамота... А не станешь, тогды на себя пеняй!

Священник, побледнев, принялся дрожащим голосом читать. Народ опустился на колени. Только барский бурмистр остался стоять столбом. Ему дали по затылку, и он тоже пал на колени. Когда чтение закончилось, из толпы приказали:

— Читай вдругорядь, да появственней!

Священник прочел указ трижды. Затем всей толпой пропели .многолетие государю.

Угостив в награду за послушание попов, крестьяне велели им сделать с указа несколько списков. И на другой день пять человек доброхотов вместе со стариком Травкиным, заложив в тарантасы барских лошадей, стали разъезжать с теми списками по дальним деревням. Встречным людям они махали шапками, кричали:

— Радуйтесь и веселитесь! Волю везем. Вот он — указ царев.

А когда попадались им на дороге экипажи с помещиками или начальством, они сдергивали шапки и на всякий случай низко кланялись господам.

И в иных местах объявлялись грамотеи-доброхоты, которые строчили новые списки, а порою составляли и новые указы. Усердные царю-батюшке гонцы развозили эти грамоты по многим жительствам. Так повсюду двинулся, зашумел народ, словно полая вода весной.

Меж тем старик Травкин успел перебраться из Оренбургской в Казанскую губернию, где впоследствии и был, по неосторожности, схвачен стражею.

Как уже было сказано, многие и многие помещики покинули свои гнезда. А вот барыня Пополутова никак бежать не пожелала. Проводив мужа в Пензу, она схоронилась в лесу, в сторожке. Однако, когда наехало человек двадцать казаков, крестьяне барыню выдали и приволокли в барский двор. Выпытывая, где у нее схоронены богатства, казаки били ее плетьми.

— Хороша ли она была с вами? — спрашивали пугачевцы крестьян.

— Барин хорош, а она несусветная стерва, — в один голос отвечали мужики.

Помещицу Пополутову снова принялись драть. С особым усердием стегали свою госпожу крестьяне.

Тем временем казаки занялись хозяйственными делами: грузили муку, крупу и прочее добро на подводы, забирали с собой барский скот и лошадей. Крестьянам, справедливости ради, они выдали на каждое тягло по пяти барских овец, малоимущим же еще по лошади и телке.

Поговорив о печальнике народном — о государе, о новой жизни, которую он обещает всем страждущим, и пригласив крестьян вооружаться, скопляться в отряды и следовать к «батюшке» на подмогу, казаки собрались в путь. Крестьяне, в особенности же те, что секли барыню, взмолились к ним:

— Ой, казаченьки, уж вы ее, злодейку-то нашу, взяли бы на свой ответ, а то она оправится, тварюга, всем нам тогда несдобровать.

Казаки барыню пристрелили.

— А как же с девчонками ейными, господа казаки? У нее три маленьких дочери осталось.

Рыжебородый хорунжий, посоветовавшись с людьми из отряда, сказал:

— Девочки ни в чем не повинны. Вы их разберите по домам и содержите детские души по совести. А как войдут оные в возраст, выдайте мужикам в замужество.

Во многих селениях, оставленных барами на произвол судьбы, крепостные крестьяне ударились попервости в разгул и в пьянство. Однако более смелые и предприимчивые стали сбиваться в артели и, на-

грузив подводы барским хлебом, держали путь к Оренбургу, к самому пресветлому государю. Туда же, рискуя быть перехваченными начальством, следовали, в одиночку и группами, ходоки от работных людей с заводских предприятий, нередко — отдаленных: с Камы и Вятки, из-под Мамадыша и других мест.

3

Время подходило холодное. Ночами держались морозцы. Степные мочежины и речонки подзамерзали, закрайки Яика подернулись зеленоватым молодым ледком.

Пугачевцам становилось туговато. Ютились они в шалашах из веток, в случайных ямах и пещерах, коротали ночи у костров, Пугачев с Харловой жили в киргизской юрте.

Вскоре вся армия перешла на зимние квартиры в Бердскую слободу, или, как ее называли, в Берды, что в шести верстах от Оренбурга.

Пугачеву заранее был приготовлен просторный дом зажиточного казака Ситникова, и назван был тот дом «государевым дворцом». Полы здесь заново выскоблили, потолки выбелили, стены трех горниц оклеили шпалерами, а стены четвертой горницы, что поболе, вместо шпалер обили шумихой, то есть листками сусального золота, широкую же купеческую печь местный маляр покрыл живописным орнаментом из птиц и цветочков, посадив в середину государственный герб — двуглавого орла. На полу — ковры, у стен — добротная мебель, вывезенная из разграбленных дач Рейнсдорпа и Рычкова. В простенках — два зеркала и портрет великого князя Павла Петровича, добытый атаманом Овчинниковым в имении Тимашева. В переднем углу, в богатых окладах, старозаветные иконы, возле печки — государево знамя.

Емельян Иваныч немало пышному убранству дивился. Золотая горница доставила ему особое удовольствие. Он зачмокал губами, заприщелкивал языком: «Ах, добро, добро».

— Кто же здеся постарался-то?

— Мы с сержантом Николаевым, ваше величество, да атаман Овчинников, — ответил Падуров. — А Чика у нас вроде подрядчика — краски добывал, за всем досматривал.

— Благодарствую, — сказал Пугачев и поощрительно похлопал Николаева по плечу: — Старайси, старайси... Вот ишо маленечко поприсмотрюсь к тебе, молодец, да в подполковники и произведу. — Взглянув на портрет Павла, он покивал портрету головой, вздохнул и, прослезившись, молвил:

— Поди, забыл ты меня, Павлуша, родителя-то своего. Ох, болит, болит по тебе мое сердце родительское. Эх ты, дитятко рожòное...

В спальне он потрогал кровать под шелковым одеялом, ткнул кулаком в середку взбитых пуховиков — рука увязла по локоть, сказал:

— Бабе спать. А солдату-казаку негоже, да и не свычно. В походах на локотке спать надо, кулак под голову, а высоко — два пальца сбрось, — но, спохватившись, добавил: — Почивали и мы на эгаких перинках в молодости лет, а вот поотвыкли. — Подмигнув Падурову, громко распорядился: — Пущай Харлова, сирота наша, довольствуется, ей пуховик этот, а я где-нито в боковушке.

Проходя по горенкам, он пристально что-то искал взором и, не найдя, с деланным равнодушием молвил в сторону Падурова:

— Завладела Катерина прародительским престолом моим... Эх, вот сиденьице так сиденьице! Бывало, взойдешь по ступенькам... — и он осекся, вдруг подумав, что, быть может, у престола никаких и ступенек не полагается. Слыхал он не раз, что цари «восходят на престол», а дальше его представление о престоле тонуло в сумерках полного незнания. «Леший его ведает, этот самый престол, — может, к нему лесница приставляется». И, странно, не найдя в бердском «дворце» своем положенного царям трона, он почувствовал скорбное волнение, что чаще и чаще, с течением времени, стало посещать его. Точно и впрямь он когда-то владел несметным царским сча-

стьем и всяческим добром, да впоследствии всего лишился. Видимо, исполнения роли, навязанной ему судьбою, не прошло для Емельяна Ивановича бесследно, как не проходит даром лицедейство и любому актеру, человеческим сознанием которого неприметно овладевает чужая, выдуманная роль.

Помимо того, приняв лик царский, Емельян Иванович на все, что окружало его, не мог не взирать очами своих «подданных», ищущих должного благолепия не только в делах царя, но и в самой обстановке житья-бытья его.

Они стояли в горнице, изукрашенной сусальным золотом. Чья-то услужливая рука зажгла в канделябрах свечи, тихие огоньки отразились в зеркалах, поползли колеблющимся отблеском по золоченым стенам.

— Глянется ли, ваше величество? — спросил Максим Шигаев, ожидая высокой похвалы Пугачева.

Тот, прищурив правый глаз, скользнул взглядом по праздничным лицам казаков и не спеша ответил:

— Хошь и не больно гарно, Максим Григорьич, великому государю в избушке жить, да не в избушке дело, а в вашем, моих верноподданных, усердии. И то сказать: я, господа казаки, в берлоге жить рад-радехонек, лишь бы сирому людству облегченье с того шло. — Помолчав, заметил еще: — Постарайтесь, детушки, чтобы штандарт на крыше был, да красное крыльцо украсьте. А на новоселье такой пир ахнем, чертям будет тошно!..

Казаки оживились, бодали друг друга локтями, широко улыбались.

— А не позвать ли нам, господа атаманы, на наш честной пир губернатора Рейнсдорпа? — вновь прищурив правый глаз, с серьезностью спросил Пугачев.

Казаки фыркнули в бороды. Зарубин-Чика, почесав за ухом, сказал:

— Навряд пойдет. Нешто он благородное обхожденье понимает? Вот разве что Хлопушу за ним пошлем? У Хлопуши с губернатором союз-дружба.

Взрыв дружеского хохота покрыл эти слова Чики.

Приближенные Пугачева и те из казаков, что были потолковей да постарше, разместились в Бердах

по избам. Рядовые пугачевцы принялись рыть себе землянки, устраивать теплые шалаши, приспосабливать под жилье амбары, сараи да бани, готовить на зиму кизяки, солому да хворост для сугрева.

Коренные жители нашествию пугачевцев попервости обрадовались: настанет время пьяное, богатое, гульливое. В особенности были рады девки с молодыми бабами: уж вот-то попируют...

4

Вскоре по всему Яику, по всем оренбургским просторам выпал первый снег.

Даша, приемная дочь Симонова, коменданта, сидела под оконцем в теплой своей горенке и, проворно работая иголкой, подрубала носовые платки.

Скука... То есть такая скука — плакать хочется. Хоть бы за Устей Кузнецовой спосылать! Даша отложила шитье, сняла наперсток, уставилась взором за окно. Снег валит. И ничего не видно там, за двором, все помутнело, скрылось в падучем снеге. По двору боров бродит, на него от скуки потявкивает старый барбос, две заседланные лошади хрупают у коновязи свежее сено, кучка молодых казаков забилась от снега под навес, что-то врут друг другу, скалят зубы. Стряпуха Маланья пронесла из погреба оловянную миску с квашеной капустой. Над забором пробелела усатая голова всадника в облепленной снегом, словно сахарной, шапке.

Даша ничего этого не замечает: она вся в неотвязных думах. И глаза ее полны слез... Больше месяца прошло, о Митеньке ни слуху ни духу. Да и старик Пустобаев, с которым она отправила Митеньке записку, тоже как сгинул. Что за напасть такая? Неужели этот проклятый Пугач ловит всех честных людей и держит под страхом расправы в своем таборе?

А отчаянная Устя настойчиво подбивает ехать к этому разбойнику: поедем да поедем! Ежели, говорит, твой Митрий еще не повешен, я, говорит, всене-

пременно вымолю его у государя. Безумная! Она все еще подлого супостата государем почитает.

Скрипнула дверь. Даша вздрогнула, оглянулась. На пороге улыбчивая девушка в коротенькой шубейке, в накинутой на голову шали козьего пуха.

— Устя! — И Даша бросилась на шею своей подруге.

От юной казачки пахло степными ветрами, первым свежим снегом.

— Вот что, девонька, — сказала Устя, встряхивая шаль и пристукивая подкованными чеботами, как копытцами. Она подошла к окну и села очи в очи с Дашей. — Надумала я в Илецкий городок к тетке пробраться. А оттудова, ежели все тихо-смирно будет, в царское становище метнусь: у меня от Ивана Александровича Творогова пропуск за печатью имеется.

— Ах, Устя! — всплеснула руками Даша. — Неужли ж ты к самому ироду Пугачу?

— А что такое? — подбоченившись, ответила Устинья. — Я отчаянная, на то и казачка. Да и видеть мне его, царя-то, крайность пришла: Пустобаева-старика жалко, ведь он мне двоюродный дед.

— Слыхала я от папеньки, что Пустобаев твой к Пугачу в лапы угодил.

— Об чем и речь. Вот и упаду в ноги надежи-государя, да и завою, завою на голос. Разжалобится, отпустит старика, еще, может, гостинцев даст. Он хошь и царь, а слышно, до пригожих баб да девок падок. Эвот толкуют, Стешка Творогова отпустила мужа с царем-то, а сама день и ночь по батюшке-то воет: вот как он приголубил бабу да околдовал, даром что простая казачка. Едем, Даша! Вот установится дорожка, и дуй, не стой.

— Да что ты, что ты, Устя, опомнись!.. На этакую погибель зовешь меня!

— Ах, Дарья, Дарья! Своей погибели не бойся, чужую жизнь береги. Да и чего нам, девкам, подеется? Подумай-ка покрепче о судьбишке горемычного Митрия Павлыча своего. Ежели жив еще, царь вольным молодца сделает... уж мы умолим государя, укланяем!

— Ох, нет, Устя. Да разве папенька отпустит меня? Да и маменька еще не вернувшись из Казани. А без родительского благословения нешто можно в столь опасную экспедицию пускаться?

— Какие они тебе родители! Чужие они тебе. И у меня матушки нет, сиротинки мы с тобой, Даша. Да и то сказать: всякий человек сам о судьбе своей должен пекчись... Ты же Митю любишь.

Даша молча уткнулась разгоревшимся лицом в косынку и завсхлипывала.

Казачка нахмурила брови, сказала с надменностью:

— Из разного теста мы с тобой! Не хочешь — как хочешь. Только знай, девка: ежели я твоего Митрия Павлыча сама вызволю, мой он будет!

— Что ты, что ты! — вскричала Даша. — Да мы же с Митенькой тайно обручены, вот и кольцо у меня в шкатулочке. — Она торопливо встала, звякнула ключом комода, вынула червонного золота кольцо, показала его Усте. — Никто об этом не знает, только я с Митенькой, да вот еще ты теперь третья.

— А я и знать не хочу... Обручены вы, да не венчаны. Эка штука! Да я от него, может, тоже этакое же кольцо имею да супир вдобавок. Клятву тебе даю: не поедешь — мой будет, мой! А ты — рыбица вяленая, вот ты кто!

Лицо Даши исказилось от боли, она заглянула в темные, без проблеска, глаза Устиньи, сердце ее замерло.

— Ты жестокая, жестокая, — заговорила она порывисто. — Я Митеньку люблю, а ты врешь, все врешь на него! Ты нарочно это... Он меня любит, а тебя вовсе и не знает... Ну как, ну как я поеду? — заламывала Даша руки.

— Ладно, не езди, — отрубила казачка.—Пускай, пускай твой Митька, сержант у царя-батюшки, свадьбу с тобой заочно справит... на перекладинке!..

Даша вскрикнула:

— Ой, что ты, что ты!.. — и ничком упала на кровать.

ГЛАВА XIII

Зверь-тройка. «Затрясся, барин?!» Просьбица

1

Степь широкая, белая, неоглядная. Бугры, песчаные сопки, кой-где перелесок протемнеет, и снова она, белоснежная. Да вверху, над головою, холодное иссиня-бледное небо. Степь и небо.

По наезженной, утыканной блеклыми вешками дороге легкие санки скользят.

Безлюдно вокруг. Редко-редко казачий разъезд на горизонте промаячит да попадутся встречу оборванцы — нищеброды с кошелями либо какой-нибудь скуластый беглый мужичок с пугливыми глазами снимает шапку, спросит: «А где, мол, к Ренбурху дорога пролегает?» — «А по какому же случаю тебе в Оренбург занадобилось, дядя?» — «Да так, — ответит он, ковыряя палкой снег, — слых у нас прошел, быдто... это самое... как его...» — и замнется и глазами влипнет в землю.

Глухо в степи. Хоть бы ветер поднялся, хоть бы вьюга завыла свою песню... Нет, тишь и глушь в степи. Лишь с заячьими петлями, с волчьими следами убродные снега белеют, отливая синью, да из простора в простор легкие саночки скользят.

Однако пара лошаденок притомилась, путь они пробежали длинный; у коренника обвисла нижняя губа, пристяжка хитрит, держит постромки вслабую.

Сзади кто-то настигает, седоки-девушки оглядываются: скачут четыре казака и, помахивая плетками, дико орут:

— Дорогу, дорогу государю!

И санки только лишь успели своротить с дороги, как невдалеке показалась тройка борзых коней. На задке расписных саней—ковер, под ногами седоков—ковер, на облучке—Ермилка, кудреватый чуб его стелется по ветру.

— Стой, Ермил! — крикнул Пугачев, и, как вкопанная, тройка стала. — Эге! — сказал Емельян Ива-

нович, всматриваясь в девушек. — Да, никак, знакомая? Ну, так и есть... Устинья, ты?

— Я, царь-батюшка! — звонко и радостно прокричала из санок Устя и, как бы готовясь к поцелую, отерла рукой губы.

Рядом с Пугачевым, форсисто выставив на волю ногу в валенке, сидел черномазый, горбоносый Зарубин-Чика.

— Беги-ка проворней, Чика, сядь с тою, с другой, а Устю — ко мне.

— Разом, батюшка, — крикнул Чика и поспешил к девичьим саням.

— Здорово, Устинья Петровна, — приподнял он шапку с черноволосой головы. — А это ж кто такая? Ой, да, никак, Дарья Кузьминишна.

— Молчи, Зарубин, — сказала Устя и моргнула Чике бровью.—Это дочка нашего нового дьячка. Так я и надеже-государю буду сказывать. И ты этак же говори.

— Да как же насмелюсь я батюшку обманывать?—возмутился Чика.—Как мне врать, ежели она дочерь нашего коменданта?

— А ты ври, да знай: вреда с того батюшке не будет, а безвинной девушке — польза!

Тройке не стоялось. Рослые гнедые трясли головами, норовили укусить друг друга за морды, всхрапывали, бешеным глазом косились по сторонам, позорному били копытом в снег.

— Ну, здравствуй, Устинья, — приветливо сказал Пугачев, ожидая, что казачка встанет на колени и земно поклонится ему.

— Будь здоров, надежа-государь, — ответила девушка. Едва кивнув головой, она без приглашенья залезла в ковровые сани и как ни в чем не бывало уселась рядом с государем.

«Гордячка», — снова, как и там, в Илецком городке, на плясах, подумал Пугачев про Устинью и крикнул ямщику:

— Пошел, пошел, молодец!

Бесшабашный Ермилка привстал, причмокнул, тряхнул вожжами:

— Эх, кони чужие, хомут не свой, погоняй не стой!

И, закусив удила, ринулась, понесла зверь-тройка.

У казачки захватило дух. Поймав ухом веселую присказку Ермилки, она спросила Пугачева:

— Чьи же это кони-то, батюшка?

— Государственные, — с ухмылкою ответил Емельян Иванович.—Повелел я взять их из конюшни моего губернатора Рейнсдорпа... Царским своим именем! Чуешь? А вот ужо приспеет пора-времечко — на самом Рейнсдорпе воду прикажу возить... Ха-ха!.. — И он громко рассмеялся. На нем надет был старый из овчин тулуп и замызганная, как у пропойцы, шапчонка. Заметив, что казачка с откровенной насмешливостью смотрит на его плохой наряд, он сказал: — А это я, девушка, нарошно в чужую шкурку-то обрядился, чтоб не узнавали, чтоб лиха какого в дороге не стряслось, ведь Рейнсдорп-то тоже поди не дремлет. А я в этом обмундировании под самые городские ворота к нему подъезжал. — Пугачев сбросил с левого плеча тулуп, обнял девушку за талию и, сказав: «Эх, личико твое румяно!» — чмокнул ее в холодную розовую щеку.

Устя не сопротивлялась: у нее на уме такое дело, что хочешь не хочешь, а угождать батюшке надо. Ой, ой, какая у него теплая да сильная ручища, аж ребрушки взныли...

— А по какому же делу, красавица, едешь ты и к кому?

— Да к кому же боле-то?.. К тебе, свет наш, к вашей царской милости.

— Ах, вот как! Гарно, гарно. — И, скосив черные, на выкате, глаза, Пугачев еще крепче прижал ее к себе.

Кругом глубокие заструги снега — степной ветер в прошлую ночь похозяйничал на славу. Снег, снег да синее небо над головою! Не забыть Усте никогда этой гонки во весь дух, плечо в плечо с чернобородым царем-батюшкой.

В Бердах снегу тоже немалые сугробы. Пугачевские крестьяне да казаки, покряхтывая переговариваясь, разгребали снежные заносы пред государевым

двором. На крутой, одетой железом крыше полощется под ветерком императорский штандарт—большой желтый флаг с черным орлом в средине. Орла намалевал, как умел, сержант Дмитрий Николаев.

Он и сейчас сидит под окнами в нижнем этаже, в отведенной ему горенке государевых палат, и трудолюбиво срисовывает с медной монеты большого орла. Надо сделать на картоне три таких рисунка, выстричь, раскрасить суриком и приклеить к золоченым стенам в верхнем этаже. Государю будет это приятно.

Молодой сержант постепенно входил в новый, непривычный быт и, главное, в житейские интересы пугачевцев. Душевный разлад день ото дня ослабевал. Пред глазами поистине совершалась сказка: армия Пугачева росла, на клич самозванца устремлялся со всех сторон народ, а среди простого люда были и такие, как Падуров. Один за другим передаются они в лагерь Пугачева и во всеуслышание провозглашают чернобородого бродягу своим истинным царем. Это ли не диво!

Из разговора с Падуровым, из манифестов и указов, что сочиняли они вместе, наконец из поведенья самого «батюшки» сержант Николаев начинал угадывать, что над всей этой дерзкой заварухой веет вещий дух вольной вольности, что народ сбегается к самозванцу не зря и не только для разгула, грабежа да пьянства, как раньше думал Николаев. Нет, люди искали в лагере мятежника правды и возмездия врагам своим.

Понимать-то Николаев это понимал, однако... он хоть и бедный, да все же дворянин. Нет, стыдно, стыдно ему идти против присяги государыне, против издревле существующих на Руси порядков. Раб есть раб, господин есть господин, — так уж самой природой установлено: уши человека не растут выше головы, и негоже рабу быть выше господина.

И вот снова качаются его мысли вправо-влево, как маятник, и так нехорошо, и этак плохо. И уж он сам себе не мил — слюнтяй какой-то!..

А все ж таки Пугачев по сердцу Николаеву. Люб ему простой этот человек. Не царский сан, человека

любит в нем сержант. Так думал Николаев, подмалевывая картонного орла. Потом его мысли, как фонарь в ночи, повернули к родимому Яицкому городку. «Даша, Дашенька...»

Густым наплывом охватили его милые, неповторимые воспоминания. Тихие вечера над Яиком, соловьиные трели-посвисты в кустах прибрежных, бледные звезды в небе. Плывет, плывет счастливая лодочка, а в ней — счастливых двое. «Митенька, — едва слышно говорит она, — ну до чего же, Митенька, сладко соловьи поют». А у самой в глазах такой восторг, и вся она полна такою нежной и чистой страстью, что Митенька, забыв себя, и ночь, и звезды, вдруг оказался, как орех в скорлупе, в некоем ограниченном и тесном мире: все кругом исчезло, весь мир замкнулся в Дашеньке. Вот она, в белом с пышными оборками платье, с васильковым венком на голове... Он бросил на дно закачавшейся лодки мокрое весло, встал перед Дашей на колени, а она, с удивившей молодца смелостью, стала целовать его в губы, в лоб, в глаза. Целует, а сама вздыхает да нашептывает: «Ой, грех... ой, грех, Митенька...»

Вспоминая все это, такое недавнее и далекое, такое милое и несбыточное, сержант Николаев судорожно передернул плечами, будто собирался всхлипнуть. Но он удержался от слез.

— Митрий Павлыч, — услышал он над собой знакомый голос.

Это яицкий казак Кузьма Фофанов. Жил казак здесь, вместе с Николаевым, в подызбице, исполняя обязанности дворецкого, был хранителем «военной добычи» государя, а когда стряпуха Ненила напивалась, то и царским поваром.

— Митрий Павлыч, тебя полковник Лысов кличет.

— Митька Лысов? — переспросил сержант. — Чего ему нужно от меня? — Он надел шапку, татарский азям из армячины и вышел на воздух.

Он не любил и побаивался этого нахального и злого Лысова. Особенно же после случая с письмом Дашеньки. Он знал, что полковник злобствует на него и каждому внушает, что вот, мол, он, жидконогий

сержант-дворянчик, сумел подлизаться к государю и оттирает от «батюшки» верных слуг — простых казаков... И уже иные, ради наветов Лысова, стали коситься на сержанта.

На открытом крыльце с точеными перилами и дальше, в сенцах, толпились отборные яицкие казаки—государев конвой. Кое-кто из них сметал с лестницы лузгу подсолнечных семечек, другие смазывали ворванью сапоги или, сняв шапку, расчесывали кудри медным гребнем; четверо, примостившись на приступках, дулись в карты.

Позвякивая заливчатым колокольчиком и бубенцами, зверь-тройка врезалась в дремотную слободу Берды. Караульный забрякал в колотушку, его песик о трех лапах сипло взлаял.

— Государь, государь! — взголосили подскакавшие ко дворцу казаки.

И все вдруг засуетились. Забил барабан, почетный караул рослых молодцов — сабли наголо — выстроился снизу вверх по обе стороны лестницы, на крыльцо выбежал в новом чекмене дежурный Давилин, выскочили как угорелые две девки — Ненила и татарка, подхватили батюшку под локотки.

Пугачев на ходу приказал:

— Покличьте-ка начальника артиллерии Чумакова. Пущай внизу подождет, в приемной!

Он велел Нениле провести Устю в заднюю горницу, а когда подъедет с Чикой другая девушка, так и ее туда же.

— Я не замедлю, — сказал он Устинье Кузнецовой. — В тую минутку и доложишь мне о делишках своих.

Вскоре прибыла Даша в сопровождении Зарубина-Чики. Он сказал:

— Ты, Устинья, говори государю всю правду, не любит он, когда врут. Ждите. А я Митрия Павлыча поищу, он, сказывали, ушел кудай-то.

Возвратился Пугачев. Он в новом недлинном кафтане из тонкого сукна, в голубой шелковой рубахе

с высоким воротом, в широких шароварах и желтого цвета козловых сапогах. В его руке белый узелок с пряниками, орехами, сахарными леденцами. Он положил узелок на ломберный стол, накрытый вязаной скатертью, сказал:

— Отведайте-ка сладенького.

Девушки взяли по мятному прянику в виде рыбки, сели на стулья. Пугачев уселся на сундук, покрытый мохнатым ковром. Он не сразу оторвал свой ожигающий взор от красивого лица Устиньи. Статная, не по летам дородная казачка сидела прямо, грудь вперед, не сутулясь, как Даша, и перебирала концами пальцев, будто играя, тугую, перекинутую через плечо золотистого цвета косу. С задорным бесстрашием и любопытством смотрела она, не мигая, в лицо государя.

2

— Здорово, Митрий Павлыч, — сощурив хитрые глаза, вкрадчиво поприветствовал подходившего сержанта сухощекий, с козьей бороденкой Митька Лысов.

— Желаю здравствовать, господин полковник, — вежливо, чтоб не раздражать злого человека, ответил сержант.

— А ты чего это все дома да дома торчишь? Батюшку-то и без тебя есть кому сторожить. Ха-ха... Батюшка-т поди не сахарный, не растает. А я к девкам гулять иду, составь компанство...

Сержант Николаев неохоч был до гулянок, он вел жизнь чистую, как подобает жениху, но ничего не поделаешь, надо же господину полковнику уважить. И сержант, смалодушничав, ответил:

— Хоть и недосуг мне, да и нездоровится, но раз вы желаете — извольте. — И, длинный, сугорбленный, он пошагал рядом с низкорослым Митькой Лысовым.

— Вот гарно! — сказал Лысов. — Слободские девки на мельнице собираются, у мельника свои две девки, наливные да пригожие, как спелые дыни. Ну, плясы там у них, винишко.

Уже спустился вечер. В жилищах огоньки зажгли. Прошел старик сторож с колотушкой, к его кушаку привязан трехлапый пес, он култыхал за стариком и покряхтывал. Митька Лысов вложил два пальца в широкий рот и пронзительно свистнул. Пес хамкнул на него, караульный отпрянул прочь и с перепугу забрякал в колотушку.

Из сутемени выдвинулись на свет четыре молодых казака, двое с балалайками, двое с длинными дудками. Сняв шапки, они поклонились полковнику и как-то бессмысленно захохотали. Сержант заметил, что они пьяны. У одного, долгоносого, из кармана свитки торчит зеленого стекла штоф, на ходу слышно, как в нем булькает жидкость.

Тронулись вперед. Казаки во всю мощь горланили песни, наяривали на балалайках, насвистывали в дудки. Слобода кончилась, дорога пошла чистым полем. Вдали едва-едва виднелись два мутных огонька, как два глаза степного волка.

— Вот и мельница маячит... Видишь, сержант? Там и девки, — сказал Лысов.

Сержант молчал. У него затосковало сердце. Ему хотелось повернуть обратно, однако сзади него шли два казака и загадочно похихикивающий Лысов.

Сумерки сгущались все больше, облачное низкое небо было мрачно, справа темнел кустарник у речки, степь казалась нелюдимой, как заброшенное кладбище. Но вот конный разъезд казаков-пугачевцев.

— Стой! — И три всадника наехали на веселую компанию. — Кто? Куда? Пропуск!

— Я полковник, — поднял бороденку Лысов. — С приятелями гулять идем.

— Добро, — сказал голоусик с чубом из-под шапки. — На мельницу, чего ли?

— Туда, туда, — ответили дружки Лысова и захохотали.

— Казаки, — сказал разъезду сержант Николаев, — возьмите меня кто-нибудь к себе на-конь, мне занедужилось чего-то.

— Нук-чо... Садись ко мне, господин сержант, — предложил один, чубастый.

— Куда?! — И Митька Лысов с долгоносым казаком сгребли сержанта за азям. — Какой же ты, к чертовой бабушке, товарищ, раз компанство рушишь?.. Разъезд! Айда своим путем-дорогой! В слободе-то государя ждут, — скомандовал полковник.

Всадники двинулись вперед.

Почуяв неладное, Николаев молча бросился за всадниками вдогонку. Но его снова крепко схватила пара злобных рук.

— Ку-у-да?!

С великой тоской посмотрел сержант в спины удалявшемуся разъезду, еще раз рванулся и, поняв, что у него нет сил разомкнуть вражеские руки, бросил Митьке Лысову в упор:

— Чего тебе надо, Лысов?.. Смотри, государь узнает... Пусти меня!

— Ага, затрясся, барин?! Нет, не пустим, — задышал сквозь вздернутые ноздри Лысов. — А то ты нас Пугачу... То бишь... Тьфу ты!.. Ха-ха-ха... А знаешь ли, сволочь, что таких вот дворянчиков батюшка-то в речке топить нам указал?

— Врешь, негодяй! — не помня себя, с отчаяньем завопил сержант и что есть силы ударил Лысова сверху вниз по голове. Тот, чавкнув зубами, слетел с ног, а Николаев опять бросился в сторону Берды. Но длинноносый успел подставить ему ногу и стукнуть чем-то тяжелым по затылку. Сержант Николаев во весь рост, с маху, упал лицом в снег и, теряя сознание, видел, как к нему подбегал с арканом Митька Лысов.

Тем временем Пугачев, заглядывая в порозовевшее круглое лицо тихой Даши, говорил:

— Так сказывай, красавица, кто такая и откуда прибыла?

— Я приемная дочь полковника Симонова,— ответила Даша дрогнувшим голосом.— Зовут меня Дарьей.

— Симонóва? Коменданта Симонова?!

Даша тихо ответила: «Да», — и поникла головой. Брови Пугачева сдвинулись, и не то обиженно, не то сердито оттопырилась усатая губа.

Дверь в соседнее золотое зальце была закрыта неплотно. Глазастая Устя досмотрела, как в просвете раза два мелькнула в зальце женская фигура, и слышно было, как там прошуршало шелковое платье. Летучие женские шаги. «Кто же это там? Да уж не Харлова ли барынька?» — подумала Устинья. Она взглянула в строгие пугачевские глаза и, сделав выражение лица просительным и кротким, сказала:

— Даша-то, надежа-государь, сиротинка! Приемная она у Симонова. Ты не гневайся на нее, ваше величество, она ничем не виновата пред тобой.

— Знаю, что не виновата, — ответил Пугачев и почесал под бородой. — Мы супротив баб войну не ведем... А иным часом приключится и баб вешаем. Эвот комендантша Елагина в Татищевой из ружья в моих пуляла, ей-ей. Ну, знамо дело, повелел я вздернуть!

В золотом зальце тихий стон послышался. Пугачев покосился на полуоткрытую дверь, по его подвижному лицу прошла судорога. Помедля, он спросил Дашу:

— Твой Симонов за государя меня не признает, а считает за Пугачева какого-то. Ну, да он у меня еще спознается с веревкой. А ты, как ты? Говори, не таясь, по правде...

— Ой, не спрашивайте, ради бога, об этом, — заломила Даша руки и умоляюще поглядела в хмурое чернобородое лицо его. — Я признаю вас добрым, милосердным человеком. Вот и Устя об этом говорила и ваш казак Чика, что ехал сейчас со мной. Он очень расхваливал вас. Ведь вы защитник всех несчастных. А я, сирота, действительно несчастна. Родных отца и матери у меня нет... И единственно кто дорог мне, это... — Голос Даши дрожал, и устремленные на Пугачева глаза ее были полны слез. Вдруг, всхлипнув, она бросилась пред ним на колени.

— Батюшка, ради всего святого, помилуйте его, отпустите его со мной... Он мой жених...

— Да кто таков? О ком ты? Ась?

— О Митеньке. О Дмитрии Павлыче Николаеве прошу, — проговорила Даша.

— Эге-ге... Вот оно дело-то какое! — Пугачев во все лицо заулыбался, свесил ноги с сундука, встал и ловко поднял обливающуюся слезами девушку. — Не плачь, сирота, — сказал он, — все будет по-твоему. Хоть завтра и свадьбу сыграем. Только знай: ни тебя, ни сержанта Николаева я от себя никуда не пущу. Суженый твой мне тоже по сердцу пришелся. Согласна ли? Брось изменника Симонова. Замест него я, царь, твоим отцом буду...

Было просиявшее лицо Даши снова омрачилось. Она низко склонила голову и, молча вздыхая, роняла слезы.

Пугачев тоже вздохнул, коснулся рукою плеча Даши и тронул за локоть Устинью:

— Эх, доченьки вы мои, милые, пригожие. Коротко счастье-то девичье ваше на свете живет, и доведется, видно, мне, государю, просьбицу вашу обдумать, да и вам раздуматься треба...

— Батюшка, — проговорила Устинья. — Я ведь тоже к тебе с великой просьбицей: отпусти ты домой Пустобаева-старика, — сказала Устя, отвешивая Пугачеву поясной поклон. — Дюже шибко по нем старуха его убивается, а он мне родных кровей человек.

— Пустобаева? Что ты, что ты! — замахал Пугачев руками, но глаза его улыбались. — Ведь Пустобаев мне присягу принимал. Ну, девки, этак вы всех верных слуг моих расхитите... Ой, да сколь же вредны вы, — покачал он головой.

Дверь скрипнула, просунулась чья-то бородатая голова.

— Войди, полковник, — сказал Пугачев.

В горенку вошел вперевалку, на кривых ногах, начальник артиллерии Федор Чумаков. Потряхивая широкой бурой, как медвежья шерсть, бородою, он низко поклонился Пугачеву, затем, прищурившись, оглядел девушек.

— Батюшки мои! — вдруг воскликнул он. — Да, никак, землячки?

— Землячки, землячки, Федор Федотыч, — улыбаясь, ответила Устя, а Даша беспокойно отвернулась. — Я вот твоего двоюродного братца выручать приехала, государю челом бить.

— Это кого же? Не Пустобаева ли? — спросил Чумаков.

— Вот что, Федор Федотыч, — перебил Чумакова Пугачев. — Дельце у нас знатное на очереди.

— Слушаю, ваше величество, — опустил руки по швам пожилой Чумаков; его круглое, толстоносое лицо стало серьезным и внимательным.

За окнами стемнело. Чубастый Ермилка внес горящие свечи в медных подсвечниках и, пока ставил их на стол, спроворил сунуть себе со стола в рукав кусок леденца и пряник. Подморгнув Усте, он крадущейся походкой, вывертывая пятки, вышел.

— Люди у тебя в порядке, полковник?

— В порядке, ваше величество.

— Нам, мой друг, — сказал Пугачев, — треба дурака Рейнсдорпа за нос провести. Ты вели-ка людям сей ночи как можно ближе к валу крепостному прокрасться. И пускай они там костров шесть, а то и поболе разложат. Да чтобы ярко костры горели, да чтобы костер от костра шагов на полтораста каждый. Чуешь, полковник? А коль скоро запалят костры, пускай на сторону втикают. Я чаю, Рейнсдорп перепугается да сослепу по кострам из пушек палить учнет. А ты, друг, тем временем на другом участке, темнотой-то укрываясь, пушки выкати. Да сколь можно ближе к крепости-то. Да чтоб не скрипнуло, не брякнуло... Чуешь?

— Чую, батюшка, как не чуять. Сколь пущенок-то?

— Как это — сколь?.. Все! Мы на зорьке трах-тарарах Рейнсдорпу учиним... Штурм!

Пугачев довольно долго говорил с Чумаковым. Наконец Чумаков ушел. В горенку из золотого зальца заглянул Давилин и кивком головы вызвал к себе Пугачева. Там, кроме Давилина, был еще и Чика. Вдвоем они подхватили царя под руки, отвели в дальний угол, к печке, зашептали наперебой:

— Батюшка, сей вечер Митька Лысов с четырьмя казачишками прикончили сержанта Николаева, в речке утопили. Нами все дело разобрано. Лысов с краю-то в отпор шел, а тут сознался. — И они вкратце рассказали, как им удалось быстро распутать дело.

— Ай-яй-яй... — закрутил головою Пугачев и с шумом выдыхнул воздух. — Как... моих людей убивать?!

— Я его, ваше величество, — с горячностью сказал Зарубин-Чика, — я его, подлюгу, самоуправца, Митьку этого, на дыбки поднял бы!..

— А ты не учи меня! Созовите-ка через часок-другой атаманов об это место. Всех! И чтобы Лысов всенепременно тут же. Ах ты боже мой! Как теперь с девками-то мне быть? Вот что, Чика. Распорядись, пожалуй, чтоб немедля тройку заложили, да девок обратно, в Илецкий городок, с охраною. А оттудова они дорогу сами найдут. Ну их к чумару! По мне, лучше самую лютую сечу с врагом выдержать, чем бабью голосьбу слухать. — Он помолчал. — Да, вот еще что, голубь мой, — снова обратился он к Чике, — поди-ка ты к девушкам да перекинься с ними словечком... А о сержанте-то, мотри, молчок. Чуешь? Верней же того ты наскажи-ка девкам-то быль-небылицу. Пропал-де сержант Николаев без вести. Намеднись послал-де царь сержанта в Оренбург к губернатору с приказом крепость сдать, а он, видимо, по малодушию изменил нам и Рейнсдорпу передался. Стало, по всей видимости, в Оренбурге он теперь, жених-то, мол, твой, сержант этот. Чуешь? Значит, иди. А здеся-ка вам, кундюбочки, мол, оставаться не можно, штурм будет. Так и толкуй девушкам.

Выслушав Чику, Устинья задумалась, а Дашенька вся вдруг просветлела. «Слава богу, слава богу!» — радостно твердила она про себя. Ей было очевидно, что бог сжалился над ее возлюбленным и спас его от великого бесчестья. И только часом позже, сидя в санках и вслушиваясь в лихое гиканье ямщика, она почувствовала такую нестерпимую тоску, что вслух разревелась.

Над степью шумела темная, непогожая ночь. Колючий ветер, озоруя в просторных степях, крутил летевший с неба снег, переметал обставленную вешками дорогу.

3

Время перевалило за полночь, а Пугачев с утра еще не пил, не ел.

Стряпуха Ненила с сонными глазами накрыла ему в золотом зальце стол, подала в оловянном блюде щей из кислой капусты со свининой. Он покрошил во щи чесноку, с жадностью, обжигаясь, съел и велел еще подать.

Вошли Овчинников, Творогов, Давилин, Чика и с ними Митька Лысов. Атаманы сказали:

— Хлеб да соль твоей милости!

— Благодарствую, — ответил Пугачев. Он пригласил всех, кроме Лысова, присесть к столу. — А ты, Лысов, подь к печке.

Лысову это не понравилось. Он отошел к печке, но по-сердитому прищурился на Пугачева.

— Вот, други мои, — обсасывая свиной хрящ, начал Пугачев. — У меня, к великому горю моему, секретарь загиб, сержант Николаев. А я без книжного человека, как без рук. Да, спасибо, заместитель в наличности, есть кому сержанта заменить. — Тут он поднял голос до строгости и круто обернулся к печке: — Повелеваем тебе, Лысов, отныне быть нашим секретарем. Отправляйся-ка эвот в тую горницу, подадут тебе там всякий письменный припас, и немедля сготовь ты губернатору Рейнсдорпу указ мой, чтоб крепость сдавал, а то горазд худо ему доспеется. Всякие умственные резонты подпусти, чтоб посолонее вышло, чтоб читал Рейнсдорп да носом крутил.

Вдруг побагровевшее лицо Лысова вытянулось, рот раскрылся, козья бороденка обвисла, но прищуренные глаза по-прежнему смотрели на Пугачева нагло, по-ехидному. Переступив с ноги на ногу, он сказал:

— И чего ты, батюшка, вздумал издевку чинить надо мной? Сам ведаешь, что в грамоте я навовсе темный.

Пугачев ударил кулаком в столешницу (подпрыгнула, затарахтела миска) и на полный голос закричал:

— Так как же ты смел, наглец, моего Николаева пагубе предать?!

— А ты, батюшка, того... не гайкай... Захлопни роток-то свой. Я, слава те Христу, не оглох еще,— дерзко прогавкал Лысов и, поправив кушак, откашлялся.— Ежели мы и прикончили дворянчика, так уж, верь, не зря. Он, гнида, твою милость материть почал, а я вступился за тебя, а он на меня, как волк бешеный, едва не убил.

— Врешь!—снова закричал Пугачев, вновь грохнув кулаком в столешницу.—Ты бабьих-то сказок не толкуй мне! Я Николаева почище тебя знаю. Он на меня черным словом не замахнется. Да и вас пятеро было супротив одного. Врешь, смрад ты этакий!

Наступило молчание. Лысов расстегнул ворот рубахи и, сипло дыша, раскашлялся. Затем едва слышно забормотал:

— Он, батюшка, хошь и грамотей хороший, а все же барин, барская душонка...

— Молчи! Барин ли, татарин ли—не твоего ума дело! Иной барин, да поверней тебя, смрада! Скользкий ты человечишка, Лысов, что твой налим.

— Я-то налим,—озлобленно проверещал Лысов,— а ты вот в осетрах ходишь. Дак ты уж против нас-то, против атаманов, сдержись, в щеть-то не иди... А то... неровен час...

— Молчать, паскуда!—Пугачев вскочил и, сжав кулаки, шагнул к Лысову. Тот, выкинув руку вперед, в страхе пятился от грозного Пугачева, бормотал:

— Да ты не больно-то... Не ты меня в полковники выбрал, твое величество, казачий круг выбрал.

Пугачев, заглушая его голос, приказал:

— Давилин! Взять полковника Лысова под арест. На хлеб да на воду. Снять с него саблю...—и, обратясь к Лысову, погрозил ему пальцем:—Последнюю предосторогу я тебе делаю!

Когда Лысова обезоруживали, он шумно пыхтел, скрежетал зубами, из глаз у него катились слезы.

— Погодь, погодь, батюшка! — придушенно выкрикивал он. — Сочтемся... Чистоганчиком отблагодарю...

— Не угрáживай!— И Пугачев вышел, резко хлопнув дверью.

Огни во «дворце» один за другим стали погасать. Сонная тишина в доме и на улице. Разве что всадник промчится или спросонок взбрехнет озябший пес. Еще слышно было, как тикают стенные английские часы в золотом зальце да за печкой однообразно и размеренно чирикает сверчок.

Прошло два часа. Вдруг тьма вздрогнула: в царской спальне внезапно возникли истошные крики, ругань, пронзительный визг, вопль, хлесткие удары нагайкой.

С заднего крыльца выскочила во двор полураздетая Лидия Харлова и, захлебываясь неутешными рыданиями, побежала мимо всполошившейся стражи. Она бежала чрез тьму, чрез огороды — вдаль...

А в четвертом часу ночи в Бердах забил барабан. Во «дворце» зажглись огни. Атаманы-пугачевцы съезжались на конях к царскому крыльцу. Вскоре на крыльцо вышел в сером суконном полушубке Пугачев. Он был мрачен. На левой щеке его, от виска к бороде, темнели царапины, и в свете, что шел снопом из окна, было видно, как слегка подергивалось припухшее, тоже левое, веко.

Ермилка подвел царю рослого коня. Пугачев проворно вскочил в седло, взмахнул рукою. Всадники гурьбой двинулись за ним. «Нет уж, хватит, — бормотал он про себя, сплевывая по ветру. — Правильно сказывают: с бабой свяжешься, сам бабой обернешься. Нет уж, будет!.. Нам и своих, природных, отбавляй — не надо...»

— Ты что-то молвил, батюшка, ваше величество? — подъехав к нему, подал голос Чика.

— Так это я, — не сразу откликнулся Пугачев. — Вот, к примеру, эта Харлова у нас... Как волчицу ни корми, а она все в лес да в лес глядит. А ведь женщина-то какая... Загляденье! — воскликнул Пугачев и глубоко вздохнул.

— Эх, батюшка, — возразил Чика. — На мой мужичий характер, всякая баба хуже козы. Да у семи баб и половины козьей души не будет... Ха-ха-ха!..

— Захлопни рот, Чика! — осадил его Пугачев. — На дело едем.

— Винюсь, батюшка, прошибся.

Ночь была еще в полной силе. Расшалившийся с вечера ветер почти угомонился. Он лишь ползал по лысым взгорьям, да, бросаясь в крутые балки, исподтишка шевелил там черные оголенные кусты. И ни единого звука вокруг, кроме этого ползучего ветреного шороха да бодрящего слух снежного скрипа под конскими копытами.

ГЛАВА XIV

Хлопуше оказано доверие. Злодейская расправа. «Оженить надо батюшку». Воинственный казак

1

Выехав за слободу, всадники увидели справа от себя шесть бурно пылавших в темноте больших костров. Хитрость Пугачева удалась: с ближайших форпостов крепости по пожарищу открыли орудийную пальбу.

Тем временем, пользуясь попутными к городу местными прикрытиями, Пугачев с Чумаковым довольно искусно расставили подвезенные среди ночи пушки, выслали вперед цепи стрелков и чуть свет открыли канонаду. Крепость отвечала. Перестрелка с перерывами продолжалась почти весь день, но без всякого успеха для обеих сторон: только попусту тратили порох и ядра.

К крепостному валу во время перестрелки подъезжали одиночные пугачевцы и, не страшась пуль, кричали:

— Эй, господа казаки! Защитнички! Одумайтесь-ка, поклонитесь-ка государю Петру Федорычу! Он, батюшка, с нами.

— Никаких батюшков ваших не признаем, мы матушку Екатерину признаем! — орали в ответ с вала.

— Вашей Катерине наша Марина двоюродная Парасковья! — в ответ бросали озорники пугачевцы.

К вечеру, собрав совет, Пугачев держал такое слово:

— У Рейнсдорпа на каждую нашу пушку по пяти своих. Нет, детушки, нужды нам почем зря людей расходовать. Мы их, изменников, ежели не сдадутся, голодом выморим!

Втайне он не терял надежды как-нибудь захватить крепость врасплох. В течение двух недель, почти ежедневно, он подводил пушки к крепостным фортам и размещал их всякий раз ближе да ближе к цели. Снова орудийная перепалка, снова приступ, снова ответная вылазка защитников, короткая схватка — и беспорядочное отступление осаждающих. Преобладающее количество крепостной артиллерии явно брало верх над пугачевцами, и тогда Емельян Иваныч решил, что «в крепость влезть не можно, с малым числом пушек крепости не одолеть».

Но вот стали приходить известия, что небольшими самочинно возникавшими отрядами пугачевцев заняты на Урале купеческие заводы: Воскресенский, Преображенский и Верхотурский. Вскоре в стан Пугачева были доставлены и трофеи: несколько пушек, снаряды, порох и деньги.

Емельян Иваныч всему этому был много рад и начал изыскивать способы к дальнейшему развитию своей артиллерии. Он направлял в разные стороны указы, или, как их называли в Петербурге, «прельстительные письма». Засылал на места и своих людей. Как-то он приказал разыскать и доставить к нему Хлопушу-Соколова.

Огромный, слегка подвыпивший Хлопуша, в новых валенках, черненом нагольном полушубке, перехваченном красным кушаком, подойдя к дому Пугачева, полез было на крыльцо, но его остановил караул:

— Куда прешь! Ослеп, что ли?..

— К самому требуют. Шигаев прибегал за мной с час тому назад.

— Эй, Маслюк! Давай во дворец к дежурному! Безносый-де просится.

Заскрипели ступеньки, запела скрипучую песню дверь, через минуту Маслюк крикнул сверху:

— Пущай идет!

Хлопуша только головой крутнул на новые порядки, выругался про себя, сказал: «Оказия», — и грузно пошагал наверх.

Его провели в боковую горницу. На окошках цветы, посреди пола, в кадке, большое заморское деревцо с разлапистыми листьями, над ним, у потолка, русский чиж в клетке.

Царь играл у окна с Шигаевым в шашки. На крутом плече у Пугачева, перебирая лапками и задрав хвост, ужимался, мурлыкал, терся головой о волосатую царскую щеку белый котенок.

— А-а, Хлопуша! — произнес Пугачев и «съел» у зазевавшегося Шигаева «дамку». — Сыт ли, здоров ли?

— Благодарим покорно, покудов сыт и в добром здравии... чего и вашей милости желаем.

— О моей милости не пекись, за мое здоровье попы во всех церквах, снизу доверху, бога просят.

Хлопуша умолк. Волосы у каторжника гладко причесаны, борода аккуратно подстрижена, взгляд диковатых белесых глаз вдумчивый, чрез искалеченный нос — чистая, поперек лица, повязка.

— А я ведь думал, Хлопуша, что ты все у меня повысмотришь, да и к Рейнсдорпу обратно, — продолжал Пугачев, прищуривая правый глаз на шашки.

— Пошто мне бегать, — прогнусил Хлопуша. — Ходил однова тайком к своей бабе с робенчишком, да вот, сам видишь, опять с тобой...

— Ну, и на том спасибо. Коль ты со мной, стало — и я с тобой... Три шашечки зеваешь, Максим Григорьич. Все три, брат! — Пугачев с резким стуком перекрыл у Шигаева шашки, затем искоса, сбоку, взглянул на Хлопушу и спросил: — Ну как там, у Рейнсдорпа, порядки-то каковы, народ-то что гуторит?

— А что́ народ? Народу положено губернаторишку костить. Да и поделом. Ни тебе фуража для скотины, ни тебе пропитанья для жителей на запас. А как ты его нынче кругом запер, ему теперича ни вздохнуть, ни охнуть!

Пугачев скосил в улыбке рот, но вслед за тем ойкнул и сбросил с плеча котенка: в припадке нежности зверюшка запустил когти ему в шею. Котенок встряхнулся, подбежал к Хлопуше и принялся тереться мордой о его валеный сапог. Верзила нагнулся и огромной горстью взял котенка к себе на грудь.

— В шашках зевака ты отменный, Максим Григорьич, — снова обратился Пугачев к Шигаеву, — мотри, не прозевай, друг, сена в степу.

— Да уж прозевали, батюшка Петр Федорыч, прозевали, — потупился Шигаев и виновато замигал.

— Как так, прозевали? — воскликнул Пугачев. — Шутишь ты?

За Шигаева откликнулся Хлопуша:

— Сей ночи сотни четыре городских подвод на степу были, большую уйму сена в город ухитили, да поди не менее подвод в лес по дрова губернатором отряжено.

— Прозевали, ваше величество, прозевали, — подавленно твердил Шигаев, встряхивая надвое расчесанной бородою.

Пугачев опрокинул на пол шашечницу, круто поднялся из-за стола, закинул руки за спину, принялся взад-вперед вышагивать.

— А где же наши разъезды были, где секреты? Спали, что ли? Ни порядку, ни строгости у нас, Максим Григорьич!

— Нету, нету, батюшка, — с горечью в голосе согласился Шигаев. — Ни сего, ни оного.

— Повесить! — гаркнул Пугачев, остановившись возле Хлопуши. Тот сбросил с рук котенка и попятился.

— Кого, батюшка? — покорно вопросил Шигаев.

— А кто на карауле сей ночи в степу спал, вот кого!.. Выбрать одного да для ради острастки и вздернуть... Под барабанный бой! И чтобы всех собрать, чтобы принародно!

Вошедший Падуров, поклонясь Пугачеву, с минуту наблюдал за ним, затем на цыпочках подошел к Шигаеву, остановился позади него, шепнул ему на ухо: «Встань — видишь, государь на ногах». Шигаев торопливо поднялся.

Падуров, взяв стул за спинку, произнес:

— Разрешите, ваше величество...

Пугачев сердито уставился на него глазами.

— Чего разрешить-то? Уж не опять ли жениться задумал?

— Разрешите сесть, ваше величество. — И молодцеватые усы Падурова дрогнули от улыбки.

— А! — воскликнул Пугачев. — Садись, садись... И ты, Шигаев.

У Хлопуши пот проступил на лбу. Уж если этот Падуров, заседавший от казачества у самой царицы на большом всенародном совете, так держится тут, даже величеством Пугача величает, то... чем черт не шутит: вдруг и впрямь он не Пугач, а царь взаправдашний!

— Я полагал бы, государь, — говорил между тем Падуров, — когда нашей силы скопится поболе, учредить у нас Военную коллегию.

— На манер той, где Захар Чернышев сидит? — живо откликнулся Пугачев.

— Вот! И чтоб всякий из начальников ваших был к чему-нибудь определен.

— Ништо, ништо... Гарно! — сказал Пугачев. — Поставим и мы графа Чернышева.

— Ваше величество, — робко ввязался Шигаев. — Хлопушу-то отпустили бы, чего ему тут тереться? Ведь он любопытник наторелый.

С обидой взглянув на Шигаева, Хлопуша обратился к Пугачеву:

— Я могу и уйтить, ежели меня на подозрении держите...

— Ан вон и нет, мой друг, — возразил Пугачев, подсобляя Шигаеву ногой сгребать на полу рассыпанные шашки. — Ежели б я подозрение имел, так уж, верь мне, Соколов, давно бы тебя черви грызли... У меня к тебе государственное поручение примыслено. Ну, таперь подь к печке и сядь. Да хорошень прислушайся, что скажу.

Услыхав слово «государственное поручение», Хлопуша разинул волосатый рот и попятился к печке. «А ей-богу, царь! Либо ловко прикидывается», — сказал он себе.

— Бывал ли ты когда-нито в Авзяно-Петровском дворянина Демидова заводе? — спросил его Пугачев.

— Не доводилось, — молвил Хлопуша, усаживаясь на указанном ему месте.

— Так вот что, Хлопуша-Соколов... Приказываю тебе моим царским именем: возьми-ка ты в провожатые себе крестьянина Иванова Митрия, что явился перед наши царевы очи с того завода, да еще прихвати доброконных казаков пяток и поезжай немедля со господом в оный завод. Путь не близкий — не мене как триста верст, а то и с гаком... И толкуй там моим вышним именем... Слышишь? Царским моим именем! — поднял голос Пугачев и сурово покосился на Хлопушу.

Того словно ветром вскинуло.

— Слышу, надежа-государь, — откликнулся он стоя.

— Так вот, объяви работным людям мой писаный указ. Да разузнай, не можно ли промежду них сыскать мастера — мортиры лить? А ежели это дело у них налажено ране было, пущай того дела не прекращают. Нам мортиры во как надобны! — И Пугачев провел ребром руки у себя по горлу. — Понял, Соколов?

— Понял, — начал Хлопуша, — понял...

— ...ваше величество, — подсказал ему Падуров.

Хлопуша тихонько взглянул на Падурова и гнусаво промычал что-то в тряпицу, но Пугачев махнул рукой:

— Иди, Соколов, сготовляй себя в поход.

Проводив Хлопушу, а вслед за ним и Шигаева, Пугачев сказал Падурову:

— Вот что, Тимофей Иванович, уж ты не больно-то церемонии у меня заводи. Я твое усердие понимаю и благодарствую, конечно. Только ведай: порядки нам положены не барские, не дворцовые, а какие есть — казацкие. Давай-ка, брат, как-нито попроще.

— О дисциплине пекусь, государь.

— Гарно, гарно, о дисциплине пекись — без нее ни страху, ни порядку. Только уж когда мы со своими ближними — можно, пожалуй, и не столь истово. Эх, Тимофей Иваныч, жалко мне сержанта Николаева, — неожиданно перевел он разговор. — Шибко, признаться, к людям я привыкаю. Похоже, и ты из таких?

— Из таких, ваше величество.

— А из таких, так слухай. Замотался я, веришь ли, с этой барынькой Харловой! Намеднись я ей слово, она мне десять, да как завопит, да как затопочет об пол пятками... Ну да ведь и я горяч. В горячке я себя не помню... В горячке я и за нагайку могу!

— Харлову? Нагайкой? — отступил на шаг Падуров и так взглянул на Пугачева, будто увидал за его плечами нечто жуткое, затем, брезгливо дергая усами, пробубнил потупясь:

— Не дело, не дело, государь...

— То-то и есть, что не дело, — проговорил Пугачев раздумчиво. — Об этом самом и я помышляю... Одно, выходит, беспокойство! Истинно говорится: как волчицу ни корми, она все в лес норовит.

— Да ведь и другой сказ есть, ваше величество, сами небось слышали: насильно мил не будешь, — угрюмо сказал Падуров. — Как же теперь быть-то, государь? Негоже ведь нам не токмо что человека, а и тварь бессловесную зря терзать...

Пугачев помолчал.

— А знаешь что, Падуров? — внезапно оживился он. — Бери-ка ты цацу эту себе! Ась?..

— Нет, ваше величество, благодарствую, мне и одной довольно, — с улыбкой откликнулся Падуров. — Будь мы в Санкт-Петербурге с вами, при дворце, — ну, куда бы ни шло! А ведь сами же только что изволили сказывать: порядков дворцовых нам не заводить.

Пугачев понял его и тоже ухмыльнулся, потирая рукою бороду.

— Вижу, Тимофей Иваныч, урок мой за зря не прошел тебе. Мозговат ты... Ну, ин довольно об этом!..

Вслед за Хлопушей был отправлен на сторону и полковник Шигаев. Ему поручалось объехать все верхние яицкие форпосты и собрать верных казаков в стан государя. Царский указ, врученный Шигаеву, начинался так:

«Всем армиям государь, российскою землей владетель, государь и великая светлость, император российский, царь Петр Федорович, от всех государей и государыни отменный». Далее следовало повеление: «Никогда и никого не бойтесь, и моего неприятеля, яко сущего врага, не слушайте. Кто меня не послушает, тому за то учинена будет казнь».

2

Вскоре после отъезда Хлопуши и Шигаева в Бердах произошло кровавое событие.

С субботы на воскресенье, после церковной всенощной, после жаркой предпраздничной бани и сытного ужина с довольным возлиянием, жители слободы крепко уснули. Спал и весь пугачевский дом, лишь чуткие старухи, жившие по соседству с царскими покоями, слышали сквозь сон, как где-то близко прозвучали выстрелы, затем почуялись отчаянные женские вопли, еще выстрел — и все умолкло.

Бабка Фекла вскочила с печки, перекрестилась, поскребла пятерней седую голову, прошамкала: «Наваждение!» — и снова повалилась на печку. Бабка Анна тоже закрестилась, зашептала: «Чу-чу, пуляют!.. А либо сон студный пригрезился».

— Эй, мужики! — крикнула она. — Слыхали?

Но вся изба сытно храпела и во сне постанывала. «Пригрезилось и есть», — подумала бабка, но все же подошла к оконцу, заглянула.

Ночь стояла лунная. Голубели сыпучие снега, туманились далекие просторы, поблескивали мертвым пламенем остекленные окна избенок. Два запорошенных снегом вороньих пугала на огороде были как два безликих привидения с распростертыми руками. И этот огромный огород, примыкавший к дому Пугачева, походил на заброшенное кладбище: взрытые, местами обнаженные от снега гряды темнели, как могилы. В глубине виднелась покосившаяся баня, будто старая часовня на погосте, а молодые вишни с голыми ветвями напоминали надмогильные кресты.

Проезжавший на рассвете задворками крестьянин взглянул из саней в сторону бани и с великого перепугу обмер. Затем он прытко повернул лошадь и, работая кнутом, помчался обратно вскачь.

Вскоре сбежались к бане любопытные.

Раскинув руки, на снегу лежала в одной сорочке босая Лидия Харлова. Возле нее, припав правой щекой к ее груди, лежал малолетний брат Харловой — Николай. Оба они залиты были кровью, пораженные пулями: Харлова в грудь, брат ее — в голову.

Люди ахали, озирались по сторонам, переговаривались шепотом:

— Царь-то батюшка выгнал барыньку-т. Он дворянок-то не шибко привечает. Ох, ох, ох! Мальчишку-то жалко, несмысленыш еще.

Когда доложили о происшедшем Пугачеву, он сбледнел с лица и так выкатил глаза, что окружающие попятились.

Кто же посмел посягнуть на его, государя, священные права живота и смерти? Уж не Лысов ли опять?!

Весь этот день Пугачев был замкнут и мрачен, он не выходил из дому, не принимал никого и к себе.

— Ах, барынька, барынька! Горе-горькое твоя участь, — бормотал он, вышагивая из угла в угол по золотому зальцу.

Следствие по делу о разбое вел атаман Овчинников, а при нем состояли Чумаков и Творогов. Было прошено немало казаков и жителей слободы. Многим известно было, что Харлова, после того как Пугачев однажды ночью прогнал ее от себя, оказалась в руках возвращавшейся с пьяного пиршества компании во главе с Митькою Лысовым. На другую ночь три загулявших татарина да хорунжий Усачев выкрали Харлову у Митьки. Произошла свалка, в которой молодой татарин был убит, казак же из лысовской шайки сильно ранен, а сам Лысов отделался ссадинами. После скандала он бегал с завязанной рукой по улице, грозил, что перевешает всех татар, а барынька все равно будет его.

На допросе Лысов вел себя вызывающе, орал на следователей, угрожал расправиться с каждым посвойски, а в деле запирался. При этом он рассуждал так:

— Убили паскудницу — туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая! Одной дворянкой на свете меньше стало, ну и слава богу!.. Ха! Да ежели бы ее не убить, из-за нее полвойска перегрызлось бы. Она крученая, она и мне чуть нос не оторвала. — И он слегка подергал пальцами свой вспухший, в сизых кровоподтеках, нос.

— Не ври-ка, не ври, Митя! Это татарин тебя долбанул в нюхалку-то, — сказал Творогов хмуро.

Так ни с чем и отпустили Лысова, хотя все были уверены, что убийство — его рук дело. На совещании порешили: «батюшку» в подробности следствия не посвящать, а доложить только, что виновные не сысканы. О Митьке также ни слова, а то «батюшка», пожалуй, самолично с плеч голову ему смахнет, — не шибко он уважает Митьку. А ведь Лысов как-никак выборный полковник, и ежели его казнить, войско-то, чего доброго, всю дисциплину порушит.

Под конец совещания подоспел Чика, да Горшков, да Мясников Тимоха. Чужих в избе не было, за кружкой пива рассуждали про то, про се.

— Хорош-то он хорош, слов нет! — сказал Иван Творогов, когда речь зашла о государе, и криво улыб-

нулся. — А только вот насчет бабьего подола знатно охочь величество! Надо бы его нам сообща боронить от женских-то...

— Либо его от баб боронить, либо баб от него хоронить, — громко всхохотал Чика, покручивая пятерней курчавую, чернущую, как у цыгана, бороду. — К тебе, Иван Александрыч, кажись, Стеша твоя прибыла?

— Прибыла намеднись, — с неохотой ответил Творогов.

— Вот и держи ее под замком, а то батюшка дозрит, заахаешь, мотри.

Творогов был ревнив, а свою Стешу он считал писаной кралей.

— Мы поди воевать сюда пришли, а не с бабами возюкаться, — проговорил он с досадой.

— Вот это правда твоя, — подал голос пожилой, степенный Чумаков.

— Ха-ха-ха! — еще громче залился большеротый Чика. — А пошто ж ты, Федор Федотыч, вдовую-то дьячиху к себе из Нижне-Озерной уманил?

— Ври, ври больше, бо́тало коровье! — буркнул в бороду Чумаков, но глаза его по-молодому вспыхнули.

Тогда все разом загалдели:

— Не таись, не таись, Федор Федотыч! Видали твою духовную, вчерась она курей на базаре скупала. Всем бабочка взяла: и личиком, и станом, и выходка форсистая... Ну, а ежели и култыхает на леву ногу да косовата чуть — изъяну в том большого нету.

Чумаков отмахивался, бормотал:

— Для хозяйства она у меня, при домашности. Куда мне — старый я человек, — и потягивал из кружки хмельное пиво.

Стали перемывать друг другу косточки. Оказалось, у многих крали заведены были. У Падурова — татарочка, у Творогова — собственная красоточка, законная супруга, у Чики — шестипудовая купеческая дочка, у Тимохи Мясникова — тоже какая-то скрытница живет... «Вот только батюшка наш на вдовьем положении».

— Оженить бы, что ли, его? А то не приличествует сюдарю со всякой канителиться, — сказал захмелевший Чумаков.

— Царям на простых жениться не положено, из предвека так, — с серьезностью возразил атаман Овчинников, — а какую-нито присуху подсунуть ему — это можно.

— А ведь, братцы, пригож наш батюшка-то! — выкрикнул похожий на скопца Горшков. — До него каждая пойдет. Эвот как ехал он намеднись, избоченясь, Каргалинской слободой, молодки все глаза проглядели на царя-то. А одна бабенушка до та пор голову поворачивала, глядючи на батюшку, аж в позвонках у ней хряпнуло. Ей-ей!

3

Все разбрелись по своим делам. Атаман Овчинников — с докладом к Пугачеву. Караул у дворца отбил в его честь артикул ружьем, но Овчинников передумал идти с парадного, прошел по черному ходу на кухню, — была у него надежда перекусить, очень проголодался он.

Ермилка сидел на кухонной лавке под окном и в зажатой меж коленями кринке сбивал мутовкой масло из сметаны. Толстые губы его в уголках были запачканы сметаной. Завидя входившего атамана, он вскочил, сунул на стол кринку, одернул фартук и, шлепая губами, крикнул атаману честь-приветствие.

— Вот что, братейник, — сказал Овчинников, — выйди-ка ты да почисти моего коня.

Ермилка взял скребницу со щеткой и тотчас же удалился. Овчинников, улыбчиво прищурив на Ненилу серые глаза, погрозил ей пальцем, молвил:

— А ты, слышь, толстая, не шибко батюшке-то досаждай великатностью-то своей женской, а то ты, краснорожая, присосешься, как пиявица, тебя и не оттянешь. А ему силушки-то на иные подвиги потребны.

Ненила бросила ухват, подбоченилась и зашумела, надвигаясь грудью на Овчинникова:

— Да ты что это, атаманская твоя душа, меня, девушку, позоришь? Да я те за такие твои речи из живого полбороды выдеру!

— Экая ты глупая! — засмеялся Овчинников и присел к столу. — Лучше дай-ка мне перекусить чего-нито малость.

— Знаю я твою малость, — брюзжала Ненила. — Тебе бараний бок подай — ты и его за присест умнешь. Любите вы, атаманы, батюшку обжирать, в расход казну вводить.

Ворча, она все же кинула гостю рушник, а на стол поставила миску со снедью.

Овчинников, уплетая жареные куски баранины с кашей, говорил:

— Надобно жизнь батюшке устроить попышней да поприглядней. Поди скучает он по этой... по Харловой-то?

— И не думает, — азартно заговорила Ненила. — Он арапельником кажинную ночь ее учил.

— Ну, уж и кажинную...

— А что ж, неправду говорю? Учил, да не выучил, зря только утруждался.

— Вот ужо надо будет предоставить сюда штучки две опрятных женщин, смазливеньких, — заговорил, отрыгивая, атаман, — чтоб обихаживали его величество, как полагается во дворце: и постель прибирать, и одежу подать да почистить. А то не по-царски он живет. Страмота!

— И не смей, и не смей, Андрей Афанасьич! — замахала на него руками Ненила. — Сама управлюсь... И не смей!

— Так ты же на кухне...

— И на кухне, и коло батюшки. Я и разуть-обуть могу, я и в баньку могу свести... А чего ж такое? Он царь, я его раба. Его ублажать бог повелел.

Ненила вдруг вскинула голову, прислушалась: в верхнем этаже заскрипела дверь на кухонную лестницу, вслед послышался голос Пугачева:

— Ненила, эй! Портянки-то просохли?

— Просохли, твое величество, просохли! — закричала снизу Ненила и засуетилась. — Отвернись скореича, Афанасьич, переодеться мне.

Горбоносый Овчинников, улыбаясь одними глазами, отвернулся к окну.

— Хоть бы занавесочку какую повесить, так не из чего. И переодеться негде, — говорила Ненила, торопливо меняя на себе платье.

Озорник Овчинников попытался было повернуться к ней, но дородная курносая красавица сердито заорала:

— Не пялься, пучеглазый! А нет, клюкой по харе съезжу... не посмотрю, что ты атаманишка! — Она быстро надела новую черную юбку, быстро накинула шелковый шушун с пышными сборами назади, повязала по черным волосам алую ленту, ополоснула руки, освежила водой разгоряченное лицо, сорвала с шеста портянки, подскочила к зеркальцу, заглянула.

А сверху снова нетерпеливый, властный голос:

— Да ты чего там, телиться, что ли, собралась?! С кем это лясы точишь?

— Бегу, бегу! — И Ненила, сотрясая лестницу, потопала наверх.

Вскоре направился туда и атаман Овчинников. У него до царя серьезный был разговор.

4

Обедали втроем: Пугачев, Падуров и Овчинников. Говорили о делах, о том, что завтра же надо отправить небольшие отряды в помещичьи села Ставропольско-Самарского края: барские запасы пощупать да на зиму в Берду провианту подвезти, а главное — мужиков на дыбки поднять.

— А как с барами мужики управятся, пускай к нам, в наше войско идут, — сказал Овчинников.

— Высочайших указов надобно поболе изготовить, да чтоб попы в церквах народу оглашали, — проговорил Пугачев. — Ты, Падуров, подмогни Ванюшке Почиталину бумаги-то писать. Эх, Николаева нету!..

И, только начали «по второй», зазвенела за окном лихая казацкая песня, с гиком, с присвистом.

Стоявший при дверях Давилин бросился на улицу и, тотчас вернувшись, доложил:

— Максим Григорьич Шигаев из похода вертанулся, сто десять казаков с верхнеяицкой линии привел.

— Добро, добро! Покличь сюда полковника, — оживился Пугачев и подошел к окошку. На улице уже сгустились сумерки, валил хлопьями мокрый снег, и ничего там нельзя было разглядеть.

Вошел Шигаев, а с ним молодой казак Тимофей Чернов.

Шигаев перекрестился на старинную икону, мазнул концами пальцев по надвое расчесанной бороде и, отдав поклон застолице, сказал:

— Здорово, батюшка, ваше величество! Здорово, атаманы!.. Хлеб да соль!

— Милости просим, будь гостем! — И Пугачев дал знак рукой Ермилке. — Подмогни полковнику!

Чубастый Ермилка и вошедшая с киселем из облепихи рослая Ненила разом насели на покашливавшего Шигаева. Он был в дорожном, поверх чекменя, архалуке из верблюжины. За дальнюю дорогу архалук насквозь промок, сильно осел, не было возможности стащить его с вытянутых рук Шигаева.

— Ну, прямо как припаялись рукава-то! — надсадливо пыхтела Ненила.

— Потряхивай, потряхивай! — хрипел и кашлял полковник. — Ой, легче!

Ненила с Ермилкой работали, как два грабителя при большой дороге: архалук трещал по швам, полковник от дюжей встряски мотался во все стороны. Но, слава богу, все обошлось не надо лучше: архалук уже висел на гвозде, а двое помогавших, и особливо сам Шигаев, дышали во всю грудь, будто приморившиеся кони.

— Присядь покамест, полковник, отдохни.

— Ну, а ты, молодец, с чем пожаловал? — обратился Пугачев к молодому казаку Чернову, смирно

стоявшему, каблук в каблук, подобно каменному изваянию.

Вид казака самый воинственный: мужественное, открытое лицо, большие рыжие усы, начисто бритый подбородок.

— Осмелюсь доложить, мы Сорочинскую крепость взяли, — гаркнул казак, при каждом слове вздергивая головой и крепко взмигивая, как от сильного света.

— Кто это — мы? — прикрыв правый глаз, уставился Пугачев на молодца.

— А мы — это вкупе с четырьмя яицкими казаками.

— Не может тому статься, молодец, чтобы впятером этакую крепость взять!

— Истинно, не вру, ваше величество!

— Что же, один поп, что ли, крепость-то защищал? Чего-то не пойму я.

— Нет, поп не защищал, — ответил казак, — поп Кирилла сам первый присягу учинил вашему величеству.

— Ну, стало, один комендант защищал?

— И комендант не защищал. Комендант с дюжего испугу вышел навстречь нам с хлебом-солью... И вот, конешно, было дело так. Сорочинская, конешно, в ста семидесяти верстах отсюдов. Вот мы и подкатили к крепости-та — я с четырьмя казаками яицкими да сто двадцать калмыков конных...

— Ха! — ударил себя по коленкам Пугачев и вместе с креслом повернулся к казаку. — Экой ты путаник, казак... Стало, не пятеро было на приступе-то, а сто двадцать да вас пятеро!

— Во, во! — потряхивая рыжим чубом и все также крепко взмигивая, охотно подтвердил казак Чернов. — Как есть — сто двадцать пять... А где же тут пятерым!.. Нешто пятерым с этакой крепостищей совладать!

Обескураженный допросом государя, казак почесывал затылок, глядел себе под ноги, покашливал.

— Ну, а чего ж ты привез оттудова, какие трохвеи? С чем, мол, приехал-то?!

— А привез я с собой, конешно, две пушки, — сразу оживился казак, — пушки важнецкие, обе орленые, из меди литые, да еще тридцать пять бочек пороху, да два ящика ядер, да всю денежную казну на пяти подводах, конешно...

Все весело засмеялись, а казака от душевной натуги бросило в испарину.

— Экой ты, экой ты!.. — покрикивал Пугачев, наливая вина в стакан. — С этого бы и начал, с военной добычи-то. А то заладил: впятером да впятером... Молодец ты, видать, ухватистый, а путем балакать не можешь. На-ка, выпей! Ненила, поднеси молодцу на блюде. Пей, сотник Чернов!

— Я рядовой, ваше величество.

— Отныне будь сотником! Жалую себя за старание за твое, что честь и славу воинства моего приумножил. Подойди к руке...

Падуров с Овчинниковым показывали жестами новому сотнику, что надо делать, но он не понимал. Тогда Ненила что-то шепнула ему, он шагнул к Пугачеву, повалился ему в землю и, стоя на коленях, поцеловал его руку.

— Спасибочко, царь-государь, от всей, конешно, казацкой души, от крови-сердца. Уж не погневайся!

— Встань, сотник. Ну, пей во здравие. Да погоди-ка... — Пугачев прошел в спальню, побрякал там ключами, вышел, подал сотнику золотой. — На, сотник. Старайся, — и, обратясь к Овчинникову: — А ты, атаман, распорядись одеть-обуть сотника поприглядистей. А пятерым казакам и калмыкам, что Сорочинскую брали, выдать по четвертаку и выкатить малый бочонок водки, пущай погуляют. А теперь, сотник, сказывай, как было дело.

— Было дело так, — начал Тимофей Чернов. — Я, конешно дело, въехал один в толпу жителей, стал объявлять им, что сам царь-государь идет в крепость. Прямо скажу — врать стал. Опосля того поехал я по городу, махая копьем, само-громко орал, чтобы все людишки выбегали за город со святыми иконами и чтобы во все колокола били. А кто, мол, встречать не пойдет, тех велено мне колоть даже до смерти.

Слушая рыжеусого воинственного казака, все приятно улыбались. Казак после стакана водки пришел в себя и заговорил складно. Пугачев покручивал бороду и поощрительно подмигивал ему; казак действительно докладывал сущую правду. Он рассказал, как на другой день толпа калмыков и пятеро казаков с белым знаменем стала подходить к Сорочинску. Народ высыпал из городка с хоругвями, с иконами, с попом Кириллом. А впереди всех — сам комендант с хлебом-солью.

— Тут я спрыгнул с коня, приложился, конешно дело, ко кресту и велел всем идти в церковь. Там приказал попу служить молебен за твое здоровье, батюшка, и всему народу присягу учинить. Опосля того народ войнишкою ополчился на кабаки и разбил, конешно дело, все вчистую. И содеялось от радости не приведи бог какое веселье. Гулеванили двое суток. Опосля того забрали мы добычу и честь по чести вышли из крепости. Оной крепостью мы и кланяемся твоему царскому высокоблагородию.

— Величеству, — поправил Падуров.

— Тьфу... величеству! — спохватился казак.

— Вот, господа полковники, — приосанившись, сказал Пугачев, — как видите, крепости сдаются не токмо мне, а даже императорскому имени моему... А ты, сотник, бери пару бараньих биточков в карман — и айда на улицу, там пожуешь. Мы же выйдем к вам — смотр чинить!

Пугачев сунул жареное мясо в угребистую горсть сотника. Тот, приняв, пошел на цыпочках к выходу.

Затем делал доклад Шигаев, но Пугачев слушал плохо.

— Таперь, — восклицал он, прерывая Шигаева, — припасов у нас хватит, господа полковники, чтоб Рейнсдорпа как след быть пугнуть. Молодчина сотник Чернов! Всего привез. Однако довольно талалакать, пошли!

Домовитая Ненила, оставшись одна, стала гасить лишние свечи, брюзжала:

— И кисель не дожрали. Сколько сахару истрясла.

Любопытства ради она подошла к окну и, подняв волоковую раму, высунула голову на улицу. Липкий снег валил. Три ярких костра пылали. Невдалеке чернела виселица.

Овчинников подал команду, и две сотни приведенных им казаков с калмыками мигом вскочили в седла. У крыльца — на лафетах — две новых, доставленных Черновым, пушки, а слева, возле коновязей, весь облепленный снежными хлопьями, большой обоз с трофеями.

И как только показался на крыльце Пугачев, казаки и калмыки во всю глотку заорали:

— Ура!.. Алла!.. Ура!.. Бачке-осударю!.. Якши, якши!.. Здоров будь!.. Ура, алла!..

Полетели вверх шапки, малахаи, заблестели в сильных руках сабли, замаячили пики. Даже пламя костров как бы приподнялось на цыпочки и вытянулось, чтобы ярким светом своим озарить вождя.

У Ненилы от приятного волнения захватило дух. Глядя сквозь умильные слезы на царя, на то, как народ приветствует его, она даже всхлипнула.

— Детушки! — взмахнув рукой, начал Пугачев громким голосом.

ГЛАВА XV

В густом тумане. Старец праведный Мартын. Мученики. Хлопуша вмиг озверел. Ванъ за Каин

1

По грязнейшим осенним, вдрызг разбитым дорогам, между Санкт-Петербургом и полосою мужичьего восстания, один за другим, взад и вперед спешили курьеры.

Пересекая поперек Европейскую Россию, они безостановочно везли в столицу секретные пакеты от губернаторов казанского, оренбургского, астраханского, сибирского — с известиями о разгоревшемся мятеже. Эти пакеты адресовались в Военную коллегию, «в соб-

ственные руки» графу Захару Чернышеву. Ради соблюдения тайны, курьеры держались в Петербурге под строжайшим надзором вплоть до обратного их выезда в Казань, Оренбург, Тобольск, Астрахань с повелениями, указами и манифестами.

Сведения, кои поступали в столицу с мест восстания, слишком запаздывали против фактов, и правящий Петербург, не знавший всей правды об успехах Пугачева, продолжал относиться к знаменательным событиям на Яике все еще пренебрежительно и высокомерно.

Так как война с Турцией все еще длилась, то, естественно, правительство опасалось обнаружить пред Европой свою слабость во внутренней политике и намеревалось покончить с восстанием одним ударом. Но для этого удобный момент был уже упущен: ни Симонов, ни губернатор Рейнсдорп не сумели пресечь мятеж в самом его начале.

И как ни старалось правительство все сведения о Пугачеве держать в глубокой тайне от иностранных при русской короне дипломатов, это ему не удавалось. Так, английский поверенный в делах Оакс Рихард сообщал лорду Уильамсу Фрезеру, что «хотя двор смуту на востоке России хранит в большом секрете, но повсюду известно, что один ловкий казак, воспользовавшись казацким неудовольствием в Оренбургском крае, выдал себя за Петра Третьего и число приверженцев его так велико, что произвело опасное восстание в этих губерниях. И вести оттуда все более и более неблагоприятные».

Для нанесения пугачевскому движению сокрушительного удара Военная коллегия, как уже было сказано, послала на место действия генерал-майора Кара и нетерпеливо ожидала от него добрых известий.

Но Кар двигался по плохим дорогам с крайним промедлением и лишь 20 октября достиг Москвы.

А вот посланный Пугачевым в Авзяно-Петровский завод простой человек Хлопуша, не в пример Кару, торопясь с честью исполнить данное ему его государем поручение, летел к месту назначения стрелою и вскоре достиг цели.

Весь душевный склад Хлопуши, все его мысли перестроились на новый лад. Ему стало безразлично, кто этот чернобородый детина: бродяга ли Пугачев, как оповещает всех губернатор, или впрямь Петр Третий, давным-давно ожидаемый народом. Кто бы он ни был, Хлопуша по-настоящему проникся верою, что назвавшийся государем человек стоит за правду, воюет противу правительства для ради народа, и он, Хлопуша, положил в своем сердце служить ему до последнего вздоха.

Хлопуша и с ним пятеро казаков и работный человек, пришедший к Пугачеву с Авзяно-Петровского завода, Дмитрий Иванов, правились заснеженною степью на восток.

Пряча от людей обезображенное лицо свое, Хлопуша был в сетке из конского волоса. Черная сетка эта, обхватывая борты шапки-сибирки, спускалась до подбородка. Такую снасть носят в таежных местах, спасаясь от укусов летучего гнуса.

На первом же привале Хлопуше довелось сетку снять, — мешала принимать пищу, — и повязать поврежденный нос тряпицей. Он сказал у костра спутникам:

— Ведь я сам не кто-нибудь, а работный человек, по паспорту — Соколов, а прозвище имею Хлопуша[1] за свой, значит, долгий рост. А работывал я в разных местах и по Сибири хаживал. За многие побеги били меня кнутьями, последний же раз приговорили к вырезанию ноздрей. Ноздри-то режут вострым ножом, лишь бы знак сделать на человеке, а я палачу согрубил, «катом» обозвал его да обсволочил, так он, подлая душа, клещами полноса вырвал мне, всех хрящей решил.

Казаки соболезнующе причмокивали, качали головами, а заводский крестьянин Дмитрий Иванов сказал:

— Они, дьяволы, что палачи, что начальство, — нашего брата не больно жалеют! Я сам вот скрозь весь избит да исстеган. И в леву ногу пулей стрелян.

---

[1] Хлопущей зовется высокий деревянный пест, которым толкут рудную породу.

— Трудно на заводах-то, дядя Митяй? — спросил молодой казак, развешивая у костра онучи.

— У-у-у, боже ж ты мой!.. Да не в пример хуже каторги. Недаром же сотнями народишко в бега бежит. И я три раза бегивал. Где-никто в избушке лесной укрытие имеешь либо землянку откопаешь. Летом-то еще ничего, а вот, как снег ляжет, нашего брата-беглеца ловить учнут, — по снегу-то ловить сподручней: и следы видать, и дымок явственней обозначается. И посылают тогда противу беглецов розыскные команды из старых казаков да полицейских.

Была вечерняя пора. Накатывал густой туман. Становилось сыро и холодно. Все семеро сидели на дне глубокой, поросшей кустами и глухим чапыжником балке. Для сугреву то и дело подживляли костер. В котелках у огня прело баранье хлебово с крупой. Дядя Митяй, щурясь от дыма, снимал пену с похлебки деревянной ложкой.

Митяй широк в плечах, но невысок и сухопар, щеки впалые, глаза большие, строгие, как на старинных иконах, а борода рыжеватая, с сильной проседью. Весь какой-то постный, болезненный, он больше походил на заправского бродягу, нежели на заводского рабочего. И лишь большие крепкие кисти рук изобличали в нем добытую в труде силу.

— А и староват же ты, дядя Митяй, — сказал кривой казак Дылдин. — Поди годков десятков с шесть наберется.

— То-то, милый мой, что нет. И сорока нету, а обличьем, вишь, какой. Заводская жизнь меня изжевала этак-то, исчавкала. Да мы, заводские, почитай, все скрозь хворые.

— Сколько же люду на вашем заводе трудится? — спросил озабоченно Хлопуша. Он сидел на войлочном потнике по-татарски, посматривал то в хмурое лицо Митяя, то на хвостатые огоньки костра.

Дмитрий Иванов, он же дядя Митяй, ответил, что Авзян основан был ровно двадцать лет назад графом Шуваловым, затем укуплен Евдокимом Демидовым, а всего работных людей по заводу значится до пяти тысяч душ.

— Многолюдство великое, — прогнусил Хлопуша. — А вдруг да не примут нас, сомнут да в домницы, в огонь-полымя?!

— Уж ты об этом, дружок, не пекись, — сказал Митяй. Он снял лаптишки, стал переобуваться в сухие онучи. — Меня заводские изрядно знают, не сумневайся. Да и мужиков-то на заводе таперича самая малость: кто лес валит да угли в куренях жжет, кто в шахтах руду копает, а на заводе-то, дай бог, чтоб сот с пяток народу было.

Туман час от часу становился гуще. Вот скрылись лошади, хрупавшие вблизи костра овес, пропали иглистые очертания оголенного кустарника, замутнел, стал каким-то призрачным живой огонь в костре, а три казака, сидевших по ту сторону огня, потеряв облик человеческий, превратились в каких-то бурых чудовищ. Белый туман поглотил все пространство. Стало как в бане, втугую насыщенной паром. Одежа у путников промокла, к лицам, к обнаженным частям тела липла влажная паутина, она проникала под рубаху и заставляла вздрагивать от пронизывающего озноба. С сучков кустарника, что поближе к костру, покапывала, как редкий дождик, прозрачная влага.

Путники изрядно продрогли, стали укладываться спать. Хлопуша и дядя Митяй улеглись бок о бок — седла в головы — на двух потниках, прикрывшись овчинным тулупом. Оба позевывали так, что трещали скулы, но сон бежал от них. Дядя Митяй, почесываясь и поохивая, неторопливо, душевным певучим голосом рассказывал:

— Родители-то мои, чуешь, пришлые из-под Казани крестьяне, насильно их пригнали на завод. От горя да с непривыку вскоре они и умерли. А мой братейник, парень по девятнадцатому году, у домницы работал. Как-то выпустили из домницы жидко-огненный чугун, он и потек по канавкам, жарища сделалась, как в пекле. А братейник-то мой, Пашка-то, чуешь, прочь, наутек, да возьми запнись и брякнись со всех ног поперек огненой той канавки... Брюхом упал... Так, веришь ли, напополам его пережгло. Схватили его люди за руки да за ноги — так надвое и раздернули...

— Неужто пополам?
— Как перерубило! Одним пыхом...
— Страдалец...
— Страдалец-то не он, а мы страдальцы, кои вживе остались, — сказал в туман дядя Митяй. — Заводская жизнь самая страшительная, гаже ее нет. Самый крепкий человек возле домницы боле шести лет не выдюжит. Вот чрез это самое и ударяются трудники в побег. И я бегивал. И вот слушай, мил человек... Лет шесть тому натакался я в лесу на праведного человека, на дедушку Мартына, отшельника. Он тоже давным-давно с завода утек и поселился в самой трущобе, в уреме... И долго сила господня спасала его от розыскных команд.
— Ишь ты!..
— Он себе избушку березовую срубил да опустил в землю ее. Крыша вровень с землей сделалась, а поверх крыши мох, чапыжник, деревьица растут, — в двух шагах возле такого жительства пройдешь — не приметишь. Во как, миленький... Избушка мерою до пяти аршин, лаз в ее тайный, и потайное оконце на восток. А земля на полу укрыта хвоей насеченной: лежать мягко, и дух от хвои добрый. А в уголке чувал из дикого камня, для сугрева. Под потолком иконка старозаветная, пред ней самодельная свечечка, — старец свечи-то сам делал, он в уреме на деревьях четыре диких бортовых улья сыскал... Ну-к у него и медок и воск! И была у него святая рукописная книжица «Ефрем Сирин», он мне ее вгул читывал... Бывало, оба от умиления над книжицей плакали... — Дядя Митяй вздохнул, почмокал губами и вдруг умолк.
Хлопуша толкнул его в бок:
— Уснул, что ли? Сказывай! Я уважаю этакое.
— Да нет, не сплю я. Думки разные одолевают про правду да про кривду... Вот я и толкую... Добро жить в пустыне, добро о душе пекчись. Как вспомнишь, вспомнишь жизнь людскую, пропащую, так кровь в жилах и застынет. — Голос дяди Митяя стал еще душевней, еще трогательней, своими воспоминаниями он был по-настоящему взволнован. — Да, да...

Такие страданья людям, такие печали да болезни! Пошто мы, окаянные, на мир богом посланы. Пошто одни в тепле да в радости, а другие весь век маяться обречены, в молодых годах стариками ходить?

— А-у, — вздохнул Хлопуша. — А-у, брат... Мается весь народ, все люди страждут, а в веселости век живут только господишки да купчишки, да еще разве алхиереи с протопопами. Я-то знаю, я-то, браток, все знаю. Я и алхиерейскую бывальщину знаю, всю до подоплеки, я сам у тверского алхиерея в услуженье жил.

— Оо-о! Бывалый, значит, человек.

— Ну, а как же отшельник-то, Мартын-то твой? — помолчав, спросил Хлопуша. — Как жили-то, чем питались-то вы?

— А питались мы больше всухоядь: то грибками, то ягодками. Ну, правда, приносил нам из деревни дед один хлебца, молочка когда. Приносил тайно. Помолится с нами, поплачет о грехах и — домой в радости. От молитвы да от покаянных слез всякая душа людская в радость приходит. Да и сам я в радости у старца жил. Душа играла, как солнышко о пасхе... А вот как сграбастали меня, да выдрали до полусмерти, да на руки, на ноги кандалы наложили, опять я заскучал! В Сибирь на вечное поселение просился, не пустили. Ой, многие, многие просятся в каторгу, чтоб от немилой заводской жизни уйти, — не пущают.

— А вот ужо мы на заводах старые-то распорядки переломим, — убежденно проговорил Хлопуша.

— Дай-то бог! — вздохнул дядя Митяй.

— Добро бы к старцу-то твоему зайти да покалякать с ним, — сказал Хлопуша и почему-то застыдился своих слов. — Хоша, правду молвить, не шибко-то я люблю святых: бездельники, пустобрехи... Ну только и промеж них попадаются трудники, людскому миру наставники. Знавал и таких я.

— Умер старец праведный Мартын, преставился! — уныло молвил дядя Митяй и перекрестился. — Как учинил я побег в последний раз недель с шесть тому, не боле, опять к старцу подался. Во-

шел я в келейку, в коей пять годков не бывывал, гляжу — на сухой хвое кости человечьи лежат, руки сложены, череп в праву сторону откатился. А тела и следу нету, истлело скрозь. На ножных костях лапотки, на плечах да на руках армячишко тленный. И книжица «Ефрем Сирин», открытая, на груди... Ой и тяжко ж мне стало... Пал я наземь, да и завыл в голос... А вскорости после того и сыскан я был. Вот привели меня в заводскую тюрьму, приговорили к двум тыщам шпирутов этих, — стало быть к самой смерти! За многократные побеги мои то есть.

Дядя Митяй почвыкал носом, повздыхал и вновь заговорил, но голос его окреп и оживился.

— А тут, гляжу, явились ко мне в тюрьму середь ночи трое парней. Думал я — ангелы небесные. Нет, наши ж парни — Ванька, Степка да Тереха, что у кричных молотов ро́бят. Вот явились, да и говорят мне: «Мы сей минут, дядя Митяй, с тебя кандалы сорвем, мы караульных солдат водкой опоили. И бери ты, говорят, лошадь сготовленную, возле зимника в балчуге стоит, и беги ты, говорят, немедля к Оренбургу-городу, там царь объявился, и толкуй батюшке, пущай он к нам силу шлет. А мы ему, свету белому, служить согласны по вся дни...» Ну, я и поскакал. А достальное, миленький мой, сам знаешь... И я так полагаю своим умишком, что этакое дело благодатное приключилось не инако, как по молитвам Мартына, старца праведного... Да ты слушаешь ай спишь?

Хлопуша храпел и взмыкивал.

2

На другой день совершенно неожиданно пристали к Хлопуше в степи четыре десятка конных башкирцев, готовых служить новоявленному государю. Башкирский старшина сказал:

— В нашу землю пресветлый царь указ прислал. Вот мы и поднялись.

Спустя сутки взбодрившийся отряд вступил в дремучие уральские леса. Митяй вел людей по узкой

лесной дороге, которою возницы в огромных коробах доставляют на завод древесный уголь. Стало наносить дымком. Митяй, принюхиваясь, сказал:

— Скоро до куреня будем.

Действительно, в глубине леса, справа от дороги, показались сквозь чащу густые клубы дыма. Отряд свернул туда.

Просторная поляна сплошь завалена огромными бурунами бревен и саженных поленьев. Эти лесные богатства были заготовлены еще прошлой зимой и подвезены сюда для переработки в уголь. А без угля нет ни выплавки чугуна, ни выделки железа и стали. На поляне высился объемистый, в виде усеченной пирамиды, холм. От плоской маковки до основания склоны его были засыпаны землей, перекрыты дерном. Из вершины холма, как из печи, валил густой смолистый дым. Возле дымящегося холма копошились чернолицые, чернорукие, как трубочисты, люди, среди них бабы и подростки. Это — углежоги. Они насквозь прокоптели,— казалось, им в жизнь не отмыться; у них воспаленные, гноящиеся глаза и жестокий кашель, они сплевывают «чернядью». В руках их длинные обуглившиеся колья, железные шесты, лопаты.

Углежоги, старые и молодые, поклонились подъехавшим незнакомым людям. Больше всего их удивил вид сидевшего на рослом пегом жеребце огромного детины в черной сетке, из-под которой торчала рыжая, с проседью, бородища.

— Братцы! — прокричал с коня дядя Митяй, кивнув головой на Хлопушу. — Этот человек послан в Авзян пресветлым государем нашим добрую жизнь трудникам устраивать.

Углежоги, окружив всадников, сдернули шапки, усердно закрестились, заговорили гулко:

— Рады служить надеже-государю! Видно, и на нас оглянулся господь — царя послал... О! братцы, глянь... Да это, никак, наш Митрий Иванов... Здорово, Митрий!

— Здорово, мужики! — ответил Митяй. — Вас сколько здесь? Отберите-ка полста людей да айда с нами в Авзян! Топоры есть?

— Как не быть. Оруженья хватит. Да мы все до единого двинем!

— Всем нельзя, мирянушки, — зычным, гнусавым голосом прервал Хлопуша поднявшийся было галдеж. — Всем работу кидать не годится, — царь-государь приказал скореича пушки да ядра лить, а без вашей черной работы чего отольешь?!

Тем временем дядя Митяй стал объяснять казакам, как уголь жгут.

— Вот видите, люди саженное поленье укладывают в кучи и кладут их то встояк, то влежку, то встояк, то влежку. Через это получается «костер». Его закрывают со всех сторон хворостом, обсыпают землей, а сверх всего дерном обкладывают. На маковке дыру оставляют да сбоку дыру, чтобы, значит, тяга завсегда жила. Как сбоку подожгут, огонь-то и заберется в середку, да шибко-то не горит там, а мало-мало тлеет, и поэтому самому поленья в костре не горят, а чахнут, чрез что уголь образуется... Ну, тут уж мастер не зевай, а доглядывай, чтобы куча оседала ровно, чтобы огонь где-нито ход не прогрыз себе...

От «костра» валил дым, копоть, смрад, щипало глаза, захватывало дыхание. Казаки стали чихать и кашлять, из глаз у них катились слезы; казацкие лошади фыркали, мотали головами, пятились прочь.

— Вот так работка! — с горестным оживлением прогнусавил Хлопуша. — Мы тут раз дыхнули — и расчихались, а энтим людям день-ночь тут бытовать доводится.

И он оглядел всех их, кому на протяжении долгой зимы неотступно приходилось работать у «кострища», подкидывать землю там, где начинал пробиваться огонь, ходить по этому огненосному кургану, оправляя его.

— А другой-то курень далеко? — спросил дядя Митяй собравшихся в поход углежогов.

— А эвот-эвот, не будет и версты, — загалдели углежоги.

Вдруг как раз в той стороне, где соседний курень, раздался неистовый рев и крики.

— Ой, беда стряслась! — прислушиваясь к нараставшему гулу голосов, засуетились конные и пешие. И все бросились туда напрямки, через лес.

Поляна. Такой же огромный, перекрытый землей и дерном «кострище». Из черного склона буйное пламя пышет, с другого бока и с вершины густейший валит дым. А возле «кострища» орут, бестолково копошатся перепуганные люди, суют в пламенную пасть обуглившиеся жерди, кричат: «Хватай! Хватай!» Смельчаки карабкаются по откосу, пытаясь подобраться к огненному провалищу. «Снегу, снегу давай! Воды!» Но снегу еще мало, воды один ушат, а до речки версты три.

— Что стряслось-то? — откинув с лица сетку, закричал с коня подскакавший Хлопуша.

Народ наперебой закричал:

— Двое провалились, отец да сын... Петриковы! С под Тамбова приписаны, дальние...

— Братцы! — скомандовал своим Хлопуша. — Рой к чертовой матери всю печку, спасай души!

— Что ты, что ты, начальник? — прихлынув к Хлопуше, завопили углежоги. — Разроешь — все уголье спортишь, да нам с конторой-то и не рассчесться... Загинем в кабале, сожрут нас демидовские приказчики.

— Завод ныне не Демидова, а царский! Царь все простит! — бросал с седла Хлопуша.

— Чего мутишь?! — крикливо возражали ему. — Давно ли завод царским стал? Окстись! Демидова это завод, вот чей. Не дадим рушить. Ребята, гони орду! Дуй кольями!

— Стой, дураки! — завопил Хлопуша. — Христианские души в огне гибнут!

— Они гибнут — и нам погибать? Не дадим рушить!

Пока шла словесная перепалка, расторопные казаки с башкирцами, руководимые Митяем, выхватили из полымя крючьями обуглившийся труп старика, а из другого дымящегося провалища извлекли задохшегося молодого парня.

— Марья, очнись! Очнись, Марья! — отхаживали неподвижно лежавшую на земле женщину — жену старика и мать парня. — Зашлась, сердешная... Бабы, пособляйте!.. Трите пуще снегом загривок-то ей! Ах ты господи...

И вдруг, очнувшись, женщина метнулась к «костру», с нечеловеческой силой взнесла себя на самый его верх, вскинула руки, как пловец, готовый броситься в воду, и, страшно завопив, исчезла, поглощенная огненной бурей.

Толпа охнула, окаменела. Затем поднялись бешеные крики, лютость охватила всех:

— Круши печь! Разметывай! Разметывай!..

К «костру» бежали казаки, башкирцы, углежоги — кто с чем. И не успел Хлопуша прийти в себя, как от печи остались лишь вороха охваченных дымом поленьев да огненных углей.

В сторонке лежала обгоревшая женщина, ее выхватили из раздернутого «костра», но уже бездыханной.

А вокруг пылал новый, иной костер: бушевала людская ярость.

— Душегубы! Кровососы! — ревели голоса углежогов. — Хватит, братцы, с нас! Бери топоры, гони коней!.. Идем к царю-батюшке.

8

Толпа Хлопуши выросла до полутораста человек. Углежоги ехали на подводах, устроившихся в угольных коробах. Был вечер. Проблеснули звезды. Дядя Митяй сказал:

— Слышь, Хлопуша?.. Ты, может статься, с отрядом-то на ночевку где-нито расположишься, ну а я на завод махну, упредить надобно.

Он стегнул коня и пропал за поворотом извилистой дороги.

Вскоре в лесной глуши замаячили костры. А на самой опушке, прячась за старую сосну, высматривал проходивших людей рослый, одетый в полувоенную форму человек.

Хлопуша первый приметил солдата и крикнул ему:

— Чего шары-то выкатил! Эй, ты, вылазь!

— А вы что за люди? — окрикнул солдат и, взяв ружье на изготовку, вылез из-за дерева. Но, увидав большую толпу вооруженных всадников, скрылся в чащобе.

— А-а-а! — удивленно протянул высокий углежог-старик, присмотревшись с коня к тускло светившимся кострам вдали. — Да ведь это беглые, у огнищ-т. Глянь, сколь их, сердешных, наловили-то...

— Айда на выручку! — не долго думая скомандовал Хлопуша; он взмахнул плетью и двинулся к кострам. — Окружай, братцы!

За ним бросились казаки, башкирцы. От костров грохнули два выстрела. Задетый пулей, упал с коня башкирец.

У Хлопуши не было ни ружья, ни пики, он выхватил из-за пояса безмен с чугунным граненым шаром на конце и, скакнув через костер к стрелявшему, разбил ему голову. Солдат рухнул тут же.

— Сдаемся, сдаемся!.. — видя направленные на них пики, взголосили солдаты — заводские стражники и сыщики. Их было человек двадцать. Шершавые стреноженные лошаденки их топтались рядом.

Хлопуша дрожал, в его груди хрипело. Он сорвал густую хвою кедра и вытер ею окровавленный безмен.

Полсотни беглецов, молодых и старых, связанных по десятку арканами, еще не вполне понимая происшедшее, кланялись набеглому отряду:

— Ой, кормильцы... Хлебца, хлебца! Вторые сутки ни синь пороха во рту. — Испитые, бессильные, посиневшие, одетые в рвань, они походили на таежных бродяг.

— Государь Петр Федорыч дал приказ быть вам вольными, — перехваченным от волнения голосом сказал Хлопуша и, потрясая безменом, продолжал: — А супротивникам царским — смерть!

Стало тихо.

Старый капрал с длинной седой косой, в рыжем нагольном полушубке и в валенках, бросая на Хлопушу злобные взгляды, проговорил сипло:

— Нам неведомо, что вы за люди и кто такой царь Петр Федорович. Мы состоим на иждивении дворянина Демидова, а присягали государыне Екатерине.

— А ну, приготовь-ка петлю! — сказал Хлопуша, оборачиваясь к своим.

— Вздерни, вздерни его, батюшка!.. Собака он! — зашумели голоса...

— Собака ли я, нет ли... — перебил их капрал и невозмутимо потянулся за угольком к костру, чтобы закурить трубку, — собака ли, нет ли, а я свою службу сполняю по приказу! Нашей сыскной команде велено утеклецов ловить, — ну, значит, не рыпайся, лови... А ты, вояка с безменом, ежели есть среди прочих начальник, разжуй нам, что к чему. А то налетели с ветру, солдата ухлопали ни за што ни про што. Да вы, может, разбойники, может, завод зорить едете! Откуль нам знать?

Поборов в себе неприязненное чувство к суровому служаке, Хлопуша стал рассказывать людям, по какому делу послал его государь на Авзянский завод и что самоглавная думка у государя — сделать свой народ вольным да во счастии.

Толпа приняла эту весть азартно. «Дай-то бог, дай-то бог!» — взволнованно крестясь, кричали углежоги и беглецы.

Капрал, хмуря седые брови и все еще по-злому косясь на Хлопушу, сказал:

— Ежели ты правду молвил, мы, пожалуй, новому государю служить не отрекаемся, — и велел стражникам «ослобонить утеклецов».

Хлопуша поверил словам капрала и свой приказ о казни отменил. Разожгли еще ряд костров. Башкирцы, крикливо переговариваясь, варили в котлах махан. Ужин поспел скоро. Все плотно подкрепились. Беглецы набросились на еду с жадностью.

Стало довольно темно. До завода оставалось около тридцати верст торной дороги. Хлопуша торопился, он отдал приказ выступать в поход. Принялись суетливо собираться. Угрюмого капрала не оказалось в толпе. Никто не приметил, как он под шумок исчез.

— Эх, жаль, дюже жаль, что не вздернул я его, — сердито замотался в седле Хлопуша. Он велел всех людей сыскной команды нанизать на один аркан и отдал их под присмотр башкирцев.

Двигались ходко. Немощные беглецы ехали по двое, по трое на полицейских конях или в коробах, вместе с углежогами и их семьями. Путники надрали бересты, сделали смолистые факелы, зажгли их. Тьма, вспугнутая возникшим светом, закачалась, заструилась, как широкое полотнище темной рыхлой кисеи. Десятки факелов плевались во тьму ярким огнем и клубящимся красноватым дымом. Весь лес сразу преобразился, ожил, наполнился сказочной нежитью. Деревья, казалось, перебегали с места на место, подпрыгивали, замахивались на путников мохнатыми лапами. Обгорелые пни и поваленные бурей вековые стволы с вихлястыми сучьями напоминали таежных чудовищ. А факелов зажигалось все больше да больше. Ехать было нескучно.

Свет играл, колыхался, свет вступил в единоборство с тьмой. Зрелище было живописное. Верхоконная ватага башкирцев в своих цветистых халатах, в остроконечных шапках, с луками, колчанами, кривыми ножами, с длинными пиками, украшенными конскими хвостами; впереди — рослый бородатый всадник, лицо у него в свисавшей на глаза сетке, дальше вереница связанных общим арканом полицейских, а сзади — большая толпа черномазых углежогов. Вся эта необычайная картина, вырванная из мрака озорными огнями факелов, напоминала орду древних воинственных печенегов, возвращавшихся из тяжелого похода в свои кочевья.

Народ устал, двигался молча; башкирцы и казаки дремали, покачиваясь в седлах. Кое-где слышались ребячьи голоса.

Хлопуша въехал в толпу беглецов, завел с ними беседу. Жалуясь на свое житье-бытье, они говорили ему:

— От великого мучения на заводских работах уже затылок переломился, исхудали мы, обнищали все вконец.

— Ободрались мы все, обносились, из дырявых портков срам прет.

Хлопуша узнал, что заводские люди больше всего терпят от управителя да приказчиков: обмеры, обсчеты, дороговизна продуктов в заводских лавках.

— Ну, а хозяин? — спросил Хлопуша.

— Хозяин наезжает редко. Да и он собака!

— Раскачку надо, начальник, зачинать! — выкрикнул курносый, с испитым лицом парень.

— Да уж тряхнем! — сказал Хлопуша. — Ну, все ж таки из работных-то есть, которые ладно живут?

— Да есть малое число. Мастера в добре живут, вот кто... Они, почитай, все раскольники. Им и начальство мирволит. У них по две да по три коровки, да лошаденки, овцы, свиньи, хозяйство... Они, брат, живут в добре, это верно.

— Может, потому и в добре живут, что стараются да дело свое знают, — проговорил Хлопуша.

— Да уж это как есть, — ответил, крутнув головой, старик с хохлатыми бровями. — Они на работу горазды, и смысел есть в башке, это верно. Да ведь и мы-то стараемся со всех сил... А откровенно-то тебе сказать, начальник, ради кого стараться-то? Для Демидова-то? Да будь он трижды через нитку проклят! Тьфу!

— Дельно сказал, — одобрил старика Хлопуша. — Ради Демидова, худ ли, хорош ли он, жилы свои надрывать не для ча. А вот уж ради царя, ради миру слобождения — силушку свою в работе не жалейте...

— Да уж... Господи, чего тут толковать! — раздались голоса. — Раз дело мирское зачинается, на себя, да-кось, наплевать... Мы в сознанье!

Хлопьями стал падать тихий снег, и вся дорога вскоре побелела.

4

Пока дядя Митяй путешествовал из заводской тюрьмы в стан Пугачева, на Авзяно-Петровском заводе произошло жестокое событие.

Все уральские заводы строились по одному образцу: многоводный пруд, запертый плотиною, водоспуски, корпуса мастерских, церковь, контора, казармы, склады и заводской поселок. На старых, петровских времен, заводах мастеровые трудились из поколения в поколение. Их деды и прадеды, бывшие крепостные мужики, вывезены были из разных мест России и навечно закреплены за заводом. Заводские работали под руководством мастеров при домнах, при водяных молотах, в литейных, прокатных и прочих мастерских. Они являлись первостепенным ядром завода. Их было не так много, они составляли всего лишь пятую часть рабочей силы. Остальные четыре пятых трудились на подсобных предприятиях: рубили лес, жгли из него уголь, копали в разрезах и шахтах руду, занимались в обозах. Эта главная рабочая сила вербовалась из приписанных к заводу крепостных крестьян. Приписанные не теряли связь со своим хозяйством на родине, где оставались их семейства, и время от времени получали возможность в страдную пору отправиться домой для полевых работ, с тем чтобы по истечении положенного срока снова явиться на завод. Были среди них счастливчики, которым шагать до дому недалеко — порядочно деревень, острожков, сел находилось вблизи завода. А каково-то было тем, родные места которых отстояли на триста, на четыреста и более от завода верст, каково-то им было ломать «два конца», зачастую способом пешехождения?

Горькая, тоскливая, бессолнечная жизнь. А хозяину какое дело — будь то казна, или сиятельный вельможа, или оборотистый купец: мужики живут, не подыхают, — значит, не о чем и толковать. А на случай бунта сыщется и управа: парочка залпов, куча убитых, раненых, и — снова благоденственное, мирное житье.

Так был убит отец Павла Сидорова, купленный еще прежним владельцем завода, графом Шуваловым, и перепроданный затем со всем семейством новому хозяину, Демидову.

Осиротевший Павел Сидоров остался пятилетним мальчонком на руках у матери, а когда подрос, его определили в слесарную мастерскую, и через несколько лет он стал хорошим слесарем. Они жили с матерью в небольшой опрятной избе, имели огород, от которого и питались.

Павлу исполнилось двадцать два года. Благонравный, искусный и горячий в работе, он был на добром счету у начальства. Мать гордилась таким сыном, берегла его пуще глаза, подыскала ему невесту — дочь мастера, у которого Павел состоял в подручных. Мастер был рад породниться с Павлом, он прочил его на свое место. Мастер чувствовал, что собственные силы его на исходе, что все свое здоровье он ухлопал на умножение капитала графа Шувалова и дворянина Демидова, а себе вот, кроме мучительной грыжы да чахотки, ничего не нажил.

Итак, в ноябре ожидалась свадьба. Павел уже зарабатывал до трех, а иногда и до пяти рублей в месяц, что давало ему с матерью возможность безбедно существовать: пуд муки стоил пятнадцать копеек. Появилась корова, завелись лишние деньжонки.

Павел поехал в Екатеринбург, купил себе две пары штанов — суконные за восемь гривен, другие, из чертовой кожи, за двадцать семь копеек, купил овчинную шубу, кушак, шапку, сапоги, невесте — полотна, шаль и на платье шелку, а матери — добрые валенки. На все покупки и поездку издержал около семнадцати рублей и вернулся домой довольный и радостный.

На воскресенье было назначено обручение. Варили пиво, брагу. На заводе только и разговоров было, что о предстоящей свадьбе. Но в субботу утром произошли мрачнейшие события, поставившие черный крест на жизни Павла.

Управитель завода, из обруселых немцев, бергмейстер Иван Абрамыч Швабе, прозванный мастеровыми за его жестокость Ванькой Каином, в субботу утром послал в слесарную мастерскую своего казачка с приказом, чтоб немедленно пришел в управитель-

ский дом Павел Сидоров для починки дверного замка в кабинете.

— Вот что, Сидоров, — встретил его Каин, рыжий, высокий, худой, бритый, с прямоугольным лицом и сердитыми, всегда прищуренными глазами; он был в высоких сапогах и дорожной теплой кацавейке, он только что вернулся из поездки по сутяжному делу в Екатеринбург. — Постарайся-ка, брат!

Павел поклонился и начал, а Ванька Каин ушел завтракать в соседнюю комнату. Павел знал о жестоком характере управителя. Немец за всякую безделицу драл правого и виноватого; драл своих служащих и приказчиков, даже как-то выдрал своего делопроизводителя из отставных офицеров, за что получил выговор от бергколлегии и... пятьдесят рублей награды от Демидова.

Павел сделал работу старательно и быстро: чрез каких-нибудь двадцать минут он доложил управителю, что работа готова, тот буркнул: «Ступай!» Павел поклонился и вышел.

Позавтракав и выпив ежевичной настойки, управитель проверил работу Павла: дверной замок действовал отлично, затем вошел в кабинет и скользнул глазами по зеленому сукну письменного стола.

— Кошелек!.. А где ж кошелек? — с испугом воскликнул он. — Я же вот сюда его положил, на стол. Я же твердо это помню. — Он бросился к столу, стал выдвигать ящик за ящиком, рыться в них, бормоча:

— Да, да, это слесаришка! Это он к свадьбе. Больше некому, сюда никто не входил.

Управитель был страшный скряга, он копил деньги, воровал у хозяина, обсчитывал рабочих, за гроши или спирт скупал у бродяг и старателей золота. Вот и на этот раз, возвращаясь из Екатеринбурга, он выменял в лесу у двух бродяг на спирт, на хлеб, на две пары яловых сапог больше двух фунтов драгоценного металла.

— Ох, и задам же я ему свадебку! — Управитель схватил шапку, собачий арапник и стрелой, вприпрыжку, пустился в слесарную мастерскую.

— Сидоров! — закричал он.

Все слесари бросили работу, уставились на потрясавшего арапником бергмейстера. А Павел, опустив руки, со страхом отозвался:

— Чего изволите?

— Кошелек! — заорал, затопал бергмейстер, грозя побледневшему Павлу собачьим арапником. — Подай мой кошелек, подай немедля, а нет — я тебе шкуру с плеч до пяток спущу!

Павел от неслыханной обиды весь затрясся, на глазах у него выступили слезы, прыгающим голосом, ловя ртом воздух, он взахлеб говорил:

— Что вы, что вы?.. Господин управитель!.. Помилуйте, да мысленное ли это дело... Чтобы я... да взял ваш кошелек. Я и в горницы-то не смел войти. Что вы?!

— За парнем мы никакого худа не замечали. Парень честный, — раздались в его защиту голоса.

— Молчать! — с маху стегнув по верстаку арапником, взвизгнул Ванька Каин. — Кто пикнет, тому плетей не миновать. Значит, отпираешься? Ах ты ворюга!..

Павел с плачем повалился на колени и не своим голосом завыл:

— Не порочьте, не губите... Грех вам!

Истязание происходило рядом с мастерской, в сарайчике для угля. Нагого Павла привязали к столбу. Свирепый палач из каторжан был пьян и работал со всем усердием. Павел сначала терпел, затем стал стонать. Управитель, приостановив палача, вновь обратился к несчастному с требованием вернуть кошелек. Павел в ответ только хрипел.

И снова свист плетки. Окровавленный человек перестал стонать, голова его упала на плечо, он потерял сознание. А как пришел в чувство, управитель вновь принялся допрашивать его. Павел тряс головой и мычал, как бы онемев.

Тогда его бросили на скамейку, управитель сел на сутунок, скомандовал палачу:

— Валяй!

Расстроенный неудачею пытки, съедаемый мыслью о пропавшем кошельке, бергмейстер едва доплелся

до своего дома. Сухое, со вдавленными висками, прямоугольное лицо его было желто от разлившейся желчи.

— Ваня, что с тобой? Уж здоров ли ты? — участливо встретила своего супруга дородная Домна Карповна, одна из бывших любовниц хозяйского сына.

Бергмейстер бросился в кресло и, отдышавшись, сообщил Домне Карповне о пропавшем кошельке. Та, звякнув ключами, достала из посудного шкафа набитый самородками кошелек, подала мужу, сказала:

— Как ты спосылывал за слесарем, я взяла да и схоронила кошелек-то... От греха подальше!

— Тьфу ты! — выругался обескураженный управитель и, схватив кошелек, упрятал его в карман. — Какая ты, право, Домнушка!.. Из-за тебя вот... безвинного! — Он укорчиво взглянул в красивые глаза жены и зажевал губами. — Ну, ладно! Это парню впрок пойдет!..

Весть о нашедшейся у бергмейстера пропаже облетела весь поселок. Среди заводских поднялся шум. Вдоль уличек и переулков разъезжали в лохматых шапках вооруженные стражники.

В воскресенье гроб с телом забитого насмерть Павла стоял в той самой горенке, где должно было состояться обручение. Горенка оклеена весёлыми розовыми шпалерами, — ее отделывал к свадьбе сам Павел.

В воскресенье утром управитель послал за матерью Павла. Из окна управительского дома видна дорога. Управитель видит: кой-как бредет по дороге старая женщина, рядом казачок — мальчишка. Вот женщина всплеснула руками, покачнулась, повалилась на дорогу. Казачок пособил ей встать. Опять кой-как пошла.

— «Пьяная... Нажралась!» — подумал управитель и послал кучера доставить старуху в дом.

Сидя в кабинете господина и ничего не видя пред собой, старуха скулила, крестилась. Управитель, сунув в карман старухи десять серебряных рублевиков, сказал ей:

— Вот что, бабка! На свете всяко случается. Ошибка вышла. Кто ж его знал, что он, этакий бык,

плетей не выдюжит. А деньги тебе за несчастье немалые жертвую. Но помни, — закричал он и замотал пальцем пред сморщенным лицом старухи, — ежели кому из начальства пикнешь хоть слово насчет кошелька-то, я тебя, бабка, на каторгу упеку, уж я ходы-выходы найду!

— Эх, злодей ты, злодей!.. — выкрикнула старуха и, собравшись с силами, плюнула управителю в лицо.

— Эй, выбросьте вон эту старую падаль! — заорал, распахнув дверь, взбешенный Ванька Каин.

ГЛАВА XVI

Капрал Сидорчук, дядя Митяй и медведь Мишка. Завод распахнул перед Хлопушей ворота

1

Старый капрал полицейской службы Сидорчук, злой по природе, был вконец развращен заводской администрацией подачками, поблажками и всяческими поощрительными награждениями за верность хозяину и за нескрываемую ненависть к работным людям. Мужики и мастеровые боялись его, как бешеной собаки. Он наушничал управителю, оговаривал невинных, умел ловить беглых, как борзая зайцев. Ему не раз грозила народная расправа. У него пробита голова, поломаны ребра, но счастливая случайность спасала его от гибели.

Он гонит коня по знакомой лесной дороге через тьму и начавшуюся непогодь. Ветер шел накатом: подует, приостановится да опять ударит. Снег валил. Сердце капрала радо: он счастливо сбежал от разбойников, от этого гнусавого лешего в черной сетке, от неминуемой петли. Ах, дьяволы, ах, каторжники!.. Вот ужо, дай срок, он им покажет нового царя, Петра Федорыча!..

Капрал остановил коня, разинул рот, прислушался: слава тебе господи, погони не чутко! Да разве мыслимо в этакую непогодь человека отыскать в лесу. Поди разбойники-то там у костров и заночуют, а он, Сидорчук, тем временем на заводе к утру будет, добрую встречу этой шайке головорезов устроить постарается. На заводе, слава богу, сила есть, — одних полицейских солдатишек да стражников полтораста человек, при четырех унтерах.

Раздумывая так, капрал подстегивал коня. Холодновато чего-то стало. Эх, окатить бы душеньку винцом!.. Эх, давно бы!..

Погода, действительно, разбушевалась не на шутку. Густой лес задвигал плечами, зашумел. Ветер теперь швырялся в лицо липким снегом, слепил глаза, затруднял дыхание. Конь капральский спотыкался, воротил морду от ветра, всхрапывал. Лес гудел сплошным, беспрерывным, все нарастающим гулом. Фу ты, напасть!.. Ужели ж доведется свернуть куда-нибудь в трущобу да огонек разжечь?

Ехал капрал, ехал и вдруг приметил: справа от дороги мутнеет сквозь сумасшедшую летучую пургу какое-то расплывчатое белесое пятно. Не иначе — костер. Кто же это там? Куреня, кажись, тут не предвидится. Стало быть, беглец какой.

Капрал минутку подумал, соскочил с коня и повел его с дороги в лес. Конь то и дело всхрапывал, приплясывал, сторожко косился по сторонам, словно чуял недоброе.

В густом лесу было тише, чем на дороге, и костер вдали обозначился более явственно. Да уж не так далеко до него, не будет и полутораста сажен. Капрал осмотрелся, выбрал приметную кривую сосну, привязал к сосне коня.

— Стой-ка тут, а то, брат, ты только трохи-трохи мешать будешь, — сказал человек и, вынув из переметной сумы сложенный кольцами аркан с петлей на конце, направился в обход костра. Вот подкрадется и набросит на злыдня петлю.

Он шел осторожно, чтоб не трещали под ногами сучья, и оборонял глаза от колючих веток. Не успел

пройти и сотню шагов, как раздался резкий хряст чащобы. Капрал вздрогнул и метнулся прочь. Но было уже поздно! Медведь рявкнул, всплыл на дыбы и, пыхтя, двинулся на человека. Всхрапывала, взвизгивала, била задом почуявшая зверя лошадь. Овладев собой, капрал что есть силы взголосил:

— Мишка, мишка!.. Я тебе!.. — И побежал к лошади: там у него осталось ружье со штыком. Однако медведь, бросившись за ним, ударил его лапой, свалил на землю и насел на него.

Вступив в единоборство с мишкой, капрал орал на него на всю тайгу. Рявкал и медведь. Капрал был одет плотно, в нагольном полушубке, в овчинных штанах, в высоких валенках. Он был увертлив, силен, он немало на своем веку ухлопал зверя. А медведь, по счастью, попался не из матерых, но все же сильно тискал человека и плевал ему в лицо, обдавая горячим, как из печки, дыханием. Капрал, как можно пряча от зверя голову, старался выхватить из-за пояса нож, но ему это не удавалось: медведь прижал его к земле как раз левым боком, где был нож... Стремясь выползти из-под мишки, сбросить его с себя, капрал всячески извивался, сучил ногами, взрывая запорошенный снегом мох... Но вот острый нож в его руке. Однако рука не имела размаха. Резким толчком капрал ткнул медведя в брюхо и рванулся. Медведь рявкнул, вскочил на все четыре лапы и, разъяренный, снова насел на человека. Раздирая когтями полушубок и оскалив пасть, зверь целился перегрызть человеку горло. Капралу пришел последний час, и он взмолил: «Господи, помоги!» Изловчившись, он забил в пасть зверя огромную мохнатую рукавицу из собачины. Тут прозвенел чей-то осатанелый голос:

— Бей его, бей его, черта! — И спасительный топор ударил медведя по черепу.

Зверь бросил свою жертву и, яростно скакнув к вновь появившемуся врагу, смял его на землю и навалился на него. Человек пронзительно закричал.

Вскочивший капрал кинулся на выручку и сильным взмахом всадил нож меж лопатками зверя.

Медведь охнул, рявкнул, бросил человека с топором, мгновенно подмял под себя капрала и, кровожадно зарычав, впился ему в плечо предсмертной хваткой.

— Ой-ой-ой! — завопил капрал от нестерпимой боли. Но подоспевший человек с размаху рубнул топором зверя по загривку. Зверь клюнул носом, захрипел, рухнул набок, вытянулся, подергал лапами, протяжно вздохнул и стих.

Измученные, потрясенные два человека дышали надсадно, с хрипом. Им казалось, что вот-вот от напряжения сердца их разорвутся. Выпучив глаза и широко открыв перекосившиеся рты, они стояли один против другого пошатываясь. Липкий пот, смешанный с растаявшим снегом, обильно стекал с их лиц, от обнаженных голов дымилась испарина

Первым очнулся капрал. Отдуваясь и пыхтя, он поддел горсть снега, стал обтирать им окровавленные руки, освежать пылавшее лицо. Его коса в схватке растрепалась, длинные, как у женщины, волосы разметались по плечам.

И вот они через побуревшую от снега ночную темень вгляделись друг в друга, и оба сразу вскричали:

— Сидорчук!

— Митрий!

Два давнишних врага, более опасных и яростных, чем лесные звери, вдруг испугались своих голосов и опешили. Непостижимая встреча поразила их.

— Спасибо, Митрий. От неминучей смерти спас ты меня! — задыхаясь, через силу, сказал капрал.

— Неизвестно еще, спас ли... Не больно-то благодари, — набираясь силы, буркнул дядя Митяй. В нем поднялась давно копившаяся ненависть к насильнику.

Капрал попятился от своего врага, который был еще страшнее ему, чем убитый стервятник.

— Сволочь! — грубым басом выругался капрал. — Хоть ты и спас меня, а сволочь!..

— Кабы ведал я, что ты это, так не медведя, а тебя бы стукнул. — И Митрий, угрожающе надвигаясь на капрала, выхватил из-за кушака топор.

Капрал оробел. Боясь повернуться к мужику спиной, он напряженно следил за всяким его движением и пятился.

— Ты и так в прошлом годе мне голову, варнак, прошиб! — отступая, кричал он на мужика. — Едва я тогда ноги уволок из вашей ватажки разбойничьей... Варнак, язви тебя в душу!

Допятясь до истекавшего кровью медведя, капрал проворно нагнулся и выхватил застрявший в звериной туше нож.

Митрий замахнулся топором с правого плеча и заорал:

— А ну, капральская твоя душа, стой на месте!

«Убьет, леший!.. С ножом против топора не устоять», — совсем испугался капрал и пустился бежать.

Ветер почти затих. На фоне снега и побелевших, облепленных пургой деревьев чернели силуэты гнавшихся один за другим людей.

Капрал прытко поспешал к кривой сосне — где конь, но коня на месте не оказалось. И неизвестно, куда запропастилось ружье со штыком!

— Стой, нечистый дух, стой! — что есть силы голосил мужик.

— Геть с дороги... Убью! — гремел гулким басом озверевший капрал. Он было приостановился и засверкал ножом, но, струсив поднятого топора, спрятался за дерево.

Это был спасительный, в два обхвата, кедр. Тяжело дыша и ругаясь, враги кружились возле него. Только и слышались хруст валежника да безумные выкрики: «Убью!», «Убью!», «Молись, нечистая сила!»

Увертливо кружась под защитой кедра то в ту, то в эту сторону, капрал вспомнил о висевшем у него за поясом аркане и стал выискивать случай перехитрить ретивого врага. Вдруг петля жихнула и опутала Митяя. Капрал рванул аркан, мужик упал. С победным гоготом всею тушей капрал навалился на него.

Завязалась ожесточенная, последняя схватка. Враги хрипели, перекатывались один через другого.

Силы мужика ослабевали, капрал тоже изнемогал. Но вот он сделал последнее усилие и оседлал врага.

— Только и жить тебе, проклятый! — с зубовным скрежетом торжествующе выдохнул капрал и, зажав в горсть острый нож, замахнулся им. Но в эту минуту он получил оглушительный удар по голове калмыцким «волкобоем» (ременная нагайка со свинцовой пулькой на конце).

— Биря-биря!.. А-гык!.. — визгливо вопил верхоконный башкирец, крутя нагайкой.

А двое спешившихся казаков рванули оглушенного капрала за шиворот. Помятый дядя Митяй поднялся кое-как. Из поцарапанной щеки его струилась кровь.

Капрал быстро пришел в себя. Он слышал вокруг злорадный хохот и выкрики:

— С праздничком, Сидорчук! Ха-ха!..

— А и не гораздо же далече утек ты от нас!

Капрал сидел на снегу, вытянув ноги, опершись кулаками в землю, уронив на грудь голову. В правой его руке — кривой татарский нож.

— Вздернуть! — приподняв сетку, подал с коня голос Хлопуша.

Башкирцы подобрали капральский аркан и стали готовить петлю.

Капрал встретил смерть молча.

2

На рассвете в заводский поселок прибежал капральский конь и стал ржать возле своих ворот. Жирная старая капральша растопляла печку. Накинув на плечи шаль, она взяла чадящий каганец и поспешила впустить хозяина во двор. Но хозяина не было. Едва не стоптав капральшу, вломился в калитку конь с оборванной уздой и, чмокая копытами по вязкому навозу, проскочил к яслям.

Старуха долгое время кричала мужу на все лады: «Наумыч! Наумыч! Где ж ты, старый?» Пурхаясь по сугробам, она обошла кругом избы, заглянула в пере-

улок, пробралась на огороды, — нет нигде Наумыча. На старуху напал страх. Запыхавшись, она бросилась в полицейскую казарму:

— Ребята! Вставайте! Капрал пропал!

Вскоре шесть верхоконных молодцов с двумя цепными псами выбежали из ворот Авзяно-Петровского завода и галопом направились по лесной дороге.

В лачугах и домочках уже зажигались утренние огоньки. С востока шел рассвет. На чистом небе гасли звезды, морозные небесные просторы ширились.

Большинство заводских еще вчера решили на работу сей день не выходить, — сей день надлежало проводить убитого Павла в могилу. Если же Каин умыслит совершить над ними какое лиходейство, в обиду не даваться!

Управитель еще спал, во сне скорготал зубами, мычал. Лежавшая с ним бок о бок Домна Карповна потрясла за плечо его:

— Ваня! Ваня, проснись!.. Чего ты?

Управитель вскочил, испуганно осмотрелся, нахмурил брови, снова прилег на изголовье, раздражительно сказал жене:

— Не буди... Не спал всю ночь. Сны какие-то... Нездоровится.

Но вот на деревянной колокольне с полной внезапностью сполошно зазвучал набат.

— Пожар! Ой, батюшки, пожар! — И управитель со своей супругой враз вскочили.

За окнами сумятица: люди бегают, всадники снуют, слышатся отрывистые выкрики.

— Ворота, ворота! Запирай ворота! — голосили с коней стражники, стремительно несясь к заводскому валу.

— Эй! Чего стряслось? — вопрошали выскочившие из жилищ полуодетые мастеровые.

— Братцы! Кто в дружине, лезь живчиком на стены, к пушкам. Орда идет! — кричал проезжавший на рыжем бегунце урядник.

По площади и через плотину торопились люди с ружьями, с железными палками, скакали страж-

ники, урядники, строились в шеренги старые солдаты. Вся площадь шумела, суетилась. Разных мастей псы с лаем носились взад-вперед; у ворот хибарок, у колодца собирались любопытствующие бабы, ребята.

Дозорные с башни над воротами оповещали:

— Идут, идут!.. Орда идет!

И по всей площади, по всему поселку, из конца в конец испуганно передавалось:

— Орда идет!.. Орда!

Заводские люди не зря опасались подобных набегов. Из мести хозяевам заводов, оттягавшим себе почти задаром башкирские вольные земли, шайки башкирцев то здесь, то там делали порою набеги на русские жилища, жгли селенья, угоняли скот.

Ванька Каин носился на коне от крепостных ворот к цейхгаузу, откуда выкатывали пушки, вытаскивали самопалы, пищали, тесаки, от цейхгауза скакал к «зелийному» (пороховому) погребу. А толпа Хлопуши уже подступала к самому валу. С башен и чрез щели тына раздалось несколько выстрелов.

— Не стреляй, не стреляй в своих! — заорали из толпы казаки, а за ними и освобожденные в тайге беглецы.

Хлопуша, приподняв сетку и потрясая бумагой, гулким голосом вопил:

— Отворяй ворота! По приказу батюшки-царя! Мы слуги царские.

— Ребята, слыхали? От самого царя это, от батюшки. А нам брякали — орда!

И многие из заводских людей уже покарабкались на тын, чтоб лично досмотреть царское посольство.

А вверху, увидав с башен подкативших из лесу на подводах беглецов и углежогов, кричали:

— Глянь, глянь! Наши! Вот те Христос, наши!

Шеренга набежавших солдат и стражников, выставив ружья в бойницы бревенчатого тына, сыпала из натрусок на полку порох, готовясь открыть пальбу по «набеглой сволочи».

Но в этот миг среди многолюдства сбежавшихся работников, словно из-под земли, вынырнул бородатый, большеглазый, с поцарапанным сухощеким лицом дядя Митяй.

— Ха! — изумился народ. — Откуль ты, Митрий?

— Чрез заплот, миленькие, перемахнул. А ну, братцы! Подыми-ка меня, чтоб всем слыхать было.

Дядю Митяя подхватили на руки, приподняли. Он взмахнул шапкой и, видимый всей толпе, закричал:

— Ребятушки! Страдальцы! Мы от государя Петра Федорыча. Я самовидцем был. Волю объявить вам прибыли. Хватай стражников, сукиных сынов! Вяжи солдат, отворяй ворота слуге царскому!..

И не успел он кончить, как радостный рев: «Ура!», «Бей царских супротивников!», «Постоим за батюшку!» — захлестнул всю площадь. Оповещенные набатом, к заводу сбегались углежоги с ближних куреней, работные люди с шахт, окрестные жители.

Тотчас ворота были распахнуты, пушкари уведены с башен, охрана связана.

Под воинственный гул тысячной толпы Хлопуша чинно въехал со всем своим отрядом на Авзяно-Петровский, дворянина Демидова, завод.

3

Церковный колокол снова неумолчно бил в набат, сзывая народ с окрестных жительств, шахт, рудников, куреней, с лесных работ. Уже многим известно было, что прибыл от самого государя главный «царев приказчик». На санях, телегах, верхом, пешком, вприпрыжку сбирались к заводу работные люди с бабами, с малыми ребятами.

Управитель сидел под надежным караулом в своем доме. Хлопуша в сопровождении дяди Митяя, приказчика Максима Копылова и старых мастеров вот уже более двух часов осматривал заводские мастерские, домницы, склады. А когда ему сказали,

что народ собрался, он снял сетку, повязал нос чистой тряпицей, сел на коня и, окруженный казаками, проехал на площадь к церкви.

— Здорово, работный люд! — закричал он во весь голос.

— Здорово, батюшка! — ответила гулко вся площадь, как одна могучая грудь.

— Привез вам, детушки, поклон да милость от великого государя Петра Федорыча!..

— Рады государю служить! — послышалось восторженное в передних рядах.

— Рады служить и работать великому государю! — подхватила вся площадь.

Хлопуша подметил, что все как-то по-особому пялят на него глаза, бабы, перешептываясь, указывают в его сторону пальцами.

— Люди заводские, прислушайтесь! — опять прокричал Хлопуша и поправил повязку на носу. — Ведь я тоже, навроде вас, работным человеком был, да, вишь ты, начальству согрубил шибко, ну за это нос-от мне и вырвали да еще и знаки клейменые поставили на щеках, всего опаскудили!..

— Ой, батюшка! — раздались соболезнующие восклицания. — Стало, и ты претерпел?

— А вот ныне царь-государь призвал и пожалел меня, вот как пожалел, свет наш!.. И к вам направил, — едва сдерживая свое волнение, выкрикнул Хлопуша и мотнул головой. — Вот послушайте указ царев... Приказчик, читай во весь народ, гулче. — Он вынул из шапки бумагу и передал приказчику Максиму Копылову.

С бумагой за печатями взошел тот на церковное крыльцо. Толпа прихлынула вплотную к паперти, мужчины обнажили голову.

Указом, между прочим, повелевалось:

«Исправьте вы мне, великому государю, два мартила и с бомбами и с скорым поспешением ко мне представьте».

Заводским людям обещались за это награждения и всякие вольности, а в конце — угроза ослушникам.

— Батюшка, милостивец! — загомонили приписные из деревень крестьяне. — Тут в бумаге воля объявлена. Отпусти нас домой, мы всяк в свое отечество подадимся!

— Тихо, тихо!.. Не все зараз! — отмахнулся от крикунов Хлопуша.

К нему протискался коренастый дед, побуревшее лицо деда заросло клочковатой бородой, овчинный полушубок в прорехах, голова плешивая.

— Кормилец, — заговорил он, кланяясь Хлопуше. — Мы вот как бежали к тебе сейчас, так промежду нас разговор был: как волю-де объявит, всем в свои деревни вертаться, кто где рожен. Потому как слых прошел, что по государеву приказу вся помещичья земля мужику отходит, ну мы и опасаемся, как бы нас тамошние мужики-то, земляки-то наши, не пообидели. Вот, кормилец!..

Выслушав его, Хлопуша закричал в народ:

— Старатели! Упреждаю вас, крестьяне, всем миром уходить с завода не можно. Как покинуть завод в этакое время? Государю пушки надобны да ядра. Кто делать станет? Куда царь без оружия тронется? А ежели вы государю подсобы не дадите, так ни воли, ни земли не видать вам!..

— Пушков мы не делаем, — опять раздались вразнобой голоса. — У нас меди нетути. Эфто в Воскресенском льют, пушки-то. А мы ядра да картечи с боньбами на турецкую войну мастерим...

— Чего, чего? — переспросил Хлопуша и, услыхав позади себя звяк железа, обернулся. — Что за люди? — обратился он к толпе подошедших рудокопов.

Их человек с полсотни. Почти все они в ножных кандалах, а иные прикованы цепями к тачкам. В их лицах было нечто страшное. Все они оборванные, донельзя истощенные, с потухшими взорами, обросшие волосами, грязные, нечесаные. На фоне сытых, здоровых, щекастых мастеров и подмастерьев эти люди напоминали собой каких-то отверженцев от света и жизни. Все присутствующие взирали на них с жалостью и содроганьем.

— Что за люди? — повторил Хлопуша с коня.

Высокий, согбенный, лысый старик, похожий на выходца с кладбища, потряс цепями, хрипло загугнил:

— Мы вечно-отданные люди прозываемся... По грехам нашим, замест каторги да поселенья в Сибирь, нас на завод сослали... Батюшка начальник, пожалей несчастных, переведи ты нас всех на каторгу, куда-нибудь в Сибирь-землю!.. — Он задохнулся, седая голова его поникла к груди, и он сам повалился на колени.

Загремели цепи, и все вечно-отданные опустились на колени.

— Встаньте, люди, вечно-отданные царицей да дворянами! — громко, чтоб все слышали, сказал Хлопуша. — Будьте вы, указом государя, вечно-вольными... Кузнецы! Немедля снять с них оковы! Приказчик! Живо распорядись вдосыт накормить их, приодеть да приобуть. Вишь, у них на ногах-то ошметки какие? Идите, трудники, восчувствуйте нашу правду!

Освобожденные, обливаясь слезами, завыли от радости в голос и, поддерживая один другого, поплелись вслед за кузнецами.

А к ногам коня Хлопуши, всплеснув руками, упала старая мать замученного управителем Павла Сидорова. Смерть сына состарила ее: голова старухи тряслась, она шамкала губами, что-то бормотала непонятное.

На церковные приступки поднялся тот самый мастер, у которого работал Сидоров, и вкратце обсказал Хлопуше, как было дело.

— Ах, злодей! — закричал Хлопуша, и его обезображенное лицо перекосилось. — Немедля сюда этого Каина. Готовь петлю! — мотнул он на два столба с перекладиной: здесь о пасхе была качель для парней и девок.

Пока бегали за управителем, народ выкрикивал Хлопуше свои жалобы на Ваньку Каина, на хозяйского сына Ваську Демидова, что приезжает иногда пожить сюда, в свой барский дом, попьянствовать, покуролесить.

И еще жаловались на приказчика да расходчиков: их шестеро, они утесняют людей работных, обсчитывают, обмеривают. Правда, что среди них Максим Копылов мужик ничего себе, он иным часом работному люду и мирволит.

Хлопуша приказал:

— Приказчиков и всех мирских супротивников, окроме Копылова, заарестовать. Вешать их не стану, а поведу на суд, на расправу к батюшке.

Звонарю о деревянной ноге все видно с колокольни. Он видел, как выволокли из дома связанного по рукам Каина, как выскочила на мороз в одном платьишке растрепанная Домна Карповна и повисла на муже — не пускает. Вот ее отшвырнули прочь. А какой-то башкирец ахнул управителя и раз и два тесаком по голове. Ванька рухнул, его стали топтать с таким усердием, словно утрамбовывали землю. Старому звонарю казалось, что мужики неведомо с чего в пляс пошли. А когда, заарканив за ноги, потащили по снегу обезображенный управительский труп, звонарь, стуча деревянной ногою, опустился на колени, осенил себя крестом и прошептал:

— Царство тебе небесное, Ванька! Хошь и злодей ты был, собачья шерсть, хошь и ноги по твоей милости лишился, да не мне судить тебя. На то бог в небе, царь на земле!

4

Хлопуша распоряжался толково, хозяйственно. Он велел старому священнику, отцу Степану, всех до единого работных людей привести к присяге новому царю. Присягнули также и те из солдат и стражников, кои не успели убежать и передались Хлопуше.

Были свезены и стащены на площадь сорок пушек. Хлопуша со старым солдатом-артиллеристом отобрал из них только шесть годных, а лафеты к ним велел заново оковать железом.

Солдат-артиллерист, потряхивая седоусой головой, сказал:

— Я, ведаешь, батюшка, сам-то с турецкой войны, дюже порченый. Головушка трясется, ноги дрыгают. Под страшенный взрыв попал. Уволили вчистую. Вот сюды определился. Нас немало таких калек по заводам-то распихано...

— Поедем государю служить, — сказал Хлопуша-Соколов. — Будет тебе здесь околачиваться-то.

— Стар, батюшка, его величеству стараться.

Хлопушей был брошен клич идти в охотники служить государю. Набралось до пятисот человек — все молодежь и середовичи из заводских мастеровых, приписных крестьян, а также людей, работавших по вольному найму, среди коих много всякого сброда: утеклецов, бродяг, бежавших каторжан — все отпетые сорвиголовушки.

По всем заводским жительствам неумолчный гомон пошел, и почти все многолюдство, насильно вывезенное сюда Демидовым из дальних мест, вдруг стало торопливо готовиться к отвалу в родные свои, давно покинутые края. Чинилась веревочная сбруя, латались хомуты, подновлялись сани, вырубались в лесу березовые оглобли, бабы перестирывали бельишко, зашивали прорехи на тулупах, на шубенках.

Вот уже выпечены в дорогу хлебы, поотрублены курам головы, у хозяев исправных переколоты овцы и свиньи: не с пустыми же руками являться на родимые места.

Через два дня все уже было готово к отъезду: возы уложены, лошаденки выкормлены, крестьяне разбиты на отряды по своим деревням — кому ехать в Котловку, кому в Чистое поле[1], кому в село Толшино, — всего в четырнадцать жительств.

Но русский крестьянин чрез опыт всей трудной судьбы своей привык жить с оглядкой и загадывать о будущем. Вот и теперь мудрые старики решили дело с отъездом обзаконить по-умному, чтоб впоследствии было чем оправдаться.

---

[1] Ныне г. Чистополь.

Собрание было шумное, но к согласью пришли скоро. Сделано постановление исключительного интереса: приговор вынесен *волею* и *от имени народа.* В нем, между прочим, говорилось:

«Мы посылаемы были на завод в силу указов бывшей государыни Елизаветы Петровны, а тако ныне получили указ его императорского величества Петра Третьего, императора, и с тем, что не самовольно, а в силу оного указа ехать с заводов повелено. Мы все, приписные крестьяне, оному повинились: ехать в свои отечества согласны. Избрали мы для провождения оной нашей партии тебя, Степана Понкина. В том тебя и утверждаем, которым случаем мы, все заводские люди, тебя избрали. А нам, мирским людям, быть у оного выбранного послушными. А сей приговор по приказу оного народа писал крестьянин Федор Пивоваров».

Провожатый, Степан Понкин, получил из конторы на руки проездное свидетельство о том, что «он отпущен в дом свой по силе его императорского величества Петра Федоровича указу».

На третий день в ближайшей к заводу деревне священником был отслужен «в путь шествующим» молебен, огромный обоз окроплен святой водою.

Каждая многодетная семья получила от Хлопуши на дорогу по три рубля, остальные по рублю, — деньги немалые.

— Прибудете в отечества свои, — говорил отъезжающим Хлопуша, — толкуйте крестьянству, пущай они барским хлебом грузят возы, берут барских коней да подвигаются под Оренбург, в государеву армию.

— Не учи! Мы теперь прозрели. Теперь мы силу заберем. Ого-го.

Избы заколочены, собаки с цепей спущены. Заскрипели по снегу полозья — обоз двинулся. За многими возами брели коровы.

Мужики шагают возле возов; на возах бабы, ребята, укутанные в рвань. Лица у всех радостные, на душе праздник, но кое-кого пугает неизвестность будущего, которое все лежит во мгле, в тумане.

— Ничо, ничо! — подбадривают мужики друг друга. — Долго ждали волюшку, вот дождались!

— Как бы эта воля в неволю не оборотилась, — возражали маловеры. — Кто его ведает, как нас на родине-то встренут? Может, там солдатня с пушками нагнана?

— Ну, чего вы, мужики! — обрывали их неунывающие. — Безносый толковал, что у царя-батюшки везде своя сила стоит, по всей Руси!

— И чего вы, робята, купороситесь, — говорил долговязый старик, подстегивая коровенок. — Худо ли, хорошо ли — все наше! Хуже не будет. Хошь день, да наш!.. Хошь спины разогнем да на божьи леса посмотрим со приятностью.

А леса кругом стояли дремучие, тихие, околдованные зимним сном. Ни птицы, ни зверя. И воздух неподвижен. Знать, нашумелись леса за лето, за бурную осень; нашумелись, устали, натрудили упругие спины, раскачиваясь под ударами вихрей; теперь отдыхают, защурились, спят.

— А, мотри, робята, древо-то божье на зиму умирает, — сказал старый Игнат. — Живая душа-то из древес в мать сыру землю до весны скрывается... И хоть ты его руби, хоть пили — древу не чутко!

— А что, брат, дедушка Игнат, ты правду баешь, — поддакнули ему.

— Да кто его знает... Однако так мнится мне, — скромничал Игнат, жадно оглядывая вековечные леса; в его ясных голубых глазах загорелись молодые огоньки. — А как весной, при солнышке, потекут по древу живые соки, так и душа снова появится в нем... Господи боже мой, ну до чего все премудро устроено на божьем свете. Только разуметь умишком своим нам ничего не дадено. Думки есть смышленые, да без корня, без укрепы. Спросишь себя, а как ответ дать, — способов к тому нетути.

И уже возле него набралось человек с десяток мужиков: им любопытно послушать, как умствует старый Игнат — человек бывалый и до народа ласковый. И все стали присматриваться, прислушиваться к таинственному лесу, в обычную пору такому простому

и понятному. Стали задумываться над словами дедушки Игната, и слова его казались им мудрыми.

Но не верилось людям, что лес мертв, что душа его скрылась до солнца в землю. Нет, лес жив, и жива его душа: лес дышит, лес все чувствует, он только заснул до весны, как засыпает медведь в берлоге.

Да, лес спит... А чтоб не ознобить на морозе свои корявые ноги, он закутал их белой горностаевой шубой, а свое темя и темно-зеленые хвойные лапы принакрыл белой шапкой, белыми пуховыми рукавицами... А эвот монахи идут, целая гурьба, — в темных рясах, в белых саванах, бороды их седы, брови хмуры. А эвот-эвот лесовое страховидное чудище лежит, морда круглая, глазищи по лукошку, хребтина извихлялась, будто у змеи. А эвот, за той страшительной колодиной, — кучка пней, мал-мала меньше, с черными рожицами, в белых надвинутых на ухо колпачках, красные языки вывалились из губастых ртов, над головами козлиные рога, — ну, чисто чертенята! А эвот на ветвях либо нежить, либо сама русалка разметалась-разлеглась, — свесила до земли косищи, бесстыдно выставила снеговые круглые, как у девки, груди... Ох, господи, прости!.. Много в лесу страхов, много и соблазна.

Впереди обоза ехал с семьей на паре провожатый Семен Понкин, чернобородый, с живыми, смышлеными глазами дядя. По дороге вылезали из своих землянок дикие видом, пещерные люди, бросали свое барахлишко на порожние подводы и, поклонясь артели, приставали к обозу.

— Ну, ваше степенство, господин Демидов, до увиданьица! — потрясали они кулаками в сторону немилого завода. — Гори, проклятый, огнем вечным!.. — И хриплый хохот вырывался из их пораженных недугом грудей.

Хлопуша с пятью казаками поместился в богато обставленном доме самого Демидова. Два писаря составляли подробные ведомости имуществу, а казаки с приказчиком и дядей Митяем грузили его на возы. Взято больше двух пудов серебряной посуды, столо-

вые английские часы, клавесины, зеркала, богатая одежда и вся утварь. Хлопуша хотел надеть на себя хозяйскую лисью шубу с бобровым воротником, да передумал, — как бы царя не прогневить. Снято со стен с десяток новых фузей да двадцать добротных ружей петровских да елизаветинских времен, сделанных на тульских, Демидова, заводах.

В конторе взято семь тысяч рублей серебром и медью. Все дивились на огромные, прямоугольной формы, медные рубли сибирской чеканки. Народ прозвал их «пряниками». Четыре таких «пряника» тянули пуд, а круглые, чеканки Сестрорецкого, что под Питером, завода, екатерининские рубли толщиной в полвершка назывались «пирожками». Два «пряника» и два «пирожка» Хлопуша велел завернуть в тряпицу и положить в «царев сундук». «Этими дарами поклонюсь батюшке особо», — подумал усердный к Пугачеву Хлопуша.

Из семи тысяч рублей он две тысячи роздал работным людям да пятьдесят рублей подарил матери убитого Павла, а на могиле «убиенного» распорядился положить каменную плиту и поставить чугунный крест.

Всех удовлетворив деньгами и выдав работным людям — кому сапоги, кому новые лапти, одежишку, шапки, рукавицы, Хлопуша назначил старшим при заводе приказчиком дядю Митяя, дал ему в подручные Копылова и стал готовиться к отъезду.

Согнали на площадь сто двадцать ездовых лошадей с прибором, триста баранов, восемьдесят быков, погрузили пять пудов пороху, ядра, государеву серебряную да медную казну, пожитки, провиант, сено, поставили на лафеты шесть пушек. При пушках отряжены были из заводских людей трое, что могли не токмо чинить пушечную утварь, но и метко палить.

На одном из возов сидела бывшая управительница, в куньей шубке, прикрывшись беличьим одеялом. Чернобородый казак Нагнибеда, застращав дородную Домну Карповну, что могут ее повесить, предложил ей, во избежание казни, стать его женой. Домне Карповне, женщине в прыску, умирать паскуд-

ной смертью не хотелось, она думала недолго, только спросила:

— А будете ли мне верны вы?

— Это уж как водится! — ответил чернобородый Нагнибеда. Он был недурен собой, плотен в плечах, и Домна Карповна, попристальней присмотревшись к нему, сказала:

— Ах, я в согласье!

Под громкие крики собравшейся толпы, под трезвон колоколов, приняв напутственное благословение священника, весь многочисленный отряд Хлопуши выступил в обратный путь.

На прощанье Хлопуша сказал народу:

— Поусердствуйте, люди работные, великому государю! Того гляди, сам батюшка к вам припожалует. Уж он-то никаких ослушностей не потерпит, я вам допряма говорю!

— Поусердствуем! Обещаваемся! — кричал народ.

Среди оставшихся — лучшие мастера и мастеровые из раскольников-старообрядцев. Их от своих домков, от хозяйств, от огородов клещами не оторвешь, они — как вбитые в стену гвозди.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Веселые тетки. Военачальник Кар идет на Пугачева. Прапорщик Шванвич. Горячий на морозе бой

1

Пугачева обычно с утра осаждали разные людишки: то два подравшихся по пьяному делу есаула просили рассудить их, то ограбленная башкирцами баба из окрестного селения, то сельский попик, у которого казаки вывезли со двора свинью и еще две копны сена; то жалоба на колдуна-мельника, что по злобе он килы людям ставит. И так каждый божий день. Большинство просителей Пугачев отсылал на решение к атаманам или к писарям.

Но вот сегодня, после недавнего сражения, Падуров привел к государю не просителя, а только что прискакавшего в Берду молодого мужика. Крестьянин покрестился на образа, упал Пугачеву в ноги, сказал:

— Царь-государь, дозволь слово молвить... К Сакмарскому городку казенный генерал идет с войском. Тебя, наш свет, ловить! Ямщик сказывал, Tереха Злобин. Поопасись, батюшка!

Пугачев изменился в лице. «Вот оно, начинается...» Правда, он ожидал против себя действий регулярных

войск, но думал, что это еще долга песня: царицыны-то войска угнаны в Турцию. А тут на вот те!..

— Великое ль у него регулярство, много ль народу у него в команде? — спросил он крестьянина.

— Ямщичишка сказывал, да и другие прочие баяли, что, мол, команда не шибко велика, да и не больно мала, середка на половину вроде как... А хвамиль генералу — Кар.

— Кар? — переспросил Пугачев и переглянулся с Падуровым. — Ну так я этого знаю!

Отпустив крестьянина, Пугачев приказал позвать Овчинникова с Зарубиным-Чикой.

— Вот что, атаманы, — сказал он им, — по нашу душу генерал Кар идет. К Сакмаре подходит... Ты, Овчинников, тотчас спосылай туда конные дозоры. А послезавтра и сам отправляйся в тое место вкупе с Чикой. Со всех сил постарайтесь Кара к Оренбургу не допускать, а расколотить его в прах, наголову. Возьмешь с собой пятьсот доброконных казаков да шесть пушек. Ну, ступай, Андрей Афанасьевич, дается тебе сроку два дня, приуготовь войско к маршу. А главное смотренье сам буду чинить опосля и наставленье в подробностях дам.

Пугачев остался с глазу на глаз с Падуровым. Стараясь казаться бодрым, он подморгнул полковнику правым глазом и сказал:

— Эвот Катерина уж генералов на меня стала насылать. Садись, полковник, да прислушайся-ка, что молвить стану. Тебе ведомо, что по вчерашней ночи, опосля бою, к нам бежали с крепости четыре солдата, кои на часах стояли, да вдобавок два казака. А седни утром я им допрос произвел. Оные солдаты уверительно сказывали, что всему головой там яицкие да оренбургские казаки. Вся беднота-то казацкая ко мне приклонилась, к государю. Вот и ты, спасибо, шестьсот молодцов привел. А у Рейнсдорпа богатенькие остались да еще молодые, замордованные Матюшкой Бородиным: они и пикнуть супротив него страшатся.

— Чувствую, государь, к чему вы речь ведете. Не написать ли письма увещательные к жителям?

— Во! — кивнул головой Пугачев. — Напиши поскладней жителям, чтобы до конечной погибели себя не доводили, а сдавались бы мне. Это от моего императорского имени слово. А от себя пиши оренбургскому атаману Могутову Василию да яицкому старшине Мартемьяну Бородину: ежели хотят прощение от меня принять за супротивность за свою, то пускай уговорят солдат и казаков, да и всех начальников, чтобы немедля город сдали и покорились бы в подданство моему державству. А ежели не покорятся, да милосердный бог поможет мне взять город штурмом, я с них живьем шкуру-де на ремни стану драть. — Он тяжело задышал и притопнул. — Да в письмах-то, слышь, уверяй их, что я, мол, доподлинный Петр Третий. И приметы, что в народе про меня ходят, пропиши: верхнего, мол, зуба нет напереди и правым глазом прищуриваю. Слыхал такие приметы?

— Как не слыхать.

— Гляди. — Пугачев приподнял пальцами усатую губу и показал меж зубов щербинку. — Видал? Ну, вот! Да, слышь-ка, Падуров, как будешь писать Могутову Ваське, напомни-ка, брат, ему, постыди-ка: ты, что ж, мол, нешто забыл государевы-то милости, ведь он сына твоего пожаловал в пажи.

Падуров слушал со вниманием, все больше и больше поражаясь сметке Пугачева. «А и верно, неплохой бы из него царь был», — подумал он.

К обеду письма были изготовлены в духе сказанного Пугачевым. Атамана Могутова Падуров старался запугать своей собственной выдумкой: мол, государем получены новые бомбы адской силы, каждая бомба чинится тремя пудами пороха, и, мол, «невозможно ли, батюшка, уговорить его высокопревосходительство Ивана Андреича, чтоб он склонился и, по обычаю, прислал бы к государю письмо, чтоб государь вас простил и ничего бы над вами не чинил». Было в письме сообщено и про царские приметы. «Сверх того вам объявляю, батюшка, Василий Иванович, что государь упоминает вас всегда и вспоми-

нает то, как вашего сына Ивана Васильевича произвел в пажи».

Бородина он уверял в письме, что Пугачев, как его облыжно называют, доподлинный царь есть. «Удивляюсь я вам, Мартемьян Михайлыч, что вы в такое глубокое дело вступили и всех в то привлекли. Сам знаешь, братец, против кого идешь». Письма были длинные, обстоятельные. Пугачеву они понравились.

Падуров сказал, что затруднительно будет доставить письма по принадлежности. Пугачев, подумав, велел Давилину скликать восемь оренбургских баб, что неделю тому назад были отхвачены от обоза, тайно приезжавшего из крепости на луга за сеном. Падурову стало любопытно, он улыбался и накручивал усы.

Шумно вошли восемь рослых крупных теток, в лаптях, в душегреях, в пуховых шалях. Лица у них одутловатые, глаза покрасневшие, заплывшие, будто после непросыпного запоя. Покрестившись на икону, они поклонились Пугачеву. Он принимал их в золотом зальце. Тетки вертели головами, рассматривая убранство горенки, толкали друг дружку в бока, перешептывались.

— Ну, с чем пришли, красавицы? — спросил Пугачев, прищуривая правый глаз и оправляя челку на лбу.

— Ой, надежа-государь, а чего ж ты нас, сирот, в полон-то позабрал? — заголосили тетки. — Диви бы мужиков, а то баб.

— А пошто вы сено мое по ночам воровать ездите?

— Ой, надежа, сено-то не твое, а наше, мы сами косили, сами и ставили.

— Сено ваше, а вы мои рабы, — выходит, и сено мое.

— Отпусти ты нас, батюшка, век за тебя будем бога молить!

— Пошто отпускать-то? Али плохо жить у меня? Может, кто пообидел вас?

Тетки переглянулись между собой и заулыбались:

— Много твоей милостью довольны. И обиды нам от твоих не было. И винца, грешным делом, попили вдосыт, и покушали, и поплясали всласть, — выкладывали развеселившиеся тетки. — Эвот и вина у тебя сколь хошь, и хлеб дешевый — грош фунт, и говядина с бараниной — всего много, все шибко дешево. А у нас... Ой, да чего уж тут...

— Ну, вот и оставайтесь.

— Слов нет, мы бы, конешно, остаться согласны, да ведь в городу-то робятенки малые, да коровки, да козочки...

— У вас козочки, а у меня зато казачки́, — пошутил Пугачев, лукаво подмаргивая теткам.

— Ха-ха, — закатились тетки; им очень по нраву пришелся ласковый царь-батюшка. — Слов нет, казачки́ твои насчет женских сердцов дюже сердитые... Ой ты! — сокрушенно, по-греховному вздохнув и снова переглянувшись, тетки повалились Пугачеву в ноги: — Отпусти, надежа-государь, не задерживай нас, сирот...

— А ты чего в ноги не валишься? — И Пугачев воззрился в лицо красивой, с веселыми глазами, бабы.

— А я остаться у тебя в согласье, — замигала она и потупилась. — Я как есть на божьем свете круглая вдова, я под тобою внизу живу...

— Как так?

— Я, круглая вдова, взамуж за твоего казака, конешно, вышла, за Кузьму Фофанова. Кузьма-то мой у тебя внизу упомещается. Ну-к и я с ним.

— Хах! — хохотнул Пугачев. — Ты, я вижу, с понятием!

— Конешно, с понятием, конешно... Я, как круглая вдова...

— Да уж чего круглей, — перебил ее Пугачев, покосившись на пышнотелую молодку. — Ну ладно, оставайся. А вы, тетушки... Вам я волю объявляю. Давилин, вели старику Почиталину выдать молодайкам замест лаптей обутки добрые, да по бараньей ноге чтобы выдал, да круп с мукой. А ихним ребятишкам чтоб сладких леденчиков Максим Горшков отвесил.

Бабы аж затряслись и с радостными слезами взголосили:

— Надежа, надежа!.. Спасибочка тебе, надежа-батюшка... Ой, забирай ты скорее городишко-то наш... Забирай!

— Город заберу скоро. Ну, тетушки, сослужите и вы мне службину. Вот возьмите-ка эти письма да передайте из рук в руки Мартемьяну Бородину да Могутову.

— О, это Ваське Могутову-то да Матюшке-то... Да зараз, зараз!

— Только, тетки, знайте: у меня в Оренбурге свои глаза и уши. Обманете — не прогневайтесь.

Тетки поклялись страшной клятвой, что все исполнят с радостью. Пугачев важно поднялся с кресла, дал каждой по полтине, сказал:

— Всем толкуйте, что я, великий государь Петр Федорыч, денно-нощно думаю о несносном житьишке всей черни замордованной, всех мирян оренбургских. Толкуйте и казакам и солдатишкам, чтоб не супротивничали мне, своих командиров не слушались, а бежали ко мне. А нет — выморю крепость голодом, а город выжгу. Толкуйте, что у меня всего много и я милостив.

Он велел Давилину отправить женщин на двух пароконных подводах с бубенцами, подвезти их к крепости на пушечный выстрел и с честью отпустить.

Когда стемнело, Пугачев распорядился нарядить за фуражом тысячу подвод в сторону Илецкой защиты. Велено было ехать по сыртам, минуя город. Еще не рассвело, как нагруженные сеном возы, не замеченные городом, уже возвращались в Бердскую слободу.

Наступил срок отправления отряда Овчинникова в поход. На рассвете ударила вестовая пушка. Когда все было готово, к стоявшим в строю казакам подъехал Пугачев. Знамена склонились перед царем, все вокруг замерло. Только встряхивались в деревьях проснувшиеся галки и вороны.

Пугачеву нравился порядок, который завел атаман Овчинников среди своих казаков.

— Детушки! — начал он с коня. Звонкий его голос был слышен даже в хвосте растянувшегося на версту воинского обоза. — Детушки! Верные мои казаки! На мою императорскую армию измыслила поднять руку заблудшая жена моя, царица Катерина. Она выслала супротив меня генерала своего, бездельника, немчуру тонконогого, Кара. А нуте-ка, детушки, задайте этому Кару жару! (Казаки заулыбались.) Да такого жару задайте Кару, чтобы оный Кар и каркать позабыл. (Казаки по всем рядам всхохотнули.)

Пугачев обнял Овчинникова, обнял Зарубина-Чику, скомандовал:

— С бо-о-гом!.. Трогай!

2

Граф Захар Чернышев писал градоправителю Москвы, князю Волконскому, что для учинения сильного поиска «над злодеем Пугачевым посылается ныне же наскоро генерал-майор Кар».

Таким образом, Кар был избран наскоро и, как оказалось впоследствии, не совсем обдуманно. Да, впрочем, и выбирать-то было не из кого: в Петербурге в это время очень мало находилось армейских генералов вообще, а опытных и надежных среди них тем паче.

Василию Алексеевичу Кару не хотелось отправляться в немилый ему поход: наступала суровая зима, а здоровье его было не из важных, у него «хроническая трудно излечимая» болезнь, он только что вернулся с заграничных «теплых вод». Просился генерал в чистую отставку, — не пустили... Ему всего сорок три года. Он звезд с неба не хватал, но все же был довольно опытный в военном деле командир, прошедший хорошую школу в Семилетнюю войну.

Невысокого роста, щуплый, большеголовый, виски запали, глаза расставлены широко и смотрят немного в стороны, как у зайца, рыжеватые волосы

торчком, нос большой. Он совсем некрасив. С солдатами в мирное время очень холоден; в походе хотя он и старается наладить с командами отеческое отношение, но это ему плохо удается. В нем прорывается заносчивость, он временами становится без толку криклив и суетлив. Солдаты не любят его.

Он ехал до Казани по грязнейшим осенним дорогам в собственном хорошем экипаже и в сопровождении военного лекаря.

Не доезжая до Казани верст полтораста, он обогнал роту 2-го гренадерского полка. Генерал остановил отряд. Командир отряда поручик Карташев отрапортовал ему, что эта рота гренадер выступила из города Нарвы через Питер и движется скорым поспешением тоже в Казань.

— Прекрасно, — сказал Кар. — Ваша рота назначена в мое распоряжение. Вы немедля посадите солдат на подводы и как можно скорей последуете за мной. В Казани не задерживайтесь, а проворней гоните к Оренбургу. В Кичуевском фельдшанце я вас буду поджидать.

Стоявший тут же молодой прапорщик Шванвич, адъютант Карташева, записывал в книжечку приказания генерала.

Губернатора Брандта генерал Кар в Казани не застал, — Брандт еще не возвратился из поездки за границы губернии, где он своими распоряжениями старался оказать посильную помощь Оренбургу.

Осмотрев небольшие воинские части, собранные казанским губернатором, Кар отправил их в Кичуевский фельдшанец, находившийся в четырехстах верстах от Оренбурга, и вслед за ними вскоре выехал сам.

В попутных деревнях крестьяне не оказывали Кару ни малейшего почтения, прямо-таки дерзки были.

И чем ближе к Оренбургу, тем поведение жителей становилось неспокойнее, задирчивее. Вместо хороших лошадей в генеральский возок впрягали каких-то одров, ссылаясь на то, что ныне бескормица и что сытые кони потребованы под Оренбург. «Кто потребовал?» — «А кто же его ведает... Мы народ темный,

нам говорили, что к самому батюшке-царю. И бумага от него была быдто бы...»

Кар всюду раздавал напечатанные в Петербурге увещательные манифесты, приказывал священникам и мулам оглашать их народу.

Иногда, и очень часто, вдруг выпорхнет из перелеска всадник в малахае и с луком за плечами, прощупает раскосыми глазами скользящий по скрипучему снегу возок генерала, сани его свиты и скачущий конвой, погрозит нагайкой, гикнет гортанным, каким-то птичьим голосом и, словно птица же, умчится прочь. Конвой всякий раз безуспешно бросался за такими дерзецами, но те неуловимы, как ветер.

Сильный мороз, Кар зябнет. Изнеженные руки его в меховых варежках и к тому же засунуты в дамскую теплую муфту.

— Морозы, дурацкая степь, метелицы... — брюзжит Кар. — Черт знает!.. И какой дурак зимой воюет? Ну и удружил мне граф Чернышев. Ведь я же болен, ведь я ж только что на теплых водах был. Ноги ноют, бок покалывает... А главное, какая же в моем распоряжении воинская сила? У меня никого! Вы понимаете? Нет никого... Ну да я не теряю надежды и с моей командой раздавить воровскую сволочь.

В Кичуевский фельдшанец Кар прибыл 30 октября. Там уже ожидал его назначенный ему в помощь приехавший из Калуги генерал-майор Фрейман.

При свидании генералы обнялись.

— Ну, Федор Юльевич, — воскликнул Кар, — я крайне рад, что вы со мною. Правда, силы у нас малые, но мы подкопим, подкопим! И самозванца расшибем вдрызг. Опасаюсь лишь, что они, разбойники, сведав о нашем приближении, обратятся в бег и, не допустив наши отряды до себя, скроются... Этого пуще всего опасаюсь.

Тактичный Фрейман не хотел сразу огорошить Кара. Поэтому свой печальный доклад делал Кару после сытного обеда. По докладу оказалось, что воинские силы, которые должны были поступить в распоряжение Кара, недостаточны: отряд майора Ас-

тафьева в Кучуевском фельдшанце, отряд майора Варнстедта, стоявшего за Бугульмой, и отряд симбирского коменданта полковника Чернышева — всего в трех отрядах около трех тысяч пятисот человек. Из них полевых кадровых войск шестьсот человек, остальные — старые, малогодные гарнизонные солдаты и плохо вооруженные отставные поселенцы, забывшие военную муштру.

Но главная неприятность, доложенная Кару, — это измена двух тысяч башкирцев, собранных губернатором Брандтом на Стерлитамакской пристани: они открыто заявили, что уходят к «законному государю», даровавшему им земли и вольности. Точно так же изменили и пятьсот человек калмыков, находившихся на сакмарской линии.

Эта новость была большим ударом для Кара: его экспедиция лишалась таким образом прекрасной и многочисленной конницы.

И еще известие: местное население к увещательным манифестам императрицы относилось недоверчиво. У живущих по форпостам и в Яицком городке казаков по получении манифеста будто бы оказалось «зловредное отрыгновение», казаки, не стесняясь, говорили:

— Хотя нас и устращивают публикуемым манифестом, но мы того не боимся. Эта грамота нам читана, да не при нас она писана.

Трезвым складом ума Кар сразу оценил свое незавидное положение. Да к тому же он точно не знал, где находится Пугачев, велики ль его «воровские» силы, и, наконец, может ли Рейнсдорп оказать наступательным действиям Кара серьезную помощь. С душевной болью генерал воочию убеждался, что весь Оренбургский край погружен в смятение... Да, черт возьми, было над чем призадуматься!

Воинских сил у Кара мало, конницы нет, артиллерия так себе, провианта скудно, фуража того меньше, а стоит морозная пора, и плохо одетые солдаты страдают от холода, ропщут.

Что же делать в этой стране мятежников, забывших свой долг пред отечеством?

«Наступать, наступать», — с отчаянною настойчивостью решил генерал Кар.

Он тотчас отправил в Бугульму на усиление отряда Варнстедта только что прибывшую из Москвы роту Томского полка и двести человек солдат казанского батальона. А на следующий день, 2 ноября, и сам прибыл в Бугульму.

Майор Варнстедт ошеломил Кара известием о том, что все окрестные селения передались самозванцу, что жители покинули свои дома, что многие поместья выжжены, край разорен и что, прежде чем двигаться вперед, необходимо заготовить продовольствие и фураж.

Задуманное Каром наступление задерживалось. В разные стороны посылались отряды для реквизиции фуража, продовольствия, лошадей. Оставшееся население вконец озлобилось, ничего не хотело давать в казну, подвергалось наказаниям и почти поголовно бежало в стан к Пугачеву.

Между солдатами тоже замечалось колебание. Они не надеялись ни на свою малочисленную артиллерию, ни на способности генерала Кара. Среди солдат ходили слухи, что у Пугачева артиллерия знатная, что силы у него много и что Оренбург давно им взят, только наши генералы-де это скрывают.

Кар решил некоторое время подождать, пока прибудут из Саратова четыре обещанных орудия да ожидаемые из Москвы армейские команды. А тогда можно будет и с малодушными солдатишками посчитаться и посечь их, а нет, так одного-другого и повесить.

Но ждать было некогда.

— Быстрота действий есть единственное средство для успеха, — сказал Кар на военном совещании.

И его отряд в полторы тысячи человек при пяти пушках выступил вперед.

С дороги Кар послал второй приказ симбирскому коменданту, полковнику Чернышеву, чтоб он тотчас же шел из Сорочинской крепости и занял крепость Чернореченскую, откуда чтоб зорко следил за неприя-

телем и при первой же его попытке к бегству чинил изменникам жесточайший вред и истребление.

Стратегические расчеты генерала Кара были, в общем, правильны. Подходившие к Оренбургу воинские части должны были окружить мятежников с трех сторон. А с четвертой стороны — Оренбург с грозной артиллерией и большой воинской силой. Единодушные действия наступающих отрядов могли бы поставить Пугачева в безвыходное положение.

Но «судьба» и на этот раз продолжала покровительствовать Пугачеву.

Полная неосведомленность Кара в наличности и расположении правительственных отрядов, отсутствие какой бы то ни было связи с ними нарушали все планы генерала. Он и не подозревал о близком нахождении значительных сибирских сил генерала Деколонга, а также отряда бригадира Корфа. С другой стороны, ни Деколонг, ни Корф не ведали, что из Петербурга прибыл генерал Кар с высочайшим поручением возглавить все действия против Пугачева.

Об экспедиции Кара, идущего на выручку Оренбурга, не знал и сам Рейнсдорп, отрезанный Пугачевым от всего внешнего мира.

О походе Кара знал лишь Пугачев. Только ему чрез своих людей были в точности известны и численность и местонахождение всех выдвинутых против него правительственных сил. Емельян Иваныч был среди народа, как у себя дома, а генерал Кар чувствовал себя незваным гостем.

Утром 7 ноября Кар получил запоздалые сведения, что некий пугачевец, каторжник Хлопуша, со своей толпой, разгромив Авзяно-Петровский завод, движется к Оренбургу, в стан мятежников.

Кар тотчас приказал секунд-майору Шишкину двинуться с пятисотенным отрядом напересек пути Хлопуши и занять деревню Юзееву, что находилась в тридцати верстах от резиденции Кара.

Авангард Шишкина из семидесяти пяти человек пехоты и девяноста двух всадников уже подходил

к Юзеевой, расположенной в низине. С горы виднелись в беспорядке разбросанные избы, среди них торчал покрививщийся минарет мечети. Кругом холмы, пологи, увалы, перелески, белый снег, морозные мечи у солнца. Все тихо, все спокойно...

И вдруг справа и слева от дороги вымахнули из перелеска всадники — их сотни три — и стали наезжать на выдвинутый Шишкиным авангард.

— Против кого идете, солдаты? Против своего государя идете! — крикнул с коня черноволосый Чика. — Кладите оружие, передавайтесь нам!

Часть конных татар тотчас же перешла на сторону Пугачева, но сзади быстрым маршем уже подходил крупный отряд Шишкина. Ободренная в авангарде пехота открыла по пугачевцам меткий огонь. С десяток яицких казаков и передавшихся татар попадало с коней. Чика скомандовал отступление, и пугачевцы ускакали.

Поздно вечером Шишкин занял Юзееву, а в три часа ночи явился сюда и генерал Кар со всем своим войском. Деревня была почти пуста, оставались лишь старики да малые дети. Взрослое же население, с лошадьми, скотом и даже с собаками, перекочевало в стан Пугачева.

Всему отряду Кара не хватило в избах мест, часть солдат расположилась на улицах и огородах. Было темно, жутко. В каждом крике, в каждом долетавшем издали звяке чудился крадущийся враг. Старые солдаты за ночной переход очень утомились, перезябли, а молодые рекруты, еще не нюхавшие пороху, тряслись от страха и от холода. Возле костров время от времени появлялись молодые офицеры, подбадривали пехотинцев, но и сами-то они были в боевых действиях еще неопытны и немало страшились пугачевцев.

— Полушубки да новые лапти с теплыми онучами нам треба, ваше благородие, — брюзжали солдаты. — А то пропадем! Эвот какие палящие морозы завернули.

Оба генерала и лекарь поместились в избе муллы. Душевное состояние Кара было отвратительное.

— Не угодно ли, не угодно ли! — говорил он, нервничая, помаргивая широко расставленными глазами. — Мы идем ловить Хлопушу и, вместо Хлопуши, неожиданно натыкаемся на сильную ватагу. Кар не знает, где Пугачев, а Пугачев-то, не беспокойтесь, точно знает, где мы. Не угодно ли! А?

3

Утром ударила вестовая пушка. Еще не смолкли ее раскаты, как в квартиру Кара вбежал растерявшийся адъютант, а за ним следом — майор Астафьев. Оба офицера в повязанных по ушам коричневых башлыках, в длинных, выше колен, валенках, сплошь запорошенных снегом: офицеры бежали целиной по сугробам.

— Ваше превосходительство! — задышливо отрапортовали они в два голоса Кару. — Деревня окружена неприятельской толпой численностью в пятьсот — шестьсот всадников!

— С чем вас и поздравляю! — с фальшивой иронией бросил Кар. И оба генерала при помощи денщиков и лакея поспешно стали одеваться.

— А как войска? — крикливо спросил Фрейман, натягивая валенки.

— Войска в боевой готовности. Пушки вывозятся на удобные позиции, — отрапортовал Астафьев.

— Где неприятель и что он? — опять спросил Фрейман.

— Толпа маячит по обе стороны деревни, по горам и взлобкам, опасаясь, видимо, приблизиться на ружейный выстрел.

— Бить по разбойникам из пушек! — надевая поношенный свой мундир, воскликнул Кар воинственно.

— Смею заметить, Василий Алексеич, — возразил ему Фрейман, — что у нас маловато боеприпасов... Поберегать надо.

— Поберегать, поберегать, — с недовольным выражением лица завертел головою Кар, будто свободный воротник мундира был ему тесен. — Будем побе-

регать, так нас немедля стопчут... Ни чер-та нет, ни конницы, ни пушек, ни снарядов! Поди воюй!.. — добавил он желчно, явно преувеличивая нехватку своего отряда.

— А кроме того, — попытался поддержать распоряжение генерала майор Астафьев, — молчание артиллерии приводит ваших пехотинцев в робость.

— Вот видите, видите, Федор Юльевич! А вы — поберегать! Эй, Мишка! — крикнул Кар старому лакею. — Достань-ка, братец, из саквояжа с десяточек увещательных манифестов.

Тем временем к солдатским группам подъезжали — по два, по три — смельчаки пугачевцы, кричали им:

— Бросьте палить, солдаты! Мы вам худа не сделаем...

А Зарубин-Чика, высмотрев участок, где не было офицеров, подъезжал к пехотинцам почти вплотную. Чернобородый, горбоносый, глядя в упор на притихших, растерявшихся солдат, Чика кричал им:

— Неужто не видите? Деревня ваша пуста и весь край пуст. Не зря же все жители повернули к государю. Не верьте офицерам, они господскую выгоду блюдут. А наш истинный, природный царь Петр Федорыч приказал бар изничтожать, а всю землю мужикам отдать, и всему люду свет наш батюшка волю объявил... А что касаемо солдатства, то слово нашего государя — быть всем в вольном казачестве!..

— Пошел прочь, злодей! — кричали старые солдаты. — Стрелять учнем!

— Ха-ха!.. Стрелять! — надрывался голосистый Чика. — Стрелял в нас один такой, да сам без головы остался!.. Станете супротивничать — пощады не ждите, солдаты!

— Ребята, сыпь на полку порох! Скуси патрон! — хриплым голосом скомандовал рыжеусый капрал.

Молодые пехотинцы тотчас вскинули ружья на изготовку, но их руки тряслись.

Вдали рванула пугачевская пушка, и певучая картечь хлестнула по солдатским рядам. Вышедший Кар

приказал стрелять ответно из пушек. Но тут отряд Чики скрылся, стягиваясь к мельнице.

— Видали? Вот вам и «поберегать!» — посмеивался Кар над Фрейманом. — Как зайцы разбежались. Их теперь с гончими собаками не сыщешь... Эх, если б мне еще с десяточек пушек да добрую конницу, — показал бы я им!

Меж тем Чика присмотревшись к численности и настроению неприятельских солдат, то есть исполнив поручение атамана Овчинникова, вернулся со своими казаками к главным полевым силам пугачевцев, что прятались в перелеске, подле мельницы-ветрянки, всего в двух верстах от занятой Каром деревни Юзеевой.

Направляясь сюда из Берды, Овчинников в пути присоединил к себе тысячу пятьсот башкирцев. А казак Самодуров, командированный Овчинниковым на дорогу к Авзяно-Петровскому заводу, перехватил возвращавшегося в Берду с толпой заводских людей Хлопушу. Из толпы было отобрано триста ратников и две пушки с заводскими пушкарями-наводчиками. Вместе с Хлопушей ратники двинулись за Самодуровым к атаману, остальная же часть заводской толпы с четырьмя пушками продолжала свой поход в Берду. Таким образом, у Овчинникова было под мельницей почти две с половиной тысячи народу, большинство — доброконных.

О существовании в двух верстах от себя столь серьезной силы Кар и не подозревал. Он утешался тем, что утром удачно «разогнал» противника, что противник этот труслив и малочислен, да к тому же и вооружен лишь одной паршивенькой пушчонкой. Значит, нечего было Кару унывать, значит, все будет отлично, надо стойко ждать подкреплений. Кар теперь чувствовал себя хорошо, и его не одолевала даже подагра — сей зело лютый внутренний враг.

Да уж кстати — радостное, давно жданное известие: прискакал подпоручик московских гренадер Татищев и доложил генералу, что сегодня в ночь должна прибыть сюда направленная из Москвы рота 2-го гренадерского полка.

— Ну, поистине мне сегодня бабушка ворожит! — воскликнул Кар и на радостях пригласил гренадера на обед.

Но бабушка ворожила, видно, не одному Кару. Почти в тот же час посчастливилось и атаману Овчинникову. Казачьи караулы схватили ехавшего в Юзееву квартирмейстера, из унтеров той же гренадерской роты, и доставили пленника Овчинникову. Допрос чинился у костра в лесу. Овчинников с Чикой и Хлопушей ели ушку из налимов, в котле плавали вкусные налимьи печенки. Связанный гренадер отвечал на вопросы атамана вяло, без охоты.

— Командир нашей роты сначала послал к генерал-майору Кару офицера Татищева, а вслед за ним и меня. Мне велено прибывающим гренадерам квартиры приготовить.

— Квартиры мы твоим гренадерам и без тебя приготовим. Отвечай, сколько вас?

Квартирмейстер ответил и попросил, чтоб его развязали и, если будет милость, накормили: он прозяб и голоден. Овчинников строго спросил:

— Признаешь ли государя Петра Федорыча?

Квартирмейстер молчал, мялся, мускулы его широкого лица от внутреннего напряжения подергивались. Тут медленно поднялся в накинутом на плечи шебуре мрачный Хлопуша. Его корявые пальцы вцепились в торчавший за опояской тяжелый безмен, а белесые глаза, уставясь в лицо гренадера, заблестели по-холодному. Затаив дыхание, он ждал, какой ответ даст пленник.

— Оглох?.. — резко крикнул Овчинников.

Гренадер вздрогнул, сказал:

— Мы, известное дело, люди простые, не ученые, и про государя ничего такого-этакого не слышали. Только знаем, что он умерши, а была присяга государыне Екатерине.

— Так вот знай теперь, что государь жив-здоров и стоит со своим воинством под Оренбургом. Мы слуги его величества... А твой Кар завтра на березе будет качаться, — со сдержанной силой сказал Овчинников. — Ну, так как, готов принять государя?

У Хлопуши захрипело в груди, он вытащил из-за опояска безмен и, избоченясь, угрожающе шагнул к гренадеру.

— В таком разе, — сорвавшимся голосом ответил гренадер, косясь на страшного с безменом человека, — ежели он, батюшка, жив-здоров, мы, известное дело, с нашим удовольствием... Мы присягу и повернуть можем... Признаю государя! Чай, свой же, расейский!

Овчинников, махнув рукою Хлопуше, прощупал гренадера острым взглядом и приказал:

— Развязать его!.. Садись, квартирмейстер, к котлу. Эй, подайте-ка ложку!

Хлопуша сунул безмен за опояску, резким движением плеч поддернул сползавший бешмет и пошел в лесок. А освобожденный гренадер широко заулыбался. Но улыбка его выражала крайний испуг и душевное смятение. Он на морозе весь вспотел.

Ночь темная, тихая, морозная. Кар не спит. Кар нетерпеливо поджидает прибытия испытанной в боях гренадерской роты.

Рота движется медленно, — дорогу перемело, попадаются длинные подъемы, лошади истомились. Обоз растянулся на версту — около полсотни подвод. На каждой подводе по четыре, по пять гренадер. Обессиленное трудной дорогой и холодом большинство их крепко спит, дежурные подремывают, веки слипаются, головы валятся на грудь. Тут же в санях кое-где сложены незаряженные ружья и мушкеты. А зачем их спозаранку заряжать, только зря порох отсыреет. Опасаться нечего: впереди отряд генерала, — значит, врага нет и в помине.

В середине обоза, в спокойных санях, накрытые кошмой — поручик Волжинский и прапорщик Шванвич.

— Черт, до чего надоело, — брюзжит молодой прапорщик. — Ямщик, скоро ли Юзеева?

— А кто же ее ведает! — повернувшись к седокам, шамкает древний старик возница: он в больших

собачьих мохнатках и повязан по шапке белой шалью, из-под шали торчат кончик распухшего на морозе носа, покрытая сосульками борода. — Вишь, темно! Вот падь проедем, пять верстов останется до Юзеевой-то... Пять верстов. А то и с гаком!

Сзади побрякивали шаркунцы на лошадях и доносилась негромкая песня: заунывно тянули два теноpистых голоса. Сидевший слева от Шванвича поручик Волжинский легонько храпел и посвистывал носом. По бокам дороги темнели кусты или целый перелесок — не разобрать было. Тишина, нарушаемая лишь скрипом полозьев да ленивым понуканьем приморившихся коней.

Шванвичу не спится. Ночная тишина и мерное покачивание санок будят у него воспоминания. Он вспоминает недавнюю встречу в Петербурге со своим приятелем Гришей Коробьиным. Встретились они в Милютиных рядах, на Невском, в погребке венгерского купца Супоняжа, пили токайское, а за токайским попросили венгерского, закусывали жареными фисташками. Затем, охмелев, стали откровенничать, стали изъясняться в любви и дружбе. Офицер Коробьин, вплотную придвинувшись к Шванвичу, шепотом сказал ему, что он получил на днях от своего знакомого, из-под Оренбурга, от депутата Большой комиссии, сотника Падурова, необычайное письмо. «Вот прочти», — сказал ему Коробьин и подал исписанный кудрявым почерком лист. Шванвич прочел, вытаращил на приятеля глаза и спросил его: «Что сие значит?» — «А значит сие то, — ответил Коробьин, — что в нашей Россиюшке...»

На этом месте воспоминания Шванвича пресеклись. Из тьмы, как с неба гром, ударила пушка, другая, третья. По окрестности прогудело раскатистое эхо. На санях по всему обозу все повскакали, ночную тьму взорвали сотни крикливых, заполошных голосов. Обоз враз остановился. Мимо Шванвича проскакал на коне начальник роты поручик Карташев.

— Ружья! Гренадеры, ружья!.. — орал он с коня. — Стройся!

И путанные в ответ по всему обозу голоса солдат:

— Где ружья-то?.. Не заряжены они, чай?

— Ах, черт!.. Говорил — зарядить...

— Пули, пули забивай! Давай натруску!

Но ружья при себе были не у каждого. Капрал, стоя дубом в санях, изо всех сил кричал, размахивая шапкой:

— Сюда, черти, сюда!.. Здеся ружья-то! И ладу́нки здеся. Эвот, в энтих санях!.. Давай, давай!

Но «давать» было уже поздно. Молодцы атамана Овчинникова со всех сторон окружили полусонную, перепуганную роту.

— Пли! — яростно командовал обезумевший поручик Карташев.

Затрещали недружные и малочисленные выстрелы гренадер.

— Кладите оружие, солдаты! Нас две тысячи, да двенадцать пушек при нас. А вас скольки? — отовсюду раздавались крики наскакивавших пугачевцев.

Засверкали сабли, пики. У Карташева вместе с мохнатой шапкой слетела голова. В быстрой свалке убиты были два офицера и семь солдат. Вся рота, бросая ружья, загалдела:

— Сдаемся!.. Не трог нас!

...Темнота, сутолока, крики. Пугачевцы забирают у пленных оружие, сгоняют их на дорогу. Многие озлобленные солдаты злорадно, с отчаянием выкрикивают:

— А так нам, дуракам, и надо: не ходи супротив царя! Слых-то давно шел...

Душевное состояние солдат было в высшей степени подавленное.

— Ой, Ванька!.. Да, никак, это ты? — прогудел здоровенный казак Брусов, схватив за шиворот и обезоруживая в потемках молодого гренадера.

— Батька! — вскричал тот, кого назвали Ванькою. — Здорово, батя! Это я...

— Вот где, сынок, довелося нам встренуться...

— Ой, батя, батя!.. Пропали мы! — всхлипнул молодой парень и принялся с жаром целовать у отца руки. — Сказнят нас всех... а?

— Не скули! Шагай за мной живчиком. Царь до простых солдат милостив. Вот офицериков — дело десятое, им не миновать на релях качаться.

Шванвич и Волжинский, шагая в толпе солдат рядом с Брусовым и слыша слова его, обратились к старику:

— Дедушка, вот мы два офицера, мы государю готовы служить и — не супротивники... Походатайствуй за нас.

И многие бывшие возле них солдаты, в особенности старик Фаддей Киселев, принялись упрашивать казака Брусова:

— Они господа хорошие, не вредные. Уж постарайся!

— За хороших господ я рад-радехонек слово замолвить. Упрошу, укланяю! — гукнул в бороду старый казак.

Пленных пригнали в брошенный овин и там до утра заперли. Шванвич с Волжинским заметили, как старик Брусов, сдернув шапку и кланяясь, вел переговоры с начальником конвоя, татарином Мансуром Асановым и безносым Хлопушей. На душе приунывших офицеров стало поспокойней.

4

Эти три пушечных выстрела, только что грохнувших во тьме над головами гренадерской роты, отчетливо долетели по морозному воздуху и до деревни Юзеевой.

— Пушки! В тылу! — выкрикнул еще не ложившийся спать генерал Кар и схватился за голову.

Было около часу ночи. Кар приказал адъютанту точно выяснить, откуда была слышна стрельба, созвать к нему на совещание офицеров и поднять солдат. Разбуженные Фрейман и плешивый, в очках, лекарь Мигунов, брюзжа, стали одеваться. Зажгли свечи. Грязно-бурые, прокоптевшие стены поглощали почти весь свет, было темновато.

На совещанье, по-заячьи покашиваясь на собравшихся широко расставленными глазами, Кар сказал:

— Итак, господа... Слышали пушечные выстрелы? Вот вам! И поскольку сейчас выяснились обстоятельства, что неприятель находится у нас в тылу, мы рискуем быть отрезанными от Казани... Нет, вы только подумайте, каковы нахалы эти висельники! Они не умеют по правилам воевать, совершенно не знают, не понимают регул. Они, как бешеные волки, носятся по горам и не идут не токмо на штыковой удар, но и не подпускают к себе на выстрел... А у меня конницы нет... Как я их стану преследовать?.. И какой дурак, позвольте вас спросить, стреляет из пушек ночью? Мужичье, каторжники, сволочь! Ночь, мороз, а они...— Уши Кара покраснели, рыжеватые волосы встопорщились, он закашлялся и выпил поданных лекарем капель.

— Господин Татищев, где же ваши гренадеры?

Подпоручик Татищев, поднявшись и оправив портупею, ответил:

— По моим расчетам, ваше превосходительство, рота вот-вот должна быть здесь. Опасаюсь, уже не они ли подверглись нападению и терпят бедствие.

— Вздор, вздор!— вспылил Кар, но сердце его сжалось.— Садитесь, Татищев... Никакого бедствия! Гренадеры за себя постоят.— И, сморщившись, он стал растирать правую ногу.

— Болит?— сочувственно осведомился лекарь.

— Ноет, подлая; должно быть, к перемене погоды... Да и вообще инвалид я... Итак, господа офицеры, с рассветом выступать! Надо играть назад, пока не поздно — ретироваться, выбрать подходящую деревню и там, рентраншировавшись, ожидать сикурса. К нам должны прибыть по Ново-Московской дороге еще две роты да из Казани три или четыре пушки, також отряд башкирцев с мещеряками. Прошу подготовить солдат, артиллерию и обозы к маршу.

В поход выступили еще до свету. Обескураженный внезапными событиями, Кар рысцою ехал с лекарем в крытом возке. У него теперь уже не было высокомерного предположения, что стоявшая где-то под

Оренбургом толпа Пугачева, проведав о наступлении Кара, в страхе рассеется вместе с этим самозванцем Пугачом. «Не угодно ли, не угодно ли!.. Все мои диспозиции полетели к черту!» — злился Кар, его исхудавшее лицо передергивала судорога. Он стал зябнуть, на него напало уныние; где-то в тумане грезились теплые воды, мягкий всплеск голубого ласкового моря, домашний уют... Он с грустью выглядывает из холодного возка в мороз, его душу охватывает чувство, близкое к отчаянию.

Полторы тысячи солдат Кара, с заряженными ружьями, продвигаются торопливым шагом, за ними трясутся в жестких седлах шестьдесят конных татар и экономических крестьян.

Среди конников шел негромкий сговор: как бы изловчиться да повернуть назад, и — прямо к «батюшке»! Солдаты неодобрительно косились на теплый возок Кара, с тоской посматривали на пять жалких, скрипевших колесами пушек.

Светало, восток алел, стоявший по бокам дороги лес, опушенный густым инеем, казался легким и нарядным. В ветвях белой пуховой елки встряхнулась большая птица — должно быть, филин, с дерева посыпался, засверкал снег.

От Юзеевой солдаты уже прошагали версты три. Головная рота, выступив из леса в чистое поле, вдруг загайкала, закричала, как стая галок, напуганная налетевшим ястребом:

— Глянь, глянь... Окружают! — И по всему отряду, из конца в конец, как по сигналу, не видя еще опасности, во всю глотку загалдели:

— Окружают, окружают!.. Погибель нам!..

Как только началась тревога, все конники — татары и крестьяне — словно по уговору, вытянули коней плетками и дружно махнули в лесную гущу.

— Стой, стой, изменники! — кричали им вдогонку офицеры.

По приказу выскочившего из повозки Кара вся воинская часть остановилась. Теперь уже всем было видно, как по горам и взлобкам, с обеих сторон дороги, скакали врассыпную всадники. Отдельные из

них кучки волокли по сугробам единороги и пушки, кричали, ругались, полосовали кнутами впряженных в орудия лошадей.

Осмотревшись, оба генерала определили, что неприятеля приблизительно около двух тысяч человек, а пушек при них — раз, два... четыре... восемь, девять.

Пугачевская артиллерия начала пристрел — перелет, недолет. На возвышенностях возле пушек копошились люди.

— Не угодно ли, — задыхаясь, сказал Кар. — Девять! И так далеко ставят, подлецы!.. Наши до них, чего доброго, и не до...

Он не докончил фразы, на левом фланге разорвалась граната, пущенная пугачевцами из единорога. Она повалила сразу пятерых солдат — двоих насмерть.

— Видали, каковы? — крикнул Кар стоявшему рядом с ним Фрейману и послал к месту поражения своего лекаря.

Воинские части Кара стали поспешно выходить за пределы дороги, строиться к обороне. Расставили по удобным местам и всю артиллерию — четыре пушки и один единорог. Началась артиллерийская перестрелка. Ядра и картечь пугачевцев ложились как по заказу, пугачевцы стреляли метко. У пушек же Кара были все недолеты. И лишь единорог действовал прилично, но и он вскоре перевернулся вверх колесами: в его лафет брякнуло двенадцатифунтовое ядро.

— Анафемы! — освирепел Кар. — Какие же это, к дьяволу, мужики?.. Нешто мужики столь искусно артиллерией управлять могут? А где же наши конники, где татары? Эй, капрал!

— А наши конники, ваше превосходительство, тю-тю! — прошлёпал губами коренастый капрал и показал обнаженной шпагой на пригорок. — Эвот они пурхаются, видать — на сдачу покатили... Да и нам бы, ваше превосходительство... того...

— Что?.. — заорал Кар и, выхватив из теплой дамской муфты руку, погрозил капралу кулаком. — Я тебя расстрелять... расстрелять, мерзавец, прикажу!

— Нас и так расстреливают...— огрызнулся капрал и, со злобой тряхнув локтями, пошагал прочь от генерала.

А Кар, проклиная изменивших ему конников, направился к возку за пледом: морозом сильно прихватывало уши. Астафьев, Татищев и еще третий молоденький офицерик, отобрав по приказу Фреймана с полсотни лучших стрелков-охотников, побежали с ними далеко вперед и, прячась за пригорками, открыли меткую ружейную стрельбу по пугачевцам.

Пушки пугачевцев подтягивались к Кару ближе и ближе. Раненых у Кара прибывало. Вот новобранец уронил ружье, перегнулся вдвое, с глухим стоном ткнулся головою в снег. Здесь, в длинной шеренге, тоже упал солдат, еще один упал, еще... словно в огромной, поставленной на ребро гребенке валились зубья. С воем летит граната; солдаты, спасаясь от смерти, валятся плашмя. Взрыв. Осколки ранят лошадь, солдата и лекаря Мигунова, что подле саней делал перевязку раненым.

Пугачевцы палили без передыху. Пушки Кара отвечали вяло, редко.

— Подноси проворней ядра! Пороху сюда! — до хрипоты кричали у пушек канониры.

— А где их узять, ядров-то?

И летело по рядам:

— Ядер нету... Пороху нету-у!.. Братцы!

— Эй, кто орет? Я те покажу «нету»! — бегали по фронту офицеры, призывно взмахивали шашками.— Давай, давай сюда! Все есть!

Но давать действительно нечего: снаряды на исходе. Длительное молчание пушек приводило оробевших солдат в уныние и трепет.

— Братцы! Пушки наши ни черта не стоят, ядра недолетывают... Погибать доводится!..

И уже раздавались то здесь, то там призывные голоса:

— Бросай ружья, бросай, братцы!

Солдаты плохо понимали, за что и против кого они воюют. Против ли самозванца Пугачева, как им внушает начальство, или же против истинного госу-

даря, как им выкрикивали пугачевцы. Солдаты были душевно подавлены и сбиты с толку, солдатам вовсе не хотелось воевать. А тут еще разные неполадки, голод, мороз.

Многие, не слушая окриков своих командиров, оставляли фронт, кидались в лес за хворостом, разжигали костры и лезли прямо в огонь, стараясь хоть немного отогреть коченевшие ноги, ознобленное тело.

— Это супостаты лихие, а не начальство! — сквозь слезы вопили они. — Этакой лютый мороз, а они... в ус не дуют. Босые мы, раздетые! За что страдаем, неизвестно. Да гори они все огнем! Сдавайсь, ребята!..

И снова в разных местах безумные выкрики:

— Было бы за что воевать! Бросай ружья... К черту!

По всему фронту зачиналась паника. Пришедшие в отчаяние оба генерала и майор Варнстедт, приказав канонирам усилить пальбу из пушек, кидались от пушки к пушке, уговаривали, угрожали, умоляли солдат не малодушничать, помнить присягу.

— Все будет, все будет у вас, ребятушки!.. И теплые шубы и обувь, — запинаясь, говорил Кар. Капризный, самонадеянный, упорный, он наконец признал, что подставлять свои силы под расстрел неуязвимого врага преступно и бессмысленно.

— Сейчас маршем уходить будем, ребята! Не робей... С нами бог!

— Давно пора!.. — кричали ощетинившиеся солдаты. — В могилу завели... Эх, вояки, лихоманка вас затряси!

Горнисты затрубили сбор. Наскоро построились, наскоро подобрали на сани раненых, обмороженных, умершего от ранения лекаря Мигунова и под бой барабана ходко пошагали по дороге. Отстреливаясь от неприятеля, отступающие в продолжение восьми часов прошли всего семнадцать верст.

Кар отошел к деревне Сарманаевой. Общие потери его отряда за три дня определились в сто двадцать три человека.

— Довольно! Ни шагу вперед! Мы разбиты. Нас могли бы уничтожить...— сетовал Кар генералу Фрейману.— Будем сидеть и ждать подхода войска. Но, боже милосердный, что я стану делать без лекаря?!

Кар захворал лихорадкой и слег.

ГЛАВА II

Пугачев любил народ. Милостивая беседа. Медные прянички и «трасмордас». Вопрос был внезапен

1

Не понять было ни Кару, ни тем более графу Чернышеву, пославшему его охотиться за Пугачевым, что Пугачев — это тот самый сказочный Кащей Бессмертный, которого ни пуля, ни сабля не берет: живет и будет жить, пока на Руси бьется хоть одно горячее, жаждущее воли сердце... А и полно — не тысячи ли тысяч таких сердец, не бесчисленно ли войско мятежное, не полным ли полна земля русская богатырской крови? Уж ежели брызнет да прорвется — шибко забушует!.. И попробуй-ка — останови, взнуздай этот огневой поток, положи-ка преграду ему!

Пленная рота 2-го гренадерского полка жила в Берде уже двое суток.

Пугачев принимал гренадер торжественно, всенародно. На крыльцо поставили золоченое кресло. Батюшку вывели под ручки Ненила и красивая каргалинская татарка. На нем богатый меховой чекмень, каракулевая шапка с бархатным красным верхом, через плечо генеральская лента, при бедре сабля, за поясом два пистолета. По бокам его встали два яицких казака — молодые, чубастые, высокие, в мухояровых казакинах; у одного в приподнятой руке булава, у другого — посеребренный топор. Вниз по лестнице, по обе стороны расписных перил, двадцать четыре

казака личной охраны с обнаженными саблями — пугачевская гвардия.

Вся улица забита народом: казаки, башкирцы, татары и множество русских мужиков, пришедших за последнее время из ближайших и дальних селений. Народ подступил к самому крыльцу, многие залезли на заборы, на деревья, на крыши.

День был морозный, солнечный. Пугачев весь сиял, — от солнца ли, от радости ли: впервые одержана столь легко победа над войсками царицы и вельмож.

Ермилка держал в руке сигнальную трубу и, косясь через плечо на «батюшку», взволнованно облизывал губы. Пугачев махнул ему белым платком, и, выставив ногу вперед, выпучив глаза, надув щеки, Ермилка затрубил сигнал. Враз забили барабаны, знамена встряхнулись и замерли в линию.

Через расступившуюся толпу попарно шагали пленные — рослые, с заплетенными косами, в треугольных шапках, гренадеры. Вел их Падуров. Выстроились в четыре ряда, впереди офицеры: Волжинский, Шванвич.

Пугачев окинул гренадер острым взглядом, поправил шапку, едва заметно ухмыльнулся, будто собираясь выкинуть какую-то любопытную штучку, затем прихмурил брови и зычно, но без злобы, закричал:

— Так-то вы, сукины дети, несете военную службу, так-то регул исполняете? В дороге дрыхнете, как дохлые собаки, ружья не заряжены, едете без всякой остроги... Дисциплины не знаете, сукины дети! А еще гренадерами зоветесь... — Пугачев говорил выразительно, строго и потрясал кулаком, притопывал, а сам по-хитрому косился на казаков и башкирцев, на все свое воинство. — Да вас всех смерти предать надо!

Гренадеры, один по одному, опустились на колени. А весь народ повернул головы в сторону часовни, где темнели виселицы, затем снова все уставились на царя.

Стоявший на коленях Шванвич с любопытством присматривался к Пугачеву и, внутренно содрогаясь, дивился нежданным словам его.

Гренадеры сняли шапки, прижали их к груди и, кланяясь, хрипло выкрикивали:

— Винимся, ваше величество, винимся! А супротивничать мы не хотели по уговору, от того от самого и ружья бросили.

Пугачев предвидел такой ответ, он сразу сложил гнев на милость и, подняв руку, проговорил:

— Встаньте, детушки, бог и я, государь, прощаем вас! Офицерики, двое, приблизьтесь ко мне.

Шванвич и Волжинский взошли по ступеням крыльца наверх, к золоченому креслу, и, ударив каблук в каблук, замерли пред Пугачевым.

В мыслях Шванвича, как огненным углем, прочертились слова из того странного письма, которое подсунул ему приятель Коробьин, там, в Петербурге, на Невском, за бутылкой венгерского. «Доподлинный ли он государь, уверить тебя не берусь, — говорилось в письме, — только думаю, что за одиннадцать лет скитания по белому свету он царское обличье свое мог утратить». Так писал Коробьину казак Падуров, тот самый Падуров, который привел их сюда, а сейчас стоит позади этого осанистого, строгого, но, должно быть, справедливого, как никто, бородача в генеральской ленте.

Обратясь к офицерам и помаргивая правым глазом, Пугачев во всеуслышанье проговорил:

— Мне, господа офицеры, атаман Овчинников отписывал с моей действующей армии, что вы оба якобы супротивления в бою не оказали и обещались служить мне верно. Да и старик Брусов, илецкий казак, давеча мне сказывал про вас. Так ли это?

— Так, государь! — вскинув открытое, бодрое лицо, внятно произнес Шванвич.

— Так, — тихим голосом подтвердил и Волжинский, тотчас опустив голову.

— Добро, добро! — промолвил Пугачев и, взмахнув платком, закричал: — Слышь, гренадеры! А что, вот эти хлопцы не забижали вас, не мордовали трохи-трохи?

— Никак нет, ваше величество! — откликнулись в роте. — Господа офицеры, двоечка, хороши до нас были, милостивы.

— Добро! — повторил Пугачев. — Так вот что, господа офицеры... Мы, божию милостью, промыслили принять вас под свою императорскую руку и поверстать в казаки... Падуров! Ты здеся-ка? Выдать им доброе обмундирование и по хорошему коню. Да чтобы беречь офицеров, беречь! — выкрикнул он, повернул назад голову и, найдя взором Митьку Лысова, погрозил ему пальцем. Затем, обратясь к офицерам, он продолжал: — Старшего ставлю атаманом, а тебя, прапорщик, есаулом. Впредь будете управлять своими гренадерами, как и допреждь управляли. — Он протянул свою правую руку ладонью вниз. По знаку Падурова офицеры целовали руку и отходили в сторону. Затем были допущены к царской руке и солдаты.

— Вот, детушки, — говорил Пугачев, утирая платком навернувшиеся на глаза слезы. — Мне опять бог привел над вами, гренадерами, царствовать по двенадцатилетнем странствии моем: был я в Ерусалиме, в Цареграде и в Египте. Опосля того в Россию, на родиму землю, перебрался. Исходил, истоптал я ее, сиротинушку, сквозь... Самовидцем был, как простой народ страждет от лютых бояр да от чиновников. И положил я землю свою устроить, как дедушка мой родной устраивал, великий Петр Алексеич... — Пугачев снова утер слезу. — Послужите же мне, детушки!

— Послужим, послужим, батюшка, отец наш, милостивец! — неистово закричала огромная толпа крестьян, казаков, солдат.

Это был голос, которого никогда не услышать царствующей Екатерине даже в мечтаниях своих.

— Благодарствую, други мои! — отвечал Пугачев, кланяясь народу. — Держитесь за мою правую полу, во счастье будете...

«Пугачев любил народ, и народ ответствовал ему тем же, — народ восторгался им и боготворил его» [1].

---

[1] Из рассказов стариков уральцев.

Вот он сидит в золоченом кресле и чувствует, что люди смотрят на него множеством глаз, люди следят за каждым его движением, за тем, как хмурятся его густые брови, как трепетными пальцами охорашивает он генеральскую ленту на груди.

И вот как бы приподнят над землей, и уже не простой, безвестный казак он, Емельян Пугачев, а некто иной, неведомый и странный. И какая-то непонятная ему самому сила захватывает его: он весь во власти этой силы. Тут разом открываются животворящие родники в душе его, и летят, летят в толпу пламенные крылатые слова, сами собой возникают жесты, исполненные всепокоряющей воли.

Наступает минута ликования, душа толпы доведена до высокого накала: позови сейчас Емельян Пугачев людей на муки, на смерть — и вся толпа безоглядно двинется за ним.

...Целование руки кончилось.

Два старых солдата, растроганных милостивыми словами Пугачева, подойдя к царской руке, пристально вглядывались в лицо его.

— Мы, ваше величество, издалечка признали вас за истинного Петра Федорыча Третьего, — говорили они, захлебываясь от волнения. — Мы ведь не единождо стаивали на карауле в Зимнем дворце и видывали вас. Только втапоры вы бороду не изволили носить, а правым глазом так же подмаргивали...

Старики, сами, видимо, веря в слова свои, говорили громко, отчетливо, обращаясь более к народу, нежели к Пугачеву.

В народе снова закричали оглушительно «ура». Громче всех кричали крестьяне: они солдатам верили не в сравненье больше, чем казакам. Крестьяне всегда были того мнения, что «казак — человек вольный, балованный, да и живет-то супротив мужика куда справней, а солдат — наш же брат-савоська, только что косу отрастил, и нуждишка мужицкая — его нуждишка, он свой, ему вся вера».

— Как ваше прозвище? — спросил Пугачев у стариков.

— Я Фаддей зовусь, Фаддей Киселев, — кланяясь, ответил солдат с рыжими щетинистыми бровями и скуластым лицом. — А вот этот Самсон Астафьев, свояк мой.

— Давилин! Выдать своякам-гренадерам по хорошей шапке да замест лаптей обутки крепкие... В память нашей стречи!

Появился приблудивший к стану Пугачева расстрига поп Иван. Он в новых лаптях, в новых суконных онучах, в парчовой, поверх полушубка, ризе; в трясущихся руках его — крест и евангелие, похищенные в егорьевской церкви. Нос у отца Ивана сизый, вспухший, узенькие глаза заплыли. Всех пленных он быстро привел к установленной присяге.

Пугачев поднялся, махнул платком и возгласил:

— Жалую я вас, гренадеры, землями, морями, лесами и всякой вольностью, охочих — крестом и бородой! — торжественно поклонился и ушел, позвав за собой Шванвича. За порогом он велел Давилину провести нового есаула в золоченую горницу, а сам прошел к себе в спальню перевести дух и выпить водки для сугрева: он изрядно прозяб, ноги в козловых сапогах совсем зашлись у него.

Михаил Александрович Шванвич, девятнадцатилетний юноша, высокий, корпусный, с открытым краснощеким лицом, на вид казался значительно старше своих лет. Он точно так же порядком продрог и, прислонившись спиной к горячей печке, с любопытством оглядывал разукрашенную, как в театре, комнату. Трон, двуглавые орлы, знамена, английские, в высоком футляре, часы, даже портрет великого князя Павла Петровича!..

Внутренно ухмыляясь, столичный офицер Шванвич думал: «Ну конечно же, он самозванец. У него и выговор-то малороссийский. Да и манеры грубые... Значит, верно мне сказали в Казани, что есть это простой донской казак Емелька Пугачев. А вот по осанке да сообразительности, пожалуй, мог бы и царем быть. Во всяком разе, актер натуральный! Роль

свою ведет с искусством. Попробуем и мы играть свою». Голова юноши наполнена сумятицей, а в душе — то надежда, то уныние. Почва под его ногами колебалась, а впереди туман, туман, полное неведение! Все его солдаты в плену, сослуживцы-офицеры уничтожены. Да и сам-то он спасся чудом. Да и спасся ли?

— Скажи-ка, друг, откуда ты будешь родом? — прервав его мысли, заговорил вошедший Пугачев и сел к столу, на котором в порядке лежало несколько письменных приказов.

— Родился я в Петербурге, — ответил Шванвич. — Покойная государыня Елизавета изволила крестить меня.

В густых усах Пугачева промелькнула озорная усмешка. Взглянув в лицо Шванвича, он подумал: «Ты, брат, вижу, такой же крестник Елизаветы, как я был когда-то... хе-хе... крестником Петра Великого», — и сказал, расчесывая гребнем бороду и челку на лбу:

— Так, так!.. Значит, есть ты — Шванвич? Ну, так я про тебя и про родню твою от тетушки Лизаветы слыхивал. Не твой ли батька, алибо дядя, Алешку Орлова палашом рубанул?

Шванвича эти слова очень удивили, — он не знал, разумеется, что необычной силы память Пугачева сохранила случайно подслушанный много лет назад, в Кенигсберге, разговор пьяных офицеров об этой истории.

— Сей грех приключился с моим родителем, лейб-компанцем, тоже гренадером, — пролепетал Шванвич, широко открыв на Пугачева свои серые вдумчивые глаза.

— Жалко, что он, родитель твой, головы Алешке-то не смахнул, все бы одним недругом помене на свете было. — Пугачев вздохнул и потупился.

— Обидчик вашей персоны есть и кровный обидчик моего отца, каковой чрез Алексея Орлова по сей день в опале, — приходя в себя и пряча лукавый огонек в глазах, молвил Шванвич.

— Вишь ты! — воскликнул Пугачев, сделав в воздухе угловатый жест указательным пальцем. — Стало, мы с тобой вроде как... равнообиженные... Ну, ин ладно! А вот полковник Лысов сказывал мне, что ты морокуешь говорить по-иностранному. Верно ли?

— Так, государь, умею.

— Ну, так подь-ка сюда, на тебе вот бумагу да перо, возьми вон в том месте напиши что-либо по-шведски...

Шванвич молча взял из рук Пугачева исписанную четвертушку бумаги — указ приказчику Воскресенского завода П. Беспалову, перевернул ее и принялся писать. Он шведского языка не знал и написал по-немецки: «Ваше величество Петр Третий».

— Теперь напиши еще... какой ты знаешь язык.

Шванвич написал по-французски: «Великий император Петр Первый».

Пугачев поднес листок к глазам, наморщился, проговорил:

— Эх, худо видеть стал, все глаза-то выплакал из-за злодеев, из-за гонителей своих. — Он достал очки, протер их уголком скатерти, неуклюжим жестом оседлал ими нос и долго всматривался в написанное, затем сказал: — Мастер! Дюже хорошо обучен. Ты пригодишься мне. Авось бог приведет иноземным королям писать да государям. Обо мне вся земля услышит, а как дойдет до дела, все государи-одномышленники за меня горой вступятся. Я-то искони русской, не Катерине, а мне владеть русской землей... Ну да это еще долга песня! — Он взглянул на портрет Павла Петровича, хотел что-то сказать, но только махнул рукою. — Ну, иди! Служи мне верно. Да в порядке себя держи! — добавил с непонятными Шванвичу рассеянностью и равнодушием.

Шванвич ушел. В прихожей то и дело хлопала наружная дверь, стучали подкованные каблуки, слышались сдержанные голоса, иногда дверь в золоченую горенку приоткрывалась, высовывалась чья-либо борода. Пугачев отмахивался рукой, дверь со скрипом закрывалась снова.

Швырнув очки в ящик стола (он в стекла их ничего не видел), Пугачев с напряжением всматривался в мудреную пропись Шванвича. Раздувая ноздри, долго посапывал и морщил лоб. Затем взял перо и, поглядывая на бисер букв, стал писать каракульки. Рука, ловко владевшая саблей, с трудом держала мягкое гусиное перо... Дверь скрипнула, он бросил перо и поднял голову. Пред ним, покашливая в горсть, стоял Максим Шигаев.

— Слышь-ка, Максим Григорьич! — сказал Пугачев, прикрывая широкой ладонью бумагу. — За этими хлопцами — Шваныч да другой с ним — треба покрепче досмотр держать.

— Да ведь их, офицеров-то, много понахватано, батюшка Петр Федорыч, их без малого дюжина таперь у нас. Конешно — дворяне! За ними глаз да глаз!

— Мне желательно не в ком ином прочем, а в Шваныче увериться, — прервал его Пугачев. — Он иностранным обучен и нам горазд надобен. Ежели по молодости лет будет в нем шатание, ну так и одернуть можно, чтобы опять к нашей дорожке потянул. Смекаешь? Шваныч, я чаю, человек хоть и молодой, а кубыть надежный. Я чаю, Шваныч назад глядеть не станет. Его отец от вышнего начальства обиженный, а по отцу — обижен и сын. Смекаешь, что к чему? Алешка Орлов, граф, отца-то изобидел, отец-то харю Орлову, графу, порубил палашом, из-за княгини одной перетырка вышла у них. Она и того и другого приголубливала, а собой такая — взглянешь, закачаешься, одно слово — фрухт, — с легкостью, даже с оттенком удовольствия плел измышленье Пугачев. — И вот сдается мне, Максим Григорьич, что хлопец не больно-то правителями довольный, а скорее всего нашу руку станет держать. Глаза у него дерзкие, и как сказывал он мне про обиду, аж затрясся весь. Ты как полагаешь?

Житейски опытный Шигаев не мог не согласиться с доводами Пугачева, но в его душе гнездилось врожденное предубеждение к дворянству, и, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде, он уклончиво ответил:

— Время укажет, батюшка Петр Федорыч. Правда, что он не сам пришел к нам, а привели его... Ну, да ведь своевольных-то дорожек ихнему брату, дворянам, к нам и нетути... Да еще надобно дознаться: богаты его родители, алибо малосильны; родовитые господа алибо захудалые какие обсевки в поле?

— Бедные его родители, самые бедные! Он сам так толковал... — поднял голос Пугачев; ему очень хотелось склонить упорного и подозрительного Шигаева на сторону Шванвича. — Одним словом, Григорьич, недельки через две ты отрепортуешь мне о нем... Ты что, по делу?

— По делу, Петр Федорыч. Наши патрули «язычка» ограбастали. Схваченный показал, что-де полковник Чернышев с Сорочинской подступает, а оттудов в Татищеву-де ладит идтить, а опосля и в Оренбург.

— Это который Чернышев?

— А он симбирский комендант, его отрядил казанский губернатор идтить походом по Самарской линии к Оренбургу. Рейнсдорпа вызволять.

— Чернышева до Оренбурга допущать не можно, Григорьич.

— Да уж постараемся...

— Ежели сила не берет, хитростью надо обмануть.

— Время придет, обманем, батюшка.

Пугачеву понравился этот ответ, он усмехнулся, спросил:

— От атамана Овчинникова вести есть?

— Есть, Петр Федорыч. И об этом деле я доложиться пришел. От Овчинникова только что гонец прибежал: Кар-то дюже побит.

— О-о-о!.. Ведут ли его?

— То-то, что нет. От Юзеевой наши поворотили его да взад пятки верст на двадцать угнали...

— Эх, дураки!.. Генералишку не могли словить!.. — вскочил Пугачев и, руки назад, стал в волнении вышагивать по комнате.

— Да вы, ваше величество, не печалуйтесь. Мы бучку дали генералу — и добро! Человек до двухсот повалили у него. А к нам с сотню конных мужиков да татар с солдатами переметнулось от Кара-то.

— Добро, добро! Солдаты, видать, склонны повсегда к нам, Григорьич. Так, стало быть, Кар докаркался? Стало быть — победа?

— Победа, батюшка! И так и этак победа!

Пугачев подошел к лестнице на кухню, распахнул дверь и гаркнул вниз:

— Эй, кто там живой! Подать нам с полковником Шигаевым винишка покрепче, а на прикуску редьки тертой с маслом да жареной баранинки с жирком. Живо! Одна нога здесь, другая там!..

2

Два бывших гренадера — старик Фаддей Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанными косами и в казачьих шапках-трухменках, поджидали Шванвича на улице.

— А мы уж вашему благородию и хибарку разыскать спроворили, — сказал старик, приветливо улыбаясь. — Извольте идтить за мной!

Втроем шагали они улицей. Народ уже разошелся со зрелища по своим делам. Навстречу попались подвыпившие казаки. Раскачиваясь в седлах, сладко улыбаясь и полузакрыв глаза, как соловьи, они горланили песню.

— Зюкнувши! — подмигнул в их сторону молодой Брусов и облизнулся. — Ох, и гуляки же эти казачишки!

По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь, то там, между старыми жилищами, на огородах и в поле не одна сотня мужиков наскоро рубили себе избы.

За четыре дня было выстроено до шестидесяти кой-каких хатенок, с глинобитными печами, об одном крошечном оконце, затянутом распяленным бычьим пузырем или тонкой льдинкой. А лесу заготовлено еще на сотню изб.

Тут же, на стройках, возились бабы; они доили коров, кормили овец, свиней: многие крестьяне, разгромив господские владения, перебирались в госуда-

рев табор со всем своим имуществом, не забыв при этом прихватить и кой-что из барского добра. Крестьяне были одеты пестро: и в последнюю рвань — прореха на прорехе, и в добротные тулупы с полушубками. На ногах валенки, лапти, яловые сапоги с подковками.

Возле кустарника работали две новых кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатки, копья или оковывали железом концы закомелистых березовых дубинок.

— Это лучше сабли ошарашит! — смеялись крестьяне, пробуя дубинки.

Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»

Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она, Расея... Зашевелилась!» — внутренне улыбаясь, думал Киселев.

За околицей, до самого перелеска, расстилалось большое поле, усеянное какими-то закоптевшими буграми, из которых клубились сизые дымки, как будто под снегом по всему простору горела земля. А там подальше, в огороженном жердями огромном притоне, табунились косяки лошадей, над ними плавал в морозном воздухе туман. Справа стояли бесчисленные стога бурого сена, между дымящимися бугорками разъезжали на низкорослых, но сытых, исправных лошаденках люди в остроконечных шапках.

Небо было высокое, бледное. Солнце склонялось к закату.

— Тута-ка башкирцы кочуют, орда. Это их стойбище. Ишь землянок да нор понарыли, чисто кроты! — пояснил старик Киселев.

— А где же казаки? — спросил Шванвич.

— А те, кои в чинах алибо по возрасту стары, в самых Бердах живут, в селенье, а молодежь-то по огородам, в банях да в сарайчиках, а то и в землянках, по-походному.

— А наши где?

— Сейчас дошагаем! Горе мое, ноги-то обманывают меня, гудут и гудут!

Путники свернули в прогон. Навстречу — казачья полсотня с пиками и со значками. Впереди — есаул. Усталые кони клубятся паром. В середке два всадника поддерживают с боков третьего, тот бессильно изогнулся в правую сторону, постанывает, ежится, голова упала на грудь. Сзади, на двух конях, раненые казаки, татары.

— Откудов, сынки? — невпопад полюбопытствовал Киселев.

— А ты ослеп, чего ли?.. — огрызнулись казаки. — Не со свадьбы жа... Покалеченных везем... Под крепость подступали, сшибка была.

Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избушки.

— А вот тута-ка и палаты ваши, — сказал Киселев.

На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.

— Ну как, кипит работка, молодцы? — спросил подошедший Шванвич.

— Кипит, ваше благородие! — с бодростью ответили солдаты. — Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогда нам прямо рай!

Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянных кровати; на одной из них, на сенном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.

— А кто же в этой избушке на курьих ножках жил? — спросил Шванвич. — Уж не баба ли яга.

— Никак нет, тут мужской пол жил, — ответил Киселев, стоя навытяжку. — Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в сшибке убит, а офицер повешен.

— За что офицер-то?

— Да чевой-то супротив государя провирался, — сказал Киселев, и глаза его стали злыми, — с изменой, известно, турусы разводить неча!

Волжинский при этих словах порывисто поднялся, накинул шубу и, хмурый, вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:

— Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?

— Ой, ваше благородие! — обрадовался старик. — Да с полным нашим удовольствием!

— Эх, черт! — воскликнул Шванвич. — Жаль, вещишки пришлось бросить в пути.

— Никак нет, ваше благородие. — И Фаддей Киселев выволок из-под кровати походный чемодан Шванвича. — Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как это можно... Вот и ключик пожалте, ключик-то я нарочно отвязал да в карман сунул, а то, кто его ведает, тут народ аховый.

Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще не остывшую печку, принес из чулана кислой капусты, бок баранины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.

— Таперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!

— Только долго ли жить-то доведется, — вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.

— Вот то-то и оно-то, — ответил Киселев, — никому знать не дадено, один бог знает, правда ли верх возьмет, алибо опять кривда укрепится. Ох, грехи, грехи!..

— А что же ты правдой считаешь и что кривдой?

— Ах, ваше благородие, да ведь правда-то на мужицкой стороне, ведь вся Расея-то на мужике стоит, мужиком кормится. Алибо взять бусурман-

скую войну. Кто турку побеждает? Опять мужик!.. Эх вы, косточки мужицкие!.. Дюже мне жалко вас...

Шванвич внимательно вслушивался в грубоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да и сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.

Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, три куска пахучего мыла, бритва, ножницы, свечи, походный подсвечник, чай, сахар, иголки, нитки, белье и, главное, с десяток немецких и французских книг, купленных им в Петербурге. Вот они, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они унесут его мысль в область фантазии чудесной... И он готов был целовать свои книги, как горячо любимую женщину.

Бритва! «Ну уж нет, надежа-государь, хоть ты и пожаловал нас бородой, а я все же буду бриться!» — подумал он и провел ладонью по заросшей щетиною щеке.

— Вот я и толкую... Мужик натерпелся ой как! Ведь вы сами, ваше благородие, видели, как походом шли, — мужик все к царю да все к царю лататы дает, мужика таперича ничего не устрашит — ни розга, ни пуля. Уже раз заступник-царь объявился да посулил мужичку землю с волей, — мужик весь на дыбы поднимется, врагов зубами будет рвать... Миллионы их, мужиков-то!

— Толку мало в мужиках, — возразил Шванвич, приготовляясь бриться... — Вот армия придет с войны, — государю, пожалуй, туго будет. Как полагаешь, Киселев?

— Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки нехтительное. И порядку маловато; да и обучены, похоже, не бог знат как... Ведь у государя все народ простой. Воевод, чтобы настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие, — и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу, — вот ежели б вы, да и другие господа офицеры от всего чистого

сердца взяли бы да и помогли наладить дело-то военное!.. Ежели офицерство поможет, дело-то крепко будет, а не поможет — карачун нам всем!.. Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. — Морщинистые щеки Киселева задергались, голос стал срываться. — Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты всю военную науку превзошел и на войне сражался... Уж ты прости меня, старика... Помоги, заступись, родной, за нас, сирых! — Старик, всхлипнув, неожиданно повалился молодому человеку в ноги.

— Что ты, Киселев! Да что ты, старый? — попятился изумленный Шванвич. — Встань!

— Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!

— Встань! — И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся подымать гренадера. — Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!

Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» — схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и, не переставая, выбормatывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»

За ним выскочил Шванвич:

— Киселев! Киселев! Да ты что?.. — и потащил старика в избу.

3

Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался ложиться спать и, сидя в маленькой горенке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный Давилин доложил о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.

Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью, с бобровым воротником, богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу под мышку.

— Вот, батюшка! — сказал он, тряхнув лохматой головой. — Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинцем. — И он разбросал в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.

— Благодарствую! — промолвил Пугачев и, подмигнув в сторону шубы, ухмыльнулся. — С кого снял? Ась?

— Ни с кого, батюшка, — ухмыльнулся, в свой черед, Хлопуша. — А это управитель Авзянского завода скоропостижно преставился, так он отказал тебе на поношенье. Носи на доброе здоровье, батюшка!

— Садись, Хлопуша-Соколов!

— Постоим.

— Давилин! Подай сюды бархатный кресел... Садись, господин полковник!

Хлопуша покорно хлюпнулся в придвинутое кресло.

— Жалую тебя, Соколов, полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне: над пятьюстами!

Хлопуша вытаращил на батюшку глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:

— Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаз!.. Ослобони, отец!

— Грамота ни при чем тут, — сказал, раздражаясь, Пугачев, — лишь бы человек в дело свое веру имел да честь бы блюл. Встань и не супротивничай! Объявляю тебе благодарность царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублев казны, что прислал мне. Пушки опробованы — добрые, бьют метко... А это что у тебя за узелок?

— А это, батюшка, второй гостинчик тебе — два «пряничка» да два «пирожка». — И Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву. — Орленые «прянички»-то, батюшка!

Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:

— Об эти пряники зубы поломаешь... Что за чертовщина?

— А это катерининские рублики, батюшка.

Пугачев прищурился и засипел язвительным смехом:

— Вот олухи царя небесного!.. Ха!.. Максим Григорьич! Видал? Да из полсотни таких рубликов добрую пушку вылить можно!

Хлопуша скреб за ухом и ухмылялся. Шигаев, встряхивая на ладони тяжелый прямоугольный рублевик, сказал:

— Кабы мастера-знатецы были, на пятаки бы нам перелить их.

— Не на пятаки, а на кресты, — поправил его Пугачев. — Серебреца подбросить, да на большие кресты и перековать, чтоб те кресты в награждение давать людям за храбрость. Треба, Максим Григорьич, пошукать таких мастеров-та... Чтобы кресты, медали... Давилин! Подай-кось из опочивальни рубаху мою железную.

Давилин притащил легкую чешуйчатую кольчугу-безрукавку: сделана она из некрупных стальных планок, скрепленных проволочными кольцами.

— Вот башкирские знатецы ковали, — взял кольчугу в руки Пугачев и принялся встряхивать. Кольчуга заструилась, зазвенела, как ручеек в горах. — Башкирец Юлай с сыном Салаваткой в дар прислали мне... Хошь и легка штучка, а ее ни сабля, ни пуля не берет. Ну-тка, новый полковник, надень, я по тебе попробую из мушкетона пальнуть. — И Пугачев швырнул кольчугу на колени сидевшему Хлопуше. — Давилин, подай-кось ружье!

Хлопуша вскочил и замахал руками:

— Да что ты, батюшка, ваше величество? Не убивай, дай уж мало-мало в полковниках походить.

Пугачев захохотал, погрозил Хлопуше пальцем и крикнул:

— Дурак, да ведь пуля-то отскочит!

— А кто ее знает, батюшка, ей как взглянется... Пущай Максим Григорьич надевает, он человек стреляный, а у меня жена, ребенчишки.

— Да тебе говорят — отскочит! — смеялся Пугачев, потешаясь над перепуганным Хлопушей. По случаю одержанных побед Пугачев был в прекрасном состоянии духа.

Меж тем Давилин распялил кольчугу на полузакрытой двери и подал Пугачеву изготовленное ружье.

— Поостерегись, атаманы-молодцы, а то пуля в сторону прянет, как бы не зачепила кого, — сказал Пугачев, приложился и пульнул.

И как только грохнул выстрел, вбежала в горницу растрепанная, неприбранная, с подоткнутым подолом и с мочалкой в руке Ненила, а за нею горнист Ермилка с топором.

— Вы что тут воюете? — неистово завизжала Ненила.

Все захохотали. А в прихожую уже вломилась толпа яицких казаков — личная охрана Пугачева — с обнаженными саблями, с пиками. У всех разъяренные лица.

— Эй, кто палит? Где государь?.. — гулким басом орал сотник Белоносов.

— Заспокойтесь, детушки! Идите с богом! — сказал вышедший к ним Пугачев. — Это я новое ружьишко пробовал.

Внимательно оглядывая государя — здоров ли, цел ли, казаки поклонились ему и, тяжело дыша, ушли.

Вместе с Ненилой прибежала из кухни и пестренькая кошка, любимица Пугачева.

— Мурка, Мурка, — погладил ее Емельян Иваныч и взял на руки. Шигаев, рассматривая кольчугу, говорил Пугачеву:

— Насквозь, ваше величество. И кольчуга прошиблена и дверь насквозь!

Хлопуша, поправив тряпицу на носу и набожно осенив себя крестом, сказал:

— Вот, твое величство!.. Устукал бы ты меня за всяко просто!

— Дурак ты, полковник, императорских шуток не разумеешь, — ответил Пугачев. — Неужто стал бы я стрелять в тебя? Да ты медведь, что ли? Давилин,

а ну-ка выброси эту чертову железную кофту на помойку!

— Эта кольчуга против сабли с пикой хороша. Да и пуля, ежели на излете, отскочит, — заметил Шигаев.

Затем были втащены с улицы два сундука и корзина с привезенным Хлопушей добром: три больших зеркала, столовые английские часы и клавесины. Пугачев с удовольствием разглядывал содержимое сундуков, прищелкивал языком, оглаживал руками богатые серебряные кубки, вазы, кувшины, ендовы, еще недавно принадлежавшие Демидову.

Серебряный орленый кубок с вензелем Петра I Пугачев тут же подарил Хлопуше; высокие, под потолок, часы велел отнести в хату атамана Овчинникова, — вернется из похода, рад будет; большое зеркало — Ивану Творогову, — пускай красавица Стеша любуется в него; другое зеркало, поменьше, — полковнику Падурову, — да пусть скажут там, чтоб в это зеркало смотрелся не сам полковник, а его татарочка; а вот эту вот мраморную голубь-красотку с отбитым носом — есаулу Шванвичу, да ему же и вот этот бисерный колпак с кисточкой и меховые рукавицы. Словом, Емельян Иваныч всех оделил дарами. Не обидел и свою особу, отложив кой-какие приятные вещишки.

— А тут чего? — коснулся он ногой большой, как стол, плетеной корзины.

— А здеся-ка сряда всякая, барахлишко, тряпье бабское, — ответил Хлопуша, развязывая веревки на корзине и отпирая замок. — Есть и прянички.

— Медные? — подмигнул Пугачев.

— Пошто медные?.. Самые съедобные! И вареньице тут есть, банок с пять больших, ежели казаки не сожрали в пути. — Хлопуша, присев возле скрипучей корзины, открыл ее и вдруг, всех поразив, внезапно завизжал-завыл дурным, оглушительным голосом и повалился на бок.

— Мышь, мышь!

Кошка Мурка мигом спрыгнула с плеча Пугачева и, урча, ухватила мышонка. Горенка грохнула друж-

ным хохотом. Даже на лице Шигаева, строгом, бледном и постном, как лицо монаха в схиме, выдавилась улыбка. А Пугачев схватился за бока и от неуемного хохота закашлялся.

— Уф, дьявол! Пуще смерти мышат боюсь, пятнай их душу! — сразу облившись потом, задышливо пыхтел Хлопуша. — В тюрьме, в каморе, я одноважды мыша увидел, едва решетку не оторвал с окна...

— Бывает, бывает... — откликнулся Пугачев. — У меня в свите генерал-адъютант один был, старик, так тот черных тараканов боялся дюже. А на войне первеющий храбрец!

Он запер сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофанова, хранителя имущества, и, когда тот явился, приказал ему:

— Перетащи-ка с Ермилкой все это к себе вниз. Завтра, в присутствии моей особы, составишь список всему добру.

Затем он указал на искусно сделанную из ясеневого, с резьбой, дерева неведомого назначения вещь.

— А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел?

— Музыка, — буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку. — Вот ежели по энтим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.

— Ну, это мы видывали! — сказал Пугачев, придвинул стул, сел за инструмент и с силой ударил по клавишам обеими пятернями. Струны испустили душераздирающий, разнотонный звук. Пугачев простодушно засмеялся. — Я ведь во дворце игрывал на этой штуковине-та. Почасту игрывал, да вот забыл... Бывало, тетушка Елизавета сама меня учивала и за уши не раз трепала, как где собьюсь... — И он, закусив нижнюю губу, опять забрякал по клавишам, но помягче.

— Ты ногой-то, ногой-то, батюшка, орудуй, притопывай помалу, по приступке-то, — неожиданно проговорил Хлопуша, указывая корявым пальцем на нижнюю педаль.

— Учи, учи!.. Не смыслю я с твое-то! — огрызнулся Пугачев и притопнул по педали. — Сия музыка зовется... Тьфу ты, черт!.. Трасмордас, что ли? Забыл.

— Уж вот нет, батюшка, ваше благородие!—опять ввязался Хлопуша. — Она называется — клавесин. А играть на ней надобно вот как... Пусти-ка, батюшка! Ты, я вижу, ни хрена не смыслишь.

Пугачев хотел оттолкнуть его, однако уступил место. Хлопуша засучил рукава, откашлялся, отплюнулся, скривил рот и заиграл.

Шигаев, Давилин и подошедший Максим Горшков придвинулись к Хлопуше и, разинув рты, глядели на него с приятным удивлением. Взяв несколько складных аккордов, Хлопуша подышал в пригоршни, пошевелил кривыми пальцами, стараясь размять их, затем стал двигать бровями и вышептывать, как бы что-то вспоминая. Вот он отбросил назад волосы, вытер вспотевший лоб, покосился на мрачного Пугачева и вдруг, ударив по клавишам, гнусаво, но складно запел заунывную священную стихиру: «Достоин еси во вся временами нет быти гласы преподобных...»

— Ах ты сволочь! — не то в восторг и похвалу, не то в порицание выкрикнул Пугачев. — Откудов знаешь?

— А как же мне, батюшка, не знать? — захлопнув крышку клавесин, ответил сияющий Хлопуша, и большие белесые глаза его стали бегать от лица к лицу.—Ведь я из вотчины тверского архиерея Митрофана.

— Уж не попом ли был там. Ась?

— Пошто попом?.. Я родом крестьянин, из сельца Машковичи, Тверского уезда. А к архиерею по первости в истопники был взят, а тут в певчие попал, голосишка у меня, у мальчонки, подходящий был. Ну, как спевки у нас почасту случались, я и понаторел на клавесине-то брякать. Я мальчишка озорной был, нечистики-то и попутали меня пакость сотворить. Как-то в троицын день заприметил я пьяного дьякона в канаве, взял да всю гриву под корешок и обкорнал ему ножницами, а бородищу начисто отхватил. Так

дьякон-то от того позору чуть умом не тронулся, а меня — пятнай их черти! — выпороли и прогнали. Владыка-т Митрофан своеручно посохом меня отвозил. Да так мне, подлецу, и надо!..

Все засмеялись. Хлопуша сказал:

— Да ужо я тебе, батюшка, когда на свободе всюе жизню свою обскажу. Только знай слушай!

4

Сидели за накрытым столом, выпили по доброй чаре крепкого пенника[1]. В глубокое деревянное блюдо, в котором Ненила обычно толкла чеснок и лук, опрокинули банку демидовского малинового варенья. Ели его большими ложками, как кашу, хвалили, запивали квасом с кислинкой. За квасом появилась распластанная соленая рыба, за рыбой опять квас, за квасом тертая редька с конопляным маслом и баранина.

Хлопуша чавкал снедь со всем усердием, громко рыгал «в знак благодарности хозяину», утирал бороду широкой ладонью и неспешно вел свою чистосердечную исповедь.

— А звать меня, люди добрые, Афанасьем Тимофеичем, по роду — Соколов, я уж сказывал. А годов мне сорок пять. Опосля архиерейской службы вторично на деревне жил я, а придя в возраст, пошел в Москву в извозчики, и свел я там в кабаке знакомство с капралом да с сержантом Коломенского полку... Вот как-то закутили мы, по питейным домам ездили. А ночью заехали на Пречистенку; мне велели у рогаток дожидать, а сами ушли. А тут, глядь-поглядь, прут ко мне узлище с серебряной посудой, а через малое время два мешочка денег серебряных да маленький шкатульчик, оправленный золотом, в нем алмазные вещишки. А как зачали на Пречистенке у рогаток бить в трещотки тревогу, дружки мои пали ко мне в сани да дуй — не стой на Москву-реку! Ну, одначе, стражники догнали нас, всех троих привели

[1] Пенник — очищенная водка.

в часть. Путем-дорогой дружки научили меня, чтобы всем троим настоящинское званье укрывать, а показывать одно: все, мол, мы беглые, Черниговского полку солдаты. Нас отправили в военный гауптвахт. Там по суду меня приговорили к шпицрутенам и прогнали через сотню человек шесть разов.

— Не больно сладко, — вздохнув, сказал задумчиво сидевший Шигаев.

— Да, сладости не шибко много, — согласился Хлопуша и потянулся к штофу с вином; ему не препятствовали. — Два раза водой отливали меня, и валялся я изувеченный месяца с два. Шибко я здоровьишком своим скудался. Кровью харкал... Да, родимые мои, спортила меня Москва, вот как спортила! С мазуриками спознался, увечье немалое претерпел! А все через зелье это! — ткнул он пальцем в опорожненный штоф. — Правильно в божественных книгах сказано: не упивайтесь вином, в нем бо блуд.

— Ну, а как в конокрады-то попал? — спросил Шигаев. — Помнишь, в тюрьме ты мне сказывал?

— Нет, Максим Григорьич, не был я конокрадом, ни в жисть не был. Это облыжно! После Москвы-то я опять в своей деревне очутился, под Тверью, и жил там в последней бедности. И поехал я в город Торжок и выменял там на базаре коня у мужика. А этот самый мужик — чтоб ему без покаяния, собаке, сдохнуть! — в провинциальной канцелярии возвел на меня поклеп, что я, мол, у него коня украл. А как считался я в своем сельце человеком худого состояния, жители принять и защиту дать мне не согласились. А канцелярия определила высечь меня кнутом и сослать на жительство в Оренбург.

— Вот видишь, Афанасий, — стало, не вино, а сам ты виноват, — укорчиво сказал Шигаев.

— Ничего не сам, а народ шибко виноват, жители. Они не приняли меня.

— Стало, ты согрубил народу, вот и поддержки тебе не дали, — настойчиво вел обвинение Шигаев. — Народ никогда зря не обидит.

— Ой ли? — ввязался в разговор Пугачев. — Нет, Григорьич, как хошь, а не соглашусь с тобой. В на-

роде, брат, разные людишки бывают. Иных за ведро вина можно купить. Я, конешно дело, не про весь народ балакаю, а про скопище, про сброд. Чуешь? — Глаза Пугачева загорелись. Он вскочил и стал шагать по горнице.

Шигаев, сметив, что предстоит с батюшкой разговор «по душам», и считая Хлопушу человеком лишним, сказал ему:

— Слышь, приятель! Сделай милость, дошагай до моей хаты, принеси записную тетрадь мою с расходами, буду государю отчет чинить, а я забыл... Я бы Ермилку спосылал, да страшусь документ доверить — как бы не утерял...

— С полным нашим удовольствием, — проговорил Хлопуша, польщенный оказанным ему доверием, оделся и быстро вышел. Шигаев запер за ним дверь.

Тем временем Пугачев, припомнив свою давнишнюю беседу со скитским старцем Филаретом, продолжал:

— Ха, народ!.. А слыхал ли ты, Григорьич, как рекомый народ ложного Димитрия на царство посадил, оный же самый народ и разорвал царя Димитрия на части. Вестимо вам это ай нет?.. Толпища — что комариный рой: куды ветер дует, туды и комары летят... Али взять хоша бы Степана Тимофеича Разина, казака донского, с чего он в руки бояр-злодеев попал и такую страшительную, на колесе, смерть принял?.. А с того, опять-таки, что в народе полного ладу не было и всякие водились душонки промежду него. Наслышавшись мы горазд много об этом, как по Дону довелось бродить. — Он остановился, помолчал и, воззрясь на смущенно покашливающего Шигаева, спросил его: — Ну, а как думаешь ты, Максим Григорьич?.. Вот ты все балакаешь — народ да народ... А ежели б я, к примеру, вышел, да и объявил ему, что есть я обыкновенный сирый человек, а вовсе не царь?

Вопрос был столь внезапен, прям и необычен, что оба атамана выжидательно уставились на батюшку.

И средь наступившей тишины Пугачев, раздувая ноздри, молвил:

— Народ, чаю, зараз прикончил бы меня... А не то — самовольнице Катерине предал бы...

Пугачев и сам, похоже, смутился этими своими словами. Как будто и повода к ним не было, но вот какая-то шипица вдруг кольнула его в самую душу, и он, не сразу одумав смысл своего вопроса, кинул его своим товарищам.

Безбородый, безусый, похожий на скопца, Максим Горшков, испугавшись, набычился и гулким, с дрожью, голосом сказал:

— Ты, ваше величество, царь есть. Всему народу ведомо это.

— Да знаю, что не лапоть я, не приблудыш какой! — закричал Пугачев. — Я к примеру толкую. Вот, скажем, взял бы я да и крикнул людям: «Не хочу вас за нос, как индюков, водить, не внук я Петра Великого, а есть я правнук Разина, вольный житель!» Что бы тогда? Ась?

Шигаев приосанился, махнул по бороде концами пальцев вправо, влево, сказал:

— Народ, это верно, разъярился бы, пожалуй... Обязательно разъярился бы, батюшка! — добавил он уверенней и продолжал с внезапной угрозой в голосе: — И тебя бы убил, да и нас переколол бы... А почему так? А потому, что вы, батюшка, укрепу из-под ног у него, у народа-то вышибли бы, надежду его рушили бы, даль-дорогу ему затмили бы. А первей всего — за обман! Ведь не всякий простит обман-то... Эх, да чего там!.. и поздненько нынче про это про все талалакать...

— Поздненько, ваше величество, — повторил и шадривый, неразговорчивый Максим Горшков, двигая вверх-вниз бровями. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж...

— Это самое, — вскинув на него глаза, сердито буркнул Пугачев и отошел к окну, за которым чернела глухая ночь.

Горшков и Шигаев переглянулись. Они, каждый по-своему, любили Пугачева, но, охраняя свои инте-

ресы, все время зорко следили за ним. И теперь им обоим вдруг с ясностью припомнилась далекая потайная ночь в бане, припомнилось крестное целование и клятва — признать Емельяна за царя, дабы служить ему верно... Будь же здоров, будь до конца благополучен, отец наш, Емельян Иваныч! Благополучен и... послушен: затеяли дело вместях, так уж не брыкайся, ваше величество, не куролесь... А то и тебе и нам несдобровать!

Емельян Иваныч напряженно глядел чрез окошко в тьму, как в стену, полный своим нелегким раздумьем, и в его ушах еще звучал голос, похожий на угрозу: «Народ, это верно, обязательно разъярился бы!» Да, так оно и есть... Ежели не Шигаев с Горшковым, — им Пугачев крепко верил, — то другие атаманы, вроде Чумакова, помогли бы, пожалуй, народу в ярость прийти... Только объявись попробуй: «Какой, мол, к лешему, я Петр Федорыч, я такой же, как вы, простой человек, лишь за всех вас духом воспрял!» Попробуй-ка этак молвить, вот и заварится буча. Сыщутся, пожалуй, которые и поддержат его, а громада-то, чего доброго, за атаманами пойдет: «Поздненько, мол, батюшка... Царем-де за гуж ты взялся — царем и тяни, а ежели нет, так и нас с тобой нет». И разобьется народ, как вода и пламень, надвое, и получится великая смута, и проистекут побоища страшные... Нет уж, Емельян, видно, уж ежели «попала в колесо собака, пищи да бежи...» Точь-в-точь так. «А вот возьму да и упрусь!» — мысленно воскликнул он и загрозил во тьму взором.

В дверь постучали. Шигаев отпер, впустил Хлопушу, принял от него тетрадь в синей корочке, поблагодарил его. Хлопуша, раздевшись, присел к столу, ужал в корявую лапищу с набухшими жилами штоф темно-зеленого стекла с орлом, встряхнул его и, глотая слюни, с огорчением поставил на место.

— Эх, усохло винишко-то... Выпить ба, — сказал он и, повернувшись к Пугачеву, громким голосом воззвал: — Батюшка, твое царское величество! Подь сюды поближе, каяться перед тобой хочу!

Стоявший у окна, руки назад, Емельян Иваныч с готовностью прошагал к столу, поскрипывая подкованными сапогами, и сел в мягкое кресло. Лицо у него было хмурое, рот слегка подергивался, глаза блестели.

Хлопуша, обхватив ладонями локти и раскачиваясь взад-вперед, как пильщик в работе, воззрился на Пугачева, заговорил:

— Батюшка, слушай! Как на духу тебе, без утайки.

Он начал рассказывать о том, как перебрался в Бердскую слободу, женился, обзавелся хозяйством, прожил на месте пятнадцать лет, затем ушел работать на Покровский, графа Шувалова, медный завод. И, проработав там трудолюбиво с год, спознался с тремя работниками из беглых людей.

— Оные злодеи в пьяном положении сказали мне: «Ведут-де в Троицкую крепость касимовские татары кровного дорогого иноходца. Пойдем отобьем!» И мы, сволочи такие, пошли! Дорогой мы повстречали двух беглых мужиков, таких же воровских людей, как мы. Они обсказали нам, что жеребец уведен далеко, уж его не нагнать, а вот едут-де с Ирбитской ярмарки четверо татар на шести подводах, при больших деньгах, вот давайте-ка их тряхнем. Ну, мы, знамо, согласились и, как выследили татар, запали в буерачик. А как подводы противу нас поверстались, мы выскочили и после бою всех татар перевязали и ограбили. Денег взяли рублев с тридцать, да двенадцать мерлушек бухарских, да сколько-то халатов, да шесть лошадей. После разбою мы, сволочи, татар отпустили, а убитого своего товарища в землю закопали, чтобы ему, язви его, век в аду гореть! Трое по московской дороге в домы свои пошли, а я с товарищем опять на завод повернул. И вот, батюшка, работаю я на заводе честь по чести, и доходит до меня слух, что ограбленные татары всех нас в Оренбурге оговорили и меня ищут солдаты. Я с товарищем ну-ка с завода бежать! А как не было у нас паспортов, мы и вдругорядь влопались. В Екатерин-

бурге судная изба при воеводстве определила наказать меня кнутом, вырвать ноздри, на щеках, на лбу поставить клейма...— Хлопуша боднул головой, поправил тряпку на носу и, ударив себя в грудь, надрывным голосом выкрикнул: — Изувечили!.. На всю жизнь изувечили! Урод я стал. В меня пальцами все тычут, изголяется надо мной стар и мал, за десять сажен орут: «Глянь, глянь: страхолюдное чудище идет!» Тяжелехонько мне, братцы, на свете жить... Батюшка, твое величество! Вели подать вдругорядь эфту посудинку, — неожиданно попросил он, сделав плаксивую гримасу и позвякав ногтем о пустой штоф.

— Нет, не велю, Афанасий Тимофеич, — сказал Пугачев, хмуря густые брови. — Гуляшек безо времени не потакаю.

— Да ведь я, батюшка, не ради пьянки прошу. Плакать мне надобно перед тобой, душу свою богомерзкую тронуть, а плакать-то и нечем... Дай штофик, батюшка, уважь...

— Не проси, не дам, — еще строже сказал Пугачев. — Брось причитать!

Тогда Хлопуша, издав не то рычащий, не то плачущий звук, поднялся во весь рост и сорвал с лица тряпицу.

— Вот, твое величество! Гляди... на меня... изукрашенного... Хорош?!

Еще никто из присутствующих не видал лица каторжника открытым. И теперь, взглянув невольно, все с жалостью и необоримым отвращением откачнулись от Хлопуши. Из носового черного провала торчали безобразные ослизлые хрящи, на щеках и на лбу темнели зарубцевавшиеся несмываемые знаки: «В.О.Р.»

Человек злобно ухмыльнулся, всхлипнул и дрожащими руками вновь повязал тряпицу. От надсадного дыхания в его груди хрипело, булькало.

— Батюшка, царь-государь! — скосоротившись, завопил Хлопуша. — Хоть ты не дашь мне новой хари человечьей, а грех с моей души снять в твоей власти... Ты — царь!

— Да велик ли грех твой, Соколов? Эка штука, — откликнулся Пугачев и махнул рукой.

— Грехов у меня целый мешок, батюшка... не говори! Чрез них и душа-то у меня безносой стала и сердце-то, как ошметок, высохло... Людишек убивал я, по пьяному разгулу грабил. Вот дело какое. Попы снимали с меня грехи-то, да ведь они за деньги и черта святым сделают. А вот ты прости меня, по чистой совести прости!.. — Хохлатые брови Хлопуши поднялись, белесые глаза стали как у сумасшедшего, он всплеснул руками и упал Пугачеву в ноги. — Сними ты с меня, окаянного, грехи мои... Помилуй!

— Встань, Афанасий Тимофеич, — сказал Пугачев лежащему у ног верзиле. — Бог и я, государь, прощаем вины твои, малые и большие. Служи мне правдой, тогда все грехи твои насмарку отойдут!

Хлопуша-Соколов с жаром поцеловал колени Пугачева, поднялся и, ни на кого не глядя, расхлябанным шагом пошел к выходу.

— Похоже, хватил Хлопуша-то лишнего, — заметил неодобрительно Горшков.

— Что ж, что хватил, — отозвался Пугачев. — Сказано: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Совесть в нем живет, — это хорошо... Ах, сволочи! — продолжал он с сердцем. — Каких людей увечили... А еще Овчинников, дурак, все приставал ко мне: повесь да повесь Хлопушу. Экой дуррак! Ну, а что же с Хлопушей после Екатеринбургу-то сталося?

Шигаев, когда-то слышавший в тюрьме от Хлопуши о всех его мытарствах, сказал, что безносый сослан был на каторжные работы в Тобольск, оттуда бежал, снова был схвачен и сослан в Омскую крепость, но вскоре и оттуда бежал.

— Молодец! — воскликнул Пугачев. — Вот это молодец!..

— Бросился он к Оренбургу, чтобы со своим семейством свидеться, да был схвачен под Сакмарой казаками и доставлен в Оренбургскую крепость, где в четвертый раз наказан плетьми.

— Понравился, видно, кобыле ременный кнут,— буркнул Горшков.

— Да... и оставили Хлопушу страдать в кандалах при тюрьме вечно. Вот тут-то Рейнсдорп и призвал его.

Наступило короткое безмолвие. Все позевывали, закрещивали рты. Пугачев, снимая послюненными пальцами нагар со свечи, сказал:

— Ну вот, други мои... Кару, значит, мы всыпали в загорбок. Теперь за Оренбургом черед. Да вот, шибко долго возюкаемся с ним, с Рейнсдорпом-то. Не плюнуть ли нам на него да на матку Волгу податься?! Ведь земли в нашем императорском государстве неоглядно, а мы здеся, кабудь у журавля на кочке, топчемся. Ты как, Максим Григорьич, думаешь на этот счет? Ась?

— Да что, батюшка Петр Федорыч,— покашливая и сутулясь, откликнулся Шигаев,— наше казачье мнение ведомо тебе: без Оренбурга нам не можно! Ведь Оренбург-то у нас — один.

Пугачев, прищурив правый глаз, посмотрел на Шигаева с нарастающим раздражением. Шигаев, подметя это, примирительно сказал:

— Да о чем печаль? Время придет, батюшка, потолкуем наособицу.

— Ну, ин ладно,— отступился Пугачев.— Время что семя: был бы дождик, оно себя окажет.— И, снова обратясь к Шигаеву, спросил его: — А как ты, Григорьич, насчет турецкой войны? Ведь придет же когда-нито ей скончание? Как бы нам, мотри, не опростоволоситься, Григорьич. Ведь Катерина-то, чаю, дюже хвост поджала, вдруг да заключит она с султаном мир... да и двинет супротив нас с тобой целый корпус? А мы все околачиваемся возле Оренбурга твоего...

Сутулый, высокий и сухой Шигаев не торопясь поднялся, вправо-влево щелкнул по бороде концами пальцев, заложил руки назад и прошелся по горнице. Затем сказал:

— С войной еще долга песня, Петр Федорыч. Которые прибегают к нам из деревень да заводов, ска-

зывают, что опять рекрутов набирают по России-то... А Оренбург так и так брать надо... Надо, Петр Федорыч, батюшка...

Пугачев насупился, передернул плечами, засопел и, недружелюбно поглядывая из-под хмурых бровей на Шигаева, с раздражением сказал:

— Ну, атаманы, спать пора! Ты, Шигаев, упреди-ка Федю Чумакова, чтоб завтра привел в боевой распорядок артиллерию, я смотренье буду делать, а всем канонирам строгую проверку учиню.

Было два часа ночи. Гости наконец ушли. Утомленный Пугачев прилег на кровать не раздеваясь и сразу захрапел.

Пред рассветом ему привиделся недобрый какой-то сон. Он заскрипел зубами, застонал, затем дико принялся вопить. Растолкала его прибежавшая на голос Ненила. Она — в одной рубахе, в накинутой поверх плеч пуховой шали. Теплая, разомлевшая от сна, склонилась над Пугачевым, перепуганно забормотала:

— Батюшка, батюшка, очнись!

Он оттолкнул ее и, не размыкая глаз, как бы продолжая с кем-то спорить, гневно говорил взахлеб:

«К лешему, к лешему Оренбург!.. Че-го-о! Да как вы смеете?! — застонал, перевалился на бок и опять: — Ну, так и торчите здесь с Петром Федорычем своим... А я... А я на Дон, на Волгу... Геть с дороги, так вашу, геть, геть!»

Он заскрежетал зубами и захрипел, будто его сгребли за глотку. Вся дрожа от страха, Ненила принялась трясти его:

— Батюшка, ягодка моя, очнись! Уж не домовой ли тебя душит...

— Ась? — промямлил Пугачев, спустил с кровати ноги, сел, открыл глаза и, почесывая волосатую грудь, сонным голосом спросил:

— Ты, Ненилушка?

— Я, батюшка, твое величество... я!

— Кваску бы мне... с кислинкой.

Обрадованная Ненила схватила со стола порожний жбан и кинулась на кухню:

— Чичас, родименький, чичас!

В этот самый час оправившийся от лихорадки генерал-майор Кар, сидя в деревне Дюсметевой, не спеша сочинял пространную реляцию в Военную коллегию. Описывая подробно все свои неудачные стычки с неприятелем и с неопровержимой, как ему казалось, логикой выставляя причины этих неудач, он, между прочим, требовал:

«Для того чтоб совсем сих разбойников искоренить, то непременно надобно, чтоб сюда был прислан целый полк пехотной да полки ж карабинерной и гусарской с одними седлами и оружием на почтовых подводах. Неминуемо также потребна артиллерия, пушек восемь и четыре единорога. Отбивать атакою пехоты вражескую артиллерию невозможно, потому что они всегда стреляют из нее, имея готовых лошадей и перевозя пушки быстро с горы на гору, что весьма проворно делают, и *стреляют отлично, не так, как бы от мужиков ожидать должно было*».

Затем он стал писать президенту Военной коллегии графу Чернышеву. Повторяя в частном письме причины неудач и свою просьбу выслать ему военную силу с артиллерией, Кар попытался запугать графа Чернышева.

«Если не соизволите уважить мою просьбу, то, по генеральному в сем крае колебанию, *куды б сей злодей Пугачев ни прошел, везде принят будет*. И возгоревшееся сие пламя надобно много уже трудиться утушать».

В конце письма следовал погубивший карьеру Кара более чем рискованный постскриптум:

«Пока еще направляемые сюда войска собираются, для переговору с вашим сиятельством о многих сего края подробностях, поруча команду генералу-майору Фрейману, намерен я отъехать в Петербург, ибо то время, которое употреблю на езду свою и с возвращением, здесь безо всяких предприятиев протечет. Василий Кар».

ГЛАВА III

У П. И. Рычкова гости. Отчаянный купчик

1

Знаменитый Рычков[1], давнишний житель Оренбурга и Оренбургского края, член-корреспондент Академии наук, член Вольного экономического общества, принадлежал к числу недюжинных русских людей елизаветинского и екатерининского времени. Хотя Рычков и не получил систематического образования, но, будучи одаренным от природы и благодаря своему необычному трудолюбию и великой склонности к наукам, он был широко известен образованным кругам не только Москвы и Петербурга, но и ученым Западной Европы.

Высокий, очень упитанный, с размашистыми жестами, но уже достаточно престарелый, — ему шел шестьдесят второй год, — Рычков имел крупное овальное лицо с выражением упрямства и надменности. Серые выпуклые, необычайно спокойные глаза, слегка приплюснутый нос, круглый подбородок, длинные седые, в буклях, волосы.

Он состоял в должности начальника соляного дела Оренбургской области и очень печалился, что знаменитые соляные промыслы в Илецком городке пограблены и наполовину порушены пугачевцами.

В воскресный день, сразу же после поздней обедни, к нему нежданно явились посетители.

— Ну вот, Петр Иваныч, уж не обессудьте, гостей к вам привел, двух благочестивых коммерсантов, — сказал прокурор Ушаков, подслеповатый, низенький, с брюшком, в мундире и при шпаге.

Оба купца поклонились хозяину с приятными улыбками. Первейший оренбургский купец Кочнев, высокий и долгобородый, бывший от купечества депутатом Большой комиссии, застенчиво потеребливая бороду, сказал:

---

[1] Автор известной летописи «Осада Оренбурга».

— Уж извини, брат Петр Иваныч. Не бывывал я еще в твоих новых хоромах-то. Вот, любопытства ради, и пришел, да и приятеля с собой привел, что купеческий сын из града Курска Авдей Иваныч Полуехтов, прошу любить да жаловать!

— Знакомы будем! Знакомы будем! — тенористо выкрикнул молодой кудрявый купчик, закатился беспричинным смехом и столь крепко сжал мускулистой лапищей пухлую руку Рычкова, что тот болезненно сморщился и выдохнул:

— Ой, ну и сила же у вас!

— Ха-ха!.. Силой господь-батюшка не обидел, — снова закатился Полуехтов, закинул руки за спину и, бесцеремонно высвистывая какую-то бурлацкую, взад-вперед стал ходить по кабинету. Краснощекий, широкоплечий, в синей поддевке и алой шелковой рубахе, перехваченной персидским чеканным поясом, он, несмотря на ранний час, уже был навеселе: от него изрядно попахивало водочкой.

Рычков поглядывал на него с некоторым удивлением. Степенный Кочнев, осматриваясь, сказал:

— Добрые, добрые у тебя хоромы, Петр Иваныч!

— Оное обиталище выстроено на казенный кошт губернатором Рейнсдорпом и отведено мне, — ответил Рычков. — Дивлюсь на сего капризного барина: то он ко мне полный решпект имеет, то вдруг — вожжа под хвост, и я уже нехорош ему. Наш губернатор, ежели хотите знать, низкопоклонство да лесть любит, а у меня ни того, ни сего и в природе нет.

Брюхатенький прокурор Ушаков ядовито улыбнулся, он прекрасно знал мнение Рейнсдорпа о Рычкове. «Помилуйте, это ж Тартюф, настоящий Тартюф! — не стесняясь, говорил про него губернатор. — В нем неограниченное самолюбие, глупое тщеславие и низкая зависть. Но иногда он прикидывается признательным. Впрочем, я отдаю всю справедливость его уму, хотя и не вполне возделанному».

Рычков был действительно умен и наблюдателен. Он тотчас разгадал смысл язвительной улыбки прокурора и, укорчиво взглянув на него, сказал:

— Ежели немец-губернатор, в силу своей душевной ограниченности, не умеет ценить таких, как я, то меня и фамилию мою ценит и чтит российское общество. И вот доказательство сему. Господа купцы, пожалуйте сюда! — Он взял их под руку и подвел к письменному столу, на котором лежали две больших медали. — Вот, извольте видеть, обе сии медали получены нами в награждение от Вольного экономического общества. Моя — серебряная — за сообщение туда разных моих сочинений и опытов. А эта вот — золотая — супруги моей, Алены Денисьевны Рычковой.

— О-о-о? За что же женскому полу этакая медалища? — удивился Полуехтов.

— А вот читайте! — И Рычков показал ему диплом: «За оказанное усердие нашему обществу присылкой как прежнего, так и нынешнего рукоделия».

— Ха! Стало, супружница-то перекрыла вас. Вам серебряную, а ей золотую!.. Ха! Ну, я бы не поддался, ей-богу, право! Я свою бабу во страхе завсегда держу, — с чувством собственного превосходства воскликнул курский купчик.

Рычков улыбнулся и, достав из ящика третью медаль, сказал:

— Позвольте, позвольте... Победителем-то все-таки остался я. Вот большая золотая медаль, полученная мною не столь давно от того же Вольного общества в награждение трудов моих.

— Ну, слава те Христу, что вы верх взяли, — проговорил простоватый Полуехтов, взвешивая на ладони ценность золотой медали. — Нет, ваше высокородие, супружниц завсегда нужно в страхе содержать, чтобы не в свое дело не лезли. Медаль для бабы — это баловство, ей-богу, баловство... Не женского ума сие дело. Да ежели б моя половина медаль получила, а я нет, — ну, знаете... отойди-подвинься! Я бы после этакого позору бабу свою вовсе извел бы... Я человек карахтерный, ей-бо, право! — Купчик говорил горячо и не стесняясь, даже с оттенком задорного бахвальства. Рычков с удивлением и любо-

пытством выпучил на него большие серые глаза, а купчина Кочнев стал своему приятелю пенять:

— Полно болтать-то, Авдей Иваныч, постыдись! Ведь твой родитель в купеческую гильдию по Курску вписан, а ты...

— Да ведь обидно, Илья Лукьяныч. — И одернутый купчик конфузливо зачесал в своей кудреватой голове. — Вдруг моя баба медаль бы получила, а я нет. Да меня тогда весь город засмеял бы!.. А вы меня, ваше высокородие, разожгли медалями-то... Эх, зачем я не офицер, не генерал, не дворянин хотя бы.

— Друг мой! — И Рычков, широко улыбаясь, взял молодого Полуехтова за плечи. — Ежели вы, будучи купеческого сословия, окажете доблесть на поле брани, то неукоснительно и медаль получите, а нет — и крест.

— Скажи на милость! — протянул купчина. — Я ведь драться охоч, у нас, в Курске, я кажинный праздник на кулачный бой выхожу. Бью крепко! — Он плюнул в горсть и, размахнувшись, ударил кулаком по воздуху. — Рраз — и с каблуков долой! Вот ежели б случай вышел здесь со злодеями схватиться!.. А?

— Здесь похвально было бы тем более, — поощрительно сказал Рычков. — Наш несчастный Оренбург является наивящей ареной для отличения подвига ратного...

— Ваше высокородие, отец родной! — с необычной горячностью вдруг закричал купчик, наступая на Рычкова. — Не можно ли обо мне губернатору доложиться?.. Я бы, скуки ради...

— Брось, Авдей! Тут тебе не кулачный бой! — прикрикнул на него степенный Кочнев. — Это в тебе не отвага, а винцо говорит. И где ты, чадо лукавое, спозаранку клюнуть-то спроворил?

— За обедней, Илья Лукьяныч, видит бог — за обедней. Выскочил я из собора да в сторожку, а там у пономаря вино. Хлопнул на размор души да опять в собор... — Купчик подбоченился и бесцеремонно сплюнул. — А я на Пугача, поистине скажу, сердит. Он, супостат, в великие убытки меня ввел, ей-бо,

право. Ведь я, господа хорошие, товаров сюда понавез, с бухарцами да с ордой на Меновом дворе менка ладил устроить, баш на баш, как говорится. А глянь, что вышло?.. Тьфу! Сиденью здешнему конца краю не предвидится. Нет, я с ними, с разбойниками, сшибусь, видит бог, сшибусь!.. Я человек отчаянный. Эх, в казаки, что ли, записаться, к Мартемьяну Бородину...

— Ваше усердие, господин Полуехтов, вступить в бой с нашим общим врагом весьма похвально, — покашиваясь на Кочнева, наставительно сказал Рычков. — Я чаю, вы не токмо о своих делах печетесь, но такожде и о чести родины помышление имеете.

— Ну, где там о родине! Просто — кровь кипит, поозоровать охота, — бесхитростно ответил купчик и стал осматривать, пробовать на ощупь, колупать ногтем всевозможные предметы, в порядке развешанные по стенам и разложенные по полкам: образцы знаменитых оренбургских шалей и других изделий из козьего пуха, канаты из крапивного волокна, колпаки и холстинку из травы кипрейника, куски разноцветной юфти, ткани из верблюжьей шерсти, осколки всевозможных минералов, медной и железной руд, кубики каменной соли, пробы «горячей угольной земли», то есть каменного угля, — целый музей.

— Многое из того, что вы видите, — сказал Рычков, — я собрал лично и с точностью описал места сих богатств земных недр. Мною описаны также и многие местные промыслы — как вязанье шалей, выделка юфти, ткачество сукон из верблюжьей шерсти и прочее. Я приложил немало хлопот к тому, чтобы эти промыслы улучшить, расширить, и того достиг. Помимо сего, новым промыслам положил начало, — например, выделка канатов из крапивного волокна, производство краски из травы кипрейника. Да всего и не перечислить. Все это описано мною и опубликовано в «Трудах Вольного экономического общества».

— Купцом бы вам быть, фабрику иметь! — польстил ему Кочнев.

— А что же? — сказал Рычков. — Родитель мой — именитый купец, жил он сначала в Вологде и чрез

Архангельск имел с Голландией торг хлебом, да разорился и переехал в Москву, где и отдал меня, восьмилетнего мальца, в обучение европейским языкам, арифметике, бухгалтерии. Мой родитель ладил из меня просвещенного купца сделать...

— А вышли вы, Петр Иваныч, ученым мужем,— вставил все время молчавший прокурор Ушаков и закурил трубку.

— Вашими устами глаголет истина,— с легким поклоном ответил осанистый Рычков и, оправив рукой седые волосы, торжественно проговорил: — В священном писании сказано: «Похвала детям — отцы их»,— а со мною вышло инако, и я не без гордости могу похвастывать: «Похвала отцам — дети их».

Гостям очень хотелось есть, они с нетерпением ожидали приглашения к хлебосольному столу, у них были унылые лица. А хозяин все говорил и говорил, он стал показывать прокурору и Кочневу свои многочисленные напечатанные статьи по многим хозяйственным, бытовым и экономическим вопросам края.

— Это все мелочь, — говорил он, — а главная моя работа — «Оренбургская топография» — была еще двадцать лет назад одобрена самим Ломоносовым, коему я был персонально известен.

Рычков пространно стал рассказывать о своем поместье в селе Спасском [1], о находящемся там опытном медном заводике, приносящем ему одни убытки, о том, как в Спасском пять лет тому назад его посетили и прожили по две недели знаменитые академики Лепехин и Паллас, в команде которого работал в чине прапорщика старший сын Рычкова.

Наконец, приметя, что гости утомлены, и желая привлечь внимание молодого купчика, Рычков приподнятым голосом и не без хвастливости стал говорить о том, как в 1767 году он преподносил императрице свои труды.

---

[1] На дороге из Оренбурга в Казань, в пятнадцати верстах от Бугульмы. Земля с тремя деревнями была отведена Рычкову оренбургским губернатором Неплюевым еще в 1743 году за его ревностную службу.

— И я, государи мои, удостоился слышать из уст ее величества следующие слова: «Мне известно, что вы довольно трудитеся в пользу отечества, за что вам благодарна». И более часу изволила расспрашивать меня владычица в парадной своей опочивальне об Оренбурге, о ситуации места, о хлебопашестве и коммерции столь снисходительно и милостиво, что тот день наилучшим и счастливейшим в жизни почитать мне надлежит. Предводителями к сему счастью были его сиятельство Григорий Григорьевич Орлов и приятель мой — историограф Миллер.

Прокурор снова язвительно заулыбался: его взор как раз наткнулся на лежавший пред его глазами пакет, предназначавшийся профессору-историографу Федору Ивановичу Миллеру, с довольно странным адресом: «Дом его за Яузским мостом, идучи на гору, первыя низменныя каменныя палаты на левой стороне, где прежде бывала аптека».

— И доходит? — поинтересовался Ушаков, указывая на пакет.

— Всенепременно, — ответил хозяин. — Мой милостивец и друг известен не только ведомству почтовому, но и всему миру.

— Верблюды! — взглянув в окно, вдруг вскрикнул купчик Полуехтов и стремительно выбежал на улицу.

Гости и хозяин прильнули к окну. По дороге неспешно шествовал большой караван верблюдов. Долговязые животные, слегка покачиваясь, гордо несли свои небольшие головы на мускулистых и длинных, слегка изогнутых шеях. Они, видимо, прошли трудный путь, были тощи, на их ребристых облезлых боках висела грязной бахромою свалявшаяся бурая шерсть. Меж их горбами навьючены огромные тюки. Животные были связаны нос в хвост — гуськом, по шести верблюдов в связке. Рядом с ними шагали худые, со втянутыми щеками, чернобородые люди, одетые в цветные халаты и войлочные остроконечные шапки.

Шумно вбежавший с улицы купчик замахал руками и закричал, как в лесу:

— Хивинцы! Тридцать верблюдов! А шесть верблюдов пугачевским разбойникам достались. Напали, дьяволы, двух хивинцев саблями порубали, третьего в полон увели. Ах, сволочи! Ну, теперича Пугачу на портки да на рубахи всяких шелков хватит! — Купчик засунул в рот купленный на улице бублик и стал с азартом чавкать, как умирающий от голода.

Хозяин покосился на него с брезгливостью и позвонил в серебряный колокольчик. Вошедшего слугу спросил:

— Завтрак готов?

— Пожалуйте-с... Пироги из печки вынимают.

— Господа, прошу!

Все сразу повеселели.

У стола уже распоряжалась краснощекая пожилая Алена Денисьевна. Поздоровались, поздравили хозяйку с праздником, сели за стол.

— Ой, да какие уж нынче праздники. Каждый час смерти ждешь, — вздохнула хозяйка, раскладывая по тарелкам пирог с рыбой.

— Бог не без милости! — сказал Кочнев, перекрестился и принял от хозяйки две доли пирога.

Потянулись разговоры о тяжелом осадном времени и желчные упреки по адресу губернатора: он нераспорядителен, леностен, не смог обеспечить город ни продуктами, ни фуражом, крепость в самом плохом состоянии, а главное, а главное... губернатор Рейнсдорп проплясал со своими завсегдатаями-гостями самый горячий момент и дал злодею Пугачеву непомерно усилиться.

— Вот уже месяц, как длится осада, — с горечью в голосе начал Рычков. — Надлежало бы в назидание потомкам летопись сему великому историческому событию писать. Но кто за сей почтенный труд возьмется?

— Вы, вы, Петр Иваныч. Вам и книги в руки! — раздалось со всех сторон.

— Истинно, мне надлежало бы, моему испытанному перу. Но, судари мои, десная рука моя скована: губернатор все сие дело держит в тайне, вся переписка у него под замком. Столь непонятное

отношение ко мне со стороны Рейнсдорпа я считаю преступным, а для исторических перспектив — пагубным.

Вдруг близко ударила вестовая пушка. Алена Денисьевна, сильно вздрогнув, вскочила и зажала уши.

— Ну, начинается! — бросив салфетку, пробасил Рычков.

Ударила вторая пушка. Вскочил и купчик.

2

На крепостной вал, охвативший город пятиверстным хомутом, уже сбегались праздные зеваки.

Как только с угловой батареи прогремел пушечный выстрел, тетка Мавра, по прозвищу Золотариха, бросила у колодца ведра с водой и тоже побежала на вал. Высокая, черная, с большими плутоватыми глазами, в народной душегрее, она была столь любопытна и жадна до всяких происшествий, что не пропустила ни одной стычки пугачевцев с защитниками крепости. Эта сорокалетняя разбитная баба была известна городу как содержательница маленького веселого притона, где иным часом совершались жестокие драки, по базарным же дням она торговала на рынке пирожками, блинами, сбитнем.

Прытко взбежав на вал, она выбрала самое удобное место. Отсюда была хорошо видна вся окрестность: белое, запорошенное снегом поле, высокая Маячная гора, постройки Менового двора, стоявшего на отшибе от города, слева — мрачные кирпичные сараи, справа — выжженный пригород — Казачья слобода, а на горизонте — одетые лесами увалы гор.

Все тихо, все спокойно. Только видно, как между кирпичными сараями, из оврага в овраг, перебегают верхоконные пугачевцы.

Золотариха постояла, посудачила с соседями, оглянулась назад: в сиянье холодного солнца пестрел примолкший Оренбург. Над деревянными избами и белыми мазанками высились девять церквей, двухэтажные палаты губернатора и губернской канцелярии, обширный дом гауптвахты с обитым белой

жестью куполом, над которым — городские часы с колоколами, далее — цейхгауз, артиллерийский двор, почта, госпиталь, торговые ряды, кирпичные дома купцов и местной знати. Город казался издали многолюдным, красивым и богатым. Золотариха часто любовалась с вала родным городом.

Вот она снова повернулась лицом к степи и, всматриваясь из-под ладони вдаль, звонко закричала:

— Глянь, глянь! Едуть!

За кирпичными сараями, на возвышенном взлобке, действительно собралось сотни три пугачевцев. До них было версты полторы, и на таком расстоянии они крепостных пушек нисколько не боялись. Они, очевидно, выехали лишь погарцевать да по праздничному делу поразвлечься, подразнить осажденных. А ежели Рейнсдорп не стерпит да вышлет на них команду, то и сразиться. Они там горланили песни, орали, взапуски скакали на конях, снова сбирались в круг.

Вскоре от круга отделились человек тридцать головорезов и, пригнувшись к луке, с гиком ринулись на крепость. Это были подгулявшие яицкие казаки. Впереди них — отпросившийся у «батюшки» побаловаться чубастый горнист Ермилка.

Вот они подкатили к самому рву против Бердских ворот, до них было не более полутораста шагов. Молодые, веселые, разгоряченные вином и скачкой, они замахали шапками и закричали толпившимся на стене солдатам:

— Эй, не стреляйте! Видите — мы без ружей. Долго ль вам воевать? Сдавайте, солдаты, крепость! Государь милость окажет вам. А не взявши крепости, царю прочь не уйти.

— Убирайтесь, христопродавцы! — отвечали со стены. — Ах вы супостаты, изменники!.. Вот ужо мы вас!

Казаки, потрясая пиками, горланили в ответ:

— Мы и сами, подобясь собакам, умеем против лаять, да не хотим так безумствовать...

— Ах, не хотите! — кричали со стен и с вала. — Что это вы задумали, пьяные ваши рожи, с Пугачом-то со своим?

— По-вашему — Пугач, а по-нашему — милостивый царь! Вот ужо сам наследник Павел Петрович прибудет к нам. С ним семьдесят две тыщи войска. Тогда сотрем вас!

Вдруг они проворно подались назад и, отъехав сажен пятьдесят, остановились: из крепости выехала полусотня оренбургских казаков и пальнула в них из ружей.

— Ах, дьяволы! — звонкими голосами кричали пугачевцы, грозя нагайками и отъезжая на недосягаемое для пуль место. — Так-то вы по безоружным... А ну, наезжай на нас! — заманивали они врага.

— А что, ребята, давай ударим на них! — сказал оренбуржцам бравый урядник. Он взмахнул нагайкой, скомандовал: — Айда! — и, увлекая свой отряд, помчался на пугачевцев.

Те, подпустив их очень близко, выхватили ловко спрятанные винтовки, дали недружный залп, затем бросились наутек и, отскакав порядочное расстояние, вновь остановились.

— Трусы! Обманщики!.. Ишь ты, безоружными прикинулись! — сердито кричали им оренбуржцы и тоже остановились. Среди них было двое слегка раненных. — Трусы... Ваше дело зады казать! Собаки!

Вдруг с вала увидали: из гущи оренбургского отряда выехал на статном, рослом скакуне всадник и, размахивая какой-то длинной палкой, смело помчался один на пугачевцев. Те, прикинувшись испугавшимися, стали отъезжать, а всадник все еще продолжал скакать за ними и что-то кричал.

Заманив его подальше, пугачевцы, присвистнув, повернули коней и бросились ловить его. Всадник под самым их носом поскакал обратно. Когда он сравнялся с полусотней своих казаков, те тоже поскакали вместе с ним обратно, стараясь, в свою очередь, заманить теперь пугачевцев под выстрелы крепостных пушек. Но пугачевцы, заметив это коварство, вовремя остановились. С крепости раздался пушечный выстрел картечью, один пугачевец упал с коня, его подхватили товарищи и стали отступать.

Тогда всадник с палкой снова припустился за ними.

— Да ведь это знаете кто? — улыбаясь и оторвав правый глаз от подзорной трубы, сказал Рычков своему соседу, архивариусу Старцеву. — Это же курский купчик Полуехтов. Он у меня только что в гостях был и прилично выпил... Вот отпетая башка!

— Да неужели он? Позвольте-ка! — попросил архивариус трубу и долго не мог поймать глазом снующих по полю всадников.

Золотариха, услышав, что речь идет о курском купчике, схватилась за голову и завопила:

— Ой, кормильцы! Что только таперь и будет! Ведь он мне два с полтиной задолжал...

Полуехтов без шапки, в поддевке, не с палкой, как представлялось издали, а с железной увесистой клюкой в руке уже мчался за отступавшими. Вот он настиг их, врезался в их гущу, вот клюка его проворно заработала по головам, по спинам, один кувырнулся из седла. К нему со всех сторон кидались пугачевцы, силясь схватить за узду его коня, чтоб живьем привести «батюшке» свою добычу. Но сильный, рослый конь взвился на дыбы, ударил задом и, под громоносные восторженные крики с вала, сминая пугачевцев, помчал своего хозяина назад.

Золотариха, облегченно ахнув, затряслась от радости.

За купчиком с гиком, с визгом, вздымая тучи снега, во весь опор неслась разгоряченная погоня. Но резвый конь, наддавая ходу, всех оставил позади. Привстав на стременах и размахивая клюкой, купчик на все поле кричал осатанелым скакунам:

— Не отставай, не отставай!.. Эй вы, лиходеи! — Вот он приостановился, подпустил их почти вплотную, обругал самым смачным словом и снова ринулся к крепости.

— Имай, так его... имай! Хватай живьем! — орал Ермилка, примеряясь ударить врага пикой.

Но, доскакав до опасного места, где может сразить крепостная картечь, хитрые пугачевцы — как в стену — враз остановились. Им люб был отчаян-

ный детина. Молодые, разухабистые, хватившие вина, они сквозь одобрительный хохот вразноголосицу кричали:

— Эй, молодец! Айда к нам! Тебя государь доразу атаманом поставит.

Но пьяный Полуехтов, крутя железной клюкой, как нагайкой, с руганью снова бросился на них. Они, стараясь заманить его как можно дальше, опять кидались наутек.

Такая игра продолжалась долго.

Полковник Хлудов, заместитель обер-коменданта, решил положить конец любопытному, но бессмысленному зрелищу. Чтоб как следует проучить эту надоедливую кучку пугачевцев, он приказал выпустить из запасных ворот еще две сотни казаков и, как только пугачевцы зарвутся вперед, ударить на них в лоб и с флангов. Но этот маневр сразу же заметили зоркие, стоявшие в резерве за сараями противники. И лишь прозвучал сигнал к атаке, как из-за кирпичных сараев, из глубокого лога выехало на взлобок густое скопище пугачевцев. Изготовив пики и ружья, они галопом пошли навстречу врагу. Тогда с батарей загрохотали пушки, две гранаты разорвались над головами пугачевцев, их ряды смешались, они повернули обратно, рассыпались по полю и вскоре исчезли за перелеском.

Солнце садилось. В воздухе тишина и легкий морозец. Казачьи команды по мосту чрез ров возвращались в крепость. Впереди на своем коне ехал, сугорбясь, притомившийся Полуехтов. Он утирал красное щекастое лицо подолом рубахи. От кудрявой простоволосой головы его и от широкой спины шел парок. Его разгоряченный конь был в мыле. Как бы сознавая важность исполненного долга, конь гордо выступал, грыз удила, мотал головой, фыркал, с презрением косился большими черными глазами на толпу.

Кто-то из толпы крикнул «ура». К Полуехтову подбежало несколько человек, чтоб пожать руку, чтоб одобрительно похлопать по плечу. Купчик низко кланялся и, болезненно морщась, улыбался: он на-

чинал мерзнуть и в душе ругал себя, что не надел полушубка, — пугачевцы все-таки здорово отлупцевали его нагайками, чрез полушубок не так было бы больно.

Ну, да и он в долгу не остался: изогнутая в драке железная клюка висела у него с левой стороны, как турецкая кривая сабля.

— Авдей! Авдей! — звонко, чтоб все слышали, голосила чернявая Золотариха, поспешая за купцом и расплескивая из ведер воду. — Слышь, Авдей! Никуда не уезжай, прямо ко мне... Выпьем!

— Поди к черту! — с презрением бросил купчик в лицо слишком бесцеремонной бабы.

Толпа злорадно над Золотарихой всхохотала. Кто-то крепко пришлепнул бабу по спине, рыжеусый казак игриво ущипнул ее с коня: «Почем сукнишко?» — Она взвизгнула, затем, по привычке, разразилась площадной бранью.

Толпа оттерла купчика от казаков, и он ехал теперь среди народа. К нему протискался купец Кочнев со своим приказчиком.

— Ну и дурак же ты, Авдей! — тихо сказал он Полуехтову. — Слезай, одевайся... Мороз ведь!

Купчик послушно слез с коня, с охотой надел поданный ему приказчиком лисий тулуп и уселся с Кочневым в ковровые купеческие сани. Пара пегашей неспешной рысцой тронулась по улицам.

В церквах благовестили к вечерне. Смеркалось. У дома губернатора зажигали масляные фонари. Встречу попадались конные разъезды и пешие патрули. Вот четыре огромных, по дому, воза сена, их тащат маленькие лошаденки. На каждом возу казак. Возле возов шагают рядом с казачьим урядником пожилые озлобленные мещане.

Хивинцы вели на водопой верблюдов. Два высоких парня, быстро шагая в ногу, несли на головах глазетовый гроб. Пятеро пьяных гуляк, взявшись за руки, плелись цепочкой поперек дороги, нескладно горланили:

Пра-ппадай моя те-лега,
Все четы...четыре колеса.

— И чего ж ты ругаешь меня, Илья Лукьяныч, — не попадая зуб на зуб, проговорил купчик Полуехтов; на него вдруг напала необоримая икота и стала бить нервная дрожь.

— Да тебя не ругать, а трепку тебе надо дать хорошую! — отечески брюзжал степенный Кочнев. — И с чем ты против них, сволочей, шел? Ну, хоша ружье бы у тебя было, либо пистолет, либо сабля, а то с бабьей кочергой какой-то... Тьфу! Срам смотреть! — Кочнев схватил клюку и с омерзением вышвырнул ее на дорогу.

— Кучер, стой! — крикнул Полуехтов и, шустро соскочив с саней, подобрал со снега боевое своё оружие. — Ты этой штучкой не швыряйся, Илья Лукьяныч! Я ее в Курск свезу: вот, мол, видали, братцы...

— Дуррак!.. Ведь тебя наповал могли убить. Да ты, никак, соколик, пьян?

— Ни в рот ногой, — промямлил купчик, икнул и затрясся еще больше. — С такой бучи опьянеешь! — Молодому сорванцу только сейчас во всей ясности представился весь ужас его безумной отваги, и ему стало по-настоящему страшно. Он зажмурился, схватился за виски и с отчаяньем выдохнул: — Ух, ты!..

В крепости забил барабан, в казармах заиграли зорю, в пугачевском лагере глухо стукнула зоревая пушка.

Перед ужином купцы ходили в баню.

— Ого, — со скрытым смехом сказал Кочнев, осматривая исхлестанную спину Полуехтова. — Да тебя супостаты-то в клеточку разделали!

— С нами бог! Будем живы — заживет! — И бесшабашный купчик попросил приказчика натереть ему спину редькой.

3

На другой день Полуехтов был приглашен в канцелярию Рейнсдорпа.

— Маладец, маладец!.. Гут-гут-гут! — встретил его Рейнсдорп и покровительственно потрепал по плечу — Как твоя фамилия, дружок?

— Полуехтов, — ответил широкоплечий купчик, поеживаясь: у него все еще болела со вчерашнего спина.

— Полу-эхтов, — протянул губернатор. — Странное имечко... Полу — это я понимайт, полу — сиречь половина. А что сей сон значит — эхтов? Господа, что означает — эхтов?

Чиновники пожимали плечами.

— Петр Иваныч, — обратился губернатор к бывшему тут Рычкову. — Вы человек резонабельный и очшень чудесно знаете русского языка. Что означает — эхтов? Полуэхтов?

— Затрудняюсь сразу в соображенье взять, Иван Андреич, — потирая лоб, ответил озадаченный Рычков. — Не смею утверждать, но возможно, что сие слово произошло от простонародного восклицания: «Эх, ты!»

— Глюпая, глюпая прозвищ, чтоб не сказать более.

— Я из-за прозвища виноватым себя не считаю, — буркнул купчик и потупился, потеребливая свою небольшую бородку.

— Шо, шо?.. Но... молодой человек, — молодцевато повернулся на каблуках губернатор к робко стоявшему купчику. — Существует, молодой человек, в природе два храбростя: один разумный — ради долга пред отечеством, ради защищения ближнего, наконец — в защиту собственная честь. А другой храбрость — глюпый, сумасбродный, никому не нужный. Например, человек на спор, сиречь на пари, бросается с колокольни вниз тармашки. Это храбрость? Храбрость! А кому от такой храбрости, я вас спрашиваю, горячо или холодно? — Вполне довольный своим красноречием, губернатор вопросительно уставился на Полуехтова, а тот во простоте сердечной ждал, когда же губернатор приколет на его грудь медаль за храбрость.

— А где ты, голюбчик, проходил столь искусную кавалерийскую школу? Ты сидишь в седле много крепче, чем мой казак, ты как дикий башкирец ездишь, я сам вчерась видал в подзорный трубка.

— А это сызмальства я, родитель-то мой всю жизнь конями барышничал.

— А, карашо, карашо!.. Понимайт. Ну, а для чего ты работал одна сабля. Я очшень наблюдаль, как ты проворно рубил по головам и... и... немало дивился, по какому казусу ни у одна разбойник не слетела с плеч башка.

— А как была у меня в руках клюка, я только глушил супостатов да по спинам долбал, — ответил купчик. — Клюкой головы ни в жизнь не срубишь.

— О, клюкой! — воскликнул губернатор. — Господа, что значит сей род оружия — клюкой?

— Клюка, ваше высокопревосходительство, это, — согласным хором ответили чиновники, — это железная палка с загогулиной, клюкой в печке ворошат...

— А-а-а, паньмайт... О! Вот вам рюсская герой. Похвально, очшень похвально! — с пафосом произнес губернатор. — В своей юности (он не хотел сказать «в молодости», ибо до сих пор считал себя молодым), в юности я тоже был недозволительно храбрый, но, господа, я не отважился бы с одна клюка, с одна загагулин вступить в подобная шармюнцель. О, нет!.. я не очшень стал бы скакать на эта, извиняйте, каторжники. О, нет! Да, молодой человек, за подобный поступка надо сажать в дальхауз, как это, как это... в дом безумства... Но, но... тем не менее, — отечески прикоснулся он к плечу купчика, — тем не менее, отдавая дань справедливости, я вам объявляю, милсдарь, своя благодарность за ваша беззаветный смелость, проявленный к нашему общему презренному врагу, за ваш па-триотизм, — выкрикнул губернатор и пожал руку вконец растерявшемуся купчику. — Ну, ступайте с богом! Мой приказ о вашем поступка будет опубликован вслед за сим.

Красный, с горящими глазами, Полуехтов прикрякнул, отдал губернатору поклон, с неприязнью покосился на Рычкова, как бы говоря: «Ну, где же твоя медаль? Наобещал с три короба, лясник!» И, по-сердитому стуча каблуками, вышел. «Приказ, приказ... А черт ли мне в его приказе-то! Только по усам

помазал», — злобно думал Полуехтов, сбегая по белокаменным ступеням.

Он отправился в притончик Золотарихи и с горя напился там.

ГЛАВА IV

Пальба продолжалась неумолчно. «Ату-ату!» — выкрикнул губернатор. Смертоносное ядро. Отвага Пугачева

1

К вечеру окреп мороз. В степи подымались туманы. Караульные у дворца казаки для сугрева развели костер. Запылали костры возле землянок татар и башкирцев. Туман усиливался. Огоньки в домах и лачугах Бердской слободы мерцали мутно, как сквозь слюду.

У Пугачева дотемна шло совещание. Пугачев настаивал, что, невзирая на сильный мороз, надо воспользоваться туманной ночью, подвезти к стенам пушки, расставить в укрытых местах отряды, а с утра учинить попытку ворваться в крепость и все разом кончить.

— А то мы, как клуши на яйцах, сидим да зря хлеб едим, — сказал он.

— Ах, напраслина, ваше величество, не во гнев будь вам сказано, — возразил атаман Овчинников. — Дня того не проходит, чтобы мы приступ под стены не делали. Хотя не шибким многолюдством, а нет-нет да и притопнем на Рейнсдорпа-то...

— Топал баран на волка, — криво ухмыльнулся Пугачев и велел начальнику артиллерии Чумакову подвезти ночью пушки к Маячной горе, к Бердским воротам и Егорьевской церкви, что в выжженной казачьей слободе. — Ты из пушек-то, Федотыч, почасту плюй, не жалей припасов-то, добудем... Да норови искосным огнем, дугою, чтобы в самый градский пуп бить. А на приступ я сам войска поведу.

Туман разлился белым молоком и захлестнул весь Оренбург, всю степь, весь Яик.

«Посма-а-тривай!» — то и дело кричали на валу часовые, устремляя взоры в степь, но пред их глазами — седая мглистая пелена. И сердитый мороз хватает за нос, щиплет уши, уснащает ледяными сосульками усы и бороды.

В богатом доме Ильи Лукьяныча Кочнева еще не спят. Там идет уборка к завтрашнему дню: завтра именинница сама хозяйка. Стряпуха и приглашенный от губернатора повар ставят в кухне тесто для именинных пирогов.

Часовой Сенькин — из новобранцев — пристально смотрит в белую гущу тумана. Ему почудились вдали странные звуки: то ли кони проржали, то ли колеса скрипят по снегу, вот песик взлаял, а вот и человек голос подает.

— Эй, кто такие? — стискивая холодное, запушенное инеем ружье, кричит в туманный сумрак оробевший Сенькин. — Смотри, пульну!

Но туман по-прежнему немотно глух. Сенькин поглубже нахлобучил шапку и, чтоб согреть стынущие ноги, крепко притопывая сапогами, поплясал. И снова слышит те же звуки: отдаленные человеческие голоса, скрипы, звяки. Сенькин сбежал с валу, пнул попутно ногой сидевшего у костра и клевавшего носом солдата: — Эй, дрыхоня, шапку сожгешь. — И, добежав до караульной избы, подергал у калитки колокольчик. Поднялось волоковое оконце, высунулась усатая голова старого сержанта. Сенькин сказал:

— Так что, господин сержант, в степу неспокойно, кажись вольница к валу прет.

— Ну и пускай прет на доброе здоровье, — сердито пробрюзжал сонный сержант. — Иди, где стоял. Я сейчас!

— ...Тихо, тихо, молодчики, — грозя с коня нагайкой, вполголоса покрикивал Чумаков. — Это чего такое?

— Кажись, в кирпичные сараи рылом въехали, Федор Федотыч, — прозвучал из ночной мглы го-

лос. — Скажи на милость, не видно ни хрена. Ну и тума-а-н.

Чумаков осмотрелся, не спеша объехал кругом сараев, затем дал команду:

— Айда тихонько за мной!

Батарея в шесть орудий, поскрипывая колесами и полязгивая, двинулась за Чумаковым.

Остальные орудия повел к Егорьевской церкви сам Пугачев.

Часа через два, перед рассветом, когда туман стал оседать, тронулась пехота. Позже всех выехала конница — казаки и башкирцы с татарами.

Рядом с полковником Падуровым правилась одетая под казачка счастливо возбужденная Фатьма. Она впервые попала в боевую обстановку, вся от волнения дрожит, улыбчиво косится на Падурова. Фатьма еще не научилась стрелять, за ее плечами и ружья нет, но пикой да саблей владеть она умеет, в руках силы у нее, что у доброго джигита.

— Ты от меня ни на шаг, — говорит ей Падуров. — Куда я, туда и ты.

— Милай мой Падур, — откликается она вполголоса и начинает дрожать еще сильней. Зубы ее стучат, она никак не может справиться с собою.

Светало. Отряд Падурова в пятьсот коней стоял в укрытии, в глубоком логу за Маячной горой. Мороз крепчал. От лошадей подымался курчавый парок. Туман почти улетучился. По краям оврага стояли белые, в густом инее, березы. Они были легки и невесомы, как призраки. И Фатьме казалось, стоило ей взмахнуть руками да прикрикнуть, и — белопенные сказочные призраки развеются.

Едва заголубело небо и начал алеть восток, с пугачевских батарей густо прогудели первые выстрелы. Крепость сразу пришла в движение: ударила вестовая пушка, на всех фортах рассыпался дробью барабанный бой. Защитники высыпали на вал, немало дивясь внезапному зрелищу: сквозь клочья раздернутого в низинах тумана то здесь, то там темнели «злодейские» пушки, передвигались не торопясь всадники, скользили на лыжах стрелковые отряды.

— Ого-го, — причмокивая и потряхивая головами, переговаривались солдаты. — Он, брат, не зевает, он, брат, хитренный! Его ни мгла, ни мороз не берет. Глянь — ночью всю крепость обручем охватил.

Офицеры навели торчавшие из амбразур орудия; сотрясая стены, загрохотали раскатистые выстрелы. Завязалась гулкая, частая перестрелка.

Пугачевские пушки экономили ядра.

— Давай мешок, — покрикивал Чумаков; он перебегал на кривых своих ногах от пушки к пушке. — Давай еще мешок. Ядра напоследок пригодятся.

Мешки, наполненные осколками разбитых чугунных котлов, еще по осени похищенных пугачевцами в Меновом дворе, подтаскивали молодые татары. Тяжелыми мешками нагружены были три воза. Засыпанные в дуло, запыженные паклей, а то сырыми тряпками, осколки летели с устрашающим воем и визгом.

Вот на валу двое упали. Прискакавший обер-комендант Валленштерн приказал сосредоточить огонь на ближней, против Бердских ворот, батарее противника.

Бомбы и ядра стали донимать пугачевцев. На чумаковской батарее уже было два человека убитых, шестеро раненых. По степи во весь опор мчались два всадника, снежная пыль из-под копыт взвивалась выше голов их.

— Чумаков! Федор! — закричал подскакавший с Ермилкой Пугачев. — Эй, там! — Он в старом заплатанном овчинном полушубке, одет бедно, как простой казак. — Что ж ты, чертова голова, людей-то почем зря губишь. Подавайся живчиком к Орским воротам!

— ...Ваше превосходительство, мне сдается, что это сам Пугачев, — сказал капитан Наумов Валленштерну, наблюдавшему в подзорную трубу.

— Ну, вы тоже скажете... Оборванец какой-то. А с ним, надо быть, яицкий казачишка.

— Я по коню сужу, конь лихой.

— А вот мы его картечами. Эй, канонир! Наддай-ка пороху...

Но всадники — Пугачев, а за ним горнист Ермилка, — как бы почуяв опасность, уже неслись прочь.

Перевалило за полдень. Рейнсдорп проголодался, уехал домой. Пушки гремели. Во дворец губернатора то и дело скакали вестовые с донесениями.

К собору подкатила карета купца Кочнева — за чудотворной иконой и причтом. В купеческой кухне шла стряпня, в верхних покоях накрывали столы. Помаленьку собирались гости. Купчик Полуехтов, устроившись в темном уголке столовой и отхватив себе изрядный ломтище ветчины, тайно, под шумок, не дожидаясь приглашения, пожирал ее с отменным аппетитом. В спальне, пощелкивая раскаленными щипцами, завивал именинницу цирюльник.

...Губернатор Рейнсдорп велел закладывать сани, намереваясь снова следовать к фортам. Закутанный, как купец, в меховую шубу, он уже стоял в передней против зеркала, по его животу старый камердинер повязывал бухарского тканья кушак. Вдруг в соседнем зале раздался резкий треск, грохот, стены дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка.

— Шо это? Шо это? — пошатнувшись, произнес губернатор.

— Ой, мать-владычица! — выкрикнул камердинер и, окрещивая себя, бросился в зал. — Ядро, ядро! — отчаянно закричал он оттуда.

Губернатор был уже в зале. Блуждающие глаза его широко открыты. Двенадцатифунтовое ядро, раздробив оконный переплет, ударило в печку, выворотило два изразца, отскочило к окну и плюхнулось на пол, в стекольный дрызг.

— Ах он негодяй... Да как он смел палить в губернаторский дворца? — шумел он, наседая на вбежавшего адъютанта. — Я вас спрашивайт!

— Не могу знать, ваш-ш-ше...

— Вы все, все так: не могу да не могу... Дурацкий слоф! Ох, боже мой, боже мой!..

Вдвинулся в бараньей куртке, в валенках толстощекий вестовой с нагайкой в лапе, гаркнул от двери:

— Обер-комендант приказали доложить: неприятель открыл пальбу от Егорьевской церкви, а равным манером от мишени[1] и супротив Орских ворот. По загоре откосом ползут пешие, палят из ружей да сайдаков... В Казачьей слободе в погребах засели они, оттоль и палят.

— Дурак... Пошел вон!.. Оседлать коня мне!

Пальба продолжалась неумолчно. Крепость израсходовала уже около пятисот ядер, а враг не унимался.

Отчаянная Золотариха уже торчит на валу с небольшой гурьбой смельчаков мальчишек в самом опасном месте. Когда с завыванием летит через вал ядро или свистят чугунные осколки, она всякий раз взвизгивает и, под хохот мальчишек, валится на землю.

— Ха-ха... Тетка, тетка, никак у тебя голову оторвало! — весело кричат озорники.

...Пугачев с хромоногим Овчинниковым и Зарубиным-Чикой распоряжаются возле Егорьевской церкви устройством форта-заставы. Каменная церковь расположена в выжженной Казачьей слободе (в форштадте) всего саженях в двухстах от вала. В сущности, почти все было сделано еще туманной ночью: сотни рук всю ночь напролет стаскивали сюда находившийся поблизости бутовый плитняк. И вот по обе стороны церкви высится уже каменная твердыня, укрывая орудия. Отсюда «с руки» бить по городу.

Вторая батарея Пугачева утвердилась за мишенью, что в версте от крепости. Здесь пугачевцы тоже успели соорудить каменные амбразуры и боковые к ним крылья. Отсюда ядра, гранаты били по крепости метко, а ложась навесной дугою в городе, производили среди жителей немало переполоха.

---

[1] Высокая и широкая насыпь из дерна, служившая для обучения крепостного гарнизона артиллерийской стрельбе.

— ...Что это такое, господин Валленштерн, что за безобразий!.. — наскочил на обер-коменданта губернатор. — Глядите, глядите, они из-за мишени бьют... Почему мишень до сей поры не срыта?!

— Я трижды докладывал вам о необходимости срыть мишень, но не было учинено, сами же вы приказали ее оставить, — насмешливо посматривая в лицо губернатора, ответил плотный, пучеглазый Валленштерн. — Вы тогда изволили с немалым сарказмом молвить, что злодеи и носу сюда не посмеют сунуть...

— Они не сунул нос, а сунул пушка! Вы будете отвечать, да, да! Вы ворона, вы зевали! Как вы могли подпустить неприятель столь близехонько?!

— Виноват не я, а туман, а также и вы, ваше высокопревосходительство! А я-с, к вашему сведению, не ворона, а генерал-майор. Да-с.

— Шо, шо, шо? Ежели вы не ворона, то кто же... шорт возьми?!

— Ваше высокопревосходительство, вы... — сухо начал Валленштерн. — Вы распорядились обратить в пепел Казачью слободу, а церковь оставили. Военное совещание рекомендовало возвести тут фортецию и поставить батарею, но вы, именно вы-с, отклонили, и вот вместо нас форт соорудил Пугач.

Рейнсдорп перекосил тонкие губы и вполоборота бросил Валленштерну:

— Вы грубиян и к тому же... трус!

Но тут вдруг вблизи раздался потрясающий грохот, губернатор взмахнул руками:

— О, мой бог!.. — и прытко сбежал с откоса вниз. — Шо, бомба?!

— Никак нет, пушку разорвало! — кричали пробегавшие мимо артиллеристы.

— Носилки! Носилки!.. — неслось сверху. — Лекаря сюда!

Губернатор, облизывая пересохшие губы, проворно ощупывал бока, грудь, руки, даже пошевелил ногами — слава богу, все цело! Нервно он выкрикнул:

— Ату, ату! — и, поддерживаемый адъютантом, снова полез на вал.

На батареях и за бастионами шум, крики, бой барабанов, сигнальные свистки, команды. Арестанты в тюремных бушлатах, в ножных кандалах подносят снаряды: кандалы — «звяк-звяк». Клочья порохового дыма через вал к городу.

2

Молебен начинать медлили. Нетерпеливо ожидали, когда наконец стихнет перестрелка, но вот именинница в пышных буклях, в шелках и золоте шепнула мужу: «Ой, перестоятся, перестоятся пироги у нас...»

Купец Кочнев улыбнулся и сказал седовласому священнику:

— Отец протоиерей, пальбу не переждешь. Давайте богомолебствовать.

— Сущая истина, — с готовностью откликнулся батюшка.

Ему, как и прочим гостям, хотелось поскорее перейти к пирогу. Причетник принялся раздувать кадило.

Гости — их человек двадцать — разместились кто где, а купчик Полуехтов, окинув с опаской широкие проемы окон, что выходили на соборную площадь, почел за благо забиться в темный уголок, за изразцовую печку. Сердце его ноет и ноет, а причины зримой как будто и не было, разве только эти глухие раскаты по улице.

Протоиерей облачился в парчовые ризы, наскоро понюхал из порцелинной табакерки носового зелья и, прислушиваясь одним ухом к пушечному эху, обратился к присутствующим:

— Не опасайтесь, чада возлюбленные, приблизьтесь. Господь сему дому защитник суть.

Поздравители, покашливая и шаркая по полу, стали кучкой против чудотворного образа. Только Полуехтов остался за печкой. Не переменял места и сам хозяин, он стоял вблизи иконы, невдалеке от окна, охватив, по давнему своему навыку, правой рукой левую, повыше локтя.

В переднем углу, на покрытом белой скатертью угольнике поблескивала фарфоровая миска, наполненная водой; прилепленные к ее краям, горели три восковых свечи; подле — крест, евангелие и на серебряной тарелке — кропило.

Священник взмахнул кадилом, поднял брови, возгласил:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веко-о-ов...

— А-аминь, — не совсем дружно подхватил хор.

Начался молебен. Глаза всех воззрились на икону с мольбой и упованием, всем было тягостно переживать осаду, почти у каждого какое-либо горе или неприятность: торговля падает, подвозу товаров нет, у многих в Меновом дворе разграблены лавки, у иных близкие родственники живут в крепостях или форпостах по Яику, и бог весть какая судьба ожидает их; среди простонародья ходят предерзостные слухи: чернь в разбойнике Пугачеве готова признать царя, и промеж казачишек всякая неподобная трепотня идет: ежели, не приведи бог, будет измена, пугачевцы все купеческие семьи начисто вырежут. Пресвятая владычица, неужели же не спасешь род человеческий от проклятого самозванца, от пагубной его прелести?!

Богородица, державшая младенца, взирала с иконы на молящихся большими внимательными глазами, и все видели в этих божественных глазах защиту и милость. И в сердце каждого разливалось ласкающей теплотой чувство надежды. Ежели господь похощет, то такое совершит, что ахнут все...

И все действительно ахнули... Все ахнули, а хозяин, Илья Лукьяныч Кочнев, с тяжким стоном свалился на пол. Посыпались стекла, упал еще другой человек, со страху, надо быть. Шестифунтовое ядро, внезапно ворвавшись в горницу, ударило в стену и грохнуло на пол.

Все кинулись к распростертому Кочневу. А купчик Полуехтов, взбросив вверх обе руки и топая, подобно коню, мчался через зал, через столовую, через коридор, вопил:

— Караул! Смертоубийство! — Продолжая кричать, он припустился вдоль улицы, пока его не схватила спешившая домой Золотариха.

— Авдейка! Очумел ты?!

Купчик враз остановился и часто-часто замигал, как бы пробуждаясь от кошмарного сновидения. Затем, выдохнув: «Фу ты, господи, что это со мной», — он приободрился и не спеша повернул обратно.

Хозяин, приподнявшись, громко стонал. Его посадили на диван, обложили подушками. Глаза его были закрыты, подбородок вздрагивал, большая борода, разметавшаяся по груди, шевелилась. Из оторванного на правой руке вместе с обручальным кольцом пальца струилась кровь, левая рука, перебитая выше локтя, висела плетью.

— Рученька, рученька моя, — чрез вздох и сипоту, передергивая густыми бровями, постанывал Кочнев.

Было три часа дня. Ядра по городу били чаще и чаще. Во дворец губернатора ударило второе ядро, в здании казначейства расщепило дверь; еще ядра попали в судейскую камеру, в архив, в купол собора, во двор Рычкова, едва не убив здесь протоколиста. В городе несколько человек было ранено, были и побитые насмерть. На перекрестке, возле казарм, лежал, разметавшись, мертвый бухарец. Те, кто потрусливей, прятались в ямах, в подполье, залезали в русские печи.

3

Пугачевцы метко стреляли от Егорьевской церкви, их батарею никак не удавалось сбить огнем из крепости. Одно орудие они поставили на паперть, а малую пушчонку даже затащили на колокольню, она-то и доставила городу хлопот.

— Глядите, глядите... — загалдели на валу мальчишки.

Из глубокой балки, что за Маячной горой, вырвалось несколько сот пугачевской конницы. В галоп подскакав к Егорьевской церкви, всадники спешились и, не обращая внимания на грохот крепостной артил-

лерии, двинулись пешей толпой по подгорью и вдоль реки Яика. Их намереньем было пробежать сотню сажен лощиною, затем выбраться на высоту и оттуда чрез вал ворваться в город.

— Дету-ушки, не трусь! — громким голосом подбадривал Емельян Иваныч свою толпу. — В городе богатство несметное! Купечество перешерстим, губернатору чалпан долой, казной завладеем! — Он все в том же бедном одеянии бежал в средине наступавших.

Казаки и башкирцы понимали: батюшка нарочно так оделся, чтоб враг не мог узнать его и погубить. Они глаз не спускали со своего царя и, подражая ему в мужестве, прытко передвигались лощиною.

Рядом с Пугачевым бежал, пыхтя, огромный Пустобаев. В его голове крутятся обрывки мыслей. Он вспомнил, как пьяный губернатор целовал его в прихожей, вспомнил капитаншу Крылову с мальчуганом, сержанта Николаева, невесту сержанта — барышню Дарью Кузьминишну. Он косился на бегущего справа от него чернобородого детину и думал: «Оказия, вот те Христос... Ха, царь, голодранец... Эвон бежит как... А ежели не вор, не шатун, то поистине есть он внучек Петра Великого, поистине есть он государь».

— Не отставай, старик, не отставай от государя.

— Стараюсь, твое величество! — раскатистым басом гудел Пустобаев.

— О, да ты мастак! Ты, я вижу, старого леса кочерга, — похвалил его Емельян Иваныч.

Начали быстро подыматься в гору. Тут, по команде Пугачева, враз приостановились и открыли частую ружейную пальбу, а башкирцы, гудя ременными тугими тетивами, принялись пускать стрелы из сайдаков.

С валу, заметив подступавших, стали стрелять залпами из ружей. Вот один пугачевец упал, другой бросил ружье и, схватившись за ногу, похромал прочь, вот кувырнулся третий.

— Ложись! — раздалась команда Пугачева, и все повалились по откосу в снег. — Бей не торопясь. Цель вернее...

Пули защитников летели теперь над головами пугачевцев безвредно: спасал откос горы.

Отряд егерей легкой полевой команды, сбежав с валу, отважился перейти реку Яик по неокрепшему льду, чтобы, выйдя залегшим пугачевцам во фланг, открыть по ним ружейную стрельбу.

Чумаков, расположившись возле Егорьевской церкви, старался повернуть пушки на врага и никак не мог этого сделать быстро, да и ядра у него были на исходе. Только одна маленькая пушчонка, та, что била по городу с колокольни, принялась обстреливать отважных егерей. Падуров, залегший поблизости Пугачева, заметил, как от Маячной горы несется к пугачевцам всадник.

— Ваше величество! — закричал он.— От атамана Овчинникова гонец... Пикой маячит.

— Пускай себе маячит,— равнодушно ответил Пугачев и пустил из ружья меткий жеребий по стрелявшему с колена егерю. Тот перекувырнулся и по мертвому вытянул ноги.

Пробив лед и усевшись в лодки, на помощь егерям уже спешила из крепости новая ватага смельчаков. Теперь выстрелы со стороны егерей стали часты и метки. Среди пугачевцев началось замешательство. Первыми вскочили башкирцы и, крича тонкими голосами, побежали назад к церкви.

Бывшие на валу солдаты, видя это, с криком «ура», «ура», кинулись через ров, через рогатки, чтоб перерезать отступавшим путь. Тут подскакал гонец:

— Батюшка государь, втикайте! — заорал он, приметив Пугачева. — Из Бердских ворот большущий отряд прет.

— На-конь! — вскочив, подал команду Пугачев, и все припустились бежать к оставленным у церкви лошадям.

Башкирцы и татары бегали плохо, они скоро отстали от казаков, их настигли солдаты с подоспевшими егерями. Было тут порублено человек тридцать, часть сробевших бакширцев бросилась спасаться на Яик, но лед проломился, и они все потонули.

Солдаты в пылу битвы не заметили, как на них налетели успевшие сесть на-конь пугачевцы. Со всех сторон они кинулись на солдат, кололи их пиками, рубили. Но с валу загрохотали пушки, а вслед раздались ружейные залпы. Пугачевская конница, осыпаемая картечью, повернула обратно.

4

Бой продолжался.

Батальон пехоты при четырех пушках вывел из крепости сам Валленштерн. Конный отряд яицких и оренбургских казаков вел Мартемьян Бородин.

Был в исходе пятый час, солнце садилось. Губернатор Рейнсдорп — на валу, Пугачев — на Маячной горе, оба, затаив дыхание, наблюдали, как войско той и другой стороны, сближаясь, готовилось к бою.

Пугачев стоял в окружении ближних. Под ним рослый приплясывал конь. Горнист Ермилка, с трубой у бедра, глаз не спускал со строгого лица государя. С боку Ермилкиной лошаденки, такой же губастой, как и ее хозяин, приторочено четыре солдатских ружья со штыками, две пары новых валенок и шесть овчинных шапок. Все это добро Ермилка спроворил подобрать во время сшибки с солдатами. Валеные сапоги с красненьким горошком на задниках он непременно подарит Нениле.

— Эх, чего-то жрать хочется, ну, прямо силы нет...

Он вытащил из-за пазухи крупитчатый пирог с печенкой и уже аппетитно разинул рот, как батюшка не то строго, не то милостиво покосился на него, и оробевшая рука горниста сама собой снова засунула пирог за пазуху. Ермилка только облизнулся. Тьфу ты!

— Полковник, — проговорил зычно Пугачев стоявшему рядом с ним Падурову. — Сигай попрытче в балку, пущай Овчинников шлет по две сотни неприятелю во фланги. Да не шибко чтоб ехали, а самой тихой бежью. Для заману!

Падуров поскакал.

— Ермилка, зажигай вестовой сигнал, — приказал Пугачев.

Ермилка спрыгнул с седла, пошарил взглядом, за что бы привязать лошадку, и, ничего не найдя, протянул повод Пугачеву.

— Подержи-ка маленько, батюшка, ваше величество... Я живчиком!

Пугачев, зорко присматриваясь к наступавшему врагу, взял под присмотр Ермилкину лошаденку. Ермилка уже успел повалить высокий шест с большим пучком просмоленной соломы наверху и добыть огня. Солома запылала. Ермилка стал размахивать огненным шестом и снова воткнул его на место. Он посмотрел в сторону Берды и радостно закричал:

— Запластало, ваше величество.

Пугачев. передав Ермилке повод, обернулся. В версте уже горел второй сигнал, а дальше занимался третий, и так — до самой Бердской слободы вспыхивали условные сигналы. Вот в слободе ударила вестовая пушка. Это означало, что сигнал принят и что скоро Максим Шигаев прибудет со свежею силой на поле битвы.

Артиллеристы под командой Чумакова уже тащили свои пушки на санях и подсанках к кирпичным сараям и втаскивали на Маячную гору. Старик, великан Пустобаев, напрягая мускулы и потряхивая бородою, пер пушку вверх по откосу, как добрый конь.

Стало помаленьку смеркаться. Пугачевская конница приближалась с флангов к колонне Валленштерна. Вернувшемуся Падурову Пугачев приказал взять из балки, что за Сыртом, весь его, падуровский, казачий полк и, выждав время, ударить стремительно по врагу.

— Только одно — пушек остерегайся.

Впереди уже завязалась перестрелка.

— А ну, Чумаков, плюнь-ка во вражью силу. Без промаху да почасту!

— Припасов-то маловато у нас, — ответил с горечью Чумаков и, оглаживая свою бурую и широкую, как лопата, бороду, поскакал к пушкам.

Маячная гора загудела навстречу надвигавшемуся врагу, загудели пугачевские пушки и от кирпичных сараев.

Валленштерн остановился. Его четыре дальнобойных орудия грянули по наседавшей коннице картечью. Мартемьян Бородин кинул своих казаков в атаку. Пугачевская конница, отстреливаясь, рассыпалась по степи. Казакам Бородина, сидящим на заморенных лошаденках, за пугачевцами не угнаться, у тех кони сытые, степные.

И вдруг Бородин, Валленштерн, солдаты и сам стоявший на валу Рейнсдорп заметили, что от Бердской слободы валит народ: на санях, на телегах, бегом... Валит все гуще и гуще... Тысячи! Много тысяч.

А в это время Падуров вырвался из балки со своим полком оренбургских казаков и поскакал на Валленштерна. Солдаты с егерями встретили их ружейными залпами, пушки ударили картечью. Несколько казаков упало, Падуров скомандовал рассыпаться и преследовать бородинцев. Началась по степи скачка, работа пиками. Падуров скакал конь в конь с Фатьмой. Оба хорошо рубили саблями. Настигая врага, Падуров кричал:

— Подчиняйтесь государю! Не противьтесь! В Берду езжайте, в Берду!

Народ на валу смотрел на сражение с дрожью. Мальчишки, чтоб лучше видеть, вскарабкались на деревья. Скакавшие по степи лошади казались им издали собачонками, а сидевшие на них люди — тряпичными куклами, и все сражение — потешной игрой.

— Глянь, глянь, упал!.. Ощо упал! Ощо! Наши это... Ей-ей, наши... У-у-у, глянь, народу-то што, народу-то што валит. Это из Берды, по сигналам, ишь пластают огнем сигналы-то...

Пугачев смотрел на свой подходивший к полю боя народ и хмурил брови. Затем он улыбнулся. Но его улыбка была не из веселых. Народ бежал, скакал, торопился на санях: мужики, татары, башкирцы с ружьями, с кольями, с пиками, с сайдаками. Потря-

сая дубинами, народ воинственно выл. Так воет море в зимний шквал, ревет в бурю непролазный лес.

— Го-го-го-го... Давай-давай-давай!.. — вопила толпа, наплывая на врага лавиною.

К Валленштерну уже неслись гонцы от Рейнсдорпа.

— Отступать! Отступать!

А чтоб поддержать отступающих, из крепости был выслан сильный сикурс из гренадерских и мушкетерских рот при шести орудиях. Валленштерн давал бородинским казакам сигнал за сигналом к отбою и, устрашась многотысячной силы врага, стал спешно строить свой батальон в каре.

Над степью растекалась сутемень. В морозной выси замерцали звезды. Шигаев, доставив народ из Берды, подскакал к Пугачеву:

— Чего прикажешь делать, государь? Силы у нас — во!..

— Не силы, а кулаков да кольев...

Ретивый конь под Пугачевым плясал и всхрапывал. Конь делал «свечу» и косил глазом на необъятные степи, где носятся всадники.

— Яицкие где?

— А эвот-эвот, ваше величество, — показал нагайкой Шигаев.

— Теперь самая пора по крепости вдарить, Рейнсдорп более половины войсков-то в степь выгнал. — Пугачев надвинул на брови шапку, хватил коня в бок подкованными сапогами и, гикнув, помчался в сопровождении Ермилки, Зарубина-Чики и Творогова к отряду яицких казаков.

— За мной, детушки! — поравнявшись с ними, огневым голосом закричал он.

Падуров в пылу перестрелки заметил, как яицкие казаки взяли путь к Егорьевской церкви, а впереди них — Пугачев.

— Ба! Государь! — увидав Пугачева, вне себя заорал Падуров. — Эй, оренбуржцы!.. Собирай наших. Айда за государем! — И он с горстью своих поскакал за отрядом яицких казаков.

Шигаев тем временем ударил со своей толпой на отступавшего в батальонном каре Валленштерна. Его сильный отряд, отстреливаясь из пушек и ружей, подбирая своих раненых, полным ходом спешил к распахнутым крепостным воротам. Пугачевцы сильно теснили его, но вплотную сцепиться все же опасались.

— Наддай, наддай, детушки! — поощрял Пугачев скачущих за ним и впереди него казаков. — Рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем!

— Ура, ура! — голосисто гремели казаки, взяв наперевес пики и поспешая за государем. В их сердце отвага, огонь, в широко открытых глазах нет и тени страха.

А вот и Егорьевская церковь, вот он — ров, вот — вал, а за валом в таинственном сумраке возбужденный город.

Пугачев выхватил саблю.

— На штурм! На слом! — и с горячностью повел казаков в конном строю чрез глубокий ров к валу.

— Ги-ги-ии! — пронзительно орали скакавшие молодцы, держа свои пики на взлете.

И вдруг притаившийся враг полохнул на валу и на ближних батареях огнем пушек, ружей, мушкетов. Если б не спустившийся сумрак, смельчакам пугачевцам досталось бы на орехи! Все-таки отпор был столь силен, гул многочисленных орудий и бой барабанов столь устрашителен, что казаки смешались, подстреленные их лошади взвивались свечой и падали, валились наземь раненые, убитые люди.

А на валу уже прогремела команда:

— В штыки!

Вновь набежавшие из резервов солдаты, хватив по стакану водки, с хриплым ревом «ура» ринулись в гущу конников.

Пугачев, Падуров, Фатьма, Зарубин-Чика, Пустобаев и многие другие рубились, как богатыри. Ермилка остервенело орудовал пикой.

Пугачев во весь голос кричал солдатне:

— Изменники! Согрубители! Так-то вы встречаете государя? Ну, я ж припомню вам окаянство ваше!..

— Сам!.. Сам!.. Емелька это!.. Имай, хватай! — орали солдаты и без голов, без рук, рассеченные от плеча до бедра, хлопались о землю замертво.

Вот стегнула крепостная картечь в гущу схватки — в своих и чужих, а солдат из-за вала набегает все больше и больше. Вот защитники крепости выволокли на лафетах две пушки, забили картечью...

— Назад!.. — громогласно скомандовал Пугачев. Ермилка резко затрубил отбой. Казаки отхлынули прочь и мигом рассыпались по степи, по сыртам. Защитники стали подбирать во рву убитых и раненых.

5

Крепость еще долго гудела от пушечных выстрелов. На башне отбили семь часов вечера. В Егорьевской церкви показался огонь. Там пугачевцы разложили большие костры. Возле костров неумелые дрожащие руки перевязывали раненых. Чугунные плиты церковного пола оросились кровью. Протяжные стоны, крики и тут же ядреные шутки с перцем крепких словечек.

В полночь обер-комендант Валленштерн и начальник полиции Лихачев чинили доклады Рейнсдорпу. Комендант сетовал на большой расход ядер и пороху. По подсчету было с крепости выпалено 1643 ядра, 71 заряд картечью, бомб брошено пудовых — 40, тридцатифунтовых — 34; одну пушку разорвало, у другой вырвало запал. Убитых семнадцать, раненых семьдесят человек.

Начальник полиции доложил, что убито по городу восемь мирян, в их числе именитый купец Кочнев.

— Как, Кочнев умираль? — удивился губернатор.

— Ему перешибло руку, ваше высокопревосходительство, сильно раздробило кость. Сначала костоправ пользовал его, потом доктор. Доктор руку отнял по самое плечо, через что оный купец час тому назад помре.

— Ах, какой несчасть, какой несчасть, — скорбно качал головой губернатор. Он Кочнева уважал за его

огромное состояние, нажитое... о нет! совсем не мошенничеством, совсем не хапужничеством какимнибудь. — Жаль, жаль, — бормотал губернатор. И, обратясь к Валленштерну: — Да, ваше превосходительство, господин обер-комендант... Силы неприятеля велики, силы ошень грома-а-дны... И без скорая помощь извне нам несдобровать.

— Не так страшен черт, ваше высокопревосходительство, — ответил пучеглазый Валленштерн, губы его насмешливо дернулись. — Людства у него хоть отбавляй, а регулярной силы весьма мало. Хотя, по правде-то молвить, в тактике этот Пугач кой-что смыслит. Я чаю, сей вор в военном искусстве не хуже иных наших... полководцев.

Губернатор поморщился, приняв очередную обиду коменданта на свой счет, рыжие букли на его выпуклом лбу задрожали. Плотный грубоватый Валленштерн, прогремев шпорами вперед и назад, сказал как бы мельком:

— Между прочим, мне было доложено, якобы на приступе против Егорьевской церкви вел казаков сам Пугачев.

— Шо? Сам Пугашов?.. Очшень хорошо, чтоб не сказать более... Пффе... — И, в пику обидчику, делая руками хватательные жесты, он бросил: — Так что ж вы его ату-ату? Опять вы прозеваль, пров420рониль! И говорите о сем спокойно...

— Я в этот момент, как вам известно, был вне крепости, а против Пугачева на валу стояли вы, генерал... Почему же не изволили учинить это самое ату-ату? — И Валленштерн, глядя в упор на побледневшего губернатора, точно так же сделал руками хватательный жест.

Губернатор заерзал в кресле, а припудренное, в желтых веснушках, лицо его вспыхнуло и перекосилось.

— Вот вы всегда... всегда вы, господин обер-комендант, этак. Ваш тон, ваш тон... — мямлил губернатор, подыскивая наиболее сильное, но в пределах светских приличий, оскорбление.

Начальник полиции полковник Лихачев счел нужным как-либо пригасить начинавшуюся генеральскую перебранку. Он решился прервать губернатора.

— Простите великодушно, ваше высокопревосходительство, — щелкнул он шпорами и вкратце, но довольно ярким языком, рассказал, как недавний герой, купчик Полуехтов, проявил при несчастном случае с Кочневым непонятную трусость. — Он испугался гораздо больше, чем престарелый отец протопоп. Когда все, даже слабые дамы, бросились к пострадавшему Кочневу, купчик бежал по улице и таким благим матом вопил «караул», что от него шарахались верблюды...

Губернатор, слушая, округлил глаза, округлил рот, ударил себя по бокам и сипло захохотал:

— О! О! Вот вам рюсска герой...

В лагере Пугачева тоже шли разговоры:

— Сказывают, в ума исступление пришел ты, батюшка, — пеняли Емельяну Иванычу его атаманы. — Так-то негоже. Поберегать себя надо, Петр Федорыч, ваше царское величество.

— Страшно дело до началу, — отшучивался Пугачев, чокаясь с атаманами. — А ну, други, промочим трохи-трохи горло с немалого устаточку.

Ужин Ненила приготовила добрый, поедали его с волчьим аппетитом.

— Так-то оно так, — пошевеливая бородами, говорили атаманы. — Храбрости в тебе не занимать стать, знаем, а все ж таки... Ежели тебя, ваше величество, порешат, с кем мы тогды останемся?

— Я завороженный, — подмигнул атаманам Пугачев. — Меня ни штык, ни пуля не возьмет. Мой дедушка, Петр Алексеич, превечный покой его головушке, не в таких еще баталиях бился, а здрав бывал... — Пугачев перекрестился и, вздохнув, выпил вторую чару. — Ежели я, детушки, на рыск пошел, так зато теперь ведаю — мои казаки храбрости отменной. Прямо — урванцы!

— А все ж таки, ваше величество, завороженный ли ты, нет ли, а так делать не моги, чтоб лоб под пули подставлять, — не унимаясь, поднял свой голос Овчинников и так взглянул на Пугачева, что тот стемнел в лице, нахмурился.

— Вот что, атаман, — медленно проговорил он, не глядя на Овчинникова. — Ты дядьку-то из себя не корчи. Ишь аншеф какой выискался...

— Да что ты, ваше величество, вспрял-то на меня? — смешавшись, откликнулся Овчинников. — Я ведь тебя же оберегаючи слово молвил.

— Знаю, знаю. Ты за собой позорче доглядывай, а уж я о себе как-никак сам...

— Сам-то сам, батюшка, а без советчиков кабудь и тебе негоже. Уж ты шибко-то не чипурись, — ввязался в перепалку Чумаков и раскашлялся то ли от внезапного волнения, то ли от проглоченной чарки вина.

— Да ты спьяну али вздурясь, этакие продерзости мне?! — сверкнул глазами в его сторону Емельян Иваныч. — Много вас, советчиков!..

— А что ж, нешто плохи советчики? — задирчиво перебил его Творогов и вдруг, взглянув в лицо Пугачева, как бы подавился словом: в глазах царя — ни росинки хмеля, а по челу — крутая рябь морщин, будто в непогодь на Яике.

Все затаились, посматривая на «батюшку» с опасением. Однако Пугачев, поборов себя, спокойно и раздельно молвил:

— Лучше давайте-ка, атаманы, в добре жить, обиды друг на друга памятовать не станем. Вот и распрекрасно будет.

— А народной силы, ваше величество, у нас сколь душе угодно! Все дело обернется — не надо лучше, — примиряюще проговорил Падуров.

— Силы да крови в жилах у нас хошь отбавляй, — сказал Пугачев, — а вот сабель вострых да пороху с пушками маловато... Ой, маловато, атаманы!

— Да ведь не все вдруг, батюшка Петр Федорыч, — дружелюбно заговорил Шигаев. — Ведь и

Москва не сразу строилась... Пушки с порохом и всякое оруженье наживем.

— На Воскресенском заводе приказчик Беспалов пушки да мортиры нам сготовляет и бомбы с ядрами такожде, — вставил свое слово Падуров, покручивая темный ус.

— Надо, чтобы скоропалитно, а мы мешкаем, — сказал Пугачев. Помолчав, он лукаво прищурил глаз и ухмыльнулся: — Одно есть упование наше: хошь мало у нас пороху, а поди больше, чем разуменья у Катькиных губернаторов. Видали, атаманы, как он, Рейнсдорпишка-т, туды-сюды с войском своим заметался, коль скоро мы в бока да в зад ему саданули. Ох, дать бы мне в руки регулярство его, я б такой шох-ворох поднял, что... не токмо Оренбург, а и столицу пресветлую деда моего встряхнул бы! Верно ли, орлы мои, детушки?..

— Да уж чего там! Доразу встряхнули бы...

— А ну, коли так, трохи-трохи по последней, да и спать... — Емельян Иваныч чокнулся со всеми, перекрестился, выпил и, прощаясь с атаманами, проговорил: — Только упреждаю: дело наше боевое, чтоб у меня чутко спать, на локотке!

ГЛАВА V

Чудо-юдо. Кар ловит Пугачева, граф Чернышев ловит Кара. «К умному разбойничку». Маячная гора

1

Иван Сидорыч Барышников, как только приобрел себе имение и вернулся в столицу, возжелал устроить пир, да не какой-либо кучке знакомцев, а всему работящему Петербургу.

Предвидя разлуку с обогатившей его столицей, Иван Сидорыч питал чувство некоей благодарности ко всему простому люду, который своими грошами,

потом и кровью помог ему стать независимым и знатным. Завсегдатаи его трактиров и торговых лавок, строительные рабочие из приезжих крестьян и местных жителей, наконец многие тысячи любителей выпить, — когда-то он держал на откупе кабаки Петербурга и губернии, — весь этот народ долженствовал быть участником сказочного пиршества.

Недолюбливая столбовое дворянство, считая знатных помещиков либо дармоедами, либо прямыми врагами всего промышленного сословия, Иван Сидорыч нарочно не пригласил на пиршество кого-либо из заносчивых господ.

С разрешения генерал-полицмейстера Д. В. Волкова (бывшего тайного секретаря Петра III) Барышников облюбовал для своего всенародного пира Летний сад. Торжество назначено было на 24 ноября, день тезоименитства Екатерины.

Засыпанный снегом сад был расчищен от сугробов. Отпечатанные в академической типографии пригласительные объявления запестрели по всему городу. Начало пиршества назначалось на 2 часа дня. Народ спозаранок повалил толпами к Летнему саду. Сбежавшиеся люди приникли к железной решетке и с жадностью глазели — каковы заготовлены в саду припасы. В полдень с верхов Петропавловской крепости загрохотал по случаю царского дня салют в сто один выстрел.

— Мишка, Мишка, глянь: что это за диво такое? — указал рукой в середку сада седобородый, в лаптях, крестьянин.

— А пес его ведает... Вот ворвемся, так все высмотрим, — ответил курносый кудряш с широкими ноздрями.

— Эх, деревня! — ввязался в разговор пожилой дворовый в потертой ливрее с позументами и в заячьей шапке. — Это зовется кит — в объявлении сказано о нем.

— О-о-о, — изумился кудрявый и потянул воздух широкими ноздрями. — Чудо-юдо, рыба-кит... Ох ты, мать распречестная... Вот это ки-и-ит!..

Действительно, среди просторной полянки на невысоком помосте разлегся искусно смастеренный

огромный кит с загнутым хвостом и раскрытой пастью. Он внутри набит вяленой рыбой, колбасами, булками, кусками ветчины, а сверху покрыт цветными скатертями и задрапирован серебряной парчой. Справа от кита — овальный стол окружностью в двести пятьдесят аршин. Он завален всякими яствами, сложенными в виде пирамид: ломти хлеба с икрой, осетриной, вялеными карпами. Большие блюда с рыбой украшены раками, луковицами, пикулями. На других полянках такие же, непомерной величины, столы с мясной снедью — говядиной, бараниной, телятиной.

Во многих местах сада бочки с водкой, пивом, квасом. Виночерпии, все как на подбор рослые бородатые красавцы в полушубках, высоких боярских шапках и белых фартуках, оглаживали бороды, перебрасывались шутками, ожидая возле бочек дорогих гостей. Были устроены качели, ледяные горы, карусели.

К часу дня на тройке вороных, с бубенцами, прибыл сам Иван Сидорыч Барышников в пышной, с бобровым воротником, шубе. Рядом с ним в санях — его сын Иван, будущий офицер, в форме кадетского шляхетского корпуса. Он высок, курнос, глаза с прищуром. На облучке, рядом с кучером, в медвежьей шубе, Митрич, бородища во всю грудь.

Народ заорал: «Ура, ура!» Хор трубачей мушкетерского полка заиграл «встречу». Иван Сидорыч, привстав в санях, низко кланялся народу. Полетели вверх шапки, вся площадь дрожала от рева толпы. Иван Сидорыч принимал восторги людей как должное, полагая в душе, что народная масса чтит в его лице великого удачника, поднявшегося из низов на вершину жизни. Иван Сидорыч и не подозревал, что орал народ потому лишь, что сильно притомился ожиданием, изрядно проголодался и промерз, а в подкатившей тройке с бубенцами он угадывал сигнал к началу пиршества.

Растроганный приемом, Барышников прослезился даже. Он, кряхтя, вылез вместе с сыном из саней, наряд полицейских, в полсотни человек, отдал ему

честь, помощник пристава крепко жал богачу руку и, заискивающе заглядывая ему в глаза, поздравлял с праздничком.

В народе зашумели.

— Кто такое? Эй, кто там приехал-то?

— А домовой его ведает, какой-то главный!

Народ рьяно стал нажимать к центральным воротам, нетерпеливо ждал впуска в сад. На решетку по ту и другую сторону ворот вскочили двое, одетые в красные жупаны, затрубили в медные трубы и, отчеканивая слова, зычно закричали:

— Миряне! Знатнейший купец, его степенство Иван Сидорыч Барышников, хозяин торжества, приказать изволил: по первой пущенной ракете все гости, не толпясь, чинно входят чрез главные ворота в сад, идут к виночерпиям, выпивают по стакашку водки, либо пива, либо квасу...

— Ма-а-ло! Водки-то по два либо по три стакашка надобно... — по-озорному отзывались из толпы.

— Выпив, гости ожидают второй ракеты, — продолжали выкрикивать красные жупаны,—после коей гости идут к «чуду-юду — рыбе-кит», где и принимаются за яства!

И вот над Летним садом, грохнув, взлетела ракета. Распахнулись главные ворота. Народ совсем не чинно, как было предуказано, а с дикими воплями хлынул в пролет, как бурный поток в прорву. Полиция и распорядители с белыми повязками мигом были опрокинуты. Любители выпить мчались, как степные кони, к бочкам с пойлом — кто по расчищенным дорожкам, а кто целиною, сугробами. Виночерпии принялись за дело. У ворот, забитых прущим народом, и вдоль всей длинной ограды — дикая костомятка. Люди, мешая один другому, стаскивали друг друга за бороды, за ноги, вмах перелезали чрез ограду. Необычайный гам, визг, крик: «Караул, задавили!» — сотрясали воздух.

Виночерпии до хрипоты орали получившим свою порцию:

— Отходи! Жди второй ракеты.

Но нетерпеливые уже мчались к сытным столам с закуской. А глядя на них, не дожидаясь второй ракеты, хлынула и вся толпища.

Возле кита тотчас началась невообразимая свалка. Чудо-юдо — рыба-кит был мгновенно растерзан в клочья. Люди принялись чавкать, давиться вкусными кусками, рассовывать пищу по карманам.

Оба Барышникова, вместе с Митричем, стояли в разукрашенной флагами и хвоей беседке, среди сада. Иван Сидорыч ждал от толпы поклонения и скорой благодарности. Но, увидав вместо порядка и благочиния одно лишь буйство, он померк, потемнел, обидчиво закусил губы. Он уже готов был помчаться к генерал-полицмейстеру за усмирительным отрядом, чтобы штыками и нагайками привести в порядок неблагодарный люд. По выражению глаз своего папаши сын сразу понял его мысли и негромко сказал:

— Охота тебе была подобную глупость затевать. И убыточно и гадко.

И не успел он докончить, как к беседке начала подваливать пьяная толпа. Впереди шагал землекоп из артели Лукина, рыжебородый Митька. Он недавно кончил тюремную высидку за «своевольщину» в Царском Селе; на нем, невзирая на крепкий мороз, поверх рубахи — лишь рваная бабья кацавейка, голова простоволосая. Засучив рукава и потрясая кулаками, он хрипло орал:

— Бей всех подрядчиков! Дави богачей! Из-за них, гадов, я тверезый зарок нарушил, в острог попал.

— Царь-то батюшка, слышно, по Яику гуляет с воинством своим... Могила богачам! — подхватили другие.

— И поделом! Богачи жилы из нас тянут, а тут, ишь ты, винишком улещают, рыбу-кит выставили...

— Бей не робей скрозь, кто попадется!

— Круши рыбу-кит! Имай ее за зебры!—И толпа нахрописто полезла по ступенькам. Барышниковы заскочили внутрь беседки, захлопнули за собою дверь. А верзила Митрич, распахнув медвежью шубу

и отведя в сторону свою бородищу, чтоб видны были на груди кресты и медали, завопил:

— Стой, оглашенные! Что вы...

Кто-то в толпе выкрикнул:

— Робяты! Это главный енарал...

— Бей генералов! — взголосил рыжебородый Митька. Он прыгнул к Митричу и схватил его за бороду. Но широкоплечий Митрич, по-медвежьи рявкнул, сгреб Митьку за портки и кацавейку и швырнул в толпу. Толпа попятилась, зло захохотала.

Пересвистываясь, бежали к беседке полицейские и служащие Барышникова. Первым поймали Митьку.

— Лошадей! К черту праздник! — вращая осовелыми глазами, кричал Барышников. — Выпустить вино из бочек... В снег, в снег!

— Не можно, Иван Сидорыч, — задышливо ответил упарившийся от бега управляющий.—Чернь всем вином завладела.

Озлобленные отец и сын, в сопровождении служащих и Митрича, быстро шли к выходу. Ну и распустила ж матушка царица столичный народишко! Они не замечали ни крутящихся каруселей, окруженных ротозеями, ни ледяных гор с катающимися в долбленых челноках, ни веселых качелей. Звуки гармошек, балалаек и военного оркестра, нескладная запьянцовская песня, отчаянные вопли пришедших в буйство запивох не касались сознания Барышниковых. Они лишь видели шагавших справа и слева от себя возбужденных, ненавидящих их людей. Барышниковы косились на них со страхом, отвращением и злобой.

Привлеченные криками, сбегались со всего сада пьяные и трезвые. Иные из толпы знавали Ивана Сидорыча лично. Видя пред собою богача хозяина, они считали нужным, хоть в пьяном положении, хоть раз в жизни, выместить на нем давно накопившуюся злобу.

— И не стыдно вам, рожам-то вашим, — отругивался Митрич, с опаской косясь на пьяниц. — Эх вы, народы... Благодарить должны!

— Благодарим, благодарим, — отвечали трезвые. — Спасибо за угощеньице, Иван Сидорыч.

— О-о-о, да это эвон кто... Ванька Барышников, трактирщик! — выкрикнул подбежавший большеусый кузнец с бельмом.

— Ха-ха! Хватил нищего по затылку, — с ядовитым хохотом отвечали из толпы. — Он давно трактиры-то бросил, он на винных откупах разжился да на подрядах.

— Он, холера, пять бочонков апраксинского золота украл на войне! — подхватил кузнец. — Он вор казенный, вот он кто. Дай ему по шее!

— Врешь, мазурик! — дико захрипел на ходу Барышников и приостановился, грозя кузнецу вскинутым пальцем. — Быть тебе на каторге!

— Ха-ха! Бей его! — крикнул кузнец, с ловкостью скакнул к трясущемуся от ярости Барышникову и крепко ударил его в ухо. Бобровая шапка покатилась в снег, а сам Барышников, покачнувшись, упал на руки Митрича.

Кузнеца схватили, но он вырвался, приказчики вступили в бой с гуляками, а Барышниковы, под свист и улюлюканье толпы, ходко побежали к тройке. Митрич вскарабкался на облучок, Барышниковы пали в сани. И только лишь кучер расправил вожжи, как бельмастый буян кузнец кинулся к саням и сгреб богатого откупщика за шиворот. Но тройка рванула, и кузнец, цепко схваченный за руки Барышниковым-сыном, очутился на дне саней.

— Погоняй!

Валил хлопьями снег, с Невы порывами набегал ветер, кругом было мутно, сумрачно. Залились бубенцы, тройка бежала резво, кучер пронзительно кричал фальцетом:

— Па-а-а-ди! Па-а-ди-и!

Барышниковы, подмяв под себя кузнеца, сидели на нем в просторных санях и с яростью били его в лицо, в голову кулаками и ногами. Затем окровавленного, потерявшего сознание, выбросили его из саней. Тройка ходом укатила дальше.

Было четыре часа. Спускались сумерки. Публика из Летнего сада стала разбредаться, уводя под руки покалеченных и пьяных. Однако веселье было там

еще в полном разгаре. Играли три окрестра, на расчищенных полянках шел веселый пляс, пьяные, обнявшись, шатались взад-вперед, горланили песни.

С моря налетал на столицу резкий, шквалистый ветер. Вода в Неве, вздымаясь седыми гребнями, стала прибывать. Ветер знобил прохожих, валил с ног пьяных, взвихривал буруны снега, раскачивал оголенные деревья, сердито трепал огромные полотнища трехцветных флагов, вывешенных по всему городу по случаю тезоименитства императрицы. Дворники и будочники никак не могли зажечь расставленные вдоль домов плошки с салом, только вдоль линии дворцов на Неве ярко пылали, раздуваемые ветром, смоляные бочки. В полночь ветер стих, ему на смену крепкий пал мороз.

Летний сад наконец опустел. Но по всему его простору, на аллеях и умятых сугробах, валялись тела упившихся, уснувших или покалеченных в драке. Подбирать их было некому: перепившиеся полицейские либо разбрелись по квартирам, либо валялись тут же на снегу.

Наутро было обнаружено в Летнем саду множество окоченелых трупов. Замерз и рыжебородый землекоп Митька. А избитый до полусмерти кузнец был на дороге раздавлен проезжавшим в темноте пожарным обозом. Так знатный купец Барышников, при попустительстве столичного начальства, отпотчевал работящий народ.

Екатерина, проведав о всем этом, возмутилась. 27 ноября она писала генерал-полицмейстеру:

«Дмитрий Васильич! Мне сказывают, что, по случаю третьеводнишнего празднования, у некоего подрядчика считается померших от пьянства до трехсот семидесяти человек. И хотя я думаю, что число сие увеличено, желаю, однако ж, чтобы вы наиточнейшим образом о том изведали и мне, в самой подлинности, донести не умедлили».

Барышникову грозила неприятность. Он сильно перетрусил. Но все обошлось благополучно. Он где надо смазал, генерал-полицмейстеру Волкову подарил великолепные выездные сани с волчьей полстью,

поклонился графу Алексею Орлову и вельможному И. П. Благину, прося у них совета и заступления.

— Пожертвуй несколько тысчонок в пользу Московского сировоспитательного дома, — сказал ему Орлов. — Матушка это любит.

Барышников пожертвовал десять тысяч. И не успели у него зажить разбитые о голову кузнеца маклашки пальцев, как он получил медаль и высочайшую благодарность за щедрый дар.

Барышников ликовал, по крайней мере — на людях, а вот Митрич после безумного народного пиршества восскорбел душою. Митрич, или — полностью — Прохор Дмитриевич Шеремин, был когда-то крепостным графа Шереметева. При императрице Елизавете он состоял нижним чином в гвардии. На одной из царских охот, где он был вместе с другими солдатами в качестве егеря, он своим ростом, бравой выправкой и могучим голосом обратил на себя внимание фаворита императрицы, графа Алексея Разумовского, по ходатайству которого был зачислен в штат придворных егерей, затем приставлен дядькой к явившемуся из Голштинии мальчику — великому князю Петру Федоровичу, а по воцарении великого князя произведен в его лакеи.

В молодые и зрелые годы жизнь Митрича шла как по маслу: беспечное, сытое прозябанье при дворе. Время крутилось веселым колесом, и некогда было раздумываться, вникнуть в смысл мимотекущей жизни. Но когда приспела старость, когда с унизительным позором был он изгнан из дворца якобы за пьянство и поселился в маленьком домишке на Васильевском острове, а затем, овдовев, перешел в услужение Барышникову, он начал относиться к жизни по-серьезному, стал вглядываться в человеческие судьбы, стал вдумчиво проверять свой житейский путь.

Его многолетнее существование при дворе, в то время казавшееся ему столь высоким и блистательным, теперь представилось старому Митричу унизительным. Он был при дворе вещью, евнухом, бессловесным существом. Правда, от государя с государыней он видел «одно хорошее», зато всякая шушера

придворная частенько кормила его то оскорбительным словом, то высидкой, то штрафом. А за что? Шибко винцом зашибать он стал... Да как и не зашибать, когда сам государь, царство ему небесное, почитай, всякий день пьяненький был.

Неприступная для простого человека твердыня дворца представлялась ему храмом божиим, где почиет истинная благодать и святость. Когда же он попал туда да присмотрелся — дворец оказался не храмом, а без малого веселым домом с гулящими «мамзельками».

Да, да... В прошлой своей жизни он ничего не мог припомнить хорошего, ничего полезного для души и для людей, такого, что хотелось бы воскресить в памяти с внутренним удовлетворением. Ну, а в настоящем? Теперь Митричу тихо и сладко.

— Состарился я... Старуха умерла. Один... Жалко мне всех, и себя и людей жалко, — бормочет он сам с собой бессонной ночью в своей каморке у Барышникова, и большая крепкая рука его тянется к графину с водкой. — Деньги у него шалые, у хозяина-то! Что хочет, то и делает. Эвот сколько людей опоил, проклятый, сколько семей осиротинил... А ему и горя мало!

Как-то, выпивши, он сказал Барышникову:

— Вот ты, Иван Сидорыч, награду получил, медаль. А подумал ли о людях, кои по твоей милости в Летнем саду окочурились, помог ли ты родственникам их, пожалел ли?

— Всех жалеть, старик, жалелки не хватит. Эти обожрались от своей дурости, и пес с ними — новые родятся.

— Твердокаменный ты человек, Иван Сидорыч. Жалости в тебе нет к простому люду. А ведь ты и сам из простонародья. Хоть и миллионщик, а все ж таки человек роду простецкого...

— Молчи! Проспись поди...

— Ладно. Ежели совесть в тебе молчит, ну-к и я помалкивать буду. Ладно. Только, мотри, гроза-то идет, гроза-то в вашего брата-богача стрелы мечет. Чернь-то ждет не дождется своего часа... Вот ты,

Иван Сидорыч, помещик ныне стал. Мотри, Пугач-то и до тебя доберется и к тебе в Смоленскую-то придет... Качаться тебе на березе...

— Тьфу тебе, тьфу, дурной!

— А ты не плюй, — подымал голос Митрич. — Плюнешь встречь ветру, плевок-то обратно в рыло прилетит.

— Пошел вон, пьяный мерин!

2

Утро в Петербурге было тусклое, туманное. По широким площадям, по прямым проспектам и улицам полз белый поземок. Седыми вьюнками он облизывал ноги прохожих, фонтаном взмывал возле фонарных столбов. Вдоль Невской набережной высились стройные громады Зимнего и Мраморного дворцов. За Невой серым призраком маячила крепость. Туман то сгущался — и тогда все тонуло в его мутной пелене, то, под взмахами северного ветра, редел, открывая оживленную перспективу улиц, заречные дали.

Всюду сновал деловой народ, проносились сани с седоками, плелись хмурые водовозные клячи — на дровнях стояли прикрытые дерюгой обледенелые ушаты с невской водой. Благородная собачонка в теплой кофточке играла с белым поземком: лаяла, прыгала, хватала ртом оживший снег.

— Кадо, Кадо! — кричал бравый лакей с бакенбардами и вскидывал послушного песика на руки.

Четыре казака в опрятных темно-синих чекменях с голубыми отворотами, в сдвинутых на ухо трухменках, поскрипывая начищенными до блеска сапогами, правились к дому графа Алексея Орлова. Казаки жили в Петербурге больше месяца. Опасаясь, что за ними следят, они принуждены были вести жизнь замкнутую, по людным местам не шлялись. Поэтому не знали и не могли знать они о том, что творится на их родном Яике. Один из казаков — уже известный нам — есаул Афанасий Перфильев. После убийства генерала Траубенберга и занятия Яицкого го-

родка генерал-майором Фрейманом есаул со многими замешанными в бунте казаками бежал, некоторое время скрывался, а затем во главе делегации был послан опальным казачеством в Петербург ходатайствовать перед императрицей о смягчении приговора осужденным.

Заготовленное на имя императрицы прошение делегаты передали Алексею Орлову, на покровительство которого полагались. Орлов сказал им:

— Ждите резолюции. Просьбу вашу не замедлю вручить государыне.

Через две недели они были призваны к графу. И вот, прошагав по туманным площадям и проспектам столицы, они входили в графский дом.

— Слушайте, друзья мои, — ласково встретив их, начал граф. — Только имейте в виду — вверяю вам государственную тайну. За разглашение будете схвачены и на веки вечные посажены в Петропавловскую крепость. Поняли? С тебя, есаул Перфильев, первый взыск. Ну так вот. Правительству стало ведомо, что на Яике несчастье учинилось: некий вор и мошенник, беглый донской казак Пугачев, присвоил себе имя покойного императора Петра Третьего, собрал себе шайку из ваших же яицких ухорезов, укрывающихся от кары за убийство Траубенберга, и вот оный разбойник пошел гулять по Яику и даже подступил, говорят, под Оренбург. Поняли, ребята?

— Поняли, ваше сиятельство! — Перфильев стиснул зубы и, в приливе искреннего возмущения, схватился за саблю. — Ах он, подлец!

— Ну вот, — с удовлетворением проговорил Орлов. Ему понравился искренний порыв есаула. — Так съездите-ка вы, молодцы, к себе на родину да постарайтесь обманутых казаков уговорить, пускай-ка они от этого ложного царя отстанут да схватят его. Вот, постарайтесь-ка! Тогда по возвращении вашем в Петербург войсковое дело немедля будет решено в вашу пользу. А ты, Перфильев, сразу чин майора получишь.

— Рады постараться и послужить всемилостивой монархине! — вновь воскликнул Перфильев, и шад-

ривое, в крупных оспинах, лицо его выразило полную преданность правительству. — Только предоставьте нам, ваше сиятельство, к вершению оного великого дела подходящие способы. А уж мы...

— Вы, молодцы, у графа Чернышева были? Ах, нет? Ну и само хорошо, отлично! И не заходите, не заходите к нему. Он вам все время кашу портит. Кабы не он да не Мартемьян Бородин ваш, не быть бы и заварухе в Яицком войске, не гулять бы и Пугачеву там...

В конце ноября Перфильев и Герасимов, снабженные от Тайной канцелярии документами и прогонными деньгами, выехали через Москву в Казань под видом «черкесов», — так значилось в их паспортах за подписью князя Вяземского. А два других казака были оставлены в Петербурге в качестве заложников. Всем этим ведала Тайная канцелярия, Военная же коллегия вместе с графом Чернышевым была от этой затеи устранена.

Таким образом, в сиятельную голову Алексея Орлова влетела та же мысль, что и губернатору Рейнсдорпу: один послал ловить Пугачева каторжника Хлопушу, другой — есаула Перфильева.

И не успел еще Перфильев доехать до Казани, как в Военную коллегию пришли реляции и письма Кара, повергшие графа Чернышева в злобную растерянность, а императрицу — в гнев.

Однако видавший виды полководец Чернышев не решился обвинять Кара в военных неудачах; его взорвало отсутствие у того должной дисциплины и, главное, полного сознания ответственности пред правительством. И вот, после доклада Екатерине, Чернышев тотчас написал Кару ответ:

«Государь мой Василий Алексеевич!

...изъявленное в постскрипте помянутого письма намерение ваше, чтоб, оставя порученную вам команду, ехать сюда, учинили вы неосмотрительно, и буде оное исполните, то поступите точно противу

военных регул. Рекомендую вам отнюдь команды своей не оставлять и сюда не отлучаться. А буде уже в пути сюда находитесь, то где б вы сие письмо ни получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Копия этого письма была направлена и главнокомандующему в Москве, князю Волконскому. «На случай же, — писал Чернышев князю, — если курьер как-нибудь с Каром разъехался, прилагаю при сем с оного моего письма дубликат и покорнейше ваше сиятельство прошу, как скоро Кар в Москву приедет, оное ему вручить, приказав наблюсти на почтовом дворе и где следует, чтоб Кар, не бывши у вашего сиятельства, Москвы проехать не мог».

Такого же смысла бумага была отослана и казанскому губернатору. Курьерам офицерского чина была дана особая инструкция.

Итак, шла ловля не только злодея Емельки Пугачева, но и генерала, против него сражавшегося и надумавшего бежать с поля военных действий. А что Кар действительно бежал, в этом не было ни малейшего сомнения. Он самочинно передал командование отрядом генерал-майору Фрейману, сел в уютный возок и двинулся в Казань.

Среди солдат возникли по сему поводу толки:

— Ага, барабаны-палки. Учухали, братцы, пошто генерал-то удрал?

— Неужто нет!.. Он больше и глаз сюды не покажет.

— Знать, братцы, уверовал он... в царя-то. Барабаны-палки...

— Вестимо, уверовал... Не хочет супротив взаправдашного-то самодержца воевать... Пущай, мол, солдатня отдувается, с солдатни и спрос таковский.

— Во, во! Да и нам, ребятушки, это дело обмозговать надобно... Чать, не бараны!

Перфильев с Герасимовым тоже правились в Казань, к губернатору Брандту: деньжат у них было довольно, в пути питались они хорошо и выпивали

почасту. Зимняя дорога наезжена, обставлена верстовыми полосатыми столбами, а на взлобках, где гуляют ветродуи, утыкана частыми вешками. Темные, неуютные зимою деревеньки с покривившимися, крытыми соломой избами, села с деревянными храмами, помещичьи усадьбы в садах да в рощах. Встречались порою и зажиточные, хорошо обстроенные села; церковь, два кабака, базар с торговыми балаганами, крепкие хозяйственные избы, даже церковная школа для ребят.

По большой торговой дороге двигались взад-вперед скрипучие обозы с замороженной рыбой, мясом, свининой и птицей, с мешками муки, с возами сена. Или встречался собственный обоз какого-нибудь богатого купца-волжанина на пятидесяти сытых и рослых конях в доброй кожаной, с медными бляхами сбруе. Под расписной дугой у каждого купеческого коня валдайский колокольчик, на шее шаркунцы с бубенцами, грива расчесана, хвосты подкручены. На объемистых возах, набитых в Москве красным товаром да сукном, укрытых от метелей кожами, перевитых пеньковыми веревками, сидят краснощекие, одетые в теплые тулупы купеческие извозчики; у каждого в ногах по самопалу, топору да по железному кистеню; в пути всяко случается, можно угодить и на разбойничков.

— Чей обоз-то? — перегоняя вереницу подвод, кричит со своих санок Перфильев.

— Кобелевых, именитых казанских купцов, Афанасья да Ивана, братья они.

— В Казань правитесь?

— Пошто в Казань? В Нижний! — И рыжебородый богатырь скатывается с воза, чтоб в ходьбе маленько поразмяться. — В Нижнем на склады сгрузим до весны, а весной-летом товары водой пойдут — кои до Макарья на ярмарку, а кои в Казань.

— А из Нижнего куда же вы?

— А мы опять в Москву. С Нижнего-то заберем железо демидовское, да медь с собственных кобелевских заводов, да хлеба хозяйского, да юфти. На войну все... Ведь война-то который год тянется, а у войны

нуждишек немало. Так вот до весны и будем ездить меж Волгой — Москвой. А ваш путь куда принадлежит? — неожиданно спросил извозчик. — Ах, в Казань? Так-так. Чегой-то, бают, не вовсе спокойно там, будто царь-батюшка самоновейший объявился народу.

— Не царь, а самозванец, — возразил Перфильев и пустил свою лошадь шагом.— Да и не под Казанью, а под Оренбургом. А ты откудова слышал?

— Да пробалтываются! — шагая рядом с санками Перфильева, ответил рыжебородый. Он достал из-за пазухи житную лепешку, перекрестился и стал кусать белыми как снег зубами. — Ведь оттедова, из-под Казани-то, кой-какие из помещиков в Москву полаваться стали, ну-к слухи-то и катятся от их ямщиков да дворни. Царь-объявленец, мол, дворян-то не шибко милует, больше, мол, приклоняется он до простого народу, до черни, значит.

Перфильев переглянулся с Герасимовым, и оба пустили свои сани на полный ход.

Большая торговая дорога была оживлена и день и ночь. Много тысяч подвод ежедневно попадалось нашим путникам. И так по всей Руси, от черноморских степей до приполярной, почитай, тундры, от Балтийского моря до Уральских гор и дальше — по бескрайным просторам Сибири, особенно в зимнее время, кишели дороги обозами, проезжим и прохожим людом.

Встречались нашим путникам и необычные, шумные подводы на плохих лошаденках, в веревочной да лыковой сбруе. Это какая-нибудь волость спешно доставляла в Москву очередную партию новобранцев. В широких санях-розвальнях, как сельди в бочке, сидели пьяные парни: одни орали песни, другие — упившиеся — лежали поперек саней мертвыми телами, третьи били себя кулаками в грудь и, скосоротившись, горько, неутешно плакали: «В Туретчину, братцы, к бусурманам!..»

Немало по дорогам моталось и пешеходов. То шли артелями плотники, то пильщики, то пимокаты. Вот крестьянин ведет тощую коровенку на базар, ее подгоняет хворостиной парнишка, укутанный мамкиной шалью; вот божьи старушки семенят неведомо куда и

стрекочут между собою, как сороки, а вот два высоких крепких старика с посохами и заплечными берестяными кошелями. Они внушительного вида, лица их свежи, взоры светлы, белые бороды волнисты. Один, выставив на мороз лысину, идет без шапки, он всю зиму — дома и в дороге — спит на сеновалах. Им в пути хорошо подают, а на ночлегах сытно кормят. Оба второй уже год шагают по обещанию из-под Иркутска в Киев, на поклонение киево-печерским чудотворцам, а ежели война с неверными «пресечется», то старцы-трудники, пожалуй, примут путь на Иерусалим-град и ко святой горе Афонской.

— А как же дома-то у вас? — полюбопытствовал Герасимов.

— А дома у нас, в Сибири-матушке, все справно. Мы с Лукой соседи будем, шабры. У него семейство в двадцать душ, у меня того боле. У нас у двоих-то до двухсот коровушек да по косяку лошадушек.

— Ха! — удивленно крутнул головой Перфильев.— Видно, помещиков-то нету у вас, в Сибири-то?

— Бог миловал.. Этого сраму, позорища, чтоб человек человека, аки собаку, продавал да по своему хотенью истязал даже до смерти, у нас, в Сибири, не водится. Ваши мужики-то к нам бегут. Бе-гут, бегут!

— А сколько же вам лет будет, старички? — спросил Герасимов. — По шестидесяти есть?

— Мне восемьдесят девять, — сказал дед без шапки, — а Лука-т на восемь годков старей меня, ему уж к веку подваливает, к ста годкам. Вон он, дуй его горою, крепыш какой. Репа репой. Ну, прощевайте-кося... — Светлые старцы легкой ступью пошагали дальше.

3

На ночевках, где-нибудь на постоялом дворе или в ямской избе, путники наши все чаще, все охотнее возвращались к одному и тому же заветному разговору. В дороге, при ямщиках, скрытные речи вести опасно, а вот с глазу на глаз, потягивая в теплой хате

винцо или горячий сбитень с пахучим свежим караваем вприкуску, раскинуть умом-разумом весьма не вредно.

— Да, брат, да, Перфильев, — начинал усатый казак Герасимов и ужимал глаза вприщур, — такие-то дела-делишки. Ведь я сказывал тебе, что видел покойного государя вживе не единожды, и буде сей, называющийся, и впрямь государь, узнаю его зараз.

— Каким, однако, побытом могло статься, чтобы простой человек взял да и объявил себя государем? — озадаченно вопрошал Перфильев.— Кажись, и статься сему не можно. А на мой смысл, называемый графом Орловым Емелька Пугачев и впрямь есть он — Петр Третий.

— Да ведь ходила молва, будто манифесты о смерти государя ложны, будто выкраден он из-под ареста...

— А ежели так, — озираясь, нашептывал Перфильев, — тогда воистину под Оренбургом это он и есть. Ведь должен же он, державец наш, где-нито объявиться...

— Знаешь что, Перфильев,— задышав в шадривое лицо товарища, таинственно говорил усатый Герасимов, — ежели я, повстречавшись, узнаю государя, тогда, хоть убей меня, а злого умысла супротив него допускать не стану.

— А как иначе? Как можно руку поднять на государей! — восклицал Перфильев.— Их головы помазанные. Только вот ты што скажи, чью сторону держать нам: государя альбо государыни?

— Нам в их дела встревать нечего, они промеж собой как хотят, так пусть и делят. Наше дело маленькое... Наша хата с краю... как говорится.

— Что верно, то верно, — согласился Перфильев.

На том они и порешили. А как прибыли в Нижний-Новгород, пошли в кремлевский Преображенский собор и в нем, над могилою приснопамятного сына России Кузьмы Минина, поклялись служить государю верой-правдой. То был зарок совести, отягченной раскаянием за данное графу Орлову слово — черное слово супротив государя.

Под Макарьевом произошла у них неожиданная встреча.

— Стой! Перфильев! Герасимов! Да никак это вы? Стой, ежова голова! — И к остановившимся саням подбежал бородатый, косоглазый яицкий казак Федот Кожин. Простоватое лицо его выражало необычайное удивление и радость. — Ой, да и соскучился же я по своим людям-то, по казакам-то. Ведь я, дружки, с чумного московского бунта. Да отойдемте-ка подале куда. — И казак-гуляка кивнул в сторону курносого парня-ямщика.

Все три казака, взявшись под руки, стали неспешно прохаживаться вдоль дороги.

— Я после бунта московского по тюрьмам вшей кормил, под плетьми, ежова голова, был, да вот господь привел нам эвот с дружком-то этим вырваться.— И Федот Кожин указал рукой на сидевшего в санях человека. — Да ужо я... Эй, Нил Иваныч, вылазь сюда на кумпанство!

Нил Хряпов в вывороченной вверх шерстью овчинной шубе, в мохнатой шапке походил на огромного стервятника-медведя. Жир с него спал, брюхо стало много меньше, бородатое лицо по-прежнему красное, запойное, под глазами отвисшие мешки. Он и Кожин были навеселе. Поздоровавшись с казаками, Хряпов, не долго думая, сказал:

— А нет ли у вас, господа проезжающие, винца глоточка с два? У нас было два штофа, да выпили, зато вареная курица есть да пироги-крупеники.

Через минуту возле саней бывшего мясника завязалась на морозце беседа с легкой выпивкой.

— Куда ж это ты пробираешься-то, Афанасий Петрович? — спросил Кожин есаула Перфильева и с жадностью опрокинул в рот стаканчик холодного вина.

— По секретному делу едем, — загадочно ответил тот.

— А-а-а, по секретному! Хм... Мы с дружком тоже вроде как по секретному, — сипло захохотал вовсе охмелевший Кожин и облизнулся. — Ну, так вот вместях и поедемте, ежова голова... по секрету!

— Нам не по пути. Мы до губернатора Брандта едем в Казань.

— Эво куда, — и косоглазый Кожин с какой-то веселой безнадежностью присвистнул. — Ну, а мы, брат, губернаторов да воевод как можно объезжаем... ха-ха-ха! Я напрямки скажу, Перфильев, — хошь саблей меня руби, хошь из пистолета, — едем мы, без утайки тебе молвлю, как казак казаку, — поспешаем мы, значит, ежова голова, к самому Петру Федорычу, царю-батюшке, вот куда!

— Да нешто он объявился где, государь-то? — схитрил осторожный Перфильев.

— Хах ты, ежова голова! — закричал Федот Кожин, давясь пирогом-крупеником. — Неужли не слыхал? Да нам в кабаках все уши прожужжали: под Ренбургом, мол, сам царь стоит с великим воинством.

— Пьянчужки брешут, а ты, косоглазый заяц, слушаешь, — подзадорил Кожина Перфильев.

— Нет, не брешут, господа казаки, — убежденно и строго возразил Нил Иваныч Хряпов. Он широко распахнул шубу и стал набивать трубку табаком. — Мне доподлинно ведомо, что главнокомандующий Москвы князь Волконский военную силу из-под Москвы в Оренбург направил. Уж мне ли не знать. Ведь я первейшим купцом был, а по природе мужик я, крепостной барина Ракитина, в люди же вышел грешной головой своей. — И бородатый Хряпов, допив остаток водки, не торопясь рассказал казакам про свою жизнь: как он был богат и знатен, как разорился, как с горя стал пить и по дурости, ошалев от пьянства, ввязался в Москве в драку.

— Ведь я поставщик двора был, ведь я самого государя не токмо что видывал, а и в могилу провожал, царство ему небесное!

— Как так... в могилу? — исподлобья посмотрев на купца, воскликнул Перфильев, а Герасимов крутнул головой и прыснул смехом. — Да к кому же вы тогда едете, раз царь земле предан? Ну и чудодеи вы, братцы мои! Мылом объелись либо щелоком охлебались.

— А еду я, — отставив ногу и разгребая пальцами бороду, начал Хряпов, — еду я, честные господа, мужиков на бар подымать. Вот куда! А как сколочу шайку из крестьян, бар будем резать, барское жительство пеклу предавать, хе-хе... И есть мое усердие прибыть к батюшке по крайности вкупе с тысячью разнесчастных мужичков.

— Да к какому батюшке-то? — захохотал Перфильев, с большим любопытством присматриваясь к захмелевшему купцу.

— А вот как дойдем до него, тогда и угляжу, к какому: к воскресшему ли батюшке, али к умному разбойничку! Ежели есть он истинный царь, а замест него в Невском монастыре похожего на него человека погребению предали, я тут же оборочусь к царю спиной, да и заявлю в народ: хоть ты и государь был, Петр Федорыч, а только не в своем уме царствовал, баба ты в повойнике, а не царь!.. — Хряпов чем дальше, тем больше волновался, он вспотел на морозе, голос его стал сиплым, крикливым, занозистым. — А ежели он, дай бог, разбойничек умный, упаду ему в ноги, да не раз, а сто разов ударюсь башкой в землю. Разбойничек, заору, пресветлый разбойничек мой! Давай оба вместях, оба враз царствовать! Покажем свету, что и чрез разбой правда открыться может! — По пухлым морщинистым щекам его, по бороде текли слезы. — Ой, братцы, мужик я, мясник я, так уж замест коров стану резать я помещиков и прочих душителей мужичьих!.. Эх, братцы!.. Еще бы винца мне, разбойничку, а! — Он бил себя опухшими кулаками в грудь и всячески спьяна юродствовал.

Перфильев толкнул Герасимова в бок, и они исподволь покинули гуляк.

4

Полковник Чернышев, не получая никаких распоряжений от Кара, в ночь на 13 ноября выступил к Чернореченской крепости с целью пробраться

в Оренбург. Он отправил к губернатору Рейнсдорпу двух казаков с просьбой оказать его отряду содействие.

Гонцы еще не успели прибыть в Оренбург, как Рейнсдорп получил рапорт бригадира Корфа, что ночью 12 ноября он остановится в двадцати верстах от Оренбурга. Губернатор тотчас отправил как Корфу, так и Чернышеву приказание выступить со своих ночлегов одновременно, на рассвете, и правиться к Оренбургу со всеми военными предосторожностями.

Однако губернаторские гонцы были схвачены в дороге расторопными мятежниками, и это обстоятельство открыло карты Пугачеву.

Полковник Петр Матвеевич Чернышев [1] в первом часу ночи на 14 ноября прибыл в Чернореченскую крепость, разместил свой отряд по квартирам и лишь расположился на ночлег в доме священника, как к нему постучались. Вошел с двумя казаками только что прибывший в Чернореченскую сакмарский атаман Углецкий.

— Я вас должен предупредить, господин полковник,— сказал он,— что силы злодея весьма порядочные. И ваш отряд непременно будет атакован, ежели вам не удастся пройти как-нибудь скрадом. Мой совет — вам надлежит выступить сейчас: может, в темноте и проскочите.

— Да что-о вы, право...— опешил Чернышев.

— Да уж поверьте!

— Но я не имею точных указаний ни от Кара, ни от губернатора Рейнсдорпа, к коему отправлены мною два казака.

— Ваши казаки наверняка пойманы врагом. Что касаемо генерала Кара, то он разбит и отступил, а высланная в помощь ему гренадерская рота схвачена пугачевцами и угнана самозванцу в лагерь.

— Да что-о вы,— опять протянул крайне озадаченный Чернышев, прислушиваясь к какому-то гаму за окном.

---

[1] Двоюродный брат А. Г. Чернышева, к которому Екатерина, будучи еще великой княгиней, была благосклонна.

Через двойные рамы долетало: «Не имеешь права, подлюга!» — «Какие мы пугачевцы... Сперва расчухай!» — «Не хватай за глотку, а то нос отгрызу и выплюну!»

В опрятную комнату с накрахмаленными занавесками и чижиком под потолком вбежал запыхавшийся адъютант:

— Господин полковник! «Языков» поймали...

Вскоре ввалилась к Чернышеву шумная толпа: чернышевские солдаты притащили пятерых пугачевцев.

— Вот, ваше высокоблагородие, — едва переводя дыхание, прохрипел старый капрал. — Пошли мы, уж не погневайтесь, в шинок, конешно, в корчму. А эти молодчики там водку хлещут. Ну, мы не знаем, кто такие, может, местного гарнизону, а шинкарь и шепчет мне: «Хватайте, это изменники, от самозванца утекли...»

— Кто вы такие, молодцы? — перебил капрала Чернышев, потряхивая седеющей головой.

— Дозвольте! — выдвинулся из толпы бравый, безбородый, в рыжих усах, казак. — Нас, казаков-бунтовщиков, четверо, а пятый — это солдат, он не наш...

— Я, ваше высокоблагородие, рядовой крепостного гарнизона Крылов. — И толстогубый, с водянистыми глазами солдат шагнул вперед: — При сшибке я к злодеям в полон попал, а третьего дня от воров бежал, теперь здеся-ка скрываюсь...

— Дозвольте! — перебил его рыжеусый и заиграл глазами. — Каемся, мы, четверо казаков, у батюшки служили по глупости. А вот уж третий день, как тоже утекли... Батюшка-т не батюшка, а первый лиходей оказался, вор!.. Ему бы людей вешать... Вот, ваше высокоблагородие, хошь верьте — хошь нет... Хошь жилы из нас тяните... Обидел меня батюшка, вот как обидел... Принародно по зубам дал... А я ли ему не служил по глупости...— Казак зафыркал носом и плаксиво скосоротился, прикрываясь широкой ладонью.

— А нас не мордовал батюшка, что ли? — подали голос остальные трое пугачевцев. — Он только своих

яицких жалует, а мы, слава богу, илецкие... Как добро делить, он все себе да себе, а нам фига с маслом...

— Не в том дело! — выкрикнул рыжеусый, тараща на Чернышева заплаканные глаза. — Дозвольте! А зазорно стало нам в изменниках великой государыне ходить. Ведь мы не слепые щенята, ведь мы понимаем, васкородие, долго ли, коротко ли, а самозванному царю крышка... — И рыжеусый, а с ним и остальные повалились пред Чернышевым на колени. — Ваше высокоблагородие! Помилуйте нас, охлопочите нам прощение, примите к себе на службу хошь в самые последние обозные...

— Изменники! — поднялся широкоплечий Чернышев и сердито затопал на них. — Как вам, чертовы дети, могу верить, раз вы присяге изменили?! Повесить вас мало...

— Нас, ваше высокоблагородие, и Пугач грозил повесить... Уж схваченные были, да угодники святые пособили утечь от виселицы-то! Господи, батюшка! Так где же нам оправдаться-то? — стал в отчаянии заламывать руки рыжеусый казак. — Помилуйте, не дайте душе загинуть! Ведь мы молодые, вся жизня впереди... А уж мы вам службу сослужим. Васкородие, миленькие...

— Какую вы, мерзавцы, можете сослужить мне службу?

— А вот какую. — И рыжеусый пугачевец поднялся с колен. — Ежели вы пробудете здесь, в Чернореченской, до утра, так несдобровать вам: Пугач непременно атакует вас, и вам, васкородие, со своей командой супротив злодея устоять будет не можно... У него силищи много, уж мы-то, васкородие, знаем доподлинно...

— Вот видите, господин полковник, — вмешался молчавший атаман Углецкий, — стало быть, я дело вам советовал... Надо немедля выступать вам.

— А выступать надо тихо-смирно, чтоб без барабанов, без огней, — говорил раскрасневшийся возбужденный рыжеусый. — А уж мы возьмем на себя проводить вас скрытной дорогой, чтоб злодею не

чутко было... Нам ведь самим опять попасться к нему — слаще дьяволу в лапы!

— Как бежал я вчерась из злодейского лагеря, там пьянка зачиналась, — сказал солдат Крылов, отстраняя рыжеусого. — Они всю ночь нынче будут гуляванить, винище лопать. А я дорогу в Оренбург знаю во как, защуря пройду, восемнадцать-то верст еще до свету промахнем, вашескородие...

Чернышев задумался и уже более милостиво поглядел на беглых пугачевцев.

Во время разговоров один по одному собрались к полковнику все тридцать два офицера. Им тоже казалось, что беглецы дают резонные советы. Тем более что советы эти полностью совпадали с предостереженьем атамана Углецкого. А уж Углецкий свой человек, ему вся вера.

— Как удобнее нам выступить? — обратился Чернышев к офицерам. — В каком порядке?

Те пожимали плечами, переглядывались друг с другом.

— А вот как удобнее, — опять заговорил рыжеусый беглец-пугачевец.— Дозвольте! Вперед, конешно, конницу пустить, следом артиллерию, а тут — пехота да обоз. А порох-то наготове держать, да ружья-то чтобы заряженные были, не как у гренадерской роты, коя и в плен-то попала из-за дурости своей... На них злодеи налетели, а у гренадеров-дураков ни пороху, ни ружей...

— Истинно так, — подтвердил атаман Углецкий.

Чернышеву понравилось поведение рыжеусого казака, он сказал:

— Ежели, ребята, благополучно дело сделаете, в Оренбурге награжу вас — по двадцать пять рублей каждого!

Казаки и солдат Крылов низко поклонились Чернышеву и сказали:

— Не в награжденье дело, ваше высокоблагородие. Конешно — спасибо... деньги великие... А само главно — похлопочи за нас, бедных...

Чернышев приказал капитану Ружевскому:

— Возьмите, Осип Федорыч, человек пять-шесть казаков, да выбирайте самых смышленых, и скачите к Рейнсдорпу, скажите ему, что я сейчас отправлюсь в марш и прошу от него сикурса. Будьте осторожны, враг зорок и хитер.

Было еще темно, выступили тихо. Редкий-редкий порошил снежок. Впереди без шума, без закура трубок двигалась конница: пятьсот ставропольских калмыков да сотня крепостных казаков. За конницей — пятнадцать орудий с полным снаряжением. Далее — семьсот гарнизонных солдат и огромный обоз. Вступили в темный лес. Дорога виляла среди зарослей, была узка и неудобна: отряд растянулся на большое расстояние. В голове ехали беглые казаки-пугачевцы и солдат Крылов — указывали дорогу.

Рыжеусый пугачевец нет-нет и повернет коня назад и проедет вдоль отряда, зорко наблюдая, в порядке ли движется обоз. «Тихо, тихо», — грозит он нагайкой. А подъехав к сбившимся в кучу офицерам, он негромко говорит им:

— Еще часок — и на Маячной горе будем. А как гору перевалим, тут тебе и Оренбург, версты с четыре останется.

Сам Чернышев, скрытно от всех нарядившись мужиком, в рваном, измызганном армяке, в овчинной с ушами старой шапке, сидит на обозной подводе, правит лошаденкой, помахивает кнутом. В темноте его никто не замечает и никто не знает, где он, полковник Чернышев. Да его теперь сам сатана в очках не сыщет. Его лошадь идет то шагом, то ленивой рысью: трух-трух-трух, сани клонит вправо-влево, на Чернышева накатывается дрема, но он упорно борется с ней.

Впереди, за две подводы от него, завалился воз, набежали соседи, стали подымать. Тотчас появился рыжеусый пугачевец, спрыгнул с коня, тоже впрягся в дело, внатуг нажимает плечом, кряхтит, а сам вполголоса предупреждает возчиков: «Тихо, тихо, мужички, не шумите громко-то».

Воз поднят, все двинулись вперед. Мимо Чернышева проехал все тот же душа-парень, рыжеусый. Чернышеву хотелось крикнуть молодцу: спасибо, мол, за старанье! Не двадцать пять, а сто рублей награды примешь.

Он стал думать о том, что его ожидает впереди. Как будто все ясно, и как будто все в густом тумане: для человека не только завтрашний день, но предстоящий час, даже ближайшее мгновенье скрыто непроницаемой, как могильный мрак, завесой. Впрочем... вот он, полковник Чернышев, скоро вступит в Оренбург с огромным запасом продовольствия, изголодавшиеся жители осажденной крепости будут благословлять его имя, а губернатор Рейнсдорп, получив новую воинскую силу, придет в радость. А там — грозная, под командой Чернышева, вылазка из крепости, бродяга Пугачев схвачен и закован, его злодейская толпа разогнана, полковник Чернышев за боевой опыт и отвагу произведен в генералы. Генерал Чернышев!..

И может статься — государыня императрица, просматривая списки награжденных, споткнется на его фамилии своим светлым взором: «Чернышев, Петр Матвеевич... а-а-а, да ведь это вот кто!..» — мысленно воскликнет великая монархиня.

Тут думы Чернышева стремительно несутся в прошлое. Высокий, статный седеющий красавец, физические качества которого не замаскировать никакими рваными мужичьими тулупами, вспомнил о днях своей юности, о счастливой поре своей придворной жизни в звании камер-лакея великого князя Петра Федоровича. Да, поистине чудесная, неповторимая пора, похожая на волшебную сказку Шехерезады!

Их было при дворе три брата, рослые, красивые, услужливые; они были любимы великим князем, но особой благосклонностью юной супруги великого князя — Екатерины Алексеевны — пользовался их старший двоюродный брат — Андрей Чернышев. Однако привольная жизнь баловней судьбы продолжалась недолго: подозрительная императрица Елиза-

вета положила быстрый и суровый предел альковным шашням Андрея Чернышева и Екатерины: все три брата были удалены из дворца и после двухлетнего ареста в Рыбачьей слободе под Петербургом направлены на военную службу в отдаленные местности.

Увязая мечтой в давно минувшем, Чернышев глубоко вздыхает, пристращивает кнутом ленивую лошаденку, озирается по сторонам: справа и слева мелкий лес, кругом таинственная сутемень, но небо, стремительно вздымаясь ввысь, понемногу бледнеет, проясняется.

Все стало на виду: лес исчез, тянется лысая пологая гора, и сквозь рассвет откуда-то слышится резкий и бодрый, уже не таящийся голос рыжеусого:

— Маячная гора! Горой едем... Таперь, почитай, дома мы... Вот вздымемся на лысину — и Оренбург как на ладошке будет.

У Чернышева расползлась по губам приятная улыбка, он снял шапку и со всем усердием перекрестился. Он по плану припоминал, что Бердская слобода, этот вертеп разбойников, осталась далеко правее.

5

Но вдруг, как с неба гром, раскатился где-то впереди пушечный выстрел, за ним другой, третий.

Все пришло в неописуемое смятение.

Конный отряд, уже переваливший Маячную гору и внезапно осыпанный пушечной картечью, сразу остановился. Подлетевший к конным чернышевцам все тот же рыжеусый казак-пугачевец, с появившейся на пике развевавшейся белой повязкой, что есть силы заорал:

— Довольно вам, ребятушки, царице-немке служить!.. За мной!.. Айда к государю императору! — И все шесть сотен чернышевской конницы с гиканьем помчались за пятью лихими пугачевцами.

— Стреляй, стреляй изменников! — вопили всполошившиеся офицеры. Затрещали ружейные выстрелы, но пули летели безвредно.

Чернышев с ужасом видел, как из-за лысой Маячной горы темной тучей по белому снегу вымахнули пугачевские всадники. Стреляя из ружей и поигрывая пиками, они помчались на артиллерию и на растерявшихся пехотинцев. Чернышев смертельно оробел, не знал, на что ему решиться, хотел бежать к сбившимся в кучу офицерам, но душевные силы оставили его, он как бы впал в столбняк, весь обмер и затаился на возу.

К Пугачеву, державшемуся со свитой в некотором отдалении, подскакал с белой на пике повязкой рыжеусый казак Тимофей Чернов, тот самый сорвиголова, который недавно докладывал батюшке, как он, казак Чернов, чуть ли не один взял Сорочинскую крепость, и над которым батюшка весело подшучивал.

— Вот, ваше величество! — гаркнул он, молодцевато вскидывая голову. — Приказ твоей милости сполнен, дело сделано, неприятельский отряд заманули мы не надо лучше.

— Спасибо, Тимоха, благодарствую, — кивнул ему Пугачев и обернулся к свите: — А ну, атаманы, вперед!

Но впереди почти все уже было кончено: пугачевцы сидели на лафетах чернышевских пушек, четверо сопротивлявшихся артиллеристов валялись порубленными, поколотыми. Канониры, бомбардиры и куча обозных мужиков, стоя на коленях, просили о пощаде.

Семьсот старых и молодых перезябших на морозе солдат, дрожа от волнения и не видя возле себя офицеров, впали под напором многочисленной вражеской конницы в робость.

— Кто за государя императора, бросай ружья! — скомандовал подскакавший к ним с илецкими казаками полковник Творогов.

Солдаты, недолго думая, будто по уговору, покорно сложили тесаки, ружья, патронные сумки, опустились на колени, завопили:

— Не чините нам смерти! Мы согласны служить вашему величеству...

Все покорились наскакавшим пугачевцам. Лишь офицеры, стоя плечо в плечо, яростно защищались.

— Падем в честном бою, но не сдадимся разбойникам! — в исступлении выкрикивали они, отстреливаясь из ружей, из пистолетов, с отчаяньем рубились шашками.

Казаки напирали со всех сторон.

— Бей их! Не нашего стада скотина... Бей! — визгливо орали казаки и падали, сраженные офицерскими пулями.

Но пули расстреляны, силы в плечах иссякли, еще момент — и все они, офицеры, будут растерзаны.

— Не трог их, детушки. Бери живьем, — приказал подъехавший ближе Пугачев.

Он был в простой казацкой одежде и ничем не отличался от рядового казака. Офицеры не обратили на него внимания, они ругали вязавших их казаков, плевали им в лицо, вгрызались в руки.

— Изменники подлые! Клятвопреступники! — выкрикивали охрипшими голосами наиболее мужественные из них. — Вот ужо будет вам... Дураки!.. Царя себе выдумали... Беглый казачишка Емелька вас за нос водит... Где он? Покажите-ка нам хоть рожу-то его богомерзкую...

— А вот в Берду приедешь, там увидишь! — прокричал с коня засверкавший гневными глазами Пугачев. — А эти ваши бабьи сказки-то слыхали мы, про Емельку-то... Своими ложными манифестами царица Катерина только простой народ с толку сбивает. Да только простой-то народ поумней вас, дураков.

Двухтысячная пугачевская конница и весь схваченный отряд с крупным обозом провианта, которым Чернышев собирался порадовать осажденных оренбуржцев, на виду у проснувшейся крепости неспешно двигались по сыртам в Бердскую слободу.

На крепостном валу, как и всегда в тревожные часы, стояли жители. Был тут со своими знакомцами именитый Рычков, духовенство, многие начальствующие лица, была и любопытная Золотариха с курским купчиком Полуехтовым.

На белом, покрытом снегом, высоком валу пестрели серенькой грязцой солдаты, казаки, толпы простолюдинов. Все, решительно все, с неимоверной тоской в глазах провожали взглядами огромный обоз с продовольствием, ползущий вдали в сытую, пьяную Берду.

— Прощай, хлебец-батюшка, прощай, мясцо... Ээхмааа!.. — вздыхали голодные люди, и по их иссохшим щекам невольно катились слезы.

Губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп, окруженный свитой, укутанный в теплую шубу — воротник кибиткой, — тоже присутствовал здесь, на валу, чуть-чуть в сторонке от народа. Время от времени он прикладывал подзорную трубу к глазу, постанывал и морщился, как от зубной боли.

В центре города башенные часы над зданием гауптвахты пробили восемь утра.

Рядом с губернатором стоит гонец Чернышева, капитан Ружевский. Каким-то чудом ему удалось благополучно и вовремя добраться до Оренбурга. С пятью казаками он подъехал к воротам крепости четыре часа тому назад, когда было еще совсем темно.

Ружевский помчался к Рейнсдорпу, чтоб доложить убедительную просьбу полковника Чернышева выслать ему навстречу скорую помощь. Когда Ружевский, разбудив губернатора, сообщил ему о разгроме пугачевцами генерала Кара, озадаченный губернатор изумленно воскликнул:

— Какого генерала Кара? Где он, откуда?

— Неужели вам, ваше высокопревосходительство, ничего не известно про Кара?

— Голюбчик!.. Откуда ж мне знать? Весь крепость окружен... Люди этого каторжник Пугашов день и ночь кругом крепости чинят разъезды. Кар... Кар! О мой бог!.. Но надо действовать, действовать... Эй, одеваться! — Он сбросил колпак, сбросил стеганый шлафрок с кистями, сказал: — Пардон, — и остался в одном исподнем.

Было уже шесть часов, когда они вышли на улицу. И в этот миг, раз за разом, ударили вдалеке три пушечных выстрела. Губернатор затаенным шепотом выдохнул: « О! Ви слюшаете?»

Сели в сани, поехали в крепость, чутко прислушиваясь к морозной тишине. Но выстрелов больше не повторялось. Рейнсдорп обреченно произнес:

— Ясно... Все ясно! Чернышев либо сыграл ретираду, либо попался в плен.

— А третьей возможности вы, ваше высокопревосходительство, не допускаете?

— Шо? Штоб победа была на стороне полковник Чернышев? Нико-гда! Я не могу победить эта шволочь, даже я!

Тем временем в Бердскую слободу уныло шагали тридцать два арестованных офицера.

— А где же Чернышев? Где полковник Чернышев? — озираясь, спрашивали они друг друга.

— Я видел Петра Матвеевича в Чернореченской, пред самым маршем, — густым басом сказал тучный майор Семенов. — Он отдавал какие-то приказания капитану Ружевскому и неизвестно куда исчез...

— Но ведь не мог же он отправить в марш нас одних... Не сидит же он в Чернореченской, — сказал такой же тучный, задыхавшийся на ходу капитан Калмыков.

— А вдруг да он, не дай бог, убит, — предположил молодой подпоручик Аверкиев. — Шальная пуля либо картечь...

В Берде пугачевцы тоже всполошились, опрашивали офицеров, опрашивали солдат:

— Где ваш начальник? Где полковник Чернышев?

Офицеры, как в рот воды, отворачивались, глядели в землю. Спрошенные солдаты только руками разводили:

— Знать не знаем. Мы люди мелкие...

Рыжеусый Тимоха Чернов, так ловко одурачивший полковника Чернышева, из себя выходил от злости, он внимательно всматривался в лицо каждого солдата, выкрикивал:

— Ну и хитер, ну и хитер ваш змей полковник! Как сквозь землю... Да уж не черт ли его с кашей съел?..

Дежурный Давилин пытливо осматривал всех обозных мужиков, коим велено смирно сидеть на

козлах. Осмотрены тридцать семь извозчиков, еще осталось больше половины. Подошел к тридцать восьмому, сидевшему в рваном измызганном армяке, в овчинной с ушами шапчонке. Ой, что-то лицо не мужичье, барское, бритое лицо, тонкий нос горбинкой... Э-ге-ге!

— А ну, дядя, сними рукавицу, покажь руку.

У полковника Чернышева задергались концы губ, в помутившихся глазах стал меркнуть свет.

— Что за человек?

— Из-извозчик...

Подбежавший на разговор Тимоха Чернов, захлебываясь мстительной радостью, громко закричал:

— Он, он! Вот те Христос, он... — И, состроив плаксивую рожу, Тимоха повалился перед Чернышевым на колени: — Ваше высокоблагородие! Помилуйте... Пожалейте мою молодую жизню!

— Братцы, — обратился Давилин к подбежавшим солдатам. — Скажите по правде-совести, что за человек?

— Наш полковник это, Петра Матвеич Чернышев, — не сморгнув глазом, откликнулись в кучке солдат.

Бледное, помертвевшее лицо Чернышева вдруг налилось кровью, глаза ожесточились, он соскочил с облучка и крикнул:

— Да, это я... Вешайте, негодяи! — затем сорвал с себя армяк и с силою бросил его в лицо Давилина.

ГЛАВА VI

Гипохондрия. Страшный суд. Павел Носов. Блестящая победа

1

Секунд-майор Наумов зашел проведать капитаншу Крылову, сообщить ей свежие вести о несчастье с полковником Чернышевым, да кстати и позав-

тракать: капитанша была изрядная мастерица стряпать. Но оказалось, что Крылова о судьбе Чернышева уже знала и встретила Наумова с заплаканными глазами. Четырехлетний карапуз Ваня, с измазанной вареньем пухлой мордочкой, сшибал клюкой расставленные по полу бабки.

— Ну что, от благоверного никаких вестей? — приласкав мальчика, спросил Наумов капитаншу.

— А откуда же могут быть вести, батюшка? Разве что сорока на хвосте... Вот всё ждали, всё надеялись получить весточку с полковником Чернышевым, да видишь, какая беда стряслась... Пропасти-то на него нет, на этого Пугача треклятого!

— Дядя Наум, — ввязался Ваня, — а он царь взаправду или нарочно, Пугач-то?

— Царь, царь... Только с другого боку.

— Х-х, с другого... А с какого? Вот с этого али вот с этого? — подбочениваясь то правой, то левой рукой, спросил озадаченный Ваня.

— Он вор, — сказал Наумов.

— А кого он украдывал? — оживился мальчонка и пристукнул клюкой по бабкам.

Нянька, вырвав у Вани клюку, увела его.

Вошел с вязанкой дров старый хромой слуга Крыловых, сбросил дрова к печке.

— Ну, каково живешь, Семеныч? — приветливо улыбаясь старику, спросил Наумов. — Не слыхал ли чего новенького?

— Новое хуже старого, ваше благородие, — виновато откликнулся старик, припадая на хромую ногу. — День ото дня гаже! Известно, простой народ не в довольстве находится, вот и шумит.

— Чего ради он шумит-то? — полюбопытствовал Наумов и принялся раскуривать трубку.

— Харч дорог, ваше благородие. День ото дня дороже. Эвот до осады самая лучшая крупчатка была тридцать копеек пуд, а таперя к шести рублям пудик подходит. Во как! А в злодейском лагере дороже четвертака за пуд крупчатку продавать не повелено... Сам Пугач быдто запретил.

— А ты, Семеныч, всерьез скажи, чего народ-то гуторит, особливо солдаты да казаки?

— Всяко, ваше благородие, брякают. Иным часом и прикрикнешь на другого пьяного обормота: ах ты, мол, такой-сякой — видно, присягу позабыл? Ну, он язык-то и прикусит. Эвот недавно купчик Полуехтов в разгул ударился и всех вином потчевать стал в кабаке. Ну, солдатня и дорвалась до дармовщинки-то! Кричат пьяные: надо-де в царев лагерь идти, там вольготней, там вином хоть залейся, и харч добрый, кажинный божий день убоинку едят, а у нас-де что?

— Ах, мерзавцы! — нахмурился Наумов и, не докурив, стал выколачивать трубку.

Старик постоял, помялся, пробурчал: «Эхе-хе, жизня!» — и покултыхал вон.

— Да и то правду молвить, уж больно распустили солдатишек-то, — проговорила капитанша, накладывая в глубокую тарелку моченых слив с яблоками.

— Нимало не распустили, — возразил Наумов, и у него при виде вкусностей стала набегать слюна. — Да и не в одних солдатах дело. Промеж штрафных офицеров надо сыскивать смутьянов-то, вот где. Штрафных-то много сюда насылают из столицы. Взять, к примеру, того же Андрея Горбатова, прапорщика, — ой-ой, цаца какая!.. Его из капитанов разжаловали да турнули сюда. Генерал Валленштерн досматривать за ним приказал мне.

— А вот эти самые, как их... полячки пленные...

— Конфедераты? Я бы их всех в мешок — да в воду. Я бы их... И напрасно господин губернатор компанию с ними водит.

Отведав моченых слив и настоенной на рябине водки, секунд-майор Наумов, ради служебного соглядатайства, направился к прапорщику Горбатову.

Андрей Ильич Горбатов со своим знакомцем конфедератом Плохоцким снимал две небольших горницы в доме столяра-краснодеревца, выплачивая хозяину по семьдесят пять копеек в месяц. Восемь месяцев тому назад, по приговору дисциплинарного военного суда, он был выслан из Петербурга на службу в Оренбург. Держал он себя здесь незави-

симо, обособленно, с офицерством не водился, пред начальством не заискивал. С солдатами всегда был хорош, у начальников же на плохом счету. «Спесив, надменен, к тому же леностен», — говорили про него.

На приветствие вошедшего Наумова ответил Горбатов сухим кивком и не предложил сесть.

— Что вам угодно? — спросил он незваного гостя.

— Напрямки вас спрошу, по-военному, как офицер офицера, — неприязненным тоном произнес Наумов, хмуря густые брови, — пришел я проведать, чем вы занимаетесь, и вообще...

— А какое вам дело, чем я занимаюсь? И кто вам дал право задавать мне подобные вопросы?

— Я сие вершу по праву вашего начальника, вы мой подчиненный.

— В первый раз слышу. Считал себя в подчинении у обер-коменданта Валленштерна.

— Вот бумага, приказ. — И Наумов бросил официальное предписание на стол, поверх которого лежала географическая карта. — Извольте прочесть и твердо помнить, что вы уже месяц тому назад прикомандированы к моему отряду.

— От подобной чести буду отказываться до тех пор, пока не получу о сем ордер из канцелярии... — И Горбатов, прочтя бумажку, небрежно положил ее вновь на стол.

— Извольте в канцелярию пожаловать за ордером сами.

— И не подумаю.

— Прошу пререкания со мной в сторону отложить — они опасны.

— Прошу принять в мысль, что грубый ваш тон по отношению ко мне тоже для вас может стать опасным! — Темные, в упор устремленные на секунд-майора глаза Горбатова засверкали.

Наумов смутился и, сдерживая голос, спросил, прихлопнув рукой географическую карту:

— Это что за карта и откуда взялась она?

— Вам до этого нет дела! Впрочем, это карта Польши... Речи Посполитой.

— Ах, Польши? Очень хорошо! Эта карта ваша?

— Она принадлежит Плохоцкому...

— Ах, Плохоцкому? Чудесно!

— Смею спросить, вы ко мне явились как офицер или как полицейский чин?

Наумов, не вдруг поборов невольное внутреннее беспокойство, ответил:

— И то и другое...

— Ах, так! Приятно слышать, — воскликнул Горбатов и, усмехнувшись, подал гостю стул. — В таком разе прошу присесть.

«Давно бы так, сукин ты сын», — не поняв злой насмешки столичного офицера, подумал простяга Наумов и сказал:

— Не утруждайте себя! Я скоро откланяюсь. — Ему очень хотелось как-нибудь уколоть этого задиру, загнать его в тупик, и он официальным тоном спросил его:

— Скажите, господин прапорщик, чего ради вы отсутствовали при вылазках из крепости третьего числа, девятого числа и сегодня утром?

— По причине уважительной, — подумав, ответил Горбатов. — Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный недуг мой — это подагрическая немочь.

— Имейте в виду, ваши дальнейшие уклонения в делах против самозванца будут истолкованы высшим командованием вам во вред.

— Имейте в виду и вы, господин секунд-майор, что больной воин — помеха делу, а не помощь. — Горбатов схватился за виски, застонал и стал вышагивать по комнате.

— Что с вами? — жестко спросил Наумов.

— Начинается гипохондрия...

— Да что это за гипохондрия такая? Не доводилось слышать.

— Это сильный душевный припадок. В состоянии гипохондрии я готов схватить пистолет и застрелить кого угодно... И в ответе не буду.

Наумов вытаращил глаза. У него на языке вертелся последний, но главный вопрос: «А правда ли, что, по имеющимся у нас сведениям, вы сеете проти-

возаконную смуту промеж солдат?» Однако, поймав глазом лежащие на ломберном столике два заряженных пистолета и в точности не представляя себе, что есть гипохондрия, Наумов от приготовленного вопроса воздержался и чрез минуту ушел, сказав примиряюще:

— Ну, не взыщите. Уж как умел. Может быть, что и не так... Уж не взыщите.

Как только за ним затворилась дверь, к Горбатову вышел из своей горницы пан Плохоцкий — лысеющий, с жирным усатым лицом, подбородок бритый, круглый, с ямочкой, глаза большие, водянистые.

— Хе-хе-хе... Гипохондрии испугался?

— Гипохондрии, — сказал, смеясь, Горбатов. — А человек, видать, хороший и отличный боевой офицер, каких здесь не то что мало, а вовсе нет...

— О-о! А я что вам, пане добродию, молвил? Все офицеры русской армии — дрянь!

— Ах, оставьте, пане Плохоцкий! — с раздражением бросил Горбатов. — Младший и средний командный состав офицерства, особливо же солдатство, у нас золото.

— Может быть, и золото, только фальшивое.

— А кто вашего брата бил под Баром, кто бил Фридриха, кто бил турок? А вы забыли, как Стефан Баторий, ваш наймит круль Батур, на Пскове зубы обломал при Иване Грозном? Забыли?

— Цо, цо, цо таке? — подбоченясь и наступая на Горбатова, повысил голос пан Плохоцкий. — Наш польский народ... О-о, велика мосць!

— Да вы, пане, знаете ли свой народ?

— Я не знаю свой народ, я? Да я за польский народ саблюкой бился! — с наигранным пафосом ударил Плохоцкий себя в грудь ладонью. — Я ранен, я кровь за него пролил!

— Вы не за народ, а за шляхту бились. А свой народ вы зовете «быдло» и презираете его. Кто за народ стоит? Правду в народе ищет? Ну-ка, скажите.

— Может быть, вы Емельяна Пугачева сюда причислите, а? — осклабился Плохоцкий.

— И причислю! — подхватил, волнуясь, Горбатов. — Хоть он и Пугач, а воистину за народ и с народом! А до него Степан Разин был, Болотников был, Некрас и другие прочие. Вот доподлинные вожди народа, а не ваши разные Пулавские.

— От-то чертяка! Бардзо мувит... — Плохоцкий, смущенно улыбаясь, подошел к этажерке, стал вытаскивать и машинально перелистывать книги офицера Горбатова. Вдруг круто повернулся к нему, снова ударил себя в грудь и, раздувая густые усы, крикнул:

— Пан Плохоцкий всегда за народ! Бежим к Пугачеву! Цо?

Горбатов с изумлением отступил на шаг, смерил насмешливым взглядом петушившегося Плохоцкого и, не сдержавшись, рассмеялся:

— Что? К Пугачеву? Ха-ха! Не знаю, как вы, пане Плохоцкий, а вот я действительно, кажется, сбегу... — серьезно ответил он. — Я признаю в Емельяне Пугачеве зело одаренного человека. Возьмите его легкие войска, его каждодневные шермиции. А как они нашего Валленштерна оттузили, а как Кара расколошматили или сегодня поутру зеваку Чернышева? У него, у Чернышева, войско немалое было да пятнадцать пушек. Ведь я, нарядившись в хозяйский архалук да шапчонку, с утра на валу толокся. А недавний приступ самого Пугачева с конницей?.. Ведь едва-едва крепость-то не взяли. А его артиллерия? Палят хлестко, дай бог всякому! Весь город под обстрелом... помните? Нет, что-что, а голова у Пугачева — золото!..

— Жебы его вшистци дьябли взели!.. Цо? — возразил по-польски пан Плохоцкий.

Их оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстрелов. Прибежавший с улицы столяр, хозяин, приотворил дверь и крикнул:

— Эй, постояльцы! Бригадир Корф вступил в город.

Бригадир Корф на соединение с Чернышевым не пошел, а, оставя Верхнеозерную крепость, переправился за реку Яик и принял путь к Оренбургу проти-

воположным берегом. Вскоре он соединился с казаками, высланными Рейнсдорпом. Невдалеке от крепости примчался к Яику сильный отряд пугачевцев. Но было уже поздно: их отделяла от Корфа река, да и крепость с дальнобойными пушками была под носом.

Корф привел с собою полторы тысячи солдат, тысячу казаков и двадцать два орудия. Но этот большой отряд мало что мог дать оренбуржцам: солдаты Корфа были худоконны и к боевым действиям почти что не пригодны. Словом, две с половиной тысячи малополезных едоков не были находкой для полуголодного, впавшего в беду Оренбурга. Но все же в честь их была произведена пальба с верхов крепости.

2

Пугачев сидел в золоченом кресле. В некотором отдалении от него — четыре угрожающих виселицы с четырьмя угрюмыми палачами. Страховидный Иван Бурнов ладил из арканов петли, деловито перекатывал чурбаны, на которые, с петлей на шее, будут ступать осужденные.

Все тридцать два офицера стояли вблизи Пугачева нескладной кучей, как почуявшая волка отара овец без пастуха. Выстроиться в шеренгу они наотрез отказались. Хмурые, озлобленные, с окаменелыми лицами, они стояли в небрежных позах, с руками, засунутыми в карманы, как бы стараясь этим подчеркнуть полное презрение к сидевшему в золоченом кресле бородачу.

Пугачев, едва сдерживаясь, хранил суровое молчание, затем он перевел свой взор на пленных солдат, чинно стоявших поодаль в строевом порядке, и подумал: «Эти бесхитростные».

— Как вы осмелились, — вдруг разразился он резким окриком на офицеров, — как вы осмелились вооружаться супротив меня?! Как в вас совести-то хватило?! Нешто вы не знали, что я ваш государь? На солдат моего гнева нет, они люди простые. Да и

то вон ружья-то побросали первые. А ведь вас силою взяли, сколько народу моего поизранили вы. А еще офицеры! Как же вы регулы военные не знаете?.. — Он помолчал. — Какой-то средь вас обормот кричал там, требовал царя показать. Вот я — царь ваш!..

Кто-то в кучке офицеров всхохотал, кто-то голосисто выкрикнул:

— Не тебе бы, вору, рацеи нам читать!

Пугачев эти дерзкие слова слышал, но сделал вид, что пропустил мимо ушей.

— Вам бы в ноги мне, государю своему, валиться да прощенья просить, а вы и в ус не дуете, кой-как избоченясь, стоите пред императором и ручки в кармашки... — смягчив голос, проговорил Пугачев, стремясь внушить им надежду на свою милость. Но офицеры нисколько не меняли своих вызывающих поз.

Пугачев, потеряв терпение, вскочил, сжал кулаки, его глаза дико вспыхнули, он с силой крикнул:

— Смирно! Руки по швам, злодеи!

Офицеры, как бы пронизанные огненным током, вздрогнули и, не отдавая себе в том отчета, враз опустили по швам руки. Пугачев, едва переводя дыхание, сел. Он ждал, с явным нетерпением ждал, что офицеры всенародно раскаются, как сделали это Шванвич, Волжинский, прапорщик Николаев, и что он, Пугачев, кой-кому из них окажет милость: ведь добрые офицеры из служилой бедноты до крайности ему нужны. «Ну пусть бы хоть для виду признали меня, а уж что у них на душе было бы, леший с ними», — думал Емельян Иваныч.

Однако тридцать два офицера стояли, как окаменелые. Их бледные лица как бы говорили: «Умрем, а присяге не изменим!»

Тогда Пугачев, выждав время, обратился к Чернышеву:

— И ты еще смеешь называть себя полковником! Какой же ты есть, к чертовой бабушке, полковник, когда свой отряд бросил да мужиком вырядился? Ежели б ты шел в порядке, так, может статься, и

в Оренбург попал бы... Вот вы все стоите передо мной, перед государем, — продолжал он более сдержанно. — И волен я вас смертию казнить, волен и помиловать...

Осужденные безмолвствовали. Лицо Пугачева внезапно исказилось, меж глаз врубилась складка, он взмахнул платком и закричал:

— Вздернуть! — Он задохнулся и хриплым голосом закончил: — Всех до одного!

Осужденные стали прощаться друг с другом, некоторые обнимались. В рядах солдатства послышались соболезнующие вздохи, кряхтенье. По знаку Давилина с казнимых начали срывать одежду, стаскивать сапоги и каждого по очереди подводить к виселице.

Еще утром мечтавший о славе полковник Чернышев, ощутив на шее петлю, со смертной тоской подумал: «Вот как припало умереть».

Пугачев велел позвать попа, чтобы учинить солдатам присягу. Поп Иван был сильно выпивши. Его, облаченного в ризу, вел под руку Ермилка, внушал ему:

— Держись за меня крепче... Шагай чередом лаптями-то! Правой, левой, правой, левой!

Вдруг, и совершенно неожиданно, когда Ермилка уже раздул кадило, а поп Иван, торопясь освежиться, натирал лицо снегом, из солдатского отряда выдвинулись тринадцать стариков и, дрожа, громогласно заявили:

— Старую присягу всемилостивой государыне мы рушить не в согласье. Хошь вешайте, хошь жгите нас!

На минуту стало так тихо, что было слышно, как, врываясь из степи, присвистывает у виселиц тугой ветер. Но вот, пораженная небывалым случаем, толпа, окружавшая площадь, загалдела что-то непонятное.

У Пугачева сжалось сердце. Привстав с кресла, он в крайней запальчивости крикнул:

— В петлю! Всех! Офицеров и солдат... — затем, взглянув в сторону раскоряки попа, добавил: — А как

поп присягу кончит, вздернуть и попа, чтобы безо время не пил.

Поп Иван, услышав звонкий голос государя, со страху сел в снег, потом, под сдержанное улюлюканье толпы, пополз на карачках к золотому креслу.

Утомленный Пугачев сидел, низко нагнувшись. Он упер левый локоть в подогнутую ногу, подшибил ладонью щеку, будто у него зуб болел, и глядел себе под ноги, как бы рассматривая узор персидского ковра, на котором стояло кресло. По ковру бежал, поводя усами, рыжий таракан. Пугачев приподнял ногу, раздавил его.

Ударил барабан, царь вскинул голову и выпрямил корпус. Мимо него вели на казнь тринадцать старых солдат. Связанные по рукам, с седыми из-под шляп косичками, согбенные, они шли расхлябанной старческой походкой, тяжело отдирая от земли согнутые в коленях ноги. В глазах у них сознание своей правоты и примирение со смертью. Один из стариков, проходя мимо Пугачева, зорко взглянул в лицо его и, шагая к виселице, низко опустил голову. Вдруг Пугачев прищурился, схватился за поручни кресла, подался вперед.

— Давилин, беги узнай, как зовут старика... вон-вон этого, что обертывается, с красным носом.

Через минуту Давилин доложил:

— Оный солдат, ваше величество, Носов... Павел Носов.

Борода Пугачева дрогнула; как бы пробудившись от сна, он провел сверху вниз по лицу ладонью и приказал Давилину:

— Немедля развязать его, отвести в канцелярию. Пускай там ждет.

Затем он рывком поднялся с кресла, махнул платком, барабан смолк, солдаты-смертники остановились у самых виселиц. Громко, чтобы слышали не только солдаты, но и все скопище народа, Пугачев проговорил:

— Всем приговоренным старикам непослушникам дарую жизни царским своим именем. Их, сирых,

в обман ввели офицеры. Они люди старые и на многих сражениях в чужестранных землях не единожды бились... За мать Россию кровь лили, за дедовщину нашу. Будьте же вы, старики, вольны!

Народ, бросая вверх шапки, закричал царю «ура». Не ожидая, когда покончат с офицерами, царь ушел к себе. Трупы казненных были брошены в овраг, и потом долго по ночам, подвывая, бродили вокруг волки.

3

Старый солдат Павел Носов в полном душевном изнеможении сидел в углу избы, безучастно глядя перед собой и ни о чем не думая. В избу входили военные люди, о чем-то говорили между собою. За двумя, топорной работы, столами писались бумаги, пришлепывались к ним сургучные печати. Горела под шапкой копоти вставленная в бутылку сальная свеча. В углах — потрепанные разноцветные знамена с белыми крестами по полотнищам. Под лавками и на лавках — бумаги, писцовые книги, сапоги — старые и новые, со шпорами и без шпор, офицерские шпаги и шляпы, седла, уздечки, всякая рухлядишка. На полу — плевки, клочья рваной бумаги, пепел, растоптанные угли.

В окно постучал с улицы какой-то бородач и крикнул:

— К ужине, к ужине! Снедать! Эй, канцелярия!

Трое писарей и четверо сидевших на лавках пожилых казаков быстро встали. Молодой писарек дунул на свечку, сказал Носову:

— Ты, дедушка, сиди до особого приказу государева. Я тебя запру здеся-ка. Вот тебе хлебца, пожуй. Зубы-то есть, еще не все на службе выбили? Да вот два яичка тебе, а тут соль.

Носов ничего не сказал, даже не поблагодарил, он как будто и не слышал слов молодого, в суконном кафтане, человека.

Прошел час, а может — два. Стало темно. Загремел замок. В избу, широко распахнув дверь и заперев

ее изнутри на крюк, вошел с большим зажженным фонарем широкоплечий Пугачев. Он был в простом темно-синем казацком чекмене, через плечо у него — широкая голубая лента с генеральской звездой, при бедре богатая сабля. Он во все стороны поводил фонарем, отыскал сидевшего в самом темном углу старика, подошел ближе и, направив свет фонаря в его лицо, просто, задушевно спросил:

— Павел Носов, узнал ли ты меня?

Лицо Пугачева было в тени, а старые глаза солдата видели плохо.

— А чего мне узнавать, — недружелюбно ответил он, ошаривая сердитым взглядом голубую ленту со звездой. — Все толкуют, что ты царь, а я этому глупству веры не даю. И ни в жизнь не дам... Государь Петр Федорыч преставился давным-давно. А ты кто? Ты набеглый царь, самозванец!

— Неужто невмочь тебе узнать меня? — еще мягче промолвил Емельян Иваныч, колупая ногтем наплывшее на фонаре сало. — Я Пугачев, казак Емельян Пугачев. Припомни-ка!

— Ась? — Носов вздрогнул, наставил к уху согнутую козырьком ладонь. Имя «Емельян Пугачев» хотя и прозвучало в его сердце чем-то близким, но незнакомый голос и чуждый вид стоявшего пред ним матерого человека не вызвали в памяти старика вполне отчетливых представлений. — Ась, ась? А подь-ка сюда! — Закряхтев, он взял из руки Пугачева фонарь и направил свет в его лицо. — Ну-тка, ну-тка...

— Да ведь мы с тобой, дядя Павел, вместях Фридриха били! Как прощались с тобою, ты говорил: «А доведется ли, мол, встретиться нам, Омелька?»

Павел Носов часто задышал, голова его тряслась. Пугачев сказал, густо улыбаясь:

— Ну так как, дядя Павел? Подлого мы с тобой званья? Не люди мы?! Помнишь слова свои тогдашние?

Носов вспомнил наконец. Вот оно что! Пред ним тот самый казак Омелька, с которым много лет

назад он коротал время при Гросс-Эггерсдорфской битве [1].

— Аа-а, вот ты кто! — выдохнул он сурово и, сунув фонарь на лавку, стал приподыматься, расправляя уставшую спину.

Пугачев было бросился к нему, чтобы поддержать, но растерялся, попятился: встряхивая головой, с сжатыми кулаками, старик наседал на него.

— Злодей, злодей!.. — кричал он удушливо, брызгая слюною. — Клятвопреступник! Душегуб! Пошто ты людей-то в обман вводишь, разбойник?! Пошто кровь-то льешь неповинную?.. Эвот господ офицеров на виселице вздернул! А за что? За то, что присяги не нарушили, тебе, неумытой харе, не присягнули... Да как это, сукин ты сын, царем-то умыслил нарекчи себя?.. Ну, вот что: не поклонюсь я тебе, ирод! Ты вот дверь-то запер, так я в окошко выпрыгну, да и загайкую на весь народ: «Хватай Омельку, я давно знаю его, подлеца!» Так на ж тебе, царская твоя морда самозванная!.. — Павел Носов плюнул в горсть и замахнулся на Пугачева.

— Стой, старый петух, прочухайся! — И Пугачев схватил его за руку.

Павел Носов был свиреп и непокладист, как все старые, повидавшие горя солдаты того времени. Вырвавшись из рук Пугачева, он был вне себя. Он чувствовал близость конца своего и безбоязненно ждал его, как избавления от всех долголетних мук своих.

И вдруг зазвучал тихий, убеждающий голос Емельяна Иваныча:

— Эх, дедка, дедка! Поверь, не ради себя, ради всех вас, обиженных, иду, за правду постоять иду. Я ведь только супротивников народных изничтожаю, а того и народ хощет, того и народ ищет. Ты только покрепче подумай, старик, взмысли хорошенько: ведь мне-то, Емельяну-то, ничего не надобно! Нешто легко мне? Эх, не гораздо легко мне, дедушка Павел. Чую я, долго ли, коротко ли, сказнят голову мою... Ну, да

---

[1] Во время Семилетней войны с прусским королем Фридрихом II.

ведь я не страшусь. Я, дед, за сирый народ жизнь кладу. За тебя и за твоих внуков такожде, чтоб все вы вольными человеками стали. Сам же, старый, там у костра, на прусском-то походе, молвил мне: «Подлого-де званья мы с тобою, Омелька, не люди мы». Помнишь ли слова свои, Носов?

— Помню, ой, помню! — откликнулся старик, приметно оседая духом.

— Вот я и взмыслил, Носов, чтобы в нашем царстве-государстве подлого званья и в помине не было.

Пугачев длинные речи не умел высказывать, стоя на одном месте. Он заложил руки за спину, стал шагать по скрипучим половицам. Неровный желтоватый свет фонаря скупо освещал жилище, пламя моталось во все стороны, и чудилось, что знамена на углах колебались, пошевеливалась беленая печь, подпрыгивали вверх и валились книзу оконца, покачивались прокопченные бревенчатые стены, словно бурые выцветшие шали под слабым ветром.

Подергивая плечами, сидел в углу екатерининский солдат с седыми, распущенными по плечам, как у монаха, волосами. Он овладел собою и уже внимательно вслушивался в слова Пугачева, которые становились все сердечней, выразительней:

— Эй, дядя Павел, дядя Павел!.. Много ль заслужил ты солдатством своим? Ноженьки твои едва несут тебя, стар ты стал, всю силу свою порешил на царской службе. А кто приют тебе даст на старость-то бездомную? Под забором где-нито смерть примешь, как пес. А ведь всю жизнь ты отечество защищал, Россию защищал, в бомбардирах ходил. Вот и теперь, Павел Носов, и теперь супротив меня как супротив разбойника шел, за царицу на виселице возжелал самолично умереть, за бар да за начальство стоять хотел. Ну-тка ответь по чистой по совести, супротив кого на дыбки поднялся? — Пугачев, круто повернувшись, остановился вблизи солдата. — Супротив народа шел ты, Павел. А народ проснулся, проснулся-таки на один глазок, народ воли захотел да земли барской, да с великим тиранством помещичьим рас-

честься порешил народ... С тем и в цари над собой меня поставил... меня, в цари!.. Чтоб я землю учинил от бар всю пусту! А что я, простой казак, в цари залез, так ведь и от черной коровы молоко-то белое... Правду ли говорю, Носов, ась?

Старый солдат взмотнул головой, лицо его задергалось, губы задрожали, казалось, он вот-вот всхлипнет, расплачется. Некий внутренний свет озарил всю жизнь его, и стало ему жалко себя. Да не только себя. «Господи, прости ему измену его противу присяги... Господи, пособи ему, окаянному, авось что и выйдет путное», — думал он, вслушиваясь в речь Пугачева. Опираясь руками о лавку, он с трудом поднялся и, заскулив, припал головою к плечу своего былого любимца.

— Эх, Омельянушка, Омельянушка!.. Растревожил сердце ты мне.

И они оба умолкли.

— Вот что, старик, — начал снова Пугачев, отстраняясь от Носова. — Пусть для тебя Емельяном буду, а для прочих всех — царь я. Понял?

— Тебя ли мне не понять!..

— Хочешь, служи у меня, не хочешь — иди на все четыре. Отныне не подлого званья человек ты есть, а вольный казак государев. А чтобы было тебе чем старость свою отогреть да время до смертного часа скоротать, на вот тебе, дедушка, прими от меня. — И Пугачев подал солдату холщовую увязку с золотыми червонцами.

— Что ты, что ты, батюшка!.. — всхлипывая и шамкая, забормотал Носов. — Дозволь уж мне, древнему, верой-правдой вместях с тобой послужить.

— Служи, Павел Носов, — сказал Пугачев, взял фонарь и быстро вышел.

4

Губернатор Рейнсдорп предпринял новую против пугачевцев вылазку.

Сильный отряд в две с половиной тысячи человек при двадцати шести пушках, под командованием Вал-

ленштерна, выступил около полудня чрез Бердские ворота и беспрепятственно добрался до занятой пугачевцами высоты, что в пяти верстах от Оренбурга.

Вскоре и Пугачев двинулся против Валленштерна со всеми своими силами. В его действующей армии было сейчас до десяти тысяч человек при сорока орудиях. Чернышевские солдаты, а также тысячи невооруженных крестьян были выгнаны из Берды и расставлены по Сыртам, чтобы многолюдством своим внушить неприятелю страх.

Отдельными отрядами командовали Шигаев, Падуров, Творогов и возвратившиеся из походов Овчинников с Зарубиным-Чикой. Чумаков, как всегда, распоряжался артиллерией. Общее же командование принадлежало Пугачеву.

Выходил со своими посаженными на коней гренадерами и есаул Шванвич. Гренадеры в деле слились с оренбургскими казаками Падурова.

Переодетая казаком Фатьма впервые увидела Шванвича, перемолвилась с ним несколькими словами и осталась весьма довольна этой встречей. Наоборот, Падуров был немало встревожен тем, что атаман Овчинников назначил в его роту есаула Шванвича.

После пушечных гулов передовые конные отряды той и другой стороны вошли в соприкосновение и ружейную перестрелку. Конники, сшибаясь, начали пощупывать друг друга пиками, башкирцы, хватившие вина, с азартом пускали стрелы, работали копьями, ножами, волкобоями. Обе стороны бились храбро. Пугачев вел сражение, а Чумаков, передвигая с места на место пушки, имел расчет подальше заманить Валленштерна, отрезать его от крепости и раздавить. Крепость оставалась позади верст на пять. Берда же, куда, заманивая противника, помаленьку отступали пугачевцы, стояла от них всего верстах в двух-трех. А уже был в исходе пятый час, скоро лягут сумерки. Валленштерн устрашился многочисленного, на прекрасных лошадях, врага, которому он никак не мог противопоставить свои легкие полевые части, сидевшие на заморенных клячах. По ходу боя

он ясно видел грозившую ему опасность попасться в лапы врага и приказал своему отряду строиться в боевое каре для обратной ретирады в крепость.

Он злился, он негодовал на пугачевцев, — уж который раз ему приходится с позором отступать, — но и на сей день для него иного исхода не было.

Отступление Валленштерна походило на бегство. Пугачевцы с таким проворством со всех сторон наскакивали на врага и, сделав свое дело, снова уносились в степь, что отряду Валленштерна было бы несдобровать, если б на выручку не подошел со своими казаками Мартемьян Бородин.

Сильно потрепанный отряд Валленштерна, пробиваясь сквозь назойливую конницу неприятеля, вскоре ушел под защиту крепостных пушек, и пугачевцы свое преследование прекратили. Валленштерн без всякой пользы для дела потерял тридцать два человека убитыми, девяносто три ранеными и четыре пушки.

Эта новая, уже третья за короткое время, блестящая победа радовала Пугачева.

Он передал взмыленного коня Ермилке, забрался на бугор и сел на большую удобную корягу. У него побаливала голова, он с утра почти ничего не ел, возбужденные продолжительным боем силы его просили отдыха. Он расстегнул нагольный полушубок, нахлобучил на глаза лохматую шапчонку, достал из кармана кусок баранины да круто посоленный ломоть хлеба и принялся с аппетитом есть.

Мороз был слабый. Спустились сумерки. Чрез серую муть видно было, как вдали, на крепостном валу, один за другим зажигались костры. А по снежному полю то здесь, то там темнели небольшие разъезды пугачевцев. Они подъезжали к какому-нибудь трупу, раздевали его догола, ехали к другому мертвецу. Иные трупы они подвязывали к хвостам лошадей и волокли в Берду. Пугачев видел, как во многих местах, пособляя лошадям, люди перли на себе чрез увалы пушки.

Вот всадник скачет от орудия к орудию, что-то кричит, размахивая руками. Это, должно быть, Чума-

ков. Вот впереди кирпичных сараев другой всадник, на белом коне, а по бокам его — двое. Это Овчинников со своими ординарцами.

И третий, необычный... Зоркий Пугачев подметил его еще издали, почти от самой крепости. Он скакал во весь опор, нашпаривая рослого коня нагайкой. Время от времени он на минуту приостанавливался возле пугачевцев, о чем-то спрашивал их и снова мчался вмах. Вот он ближе, ближе и — прямо к Пугачеву.

— Эй, казак! — хриплым, взволнованным голосом бросил он сидевшему на коряге оборванцу. — Где государь?

— Я государь, — прожевывая баранину, равнодушно ответил Пугачев.

— Подь к черту! — буркнул всадник. — Его всурьез спрашивают, а он... — И обиженный всадник понесся прочь от Пугачева.

Готовясь проглотить разжеванный кусок, Емельян Иваныч уставился вслед складному детине. А тот, подскакав к ближайшим из пугачевцев, крикнул:

— Где государь?

— А эвот-эвот, на пригорке-то сидит, на коряжине-то.

— Который? Вот тот?

— Ну да... Он самый и есть государь-ампиратор.

Изумленный всадник растерялся, опять подъехал к Пугачеву, и снова, уже с колебанием и некоторой робостью, спросил его:

— Вы... государь?

— Экой ты дурень, братец! — ответил Пугачев. — Я ж тебе сказывал давеча, что я и есть — кого ищешь. Что надо?

Всадник соскочил со взмыленного коня и, ведя его за собою в поводу, твердым шагом подступил к Пугачеву.

— Ваше величество, — сказал он, сдерживая взволнованный голос. — Я офицер Андрей Горбатов... из Оренбургской крепости...

— Ага... от Рейнсдорпа, что ли? — спокойно откликнулся Пугачев, кладя на всякий случай руку

на рукоятку сабли. — Сдаваться, что ли, надумали там? Ась? Бумага имеется?

— Ваше величество! Могу ответ держать за себя лишь. Так что решил я послужить вам верой и правдой.

— Аа-а... Ништо, ништо, господин офицер! — ничем не выдав своего смущения по поводу иного оборота дела, вымолвил Пугачев. — Ежели без коварства слово держишь, изволь — служи.

— Можете испытать меня, ваше величество.

— Ништо, ништо, — повторил Пугачев, цепко приглядываясь к рослому, белокурому, с темными глазами молодому человеку. «Вот это офицер!.. Не то что мошенники чернышевские», — подумал он и спросил: — А чего ж на тебе не офицерский мундир, а чекмень казацкий?

— Казацкую экипировку приобрел в Оренбурге я, на базаре, государь... Чтоб сподручней было бежать.

— И то верно. Какой чин на тебе?

— В Петербурге имел чин капитана, но по суду разжалован в прапорщики и выслан в Оренбург на службу.

— О! — повеселел Пугачев. — Видно, одна у нас с тобой судьба: и меня, братец, двенадцать годков тому назад в Питере-то такожде разжаловали... из царей. Да вот, как видишь, господь опять призвал меня сесть на вышнее место, а добрые люди помогли тому. За что же тебя пообидели, друг?

— Накрыл я, ваше величество, с поличным нашего казнокрада-полковника. А у того большие связи, я же человек мелкого калибра. Виноватый оправдался, а мне от нашего правосудия довелось пострадать, государь.

— Ах, негодяи! — произнес, улыбаясь, Пугачев. — А во всем повинна насильственно восшедшая на престол супруга моя. Зело много она развела всяких корыстолюбцев да мздоимцев... А ты, видать, человек бесхитростный, честный. Таких уважаю... Ну, ладно, Горбатов, ладно, брат! — Пугачев поднялся, дал выстрел из пистолета. К нему подскакали ближайшие казаки.

— Проводите-ка, детушки, господина капитана в штаб, — на слове «капитан» он сделал ударение, — да велите моим именем Почиталину, чтоб немедля квартиру сыскал ему.

Горбатов с казаками уехал в Берду.

Ермилка подвел Пугачеву коня. Застоявшийся жеребец покосился умными глазами на широкоплечего грузного хозяина, легко и грациозно подбросил себя вверх, сделав «свечу», принялся по-озорному ходить на дыбах. Ермилка, внатуг державший его в поводу, проелозил по снегу сажени три на подошвах, слегка ударил жеребца нагайкой, весело заорал:

— Ты! Балуй, тварь!

Жеребец поджал уши, всхрапнул и, словно вкопанный, замер. Пугачев вскочил в седло.

В слободе уже светились огоньки. У ворот своей квартиры стояла в темной шубке с белым воротником и в пуховой шали Стеша Творогова. Узнав проезжавшего государя, она низко поклонилась ему.

— Будь здорова, Стеша, — крикнул он. — Чего в гости не захаживаешь?

— Спасибо, сокол ясный... Зайду, улучу часок...

По случаю победы слобода всю ночь предавалась бражному веселью.

Гуляка поп Иван, за пьянство приговоренный Пугачевым к виселице, с радости, что получил помилование, пил без просыпу еще несколько дней.

Последняя военная удача так взбодрила Пугачева, что он решил послать генерал-поручику Рейнсдорпу указ, в котором требовал покорности и сдачи города. После довольно велеречивого вступления в указе говорилось:

«... Только вы, ослепясь неведением или помрачившись злобою, не приходите в чувство, власти нашея безмерно чините с большим кровопролитием и тщитеся пред светящееся имя наше, как и прежде, паки угасить и наших верноподданных рабов, аки младенцов, осиротить. Однако мы, по природному нашему к верноподданному отечеству великодушию, буде

хотя и ныне, возникнув от мрака неведения и пришед в чувство власти нашей усердно покоритесь, всемилостивейше прощаем и сверх того всякого вольностью отечески вас жалую». Далее, за ослушание государевой воле указ угрожал «праведным нашим гневом».

Губернатор Рейнсдорп, читая указ в обществе начальствующих лиц, то впадал в бессильное негодование, то разражался скрипучим желчным смехом. Глаза его с крайним подозрением виляли от лица к лицу. Он чувствовал, что все его поступки предаются резкой критике, что чиновники, от мала до велика, считают его плохим военачальником и чуть ли не в глаза тычут ему, что есть он простофиля. О мой бог! Какие настали времена, как изменились люди!..

— Да, господа,— сказал он, — к великому несчастью, наш гарнизон, как это усматривается чрез многочисленный неудачный опыт, ничего с этот плут Пугашов поделать не может. И мы, господа, стоим в очшень затруднительном положенье, чтобы не сказать более...

— Мне сдается, — насмешливо поглядывая на губернатора, начал тучный, задышливый директор таможни Обухов, — мне сдается, что о гробе с музыкой, который вы собирались устроить самозванцу, нам надлежит забыть и усердно молить бога, как бы Пугачев не устроил оного гроба нам, но без музыки...

— О нет, нет! Ви очшень ошибайтесь, господин Обухов. Мы этому негодяй еще устроим гроб и музыку. Два гроба с двумя музыкам! — выкрикнул губернатор, во все стороны повертываясь на кресле и грозя пальцем. Присутствующие невольно улыбнулись, а Обухов, таясь, выругался в шляпу. — Только не тотчас, не тотчас. Вот подоспеет сильный подкреплений извне, тогда разбойничкам — капут!

— Но ведь вы сами же изволили еще в начале октября писать генералу Деколонгу, предлагавшему помощь, чтобы он стоял на месте, ибо вы в его помощи нимало не нуждаетесь, — не унимался дерзкий на язык Обухов.

— То был один время, теперь настал другой время, — обиженно проворчал губернатор. — Ви еще очшень неопытна в военном деле, господа. Ви еще не знайт, что такое наш общий враг... этот... этот... Вильгельмьям Пугашов. О, сей каторжный душа весьма опытный воячка! Да он, шорт возьми, настоящий Вобан, самый лючший французский инженер и стратег. Вот кто Пугашов! Этот самая маршал Вобан своя тактика очшень легко брал крепости. Сто лет тому назад, сто лет! Впрочем, ви и понятий о нем не имейт, чтоб не сказать более...

Плотный пучеглазый Валленштерн, качнув головой, стал с жаром Рейнсдорпу возражать:

— Ставить на одну доску Пугачева и Вобана несколько удивительно, особливо для такого опытного полководца, каким вы себя считаете. Кроме сего, к вашему сведению, генерал, ежели этого не знаете: ваш Вобан не только мастер был брать крепости, но умел и замечательно строить их. А наша Оренбургская крепость, невзирая на большие ассигнования, до сих пор руина. Куда деваются деньги, аллах ведает.

Рейнсдорп нервно понюхал табаку, не страшно посверкал глазами и, чтоб замять неприятный разговор, вскинул вверх руку с зажатым в ней платком.

— Господа! У меня созрел в голова очшень лючший прожект. — Он оживился, и все зашевелились, незаметно подталкивая друг друга локтями и готовясь услыхать от губернатора очередную забавную несуразность. — Генерал-майор Валленштерн и вы все, господа, помогайт мне. С завтрашняя ночь сгоняйте наряды сольдат, каторжников, разные воришки, а в равной мере — обыватель, штоб... штоб рыли за стенами крепости по полю много волчья яма. Чем больше, тем лючше.

— Земля промерзла, будет затруднительно...

— Отогревайт пожогом, взрывайт порохом... А сверху надо прикрывать сучочками...

— Хворостом?

— Да, да, хворост, хворост! А еще сверху подсыпать снежок... Неприятельский самый пьяный касак

поедет, ату-ату и — в яма... Еще ставить по всему степь волчий капкан. Да, да, волчий капкан! Прошу спрятать ваши улыбка. Приказать кузнецам делать много-много капкан...

— Хорошо, — иронически пожав плечами, дал вынужденное согласье обер-комендант Валленштерн. — Но, опасаюсь, как бы и наши казаки не поломали себе шеи в этих ямах да капканах.

— Глюпости! — вскричал губернатор и, обратясь к верткому, похожему на обезьяну делопроизводителю: — Вот что, голюбчик, заготовьте-ка мне бумагу генерал-майору Кару такого содержания... (Губернатор и не подозревал, что злосчастный Кар, бросив свою боевую часть, подъезжал в это время к городу Казани.) Первое... Место расположения Кара, сколько у него войска, пусть как можно скорей поспешил наступлений. Когда намерен он прибыть к крепости, чтоб я мог высылайт ему встречу отряд. Ви составьте, а я наведу окончательная штиль. Ну-с... Да, господа... наше дело швах! Продовольствия у нас на одна месяц, фуража для лошадей того менее... Швах, швах, господа!..

ГЛАВА VII

Генерал Кар пойман. «Персональный оскорбитель». Песенка о сарафане. Екатерина вела заседание нервно

1

Состояние Казани и той части Казанской губернии, которая граничила с губернией Оренбургской, во многих отношениях было самое плачевное.

Губернатор Брандт все еще находился в Кичуевском фельдшанце. Отсюда он распоряжался расстановкой ничтожных воинских частей вдоль рубежей своей губернии, организовывал отряды из закамских дворян и их дворовых людей, из экономических, дворцовых и ясашных крестьян, чувашей и черемисов. Но

эти ополчения были плохо вооружены, скверно обучены и не могли представлять собою сколько-нибудь внушительной силы. Иных же войск в Казани не имелось. К тому же Казань была обременена большим числом возвращавшихся из Сибири польских конфедератов, да, кроме того, в городских тюрьмах находилось до четырех тысяч колодников.

Отсутствие воинской силы необычайно тревожило жителей Казани. А тут пошли слухи о неудачах Кара, о том, что пугачевцы уже появились на Самарской линии и подступают к Бузулукской крепости [1].

Наконец губернатор фон Брандт возвратился из поездки.

Многочисленные шпионы, разосланные Брандтом по дорогам, доносили ему о том, что крестьянское население про его поездку в один голос говорит:

— Губернатор к батюшке-царю на поклон ездил, там присягу принимал и поклялся, что коль скоро государь прибудет брать Казань, губернатор с владыкой Вениамином встречь ему выйдут с хлебом-солью.

— Глупый народ, глупые мужики, глупые и подлые! — возмущался Брандт. — Значит, они считают меня изменником и тайным слугой плута Емельки?.. О боже мой! Этого только недоставало.

Следом за Брандтом явился в Казань, как снег на голову, и расхворавшийся генерал Кар.

Когда в городе об этом узналось, купечество, зажиточная часть горожан и многочисленные, страха ради съехавшиеся сюда помещики пришли в немалое смятение: значит, плохо дело, значит, самозванец Пугачев силен, раз петербургский вояка-генерал не смог устоять противу него. Среди же бедноты шли скрытные и довольно своеобразные суждения, точь-в-точь повторявшие слова покинутых Каром солдат:

— Видали, мирянушки, куда дело-то повертывает? Стало быть, Кар-генерал уверовал в батюшку, что он доподлинный, а не подставной, и не похотел воевать с ним, больным прикинулся.

---

[1] Невдалеке от Бугульмы.

И уже стали шляться по кабакам, по базарам разные пройдохи, стали разглашать всякую небылицу, охотно принимаемую народом за сущую правду.

Здоровецкий отставной солдат с деревянной ногой и беспалыми, помороженными в пьяном состоянии руками, сидя с нищими у соборной паперти, таинственным шепотом бубнил:

— Вот государь-то ампиратор и вопрошает нашего губернатора: «Ну, Яков Ларивоныч Брант, ответствуй, кому желаешь служить: мне ли, царю законному, алибо Катерине?» А наш губернатор на коленях стоит, в грудь себя колотит, ответствует: «Ах, ваше величество, я хоша и сам немецких кровей, только нет у меня хотенья Катьке служить. Раз вы объявиться соизволили, я вам верой-правдой служить постараюсь». А царь-то и говорит ему: «Вот и молодец, говорит, ты, Яков Ларивоныч Брант! Служи, служи!.. Я знаю, как Катерина приплывала к вам Волгой, ей встреча была богатимая, так уж ты, Яков Ларивоныч, когда я в Казань стану входить, уж и меня ты встреть поприглядистей». — «Встречу, батюшка Петр Федорыч, встречу... Только дозвольте вашего ампираторского совета, как мне голову свою сберечь от царствующей Катерины?» — «А вот как, — отвечает государь. — Ты манифесты-то обо мне Катькины вычитывай, что я, мол, беглый казачишка Пугачев, а сам народу-то тихохонько нашептывай, что я, мол, царь истинный Петр Третий, ампиратор...»

— Откудов, кисла шерсть, знаешь все это? — забросали нищие старого враля вопросами.

Таких вралей хватали, били плетьми, сажали в тюрьмы, но чем усердней хватали, тем больше и больше их появлялось. Ими кишели дороги, деревни, города, они были неистребимы, как запечные тараканы.

Даже можно сказать так: в смутное, легковерное это время почти каждый был сам себе враль, потому что всякий бедняк, бесправный и поруганный, превращался в мечтателя-соблазнителя, каждый мыслил, что вот-вот придет, наконец, пора-времечко, когда будет земля, воля и всяческие послабления.

Вскоре прибыли в Казань и посланные из Петербурга «черкесы» — Перфильев с Герасимовым.

— Ну что ж... Дело ваше для отечества отменное, — сказал, выслушав их, губернатор. — Отдохните да поезжайте с богом к своему коменданту Симонову.

2

При свидании Кар сообщил Брандту о неудачных стычках с пугачевцами, о причинах этих неудач, затем стал жаловаться на свою застарелую болезнь: во всех костях снова появился нестерпимый «лом», а в теле лихорадка и трясение. И когда он, Кар, стал терять последние силы, то решил спасать как свою жизнь, так и безнадежное положение на фронте.

Губернатор Брандт, раздраженный речами неудачника, с болью в сердце рассматривал вспухшие склеротические вены на своих старческих руках (следствие понесенных им за последнее время забот и неприятностей) и, укоризненно поглядывая на взволнованного Кара, то и дело повторял:

— А мы-то надеялись... А мы-то уповали на вас. И вот что вышло... Конфуз, неизгладимый конфуз!

— Но вы понимаете, дражайший Яков Илларионович, — оправдывал себя Кар, — без больших кавалерийских сил и без хороших пушек там и делать нечего: враг искусен, силен и весь на конях. Я-то боевой генерал, я-то смотрю на вещи трезво. А Захар Григорьевич Чернышев...

— Граф Чернышев тоже самый боевой генерал, — возразил мягкий по своей натуре старый Брандт и, притворяясь строгим, сердито пожевал губами. — Первостатейный генерал. Герой!

— Да, да... Но Чернышев, да и все там в Питере самого превратного мнения о мятеже. Вот я и собрался в Петербург, я все приведу в ясность. И ежели моим словам не будет оказано достодолжного доверия, ласкаю себя смелостью дерзнуть обратиться к самой императрице. Надо спасать Россию, Яков Илларионович!

— Надо спасать Россию, надо спасать дворян! — подхватил Брандт и, нащупав пульс, стал незаметно считать удары сердца. — Вся моя губерния встревожена, — продолжал он чуть погодя, — я уже не говорю об Оренбургском крае, — помещики бросают свои поместья и бегут кто куда, крестьяне, оставшись без надежного обуздания, бесчинствуют, жгут поместья, режут скот, грабят господское добро... А на уральских заводах что́ творится... Бог мой! Но у меня нет воинских команд, чтоб приводить чернь к повиновению, чтоб карать мятежников, чтоб охранять священную собственность дворянства... И вы верно изволили молвить: Россию спасать надо!

— Надо, надо, Яков Илларионович!.. И аттестуйте мне какого-либо искусного лекаря.

Пульс у Брандта показывал сто пять в минуту. Брандт сразу упал духом, извинился, разболтал в рюмке воды успокоительные капли, выпил и сказал, обращаясь к Кару:

— Навряд ли вы найдете в Казани доброго эскулапа... Плохие здесь лекаря. Вот и я — пью, пью всякую аптеку, а облегченья нет.

Пробыв в Казани двое суток, болящий Кар двинулся в Москву, предварительно послав графу Чернышеву частное письмо, в котором между прочим сообщал: «Несчастие мое со всех сторон меня преследует, и вместо того, что я намерен был для переговору с вашим сиятельством осмелиться выехать в С.-Петербург, подхватил меня во всех костях нестерпимый лом, и, будучи в чрезвычайной слабости, принужден был поручить корпус генералу Фрейману, отъехать на излечение в Казань, где по осмотре лекарском открылась, к несчастью моему, еще фистула, которую без операции никак излечить не можно. По неимению же здесь нужных лекарств и искусных медиков решился для произведения сей операции ехать в Москву, уповая на милость вашего сиятельства...»

Еще в начале ноября Екатерина повелела архиепископу казанскому Вениамину составить увещание к верующим по поводу «богомерзкой смуты». Вениамин поручил это сделать архимандриту Спасского

монастыря, Платону Любарскому. Увещание было своевременно оглашено по всей казанской епархии. После же отъезда Кара в Москву, когда по Казани стали ходить неблаговидные по отношению правительства пересуды, Вениамин приказал снова огласить пастве свое послание.

«Твердитесь разумом, — писал он, — бодрствуйте в вере, стойте неколебимо в присяге, яко и смертию запечатлети вам любовь и покорение к высочайшей власти».

Он между прочим в своем посланье говорил, что Петр Третий, чьим именем назвал себя Пугачев, действительно умер и погребен в Александро-Невском монастыре, что тело его стояло в тех самых покоях, где жил Вениамин, и что на его глазах приходили вельможи и простолюдины, дабы поклониться праху почившего. Вениамин свидетельствует, что тело Петра Третьего перенесено при стечении народа из его архиерейских покоев в церковь, там отпето и самим Вениамином «запечатлено земною перстью», то есть предано земле.

Но простой народ уже не верил ни царицыным манифестам, ни непреложному свидетельству своего архипастыря, народ брал под подозрение все слова, все действия правительства и церкви. Униженные люди, раз почувствовав в себе некую, хотя бы призрачную, душевную дерзость и свободу, слепо верили только манифестам живого царя-батюшки, невесть как залетавшим в их родную Казань.

Дорога была гладко укатана, под полозьями скрипело. Кар с адъютантом и лекарем ехали в Москву на четверне.

В тридцати верстах от древней столицы болящий Кар был задержан. Курьер в офицерском чине вручил ему предписание графа Захара Чернышева.

Ну, разве это не досада, не пощечина, не кровная обида: пред самой Москвой, в преддверии того, к чему так настойчиво стремился Кар, читать подобные оскорбительные строки:

«А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы сие письмо ни получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Кар лежал больной в избе зажиточного торговца-крестьянина. Он молча перечел бумагу дважды. Веки его подрагивали, волосы на запавших висках топорщились. Приподняв голову, он оправил слабой рукой подушку и сказал гонцу-офицеру:

— Передайте графу Чернышеву, что его приказания вернуться к корпусу, в силу своей болезни, я исполнить не могу. Коль скоро я поправлю в Москве свое здоровье, то буду ласкать себя надеждой видеть его сиятельство лично.

И, отдохнув, Кар к вечеру был уже в Москве.

Хотя по распоряжению главнокомандующего Москвы, князя Волконского, пребывание Кара в первопрестольной от всех скрывалось, однако, как это нередко случается, чем тщательнее правительство охраняет от народа какую-либо тайну, тем скорей народ эту тайну узнает, — и весть о возвращении Кара из-под Оренбурга быстро облетела всю Москву.

Если появление Кара в Казани имело там нелестную для правительства «эху», то в Москве разные досужие кривотолки, а наравне с ними самая жестокая критика поведения Кара и нераспорядительности Петербурга приняли столь недозволенные масштабы, что Екатерина, проведав о них, рекомендовала Волконскому вновь опубликовать старые сенатские указы о болтунах. Дворяне и зажиточные круги говорили о Каре:

— Это не генерал, а баба, — не мог с бездельниками совладать, сбежал. Под суд его!

Подливали масла в огонь и приехавшие из Казани беглецы помещики, разнося повсюду самые тревожные известия.

Москва в своих низах далеко не была спокойна: отголоски недавнего чумного бунта[1] все еще ходили по городу. О любопытных делах под Оренбургом,

[1] В 1771 году.

о грозном Пугачеве, о волнениях в Башкирии знал всякий. Изустные вести о мятеже долетали до Москвы скорее, чем писаные бумажки губернаторов.

Московские простые люди, проведав о приезде Кара, в трактирах, в банях, по базарам, а раскольники — в моленных с осторожностью передавали друг другу:

— Пугачев всыпал генералу-то... во как! Говори, где чешется... Только сумнительство берет, чтобы простой казак мог генерала с войском покорить... Ой, не Пугачев это, не бродяга... Врут манифесты, истину от народушка сокрыть хотят... Сам Петр Федорыч это — не Пугачев...

Обер-полицмейстер Архаров хотя имел всюду свои глаза и уши, но сыщики либо не там, где надо, выслеживали болтунов, либо эти болтуны, за версту чуя врагов своих, прикидывались патриотами. Обер-полицмейстер, получавший от сыщиков утешительные сведения, вводил князя Волконского в заблуждение, докладывая ему, что на Москве «все обстоит благополучно». А князь Волконский, немало постаравшийся в деле возведения Екатерины на престол, в свою очередь обманывал свою обожаемую благодетельницу, письменно сообщая ей:

«Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и смирно, и врак гораздо меньше стало. Только один большой, вашему величеству известный, болтун вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех. А другие перебалтывают».

3

Большой болтун этот был не кто иной, как граф Петр Иваныч Панин, давнишний «персональный оскорбитель» Екатерины. Крепкий духом и неподкупной честности вельможа, он стоял, как на поляне дуб, в стороне от придворных всяческих интриг. Упиваясь своим, может быть, призрачным величием и в то же время считая себя обойденным в заслуженных им наградах и милостях, он в озлоблении своем

давал полную волю языку, отравляя желчью своих слов покой многих царедворцев и, в первую голову, покой самой императрицы.

После геройского взятия грозной крепости Бендер (где им был награжден за храбрость казак Емельян Пугачев званием «значкового товарища», или хорунжего) Панин никакого особого отличия не получил и, обиженный невниманием к нему императрицы, подал в отставку. Подозрительная и лицеприязненная Екатерина сочла поступок Панина демонстративным, разгневалась на него, и генерал Петр Панин попал таким образом в опалу.

В своем подмосковном имении Михайловке Панин задумал соорудить миниатюрную копию Бендер с гранитными стенами, воротами, бойницами и башней. В нем, очевидно, теплились стремления к славе, неистребимая тоска по бессмертию. Показывая близким приятелям игрушечную крепость, он с солдатской грубостью и обычной дозой перца говорил:

— Мне памятника за мои государственные заслуги Катюша не поставит, я, как говорится, рылом не вышел и профиля античного лишен природой, так вот я сам себе поставил памятник. Вот он! — И Панин, встав в картинную позу, воинственно простирал руку к копии покоренных им Бендер.

Льстя его слабости повеличаться, гости делали ласкательные лица и наперебой говорили ему:

— Ну конечно же, Петр Иваныч, ты достоин и не этакого памятника. Тебя вся Россия чтит за геройство твое.

— Эка хватили! Никто меня не чтит. Разве что солдаты, со мной бывшие. А Катерина... Ох, уж эта Катерина!.. Она, окромя себя да своих друзей, никого не чтит. А впрочем сказать, и эфтого нет. Она друзей сердца поглощает и выплевывает в меру аппетита, как разбогатевший, обожравшийся откупщик из мужиков. Ему подавай то истинно русскую, то польскую, то французскую стряпню. Точка в точку и ее, нашу всемилостивую матушку, бросает от тертой редьки к шампанскому, от шампанского к гречневой каше с коровьим маслом, от каши к малороссийской

колбасе. Синяя борода или Гарун-аль-Рашид в сарафане. Ха!

Обескураженные гости, пугливо посматривая то в суровое с перекосившимся ртом лицо Панина, то друг на друга, смущенно покашливали и предавались короткому таящемуся смеху.

— Она покровительствует только тем, кто ей угождает да шлейфы ее пыльные целует, — желчно продолжал Панин, вышагивая с гостями по аллеям английского парка. — Эвота самое доверенное лицо нашего московского сатрапа по чрезвычайному секрету передало мне, быдто бы эфтот самый сатрап Мишка Волконский в своих цидулях к всемилостивой матушке льстивые немецкие стишонки преподносит ей. Смысл оных таков: «Если хорошо нашей государыне, то все идет как по маслу, а ежели все идет как по маслу, то всем нам хорошо». Ха! Как бы да не так... Ох, и хитрец эфтот князюшка, друг-приятель Орловых!.. Петр Дмитрич! — обратился он к генерал-поручику Еропкину, положившему много труда в борьбе с чумой в Москве. — Ты помнишь, как наше просвещенное, ха-ха, правительство дедушку Салтыкова, прославленного русского фельдмаршала, хоронило?

— Ну как же, Петр Иваныч, помню. Подобную пощечину памяти героя забыть не можно, — с готовностью ответил Еропкин.

И Панин снова и снова пересказывал приятелям скандальный эпизод похорон в прошлом году престарелого фельдмаршала Салтыкова, жившего в своем подмосковном Марфине. Покойный считался при дворе в опале, поэтому московские власти с князем Волконским во главе, желая подольститься к императрице, решили не устраивать почившему фельдмаршалу торжественных похорон. Уязвленный Петр Панин, воспользовавшись этим, не устрашился сделать резкий вызов императрице, царедворцам и правительству. Он тотчас направился с собственным из крепостных крестьян эскадроном гусар в Марфино, с обнаженной шпагой стал у гроба и громко объявил: «Я, генерал Петр Панин, буду стоять, как солдат на

часах, при гробе фельдмаршала до тех пор, пока не пришлют почетный караул мне на смену».

Так этот опальный вельможа, обитавший совершенно обособленно в своей вотчине, как маленький царек, продолжал наживать себе опасных врагов и вызывать в Екатерине приступы желчи.

От своих выходок он и сам немало страдал, и у него тоже подчас вспухала печень. Появление же в Москве незадачливого Кара снова бросило его в желчную веселость. Панин лично знал Кара, считал его хорошим дипломатом, когда-то состоявшим в Польше при князе Радзвилле, неплохим военным генералом и человеком твердого характера. Может быть, только потому, что высокое общественное мнение всей Москвы было против Кара, граф Панин принял его под свою защиту.

— Я знаю, с какими силами был отправлен Кар против Пугачева, — слегка подвыпив за приятельской трапезой, крикливо высказывался Панин. — Две роты, две пушки да тысяча старых колченогих солдат в лаптях... Ха! Пускай-ка с эфтаким корпусом попробует Захарка Чернышев супротив самозванца выступить! Нет, братцы, Военная коллегия... Раз дали самозванцу большую силу забрать, так уж он таперича задешево жизнь свою не продаст... Не-е-т-с, дудки! Это тебе, всемилостивейшая государыня, не твой супруг Петр Федорыч, которого ты с таким проворством... упразднила. Ха! Я солдат, я правду говорю!

Возражать Панину было рискованно. Гости смущались, краснели, до боли прикусывали губы, чтобы не рассмеяться над острословием хозяина. Однако все же раздался чей-то голос в порицание Кара: генерал виноват, мол, в том, что самовольно бросил свой корпус на произвол судьбы.

— Не на произвол судьбы. Кар передал командование Фрейману, настоящему боевому генералу, — с горячностью возразил Панин. — А что же, по-вашему, Кар в репортичках своих должен был доказывать, что Захарка Чернышев дурак? Вот он и приехал лично доложить ему об этом. Прав Кар, сто раз

прав! А Чернышев, может, и не такой уж дурак, только сдается мне, что он ныне не тем местом думает, тамошних условий не знает, силы противника недооценивает. Он не понимает, что у Пугачева отчаянные казаки, поставившие башки свои на карту, да вдобавок превосходная башкирская конница. А у Кара что? Да туды надо полки двинуть, целую армию!..

А приехавшему к нему погостить брату, Никите Ивановичу Панину, он с глазу на глаз сетовал:

— Ну вот, ну вот... Если бы не Катя, а Павел Петрович на царстве-то сидел, тогда и самозванцы не посмели бы появляться. У нас царь в юбке, баба! А вот царь в казацких шароварах пришел, Петр Федорыч, Емелька... И еще неизвестно, куды его кривая вывезет. Провороним, так народ и завопит чего доброго: довольно нам баб, давай нам царя с бородой!

И, как бы спохватившись и вспомнив, что он граф, богач и вельможа, сверкая глазами, добавил:

— Впрочем, говорю тебе, Никита, как брату старшему. Хотя матушку я и не люблю, но ежели государству учнет угрожать опасность, сам на защиту порядка и дворянских родов готов буду встать. И встану!

Многое из того, что говорил в самом тесном кружке Петр Панин, какими-то неведомыми путями — будто стены подслушивали — долетало до сведения царицы. Обозленная выходками своего «персонального оскорбителя», Екатерина вновь и вновь писала князю Волконскому: «Петр Панин, живучи в деревне, весьма дерзко врет, и для того пошлите туда кого-нибудь надежного выслушать его речей... и дайте мне наискорей узнать, чтоб я могла унять мне непокорных людей... Я здесь кое-кому внушала, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его усмирить наконец».

Но бывают обстоятельства, когда сегодня сказанное слово назавтра уже звучит абсурдом: Петр Панин, которого императрица грозила усмирять, вскоре будет ею же призван на усмирение Емельяна Пугачева. Это случится в то время, когда затрясутся

основы империи, когда «казанская помещица», как впоследствии кокетливо нарекла себя Екатерина, и «московский барин», почувствовав общую опасность для трона, а стало быть, и для сословных интересов правящего класса — два непримиримых врага, — миролюбиво протянут друг другу руки. И тогда-то, в самом финале событий, осуществится заветная мечта Петра Панина: он обессмертит для потомков свое имя, он впишет его на страницы истории кровью побежденного народа.

4

Екатерина только что вернулась из Царского Села, куда выезжала с Григорием Орловым на тетеревиную охоту. Поездка, длившаяся двенадцать дней, была не особенно удачна. Во-первых, князь Орлов, навсегда потерявший в ее лице любимую женщину, был, так сказать, не в своей тарелке: он позволял себе дерзить Екатерине или, наоборот, падал к ее ногам и умолял восстановить невозвратно утраченное между ними счастье. Во-вторых, в покоях Екатерины было не особенно тепло и дымили печи. В-третьих, и сама охота, кроме чрезмерно льстивых услуг егерей и свиты, не могла принести ей радости. Так, на охоте в Баболовском парке Екатерина дала всего пять выстрелов, из коих три, по ее предположению, она наверняка промазала, а между тем, как доказательство ее удачной стрельбы, ей преподнесли шесть убитых тетеревей.

— Но ведь я всего пять раз выстрелила...

— Это ничего не означает, ваше величество. С одного выстрела вы, государыня, срезали сразу двух сидевших на березе тетеревей. Это-то удивительно! — с жаром тряс головой и жирными щеками Лев Нарышкин. — С вашим величеством могла бы соперничать лишь одна богиня Диана.

Екатерина, изумленная таким лганьем, взглянула на льстеца с укором, на ее глазах даже навернулись слезы.

Вызванный из деревни Бибиков сидел в кабинете Екатерины как на иголках. За его смелые суждения Екатерина стала относиться к нему с некоторой холодностью, и вот — он вызван ко двору. К чему бы это?

— И чтоб на глаза ко мне не дерзнул показаться! — крикливо говорила Екатерина расстроенному графу Чернышеву, собиравшему со стола подписанные государыней бумаги. Когда Екатерина давала важные распоряжения или кого-либо распекала, голос ее был властный, отрывистый. — Он, этот горе-генерал Кар, черт его возьми, не поправил дело, а напортил! Что скажут иностранные при нашем дворе послы? Какую эху будет иметь за границей его мерзкий поступок? Это ты мне подсунул его, Захар Григорьич, вот теперь и выкручивайся.

— Государыня, вы же сами изволите знать, — оправдывался Чернышев, — что все опытные генералы на войне.

— А вот опытный генерал! — воскликнула Екатерина, показав глазами на Бибикова, у которого сразу вытянулось лицо и стало замирать сердце. «Ой, пошлют меня кашу расхлебывать!» — с горечью подумал он.

— Болен? Но у тебя есть лекарь, лечись на месте, — продолжала нервно выкрикивать императрица, пристукивая табакеркой о стол. — Мало войска у тебя? Но дожидай, пришлем... А чтоб с позором сбежать... И в такое время... Он забыл долг пред отечеством, забыл присягу и замест подвига, замест усердия и мужества позорно, без разрешения, ретировался. Нет, это свыше моих сил! Трусы мне не нужны! Больные, расслабленные — тоже! Подобные мизерабли получать жалованье не имеют права. А посему, любезный граф, изволь заготовить мой указ Военной коллегии, чтоб Кара немедля уволить и дать апшид. Ну, а какие полки ты намерен послать против этой зловредной толпы каналий?

— Сей вопрос еще не решался, — пожал плечами Чернышев.

— Пошли-ка князю Волконскому полк из Ладоги, а то Москва сидит без военных людей вовсе. А Бранту

пошли немедля особую цедулу, дабы он взял все предосторожности к охранению нашей Казанской губернии от заразы. Ну, прощай! И я тобой тоже не есть довольна, Захар Григорьич. Ты с небрежением и вяло действуешь.

Чернышев выслушивал речь императрицы, потупившись и стоя. Затем поцеловал протянутую ею руку и ушел.

— Александр Ильич, голюбчик, — обратилась она к Бибикову. — Ну вот, если бы ты был на месте Кара да, боже упаси, захворал?..

— Я всему прочему предпочел бы смерть на посту, государыня! (Впоследствии, в далекой Бугульме, Бибиков с содроганием сердца вспоминал эту фразу.)

— Да, да, — прорекла Екатерина. — Тако думают и так ответствуют своим государям истинные, со светлой головой, государственные мужи. — И, помолчав, как бы давая время приготовиться к ответу, она сказала: — Голюбчик, Александр Ильич, я на вас имею виды. (Сидевший против Екатерины Бибиков опустил сложенные на груди руки и нервно шевельнулся в кресле.) Вы пока поезжайте исправить свои семейные дела, а после я вас покличу. (Бибиков встал, и выразительные глаза его округлились.) Не инако, как тебе доведется туда скакать и маленько переведаться с маркизом Пугачевым. Как ты полагаешь? — снова перейдя на интимное «ты», закончила Екатерина и с выжидательной улыбкой заглянула в его лицо.

— Ваше желание для меня закон, его же не прейдеши... Смею ли я возражать, государыня.

— Очень смеешь, очень смеешь... Я тебя люблю, Александр Ильич, и, пожалуйста, возражай!

— Нет, государыня... Хотя и горько мне, что я иным часом уподобляюсь сарафану...

— Что сие значит? — продолжая улыбаться, с нетерпеливым, чисто женским любопытством воскликнула Екатерина. — Я не понимаю твой иносказательный намек... Будь друг, поясни.

— Ваше величество, — поднял брови Бибиков, — да нешто вы забыли песенку?

Шесть лет тому назад, когда императрица путешествовала в Казань, Бибиков был в ее свите на галере «Волга». Екатерина держала себя со всеми, в особенности с Бибиковым, необычайно просто, поэтому он сейчас и позволил себе по отношению к императрице некоторую фривольность.

— Так вот не казните меня, а выслушайте, песенка старинная... — Он подшибился рукой и негромко, но с ужимками, запел фальцетом, подражая певуньям-бабам:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригождаешься;
А не надо, сарафан, — ты под лавкой валяешься.

В широкой улыбке Екатерина обнажила белые ровные зубы и, милостиво взглянув на Бибикова, сказала со снисходительной благосклонностью:

— Шутник... Ах, какой шутник вы, ваше высокопревосходительство! И понапрасну вы объявляете себя за сарафан. Вы не есть сарафан, вы — господин генерал-аншеф, кавалер высокого ордена святого Александра Невского. Очень сожалею, мой друг, что я чересчур плохая Габриельша[1], а то я не преминула бы составить с тобой дуэт, ты хорошо поешь. Ну подойди сюда, Александр Ильич, голюбчик.

Бибиков, склонив голову, уже целовал Екатерине руку, она слегка обняла его за шею и поцеловала в гладкий выпуклый лоб.

Проезжая в санях по снежным улицам столицы, Бибиков окидывал мысленным взором служебные этапы своей жизни. Ему только сорок четыре года, а он уже генерал-аншеф. Екатерина высоко ценила в нем просвещеннейшего человека и талантливого политического деятеля.

«Но почему же, почему жребий борьбы с мятежником пал на меня? Ну право же, не по душе мне это дело... А как откажешься? Я человек, прямо сказать, бедный, у меня семья, долги, в опалу попасть резону нет. Ну конечно же, я — сарафан: валялся, валялся

[1] Итальянская певица Габриэль, служившая в придворном театре в Петербурге.

под лавкой, а ныне в надобность пришел... А ничего не попишешь... И с кем воевать? С каким-то чумазым казаком, да с башкирцами, да со своим народом... Со своим собственным!»

Об осаде Уфы толпами мятежников стало известно не только простому люду, но в этот раз даже и правительству.

Заместитель Кара, генерал Фрейман, донес об этом в Военную коллегию. Подробностей в рапорте не было, да их никто и не знал, кроме Емельяна Пугачева.

События под Уфой развертывались так. Толпа башкирцев около пятисот человек, под начальством самозванного полковника из башкир Кашкина-Самарова и уфимского казака самозванного подполковника Губанова, 24 ноября заняла селение Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, а также и другие ближайшие к городу селения. Уфа была совершенно отрезана. В толпу ежедневно прибывали с разных сторон татары, помещичьи, государственные и экономические крестьяне. Через неделю в толпе было уже более тысячи человек.

Вскоре к городу подъехала группа башкирцев, они кричали с утра до полудня:

— Эге-гей!.. Давай языка сюда, давай начальства, мало-мало балакать будем... Эге-гей!

Из города выехали майор Пекарский и два чиновника.

— Сдавай нам город! — говорили им башкирцы. — Выдавай коменданта Мясоедова да воеводу Борисова.

— Отправляйтесь, изменники, по домам, — говорил им Пекарский. — Иначе мы всех вас побьем из пушек. Государыня сюда целую армию выслала, солдаты с генералами уже подходят к Волге.

— Врешь, собак кудой! У нас нет государыни, у нас есть бачка-царр...

Комендант, полковник Мясоедов, стал приводить Уфу в боевое положение. Вокруг города были установлены ночные разъезды, в которые назначались и

служащие учреждений, сформированы боевые дружины, жителям розданы ружья и порох.

Большая толпа вооруженных луками и копьями башкирцев, сделавшая приступ со стороны села Богородского, была отогнана уфимскими казаками и посаженными на коней жителями. Башкирцы понесли большой урон. Их главари принуждены были обратиться к Пугачеву за помощью.

5

28 ноября состоялось большое собрание Государственного для обсуждения военных дел совета в присутствии императрицы.

— Какие полки вы намерены, граф, двинуть на место мятежа? — обратилась Екатерина к президенту Военной коллегии Захару Чернышеву. За креслом императрицы стоял навытяжку дежурный при ее особе граф Строганов, чуть дальше — два розовощеких пажа.

— Вчерась в ночь, — начал, подымаясь из-за стола, Чернышев, — мною отправлены, ваше величество, курьеры с приказами как можно скорей выступать в поход: Изюмскому гусарскому — из Ораниенбаума, второму гренадерскому — из Нарвы и пехотному Владимирскому — из Шлиссельбурга. Всем полкам следовать в Казань трактом чрез Москву. Опричь того, выслано из Петербурга в Казань шесть пушек с прислугой и снарядами.

— Я держу опасение, что войска наши будут поспешать слишком нескоро, а несчастный Оренбург долго упорствовать этим канальям не сможет, там недостача хлеба, жителям угрожает бедствие. Надо сию экспедицию как можно форсировать.

— Ваше величество! — воскликнул Чернышев. — Полки, посаженные на почтовые и обывательские подводы, прибудут на место не позже как чрез два месяца. Также могу поручиться за то, что Рейнсдорп будет держаться в крепости до последней крайности. В том головой ручаюсь!

— Вы, ваше сиятельство, поостерегитесь столь часто закладывать вашу голову, — выразительно прищурилась на него императрица. И ему сделалось неловко, он стал краснеть, кусать губы.

Екатерина вела заседание очень нервно, смута на востоке угнетала ее.

— Вы, помнится, еще так недавно клялися головой, что Пугачева можно прихлопнуть, как комара, с теми силами, кои у Чичерина, Деколонга и Рейнсдорпа. И что войск новых туда не след высылать... Да так и не выслали!

Чернышев хотел было возразить: он-де выслал туда несколько рот и четыре пушки, но, зная, что вступать в пререканья с императрицей в минуты ее раздражения опасно, в обиде прикусил язык.

— Впрочем, ты послал туда две роты... Но... Но от твоей столь щедрой посылки только курам смешно... или, как это говорится? — продолжала, заметно волнуясь, Екатерина. — Попробуй-ка сам повоюй с двумя ротами, не желаешь ли, граф, туда прогуляться? — Она бросала на сановников косые взгляды, ее оголенные матово-белые плечи нервно передергивались.

Весь генералитет сидел как в рот воды набрал, уткнув носы в бумаги. Только князь Вяземский[1] преданными глазами, со льстивым бессмыслием, взирал на императрицу.

— Я позволю себе спросить вас, господа сановники, — снова зазвучал голос Екатерины; она вынула из бисерной сумочки раздушенный носовой платок, зал наполнился благоуханием. Юный черноволосый паж сладострастно потянул ноздрями воздух, ему вдруг захотелось чихнуть, со страху он обомлел, крепко-накрепко закусил губу и весь содрогнулся. Его товарищ скосил на него озорные глаза. Граф Строганов повел в их сторону прихмуренной бровью. — Я спрашиваю вас, господа, как быть? — вскинула императрица голову. — Поскольку Оренбург заперт, вся губерния остается без управления. Не направить ли туда второго гражданского губернатора?

---

[1] Генерал-прокурор сената.

— Я полагал бы, матушка, — заметил негромко князь Григорий Орлов, — все управление краем поручить Бибикову.

— Я склонен поддержать эту идею, — откликнулся Олсуфьев, — ибо все тамошние места заражены ныне возмущением и не могут без воинской помощи управляемы быть.

— Против сказать ничего не нахожу, — проговорила Екатерина. — Прошу пригласить генерал-аншефа Бибикова.

Внешне бодрый, жизнерадостный, но очень бледный, с александровской через плечо лентой, вошел Бибиков, поклонился, занял указанное ему императрицей кресло.

За окнами дворца бушевала вьюга. Снежные космы, как беглый пламень, плескались по зеркальным стеклам. В зале сумеречно, хотя был полдень. Ливрейные слуги запалили горючие нити, которые вились от светильни к светильне всех ста пятидесяти свечей, и обе люстры вспыхнули, как рождественские елки. На длинном столе заседания зажгли кенкеты — фарфоровые масляные лампы. Четыре лакея в белейших перчатках подали государыне и всем присутствующим горячий чай в расписных гарднеровских чашках. Екатерине прислуживал сам граф Строганов.

В огромном зале было довольно свежо. Императрица поеживалась, зябко передергивала плечами, дважды кашлянула в раздушенный платочек. Григорий Орлов сорвался с места и ловко накинул на ее плечи пелерину из пышных якутских соболей. Екатерина посмотрела по-холодному на князя Вяземского, что не распорядился как следует протопить печи, сказала Орлову: «Мерси», — и потянулась к горячему чаю. Вяземский понял недовольство императрицы. Перестав преданно улыбаться, он пальцем подманил мордастого лакея, что-то сердито шепнул ему и, поджав сухие губы, незаметно лягнул его каблуком в ногу. Тотчас запылали два огромных камина.

— Разрешите, ваше величество, — сказал Вяземский, приподнявшись и щелкнув каблуками.

Екатерина, у которой рот был занят вкусным печеньем, кивнула головой.

Один из секретарей с благородным лицом и осанкой, стоя возле своего пюпитра, звучным баритоном стал читать проект манифеста по поводу разгоревшегося мятежа. Екатерина послала через стол Бибикову записку: «Прошу слушать внимательно».

Когда чтец дошел до места, где Пугачев уподоблялся Гришке Отрепьеву, граф Чернышев попросил, с разрешения Екатерины, еще раз повторить этот текст.

«Содрогает дух наш от воспоминания времен Годуновых и Отрепьевых, посетивших Россию бедствиями гражданского междуусобия... когда от явления самозванца Гришки-расстриги и других ему последовавших обманщиков города и села и огнем и мечом истребляемы, кровь россиян от россиян же потоками проливаема...» и т. д.

— Разрешите, великая государыня, — поднялся Чернышев, знаком остановив чтение. — Нам с князь Григорием кажется, что никак не можно уподоблять сии два события — возмущение древнее и бунт современный Пугачева.

— Ведь втапоры, матушка, — подхватил с места князь Орлов, — все государство в смятенье пришло, вкупе с боярством, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Да этакое сравнение разбойника Пугачева с ложным Димитрием хоть кому в глаза бросится, оно и самих мятежников возгордит.

— Мне пришло в идею сделать подобное сравнение, — сказала Екатерина, — только с тем намерением, чтобы вызвать в народе самое большое омерзение к Пугачеву. Я еще раз готова над сим местом призадуматься и, ежели сочту нужным, допущу перифраз.

За сим была оглашена инструкция Бибикову, по смыслу которой он посылался в неспокойный край полновластным диктатором. Бибикову давался открытый указ, по которому ему подчинялись все краевые власти: военные, гражданские, духовные.

Бибиков слушал весь этот словесный шум, низко опустив голову.

Повестка заседания исчерпана. Екатерина уже стала собирать в бисерный мешочек свои вещи: табакерку, лорнет, носовой платок, бонбоньерку с шоколадными конфетами, а также неуместно подсунутую ей печальным Орловым записочку: «О богиня!» Но в это время поднялся генерал-прокурор князь Вяземский и обратился к государыне:

— Дозвольте, ваше величество... Последний вопрос, который, по внешним знатным опасностям, я считаю зело важным и отлагательства не терпящим. Осмелюсь, ваше величество, свою мысль сказать: не было бы бесполезно, если бы назначить знаменитую сумму денег в награду и прощение сообщникам, кои бы его, Пугачева, выдали живого или б, по-крайности, мертвого. Казалось бы, что из тех плутов могли таковые найтиться. А мог бы и таковый выискаться из отважных людей, коему позволить к злодею предаться, чтобы, войдя к нему в услугу, его убил или, подговоря других, выдал. И оному удачнику надлежало бы от казны коликую выдать награду.

— Но ведь туда для сей цели уже направлены два казака — Порфиров и Грачев, кажется, — сказала Екатерина, перенеся взор свой на Вяземского.

— Перфильев и Герасимов, матушка, — поправил ее князь Орлов.

— Это сделано без моего ведома, — поднявшись, бросил с обидой в голосе граф Чернышев и сел.

— Это сделано при моем ближайшем участии, — встал Вяземский и снова сел.

— Сих шельмецов мой брат Алексей послал, — проговорил Орлов, — только, чаю я, из этого ни синь пороха не приключится.

— А может, и приключится... — холодно возразила ему Екатерина. — Однако же, Александр Алексеевич, голюбчик, — обратилась она к Вяземскому, — тебе в пору знать, что государю невместно заниматься поощрением убийства. А посему я согласна назначить награду только за живого...

«Чтоб потом живому оттяпать голову», — мелькнуло у князя Орлова, сумрачно брови насупившего.

Екатерина поднялась, и все вскочили, кроме старика Олсуфьева, одержимого подагрой. Опираясь на две палки, кряхтя и выгорбив сутулую спину, он еще долго бы корячился, если б его не подхватили под мышки два лакея, похожих на заморских послов.

Екатерину окружила свита. Одарив всех рассеянной улыбкой, она быстро направилась к выходу.

ГЛАВА VIII

Митька Лысов «окаянствует». Перфильев двинулся в Берду. Гаврила Романович Державин. Депутаты

1

В Петербурге и на том конце света — в Берде — с одинаковой силой свирепствовала вьюга.

В столице заседание Государственного военного совета кончилось, а в Берде в это самое время открыла свои занятия Войсковая канцелярия.

Прищуривая то правый, то левый глаз и прищелкивая языком, Пугачев с особым вниманием слушал прибывших из Уфы гонцов.

Гонцы — башкирец, русский и татарин, — не торопясь, рассказывали, как было под Уфой и почему склонившиеся на верную службу великому государю терпят неудачу.

— Для того мы просим вашего царского милосердия: в нашу сторону прислать войско и мало-мало пушек. А то ваших супротивников нам без оных сократить не с чем.

— Мне вестно стало, что в Башкирии немало коней, — заметил Пугачев, прямо не откликаясь на просьбу посланцев.

— Эге! Коней, как черной грязи, бачка! — живо подхватил башкирец. — Мы тебе целыми косяками пригонять будем. У справных хозяев отбирать будем. Эге!..

— Ахти добро! — проговорил довольный Пугачев. — Как у меня много будет коней, я большую часть армии моей на-конь посажу.

Одарив гонцов, Пугачев сказал им:

— Ну, езжайте в обрат, детушки! Будут вам пушки, будут люди, будет и главный над вами командир от меня.

Вошел, весь в снегу, офицер Андрей Горбатов, поклонился Пугачеву, сказал:

— Государь, вот казак прибыл к вам с вестями.

— Давай его, ваше благородие!

Вошел широкоплечий казак с плетью у пояса, с винтовкой за плечами и пикой в руке. Поставив пику в угол, он усердно покрестился на иконы и упал Пугачеву в ноги.

— Иван Жилкин да атаман Илья Арапов приказали тебе, батюшка, челом бить. А сам я — есаул Плешаков...

— Встань, — сказал Пугачев. — Илью Арапова знаю. Я его с полусотней казаков сам спосылал под Бузулук.

— Истина твоя, батюшка! А мы шестьдесят две четверти сухарей забрали, да сто шестьдесят кулей муки, да круп, да пороху, да на две тысячи рублей медяков.

— Стало, хорошие вести привез ты?

— Не надо лучше... Худые вести и гонцу не в радость, ваше величество.

— Ну, сказывай, друг!

Чернобородый, еще не старый, с умными глазами казак, не торопясь, рассказал о том, что город Бузулук с крепостью и почти все крепости с форпостами Самарской линии взяты ополченцами отставного солдата Ивана Жилкина, а еще беглого солдата Варсонофия Перешиби-Носа[1] да полсотней казаков вышереченного Ильи Арапова.

---

[1] Пугачев случайно встретился с Перешиби-Носом шесть лет тому назад, во время крестьянского бунта, в поездку свою с Дона в Котловку, что на Каме.

«Перешиби-Нос, Варсонофий? — неприятно удивился Пугачев и даже откинулся на кресле. — Вот те клюква!.. Как бы он, забулдыга, не тово, не этого...»

— Откудов взялись Жилкин да Перешиби-Нос какой-то? — ввязался в разговор Максим Шигаев; он в красной рубахе сидел на табуретке, закинув нога за ногу, засунув руки в карманы суконных штанов. — Илью Арапова с казаками, верно, мы спосылали, а эти двое — самочинцы. Их, ваше величество, надо бы вызвать да пристрастить.

— А чего же их пристращивать, — возразил Пугачев, — ежели они моим именем крепости берут? Пущай стараются.

— Для порядку ба... — сказал Шигаев и, вынув из карманов руки, сел прямо.

— Как порядок учнут рушить, так и не токмо что вызвать, а и повесить можно. — И Пугачев обратился к чернобородому гонцу: — Толкуй, казак, дале.

— А комендант Бузулукской крепости-то, фамиль Вульф [1], еще раньше того сбежал. Как узнал он, что полковник Чернышев в плен угодил, убег со всем семейством. А тут вскорости ваш Илья Федорыч Арапов с казаками прикатил в Бузулук, склады провиантские опечатал все, обобрал самолучших лошадей — и был таков. А в конце ноября и мы на двадцати санях понаехали. Жилкин с Перешиби-Носом велели вина из складов выкатить. Тут все мы, грешным делом, в гульбу пошли! Уж не брани нас, батюшка. Два попа тоже гулеванили с нами. Некий солдат-старик опился всмерть. Во! Через день опять Арапов наскакал со своими. Тогда мы, все совокупясь, побежали на конях помещичьи именья зорить. Мужиков подбивали к тебе, батюшка, идтить, а двух бурмистров вздернули. — Казак вынул из-за пазухи бумагу, протянул Пугачеву, сказал: — Это вот от атамана Арапова списочек, чего да чего шлет он тебе. Вели, батюшка, примать. Обоз подходит сюды.

Максим Горшков шершавым басом огласил бумагу:

---

[1] Зять губернатора Брандта.

«Его императорскому величеству и всея России государю Петру Федорычу от атамана Ильи Арапова покорнейший рапорт. При всей случившейся радостной вашего величества оказии, от изверженных и недостойных рабов, которые бесчувственно, осмелясь, сами себя отреклись, захвачено разных сортов кусу[1] и прочих вещей, при сем с нарочным, в покорности моей, посылаются: сахару три головы, винограду сушеного бочонков два, рыбы свежей — осетер один, севрюга одна, белорыбица одна, севрюг провесных две, урюку небольшое число, завернутое в бумажке, сорочинской пшеницы, водки сладкой, сургуча два пучка, бумаги писчей одна стопа, сотов три гнезда, гусей да уток по четыре гнезда, масла коровьего кадка, маку фунтов с десять».

Пугачев был необычайно доволен столь задачливым днем. Уфа заперта, Бузулук взят, форпосты и мелкие крепостишки Самарской линии передались ему, подвозят добро с казной. А перед этим — Кар разбит, Чернышев в полон попал, Валленштерн не единожды трепку получал. После таких событий не грешно и передохнуть, разгуляться. И вот царь-батюшка с атаманом поехали под вечерок верхами в Каргалу, к знакомым татарам. Увязался с ними и Митька Лысов. В Берде начальником остался Максим Шигаев, который и велел объявить по казачьим полкам, чтоб завтра с утра казаки приходили в канцелярию получать денежное жалованье.

2

Гости бражничали в Каргале до третьих петухов Хозяина, сметливого татарина Мусу Улеева, Пугачев поставил каргалинским атаманом, а татарина Абрешита произвел в сотники. Ночью пугачевские атаманы разгуливали по улице в обнимку с татарами, пели песни, играли на дудках, целовались. Пугачев был крепче всех, да и пил в меру, он шел твердо,

[1] Кус — провизия.

его по обе стороны поддерживали две красивые татарки в бархатных, вышитых золотом невысоких шапочках-тюбетейках и в накинутых на плечи меховых шелково-узорчатых охабнях. Одна из них — жена Мусы Улеева, другая — жена Абрешита. Молодые женщины украдкой целовали государя в щеки, он на ходу немножко с ними заигрывал. Они весело смеялись, наперебой что-то лопотали ему по-татарски. Он ничего не понимал, только встряхивал бородой, широко улыбался и, стараясь быть вежливым, то и дело говорил им:

— Ась, ась? Благодарствую... В гости, мол, приезжайте, в Берду... Саблея, нестивал. Шурум-бурум, шох-ворох...

Татары провожали их, как самых наипочетных гостей, дружными залпами из самострелов. Атаманы в ответ дали прощальный салют из своих пистолетов.

Был предутренний час. Лобастая луна стояла высоко, окруженная яркими звездами, как новый среди гривенников рубль. Просторы голубели. Тишина. Только каргалинские собаки, разбуженные выстрелами, все еще побрехивали вдали.

— Братцы атаманы! — сказал Лысов. — А пошто мы все пьяны, а батюшка тверезый?

— Батюшка хош и не мене тебя пил, — сказал Пугачев, — а вот брось на дорогу шапку, я на всем скаку дно ей вырву.

— А ежели не того... не вырвешь?

— Тогда назови меня никудышным псом!

Лысов, пьяно раскачиваясь в седле, помчался вперед, швырнул в снег шапку — в лунном свете она ярко чернела на голубом сугробе. Пугачев вынул из-за пояса пистолет, гикнул и, вихрем проносясь мимо шапки, выстрелил в нее. Шапка подпрыгнула и, как черная курица, распустила крылья. Все захохотали. Митька Лысов подцепил пикой шапку — на снегу остались клочья мерлушки, — кой-как надел ее на лысую голову, по-злому сказал:

— Ну и черт ты, батюшка!.. Не иначе, как с анчуткой неумытым знаешься... Ведь шапка-то дорогая, новая... Пес ты и есть, а не царь!

Отъехавший Пугачев этих дерзких слов не слыхал. Безбородый, похожий на скопца, Максим Горшков, сверкнув прищуренными глазами, громыхнул Митьке басом:

— Ты дурнинку-то эту брось!

— А то что? — задышливо спросил Митька Лысов и с мстительной ухмылкой уставился в спину удалявшегося Пугачева.

— А вот что! — крикнул суровый Овчинников. — Ссадим тебя с коня да хороших лещей по шее надаем...

Не слушая его, стиснув зубы, Митька нагнулся, гикнул и — пику наперевес, — полным карьером помчался на Пугачева. Тот, ничего не подозревая, ехал впереди ровным шагом. Чуя недоброе, атаманы ринулись вслед Митьке, заполошно кричали:

— Берегись, батюшка! Берегись, ваше величество!

Но было уже поздно. Налетевший Митька с силой ударил Пугачева пикой в левую лопатку. Пугачев держался в седле крепко, как дуб в земле, он только клюнул носом и схватился за шапку, а Митька Лысов от сильного ответного толчка кувырнулся прямо в снег, как сброшенный с воза куль.

Остро отточенная пика легко вспорола толстый меховой чекмень Пугачева и с маху уперлась в стальную, поверх рубахи, кольчугу. Все соскочили с коней: Почиталин, Творогов, Витошнов, Горшков, Яким Давилин, Овчинников. Все окружили Пугачева. Пегая кобылка Лысова, переступив всеми четырьмя ногами, повернулась к своему хозяину и с удивлением глядела на него, поверженного в снег, влажными, светящимися глазами, как бы силясь спросить, по какой причине его угораздило в сугроб?

— На сей раз прошибся ты, Лысов, — сказал Пугачев спокойным, застуженным голосом. — Не добыл кровушки-то моей.

— Здоров ли, батюшка? Цел ли? Не покарябал ли он тебя? — сыпались в его сторону вопросы близких.

— Нетути. Как видите, невредим!

— Вставай, чертяка! — грозно, хором, закричали на Митьку.

Тот повалился Пугачеву в ноги, сквозь шапку без дна мутно блеснул под луной лысый череп.

— Спьяну, спьяну это я, — вопил он. — Прости, надежа-государь, прости, милостивец!.. Ведь мне попритчилось, что я под Оренбургом Матюшку Бородина пикой-то пырнул. — Лысов лил пьяные слезы, но волчьи глаза его были трезвы, жестки.

— Как повелишь поступить с ним, ваше величество? — спросил Яким Давилин...

— Встань, Лысов! — сказал Пугачев, взглянул на Митьку и брезгливо сплюнул. — Встань, да другой раз не окаянствуй. Не окаянствуй, говорю!

Лысов, кряхтя, поднялся, с нахальцем взглянул в лицо казаков: «Что, мол, много взяли?» — и с быстротой росомахи вскочил в седло. Его кобылка, видя, что все пришло в порядок, удовлетворенно встряхнула хвостом и с игривостью повела глазом на гнедого пугачевского жеребца.

Неспешной бежью все тронулись в путь.

— Воля твоя, батюшка! — хмурясь, проговорил Овчинников. — А Лысову надлежало бы всыпать для порядку.

— Нет мне охоты идти на комара с рогатиной, — ответил Пугачев раздраженно.

Лысов запыхтел, сравнялся с Пугачевым и, притворно всхлипнув, прогнусил:

— Ты завсегда, ваше величество, кровно обижаешь меня. Вот опять... комаром обозвал.

— Какой там комар, ты вошь! — вскричал атаман Овчинников. — А ну, покажи руки, сними рукавицы! — Снова все остановились. — Давилин с Почиталиным, сдерните-ка с него рукавички-то козловые.

На пальцах Лысова заблестели крупные, в драгоценных каменьях, перстни.

— Откуда взял? — сурово спросил Лысова Пугачев.

— А уж это мое дело... Не из твоих сундуков, что в подполье у себя держишь.

— То не мои сундуки, а государственные, — повысил Пугачев голос. — Я вчерась из них три тысячи рублей Шигаеву выдал на жалованье казакам. Ты, супротивник, опять в щеть идешь?

— Не я, а ты, батюшка, в щеть-то идешь, — заикаясь и гнусавя, стал выкрикивать Лысов. — Ты за всяко-просто обиду мне чинишь... Много на мне обид твоих, батюшка! Я-то все помню...

— Засохни, гнида! — заорал на него Овчинников и пригрозил нагайкой.

— Сам засохни, хромой черт, бараньи твои глаза! — огрызнулся Митька и, выпустив поводья, стал истерично бить себя кулаками в грудь. — Накипело во мне!.. Дайте мне обиду выкричать! Меня тоже погоди обижать-то!.. Я полковник! Я выборный полковник!.. За меня войско заступится...

— Вот в войсковой канцелярии мы тебя спросим, откудов кольца-то добыл, — поднял голос и молчавший до того Почиталин, но, сразу сконфузясь, покраснел, как девушка.

— Плюю я на твою, щенячья лапа, канцелярию, — не унимался Лысов, в злости то пружинно подпрыгивая на стременах, то снова падая в седло.

— Не плюй в колодец, Митя, — спокойно сказал Овчинников. — А что ты вор, всем ведомо. Ты помещикам живьем пальцы рубишь, чтобы перстеньками поскорее завладеть. Ты всякую поживинку хапаешь да прячешь,— в купцы, видно, метишь выйти? Нам-то, брат, все известно. Хоть за пятьсот верст смошенничай — знать будем... Эх ты, полковник!.. Когда простые людишки грабят, ты их унимать должен, а ты сам путь им указуешь... Полко-о-вник!

— Ладно, поехали! — нетерпеливо крикнул Пугачев.

Застоявшиеся лошади пошли крупной рысью. Луна заметно помутнела, звезды выцвели. Наступал рассвет. До самой Берды всадники ехали молча.

Всяк думал о своем. Мысли Лысова были хитры, занозисты и мрачны. «Ха, царь! Много таких царей по острогам вшей кормит. А эти каверзники: Овчинников — бараньи глаза, да Горшков Макся —

скобленое рыло, да Витошнов — старая кила, быдто сговорились: царь да царь... Спасибо Чика-Зарубин пьяный сболтнул мне про батюшку-т... Сволочь, шапку вдрызг расшиб, а шапка-т генеральская, шелковая подшивка с золотым гербом. А он, сволочь, — бах! Да нешто цари так стрелять могут? Вот сразу и видать, что не царь, а чувырло бородатое. Ха! Где кольца взял... А тебе какая забота? Набил себе сундуки-то хапаным... Ну, ладно, недолго вам поцарствовать. Дай срок — всех вас выведу на чистую водичку!»

Пугачева тоже одолевали думы. Странный, непонятный какой-то этот казак-гуляка Митька Лысов. То он покорен, рачительно служит, сотнями пригоняет в лагерь крестьян, татар, калмыков, то вдруг — вожжа под хвост — и заурусит, заурусит Митька, сладу нет! «Ну, ладно, погожу. Как будет невтерпеж, так я и сабле волю дам: лети голова с плеч!»

3

Напутствуя главнокомандующего Бибикова, Екатерина говорила ему:

— Я вас, Александр Ильич, за большого патриота почитаю, за весьма також де усердного к особе нашей. Всюду, Александр Ильич, действуй моим именем, как тебе бог и совесть укажут. Ты в Казань езжай попроворней, дабы заранее ознакомиться с положением дел в крае, чем возмутители дышат, какие у них с землей связи, каковы ресурсы пропитания, да есть ли у них внутреннее управление, разрозненная ли орда то, подобная стаду овец, или действительно вооружены они дисциплиной? Во всяком разе, я чаю, что мужество и просвещение, искусством руководствуемые, дадут тебе, Александр Ильич, несравненное преимущество над толпою черни, движимой диким фанатизмом.

Беседа при участии Григория Орлова протекала довольно долго. Екатерина, прежде всех оценившая опасность оренбургского восстания, лично вникала теперь во все подробности дела, давала Бибикову всякие советы как в письмах, так и в изустных разгово-

рах. Бибиков и без ее подсказа все это прекрасно понимал, но поневоле ей поддакивал, а сам думал: «Либо она считает меня глупым индюком, либо своим якобы знанием жизни поафишироваться хочет».

— Дворянство всегда было надежною опорою престолу, — говорила Екатерина, то принимая напыщенный вид, то облекая румяное лицо в приветливую улыбку, — и я верю, что оно, дворянство, и на сей раз явится на помощь нам по первому нашему призыву. Ты потрудись уж, Александр Ильич, разъяснить, что в их патриотическом усердии залог их личной безопасности, сохранности их имений и самой целости дворянского их корпуса. Ты расскажи им, как Пугачев расправляется со дворянами и чиновниками, кои попадают ему в лапы.

— Матушка, не забудь насчет комиссии, — подсказал князь Орлов.

— Да! Решили мы тотчас послать в Казань секретную комиссию, коя будет, Александр Ильич, при твоей особе состоять. В ней три гвардейских офицера — Лунин, Савва Маврин и Василий Собакин, да секретарь тайной сенатской экспедиции Зряхов, человек в допросных делах зело сведущий. В Казани уже сидит сколько-то пугачевских молодчиков. Этих каналий надо опросить и, в страх черни, примерно наказать на публике. Ну, что еще? Как ты уже сам ведаешь, тебе в ближайшую помощь определяю генерал-майора Мансурова да князя Петра Голицына. Также возьмешь с собой по своему выбору некое число офицеров да двенадцать гренадер.

— Так ведь ты же бунтовщик был, ты же против генерала Траубенберга шел и принимал участие в его убийстве? — крикливым голосом говорил Перфильеву комендант Яицкой крепости полковник Симонов. — Как же могу я поверить тебе?

— Правда, был бунтовщик я, а вот теперича желаю искупить свою вину, — отвечал есаул Перфильев, исподлобья посматривая на Симонова. — Ежели не

верите мне, верьте бумагам. Я же передал вам письмо губернатора Брандта.

Умный Симонов только плечами пожимал, он прекрасно знал то, как губернатором Рейнсдорпом был направлен ловить Пугачева каторжник Хлопуша, и что из этого вышло. «Наивные в Петербурге люди, а уже про Брандта с дурнем Иваном Андреевичем и говорить не остается», — думал Симонов.

— Что ж, надеешься Пугачева изловить?

— Изловить мне одному невмочь. А вот казаков от него оторвать да мутню в шайке самозванца пустить — завсегда возможно.

— Ну что ж, поезжай, — сказал Симонов и раздумчиво провел по стриженным в бобрик черным волосам своим ладонью. — Я бы не послал тебя в сию экспедицию, ибо она, на мой взгляд, бесполезна, даже вредна! Но раз эта идея относится до графа Орлова, то препятствия чинить тебе не могу. Одно тебе посоветую: помни присягу! И еще возьми в память: у Пугачева шайка отпетых голов, у ее же величества — в триста тысяч армия. Кто будет в выигрыше-то?

Вскоре Петр Герасимов был направлен Симоновым на нижнеяицкие форпосты, а Перфильев, взяв с собою казаков Фофанова и Мирошихина, выехал в Берду.

4

В приемной Бибикова толпились офицеры. Среди них бравый лейб-гвардии конного полка подпоручик Гавриил Романович Державин. Когда дошла до него очередь, он явился в кабинет, щелкнул шпорами и вытянулся перед Бибиковым в струнку.

— Очень рад, очень рад! — сказал Бибиков, затягиваясь трубкой. — Слышно, изволите быть стихотворцем? Что ж, и то дело!

— Сие междуделье, ваше высокопревосходительство. Прежде всего есть я покорный раб ее величества и защитник отечества нашего. Кроме сего, имею в Казанской губернии личные интересы, как-то: небольшое именьице, а наипаче того драгоценность —

старушку мать... Сим руководясь, желал бы там, на месте, под вашим руководством проявить священные чувства, свойственные всем истинным сынам родины. Словом, великое у меня желание быть полезным вашему высокопревосходительству в походе против похитителя императорского имени — казака Пугачева.

Бибиков слегка поморщился на излишнее красноречие офицера и сказал:

— Желание ваше почтенно, однако должен огорчить вас, что опоздали: все места нужного мне оберофицерства заполнены.

Державин возвращался домой обескураженный. Лопнула его надежда повидаться со старухой матерью, да и деньжонок в командировке прикопить. Небогатому офицеру в гвардейском полку служить было трудно, там весело было лишь богачам да искусным картежникам. И если б не состоятельная дама, с которой молодой Державин был в близких отношениях, ему пришлось бы в жизни весьма туго.

Жил офицер Державин в маленьких «покойчиках» на Литейной, в доме Удалова. Войдя во двор, он еще раз осмотрел свою ветхую карету, которую недавно купил в долг. «Хоть бы какую клячонку завести либо полкового, отслужившего свой век коня, а то просто срам, выехать в люди не на чем». Он вошел в покойчик, послал денщика за возницей, бегло пересмотрел рукописи, задержался глазами на сером листке с началом оды, полюбовался блестящими английскими сапогами с серебряными шпорами и, как подана была лошадь, поехал на Васильевский остров, где жила «дама сердца».

— Не выгорело, любезная Степанида Порфильевна! Ау, не выгорело! У генерал-аншефа без меня ловкачи нашлись, — печально пробасил он, целуя руки еще не старой, с высокой прической и с томными глазами, женщины.

— Ну вот и слава богу! — чуть не всплакнула она от радости. — Это пречистая богородица мою молитву услыхала. В этакую страсть ехать! Вот поди-ка послушай, Гаврюшенька, что люди мои говорят в кухне.

С Ладожского канала, из моего именьица, только что прибыли, харч привезли.

Державин прошел в кухню, там обедали трое крестьян. Один из них, бородатый, пронырливого обличья приказчик, на вопрос Державина стал рассказывать:

— Да вот, ваше благородие, дела-то какие! Дела прямо пакостные! Володимирского полка гренадеры, коих в Казань гонят, в роптание пришли. Как проезжали мы чрез селенье Кибол, сделали ночевку на постоялом дворе, вот там и слышали... Гренадеры-то в ямские подводы укладывались в дорогу, да и говорят громко, никого не страшась: «Вот, говорят, вызвали нас из армии, чтоб при свадьбе Павла Петровича быть в Питере. И хошь бы за это беспокойство по чарке водки подали, губы помочить, а замест благодарности по окончании торжества заставили нас, солдат, на Неве сваи бить, как строилась набережная дворцовая. Ну да ладно!... Только бы нам, — говорят гренадеры, — до места доехать да не замерзнуть, а мы от этакой худой жизни все свои ружья сложим пред царем, что появился в низовых местах... Царь он али не царь, — нам, да-кось, наплевать», — говорят.

— Ах, мерзавцы! — возмутился Державин. Полное лицо его стемнело. — И что же ты... Ужели смолчал, слыша все сие?

— А чего мне гуторить? Нешто это мое дело? Мое дело сторона, — ответил бородатый приказчик, прожевывая кашу и рыгая.

Попивая чуть погодя ароматный кофе со своей приятельницей и с отменным аппетитом пожирая румяные, легкие, как вата, пышки, Державин говорил:

— Крамола, крамола, Степанида Порфильевна! Всюду крамола, даже в армии. Вот времена пошли!.. Я не сказывал вам, свидетелем какого ужасного случая года с два тому назад, в июле месяце, мне быть довелось?

— Ой, не стращай меня, Гаврюшенька! У тебя вечно случай. Да ты лей больше сливочек-то, пеночку-то... Ужо я тебе кружовничного варенья наложу, ты ведь сластена у меня!

— Этот случай отменный, Степанида Порфильевна, уж дозвольте... Вызван я был со своей ротой на плац-парад в три часа утра. Стоим, ждем. И через часа два со стороны Песков слышим — кандальные цепи лязгают. Видим, в самом истерзанном облике двенадцать лучших гренадер ведут закованных, тринадцатый — унтер-офицер. Прочли им указ императрицы и приговор. Они на ее жизнь будто бы умышляли. И тут взялись за них каты! Великое избиение учинено им было кнутьями, а после сего обрядили, до полусмерти избитых, в рогожное рубище, повалили в кибитки и — прямо в Сибирь! Настрадался я, глядючи на все сие происшествие!

— Ой, ой! — всплеснула руками женщина.

— Да... Многие на жизнь матушки покушались, и все больше, представьте себе, военные дворяне. Не угодна им государыня. Они бы не прочь Павла Петровича императором иметь... А теперь вот Пугачев. Беда! Не уявися, — что будет!

Перед ним, просительно потявкивая, крутилась на задних лапках ученая Мимишка в теплой кофточке. Державин стал швырять ей в рот маленькие кусочки сахару, она ловко ловила их на лету. Желтенький пушистый кенарь звонко распевал в клетке, топилась голландская печь, босая девчонка поливала герань и колючие кактусы; в переднем углу горела лампада, на шкафу стоял пыльный самовар.

— Ну, благодарю на угощенье! Теперь позвольте мне счеты, и приходо-расходную книгу вашего приказчика, учиню учет ему.

— Ой, ненаглядочка моя!.. Спасибо на заботе. А я тебе четыре пары бельеца из ярославского полотна сготовила. Монашка вышивает гладью вензеля твои... И с короной. Ну и долговязый же ты, батюшка! Я как прикинула твои исподние штанцы, так они от самого полу мне до подбородка. Да ты прямо Петр Великий будешь!

— Нет, Степанида Порфильевна, сей чести не удостоился. В моем росте до Петра Великого вершка недостает...

— Что ты, что ты, Гаврик! А мне, грешнице, думается, ты на вершок длинше его.

Возвратясь домой, Державин с изумлением увидел в полковом приказе высочайшее повеление явиться ему к Бибикову. Чрез три дня он уже выезжал в Казань. И странно — отправляясь в путь, Гавриил Романович вовсе не испытывал радости по сему случаю. Напротив, с ним было такое, словно он взвалил себе на плечи груз — чужой и нелегкий. И даже мысль о возможности свидеться, наконец, с родной матерью мало успокаивала его.

5

Пугачев принимал в золоченом зальце главного судью — старика Витошнова, Максима Горшкова и думного дьяка Почиталина. Горшков зачитывал Пугачеву донесения, полученные из разных мест, а также изустно докладывал вместе с Витошновым разные сведения о победоносных действиях отдельных отрядов.

Пугачев узнал, что на протяжении прошлого ноября захвачены заводы: Катав-Ивановский, Симский, Усть-Катавский, Юрюзанский и другие. Он приказал немедленно направить в каждый завод своих управителей, поручив им лить, где можно, пушки, мортиры, брать порох, ядра, оружие, казну — и все это под верной охраной высылать в Берду. И чтобы в заводах и всюду читались вгул, где есть люди, его манифесты и указы.

— Можно ли к вам, государь? — приоткрыв дверь из прихожей, спросил Падуров.

— Входи, входи, полковник! Что скажешь?

— Я не один: привел двух выборных от преклонившихся вашему величеству жителей Бугуруслана.

Пугачев приосанился. В горницу вдвинулись маленький лысый, в больших сапогах, Давыдов и высокий пучеглазый Захлыстов. Оба повалились Пугачеву в ноги.

— Что за люди? — спросил Пугачев, приказав им подняться.

— Я депутат Большой комиссии, ваше величество, Гаврило Давыдов, ясашный крестьянин. Вот на мне и знак депутатский золотой, как у Падурова, Тимофей Иваныча, мы с ним вместях в Кремле-то, в Грановитой палате-то, сидели... — Он снял с шеи тоненькую золотую цепочку с депутатским знаком и показал его Пугачеву. Затем, мотнув головой на стоявшего истуканом своего соседа, продолжал: — А этот верзила-то Захлыстов прозывается, житель из Бугуруслана. Оба мы посланы от жителей града челом тебе бить, и хлеб с пирогами вам жителями досланы... Да, грешным делом, наши лошаденки схрумкали в дороге хлеб-от с пирогами, и нам-то понюхать не доспелось. Ах, ах!.. Прости уж, батюшка! Ежели не гневаешься за пирог-от, я дале буду сказывать...

— Толкуй, толкуй. Пирог новый испечем! — сказал Пугачев, вслушиваясь в торопливую речь депутата.

— Я тебе по правде, я уж врать не стану, — я ведь депутат, эвот и значок у меня золотой. А сам-то я грамотей. Шибкий грамотей я, у попа учился, — тараторил лысый низенький мужичок в длиннополом заячьем тулупчике. Он, видимо, знал себе цену, старался вести себя независимо — то подбоченивался, то выставлял вперед ногу в непомерно большом сапоге, то подхватывал спускавшиеся рукава. — Живу я, значит, в Бугуруслане, и пронеслась там молва, что на Яике император объявился. А я, прямо сказать, не верю. Знаю, что Петр-то Федорыч давно умер, доподлинно мне это ведомо. А вскорости и от государыни указы воспоследовали, что якобы появившийся — не кто прочий, как Емельян Пугачев, беглый с Дону казак.

Пугачева покоробило, он повел плечами, испытующе прищурил глаза на говорившего. И все присутствующие зашевелились, закашляли.

— Я и этому веры не дал, — наморщив прыщеватый лоб, продолжал как ни в чем не бывало мужичонка. — Все манифесты врут! Катерина и о Петре Федорыче публикацию давала, что скоропостижно

помре, мол. Врет! Убили!.. Орловы его убили... Я-то знаю, я депутат Большой комиссии...

— Стой, Давыдов! — прервал его Пугачев. — Царица врала, и ты заврался, мелешь, как мельница. Как же меня убили, когда вот он — я?.. Пред тобой сижу.

— Батюшка, ваше величество! — запрокинув бородатую лысую голову и ударяя себя в грудь, закричал Давыдов. — Да теперичь-то, как своими очами-то тебя узрел, так и я в разум пришел, теперичь-то и я вижу, что ты царь Петр Федорыч! А ведь издаля-то не видно. А башки-то наши темные, вырабатывают плохо. И вот, ваше величество, извольте слушать... Намеднись наехали на наш Бугуруслан сто калмыков со своим старшиной, Фомою Алексеевым, разграбили все обывательские домы, и мой домишка претерпел, выгнали весь народ на площадь, спрашивают: «Кому служите?» Тут мы, старики, ответствуем: «Прежде служили государыне, а ныне желаем служить государю Петру Федорычу». — «Ну, коли желаете послужить батюшке, — говорит тут калмыцкий старшина, — так выберите от себя сколько-то человек да пошлите к самому государю для поклона и объявите самолично верноподданническое свое усердие». Вот нас двоих, самолучших людей, и выбрал народ-от, и пирогов напекли тебе, батюшка... Да вишь, с пирогами-то чего стряслось: лошади почавкали! Ах, ах, ах!

— О чем же просите, бугурусланцы? — спросил Пугачев.

— Стой ужо! — встряхнул рукавами Давыдов. — А просим мы тако, ваше величество: воспрети наш Бугуруслан впредь зорить и жечь, да не можно ли, батюшка, каким способом награбленное возворотить?

Пугачев с просителями всегда был обходителен. Он сказал, обращаясь к бугурусланцам:

— Ну, спасибо вам, детушки! Я велю, Давыдов, дать тебе указ, чтобы никто никакой обиды не чинил вам. А что у кого пограблено, ты сам разыщи и отпиши в мою канцелярию — для резолюции. Стало, Бугуруслан к моей державе отошел?

— Так, ваше величество! — воскликнул Давыдов, выпучив глаза и запрокинув голову. — Со всеми селениями к тебе приклонился. Я уж в дороге столковался с мужиками: вот вернусь — бекеты везде выставим, солдатишек казенных ловить учнем, оружаться станем супротив катерининских отрядов.

— Благодарствую! Почиталин, заготовь указ Гавриле Давыдову, ставлю я его там своим атаманом, и под его команду нарядить отряд в тридцать казаков. Доволен ли, друг мой?

— Ваше величество! — Давыдов повалился на колени.

— В другой раз, как поедешь ко мне с пирогами, так за лошадьми-то следи лучше. А то они у тебя сладкоежки.

— Да уж... Ах, ах, ах!.. Схрумкали, схрумкали, ваше величество! А пироги-то какие!.. С узюмом!

Давыдов и Захлыстов уходили обласканные, Пугачев сказал:

— Ну вот, господа атаманы! Как видите — зачинаются великие дела. Что ни день, все к нам да к нам приклоняются народы. Это восчувствовать надо! — Глаза его блестели, грудь от прилива чувств вздымалась. — А посему давайте-ка сегодня вечером пообедаем вместях, саблѐю учиним. А то как бы подарки-то, что атаман Арапов прислал нам, — белорыбицы разные да севрюжины провесные, — как бы, говорю, их тоже лошади не схрумкали... Ась?

Все засмеялись, засмеялся и Пугачев. Обратясь к Падурову, он сказал:

— Слышь-ка, полковник! А ты, как-нито, принеси-ка сюды... как ее... карту эту самую с городами да с морями, кою мы взяли в Татищевой. Мы с тобой проверку учиним, что да что отошло к нам, какие заводы да жительства разные.

— Слушаюсь, ваше величество!

— Как-то, помню, зашел я в спальню сына своего любимого, а его граф Панин грамоте учит, карта на стене висит. «А ну-ка, Павлуша,— спрашиваю наследника своего,—покажь-ка, где Москва?» Он тырк пальцем. Я ему: «Верно, говорю, молодец! А где Питен-

бурх?» Он опять тырк пальцем. «Верно, говорю, хорошо стараешьси. А где Киев-град?» Он тырк пальцем... «Врешь, говорю, это Уфа... Учись лучше, а то штаны спущу и выдеру. Не погляжу, что наследник!»

Все опять засмеялись, а Падуров, выждав, сказал, обращаясь к Пугачеву:

— Заждался вас, государь, дражайший наследник-то ваш. Вот как мы возле Оренбурга-то застоялись! Мы-то стоим, а время бежит, не ждет...

— Что задумал, полковник? Не тяни.

— Да что, ваше величество... Сказать правду, замечтался я этой ночью о всякой всячине... Взять, скажем, Москву. Слухи ходят, что и там ждет не дождется царя честно́й народ. А ведь Москва не Яик, государь.

Пугачев молчал, отдувался, как если бы кто внезапно подкинул ему на плечи нелегкую поклажу.

— Ты это зря, полковник, насчет Яика,— ввязался в разговор старик Витошнов. — Оренбург нам почище всякой иной столицы... Опять же, какой дурак вперед лезет, ежели у него враг за спиной во всеоружье?

— А я так мекаю,—гулко заговорил Максим Горшков, воззрясь на Пугачева. — Оренбург, конечно, супротив Москвы птичка-невеличка... Одначе издревле сказано: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. Слыхал, Тимофей Иваныч?

— Как не слыхать, слыхал, — заволновался Падуров. — Только треба и то помнить: хоть тресни синица, а не быть ей журавлем! Чего зря ума болтать.

Спор оборачивался в перебранку. Пристукнув о стол ладонью, Пугачев сказал:

— Всякому овощу, детушки, свое время. А наша судьбишка такова: где силой, а где и терпежом бери. Нам еще над войском своим потрудиться предлежит. В дальнюю путину собираешься, упряжь как след быть изготовь да коня выкорми... Так-то, Падуров! — закончил он и миролюбиво потрепал полковника по плечу.

ГЛАВА IX

Боевые мероприятия. Пугачевская военная коллегия. «Что же тебе надобно, обиженный?»

Емельян Иваныч еще загодя отправил повеление приказчику Воскресенского — купца Твердышева — завода, Петру Беспалову: «Исправить тебе великому государю пять гаубиц и тридцать бомбов, и которая из дела выйдет гаубица, представить бы тебе в скором поспешении к великому государю и не жалеть бы государевой казны, — сколько потребно, давай работникам, а я тебя за то, великий государь, буду жаловать». Но докатились до Берды слухи, что приказчик Беспалов не больно-то государю усердствует, а, по всем видимостям, хозяйские, купца Твердышева, интересы блюдет.

Пугачев приказал Чике-Зарубину, казаку Ульянову да пушечных дел мастеру Якову Антипову, тоже казацкого рода человеку, немедля отправиться на Воскресенский завод и чинить там строгий надзор за исполнением государева приказа. «А в случае чего — приказчику Петьке Беспалову ожерельце на шею!»

Пугачев особую надежду возлагал на казака Якова Антипова, в пушечных делах особо дотошного.

— Я, батюшка, как поуправлюсь тамо-ка, стану новые пушки вам лить, — сказал горбоносый рослый Антипов, степенно оглаживая рыжеватую круглую бороду. — Да у меня дружок на заводе проживает — Тимофей, а по прозвищу Коза, такожде по пушечным делам знатец изрядный. Ну-к мы с ним...

— Спасибо, Антипов, — поблагодарил Пугачев. — Сам, друг, ведаешь, сколь велика нуждица в пушках у нас. Уж поусердствуй. А на заводе пристрел-то пушкам чините?

— А как же! На заводах-то у нас, батюшка, свои бомбардиры, свои и наводчики.

— Ну, так и бомбардиров доразу отправляй к нам, в стан, при пушках.

— Всех не можно, государь, а которые лишние — отправлю.

С этим Антипов ушел. Прощаясь с Пугачевым, Чика хотел приложиться к его руке, но Пугачев не дозволил.

— Давай-ка почеломкаемся, брат, — сказал он. — Пуще всех, Чика, верю тебе. Простой ты, бесхитростный. Что лежит на душе, то и выкладаешь.

Вслед за Чикой были вызваны к царю Хлопуша и яицкий казак Андрей Бородин.

— Вот что, Афанасий Тимофеич, — приветливо обратился Пугачев к Хлопуше-Соколову. — Бери-ка ты три сотни из своего полка заводских людей, а ты, Бородин, — четыре сотни илецких казаков, да идите вы вместях крепость Верхнеозерную брать. Там, сказывают, всякого продовольствия довольно. А как бог не подаст вам удачи, известите меня, тогды прибуду лично, подмогу сотворю.

Под строгим, самолично царским досмотром отряд был снаряжен в поход быстро. Полк работных людей представлял собою немалую силу: люди друг с другом сжились еще на заводах. В Берде они гуртовались по артелям — свои к своим. Когда-то испитые, одетые в рубище, они за время пребывания в армии успели раздобреть и приодеться. Стойкость, сметливость, чувство товарищества присущи были им еще в заводской совместной работе. Поэтому боевые их качества, как впоследствии оказалось, были несравнимо выше, чем у скопищ простых хлеборобов. Пугачев это знал и преотменно ценил полк заводских людей. Одна беда — их было пока что мало: сот семь-восемь, не боле.

— Знайте, детушки, — напутствовал их Емельян Иваныч, — у меня, под нашими царскими знаменами, всяк за себя воюет, за весь свой род-племя. А заводы уральские от купчишек да бар в наши, государевы, руки перейдут. И кто по воле своей станет на них работать, тому я, великий государь, доброе жалованье платить учну... И во всяком довольствии отказу вам не будет.

...Как-то на военном совещании полковник Шигаев сказал Пугачеву:

— Нам, батюшка Петр Федорыч, Яицкий-то городок как-никак к рукам надо бы прибрать. Ежели Оренбург вскорости не осилим, так зимовать туды подадимся: там и жительство обширное и съестного для армии хватит... У коменданта Симонова всякого ку́са наготовлено вдоволь... Он не Рейнсдорпу-выжиге чета.

— И ты, ваше величество, правильно умыслил, — подхватил Овчинников, — что Хлопушу спосылал Верхнеозерную брать. Как завладеем денежками, да довольствием, да зарядами с ядрами, тогда уж и Яицкий городок штурмуем.

Старый есаул Витошнов, человек со скуластым лицом и втянутыми щеками, потеребливая седую бороденку, сказал:

— Мое слово, молодцы, — надо нам на нижние яицкие форпосты Мишку Толкачева с манифестом спосылать: пущай он всех казаков забирает к себе... Вот чего надо.

— А к киргизскому Дусали-султану татарина Тангаича отрядить, — опасливо косясь на Пугачева (как бы не оборвал его), проговорил торопливо Лысов. — И тоже манифест вручить ему: пущай султан конных киргизов шлет нам поболе.

На следующий день Толкачев и Тангаич отправились с манифестом куда следовало, а штаб стал исподволь готовиться к походу на Яицкий городок.

Пугачев спросил главного атамана Овчинникова:

— Знаешь ли ты, Андрей Афанасьич, сколько у нас всего людства? И ведешь ли ты списки?

— А людей, ваше величество, невпроворот у нас, к десяти тыщам подходит. Списки же сначала я вел, но впоследствии времени бросил... На Кара ты услал тогда меня.

— Да, брат, всенародство простое ко мне валом валит, — с гордостью промолвил Пугачев. — Одна неустойка — командиров мало. Полагаю я, Андрей Афанасьич, офицеров к сему делу приспособить... Сколь их у нас?

— За десяток перевалило, батюшка. Горбатов-то, новый-то, уже впрягся, я ему казаков да народ на полки поручил разбить. Деляга человек и со старанием!

— Его отличить бы, Андрей Афанасьич. Он сам ведь к нам явился. Ты ему на жалованье не скупись, такому и три, и четыре, и все пять рублев в месяц не жалко. Пускай старается. Да и... как бишь его? Шванычу оклад положь. А казакам-то в аккуратности платишь, ась? Смотри, брат!..

— Плачу, плачу! С заминкой, а плачу... Ну, да они свое из горла вырвут. А у меня иным часом и недостача случается в деньгах-то.

— У нас в казне тысяч до десяти, как не боле, лежит. Ничего, не скудаемся.

Пугачев сидел в кресле, позвякивая связкой ключей от «казны»; атаман Овчинников, прихрамывая на левую, чуть покороче, ногу, расхаживал вдоль золоченой горенки.

— При многолюдстве нашем полки-то можно покрупнее сбить, ваше величество, да на сотни построить.

— Гарно! Не ведаю вот, как мне с мужиками и прочим людом быть? Шибко просьбицами одолевают, — жаловался Пугачев. — Как выйду, на колени валятся... У каждого свое — то горе, то обида от соседа, то хлеба подай. Порешил я, о чем и допреждь мы с тобой толковали, утвердить свою Военную коллегию...

— Дело, дело... В Петербурге — своя, у нас—своя.

— Своя, казацкая, на казацкий лад! Чтобы там и судьи были, и повытчики, и чтобы все по армии дела вершились. И пущай народ туда идет с нуждицей.. Маленько годя скличь-ка ты Падурова да Горбатова со Шванычем, они люди бывалые, книжные, пусть мозгами раскинут. Да и сам приходи, Андрей Афанасьич.

Как стало смеркаться, пробралась в царскую кухню красавица Стеша. Она покрестилась на образа и, увидав толсторожего Ермилку, сбивавшего мутовкой сметану в кринке, вызвала Ненилу в сенцы.

— Ненилушка, — сказала она, зардевшись, — допусти меня до государя.

— И не подумаю, — крутнула головой Ненила, и глаза ее сразу обозлились.

— Да ведь он меня, батюшка, сам присуглашал — приходи да приходи.

— А наплевать, что присуглашал. Он рад всех баб присугласить... На што он тебе сдался? У тебя свой хозяин есть. Вот ужо скажу Творогову-то, Ивану Лександрычу-то, он те косы-то долгие поубавит...

— Он уехатчи! А ты меня, Ненилушка, пусти, пусти, желанная...

— Вот прилипла! Иди, ежели совесть потеряла, с чистого крыльца.

— С чистого-т не пустят, стража там. Да и огласка мне ни к чему. А мне бы только рубашечку ему передать, сама вышивала шелками. — И она шевельнула узелком под мышкой.

— Рубашечки-то и мы горазды шить. Эвот у меня две татарки гладких на печи спят, нажрались за обедом вдосыт.

Стеша сняла с руки бирюзовое колечко и молча сунула его Нениле. Та приняла, поблагодарила и, вздохнув, сказала:

— Ну, ин пойдем... Только, чур, ненадолго. К нему народ вскорости потянется. Ой, да и стыдобушка с тобой, Степанида!

Когда поднялись они по внутренней из кухни лестнице, Ненила крикнула в покой:

— Эй, ваше величство! Кундюбка тут одна припожаловала к тебе! Примай!..

А Ермилка, тряхнув чубом и облизнув мутовку широким, как у коня, языком, подумал: «Ну до чего приятственно царем быть!»

2

Крепость Верхнеозерная была расположена в ста верстах от Оренбурга — вправо от него, на реке Яике. Афанасий Тимофеич Хлопуша со своим отрядом

двигался по той самой дороге, по которой еще так недавно пробирался к Оренбургу бригадир Корф.

Поравнявшись с Верхнеозерной, Афанасий Тимофеевич сплюнул на далекое расстояние и сказал своим:

— Мы эту на закусочку оставим, а попервоначалу Ильинскую схрупаем, — и повел отряд еще на сорок две версты вперед, к Ильинской.

Крепость Ильинская была беззащитна. Хлопуша взял ее сразу, забрал деньги, пушки, заряды с ядрами, продовольствие и повернул назад, к более сильной Верхнеозерной крепости. Ее защитниками были две пришедших из Сибири роты, около сотни гарнизонных солдат, отряд польских конфедератов, двести калмыков с башкирцами да десятка два казаков. Начальник крепости, полковник Демарин, сделал все приготовления к защите.

В ночь на 23 ноября Хлопуша двинул свое скопище на штурм, но захватить крепость врасплох не сумел. Перестрелка длилась все утро, целый день. Хотя калмыки, башкирцы и казаки сразу же передались Хлопуше, сибиряки и поляки сражались стойко, почему и второй штурм оказался безуспешным.

Хлопуша с Андреем Бородиным отступил в Кундуровскую слободу и послал царю известие о своей неудаче.

Между тем на вечернем совещании у Пугачева обсуждался важный вопрос об организации Военной коллегии.

— Мы должны какой ни на есть порядок завести, — сказал Пугачев, — чтобы нашему делу порухи не было.

Пугачев жаловался, что мало в войске дисциплины, что его войско не похоже на настоящую армию, что казаки, а глядя на них и прочие, сверх меры пьянствуют и под Оренбург выезжают частенько под хмельком, что по ночам войско орет песни и устраивает кулачные бои промежду себя, что иным часом, пользуясь особым своим положением, казаки оби-

жают башкирцев да татар, а то и пришедших к нему, государю, крестьян.

— Коротко молвить, растатурица промеж моего народа идет, никакого настоящего уряду нет. Так впредь жить, други мои, не можно, — сетовал Пугачев, со строгостью посматривая на присутствующих.

Офицер Горбатов со вниманием и одобрительно прислушивался к речам Пугачева.

— Второе дело, — продолжал Пугачев, он поднялся из-за стола и стал расхаживать по горнице... — второе дело, как мы в народе суд чиним? Не суд то, а чистое бессудье. Иной час займется сердце, тут и велишь другого обидчика вздернуть, а опосля того всю ночь казнишься: а вдруг на обидчика-то облыжный поклеп взвели? Дела, други мои, таперь доведется вершить по совести, не как повелось в судных избах при воеводствах, да при губерниях, да при магистратах, а по чистой правде.

— Третьим делом, — продолжал Пугачев, — учинили ли мы какую-нито управу в деревнях, да селах, да в местечках разных, кои нам приклонились?

— Вы административные дела имеете в виду? — подсказал офицер Горбатов.

— Да, да, министративные! Посажены ли там люди наши, а ежели посажены, как там правят они?

Совещание длилось всю ночь до рассвета, было высказано много нужных мыслей. Горбатов сообщил, что он с Падуровым, с двумя грамотными есаулами и при посредстве Овчинникова с Шигаевым составили новое распределение полков. Выделено несколько полков казачьих, остальные люди разбиты по племенным и, так сказать, сословным признакам.

Слушая Горбатова, Пугачев к нему присматривался и находил в нем сто́ящего офицера, а себе хорошего советчика.

— Сколько всего народу у нас? — спросил он.

— Полностью еще не подсчитано, — ответил офицер Горбатов, — только полагаю, не менее пятнадцати тысяч.

— А пушек да мортир?

— Восемьдесят шесть, — сказал Овчинников.

Составили списки полковников. Овчинников, оставаясь войсковым атаманом и общим руководителем армии, назначался командовать полком яицких казаков, Творогов — полком илецких казаков, Падуров — полком оренбургских и других казаков, взятых в крепостях, Билдин Семен — полком исецких казаков, Дербетов — полком ставропольских калмыков, Муса Улиев — полком каргалинских татар, мулла Кинзя Арсланов — башкирским полком и т. д. При артиллерии оставлен Чумаков, к нему в помощь назначен солдат Калмыков, умевший исправлять пушки, и, по личному приказу царя, старый бомбардир Павел Носов, пожелавший остаться на царской службе.

Очень долго, в горячих спорах, составлялся общий регламент для Государственной военной коллегии. На следующий день был позван к Пугачеву штаб армии в полном составе. Оба офицера, а из приближенных— Дмитрий Лысов отсутствовали.

— Вот что, атаманы-молодцы!— припоминая слова и выражения Горбатова, обратился Пугачев к приближенным. — Мы, божьею милостью, положили утвердить при себе Государственную военную коллегию, коя поведет все дела нашей армии, а такожде порядки государственные на казацкий лад, потому как государству нашему предлежит быть чином своим державой казацкой. Почиталин! Сделай огласку правил.

Ваня Почиталин (он за короткое пребывание у Пугачева возмужал, раздобрел, раздался в плечах, его перестали кликать «Ваня», величали Иваном Яковлевичем) четко и внятно стал читать регламент.

На Военную коллегию возлагались следующие повседневные заботы: давать указания поставленным от государя командирам, посылаемым в разные места для привлечения народа; ведать доставлением провианта и фуража, разграблением господских пожитков, отобранием в крепостях снаряжения и отправки его в государев стан; следить строжайше, чтобы башкирские и мещерякские богатеи не чинили насилий над русскими крестьянами; в восставших селениях

ставить новую выборную власть. О всех важных делах коллегия обязана чинить доклад государю и все важные дела купно с ним решать.

Иван Почиталин огласил регламент и раз и два. Пугачев задал приближенным вопрос, удовлетворяют ли их оглашенные правила, и, получив согласные ответы, велел прочесть именные списки членов Военной коллегии. Почиталин начал:

— Во главе Военной коллегии поставить четырех судей: Максима Шигаева, Андрея Витошнова, Ивана Творогова и Данилу Скобочкина...

Все назначенные судьи враз заговорили: они-де судьями быть не могут, им недосуг, к тому же — малограмотны... Пугачев с силою ударил о стол ладонью:

— Перечить моей воле кладу навсегда запрет! Слышали?!

Все присмирели, иным бросилась в голову кровь, лица стали красны. Старик Витошнов потупил взор, Шигаев, покашливая, запустил пальцы в надвое расчесанную бороду и замер в этой позе.

— При коллегии такожде состоят, — продолжал докладывать Почиталин, — секретарь Максим Горшков, думный дьяк Иван Почиталин, сиречь — я, и четыре повытчика: Иван Герасимов, Супонин, Пустаханов, четвертый — еще не назначенный, а всего будет в Военной коллегии десять человек.

— Тебя, Иван Александрыч, как доброго полковника, я назначаю главным судьей, — сказал Пугачев Творогову.

— Увольте, ваше величество! — встал и низко поклонился Творогов. — Главным пущай будет Витошнов, он много почтенней меня летами.

Пугачев согласился. И отныне на заседаниях Военной коллегии Витошнов всегда сидел выше Творогова, а Шигаев хотя и ниже их обоих сидел, но как был он человек замысловатый и государем самый любимый, то судьи больше следовали его советам. Наиболее грамотным из всех был секретарь — Максим Горшков.

Так возникла знаменитая Военная коллегия Емельяна Пугачева.

Пока длилось это совещание, в лагере казаков был созван круг, на котором утверждался список полковников, сотников и есаулов. При оглашении большинства имен круг кричал: «Годен! Годен!» А когда кто-либо был казакам шибко не по мысли, круг кричал: «Долой! Не годен!» — и выбирал своих людей.

3

По зову Хлопуши Пугачев немедля выступил в поход со всеми яицкими казаками и с частью артиллерии. Заместителем своим в Берде он назначил Максима Шигаева. По дороге добровольно к Пугачеву присоединился небольшой отряд худоконных казаков, высланных Рейнсдорпом за сеном.

Утром 26 ноября, соединясь с отрядом Хлопуши, Пугачев двинулся к Верхнеозерной и приказал обстреливать крепость из пушек, ружей и сайдаков. Наезжавшие на крепость кучки казаков голосили часовым:

— Пускай ваши солдаты не палят в нас, а выходят с покорностью, ведь под крепость подступил сам государь! Он наградит вас!

— У нас, в России, государыня Екатерина Алексеевна, — отвечали с валу, — окромя нее, нет у нас государя!

С полдня Пугачев с Овчинниковым повели свой полуторатысячный отряд на штурм. Однако крепость защищалась стойко, поражая противника метким огнем. Яицкие казаки и приведенные Хлопушей заводские крестьяне пришли в замешательство.

— Грудью, други, грудью! — кричал Пугачев, разъезжая между оробевшими казаками.— На штурм! На слом!

— Поди-ка сунься! — орали ему в ответ из толпы. — Супротивник-то вон каку пальбу ведет... Пули в самый лоб летят...

— Вперед, детушки, вперед! — не унимался Пугачев, стреляя из пистолета и бросаясь в самые опасные места. Вот конь царя, подбитый картечью, взвился на

дыбы, опрокинулся, едва не подмял своего хозяина.

Во рву и возле ворот уже полегло немало штурмующих казаков и заводских крестьян.

— Кусается ворог! — сердито сказал Пугачев.

К вечеру штурм был прекращен, войска отошли в Кундуровскую слободу. Урон в пугачевской силе был порядочный, особенно среди заводских людей: дружные, отважные в бою, они, к сожалению, были плохими наездниками, на лошадей залезали неуклюже, падая животами, да и седел под ними не было, — сидели кое-как на неоседланных башкирских лошадях, прикрытых лишь войлочным потником либо рогожей.

Взятая на днях Хлопушей крепость Ильинская снова была занята отрядом майора Заева, шедшего, по распоряжению генерала Станиславского, на помощь Верхнеозерной.

Пугачев всей силой двинулся к Ильинской крепости. Штурм был быстр и кровопролитен. Несмотря на упорное сопротивление гарнизона, крепость была взята, майор Заев изрублен, четверо офицеров, лекарь Егерсон и около двухсот нижних чинов убиты. Уцелевшая команда помилована. Два офицера — Камешков и Воронов — были Пугачевым опрошены:

— Пошто вы против меня, своего государя, идете?

— Ты не государь нам! — закричал старший офицер Воронов. — Ты самозванец! Ты бунтовщик! Народ обманываешь!

— Геть, изменник! — вспылил Пугачев. — Да я из твоего дедушки прикажу костылей наделать.

Он велел тотчас обоих офицеров повесить.

Ильинская крепость была сожжена, взяты пушки, пленным обрезаны косы. Захвачен проходивший возле крепости караван в двадцать пять верблюдов с двадцатью бухарцами. Пугачев приказал разделить товары между яицкими казаками. Обрадованные казаки кричали государю «ура».

Было получено угрожающее известие, что генерал Станиславский двигается сюда из Орской крепости, он уже подходит к Губерлинским горам, расположенным на полпути между Ильинской и Орской крепостями.

Пугачев, остерегаясь встречи с войсками генерала, спешно повернул в Берду. На верблюдов погрузили оружие, снаряжение, снятую с убитых одежду и выступили в дорогу толпой в две тысячи двести человек при двенадцати пушках.

Крутил-завихаривал буран. Во рву возле догоравшей крепости, намело свежие сугробы. Сквозь белесую муть темнели торчавшие из снега конские, вверх копытами, ноги, окоченевшие трупы людей. Ветер мел перекатывал по рыхлым сугробам две казацкие шапки, а там из снежной заструги торчала рука с зажатым в горсти, неопасным теперь, ножом.

Было морозно. Пугачев в дороге стал зябнуть, выпил вина, пересел в кибитку.

Пугачев оробел перед генералом Станиславским, а тот испугался Пугачева и, узнав про участь майора Заева, отступил в Орскую крепость.

Здесь Станиславского ждал приказ генерала Деколонга немедленно отступать на север, в Верхнеяицкую крепость.

Таким образом, Деколонг, находившийся в Троицкой крепости, не только не шел на выручку Оренбурга, но допустил совершенно обнажить от воинской силы обширную область. Он опасался за целость Исетской провинции, горные заводы которой были охвачены волнением, его беспокоила также судьба Екатеринбурга — административного центра горной промышленности на Урале. Он вместе с тем знал, что в Башкирии пламя мятежа разгорается, что всякое сообщение с Оренбургом прервано, что отдельные отряды пугачевцев безнаказанно хозяйничают в разных местах Башкирии, что ими заняты многие уральские заводы [1].

Видя столь угрожающую обстановку в крае и не имея воинских сил для предотвращения мятежа хотя бы в Исетской провинции, Деколонг обратился к сибирскому губернатору Чичерину за помощью.

Однако губернатор Денис Чичерин и сам не располагал достаточным количеством воинской силы, чтоб

---

[1] Усть-Ивановский, Троицкий, Кухтурский и др.

охранять обширнейший Сибирский край от «повсеместно распространявшейся, подобно моровому поветрию, пугачевской заразы». А между тем признаки этой «заразы» уже начали обнаруживаться и в Челябинске, и в Омске, и даже в Тобольске.

Уже ходили слухи, что башкирские полчища, разоряя и предавая огню попутные селения, подступают к Уфе и что этому крупному административному центру грозит участь Оренбурга.

Казанский губернатор Брандт и военачальники точно так же пришли в замешательство, не зная, что им делать. Все их взоры были устремлены на Петербург: только Петербург спешной помощью мог придушить мятежные страсти в народе.

Но Петербург, во главе с Екатериной, еще не был осведомлен о масштабах восстания. Петербург сам был связан по рукам затянувшейся войной с Турцией, у Петербурга не было свободных войск. А сверх того — и это самое главное, — правящие круги столицы все еще недооценивали крупного значения событий, совершавшихся в Оренбургском крае, на Южном Урале и по ту сторону Уральского хребта.

Итак, несомненный перевес воинских сил и возможностей был пока что на стороне Пугачева. Население относилось к нему с большим сочувствием, тогда как ко всем правительственным карательным мероприятиям оно было настроено то холодно, то открыто враждебно. Поэтому военная удача почти всюду сопутствовала Пугачеву.

Но чем дольше длилась осада Оренбурга, тем трудней становилось народной армии удерживать за собою все свои преимущества. Чрезмерное сиденье Пугачева под Оренбургом дало правительству возможность осмотреться и накопить воинскую силу. И недаром Екатерина, в связи с разгромом Чернышева, писала Волконскому: «В несчастии сем можно почесть за счастье, что сии канальи *привязались два месяца целые к Оренбургу,* а не далее куда пошли».

4

Пугачев приехал в Берду еще засветло. Следуя мимо квартиры Творогова, он на этот раз не увидел Стеши, обычно поджидавшей его приезд на крылечке. (Впоследствии Ненила сообщила ему, что Иван Александрыч Творогов, пока царь ходил воевать, жестоко оттрепал Стешу за косы и отправил ее под конвоем в свою сторону.)

По дороге стояли на коленях пришлые крестьяне с котомками за плечами, кланялись, простирали к Пугачеву руки, о чем-то молили.

Пугачев кивал народу головой и ласково, как только мог, говорил:

— Детушки! Со всякой нуждицей спешите в Военную коллегию, она все разберет, и хлеба вам выдаст, и жительство определит.

А вот и Военная коллегия — обширная, приземистая, в шесть окон на улицу, изба с вывеской, ярко намалеванной офицером Горбатовым на гладко оструганной доске.

Пугачев приостановился, хотел войти.

Чрез слегка приоткрытую дверь вылетал на улицу дружный хохот, громкий разговор. «Чего это там ржут?» — с неприязнью подумал Пугачев и поехал дальше, ко дворцу.

В Военной коллегии пред судьями стоял плечистый, коротконогий дядя. Он одет в заплатанный полушубок с чужого плеча — талия спустилась очень низко, полы волочились по земле; он лохматый, густобородый, нос у него картошкой, в глубоко посаженных глазах озлобленность, тоска и безнадежность. Он говорил звонким тенорком, по-смешному растягивая слова, взмахивая рукой, притоптывая лаптем.

Главный судья, старик Витошнов, посмеиваясь в седую бороденку над любопытным рассказом приземистого дяди, предложил:

— А пойдемте-ка все к государю, благо прибыл он, поздравим с благополучным возвращением, да пущай-ка он, батюшка, на потешение себе, послушает этого самого Сидора Бородавкина...

Все с Витошновым согласились, толпой повалили к Пугачеву.

После общих приветствий, поздравлений и расспросов главный судья учинил доклад государю о делах и велел думному дьяку Почиталину огласить отправленные Военной коллегией и полученные ею бумаги.

— Ладно! — сказал под конец Пугачев. — Приемлемо... А это что за человек?

Все сидели за столом, а стоявший возле двери мужичок, приударив себя в грудь, с азартом закричал:

— Надежа! Надежа! Надежа! — и повалился на колени.— Дозволь слово молвить, кормилец наш! —Уперев ладони в. пол, он земно поклонился Пугачеву, из кармана разметавшегося по полу длинного полушубка выпало куриное яйцо и покатилось к ногам батюшки. Все заулыбались. Пугачев, подметив, что у крестьянина нет на левой руке указательного пальца, проговорил:

— Встань, раб мой! С чем пришел и откуда?

— Не смею и стать-то я. Недостоин! — Лохматый мужичок подполз к яйцу, подобрал его, поднялся, выложил на стол целый десяток печеных яиц и, кланяясь, сказал:

— Уж не прогневайся, прими. Как узнали, что я к тебе правлюсь, всего понадавали в дороге-то, — вот и шубенку дали, а то в соломе обмотанный шел, как сноп. Ребятишки, бывало, как завидят, так и заблажат: «Сноп, сноп! Глянь — сноп идет!..» — Он задвигал густыми бровями и стал рассказывать, почесывая бока:

— Пытан был и клещами жжен... И было мне пятьсот плетей и три стряски — все косточки во мне с мест сшевелены...

— Палец? — спросил Пугачев.

— Как топором вдарили — и палец отлетел... Хотели напрочь и рученьку рубить, да вот царица небесная спасла. А с чего зачалось? Бежал я от своего помещика-людоеда — от гвардии секунд-майора в отставке Лукьянова. Он, боров гладкий, и рученьку-то мою покалечил... Ну, я хвост в зубы, да и тягаля!.. Вот пымали меня под городом Ставрополем. А сам-то я с-под Арзамасу. «Как прозвище?» — «Сидор Бородавкин», — молвлю. Вот ладно. И приходит к воеводе

какой-то ставропольский барин и говорит ему: «Сто лет тому назад, говорит, у моего прадеда мужик Бородавкин сбежал. Ну так этот, говорит, от его кореню. Он мой», — говорит. «Как отца звать?» — спрашивает. «Иваном», — говорю. «А деда?» — «Деда — Петром». — «А прадеда?» — «Не упомню». Тогда воевода с барином поглядели в книгу, говорят мне: «Прадеда твоего Пантелеем звать, ты от его рода и происходишь. Верно ли?» — «Нет, говорю, не верно. Мой прадед и все сродственники на одном погосте лежат за много сотен верст отсель, под Арзамасом, а здеся-ка Ставрополь. Это не мой прадедушка, которого вы Пантелеем называете, а я не ваш». — «Ах, Пантелей не твой прадедушка, а ты не наш? Пороть!» Вот спустили мне штанцы, заголили рубаху, шибко выдрали. Опосля порки сказал я: «Точно... прадедушку моего, превечный покой его головушке, Пантелеем звали, я от него произошел».

Члены Военной коллегии густо заулыбались. Пугачев нахмурился.

— Тогда новый мой барин отвез меня в свое поместье. А тут узнал другой барин, евонный сосед, приехал и говорит: «Этот мужичок Бородавкин — мой! У моего прадеда, говорит, тоже крепостной Бородавкин был, да сто лет тому назад минуло, как в бегах скрылся... Стало быть, этот мужик мой». Опять меня в суд поволокли, и оба-два барина со мной. Опять сызнова зачал меня воевода выпытывать: «Как батьку твоего звать?» — «Иваном», — отвечаю. «Врешь, не Иваном, а Гарасимом». Я сказал тут: «Какой же он Гарасим, когда завсегда Иваном звался. Я не в согласии: он по сей день жив-здоров, мой батька-то, подите справьтесь». — «Нам, говорят, справляться не приходится, а только что отец твой — Гарасим. Снимай портки!» Тогда я сказал: «Ну, будь по-вашему, пущай родителя моего, Ивана, Гарасимом звать. Я в согласье». — «Ну, а деда как звать, а прадедушку?» — «Дедушку Петром звать, а прадедушку, кажись, Пантелеем». — «Врешь, вшивая твоя борода! — загайкал на меня, затопал ногами воевода, — он, должно, со второго барина взятку-то ухапал поболе, чем с первого. — Твой дед не Петр, а Га-

врила, а прадед не Пантелей, а Никанор. От его корению ты и происходишь. И в списках так... Подать плетей сюда!» И принялись меня самошибко пороть. Тут, знамо дело, довелось мне признаться, что и от этого Бородавкина я вроде как второй раз произошел.

Максим Горшков уткнулся в шапку и заперхал сиплым хохотом, а глядя на него, дружно всхохотнули и прочие. Пугачев укорчиво сказал:

— До смеху ли тут! Сказывай, дядя...

— И только я, батюшка ты мой, вымолвил, что у меня-де прадедушка не Пантелей, а Никанор, а родной отец мой не Иван, а Гарасим, как судьи с воеводой затопали, завопили: «Ах ты, холопская твоя душа! Как ты посмел переменные речи молвить?! То Пантелей у тебя прадед, то Никанор. За переменные речи — пытка!» Я аж закачался. Ну, думаю, порешат мою жизнь на пытке-то. Слышу, оба барина руготню из-за меня подняли: «Мой он! Не отдам!» — «Нет, мой!» Да давай плеваться в морды, а тут и в волосья друг другу вцепились. Судьи разнимать их кинулись и про меня забыли, а я чох за окно да на Волгу, да в челн, — так вот и утек. Да прямо к тебе, надежа-государь, хошь казни, хошь миловай!..

Пугачев почесал за ухом, посмотрел вопросительно на судей, сказал:

— Что же тебе надобно, обиженный?

От тихого, уветливо произнесенного самим батюшкой слова «обиженный» у мужика брызнули слезы, но, сделав над собою усилие, он сдержался. Глубоко запавшие глаза его вслед за слезами вдруг наполнились яростью, он закричал, ударяя себя в грудь кулаком:

— Дай мне, надежа-государь, человек с двадцать разбойничков, брошусь я помещиков резать... Перво-наперво свово барина, гвардии секунд-майора Лукьянова, жизни решу, а тут воеводу устукаю да двух бар тех, что за прадедушек чужеродных шкуру мне со спины спустили... Душа из них вон, дай!

— Утихомирься, друг мой, — махнул рукой Пугачев и, подумав, спросил Бородавкина: — Вот ты гораздо много места прошагал, — ну, как крестьянство-то там? Приклонятся ли они ко мне, государю своему?

— И не спрашивай, надежа-государь! — опять закричал Бородавкин. — Только дай весточку, да подмогу какую-нито пришли, да свою грамоту орленую... А уж там... Чего тут... Ведь я к тебе тридцать шесть парней привел да четверых солдат беглых. Шесть самопалов у них, звероловы — мужички-то...

Военная коллегия по совету Пугачева постановила: организовать легкий полевой отряд, во главе поставить сотника Калинина и челобитчика — крестьянина Бородавкина, снабдить их манифестами для оглашения в людных местах и раздачи населению, направить отряд в сторону Волги, указав руководителям отряда их задачи: разорять помещичьи гнезда, провиант и фураж доставлять на барских и крестьянских подводах в Военную коллегию, подымать народ именем государя Петра Федоровича Третьего.

Подобных отрядов в двадцать пять, пятьдесят, а иногда и в сто человек создавалось Военной коллегией все больше и больше, благо находились охотники с горячими головами. Эти летучие отряды посылались во все стороны от Оренбурга. Помимо того, то здесь, то там, в близких и весьма отдаленных от Оренбурга местах, самостоятельно возникали мятежные «толпы» со своими атаманами, со своими полковниками, а иногда и собственными Петрами Федоровичами Третьими. Особенно много таких «толп», как грибов после дождя, зарождалось в башкирских степях, а также на Южном и Среднем Урале.

ГЛАВА X

Веселая застолица. Митька Лысов пьет водичку. «Граф Чернышев». Два офицера

1

Ужин проходил шумно. Витошнов знал старинные проголосные песни, дрожащим тенорком он клал зачин, атаманы подхватывали. Пели складно, зыч-

ными голосами, запивали водкой и господскими винами. Пугачев пил с воздержанием, он выпил только четыре чары при общих тостах — в честь его здоровья, за Павла Петровича, за яицких казаков, за всю его армию.

Плешивый, брюхатенький, но упругий телом Митька Лысов тоже выпивал с воздержанием, стараясь перелить вино в стакан соседа или незаметно выплеснуть под стол. Однако он притворился пьяным и вел себя занозисто. Он старался всех уязвить, ужалить, за последнее время вообще стал ядовит и опасен, как гадюка. То начинал подсмеиваться над Иваном Твороговым, делать оскорбительные намеки насчет поведенья его супруги. То встревал в дружный хор певцов и своим бараньим голоском нарочно путал песню, искажал ее мотив. То подмигивал Пугачеву хитрым глазом и, подергивая свою козлиную бороденку, слюняво, под шумок, гнусил:

— Ваше императорское величество! Хи-хи-хи!.. Давайте опрокинем чупурышку за здравие всемилостивейшей государыни Екатерины, ведь мы ей присягу чинили. Да поди и сам ты присягал ей... Хи-хи-хи...

Пугачев, разговаривавший с Падуровым, так сдвинул брови и таким взором ожег Митьку, что тот заерзал по лавке, забубнил: «Не буду, не буду, стрель тя в пятку!»

Гостей было человек тридцать. Кроме главных военачальников и судей, за столом и вдоль стен сидели наиболее видные из простых яицких казаков: есаулы, сотники, старик Пустобаев, а также два каргалинских татарина и царский толмач Идорка, увешанный кривыми ножами.

Широкоплечий крепыш, с коротко подстриженными бородой и усами, Идорка сидел против Пугачева, неотрывно глядел на него восхищенными глазами, и, когда Митька Лысов начинал батюшке докучать, он, скрипнув зубами, хватался за нож, ждал от бачки-осударя повеления.

У печки, возле маленького столика, торчал спиной ко всем поп Иван, в рясе, лаптях и архиерейской митре, похищенной казаками в Егорьевской оренбург-

ской церкви. Поп к ужину приглашен не был, затесался сюда сам, без зова, однако Пугачев, увидя его, разрешил ему остаться. Лицо у попа широкое, простое, борода мочальная, в воспаленных глазах неуемная тоска, под глазами мешки, а меж бровями резкая складка, изобличавшая, что носит отец Иван в душе какое-то незабываемое горе. Никто не знал его прошлой жизни, да он об ней никому и не заикался.

Хотя он был пьяница, расстрига, или, как его называли, «распоп», но богомольная Ненила все же видела в нем носителя божественной благодати, поэтому подавала ему пищу столь же усердно, как и самому государю. Возле попа у стенки стоял штоф водки, отец Иван прикладывался к нему с усердием. Ему уже, верно, стало казаться, что начинается землетрясение, он хватался за стол, за стены, дико кричал: «Спасайся, братия!» — и силился подняться, чтобы бежать, но сделать этого был не в состоянии. Гости, глядя на попа, впадали в веселый хохот.

Седоголовый Витошнов, раскрасневшийся, пьяненький, оперев локоть о стол, голосисто затянул:

Как на Яике, на родной реке,
Собирались в круг все казаченьки.

Его зачин разом дружно подхватили. Могучий старичина Пустобаев, широко разевая заросший густыми волосами рот, рявкал своим басом оглушающе. Не утерпел и губастый Ермилка, притащивший из кухни две большие чаши со студнем из телячьих ножек. Он сунул студень на стол, тряхнул чубом и складно вплелся в песню таким высоким, почти женским голосом, что все посмотрели на него с приятностью. Пробовал подстать и поп Иван, но для него опять началось землетрясение, он снова заорал: «Спасайся!» — и едва усидел на стуле. А песня гремела:

Атаман-боец кругу речь держал,
Кругу речь держал, сам приказывал:
— Вы, казаченьки прирубежные,
Вы не кланяйтесь каменной Москве.

Каменна Москва Яик выпила,
Осетров в реке всех повывела,
К нашей волюшке подбирается,
Нас в дугу согнуть собирается...

Но вот все набросились на студень. Когда управились с этим вкусным блюдом, запели веселую — «Колечко, ты мое колечко». Давилин отворил дверь на лестницу в кухню, крикнул вниз:

— Эй, Ненила! Пироги-то готовы? Подавай!

В кухне засуетились. Пироги были горячие, румяные, с рыбой, с мясом.

— А где с узюмом пирог? — спросила своих помощников управная Ненила.

— А эвот, эвот!.. Я его Ермилкиными портками накрыла, чтоб отволгла корка, — ответила подслеповатая баба Лукерья.

Молодая татарка, Ненила и подоспевший Ермилка потащили пироги наверх.

— Ура! Пироги плывут! — закричал застенчивый Ваня Почиталин и тотчас же смутился.

— Ура, ура! — подхватили падкие на еду казаки.

— Караул! Спасайся! — во всю глотку заорал поп Иван и, не выдержав землетрясения, под общий хохот упал со стула.

От горячих пирогов валил вкусный дух.

— А вот с узюмом, самый сладкий! Ешьте, ешьте! — расхваливала сдобный пирог румяная Ненила.

— Гуляй, ребята, покамест Москва не проведала! — занозисто ввинтил свой голос в общий гомон Митька Лысов.

— А что нам Москва? Мы сами себе Москва! — вскозырились казаки.

— Хошь горько, да жидко! Давай еще! — басит Пустобаев и пудовой лапой тянется к вину. — С самим батюшкой гуляем, а не с кем-нибудь!

— ...на кораблике уплыл, — продолжает слегка захмелевший Пугачев рассказывать о своем прежнем житье-бытье. — Как взняли паруса, так ветрище и попер нас. Таким-то побытом я и стал ходить из царства в царство, из королевства в королевство.

Атаманы, особливо же чиновная казачья молодежь, поспевали усердно управляться с пирогами и с любопытством внимать речам обожаемого батюшки.

— И наущает меня турецкий султан: «Что же, говорит, ты по чужим-то огородам шатаешься, у тебя, говорит, свой зеленый сад цветет. Толкнись-ка, говорит, к орлам своим бородатым, к казакам, да присугласи, говорит, их к себе. А уж через них — получишь ли, нет ли, что тебе по праву следует. И так, говорит, ты, ваше величество, ни за что ни про что десять лет мытаришься без места своего...

— Вот султан-то и верно угадал, — проговорил опрятно одетый, всегда трезвый Максим Шигаев. — Казаки-то бородатые первые вас, ваше величество, Петр Федорыч, поддержали.

— Ежели они первые подмогу дали мне, так первыми и в государстве моем будут, — важно и громко произнес Пугачев и покосился на Митьку Лысова, как бы ожидая от него новых дерзостей. — Яицкое казачество у самого сердца моего.

Митька Лысов прыснул в шапку, но Шигаев, сердито хлестнув его по спине рушником, как плетью, вопросил казаков:

— Слышали, молодцы, что батюшка-то изволил сказать? Мы первые у него будем.

— Благодарим, благодарим! — закричали казаки и стали чокаться с Пугачевым. — Будь здоров, отец наш! Жить да быть тебе, долго здравствовать!

— Благодарствую, — ответил Пугачев и со всеми выпил. — Да, детушки, придет пора-времечко, да ежели бог благословит, я на Питенбурхе крест поставлю, а своей столицей ваш Яицкий городок объявлю. И сотворю по всей земле казацкое царство! И вечная будет всем воля!

— Ура! — закричала застóлица, и все, кроме Лысова, снова чокнулись с Пугачевым.

— А с изменниками своими, что сгубить измыслили меня, — ну, не прогневайся, — как донесет меня бог до Питера... жарко будет им. Я им не токмо головы покусаю, а черева из них повытаскиваю. Геть, злыдни! — И Пугачев, сверкнув углами глаз на Лы-

сова, грохнул кулаком о столешницу. Все вздрогнули, стаканы подскочили, а Митька Лысов, схватившись за виски, прянул прочь от Пугачева.

Чавканье, бряк посуды постепенно стихали, гости были сыты, холостые казаки, крадучись, рассовывали себе по карманам куски пирогов, все стали еще прилежней вслушиваться в речи Пугачева. Он говорил плавно, неторопливо, делая паузы и внимательно всматриваясь в лица гостей.

— А чем я не люб-то им был, великим вельможам, генералам да князьям? А вот послухайте. Еще когда тетушка моя была жива, Елизавета Петровна (Митька Лысов опять хихикнул, но тотчас зажал рот рукой), а потом и при моем царствовании многие бояре, да и середовичи шли своей волей в отставку, уезжали на жительство в поместья свои и зорили своих бедных крестьян. Я зачал таковых нерадивцев к службе принуждать и намеренье имел отнять от них деревни, а их посадить на жалованье. А судей неправедных, кои с народа последние потроха выматывают, хотел я смерти предавать. Как они увидали, что я крут, навроде дедушки моего Петра Великого (Митька Лысов, оскалив гнилые зубы, снова нацелился хихикнуть, но Шигаев крепко пнул его под столом ногой) ...как увидали они норов мой, сразу тут и умыслили всякие козни мне чинить, яму копать подо мной. Как-то поехал я по Неве в шлюпке — разгуляться, они меня и заарестовали и разные поклепы на меня стали возводить. И быть бы мне убитым, да господь не допустил коснуться главы помазанника своего, — добрые люди спасли меня. И стал я странствовать с того времечка по свету, и какой только нужды я не претерпел...

Пьяный Пустобаев, распустив веником бородищу и приоткрыв рот, сидел за столом копна копной, он смотрел в глаза батюшки, в три ручья лил слезы умиления, утирался скатертью. А Митька Лысов крутил носом, подмигивал казакам, прикрякивал.

— Да что уж об этом толковать-то, — продолжал Пугачев задумчивым, негромким голосом. — Вы сами ведаете, в каком несчастном виде обрели меня; вся

одежонка-то моя гроша ломаного не стоила — бродяга и бродяга! А вот теперь, ежели его святая воля будет (Пугачев усердно перекрестился), утвержду царство праведное, чтобы гарный порядок был и чтобы народ не знал отягощения. А там от всех дел отрешусь, странствовать пойду!

Он замолк, и все молчали, сидели смирнехонько, не шевелясь, только Пустобаев все еще кривил рот от избытка чувства и посмаркивался в скатерть да поп Иван, лежа на полу, легонько во сне постанывал, охал.

— Ну, а как же, Петр Федорыч, держава-то российская? — спросил Максим Шигаев и прищелкнул пальцами по надвое расчесанной бороде. — Как же с державою, ежели вы странствовать уйдете? Кто же царствовать-то станет?

— А на царство пусть садится сын мой, Павел Петрович, — подумав, ответил Пугачев, и на лице его изобразилась скорбь, правое веко задергалось.

Жизнерадостный Творогов, взглянув быстрыми глазами в загрустившие глаза царя, ударил ладонь в ладонь, крикнул:

— Братцы казаки! А ну, песню! А ну, притопнем!

Вновь стало шумно. Грянула веселая хоровая. Сытые казаки быстро поднялись, сбросили чекмени, оттащили спящего попа к сторонке, встряхнули чубами и под пару балалаек да под пяток дудок пустились в пляс.

За столом остались Пугачев с Горшковым да Митька Лысов. Оперев локти о стол, обхватив ладонями голову, похожий на скопца, Горшков притворился спящим, даже чуть похрапывал: ему необходимо знать, как будет вести себя с государем полковник Лысов.

Дмитрий Лысов, ехидно улыбаясь, оттопырив зад и припав грудью к столу, воззрился в упор на батюшку. Шея у Митьки втянулась в плечи, сутулая спина еще больше сгорбилась, лысина тускло блестела, он походил на большую пучеглазую жабу, которая вот-вот прыгнет на Пугачева и вопьется ему

в горло. И верно: он подъелозился на скамейке к батюшке, схватил его левую руку повыше кисти двумя руками и лукаво заглянул ему в глаза. Пугачев сверху вниз смотрел на него, настороженно и с гадливостью.

— Давай, давай, давай мириться, — забормотал Лысов пьяным голосом, облизывая запекшиеся губы. — Ведь я тебя в тот-то раз, ей-богу, по ошибке... пикой-то пырнул! Хи-хи-хи!.. Ведь я люблю тебя, слышь, шибко люблю! А ты не веришь? Хи-хи-хи!..

— Ты пообидел меня не пикой, а иным манером, — сказал Пугачев. — За пику, за окаянство твое мы как-нито еще сквитаемся, а вот как за Харлову я с тобой разочтусь, не ведаю... Пошто ты, бес, прикончил Харлову? Я ведь по сей день скучаю о ней. — Пугачев часто замигал, нижняя губа его задрожала, он тихо, почти шепотом, проговорил: — Жалко мне убиенную, вот как жалко!.. Может, такая одна на свете была, разъединственная!..

Лысов как-то слабоумно захихикал, заперхал, стал крутить руку Пугачева. Тот с сильным напряжением сказал:

— Брось, а нет — ударю!

— Ты, брат, не пугай, не пугай! Хоть ты и Пугач, а я не шибко-то пугаюсь тебя, Емельян Федорыч, то бишь как тебя... Петр Иваныч... Тьфу!.. Петр Федорыч... Хи-хи-хи!.. (Максим Горшков, все еще притворявшийся спящим, сквозь топот залихватских плясунов, сквозь шум и песни с трудом ловил речь Лысова.) Ведь Чика-то поведал мне по чистой совести, кто ты есть. Царь, царь! Ваше величество! Хи-хи-хи! Да ты, батюшка, не страшись: ведь здеся все пьяные, вишь, как орут, наш разговор никому не чутко. А я, видит бог, люблю тебя, а вот ты злобишься на раба своего, рад бы живьем меня схрупать, да я ершист, уколешь глотку-то, батюшка, Емельян Федорыч, то бишь как тебя?! — брызгая слюной, бормотал Лысов, а сам все накручивал-крутил руку батюшке.

В глазах Пугачева загорелись злобные огни, он хотел крикнуть, чтоб вывели Митьку вон, или выхва-

тить саблю и смахнуть гадюке голову. Однако последним усилием воли он сдержался, только зубами заскрипел и вырвал руку из лап Лысова. Тот чуть не опрокинулся на пол от сильного рывка.

— Хи-хи-хи!.. Силен, силен, слов нет! А слажу с тобой, ей-ей — слажу! Ишь ты... царь!

Тут, бросив прикидываться спящим, вдруг вздыбил коренастый, угрюмый Максим Горшков. Уперев кулаки в стол, он хрипло сказал Лысову:

— Ты что? Ты это что тут раскудахтался?

— А ты, голомордый черт, чего чепляешься?! — вскочив, закричал Лысов на безбородого, безусого Горшкова и выругался матерно.

Горшков мигнул наблюдавшему их разговор Шигаеву, и оба они, пробираясь между плясунами, быстро вышли.

2

Между тем веселье было в полной силе: присвист, балалайки, дудки, плясы — дом дрожал. Грузно кидаясь вправо-влево, тряс боками семипудовый Пустобаев, разухабисто выкрикивал:

— Эх, кахы, кахы, кахы! Эх! Кахы, кахы, кахы!

Верткий Падуров выкручивал с носка на каблук забористые штучки. Скакали веселыми козлами Иван Александрыч Творогов в паре с атаманом Овчинниковым. Возле них крутились каруселью, взвизгивали, гикали молодые казаки. Вот втерлась в круг танцоров пышнотелая Ненила, за ней — молоденькая черноглазая татарка, за ней — подслеповатая полупьяная баба Лукерья в новых липовых лаптях и чубастый Ермилка с наклеенными под носом, смеха ради, черными усами. И все это — живое, пестрое — загайкало, с силой завертелось в вихре.

Митька Лысов, продолжая ругаться и бубнить, схватил самую большую кружку, до краев наполнил ее вином и с жадностью, единым духом, выпил. Затем грохнул кружку об пол, вскочил на стол, спиной к Пугачеву, и диким голосом заорал что-то несуразное в толпу.

— Полковник Лысов, слезь! — озлобленно выкрикнул из хоровода плясунов разгорячившийся атаман Овчинников и резко взмахнул рукой: — Геть! Государю смотреть мешаешь.

— Ха! Государь... — истошно, стараясь заглушить шумливый, беснующийся в плясе хоровод, закричал Лысов. — Знаю, знаю я, кто батюшка-то наш... Емелька Пугач он, вот кто! В манифестах государыни все пропечатано.— Он, видимо, потерял всякую волю над собой и безудержно катился в пропасть. — Гей, казаки! Выбирай меня едино... единодержавцем... Завтра же Оренбург возьмем, по колено в золоте ходить станем, в господском вине купаться!

Пугачев впился руками в локотники кресла:

— Заткните ему глотку!

Горбоносый Овчинников, схватив Лысова за ворот ярко-красного чекменя, уже сдернул буяна со стола, опрокинул его на пол, начал душить. Лысов отчаянно барахтался, хрипел.

— Стой, Андрей Афанасьич! Не трог полковника! — кинулся к Овчинникову прибежавший с улицы Максим Горшков, — он в меховом чекмене, в шапке и с плеткой через плечо.

Пляска чуть приостановилась, наиболее трезвые казаки уже вытягивали шеи, стараясь всмотреться и понять, что такое среди начальства приключилось.

— Митя, друг! — меж тем обратился Горшков к Лысову. — Что ты наделал... Ведь тут тебя... Ах, друг!.. Пойдем, Митя, тихо-смирно на улку.

— Макся, ты? — проквакал насмерть испугавшийся Лысов и стал чихать. — Этот сволота Овчинников... за горло... головушка гудит. Охмелел я... Пойдем, пойдем скорей.

Была звездная ночь с морозцем. Свежий воздух благотворно вламывался в грудь, охлаждал взбудораженную кровь, прогонял хмельной угар из головы. Во дворе уныло тявкала продрогшая собака, гремела цепью. У высокого столба с сигнальным колоколом маячили черными тенями два неподвижных человека. Вдоль прясла привязаны казацкие ло-

шади, они хрупали овес, отфыркивались, всхрапывали.

— Веди меня домой, Макся, я тебе два золотых перстня подарю, — бубнил Лысов. — Стой! Колодец... Водички бы. Душа горит, объелся. Чхи!

Колодец был с высоким журавлем, с железной бадьей.

— Кто тебе, Лысов, сказал про батюшку, что он Пугачев? — сквозь зубы прошипел Максим Горшков.

— А сам Чика сказал, что вот кто.

— Ой, врешь! А ежели и так, ежели проболтался кто тебе, так по тайности, да и за зря, потому как ты сволочь, — скоргоча зубами, шипел Горшков, — ты всякому болты болтаешь. Мы знаем, как ты третьеводнись в тверезом виде нашим илецким казакам о том же самом брякал, а вчерась — трем пленным гренадерам, их сомущал...

— А вот буду брякать, буду! А вы...

Он не договорил. Сзади подскочил Идорка, размахнулся, ударил Митьку кирпичом по затылку. Тот враз уткнулся по плечи в колодезный сруб.

— Спускай!

Татарин схватил Митьку за ноги и с силой сбросил его вниз головой в колодец.

Загремела собачья цепь, залаял Шарик. За высоким тыном, вдоль дороги, громко переговариваясь, ехал казачий дозор. Во дворце, сквозь подернутые морозом стекла, тускнели огоньки, просилась наружу заунывная степная песня.

— А где Митя? — спросил Андрей Овчинников вошедшего в шумное зальце Горшкова.

— Воду пьет, — басом сказал Горшков и задвигал бровями; глаза его хмурые, неспокойные, взбаламученное сердце гулко колотилось.

Казаки с Витошновым дружно выводили песню. Затем, усталые, сытые, принеся благодарность государю, начали расходиться по домам. Остались только ближние.

Поднялся с полу проспавшийся поп Иван, разыскал митру, истоптанную каблуками плясунов. Качая головой и причмокивая, он выправил ее, пообчистил,

водрузил на кудлатую голову, поклонился Пугачеву в пояс и поблагодарил за угощенье.

— Не обессудь, — ответил мрачный Пугачев. — Пошто ты в архиерейском колпаке-то?

— А как я могу в другом виде пред очами отца отечества, государя самого, явиться?

— Изрядно говоришь. А на ногах лапти... Пошто вы ему, господа атаманы, сапожнишек не добудете?

— Ох, царь батюшка, — опустил поп голову, — добывали мне благодетели, добывали... да я... я возьму да и пропью, благословясь. Вот все корят меня — пьяница, пьяница! А чего ради винопивцем-то стал аз, грешный, об этом-то никто не спросит.

— Ну, ступай себе, отец Иван, ступай! Да не жри винцо-то зря, а то я выгоню, а нет — так плетьми велю выдрать.

Чем свет труп Дмитрия Лысова был извлечен из колодца и повешен. Палач Иван Бурнов вздымал его на виселицу охотно и с легким сердцем. А ближние все еще сидели с государем в молчанку, грызли поджаренные арбузные семечки или вели разговор о пустяках. О скандальном же поступке Лысова никто не вымолвил слова. Пугачева стало клонить ко сну. Последним уходил от хозяина Шигаев.

— А где же полковник Лысов, запьянцовская голова? — спросил Шигаева Емельян Иванович.— На фатеру, что ли, увели его, али под арестом?

— Нет, ваше величество, — ответил Шигаев резко. — Подмок он маненько, ну так и подвесили его... сушиться.

Пугачев не вдруг понял. А поняв, сказал глухо:

— Так, так... Что ж, сам в петлю влез...

По армии было объявлено:

«Постановлением Военной коллегии полковник Дмитрий Лысов, уличенный в государственной измене и беззаконных грабежах середь населения, приговорен к казни смертию, что и совершено».

Труп Митьки висел три дня, на четвертый был брошен в овраг, на съедение волкам и хищным птицам.

8

По прибытии в Берду Перфильев сразу направился к своему доброму знакомцу, с которым важивал в Яицком городке хлеб-соль, главному атаману Овчинникову. Атаман с грамотным молодым казаком Ершиком проверял записи по выдаче казакам жалованья: Ершик диктовал цифры, атаман щелкал на счетах.

— Ба! Перфиша! Да откудов это ты? — воскликнул Овчинников, пораженный столь нежданной встречей с другом. Обнявши гостя, он отправил Ершика домой, а свою прислугу — форсистую, в скрипучих сапогах и бусах Фросю — послал к Горшкову: — Добудь-ка нам, девонька, веселенький штоф хмельничку!

Гость и хозяин остались одни. Перфильеву сорок три года, Овчинников был почти на десять лет моложе его, а уже имел при Пугачеве высокое звание. За короткое время атаманства он привык властвовать, был строг и тверд характером. Серыми умными глазами уставился он на гостя с некоторым подозрением. На него исподлобья смотрел Перфильев; его некрасивое, изрытое оспой лицо было сурово. Так они старались испытать один другого. Да оно и понятно: время стояло необычное, смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и, дико сказать, — за самого себя.

Вспомнив, однако, про свою давнишнюю дружбу, они оба, как по уговору, облегченно захохотали. Овчинников потрепал приятеля по плечу, сказал:

— Толкуй-ка, брат, толкуй!

— А я, друг, из Петербурга, Андрей Афанасьич, — пряча завилявшие глаза, пробасил Перфильев. — А как прослышал, что здеся-ка объявился своею персоной государь, не стерпел, бросил все дела, да тайком и ударился сюда, послужить хочу батюшке.

— Хм... — недоверчиво хмыкнул длиннолицый горбоносый Овчинников, оглаживая кудрявую, как овечья шерсть, бороду. — Да ведь ты же был нашими казаками послан в Питер по войсковым делам. Как же ты, не окончивши делов, улепетнул оттудова?

— А чего же попусту поклоны там терять, Андрей Афанасьич? Рассудил я, что милости искать сподручней у самого государя.

— Так-то оно так, теперича мы и сами резолюции кладем, — сказал Овчинников. — Только нам, яицким казакам, все милости от пресветлого государя уже дадены по манифесту его. А вот ответь-ка мне: каким ты побытом из Питера мог вырваться самовольно? Да тебя уже двадцать разов изловили бы, покудов ты сюда ехал. Сдается мне, лукавишь ты, Перфиша, чего-то, какую-то утайку творишь от меня.

Перфильев надул губы, отвернулся, побарабанил пальцами по столу, затем с сердцем сказал:

— Не чаял я, что этак примешь меня, Андрей Афанасьич, с подозрением с таким.

— Вот и обидно, что своему приятелю врешь ты. Сознайся, ведь врешь, Перфильев? Я, брат, не терплю этого. У нас, брат, знаешь, как? У нас, брат, здеся-ка строго!

Перфильев взглянул в серые похолодевшие глаза Овчинникова и сказал, вздохнув:

— Ну, слушай! Опасался я тебе открыться-то, понимаешь? Как был ты простой казак, так моя душа вся пред тобой настежь была, а теперь ты самоглавный атаман. Эвот у тебя сабля-то какая, вся в серебре да золоте, и чекмень с позументом. Думал, наляпаешь на себя лишнего, так ты...

— А ты говори, говори о деле-то, а то девка скоро вернется, — нетерпеливо сказал Овчинников и раскинул по столу крепкие руки.

— Прямо, без утайки скажу, — решительно начал Перфильев. — Послал меня сюда граф Алексей Григорьич Орлов и дал повеленье казаков от самозванца отвращать, чтобы они от него отстали да связали бы его. Тогда, сказал мне граф Орлов, вы и все милости от государыни примете...

— Вот видишь, Перфиша, не прав ли я был, что в подозрении держал тебя? — тяжело задышав, сказал Овчинников и нахмурил брови. Наступило томительное молчание. Затем Овчинников заговорил:

— Начхай ты на этого Орлова, мы сами здеся-ка Орловы-Чернышевы, графья! Плюнь, говорю, да служи верно батюшке, — он точный государь, Петр Третий. Эвот его даже офицеры признают. Недавно Горбатов, офицер из Оренбурга, перебежал к нам, так и он в государе уверился довольно. А что Екатерина нашего государя злодеем обзывает, так это ее дело: ей податься некуда, ей так и так надобно простой народ обмануть. Идем, идем, Перфиша, к государю нашему, откройся ему во всем...

Пугачев только что вернулся с Маячной горы, куда он ездил с офицером Горбатовым, дававшим ему наглядное пояснение, как Оренбургская крепость устроена.

Войдя во дворец, Овчинников велел Перфильеву обождать в прихожей, а сам, прихрамывая, прошел в золоченое зальце и доложил Пугачеву о приехавшем из Петербурга казаке.

— Покличь! — сказал Пугачев. — А сам ты, Андрей Афанасьич, шагай до Военной коллегии, пущай все сюда идут. Надо нам под Уфу человека слать, чтобы обначалить дело наше... Полагаю Чику туда спосылать, благо он на Воскресенском заводе, не столь уж далече от Уфы-то.

— Отменно, ваше величество, рассудить изволили! Чика хорош будет. Ну-к, я пошел в коллегию.

Войдя к царю и взглянув на чернобородого плечистого человека в простой казачьей одежде и в длинных валенках, Перфильев сразу заскучал сердцем. «Вот так царь, — подумал он, — мужик — мужик и есть... Ах, сукин сын Овчинников!» — и повалился Пугачеву в ноги. Сделал это вопреки всем своим мыслям, как если бы кто с силою толкнул его: на колени! — столь повелителен был взгляд у этого детины.

— Встань и расскажи, что ты в Питенбурхе делал?

— Был по войсковому делу там, да, не дождавшись резолюции, коль скоро услыхал, что вы здеся-ка объявились, бежал, чтоб служить вам верой и правдой.

— Истину ли говоришь мне, есаул? Не кривишь ли? Не шпионствовать ли прибыл к нам? Ась?

— Нет, ваше величество, супротив вас я никакого намерения не имею. Не такой я человек, чтобы...

— Ой ли? Ну, гарно, гарно... В таком разе оставайся, служи верно, как все казаки ваши мне служат. — Пугачев разглядывал Перфильева в упор. Он казался ему человеком твердым, воинственным и как будто честным. Лишь не нравились глубоко запавшие глаза казака, то, как исподлобья, сурово и хмуро, смотрел он. — Ну, иди с богом!

Когда Перфильев вышел чрез сени на крыльцо, охрана яицких казаков расступилась перед ним. Его все знали, спрашивали наперебой:

— Каким побытом пожаловал к нам, Афанасий Петрович? Ну, каково в Питере? Каково в дороге? Поди государыня-коварница войско по нашу душу шлет?

— Нет, не бойтесь, братья казаки, — здороваясь со знакомыми, говорил коренастый, небольшого роста Перфильев, рыжеватые щетинистые усы его топорщились. — В Питере есть слых, что промежду великим князем Павлом Петровичем и его матерью черная кошка юлит. Быдто бы Павел-то Петрович сторону родителя держать собирается, Петра Федорыча!

— Дай-то бог! — откликнулись хором казаки.

Перфильев, умный и бывалый, после краткой встречи с Пугачевым враз почуял в нем человека стоящего, сильного духом. «Эка диво, что в мужицком шебуре! Он ведь с похода прибыл... А вот как взглянул в глаза, так насквозь, кажись, и усмотрел меня. Эх, дурак я, дурак!.. Не открылся сразу! Беспременно открыться надо. Все начистоту доложить!»

К явившейся во дворец Военной коллегии Пугачев вышел не вдруг. Он облекся в нарядный, с позументами, кафтан, в бархатные, малинового цвета, шаровары, в желтые татарские, шитые шелками, сапоги.

Иван Почиталин вытащил из кармана бутылку с чернилами, Максим Горшков — свою. Поднялась вслед им из кухни Ненила, зашумела:

— Это чего же вы, молодцы, озоруете? Склянок поганых понатыркали на чистую скатерть... Опрокинете, кому стирать? Уберите!

Почиталин с Горшковым, оробев крикливой бабы, сняли чернильные бутылки. Ненила сдернула скатерть, сказала:

— Ладно, и на голом столе наварачкаете бумажонки-то, не бо знать какие писаря великие!..— Она пренебрежительно крутнула носом.— Эта скатерть батюшке дареная... Сама Стеша Творогова препоручила ему... Ой, да уж... Не глядели б мои глазы... Чего пялишься-то на меня, Иван Александрыч? Не узнал? Твоя хозяйка батюшке скатертку-то приперла!.. Твоя, твоя!

— Геть на кухню!—притопнул на нее появившийся на пороге Пугачев.

Ненилу как ветром сдунуло. Иван Творогов, вдруг помрачнев, метал косые взгляды на батюшку и, потеребливая черную, в крупных кольцах небольшую бороду свою, сидел все время молча.

Пугачев приказал думному дьяку Ивану Почиталину составить именной указ Чике-Зарубину, находившемуся на Воскресенском заводе, чтоб он немедля отправлялся в Уфу и принял начальство над всей собравшейся там толпой усердных государю воинов.

— Окромя того... Ну-ка ты, Горшков, возьми бумажку, подобротней которая, голубенькую, да напиши Ивану Зарубину тако: «Я, божией милостью, Петр Федорыч Третий, император, тебя, Зарубина-Чику, облекаю навсегда полной мочью. И всем, как военным, тако и гражданского и церковного званья особам, тебе во всем покоряться. Облекаю тебя полной мочью казнить и миловать».

Пока Горшков, сопя и выделывая губами натужливые гримасы, писал, Пугачев, наморщив полуприкрытый челкой лоб, выискивал в своей памяти знаменитых генералов, с коими приходилось ему встречаться. «Граф Чернышев, с ним мы Берлин брали!» — мысленно воскликнул Пугачев и спросил Горшкова:

— Ну что, господин секретарь, написал, что ли? Пиши еще... как его... лескрип: «И жалуем мы тебя, Ивана Зарубина, в графы Чернышевы. Отселева ты больше не Зарубин-Чика, а именоваться тебе по всей государственной форме тако: граф Чернышев...» Гос-

пода Военная коллегия, поздравляю вас с новым произведенным графом! И напредки нам надобно, внушения ради, званья графьев да князьев раздавать достойным. Давилин, прикажи, чтоб из пушки три раза вдарили в честь нашего казацкого графа Чернышева. А ты, Овчинников, не забудь объявить по полкам, чтобы честь-честью касаемо чина и порядка.

4

С казнью полковника Лысова воздух очистился: атаманы и все приближенные вздохнули свободнее. На душе Пугачева тоже полегчало, как будто ему вырвали больной, сгнивший зуб.

За последнее время Дмитрий Лысов стал вносить в армию начало распада. По природе предприимчивый и коварный, он явно горел завистью к Пугачеву, умышлял тем или иным манером свалить его, захватить власть и объявить себя «не каким-то там царем», а доподлинным «казацким батькой». В этом духе он и действовал: копил богатства для подкупа нужных людей, старался расположить к себе казачьи низы, крестьян и солдат. Привлек на свою сторону офицера Волжинского. Эти кривые, но далеко нацеленные пути Лысова впоследствии узнались.

Пугачевскому штабу довелось принять меры, дабы на корню прикончить брожение в армии. Военной коллегией было предано казни двенадцать явных изменников. А когда начались побеги заговорщиков, беглецов ловили и немедля вешали. «Нечего злодеям мирволить, — говорил Емельян Иваныч в Военной коллегии и добавлял с угрозою: — Я еще доберусь и до шатунов-паскудников, кои не прочь повоздыхать об участи изменников... То в понятие воздыхатели не берут, что не укроти мы бешеного пса — он тысячи невинных загубит!»

Большую, полезную для порядка работу среди казаков, крестьян и солдат вели офицер Горбатов, атаманы Витошнов, Горшков, Шигаев, полковник Падуров, отчасти офицер Шванвич. К речам депутата

Большой комиссии, полковника Падурова, всегда носившего на себе депутатский золотой знак, народ относился с особым доверием. Верили люди и слову Горбатова, они уважали его как офицера, самовольно передавшегося батюшке.

— Мы, как люди образованные и в Петербурге подолгу жившие, — говорил Горбатов, — можем вас заверить, что тот, который называет себя государем, есть истинный государь Петр Третий, уж вы никакого сомнения не держите в мыслях. Он и в военном деле искусен, и ум у него крепкий, и государственные знания его предостаточны, да и по портретам зело схож, только что бороду отпустил.

Эти речи говорились не как заранее приготовленные, а как случайные дружеские беседы во время обычных учебных стрельбищ при полевых экзерцициях. Пугачеву было известно усердие офицеров, он прислал в подарок Горбатову и Шванвичу по отличной шубе.

Офицер Волжинский, живший в одной избе со Шванвичем, был арестован и казнен. Ему вменялась в вину государственная измена. Он подговаривал своих гренадер сесть ночью на казацких коней и мчать к губернатору Рейнсдорпу. Выдали его сами же гренадеры, в том числе денщик Шванвича, старый Фаддей Киселев. Он еще в походе усумнился в Волжинском и непрерывно следил за ним.

Вскоре после казни Волжинского в избу к Шванвичу с небольшим мешком в руке вошел Андрей Горбатов.

— Здравствуйте, Шванвич, — поприветствовал он молодого человека, читавшего возле окна книгу. — Вы не удивляйтесь, что я вломился в вашу келью без зова. Меня полковник Падуров направил к вам в сожители. Которая койка Волжинского? Эта? Чудесно! Жизнь есть жизнь, война есть война! Один уходит, другой — на его место! — Он бросил мешок в угол, снял шубу.

Молодые люди пожали друг другу руки. В связи с изменою Волжинского юный Шванвич приметно насторожился и с людьми держал себя замкнуто. С Гор-

батовым он уже успел встретиться несколько раз, Горбатов был симпатичен ему.

— Слушайте, Горбатов, я ласкаю себя надеждой, что мы сойдемся хорошо.

— Что ж, Шванвич, я буду рад этому... Вот дурак какой сожитель ваш, Волжинский этот, — продолжал он. — Взял да и сгубил себя безрассудно. Да разве побеги устраивают так?.. Сущий дурак! Без меры болтал и... все прочее.

Горбатов отдернул занавеску в кухню, заглянул на печку, спросил:

— Вашего личарды, Киселева, нету?

— За бараниной ушел.

— Так вот, — раздумчиво сказал Горбатов, провел пальцами, как гребнем, по волнистым белокурым волосам, сел на кровать и уставился в лицо Шванвича темными улыбающимися глазами. — Так вот, Шванвич, можно нас с вами поздравить: мы оба на службе у самозванца... Да, да, у самозванца! Но какого! Талантлив, как сто чертей...

— О каком вы самозванце? — воскликнул Шванвич с явным притворством, тем не менее вздрогнул, как при ударе. — Он же царь, Петр Третий. Я безоглядно почитаю его таковым.

— Ай, ай, Шванвич! Как не стыдно прикидываться! — по-серьезному возразил Горбатов, глаза его перестали улыбаться. — Он такой же царь, как царица Екатерина — матерь всех скорбящих. Оба неплохие актеры, только наш играет по воле народной, а та — под дудку сиятельной знати... Что, не так?

Шванвич вскочил с табуретки и принялся взволнованно вышагивать из угла в угол.

— Эге, голубчик Михаил Александрыч, да вы изменились даже в лице... Уж не опасаетесь ли, что предам вас? Не бойтесь. Ведь вот я же нимало не страшусь, открыв с вами беседу по столь щекотливому предмету. Впрочем, вы можете поступать, как вам угодно... К смерти я с равнодушием отношусь.

— Да что вы, Горбатов, с ума сошли! — вскричал Шванвич с жаром. — Какой же я предатель!

— Успокойтесь, успокойтесь! Я к слову. А что касаемо этой казацкой затеи с мятежом супротив Екатерины, то прямо скажу: как бы мы ни расценивали дело, кончится-то оно печально. И меня и вас ждет виселица, плаха. Словом, наша приверженность к царю-лиходею нам даром не пройдет. Вы юны, вы очень юны, Шванвич, и еще не знаете, на какую месть способно вельможное дворянство...

— Стойте! — прервал его Шванвич, густо краснея и прихмуриваясь. — Вы так говорите, такой держите со мной тон, будто наперед видите во мне труса.

— Нисколько, Шванвич. Я нимало не сомневаюсь в вашем мужестве и потому-то столь откровенен с вами... Да я и в помыслах не допускаю, что вы... что вы захотите повредить мне...

— Я — вам? Ни-ко-гда!

— Верю... Итак, извольте: мы с вами служим не царю, а всего лишь казаку Пугачеву. И, ежели угодно, не ему, а черни... И вот я спрашиваю вас, бывшего офицера армии ее величества, спрашиваю в упор: готовы ли вы в полной мере к испытаниям судьбы, связав себя службою с самозванцем? — Горбатов, сидя на кровати, засунул кисти рук под мышки, вытянул ногу, глядел вприщур на Шванвича.

Тот остановился, присел у стола, беспомощно вскинул голову.

— Собственно, об этом я еще не думал как следует, — сказал уклончиво и припал спиной к стене. — Пожалуй, думал, но... не решил еще вполне, как быть.

— Голубчик! — воскликнул Горбатов почти весело. — Да нам с вами и решать-то нечего. Обстоятельства за нас решили все. Нам с вами в удел — либо конец, как Волжинскому, от руки Пугачева, либо честная служба ему. Какой еще третий предвидите выход? Бегство?

— Хотя бы...

— Ах, милый юноша... Но ведь там, куда вы убежите, спросят вас: а скажите-ка, почему это тридцать два чернышевских офицера и сам Чернышев предпочли измене мученическую смерть, а ты, голубчик,

на кроватке у злодея полеживал да под окошком книжечки читал?.. Что вы на это ответите? «Винюсь, мол, прошибся», — как солдаты отвечают. «Ага, скажут, прошибся? Срубите этому офицерику голову, чтоб он в другой раз не прошибался!» Ну, так как, Михаил Александрыч, решена наша судьба или не решена?

Шванвич некоторое время молчал, грудь его вздымалась, на верхней губе проступили капли пота.

— Вы правы... Все кончено, — глухо произнес он и опустил голову.

Глядя на него с лаской и жалостью, Горбатов продолжал:

— Сущая правда говорится: «Попала в колесо собака — пищит, да бежит». Так и мы. Впрочем, я-то сам в свою судьбу скакнул. А почему? Надобно знать жизнь мою, чтобы понять — почему. Жестокая, нещадная жизнь!.. Как-нибудь на досуге расскажу вам про себя.

— Расскажите сейчас.

— Нет, после. Итак, мой друг... Друг, не правда ли? (Вспыхнув, Шванвич кивнул в знак согласия головою.) Итак, дорогой друг, одна, неизбежная для нас обоих, развязка говорит нам о многом... И прежде всего о том, что жизнь и долголетие *нашего* царя есть *наша* жизнь, его преуспевание — *наш* успех... Да только ли наш? Ведь речь идет об участи несметного числа людишек, коим он, реченный царь, сулит вольную волю... Читали вы его манифесты да указы? Вот... А ежели так, то подь к черту всякое колебание мыслей!.. Вытянем! А вытянем общее дело — спасем и себя. Что, не так? Ей-богу, так!.. И еще: вы, Шванвич, к нему, к царю-то нашему, присматривались? Присмотритесь-ка, очень советую. Конечно, Вольтера и Монтескье он сроду не читывал, зато в нем есть что-то такое... этакое, как бы вам сказать? Ну, одним словом — силища! Такой человек, ежели что вбил себе в голову, запросто не сдаст. Такого за здорово живешь не взять. Что, не так? Так, так, Шванвич! Вы приметили, как он атаманов своих в лапах держит!

— Атаманы у него дельные, — отозвался Шванвич, оживляясь.

— Дельные, башковитые и... отчаянные! — проговорил Горбатов. — Слушайте, Шванвич, а вы, надеюсь, чем-нибудь меня покормите?

— Всенепременно! Сейчас придет мой Киселев, он нами и займется.

— И знаете что, Шванвич, — после короткого раздумья молвил Горбатов. — Я опять про нашего государя. Особый он человек, широкой души человек и, вдобавок, немалого внутреннего зрения; берет сердце человеческое теплым, трепыхающимся, берет рукой уверенной... И вот, Шванвич, я дал себе клятву служить ему до издыхания!

Шванвич в волнении закинул под затылок скрещенные руки, прикрыл глаза.

— А я еще буду с ним говорить, — сказал Горбатов. — Всенепременно! И по-серьезному! Душа в душу.

Помолчав некоторое время, он продолжал:

— Вы, Шванвич, наверно, немало удивлены, что я вот так вломился к вам и по первому же абцугу с самого щекотливого вопроса закрутил. Ведь так? Не изумляйтесь, милый юноша. Я многое слышал про вашего родителя, про то, например, как он вздумал подпортить ударом шпаги портрет красавчика Орлова. Ваш родитель человек честный, стойкий, с характером. И вы в него! Я многих ваших гренадер расспрашивал про вас... Ну, так вот... По этому самому я с вами и откровенен.

За окнами послышался нарастающий шум. Горбатов приник к окну. С песнями, с криками шагали мимо избы подвыпившие казаки, человек сорок. Они вели под руки какого-то коренастого, видимо почетного казака, с повязанным через плечо белым полотенцем. Впереди несли штоф, а на капустном листе — закуску. Вот приостановились, подали почетному казаку чарку, подали закуску, закричали «ура» и тронулись дальше.

Вошел, прихрамывая, старый гренадер Киселев.

— Что там за шум, Фаддей? — спросил его Горбатов. — Кого это вели по улице с песнями?

— А это, ваше благородие, какой-то Перфильев прибыл. С самого Питера! Его Перфишей казаки зовут. А кто он, в точности не ведаю. Уж я подумал, не с весточкой ли какой к государю от Павла Петровича? Был слых, будто великий князь с маткой-то своей повздорил, полки сюда ведет, отцу родимому на помощь, нашему Петру Федорычу, амператору.

Горбатов подмигнул Шванвичу и сказал, обращаясь к старику:

— А тебе матки-то Павла Петровича нешто не жалко? Ведь как-никак сын единокровный — и вдруг супротив нее пошел!

— Кого жалко? — сердито воззрился старик на Горбатова. — Да такую жалеть — себя потерять надо! Небось она батюшку-то нашего, а своего богоданного супруга не шибко-то жалела, как на жизнь-то его покушалася!..

Старый гренадер все повышал и повышал голос, поблескивая на молодых людей взором возмущения, а те, затаившись, глядели на него с жадным любопытством.

Затем они втроем стали полудневать, аппетитно уписывая ржаной хлеб с малосольным салом. При этом старик, как ни упрашивали его занять место за столом, устроился со своим куском в сторонке, поближе к печке: сердцем-то льни, а чин да порядок соблюдай!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

1

Губернатор Брандт жует губами. Пожар все шире да шире. Чесноковка

Искры брошены — вспышки, вспышки, пламень и потоки огня. Как подожженная с многих сторон сухая степь, клубится, горит, охваченная народным волнением, восточная окраина России.

В Казанской и Оренбургской губерниях, от Саратова до Пензы, от Самары до Арзамаса, широкие тракты и малые проселочные дороги были полным-полны вышедшим из повиновения крестьянством; встречалось тут немало также помещиков, торговых и прочих людей, напуганных близкой опасностью. Вооруженные чем попало, толпы мужиков текли громить барские усадьбы либо — по лесам и долам — к месту нахождения объявившегося «батюшки». Мужики стремились к Пугачеву; дворяне — подальше от него: в Москву, в отдаленные от пагубы губернии.

Направляющийся в Казань член секретной комиссии, лейб-гвардии Семеновского полка капитан-поручик Савва Маврин, спрашивал встречных дворян:

— Ради бога, объясните, что сие значит? Все куда-то спешат, куда-то передвигаются. Что за причина?

— Ах, сударь! — отвечали ему. — Да разве вы сами-то не понимаете? Наш вам совет, коль службой вы не обязаны, в Казань не ездить... вертайтесь-ка, сударь, обратно вспять.

При своем двухнедельном переезде от Петербурга до Казани Маврин наслушался немало беспокойных речей, испытал многие от крестьян угрозы: «Ахвицер?! Имай его, братцы, да на березу!»

Впоследствии он доносил императрице: «Торопясь прибыть в Казань, некогда мне было всем буянам и предерзателям делать примечания и оных, забирая, отсылать к начальникам, да и невозможно в самом деле по причине множества их».

Казань переживала времена тяжелые. Тревожные слухи плыли, ширились, обыватель не знал, что делать. Губернатор одной рукой старался навести хоть какой-нибудь порядок, другой рукой, поддавшись общему настроению, успокоительные свои мероприятия первый же нарушал.

Так, в конце ноября, темной ночью, распахнулись дворовые ворота губернаторского дома, и двенадцать возов имущества Брандта тайно тронулись в более безопасное место — в Козьмодемьянск. А перед рассветом выехало туда же и все семейство его. «Эге-ге-ге», — подумал обыватель, пронюхав о сем происшествии, и впал в еще большее уныние.

Примеры заразительны. Вслед за губернатором и многие крупные казанские чиновники, а вместе с ними и скопившиеся в городе дворяне-беженцы принялись вывозить свое добро в тот же богоспасаемый Козьмодемьянск.

И вот разнесся по Казани слух (может быть, пустил его какой-либо затесавшийся в город пугачевец): «К городу царь Петр Федорыч с воинством подходит».

Этот слух — очередная выдумка, но жители поверили. И вот зашумела, замутилась Казань. Обыватель ударился в разгул и пьянство.

Губернатор перетрусил. 1 декабря он выпустил к гражданам оглашенное по церквам воззвание. Он объявил, что все слухи о приближении мятежников к Казани есть сущий вздор, что сам душегуб Пугачев по сей день сидит под Оренбургом, а войско его вооружено дубинками, и что вообще Пугачев «отнюдь не имеет толикого числа людей, как слух о том носится».

Но словам губернатора уже не давали веры. Не стесняясь, людишки выкрикивали в церквах:

— А почто ж он свое-то добро спозаранку вывез? Обман кругом!

Капитан-поручик Маврин, имевший от Бибикова поручение выведать, пока что путем неофициальным, настроение Брандта, пришел рано утром в губернаторский дом. И немало удивился: дом был пуст, в залах ни стола, ни стула. Маврина провели в кабинет. Он представился губернатору как старший офицер, командированный Петербургом в Казань, где он, Маврин, будет ожидать из столицы особых инструкций. О том, что он член секретной комиссии, Маврин умолчал. После краткого и ничего не значащего светского диалога он спросил:

— Что это значит, ваше превосходительство. Ваш дом подобен пустыне... Уж не было ли вашему превосходительству какой тревоги?

— Да, господин капитан-поручик, тревога была и доднесь существует. Я всех отпустил в Козьмодемьянск, — ответил, виляя взором, Брандт и пожевал губами.

— Что ж, очевидно, злодеи приближаются?

— О да!.. Без всякого сомнения... И в великих толпах злодействуют.

— В великих, изволите молвить? — переспросил притворно удивленный Маврин. — Но ведь вы в своем воззвании как раз наоборот... Впрочем... Да... — замялся он. — Значит, от этого самого и в городе почти никого из видных жителей не осталось?

— От этого от самого, — холодно ответил губернатор и незаметно стал нащупывать пульс на левой руке.

— А не находите ли вы, ваше превосходительство, что, отправив свое семейство, а также имущество в Козьмодемьянск, вы тем самым подали дурной пример гражданам?

«Дерзкий человек или круглый дурак», — подумал Брандт и не ответил ему, только сердито стал жевать губами.

— Да, да,— продолжал Маврин настойчиво. — Все куда-то бегут, устремляются... Не все, а класс состоятельный... Но что же, ваше превосходительство, делать тем, коим бежать некуда и увезти нечего? Не остается ли им отпирать, в случае нашествия самозванца, ворота да встречать его?.. И, заметьте, не по предательству, а по необходимости, яко истинного гостя, чернь втуне не покидающего!

Губернатор от этих вызывающих слов какого-то... какого-то... петербургского щеголя поежился и, ощутив в области сердца боль, совсем затревожился. «Да уж полно, не соглядатай ли, подосланный по мою душу?..» — подумал старик.

— А вы какого мнения, ваше превосходительство, по сему смутному казусу? — И Маврин, сказав это, окинул пристальным взглядом сановную персону.

Они сидели друг против друга в обширном кабинете. В ярко топившемся камине непрерывно постреливали еловые дрова. Губернатор, приняв надлежащую осанку, сухим тоном произнес:

— Милостивый государь, я не считаю нужным и возможным ответствовать вам на ваш несколько... эм-м... щекотливый вопрос... И прошу, молодой человек, принять в мысль, что перед вами не кто иной, как сам генерал-аншеф. — Губернатор затряс головой и снова сердито зажевал губами.

Маврин нимало не смутился. Он был лично известен императрице, и ему казалось, что она ценила его как умного, исполнительного офицера, а также и первого великосветского танцора.

— Ваше превосходительство! — вздернув плечи и гордо вскинув голову, отвечал Маврин. — Я не осмелился бы докучать вашей особе праздными разговорами, но я обязан это сделать в силу данных мне лично ее величеством инструкций: я член так называемой секретной комиссии, назначенной ее величеством. Цель комиссии — расхлебать заварившуюся в ваших местах кашу. Я ничуть, ваше превосходительство, не теряю из памяти, что имею честь беседовать с генерал-аншефом, и счастлив уведомить вас, что на ближайших днях к вам прибудет в качестве главнокомандующего всем краем, охваченным мятежом, Александр Ильич Бибиков, тоже генерал-аншеф.

Покрытое старческим румянцем лицо Брандта то удивленно вытягивалось, то слагалось в подобострастную улыбку. «Но, так оно и есть — соглядатай. Гм... Гм...» — Губернатор встал и, крепко пожимая руку поднявшемуся Маврину, задабривающим тоном произнес:

— Очень рад сие слышать, господин капитан-поручик. Ведь мы с Александром Ильичом, мы с ним... как бы это вам сказать...

Собравшиеся в этот же день члены секретной комиссии: Маврин, лейб-гвардии Измайловского полка капитаны Лукин и Собакин, а в качестве секретаря — сенатский чиновник Зряхов, приступили к занятиям. Ознакомившись с истинным состоянием края, секретная комиссия воочию убедилась в том, что правящий Петербург имеет совершенно превратное понятие об оренбургской трагедии, что местная власть в крае парализована и что опасный мятеж, охватив Оренбургскую губернию, начал перебрасываться и в Казанскую.

Да и на самом деле: вся северо-западная часть Оренбургской губернии была во власти Емельяна Пугачева, а южная подверглась нашествию киргиз-кайсаков. Их предводитель Нур-Али-хан подался с кочевниками к берегам Волги и появился неожиданно близ Черного Яра. Киргизские орды разоряли и жгли попутные деревни, забирали скот, а жителей уводили в полон.

Вслед за киргиз-кайсаками стали все настойчивей пошаливать гулящие люди и в степях Башкирии. Русские толпы, соединившись с башкирцами, бродили возле Бугуруслана и в окрестностях Бугульмы. А в Бугульме сидел со своим отрядом генерал Фрейман, покинутый на произвол судьбы злополучным Каром.

Толпы башкирцев стали проникать на пермские горные заводы и в Исетскую провинцию. Губернатор Брандт организовал защиту заводов, поручив эту заботу члену главного заводоуправления на Урале, коллежскому асессору Башмакову. Юговский казенный завод (в 60 верстах от Кунгура) был построен в виде крепости, чем и воспользовался Башмаков, решив защищаться тут от мятежников.

Большинство заводского населения, руководимого раскольниками, Башмакову не подчинилось. Горячие головы шумели по заводам:

— Не верьте, мастеровые да работники, начальству. Врет начальство, что это беглый казачишка Пугачев. Он истинный есть царь.

Почти все рабочие многих заводов приняли сторону Емельяна Пугачева. Восстание всюду разгоралось.

Вскоре в управление всей Башкирии вместе с уральскими заводами вступил, как уже было ранее сказано, «граф Чернышев», то есть Иван Зарубин-Чика.

Атаман Илья Арапов, когда-то посылавший Пугачеву в дар осетров с провесными севрюгами, находился в захваченном им Бузулуке. Пугачевской Военной коллегией ему приказано двинуться к Самаре и укрепиться на самарской линии. К нему пришло до тысячи крепостных крестьян графов Орловых и многие из волостей близ Сызрани.

Восстание охватило весь Ставропольский уезд. Арапов подошел к Самаре и был торжественно встречен населением. Комендант Балахонцев и поручик Кутузов с частью солдат еще загодя бежали в Сызрань.

Был жестокий рождественский мороз, но народу навстречу гостю высыпало много. Атаман Арапов, коренастый, с черной бородкой и горящими быстрыми глазами лихой детина, одет был в лисий, крытый темно-зеленым сукном чекмень, на ногах у него рысьи теплые сапоги. Грубое, продубленное степными ветрами лицо его с мясистым, нависшим на густые усы носом казалось особенно внушительным под форсисто надвинутой на ухо мерлушковой шапкой с красным верхом. За поясом у атамана пистолет, при бедре богатая, как у Пугачева, сабля. Подбоченившись, он зычно крикнул в народ:

— Спасибо вам, самарцы, что предались мне без супротивленья! Это нашему батюшке в самый раз по сердцу, он, государь наш, отблагодарит вас, мирянушки, а ваш город Самару обратит в губернию.

— Вот бы добро было, вот бы славно! — отвечали дружно самарцы.

Арапов велел выкатить из питейных заведений бочки с водкой. Подгулявший народ, собираясь в шумные кучки, кричал до хрипоты:

— Здравствуй, батюшка наш Петр Федорыч!.. Ура-а!

2

Зарубин-Чика прибыл под Уфу в сопровождении своего помощника, яицкого казака Ильи Ульянова, и тридцати работников воскресенского завода[1]. По пути Зарубин-Чика всюду встречал сочувствие и собрал толпу в полтысячи человек заводских крестьян, башкирцев, беглых барских мужиков.

Местом своей ставки он выбрал село Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, и поселился в доме священника Андрея Иванова.

Новоселье было проведено шумно, пьяно, весело. Нашлись скрипачи и дудари. Стараясь, страха ради, угодить пугачевцам, подвыпивший отец Андрей при-

[1] Зарубин-Чика и Ульянов были в начале декабря посланы Пугачевым на этот завод для литья пушек и ядер.

кинулся дурачком: бил в такт музыкантам по медному подносу то кулаком, то лысой головой, то железными клещами. Удалей всех плясал сам граф Чернышев в набойчатой простой рубахе и широких плисовых штанах; ему под стать, с гиком и звонким хохотом, кружились в плясе охмелевшие — кровь с молоком — девки да бабенки. Даже молодые поповны и сама попадья, не в меру приурезав наливок и медов, вились вихрем возле разухабистого чернобородого цыгана.

— Не брезговаю вами!.. — кричал «граф», высоко подскакивая и ударяя ладонями по голенищам. Подхватив железной рукой за талию какую-нибудь краснощекую красотку, он крутил ее по горнице, как мельницу. — С самим графом Чернышевым пляшете! — гремел он. — А поутрие — все за дело, дружки! Уфу зорить, супротивников батюшкиных изничтожать. А кто не с нами, тому перекладинка с петлей!

У многих гостей, как ни были они пьяны, на душе становилось тревожно, а поп с попадьей всю ночь не сомкнули глаз.

— Пропали мы с тобой, матка!.. Со всем приплодом нашим, со всем жительством, — стонал батюшка, не находя себе покоя.

До рассвета гуляла Чесноковка, а на рассвете Зарубин-Чика принялся за дело. Напористый и на соображенье скорый, он в полной мере чувствовал власть в своих руках.

«Будь в спокое, Емельян Пугачев, нареченный царь-государь, уж кто-кто, а Ванька Чика тебя не подведет», — держал он в мыслях, положив до последнего вздоха служить обожаемому «батюшке».

Ударили в набат. Сбежавшемуся к церкви народу граф сказал:

— Во всеуслышанье объявляю настрого: жителям собраться в поход! Чтобы с каждого двора по одному человеку, и с оружием. За супротивство — смерть! Отец Андрей, — обратился он к рыжеволосому священнику, — всех без изъятия мужиков и баб и всю мою армию приведи к присяге на верную службу го-

сударю Петру Федорычу. И зачти вгул манифест его величества.

До полден шла присяга. Зарубин-Чика немедля стал рассылать во все концы манифесты Пугачева.

Население в Чесноковке и по всему уезду спешно вооружалось, садилось на-конь, торопилось к графу Чернышеву. Вскоре армия его стала насчитывать более четырех тысяч человек. А спустя несколько дней, когда в Чесноковку прибыли толпы работных людей со многих остановившихся заводов, силы Зарубина-Чики утроились; у него скопилось до двенадцати тысяч человек. Громада!

Заводское население, спасая свою жизнь от разбойных наскоков башкирских толп, бежало и в Берду и в Чесноковку. Депутаты жаловались:

— От набегов воровских башкирских партий спасу нет! Наших людей, кои за сеном выезжали, многих башкирцы поувечили да насмерть покололи безвинно. И не стало нам николикой свободности.

Хотя таких своевольных башкирских партий было не так уж много, однако пугачевская Военная коллегия все же предписала графу Чернышеву принять строгие меры к прекращению бесчинств башкирцев и к возвращению награбленного хозяевам. Военная коллегия повелевала:

«Да и впредь, ежели такие злодеи окажутся, не приемля от них никаких отговорок и не возя сюда, в Берду, чинить смертную казнь».

Зарубин стал широко пользоваться этим правом. Возле его дома были поставлены две виселицы. Под наметом из соломы и в поповском амбаре хранились пушки, боевые припасы и оружие, привозимые его людьми из разных городов и заводов.

Зарубин-Чика через два дня в третий посылал в Военную коллегию свои донесения, а ответы коллегии приказывал публично читать на улицах. Впоследствии эта деловая связь с Бердой становилась все реже и реже, — Чика решил действовать самостоятельно. Он назначал атаманов и полковников, у него была и своя Военная коллегия, где он единолично

принимал просителей, вершил суд и расправу, диктовал писарям свои распоряжения.

И стал он как бы вторым Пугачевым, а Чесноковка — второй Бердой.

Приказы Зарубина-Чики были разумны и толковы. Не в пример губернаторам фон Брандту и Рейнсдорпу, он обладал редким даром администратора. Этот задирчивый, с нахрапцем, казак-гуляка, забубенная головушка, беспечный в обыденной жизни, и сам теперь приходил в немалое удивление, открыв такие у себя качества, о существовании которых и не подозревал.

«Ха-ха!.. Ай да Ванька, ай да сукин сын!.. Правителем стал!» — рассуждал он сам с собой в минуты душевного спокойствия.

Он издал приказ выбрать всем жителям в каждом селении и на заводе атамана или старосту и обязал их смотреть за порядком, содержать пикеты и заставы, всех подозрительных направлять в Чесноковку.

Рождественского завода атаману он писал:

«Надлежит вам свое население содержать в добром порядке и ни до каких своевольств и грабительств не допускать, ослушников же его императорскому величеству по произволению вашему наказывать на теле... Населению своему никаких обид, разорений и налогов не чинить и ко взяткам вам не касаться, опасаясь за ваш проступок неизбежной смертной казни. По моим ордерам исполнение чините в немедленном времени... Когда потребуют от населения вашего на службу его величества, по тому требованию хороших, доброконных и вооруженных ребят немедля отправлять ко мне. А в службу надлежит набирать таковых, чтобы не были старее пятидесяти и малолетнее восемнадцати лет».

Оставшимся семействам выступивших в поход людей приказано было выдавать провиант из казенных магазинов.

Вскоре у Зарубина-Чики скопилось много денег, много вооружения, много всякого добра. Он ласково обращался с духовенством, — задобренный священ-

ник может оказаться сообщником полезным; он иногда щадил и представителей правительственной власти: чем черт не шутит, могли пригодиться и они... Зарубин-Чика человек себе на уме: в его руках власть, в голове — русский охватистый разум.

3

На улице метель — свету белого не видно, снежная кутерьма от земли до неба. А вот в квартире нареченного графа Чернышева тепло, угревно. Покрытый белыми скатертями, нарочито сколоченный большущий стол ломится от изобильного хмельного пития и вкусной, горой наваленной снеди: пускай гости вдосыт наедятся и упьются — для дела польза. И что́ сегодня съедено, назавтра втрое доброхоты нанесут. Недаром поп Андрей внушал им: «Рука дающего не оскудеет».

Стены горницы, замест золоченой фольги, как у Пугачева, увешаны самодельными, из кошмы, башкирскими коврами, а сверх ковров — собранные в помещичьих домах ружья, сабли, кинжалы, старозаветные мечи. А возле икон врезанный в рамку старанием священника ярлык: «Быть Зарубину-Чике графом Чернышевым»; на ярлыке красная сургучная печать, как сгусток крови.

— Матка!—кричит граф попадье и утирает взмокшее лицо рукавом расстегнутой у ворота рубахи. — Брось швырять поленья в печку, и так мы, как в аду...

Кроме Ильи Ульянова и ближних, среди гостей два попа: отец Андрей и прибывший из села Березовки, Сарапульского заказа, родной брат его — отец Данила. Андрей рыжеборód, Данила черен.

Уже отгремели здравицы за государя Петра Федорыча, за наследника с супругою, за графа Чернышева.

Пили, чавкали, граф Чернышев кричал:

— А вы, господа попы-святители, тоже слушай мою команду! Ваше дело доглядывать за своими прихожанами само крепко. Дабы не было супротивников его величеству... Чтобы, значит... его высокой власти. Поняли, святители? А ежели кто где сыщется, таковых отвращать от сей пагубы добрым словом.

Оба родных брата, рыжий и чернявый, вылавливая из овсяной похлебки куриные потроха, согласно кивали грозному начальнику умащенными елеем головами:

— Паки и паки постараемся, ваше графское сиятельство, господин граф Чернышев, Иван Никифорыч.

У попа Данилы черноволосая бородатая голова посажена прямо на крутые плечи, он могуч, пышен со спины и предостаточно брюхат.

— Писаря, слушай! — продолжал Чика. — Чтобы точию отписать мои слова всем попам, всем муллам, не исключая... А буде кто и чрез оное поповское увещевание от злоумышлений не отвратится, то таковых ловить и доставлять ко мне немедля, а будет с таковыми поступлено в силу указов немилосердно!.

Так великий хлопотун Зарубин-Чика даже и во время попоек не забывал своего дела.

Отец Данила слово свое сдержал. Прибыв в Сарапул, он собрал сход и убедил жителей присягнуть новоявленному императору. Сарапульцы немало попу дивились.

— Да, бывают, мирянушки, чудеса на свете, — говорили они. — Уж раз сам иерей божий царя признал, так нам и сумневаться нечего. Аминь тому делу.

Иные же, слушая отца Данилу и накопив горькую слюну, сплевывали и зло возражали:

— Поповское ли это заделье в усобицу встревать? Такого кутьехлеба вверх пятками повесить бы... Да и повесят, уж это как бог свят!

Отец Данила, закутавшись в теплую, подаренную ему графом Чернышевым шубу, объезжал окрестные селения, он всюду успешно привлекал жителей под знамена Пугачева и лишь на Ижевском заводе

осекся. Народ шел в отпор, не желая признавать какого-то нового царя. Один из разгорячившихся сердцем работных людей во время словесной схватки ударил ретивого попа кулаком по шее. Пострадавший отписал обо всем в Чесноковку, и уже через три дня в Ижевский завод явилась высланная Чикой партия в триста человек.

Завод был приведен в повиновение, казенные дома разбиты и разграблены, забраны ружья, порох, девять тысяч рублей денег. Мастеровые и работники из приписных крестьян распущены на волю, по домам, завод закрылся. А вскоре поп Данила был схвачен отрядом правительственных войск, пытан в Казани и повешен.

В это время по Башкирии гуляли толпы мещеряков и башкирцев. Их вели «начальный возмутитель» мещеряк Канзафар Усаев и двадцатилетний башкирец Салават Юлаев. Молодой батырь Салават обладал редким даром слагать песни, был отважен и любим своими соплеменниками. Имя Салавата в скором времени с шумом пролетит по башкирским степям, по предгорьям Урала.

Канзафар и Салават лихим набегом заняли Красноуфимск; захваченную при этом казну они послали Пугачеву, а пушки оставили себе.

Чесноковка на первый взгляд напоминала собою пугачевскую столицу Берду, но здесь, начиная от хозяина, все было второго сорта. Хозяин вел себя необычайно просто, вовсе не по-царски и не по-графски даже, а как бог на душу положит. Любил он всласть поесть и крепко выпить, любил громко похохотать и подурить с бабенками. Одевался так себе — ни генеральских лент, ни позументов. За своей наружностью следил плохо: борода запущена, с мылом умывался редко, да и то кое-как, словом — цыган и цыган. Когда дома — ворот рубахи всегда расстегнут, густо волосатая грудь обнажена, а на морозе — замызганный овчинный чекмень накинут на одно плечо. Квартира не из важных, у него золотой горенки нет

и почетного караула нет, свиты тоже не положено. Подруги сердца его живут в двух избушках, на краю селенья.

Ранний вечер, уже мерцают звезды. Коров подоили, несет по Чесноковке парным молоком. Улички, переулочки заметены снегом. Высоко приподнятая метелями дорога укатана горбом. Она, как крепостная насыпь, громоздится выше окон. По откосам ее, от избушек, от домков, вьются протоpенные тропинки. И ежели б дыхнуть враз и по-настоящему на Чесноковку жаром, все селение захлебнулось бы снеговой водой, — столь глубоки, столь обильны тут сугробы. На задах, на огородах и возле Чесноковки, на степи, многочисленные, из плотной кошмы, башкирские юрты. Из их круглых отверстий валит дымок. Кругом костры, костры; гривастые кони хрумкают овес и сено. На кострах медные, до десяти ведер, котлы, в них баранина, или махан. Башкирцы сыплют в котлы соль, крупу, болтают в котлах большими, как оглобли, жердями, готовят ужин. Скулят там и тут собаки. И откуда шайтан принес их? Башкирец выхватил из котла оглоблю, огрел ею собачью свору: «Аря, аря!» — и снова оглоблю в котел.

Кругом селения ездят бессменно дозорные — казаки, крестьяне, башкирцы. И там, далеко впереди, стоят зоркие пикеты. Недавно Зарубин-Чика в три часа ночи объезжал проверкой все посты и заставы. Караульные всюду бодрствовали. Лишь в перелеске, возле моста, дозорный спал у потухшего костра, дремала, опустив голову, и пегая его кобылка.

— Так-то караулишь, сволочь! — гаркнул Чика.

Мужик вскочил, протер глаза, сказал хрипло:

— Прошибся! Сон одолел...

— Ха-ха-ха!.. Сон одолел? А ежели б из-за тебя, гада, нас всех одолели?! — И Чика выстрелом из пистолета уложил дозорного на месте: в пример другим.

А приехав домой, он сказал атаману Грязнову:

— Сменить дозорного, что под ельником у моста! Уснул до самого второго пришествия,

Веселый Чика! Бесшабашный Чика! А с народом обходительный, простой. Однако его все, как огня, боятся. Граф разговаривать долго не станет. У него пить так пить, воевать так воевать.

На улице сумерки гуще, звезды в небе ярче. Выдоенные коровы, подогнув сначала передние ноги и кряхтя, неуклюже валятся на соломенную подстилку, на них накатывает дрема, они устало, вполглаза, глядят во тьму и всю ночь пережевывают жвачку.

По взгорбленной дороге вдоль села, покачиваясь и обнявши друг друга за шеи, движутся трое: Чика, атаман Грязнов и сотник Кузнецов. Остановятся, поцелуются, Чика всхохотнет на все село и — дальше.

Скачет всадник, кричит:

— Сторонись, ожгу!

— Стой, куда? — гремит Чика.

— К хозяину, ко грахву, гонец я...

— Я граф. Что надо?

Гонец скатывается с лошади, срывает шапку, рапортует:

— Так что докладаю: Красноуфимск занят Салаваткой, ваше благородие. Ижовский завод занят такожде...

— Ха-ха-ха! Слыхали, атаманы? Ижовский занят... Чья это изба?

— Мужичка Абросима.

И уже грохает в калитку железное кольцо. Гонец кричит, припав голоусым лицом к волоковому оконцу:

— Эй, дедка Абросим! Вздувай огня, сам грахв к тебе, сам Иван Никифорыч.

Чика вломился в избу, поздоровался «об ручку» со стариком, со старухой, с парнем, велел принести от попа снеди с выпивкой.

— Ну как, казаки-удальцы? — заговорил он, усаживаясь за стол. — Дела наши идут не надо лучше! Города и заводы сдаются нам с легкостью... Ты что притуманился, атаман Грязнов? Поди все — ха-ха! — о божественном помышляешь, а?

Лысый, бородатый, с умным глубокомысленным лицом, еще не старый, атаман Грязнов, потупя свои бесцветные, водянистые глаза, ответил:

— Эх, Иван Никифорыч... Думал я когда-то и о божественном, а вот как определил себя на кроволитье за простой народ, уж тут не до божественного...

— Ха-ха-ха!.. Ну-к, удальцы, чего же дале-то нам делать? Обмозгуем, чего ли...

— А тут мозговать неча. Наше дело воевать! Уфу брать надобно.

— Уфа — что... — возразил Чика. — Придет час, эту фрукту мы съедим. Нам вширь распространяться треба. Покамест народишко не остыл, главные города забирать, кои в отдаленности. Да и за Урал-горой пожарище неплохо бы пустить! Ха-ха-ха! Недаром ведь народишко-то с огоньком пошаливает...

— Командуй, батюшка Иван Никифорыч, мы всеобщему отцу отечества Петру Федорычу послужить рады, — степенно оглаживая бороду, сказал атаман Грязнов.

— Стало быть, так... — Чика со всей застолицей выпил, положил в белозубый рот склизкий соленый груздок и, чавкая, продолжал: — Главный город Пермской провинции какой? Слыхал я — Кунгур. Стало быть, брать нам Кунгур! Это я тебе доверяю, Иван Кузнецов. (Черноусый табынский казак, сотник Кузнецов, встряхнул пьяной головой, поклонился Чике.) И ставлю тебя главным российского и азиатского войска предводителем... Чувствуй, чертова ноздря!

— Чу-чу-чувствую, — сказал сильно захмелевший Кузнецов; он кособоко поднялся, впился руками в стол, чтоб не упасть, и вновь стал кланяться. — Вдругорядь благодарим тебя, Иван Никифорыч, гы-гы... грахв...

— Ха-ха-ха!.. Ладно, садись скорей а то ляпнешься, — и Чика обернулся к Грязнову: — А тебе, атаман, подлежит идти с отрядом под Челябу. Оная Челяба, как мне известно стало, главный городок

Исетской провинции. Верно ли? И где-то там Деколонг, генерал, бродит, и где-то Чичерин, губернатор, сидит, всей Сибири. В Тобольске, кажись? Верно ли? Ивану Кузнецову подмогу дадут верные нам башкирцы с Салаваткой да Канзафаром Усаевым. А тебе, Грязнов, предлежит забирать всех заводских крестьян. Опослезавтра и выступать. Кончено!.. А ну, нальем!..

Военные планы Чики были широки и основательны. Изрядно грамотный атаман Грязнов, удивляясь его сообразительности, недоумевал: то ли оный человек заранее обдумывал свои намерения, то ли это накатывало на него вдруг, вроде как «от благодати».

Отправив сотника Кузнецова под Кунгур, атамана Грязнова под Челябу, Зарубин-Чика 23 декабря сделал первую попытку овладеть Уфой.

Но Уфа не поддалась.

ГЛАВА II

Купчик Полуехтов. Есаул Перфильев. «Ты, батюшка, похитрее сатаны». Бибиков в Казани

1

Бесшабашный купчик Полуехтов, чтоб восстановить былое уважение к своей храбрости со стороны Рейнсдорпа и оренбургских граждан, решил, с пьяных глаз, немедля направиться в стан Пугачева. Он заручится в Берде каким-нибудь доказательством своего пребывания там и личного свидания с Пугачевым. Вот и все. Купчик обрядил себя под бухарца: выкрасил рыжеватые усы и бороду в черный цвет, добыл цветистый халат, голову обмотал чалмой и отправился в это отчаянное путешествие на верблюде, ночью, с небольшим тюком бухарских товаров.

Утром был он схвачен пугачевским разъездом и доставлен в Берду. Прикинувшись «азиатом», он по-

русски ни слова не говорил и на допросе в Военной коллегии объяснялся знаками, а если и лопотал, то всякую неудобь-тарабарщинку.

— Не высмотрень ли Рейнсдорпа? Как знать?..— выразил опасение главный судья, старик Витошнов.

— Может статься, и так... — подал голос угрюмый Горшков.

— А ежели так, то не иначе — шея его по петле стосковалась.

Полуехтов испугался, нижняя губа его задрожала, как у зайца, глаза осоловели.

— Да нет, господа судьи, — сказал молодой Почиталин. — Он кубыть действительно бухарец-купец. На мою стать, не следует чинить ему помехи, пускай себе торгует!

Полуехтов, прислушавшись к Почиталину, приободрился, даже оскалил в легкой ухмылке зубы. Осторожный Максим Григорьевич Шигаев, все время наблюдавший бухарца, нажимисто проговорил:

— Нет, чего там... Повесить! Всенепременно повесить его!

Полуехтов пошатнулся, часто задышал. На щеках Шигаева заиграли улыбчивые ямки. Обратясь к судьям, он громко сказал:

— Надо склика́ть сюда бухарца, их десять человек живет в землянках подле мельницы. Ежели бухарец дознается, что оный пойманный тоже бухарец, так мы оставим его в Берде жить без выпуску под крепким смотрением, а ежели это русский перевертень, так мы его тотчас на перекладинку... Эй, казак, живо сюда бухарца! А этой птице связать назад руки...

В это самое время подъезжал к себе на тройке Пугачев, сзади него с пиками отряд телохранителей.

Вдруг он видит: по снежной дороге что есть сил бежит бухарец в полосатом халате и чалме, за ним гонится Ваня Почиталин: «Держите, держите его!» Вот оба они шмыгнули в проулок, и Пугачев, остановив тройку, приказал:

— Взять!

Купчика вволокли во дворец два молодых казака, а следом за ними пришел и запыхавшийся Почиталин. Один из казаков, двигая бровями, заявил:

— Это, надежа-государь, не бухарец и не персюк, это кулачный боец из Оренбурга. Он, тварь, самый русский, он супротив наших воевать намеднись выезжал на коне...

— А-а-а, — протянул Пугачев и прикрыл правый глаз. — Так это ты моему верному казаку зубы клюшкой выбил?

— Я, — ответил Полуехтов. Он хотел многое рассказать Пугачеву — и не мог: его трепала нервная дрожь, рукава длинного халата встряхивались, зубы стучали. Он только выдохнул: — Винца бы... Невмоготу мне...

Пугачев умел ценить храбрость и на оробевшего молодца посматривал со снисходительной улыбкой. Пока молодой гуляка тянул из стакана настоенную на перце водку, Почиталин торопливо докладывал Пугачеву все, что знал о пойманном купчике.

— Военная коллегия присудила оного шпиона вздернуть, — заключил секретарь.

Забористая водка уже успела всосаться в кровь курского купчика, трясение кончилось, он вновь почувствовал в себе прилив дерзости.

— Вешать меня не за что, — молвил он и с наглостью посмотрел на Почиталина. — Вам такого права нет надо мной... Я человек не разбойный, а мирный.

— Хорош мирный! — улыбнулся Пугачев. — Я, ведаешь, сам видал, как ты наших-то... И велели мы тебя живьем словить, чтоб быть тебе при мне, люди отчаянные мне любы... А ты и сам к нам припожаловал. Чего ради, не дождавшись святок, бухарцем-то вырядился да ко мне в таком обличье дерзнул?

— А вот слушай, хозяин, — проговорил купчик и принялся рассказывать Пугачеву все свои похождения, вплоть до последнего свидания с Рейнсдорпом. — Ты дай мне, хозяин, удостоверение, что я у тебя был

и с тобой разговор имел, да отпусти-ка меня за ради Христа либо к папаше моему в Курск, либо в Оренбург...

— А что у вас деется в Оренбурге, ну-ка отвечай? Ась?

— А в Оренбурге у нас расчудесно, всего вдосталь, народишко живет безбедно, войсков боле двадцати тысяч...

Пугачев, охватив грудь руками, сердито захохотал, закачался в кресле, крикнул:

— Ах ты негодник! Ах ты подлая твоя душа! С голоду вы там все, дьяволы, подыхаете, лошадей жрать начали...

Полуехтов таращил глаза, молчал.

— Я б тебя, чувырло неумытое, немедля повесить приказал, да вот за проворство, за отчаянность твою прощаю тебе. Оставайся у меня служить, сыт будешь и награду примешь от меня.

— Нет, хозяин! Я не в согласье...

— Какой я тебе хозяин! — поднял голос Пугачев. — Ты раб мой, а я твой царь...

Винные пары затуманили голову молодого забулдыги. Глаза его стали дикими, голос наглый, скандальный, он потерял всякую волю над собой.

— А мне горя мало — царь ты али кто! — выпучив глаза, закричал он и покачнулся в сторону Пугачева.—Ты только дай мне знак какой алибо записку, что я был у тебя.

Улыбка, похожая на судорогу, тронула лицо Пугачева, брови его сдвинулись.

— Так знак, говоришь, тебе?

— Без знака не уйду!

— Ладно, я тебе знак сделаю... Эй, обрежьте-ка ему правое ухо да спровадьте немедля с поклоном Рейнсдорпу.

Купчик сразу отрезвел, упал Пугачеву в ноги:

— Батюшка, царь-государь! Батюшка!...

— Стой! Как прозвище твое?

— Полуехтов, царь-государь! Полуехтов...

— Ну, так таперь Полуухов будешь... Взять его!

2

Пугачев сидел в маленькой боковой горнице за фасонистым, на гнутых ножках, столом, придвинутом к самому окну, чтоб лучше видеть. Большой, широкоплечий, он, ссутулясь, громоздился кое-как на легком золоченом стуле, держал в правой, испачканной чернилами руке гусиное перо, смотрел в четко написанный Шванвичем на особом листке русский алфавит и с напряжением выводил на бумаге робкие каракули: палочки, хвостики, кружки. От натуги на носу и лбу выступила у него мелкая россыпь пота, он прикрякивал, поскрипывал зубами, ударял пяткой в пол, но толку было мало. Без сторонней помощи осилить грамоту — дело многотрудное. «Эх, голова, голова, — горестно укорял себя Емельян Иваныч, — кабы знала ты, голова, да ведала сызмалу, не то было бы. А теперь, не иначе, катиться тебе, темная головушка, с крутых плеч долой, а все из-за того, что темная!»

Иногда он взглядывал за окно, в синие сумерки: там проезжали с песней казаки, повизгивал полозьями по каленому, наезженному снегу обоз. А вон прошагал вовсе трезвый поп Иван, опираясь на длинную палку с завитком; пробрела вдвое перегнутая временем старуха, пробежала с санками гурьба ребятишек. Жизнь шла своим чередом, и никому не было дела до мучительного труда Емельяна за этими самыми «буками, ведями, глаголями».

За белыми пуховыми крышами нежно блестел на светло-зеленом небе тонкий серп месяца. На улице крепчал мороз, а здесь, в натопленной вволю горенке, было жарко, как в бане. Царь сидел в одной рубахе, с расстегнутым воротом, обнажив белую грудь со старинным серебряным крестом на гайтане и «царскими знаками» под правым и левым соском. Босые, начисто отмытые ноги его отдыхали от узких щегольских сапог, широкие, как юбка, алого сукна шаровары касались пола.

— Ваше величество, Перфильев просится, — проговорил появившийся в дверях несменный дежурный, пухлый рыжеусый Давилин.

Пугачев проворно прикрыл ладошками свою работу, с досадою сказал:

— Пущай войдет.

Перфильев, взглянув исподлобья на Пугачева, повалился ему в ноги.

— Ну, с чем явился?

— Батюшка, виноват пред вами. Намеднись всей правды не сказал вам, вроде как утаил.

— Коль винишься, бог простит. Встань! — молвил Пугачев и подумал: «Второй раз смотрю на него... Обличием злой, а характером, кажись, крепок, да и вояка, сказывают, бывалый... Обласкать надо молодца». — Какую же ты от меня утайку сделал, друг? Ну-ка?

Перфильев глубоко передохнул, переступил с ноги на ногу, овладев собою, заговорил:

— Меня на Яик государыня послала и приказ дала: Яицкое войско уговаривать, чтоб оно от тебя отстало да пришло бы в повиновение ее величеству, а тебя чтобы мы связали да доставили в Питер.

— Ох ты, ох ты, окаянство какое! — помрачнел Пугачев. — Ах, злодеи, чего измыслили. Да ты ведаешь ли, на какую пагубу толкали тебя? — тряхнув головой, воскликнул Пугачев и отбросил упавшие на глаза волосы. — Стало быть, угадал я тогда, Перфильев, что со злым намерением ты прислан. Ах, Перфильев, Перфильев!

— Винюсь, ваше величество! Опасался вдруг-то открыться вам, язык не поворачивался... Ну, только что положил я в душе служить вам верно-неизменно.

— Правду ли говоришь, Перфильев?

— Я за правдой к тебе и пришел! — воскликнул казак.

Он был горяч и скор в решениях, зол на незадачливую жизнь свою, на холодный, себялюбивый Питер, на графа Орлова, что втравил его в лихой умысел, особо же на самого себя — за то, что неоглядно взялся за этакое окаянное дело. К черту же, к черту! Он еще тогда, впервые взглянув в мужественное лицо Пугачева, заколебался, а потом и окончательно

решил связать свою жизнь с этим человеком. В нем, в Перфильеве, вскипала казацкая кровь, сердце его рвалось разделить участь с обиженным царицей казачеством и помочь Пугачеву поднять народ.

Бывалый, смышленый, он ясно видел, что все атаманы вместе с Овчинниковым, Падуровым, Витошновым умышленно притворялись, признавая Пугачева за императора Петра Третьего. Все они до единого обманывали близких и дальних, а ныне, когда народ и взаправду поверил им, стали эту веру народную оберегать, стали зорко следить друг за другом — не споткнулся бы кто. Что ж, он, Перфильев, и сам нынче готов на все, хотя бы впереди и ожидала его жестокая расправа царицы... Пусть! Пятиться он не станет... Лед взломало, река тронулась, полые воды затопляют берега, и — гуляй душа, добывай казак волю!

Вытаращенными глазами глядел Перфильев в хмурое лицо Пугачева, он весь был в каком-то исступлении, готовый на любые жертвы по зову этого, вдруг ставшего родным его сердцу человека.

— Богом клянусь и всем светом белым, — вымолвил он звонко и, выхватив саблю, с жаром поцеловал ее сталь: — Клянусь, ваше величество, на боевом орудии своем! Веди, куда народ зовет!..

Пугачев поднял руку, сказал:

— Благодарствую, Перфильев. Поди и служи мне. Служи, как я сирому народу служу!

Так был вовлечен в круг пугачевских дел один из самых верных приверженцев царя-самозванца — яицкий казак Афанасий Петрович Перфильев.

Поклонившись, Перфильев было собрался уходить, но Пугачев остановил его.

— Подай-ка мне обутки сюды, — неожиданно сказал он, мотнув рукой к печке, где лежали сапоги.

Перфильев с готовностью подал.

— Пособи-ка обуться, брат... — сказал Пугачев и вытянул ногу, зорко наблюдая за выражением лица Перфильева.

Тот, припав на колени, со всем усердием напялил на ногу Пугачева сначала теплый чулок, затем фор-

систый подкованный сапог, вскочил, ухватился за ременные ушки и натянул поглубже, сказав при этом:

— А ну, притопните, ваше величество, ногой-то... Вошел ли?

— Вошел. Спасибо, — ответил Пугачев и многозначительно добавил: — Не гордый ты, без чванства. Ну, а другой сапог я уж сам. — Однако правую ногу обувать Пугачев не стал. Спросил казака: — Слышь-ко, Перфильев, а что да что про меня в Питере-то балакают?

— Да кто его ведает, батюшка... Чернь проговаривается, пьяненькая, да и то не въявь, а скрытно: явился-де возле Оренбурга государь Петр Третий и города с крепостями берет...

— А что ж, сущая истина! — сказал Пугачев. — Сам видишь, сколько крепостей взято. А народу у меня несметно, кажинный божий день пятьсот да тысяча, пятьсот да тысяча! Меня чернь с радостью везде примет, куда бы ни пошел я. Крестьянство, как стадо без пастыря, только голоса моего ждет. А я, братец, уж крикнул, крикнул! Аж гулы кругом пошли! Ну, а как, того... наследник мой?

— Павел Петрович обручен, а теперь поди и свадьбу сыграли...

— Ах, ах!.. Не довелось мне на свадьбе у сынка своего погулять. — Пугачев вздохнул и опустил голову. — Детище мое рожо̀ное... — Затем он поднял лицо, глаза его были влажны. Встряхнув волосами, спросил в упор:

— Веришь ли мне, Перфильев, что есть я истинный Петр Федорович Третий, император?

Перфильев замялся. Пугачев пронзил его строгим взглядом. Казак дрогнул. Испорченное оспой лицо его стало сизо-красным, как бурак, небольшие острые глаза неспокойно шмыгали по сторонам.

— Отвечай, Перфильев, — дружелюбно повторил Пугачев и как бы приоткрыл для казака некую лазейку. — Веришь ли обету моему?

— Верю, ваше величество! — громко, с облегчением выкрикнул казак.

— Верь, Перфильев!.. Ты в меня верь, а я в тебя и во всех вас верю, а наипаче народу-труднику... по зову его и объявился. И еще скажу: ежели не будет в нас веры обоюдной, от нашего дела, от обета нашего одни черепки, как от разбитого горшка с кашей, останутся, а каша-то барам в лапы угодит. Я есть царь твой, а ты мой верный раб. На том стой до смерти!

Пугачев подарил Перфильеву кармазиновый красный кафтан, одиннадцать рублей денег и коня.

Едва казак ушел, Емельян Иванович, кряхтя, стащил сапог с ноги и, оставшись снова босым, принялся за прерванную работу. Серп месяца еще больше высветлился и успел подняться над пуховыми, погрузившимися в сумрак крышами. В зеленоватом небе взмигивали звезды. Ермилка принес две зажженные свечи, задернул окна занавесками.

— Ваше величество, — сказал, входя, Давилин, — к вам выборные от Воскресенского завода просятся. Да еще от четырех волостей ходоки-кресгьяне.

— Фу ты, и заняться не дадут, — молвил Пугачев и сплюнул. — Ну ин ладно!.. С завода пущай войдут, а крестьян на утро, либо... в Военную коллегию пусть. Стой, крикни-ка Нениле, валенки мои на полатях... Да подай-ка сюда государев кафтан мой при ленте, при звезде который.

8

О приезде из Петербурга Перфильева и о том, что государь почтил его богатыми дарами, уже знала вся армия. А перебежчики донесли о нем весть и до Оренбурга. Сам Пугачев и атаманы пустили молву, что прибыл из столицы гонец с известием от самого наследника Павла Петровича: наследник выйдет-де скоро на помощь отцу с сильным воинством и тремя генералами.

Вскоре сам Пугачев с двухтысячным отрядом подступил рассыпным строем к городу. Все яицкие казаки, оставшиеся верными правительству, залезли на

вал крепости в надежде увидеть Перфильева, которого знали лично.

Было раннее утро. Красноватый шар солнца медленно выплывал из-за горизонта. Перестрелка не зачиналась. Обе стороны оглядывали друг друга. Перфильев молодцевато вымахнул вперед своей части и, подъехав к валу, закричал:

— Эй, казаки-молодцы! Поприглядитесь ко мне да узнайте-ка, кто я есть!

Тысячи любопытных глаз влипли в бравого наездника, любовались его красным, с меховым воротником, кафтаном, лихо заломленной на затылок высокой шапкой, серым, удало приплясывающим конем.

— А кто ж тебя знает, кто ты! — кричали с крепости. — Видим, что казак... У кого барского-то коня украл?

— Я есаул Яицкого войска, Перфильев, был по вашим делам в Петербурге. А оттуда прислан великим князем Павлом Петровичем. С приказом к вам, яицкие казаки! Чтобы вы крепость бросали да шли бы служить законному императору Петру Федоровичу!

— Перфильев ли ты, не знаем, отсель личность твою не можно рассмотреть. Подъезжай ближе! Да покажи нам грамоту от Павла Петровича. Тогда мы все уйдем к вам...

— На что вам грамота? — звонко голосил Перфильев. — Глядите на меня: я сам есть живой, Павла Петровича посланник!

— Нет, брат! — отвечали с крепости. — Ты, может, и верно — посланник, только невесть от кого. Отъезжай, покуда цел!..

Тут ударила с крепости пушка, морозный воздух дрогнул, пролетевшая ворона метнулась вбок, ядро с воем пронеслось над пугачевцами. Пугачев отдал приказ возвращаться восвояси.

— Пустобаев, — сказал он могучему старику казаку. — У тебя силенка есть и голос — что́ труба... Садись-ка ты в эти сани да подвези под самые стены пять мешков муки...

— Кому же, ваше величество, муку-то? — соскочив с коня, пробасил гулко Пустобаев. С проседью широкая борода его моталась под ветром веником.

— А вот кому, — ответил Пугачев. — Сбрось ее там, в степу. А как сбросишь, дак возгаркни, что, мол, от государя императора подарок. Ни ружья, ни пики не бери с собой, а поезжай мирно... Чуешь?

— Сполню, ваше величество, батюшка! — Пустобаев, шевеля бровями и морща лоб, уселся в сани, заехал за мукой и двинулся по направлению к бердским крепостным воротам.

«Вот так уха из петуха! — раздумывал он. — Да уж не с ума ли спятил батюшка, чтоб непокорных снедью жаловать?»

Вскоре раздался на всю степь зычный голос старика:

— Эй, народы! Слышь, нет?

— Слышим! — донеслось от крепости.

— Как вы все изголодались, лошадей всех переели, а теперь скотские кожи в пищу впотребляете, так вот царь-батюшка жалость возымел к вам... Слышите? И жалует он вас по-первости пятью мешками оржаной мучицы. Молите за отца нашего богу да ешьте на здоровье!..

Он сбросил мешки при дороге, стегнул лошадь и, все время оглядываясь, понесся прочь.

...Вскоре возле мешков выросла толпа. Поднялись крик, ругань, а затем и потасовка. Мешки то грузились на салазки, то вздымались за загорбки. Но более сильные с боем завладевали нечаянным добром.

— Это не по-божецки! — вопили в толпе.

— Всем поровну, всем! Волоки на важню!.. Там разделим.

А когда вкатился народ с мешками в городские ворота, его сразу же окружил наряд конных полицейских да сотня казаков.

— Мирянушки! Не отдавайте! Это нам бог послал...

— А ну, в нагайки! — скомандовал казачий сотник.

— Окаянные! Христопродавцы! — завыли разбегавшиеся под ударами нагаек голодные горожане. Иные из них, придя в отчаянье, повалились на тугие мешки. — Убивайте нас, — кричали они,— а добро не отдадим!..

Со всех сторон сбегались люди с дубинами, топорами, железными палками. В крепости забил барабан, скатывалась вниз, в город, вооруженная подмога. По улицам и переулкам вскипела драка. Двух стариков затоптали насмерть, какой-то тетке вышибли нагайкой глаз, кузнецу раскроили саблей голову, многим повредили руки, ноги. Люди валялись на снегу, стонали, изрыгали ругательства, ползли, обливаясь кровью, на карачках.

Перемешанные с грязным снегом и лошадиным калом, серели на дороге кучи ржаной муки, на кучах с усердием работали воробьи. Там и сям валялись в клочья раздернутые пустые мешки, чернели лапти, шапки, опорки, оторванные в драке полы.

От губернаторского дворца проскакал на коне обер-полицмейстер, следом за ним, в открытых санях. губернатор Рейнсдорп с генералом Валленштерном. Губернатор пучил во все стороны изумленные глаза, ничего не понимая.

Емельян Иваныч узнал о происшествии лишь поздно вечером. Во дворец ввалился пьяный Пустобаев, без шапки, в наспех наброшенном на плечи полушубке, и, низко кланяясь сидевшим за столом Пугачеву и Шигаеву, закричал:

— Клюнуло, батюшка, клюнуло!

Он сипло дышал и щурился на огоньки свечей.

— Ты о чем, дед? — спросил Пугачев. — Что там у тебя клюнуло?

— А мучица-то, пять мешочков-то, — оглаживая пудовой рукой бороду, ответил Пустобаев. — Клюнуло, говорю... Как на приваду... Сей минут прибегли оттедова, с Оренбурху, четверо штукатуров, да три сапожника со всем струментом, да мастеров слесарного цеху человек шесть, тоже со струментом, да

восьмнадцать человек солдат в ружьями, с порохом, да пятьдесят два наших яицких казачишек, при них четыре бабенки, ваше величество. Ур-ра, батюшка, ура!..— скосоротившись, заорал вдруг Пустобаев и замахал руками; по горнице гулы пошли, а Пугачев, ткнув Шигаева локтем в бок, захохотал:

— Видал, Максим Григорьич? А ты муки жалел...

Пустобаев вытер кулаком слезы на глазах и восторженно сказал Пугачеву:

— Ну, батюшка, твое царское величество! Сатана хитер, а ты, не во вред тебе будь сказано, похитрей сатаны будешь...

Пугачев опять захохотал, послюнил пальцы и снял со свечей нагар.

— А я, как ты мне приказ отдал, все думал да думал: зачем бы это царю-государю в ум взбрело муку неприятелю подбрасывать? — продолжал Пустобаев.

— А таперь спознал? — милостиво спросил Пугачев.— Всякий таперь убедится, что в Оренбурге голод живет. Не долго уж Рейнсдорпу супротивничать моему царскому величеству. А ежели будет упорствовать, так народ с голодухи-то сам ворота отворит мне. А за верность твою и за усердие жалую я тебя, Пустобаев, чином сотника. Твои атаманы вместях с комендантом Симоновым в рядовых тебя до седых волос держали, а я вот, император, награждение тебе дарую. Служи и впредь верно, как предки твои служили моим предкам блаженной памяти.

Пустобаев повалился Пугачеву в ноги и со всем усердием стукнулся широким лбом в половицу.

Военная хитрость Пугачева имела удачный для него отзвук в Оренбурге. В народе говорили, что не пять мешков, а целых шесть возов было с хлебом, да бедноте-то не досталось ничего: немилое начальство весь хлеб спроворило себе забрать.

Вездесущая Золотариха в хлебной склоке участия не принимала, у нее в то время гулял купчик Полуехтов. Он поведал шинкарке о своем приключении в Берде, о том, как разбойник Пугачев приказал обрубить ему ухо, но спас его промысл божий да дюжий старичина Пустобаев: «Я, говорит, этому жулику

и ухо обкарнаю и в город отвезу». В город он действительно Полуехтова отвез, но к уху не прикоснулся и ни гроша за услугу свою не взял. «Только, говорит, на глаза батюшке не показывайся...»

— А ведь я ему империал совал... Ну-тка, милушка, налей во здравье Пустобаева. Ура!

4

Бибиков даже при поверхностном знакомстве с положением дел в Казанской губернии пришел в отчаяние. Боже, что за колпак, что за безвольная тряпка этот Брандт! Ему ли, этому старому немчуре, управлять губернией в столь смутное время?

Не выпуская из руки пера, Бибиков, при посредстве секретной комиссии, сразу впрягся в неослабную работу: день и ночь писал он инструкции, приказы, принимал множество просителей с жалобами на нераспорядительность начальства, на многие обиды и убытки, творимые восставшей чернью и башкирцами; выгонял с должностей нерадивых чиновников, заменяя их надежными людьми из своей многочисленной, прибывшей с ним свиты. Узнав, что нелепой прихотью Брандта некоторые ответственные места в губернской иерархии заняты пленными польскими конфедератами, Бибиков состроил брезгливую мину. «Отказываюсь понимать милейшего Якова Илларионыча... Какая вопиющая политическая беспринципность!»

Он все еще не находил времени как следует перемолвиться с губернатором. И вот 1 января, когда губернские чиновники приносили Бибикову новогоднее поздравление, он взял Брандта под руку, отвел в кабинет и там заперся с ним.

— Яков Илларионыч, как это сталося, что Пугачев на ваших глазах мог столь усилиться?

Брандт мялся, не находя надлежащего ответа. Наконец сказал:

— Дражайший Александр Ильич, я считал бы справедливым подобный вопрос адресовать не мне, а губернатору Рейнсдорпу... В нем корень зла!

— Может быть, отчасти вы правы. И подобный вопрос, только в сугубой степени, будет своевременно Рейнсдорпу предложен. Но вот вы-то, скажите мне по-приятельски, почему так нерешительны стали в делах своих? И все у вас... гм-гм... шиворот-навыворот. Подчиненные сверх меры распущены, ни дисциплины, ничего. И эти конфедераты... Ох, уж эти конфедераты! А вы с ними цацкаетесь, на балах они у вас первые гости.

Брандт, волнуясь и мысленно шепча «умную» молитву, стал оправдываться:

— Ну, а что же я могу поделать, когда все меня обманывают? Кем места занимать, если честные люди редки в наш век? Тут и про конфедератов вспомнишь и им поклонишься...

— Нет, Яков Илларионыч, вы не правы. Среди нашего чиновничьего мира много людей добропорядочных, лишь надо знать секрет выискивать их. Или, быть может, вы нашим людям предпочитаете вообще иноземцев? Я прежде знавал вас за человека энергического и справедливого, а вот ныне... — Бибиков развел руками. — Сами посудите, на что сие похоже: воеводы и гражданские начальники страха ради из многих мест удалились, бросили города свои на расхищение злодеям. Край оставлен без правителей, без защиты...

Брандт был до чрезвычайности взволнован, он весь внутренне сжался, даже позабыл следить за пульсом.

— Все меня обманывают, все обманывают, — бормотал он и сокрушенно потряхивал головой.

— Ежели сами не можете всем распорядиться, за всем усмотреть, так приказали бы присматривать за порядком кому-либо из надежных...

— Как это возможно! — воскликнул Брандт скрипучим голосом и зажевал губами. — Ежели я не поеду по губернии, так и никто не поедет...

— Удивляюсь, — сказал Бибиков и стал отдуваться, как будто ему не хватало воздуха. — Уж не больны ли вы, ваше превосходительство? Может быть, на покой хотели бы, да стесняетесь? Прошу вас быть со мной откровенным.

Брандта стало бросать в жар и в холод. «Вот оно... вот... началось», — мелькало у него в мыслях.

— Ваше высокопревосходительство, — нервно откашлявшись, сказал он, и старческие глаза его оживились. — Прошу повергнуть к священным стопам ее величества изъявление моих верноподданнических чувств и заверить государыню в моей ревностной в столь тяжелое время для нашего отечества службе.

Бибиков насупился, молчал. Он заметил, как рука Брандта, оправлявшая орденский бант на груди, дрожит мелкой дрожью.

— Ну, а каков же у вас план, Яков Илларионыч, для истребления злодея?

Тогда, собрав последние силы, Брандт стал излагать Бибикову свои соображения. Слушая его сбивчивую речь, Бибиков то удивленно вскидывал брови, то пожимал плечами. Неужели этот немец выжил из ума, он вовсе не мыслит широким планом, как подобает государственному мужу? Сдается, Пугачев для него то же самое, что для ребенка бука, не больше!

— Не кажется ли вам, — едва сдерживая чувство горечи, начал главнокомандующий, — что ваш план для уловления плута Пугачева недостаточно основателен и, я бы сказал... я бы сказал... просто наивен! Вы советуете защищать границы Казанской губернии, дабы не допустить за оные толпы мятежников. Не так ли? Но разве Оренбургская и прочие губернии за пределами нашей империи? Пугачева надлежит истреблять всюду, где бы он ни был обнаружен. Ежели б он и под водою скрылся, то и там его должно атаковать... — Подметив, как лицо Брандта покрывается мертвенной бледностью, Бибиков оборвал речь, испуганно звякнул в звонок и поспешил старику на помощь.

Хотя сегодня большой гражданский праздник — Новый год, но у Бибикова полна охапка всяких дел. Он направился в дом предводителя дворянства Макарова, где ожидали его казанские дворяне.

В приподнято патриотической речи Бибиков изложил дворянам свой взгляд на происходящие в крае события и напомнил, что первый долг дворянина жертвовать не только всем своим имением, но и жизнью для спасения отечества.

— Я говорю с вами, как дворянин с дворянами. Наши интересы суть едины. Я призываю вас оказать мне немедленную помощь к прекращению до крайности возросшего зла.

Ответив Бибикову не менее парадной патриотической речью, припугнутые дворяне тут же постановили составить из собственных крепостных и своим иждивением вооружить конный корпус, собрав для этой цели по одному человеку с каждых двухсот душ. Командование корпусом было поручено родственнику Бибикова, отставному генерал-майору Ларионову.

На другой же день казанский магистрат, ведающий купечеством, постановил, по примеру дворянства, сформировать конный эскадрон гусар на своем иждивении и содержании.

В поощрение дворянству Екатерина приняла на себя звание «казанской помещицы». Браво, браво! Императрица умеет играть на душевных струнах своих подданных. Получив известие от Бибикова, она весьма довольна была поведением казанского дворянства: «Сей образ мыслей прямо есть благороден». И 20 января 1774 года дала указ дворцовой канцелярии: собрать с государственных крестьян Казанской губернии по одному человеку с двухсот душ и «снабдить каждого всем к службе потребным: мундиром, амуницией и лошадью с прибором».

Гонец из столицы скакал быстро. Уже через неделю Бибиков получил от Екатерины рескрипт и личное письмо. А три дня спустя, то есть 30 января, он собрал дворян, живших в Казани и окрестностях, для объявления им высочайших словоизлияний.

Дворяне, заранее ознакомленные с содержанием рескрипта, в эти три дня успели к торжественному собранию подготовиться. Предводитель дворянства Макаров позвал к себе в гости возвратившегося из Самары Державина и попросил его составить ответ-

ную от имени дворянства речь, к императрице обращенную.

— Я осведомлен, молодой человек, от вашей достопочтенной родительницы, — сказал он, — что вы искусны в пиитических опусах, а также с отменным изяществом излагаете свои мысли на бумаге.

Державин, отдавая поклоны, сначала отказывался, краснел, наконец согласился. Удалясь в кабинет хозяина, куда были поданы ему для вдохновения графин смородинной наливки и закуска, он довольно быстро набросал нужную речь и затем, сияющий, вдохновенный, приподняв плюшевую портьеру, вернулся в зал.

— Готово, ваше превосходительство! — воскликнул он, прищелкнув по бумаге перстнем. — Разрешите огласить?

— Стойте, стойте... — вымолвил задремавший в кресле хозяин. — Сейчас, душенька, своих скличу, — и приказал позвать жену и четверых ребятишек.

Явившиеся уселись на широкий, в парчовой обивке, диван. Маленькая Верочка, в бантах, удивленно открыв малиновый ротик, уставилась темными детскими глазками на великана. А тот, оправляя офицерский кушак с шелковыми кистями, нетерпеливо поглядывал на предводителя. В полукруглые, выходящие на запад окна падал солнечный холодный свет. Всюду блеск позолоты и хрусталя. В простенке — большой, писанный масляными красками, портрет императрицы во весь рост, а в противоположном простенке, от потолка до пола, богатое трюмо. Екатерина, в накинутой на плечи порфире, гляделась в зеркало и приятно самой себе улыбалась.

— В сей зале послезавтра, — сказал предводитель, сделав плавный жест пухлой барственной рукой, — генерал-аншеф Бибиков будет принимать доверившееся моему попечению дворянство. — Лицо предводителя крупное, овальной формы, одутловатое, нос широкий, приплюснутый. — Итак, приступим, — сказал он.

Державин выставил вперед левую ногу, правую руку закинул за спину и откашлялся. И все, пригото-

вившись слушать, тоже легонько откашлялись. Откашлялась, подражая взрослым, и маленькая Верочка. Державин повел взором по портрету государыни, по лицам хозяев дома и стал с выражением читать мужественным басом, напрягая голос, все громче и громче.

Когда он закончил чтение речи, хозяин восторженно закричал:

— Браво! Великолепие! — Он подшаркал по скользкому паркету к Державину, обнял его и трижды чмокнул в мясистые, чисто выбритые щеки. — Ах, какой слог, какая сила и... какой благородный пафос! Златоуст! Демосфен!

Варсонофий Перешиби-Нос, беглый екатерининский солдат, заохотился самолично взглянуть на славного мужицкого царя. Он еще по осени слышал царицыны манифесты, где говорилось, что бунт на Яике поднял какой-то беглый казак Емелька Пугачев. Да уже не тот ли это казак Емелька, который шесть лет тому назад распоряжался совместно с ним, с Варсонофием, на войнишке в селе Большие Травы? Чем черт не шутит, пожалуй, он самый и есть! Еще ведь о ту пору казачишко поваден был озорству и дерзости.

Варсонофий подъехал к Берде поздним вечером. Сидевшие в овраге караульные мужики остановили его и, узнав, кто он, дали ему приют в землянке. За ужином, у пылавших костров, Варсонофий расспрашивал крестьян о государе: каков он из себя. Ему отвечали: «Батюшка черноволосый, крепкий, кость широкая, взгляд орлиный, а когда идет пеш — народ едва успевает за ним вприпрыжку». — «Ну, стало, он и есть», — решил Варсонофий.

Случайно повстречал он Пугачева, с глазу на глаз, лишь на третий день. Емельян Иваныч вышел разгуляться. Был погожий вечер. Варсонофий сразу признал Пугачева и даже улыбнулся ему по-приятельски, но вслед за тем повалился в ноги.

— Здрав будь, Емельян Иваныч!

Пугачев с суровостью взглянул на него, негромко, но резко спросил:

— Кто таков?

— Перешиби-Нос я... Не признал?

— Стой, стой!.. Варсонофий, что ли?

— Я и есть.

— Встань. Откудова прибыл?

— Из отряда Арапова.

— Где же ты шесть, почитай, годков скрывался?

— На Иргизе, у скитских старцев время проводил, батюшка.

— Так... Добро! Прибудешь ко мне об эту пору завтра, потемну. Да чтоб на левом рукаве у тебя холстинка была. С повязкой белой пропустят. И чтоб язык твой касаемо прошлого онемел вовсе... Я царь твой. Понял? Прощай! — И, сдвинув брови, Пугачев ходко зашагал прочь.

...Беседа Пугачева с Перешиби-Носом состоялась тайно, в комнате-боковушке, где когда-то принимал царь Дашеньку с Устиньей Кузнецовой.

Густые рыжеватые усы Варсонофия свисали на грудь. В широко открытых глазах его — полная покорность и пристальное, как у солдата в строю, внимание.

Они говорили, выпивали. Дверь плотно закрыта, горит на столе сальная свеча.

— За усердную службу твою, Варсонофий, спасибо тебе. Мне про тебя Илья Арапов докладал, атаман. Жалую тебя, Варсонофий, полковником своим...

— Благодарствую, батюшка, Емельян Иваныч, — ответил Перешиби-Нос и, распрямив насупленные брови, встал и поклонился Пугачеву.

— При народе меня царем зови, слышь? Царь и царь...

— Понимаем, все понимаем, батюшка.

— То-то! Будь верен мне и дела нашего по глупости своей, смотри, не сгуби... Помнишь, как мы с тобой в Больших Травах бучу подняли?

— До смертного часа не забуду, ерш те в бок!.. — оживился солдат.

— М-да... О ту пору у нас только травы были, а теперь, выходит, — вековые древеса. Давай-ка, братец, вместях столбы рубить, заборы-то сами повалятся. Ась?

— Истина твоя, ваше величество, повалятся. Ежели столбы срубить — заборы рухнут! — Варсонофий покрутил усы, осторожно тронул Пугачева за коленку. — Всю жизнь у меня, у старого солдата, в мыслях было: чем бы и как нашу мужичью судьбишку прикрасить... А вот теперича...

— В судьбу свою зашли мы, как в темный лес, — перебив его, раздумчиво откликнулся Пугачев. — И конца краю тому лесу не видно... — Он вздохнул, однако глаза его поблескивали упрямым непокорством. Пристукнув о стол кулаком, он, не таясь, повысил голос: — Эх, либо в стремя ногой, либо в пень головой! Так, что ли?

— Так, так, ваше величество, Емельян Иваныч!

Наступило молчание. Над Бердой с гулом проносилась вьюга. Поскрипывали оконные ставни. Изразцовая печь прогорала: по алой россыпи углей, подернутых седоватым пеплом, струились синие огоньки. Хозяин подбросил дров, прошелся взад-вперед и, как бы прислушиваясь к словам своим, тихо молвил:

— Опаска берет меня, Варсонофий, сумнительство. Дела-то нам, мотри, пожалуй, не кончить. Силенок маловато при нас.

Жадно уплетая осетрину, Варсонофий сказал:

— Что там! Силенки, батюшка, добавятся. Вот ужо крестьянство понатужится, да к тебе и повалит. В больших тысячах будешь, отец родной!

— Крестьянство и так валит. Только велик ли прок в том? Мы на Катьку-царицу с клюшками, а она на нас — с пушками. Вот, слышно, самого Бибикова, генерала, выслала по наши души.

Голос Пугачева дрогнул, брови дугами высоко вскинулись, а концы губ приопустились. Он знал, что Санкт-Петербург зашевелился, собирает против него

силы, и не наследник-цесаревич полки в его защиту ведет, а сам генерал-аншеф Бибиков ополчился на него... Слух был — уже в Казани он, Бибиков. Помнит его Емельян Иваныч еще по Пруссии: вояка что надо!

— Вот какие дела-то, Варсонофий! — проговорил он глухо, остановился подле солдата и, заложив назад руки, ищуще заглянул ему в суровое, мужественное лицо.

В последнее время частенько вступал Емельян Иваныч в беседу с теми из своих близких, кого считал не только надежным, а наособицу и крепким душою. Он как бы искал помощи и опоры, предвидя близкие нелегкие дни в неравной тяжбе своей с дворянами и с первою среди них дворянкою — царицей.

Перешиби-Нос толкнул в сторону блюдо с жирною осетриной, сытно рыгнул и, подумав, сказал:

— Известно, с сильным не борись, ерш те в бок, с богатым не судись!.. А только одно держу я в мыслях, Емельян Иваныч: не мы, так другой кто, а кому-то зачинать надобно было. Вот ты о генералах... Генералов-то царских десятками считают, а крестьянства-то на Руси великие миллионы... Всех, значит, не перемнешь. Нас, горемык, потопчут — другие которые встанут... Главное — начать! Не век же, ерш те в бок, мужику под барами маяться!..

— Правильно судишь, Варсонофий, — одобрил Емельян Иваныч. — Всему голова — начало... А ежели начало положил, так уж... того... не пятиться! Накинем, что ли? — И Пугачев потянулся к чарке. — Поболе бы мне таких, как ты, Варсонофий. Да вот еще тяглых людишек с заводов. Да, прямо скажу — отменный народ! Намедни с Воскресенского завода выборные были... Ну, любо послушать. «Мы, говорят, твоему величеству — ядра да пушки, а ты нам — солдат своих на защиту. А солдат, говорят, у тебя вдосталь, только, слышно, распорядку мало!» Я, конешно, вскипел. «Не вам, говорю, в распорядок мой царский носы совать!..» И прочее такое. А один тряхнул башкой и говорит: «Ваша, говорит, воля, а без

распорядку и лопаты не выкуешь». Дале — боле, шумели мы изрядно, ну и все же в полном расстались согласии, при общем антиресе.

Они проговорили до рассвета, а чуть стало светать, Перешиби-Нос пошел на кухню отсыпаться.

5

Тот же, у предводителя, зал. Дворянство в сборе. За Бибиковым поехали два депутата. Он в военном мундире с андреевской через плечо лентой, в ботфортах. Глаза, как всегда, живые и быстрые, но лицо утомленное, бледное, с желтоватым оттенком.

Выезд был пышный. За ковровыми санями главнокомандующего скакали на холеных конях уланы в щегольских мундирах. Народ махал шапками, кланялся, выкрикивал приветствия. За месячное пребывание Бибикова в Казани жители успели оценить его, они опознали в нем начальника твердого, справедливого. Да, Бибиков по душе пришелся казанцам. Многие чиновники, казнокрады и взяточники, «слетели» со своих мест, едва их коснулась рука главнокомандующего. Туда им и дорога! Это тебе не Кар и не Брандт, не «фон-барон» какой-нибудь, а наиприродный русак — Александр Ильич Бибиков. И всяк знал, что есть он прославленный герой-вояка... Ура Бибикову, ура, ура!..

В вестибюле главнокомандующий, как полагается, был встречен одним из помещиков. А на верхней площадке парадной лестницы, обставленной аляповатыми гипсовыми статуями, представлявшими копии античных образцов, Бибикова приветствовал сам хозяин, предводитель дворянства Макаров. Он в старинном пышном парике, в кафтане табачного цвета с серебряным шитьем, потемневшим от времени. В зале, возле портрета Екатерины, стояли полукругом, в напряженных позах, дворяне — разных возрастов и разных комплекций: высокие и приземистые, тощие и толстые, плюгавые и большебрюхие. Все взирали на подходившего к ним Бибикова с подобо-

страстием, рабской преданностью: «Грядет избавитель!»

Бибиков пожал всем руки, затем отступил на несколько шагов и начал:

— Господа дворяне!..

Но в этот миг приоткрылась дверь в соседнюю комнату, и вихрем ворвалась похожая на куколку предводительская Верочка в коротеньком платьице и панталончиках. Бибиков, улыбнувшись одними глазами, видел, как от дверей бросились в сторону одетая в воздушное платье хозяйка и трое детей, а гувернантка уже бежала за Верочкой, которая, по-детски хохоча и повизгивая на бегу, лепетала:

— Ах, глупости, глупости. Я здесь хочу. Я буду дядю глядеть... — Взахлеб тараторя, она ничего пред собой не видела, мчалась прочь от гувернантки, с разбегу налетела на блестящие ботфорты Бибикова, шлепнулась задом на пол и, ударившись затылком о ковер, потешно закорючила свои крохотные, в панталончиках, ножки. Но не заплакала.

Гувернантка и наиболее прыткие из дворян кинулись к ней на помощь. Пользуясь сумятицей, пожилой ловелас Ушаков, вместо маленькой Верочки, ухватил под мышки пышногрудую Амалию Карловну... Та кокетливо взвизгнула, вильнула локтями... И — все пришло в достодолжный порядок.

Бибиков поцеловал Верочку в щечку.

— Ах, какой чудесный ребенок! — усадил ее в кресло, сказал: — Ну, сиди и слушай, что будут говорить старшие.

Отец, улыбаясь в душе, сурово грозил присмиревшей Верочке глазами и пальцем. Амалия Карловна стояла за креслом Верочки, пунцовая, словно пион, и строгим взором косилась в сторону толстобрюхого Ушакова.

— Господа дворяне! — вновь воззвал Бибиков.

Верочка, с детским любопытством разинув маленький ротик, воззрилась на красивого дядю и перестала мигать. Ей неинтересны, да и непонятны были слова, — она только слушала чужой голос, как слушают музыку. У дяди волосы темноватые, зачесаны

назад («парика потому что нет»), а на маковке лысинка. Вот дядя выкинул руку вперед и маленько поклонился царице и что-то громко сказал, а потом руку опустил: «уморился потому что...»

Бибиков кончил читать рескрипт государыни. Дворяне закричали:

— Да здравствует великая наша самодержица! Да царствует над нами щедрая мать наша! Рады жертвовать всем достоянием своим и кровь свою готовы пролить за великую мать отечества. Ура, ура!..

Верочке очень понравилось, как на разные голоса вопили эти... самые... Особенно старался дядя Кузя. У него ножки коротенькие, только чересчур уж толстые, и живот толстый очень, будто большой глобус, «а во рту ни одного, почитай, зуба», кричит и приседает, кричит и приседает — совсем дергунчик... Верочка сначала улыбнулась, потом захохотала и, испугавшись, тотчас прикрыла обеими руками свой непокорный ротик.

Далее — слово предводителя дворянства, затем слово командира дворянского ополчения генерала Ларионова, готового «остаток дней своих посвятить на службу дворянства, благодарно воспаленного ревностью и примером». Старичок прослезился, нижняя губа его отвисла, он стал искать по карманам платок, не нашел, лицо его омрачилось.

Затем Бибиков огласил собственноручное письмо Екатерины, в коем она принимала на себя звание «казанской помещицы». Снова прозвучало восторженное «ура».

Предводитель дворянства поблагодарил главнокомандующего за объявление столь высокой и приятной вести и попросил дозволения высказать дворянам свои чувства пред самодержицей. Бибиков кивнул головой:

— Прошу!

Речь должен был прочесть казанский помещик Бестужев, но он простудился, охрип и вместо него пришлось потрудиться самому Макарову. По его округлому жесту все повернулись лицом к портрету

царицы, как в храме к престолу всевышнего. Некоторые молитвенно подняли брови, закатили глаза, иные с благоговением сложили на груди руки, будто пред причастием. Екатерина взирала на всех них с усмешечкой, не то одобряя, не то издеваясь над ними.

Предводитель дворянства извлек из-за обшлага голубоватый листок с сочиненной офицером Державиным речью.

Чрез двойные рамы донесся первый удар большого соборного колокола: призыв к богослужению. Предводитель надел очки, отчего одутловатое лицо его приобрело особую солидность и важность. Громким, слегка гнусавым голосом он стал говорить, как хороший актер, то приподымаясь на цыпочках и ударяя себя в грудь ладонью, то простирая руки к монархине.

— «...с исполнением долга нашего — хотя мы не заслуживаем особливого вашего императорского величества высокого нам признания; хотя мы недостойны любезного дражайшего нам товарищества твоего, однако высочайшую волю твою разверстым принимаем сердцем и за наивеличайшее ее почитаем благополучие. Начертываем неоцененные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу. — Предводитель надулся и, взбросив к портрету обе ладони, прокричал: — Признаем тебя своею помещицею! Принимаем тебя в свое товарищество! Когда угодно тебе, равняем тебя с собою! — От азарта, от напора чувств он весь вспотел и налился опасным румянцем. — Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше тебе будут, помогай нам и заступай нас у тебя! Мы более на тебя, нежели на себя, надеемся!» — вновь надулся и выкрикнул он, потрясая всем корпусом, головой и руками.

Прислушиваясь к чрезмерному крику хозяина, Бибиков насмешливо поднял брови и покосился на Верочку. Но Верочки не было. Верочка убежала к матери и там звонко выкрикивала:

— Ой, ой, мамочка! Папка царицу ругает...

Все направились в собор. Впереди стоял Бибиков с прибывшим к началу богослужения Брандтом, за ними дворянство с именитым купечеством. Потом Вениамин служил благодарственный молебен.

Бибиков снова весь погрузился в работу. Были получены сведения, что дворяне симбирские, свияжские и пензенские, по примеру казанских, приступили в свой черед к формированию ополченских корпусов. Екатерина 22 февраля издала особый манифест с восхвалением дворянства, а также и купечества.

Бибиков не обольщал себя надеждою на то, что ополченские отряды могут принести в усмирении мятежа основательную помощь, он смотрел на ополчение лишь как на средство поднять поникший дух населения. Он просил императрицу прислать в его распоряжение несколько полков пехоты, в особенности кавалерии. «Обнаженный от воинских команд здешний край, — доносил он, — не в силах удерживать стремление многолюдной сей и на таком великом пространстве рассыпавшейся саранчи».

ГЛАВА III

Яицкий городок. Подкоп. Иван Белобородов

1

И снова — Яицкий городок, былой оплот, столица яицкого казачества. Казаки-пугачевцы давненько не видали его: ушли, когда еще златолистая осень была, а теперь зябкая зима лежит, сугробы, стужа.

Вот он, родимый, красуется — весь тут, в кучке! Те же каменные церквуши, те же узкие, кривые, утонувшие в сугробах улички, обстроенные рублеными избами, украинскими белыми мазанками, есть и кирпичные домишки.

А на взлобке — крепость, кремль. Комендант полковник Симонов немало потрудился над приведением крепости в боевую готовность, он словно знал, что пугачевская вольница обязательно нагрянет и сюда. Да так оно и вышло!

Атаманы за последнее время снова и все упорнее стали напирать на Пугачева:

— Пора, батюшка, надежа-государь, Яицкий-то городок брать. Там всего много, там и зимовать станем. А Оренбург-то обождет, он весь у нас в горсть зажат.

Не желая снимать осады с Оренбурга, Пугачев был согласен послать под Яицкий городок особый отряд под началом дельного казака Михайлы Толкачева. Но башкирские полковники, муллы, князья, не разобрав, в чем дело, решили крупно поговорить с Пугачевым.

В теплых вывороченных вверх шерстью шубах, в меховых малахаях они ввалились в царский дом и, подогнув ноги, бесцеремонно расселись на полу. Взволнованный Пугачев стоял, прислонясь спиной к горячей печке. Толмачом был широкоплечий крепыш Идорка. Башкирская знать — муллы, князья, полковники, перебивая друг друга, говорили:

— В Яицкий городок мы тебя не пустим. Ты уверил нас, что есть ты государь Петр Федорыч, и обещал Оренбург брать. А взяв Оренбург, сделать так, чтоб губернии не быть и чтоб мы, башкирцы, оной не были подвластны. А замест того ты, бачка-государь, задумал оставить нас на пагубу, которую претерпевали отцы наши, смертью казненные. И вот наш сказ тебе! — выкрикнул башкирский старшина Кидряс: — Покуда ты не выполнишь своего обещания, мы тебя никуда не выпустим!

— Как же умыслили вы, неразумные, удерживать меня, повелителя вашего? — Пугачев прошелся по горенке, почесал за ухом, задвигал бровями: дело осложнялось. — Чтобы удержать меня, нет такой силы. Я стрела, пущенная из лука, — сказал он миролюбиво, но в сердце его закипала кровь.

— Стрелу, пущенную из лука, можно перенять на лету стрелой встречной, — строптиво возразил

Кидряс и запыхтел с таким напором, что обвисшие концы скатерти (он сидел на полу возле стола) заколыхались и вокруг запахло едко кумысом.

— Для учинения нового к Оренбургу приступа я повел высокие строить лестницы, — сказал Пугачев.

— Знаем.

— Ко мне на помощь идет мой сын, цесаревич Павел Петрович, с тремя генералами. Они ведут много войска.

— Этого не можем знать.

— Так знайте! — не сдерживаясь уже, крикнул Пугачев. По его пальцам пробежала судорога; пальцы сжимались в кулаки и разжимались. — Давилин! Живо сюда портного, чтобы тащил чекмень его высочества.

Еще не дошитый вполне чекмень из тонкого алого сукна с золотыми галунами Пугачев швырнул на головы ближних башкирцев и сказал:

— Вот казацкая сряда сыну моему, его высочеству. Как прибудет сюда, в казаки поверстаю его.

Чекмень переходил из рук в руки, башкирцы оживились, щупали сукно, прищелкивали языками: «Якши, якши... Бульно караша...» Затем снова нахохлились, посматривая на Пугачева хмуро. Седобородый, с живыми черными глазками мулла, капризно оттопырив губы, сказал:

— Ежели ты в Яицкий городок откочуешь, мы от тебя со всем народом нашим тоже утечем!

— Народ не послушает вас.

— А вот посмотрим!

— Они присягу принимали мне.

— Я твой присяга сниму с них, — раздувая седые усы, сказал мулла. — У нас свой присяга.

— Присяга разная, а бог один... Я им волю дарую, своим царством Башкирия станет жить.

— Знаем! Сначала Оренбург бери.

Пугачев, стиснув уста, задышал шумно чрез ноздри, хотел крикнуть мулле «собака», но сдержался. Сказал:

— Ступай мирно по домам. Ответ дам завтра.

— В какую пору? — спросил старшина Кидряс.

— В полдень.

Семеро башкирцев — муллы, полковники, князья — поднялись с полу и, не попрощавшись с Пугачевым, шумной гурьбой вышли. По знаку Пугачева вышел и толмач.

Вся накопившаяся ярость в Пугачеве рвалась наружу. Он залпом опрокинул в горло большой стакан вина, выгнал вон поднявшуюся наверх с веником Нениду, топнул, крикнул:

— Палача сюда!

Прибывшему Ваньке Бурнову сказал:

— Завтра к полудню чтоб были готовы на виселице семь ожерельев из веревок... Чуешь?

— Чую, царь отец. Кого ловить прикажешь?

— Сами придут.

Миновал день, миновала ночь.

Поутру явился к Пугачеву Максим Шигаев, покрестился на икону, отдал поклон и, помахивая перстами по раздвоенной бороде, с волнением, но тихим таящимся голосом заговорил:

— Что ты удумал, батюшка Петр Федорыч?.. Да нешто возможно башкирских начальников принародно вешать? Тут такая растатурица пойдет с башкирским людом, что не обери...

— Они казни повинны, супротивники мои... Смерть им! — закричал Пугачев. — Не встревай в мое дело, Максим Григорьич!

— Дело, батюшка Петр Федорыч, не твое и не мое. Дело наше мирское.

— Знаю.

— Так на том и порешим, ваше величество. Дело делай, а умей и головы свои жалеть.

— Жалей свою...

— Твоя голова, Петр Федорыч, дороже моей. Твою и жалею! Да ежели бы ты, боже спаси, повесил их, вся башкирь ушла бы, а за ними и калмыки, и киргизы, и, чего доброго, татары.

— Так как же мне их, изменников, в оглобли-то ввести?

— А никак, ваше величество. Тех семерых, предателей народных, уже нету больше.

— Как так нету? — вскинул крутые брови Пугачев.

— Да так вот и нету! — развел руками Шигаев и, ухмыльнувшись в бороду, закашлялся.

Пугачев вдруг как бы поглупел, он полуоткрыл рот, вопросительно уставился Шигаеву в лицо:

— Уж полно, не повесил ли ты их? Ась?

Шигаев стал рассказывать. Он вчерась видел вышедших от Пугачева башкирских «коноводов», они ругали «батюшку». Затем встретил Ваньку Бурнова, поговорил с ним и, сразу все смекнув, велел ему ставить виселицу среди башкирского стойбища, а Почиталина послал обойти тех семерых смутьянов и сказать им, чтоб они до завтрашних полден никуда из Берды не отлучались. «Для кого виселица ставится?» — спросили они. «Не знаю», — ответил Почиталин.

— Вот и все, батюшка Петр Федорыч. Вот и все. А в ночь, оседлав коней, все семеро тайно бежали. Да ведь они из богатеев богатеи, с ними пива не сваришь, батюшка! — Им — что ты, что — Катерина царствующая... Лишь бы их не шевелили!

Пугачев ударил себя по лбу и захохотал.

— Значит, убегли? Туда им и дорога! Море по рыбе не тужит.

Шигаев повернулся к двери. Пугачев остановил его.

— Слышь-ка, Максим Григорьевич! Надо бы башкирцам-то дополнительно в котлы отпустить, да вот праздник у них какой-то на очереди, «ураза», что ли, по-ихнему. Тре́ба им к празднику-то вина откатить бочонок да браги трохи-трохи.

— Больно щедр ты, Петр Федорыч, — насупился Шигаев. — У нас эвона сколько вер всяких. На каждого бога и вина не напасешь.

— А я тебе говорю — выкатить бочонок. Самолично буду на ихнем празднике.

— Под аллаха никнешь?

— Ну и что?.. С православием — я поп, с расколом — раскольник. А понадобится — и аллаху поклонюсь, голова не отвалится. Чуешь?

— Чую, чую... раз приказываешь, — сказал Шигаев и поспешил к выходу.

Между тем полковник Симонов как следует приготовился встретить непрошеных гостей. Жену с горемычной Дашенькой он отправил подальше от опасности — в Казань, а сам с воинскими частями принялся за работу. По осени земля была еще талая, и он успел возвести непрерывную линию укреплений. Вновь сооруженный высокий вал с кружевом крепкого частокола из заостренных бревен обоими концами упирался в Старицу[1] и опоясывал часть города с главными зданиями. Церковь и колокольня составляли одну линию с валом, вплотную примыкавшим к их каменным стенам. За вал проникнуть было невозможно: в крепость, кремль тож, вели лишь два входа, запиравшиеся бревенчатыми, окованными железом воротами. На высокой колокольне были устроены под колоколами два помоста с восьмью окнами — во все стороны. На помостах поставлены две пушки при искусных пушкарях. Пушки могли нанести большой вред врагу: при широком обстреле ядра их били вглубь на целую версту. Внутри крепости хранились провиант, боевые припасы, дрова и устроены для нижних чинов теплые землянки.

По приказу Емельяна Иваныча казак Михайло Толкачев уже выступил в поход. В попутных форпостах и мелких крепостях он присоединил к себе казаков и солдат. Жестокий и своевольный, Толкачев всех сопротивлявшихся казнил.

Узнав о приближении к городку толпы пугачевцев, полковник Симонов велел бить в набатный колокол. Стоя с офицерами на валу, возле соборной колокольни, он призывал сбежавшихся казаков войти в крепость, чтобы стать на ее защиту. Вскоре за крепостные стены перебралось около семидесяти казаков — «покорных» и «непокорных»[2]. Много «покорных» осталось при своих домах. Они между собой говорили:

---

[1] Старица — старое русло реки Яика.

[2] Казаки разделяли себя на «покорных», или «старшинской руки» (состоятельные), и на «непокорных», или «войсковой руки» (беднота).

— Мишка Толкачев — зверь! Ежели уйти нам в крепость, выбьет он все наши семьи, а имущество пограбит.

В ночь на 30 декабря Симонов выслал встречу пугачевцам восемьдесят оренбургских казаков под началом старшины Мостовщикова. В семи верстах от городка отряд был окружен мятежниками, казаки передались на их сторону, Мостовщиков брошен в воду.

Утром Толкачев с распущенным знаменем, под звуки рожков и дудок, беспрепятственно вступил в городок. Собравшемуся народу он объявил поклон от царя-батюшки. Не теряя времени, вместе с присоединившимися к нему городскими казаками он двинулся затем к ретраншементу и открыл огонь по крепости. Пугачевцы стреляли с чердаков, из высоких изб или надворных построек, почти вплотную примыкавших к крепостному валу. В своих укрытиях пугачевцы были для ружейных выстрелов неуязвимы.

Симонов решил все ближайшие к крепости строения сжечь и приказал бить по ним раскаленными докрасна ядрами.

Вскоре строения запылали. Ветру не было, и потому пожар далеко не углублялся. Однако мятежники разбежались кто куда. Вдогонку им летели пули с крепостного вала.

Тимоха Мясников прямо с боя, как только пали сумерки, прискакал на коне домой. Рослая бранчливая жена встретила хозяина по-строгому:

— Ах ты бунтовщик проклятый! Дождешься, краснорожая твоя душа... Качаться тебе в петле!

Но все же сменила гнев на милость, повисла у мужа на шее и даже всплакнула. Тимоха пыхтел, приятно отдувался. Он достал из торбы два господских платья, черную шелковую шаль, большую темную, из куницы, муфту, еще золотое колечко. Жена приняла дары, сказав:

— Дождешься, дождешься, краснорожий! — Однако голос ее на этот раз звучал милостиво.

Жаркая банька, распаренный для здоровья веник можжевеловый, ужин с крепким пивом, ласковые раз-

говоры под пологом в кровати до третьих петухов, освежающий, какого давно не бывало, сон. Вот добро, вот славно!.. Век бы так... Отдыхать, растянувшись на перине, а на левой руке — любимая женушка. Да не тут-то было: опять завтра крепость доведется беспокоить. Того и гляди, пулю в лоб получишь. А во всем проклятый Ванька Чика повинен, это он еще по осени соблазнил Тимоху: поедем да поедем царя смотреть. Вот и досмотрелись! Ну да теперь уж поздно об этом вспоминать. Эх, славно было бы потихоньку да как-нибудь в кусты! Вот ужо государыня войско нашлет да великих генералов, живо нашего батюшку-то сцапают, а нас, дураков, на вечные времена к медведям в гости... Эх, эх!

Так думал не один Тимоха Мясников, так думали многие другие казаки-пугачевцы, с трудом и волненьем засыпая возле баб на теплых перинах.

Да, хороша, приятна человеческому сердцу своя многомилая домашность, свои родные дети, да мать с отцом, да хлебушек свой, да дух в избе, сыздетства знакомый, сверчок в запечье и прочее. Но... отчего же так бывает: вдруг на простор, на кровавую потеху потянет разгульную головушку? Гуляй, казак, дыши вольным ветром, носись с пикой, с саблей возле самой смерти!.. Удаль ли гонит казака на поле битвы, или честь велит?

2

В продолжение трех дней капитан Крылов делал вылазки из крепости, пугачевцы с боем отходили. Пожар еще не кончился. Над взбудораженным городком сизыми облаками плыл дымище, пощелкивали выстрелы, бухали изредка пушки. Выгорела пред крепостью большая, сажен до сотни, площадь. С вала, от соборной колокольни видны устья нешироких улиц, идущих к окраинам. Пугачевцы и все население по ночам устраивали поперек улиц высокие и крепкие завалы из бревен, дров да камня. Симонов принялся громить эти заграждения из орудий. Толкачев струсил,

послал к Пугачеву пожилого казака Изюмова за помощью. Он писал: «Оборони, ваше величество, нас от Симонова, а мы тебе все покорны».

Пугачев тотчас выслал на подмогу атамана Овчинникова с полсотней казаков, тремя пушками и единорогом.

Шестого января, в день крещенья, перестрелки не было, а на другой день к городку подъезжал сам Пугачев со свитой и при конвое в пятнадцать человек. В свите — Иван Почиталин, Афанасий Перфильев, в конвое — Варсонофий Перешиби-Нос.

Овчинников с Толкачевым, в сопровождении полсотни казаков, выехали царю навстречу. На окраину городка, куда не могли достать симоновские пушки, сбежались горожане — поглазеть на давно поджидаемого батюшку.

Духовенство в парчовых ризах стояло с хоругвями впереди народа.

Затрезвонили колокола. Казаки сняли шапки, женщины оправили шали и пуховые платки. Сановито подъехал Пугачев. Окинув по-орлиному все сборище, он громко крикнул с коня:

— Здорово, детушки!

Вся толпа, закричав приветствие, посунулась к царскому коню. Еще не проспавшийся со вчерашней праздничной гульбы, старик Денис Пьянов стоял, покачиваясь, впереди всех. Пугачев сразу увидал его, сказал:

— А вот, кажись, и знакомый... Здорово, дедушка Денис! Узнаешь ли меня?

— Как не узнать... — встряхнув локтями, ответил Пьянов и заулыбался. — Узнал, узнал... Ведь дело-то недавно было. У меня на печке-то бок о бок лежали мы с тобой.

— Я тогда Емельян Иванов был, купцом называл себя. А таперь я царь твой и всея России, Петр Федорович Третий, император. Я хлеб-соль твою помню, дедушка Денис. Служи мне...

— Ур-ра, батюшка! Ура, ядрена каша! — Старик Пьянов восторженно замахал руками, подбросил шапку, споткнулся и упал.

Пугачев приложился ко кресту и сел в приготовленное тут же, на улице, кресло. Началась обычная церемония целования руки.

Две молоденьких девушки, Марфочка и Варя, стояли в обнимку, переводили восхищенные взоры с чернобородого царя-батюшки на красавца Ваню Почиталина да на лихого усача Варсонофия Перешиби-Нос.

Девчонки Емельяну Иванычу понравились. Приметив, как они «пялятся» на Почиталина, Пугачев, сидя в кресле, покосился на своего любимца и подморгнул ему. Ваня Почиталин тотчас сбил шапку на ухо и кивнул головой знакомым девушкам.

Устинья Кузнецова тоже пришла с народом, уж она-то этакую оказию ни за что не прозевает. Статная, нарядная, в синем душегрее, отороченном белым мехом, в козловых татарских сапогах, она стояла на отшибе, возле чьей-то высокой избы с резными ставнями. «И не подумаю в ручку его чмокать, — шептала она, вприщур оглядывая батюшку. — Только архереям да попам целуют. А мне, да-кось, наплевать, что он царь». Но сердце девушки сладко замирало: батюшка пригож, батюшка в обхожденье с простым людом милостив и деньгами когда-то швырял в нее, пряничками угощал. Только удивляться надо, чем же он прогневил супружницу свою, всемилостивую государыню Катерину Алексеевну? С характером, должно, матушка, крутая, самонравная... Может, когда он пьяненький, за косы ее оттаскал, она и возгневалась... Поди и у них драчки-то случаются. Эх, эх... Проворонил царство-государство, вот и бьется нынче, как рыба об лед.

И видит Устинья Кузнецова: батюшка навстречь ей брови соколиные взметнул, воззрился на нее, черный ус свой крутит, крутит... А на перстах-то драгоценные каменья. И надо бы красной девке улыбнуться, надо бы низехонько поклон батюшке отдать, но, замест того, она резко повернулась, показала батюшке спину, прочь пошла. Озорливый бес, что ли, боднул ее козлиным своим рогом под ребро? Разгоревшимися

глазами провожал Пугачев красавицу. «Хороша девка, да норовиста», — подумал он, вздохнув.

С освещенного зимним солнышком пригорка перебросился он мыслью в туманные дали своего родного дома. «Софьюшка, детушки, матушка родимая... Каковы-то они там?» Щемящее чувство тоски закачало его сердце. Но вот опять валяется в снегу этот надоедливый Денис Пьянов. Который уж раз тянулся он облобызать батюшкину руку, но его снова и снова отталкивали прочь.

— Не трог меня, ядрена каша! — шумел он, отбиваясь руками и ногами. — Он царь, ядрена каша, а мы с ним... на печи вместях... Рыбу скупал он у нас...

— Ваше величество! — вытянулся перед государем Михайло Толкачев. — Не погнушайтесь, батюшка, дозвольте вам в мой домок пойтить. Не побрезговайте рабами своими...

Симонов с Крыловым наблюдали сборище в подзорную трубу с соборной колокольни.

— И попы там, — сказал Симонов, спускаясь по темной, загаженной голубями лестнице. — Вместе с этой сволочью и долгогривые к самозванцу затесались.

— Попы... от страха смертного! — проговорил Крылов. — Им Мишка Толкачев виселицей пригрозил.

— Благочестивый священник, как и хороший солдат, не должен отступать перед смертью...

Внизу, возле выхода с колокольни, стоял прижавшись к стене, черноглазый, беловолосый малолеток. При виде начальства он сдернул шапчонку.

— Ты откуда, мальчик? — спросил Симонов.

— А я из городка.

— Как же попал сюда?

— А через заплот перемахнул. Меня батенька послал к вам, казак Федор Неулыбин.

— Неулыбин? Знаю Неулыбина.. — Симонов нахмурил брови и по-недоброму посмотрел на мальчонку. — Что ж он, к предателям перешел, к Пугачу записался?

— Пошто? Ничего не записался... — Мальчик смущенно замигал. — Батенька велел сказать вам,

барин, что верой и правдой он... А в крепость к вам нейдет, потому что разбойники мамыньку пришибут и всю... всю домашность нашу порушат...

Симонову понравился смышленый и словоохотливый паренек. Он спросил:

— Как зовут тебя?

— Ванькой... Уж вы, барин, как бунт прикончится, помилуйте батеньку-то мово... Он верой-правдой... А уж мы чем да нито вашему благородию отслужим.

— Ну, вот что, Ваня... — Симонов погладил мальчика по вихрастой голове. — Ты примечай-ка, что у вас там деяться будет... Прикинь и то, сколько пушек у Пугача да сколько разной сволочи при нем... Понял? Да нет-нет к нам и прибеги. Тебе возле ворот лесенку будут подавать веревочную; да норови в сумерки, чтобы незаметно... А как явишься к крепостной стене, кукушкой трижды прокукуй... На вот тебе на прянички. — И Симонов кинул мальчишке пятак. Он торопился с капитаном Крыловым в войсковую канцелярию.

3

Следующим утром Пугачев принялся за дело. Он приказал собрать к полудню полтораста человек копачей да с десяток плотников, а сам с приближенными направился осматривать вновь возведенные симоновские укрепления.

Они шли пешком. Их путь лежал мимо дома казака Кузнецова, мимо красавицы Устиньи. Девушка, слегка покачивая тугими, круглыми плечами, несла на коромысле воду из колодца. Она с улыбкой обменялась с Иваном Почиталиным поклонами. Пугачев сразу узнал ее. В другое время он остановился бы, пошутил с ней, попросил бы воды напиться, но тут взглянул и отвернулся, прибавив шагу. Из-за предосторожности он был одет по-бедному, вовсе неказисто: на нем засаленный толкачевский полушубок, растоптанные донельзя валенки.

— Что твой розан, девка-то, ваше величество, — обронил, заглянув в глаза батюшке, Михайло Толкачев.

— Которая?

— А вон... С ведрами-то прошла.

— А мне ни к чему, — с притворным безразличием кинул Пугачев.

Они подошли к бугру, на котором красовались три березы с черными шапками покинутых грачиных гнезд.

— Стой! Вот где доброе для батареи место. Распорядись, Михайло, чтобы за ночь каменьев да лесу сюда навозили. Отсюдова учнем Симонова ядрами понужать... — Он залез на березу, стал осматривать крепость. По березе с колокольни ударили из ружья, посыпался из грачиного гнезда хворост. Пугачев спустился с дерева в сугроб. Подбежали провожатые.

— Не задело ль, батюшка?

— Кого? Меня? Я завороженный... — с ухмылкой ответил Пугачев. — Слышь-ка, Овчинников! Это что у них тут будет, направо-то, в углу-то?

— А то новая батарея ихняя фланговая, — ответил атаман Овчинников, тыча из-за березы рукой. — Ретраншемент ихний обороняет. Она для нашего городка самая опасная...

— Ну так вот ее и фукнем нá ветер... Мину подведем.

— Ми-ну? — округлив глаза, протянул Овчинников. — Дá ведь нам, ваше величество, несподручно это, знатецов у нас нетути.

— А я на что? — Пугачев живо повернулся на пятках, пытливо посмотрел по сторонам, спросил: — Чей этот справный дом?

— Казака Ивана Губина, надежа-государь.

Все поспешно направились к дому Губина. В горнице второго этажа, за столом, седобородый хозяин ел жирную, из сомовины, похлебку; старуха возле печки накладывала ему из обливного горшка в миску гречневой каши со шкварками. Хозяин, посматривая на вошедших, продолжал с проворством работать деревянной ложкой. Увидав на божнице, вместе с темноликими иконами, большой восьмиконечный, убранный финифтью крест, Пугачев, а за ним и свита помо-

лились. Пугачев крестился двоеперстием по-старозаветному. Затем отвесил поклон старику:

— Здоров будь, мой верный раб Губин. Я царь твой...

Старик выплюнул кусок сомовины, вскочил, хотел было упасть Пугачеву в ноги, но тот подхватил его.

— После, после кланяться будешь, казак. А на мою сряду не дивись — в дозоре мы... Идем-ка, друг, с нами, по хозяйским делам. Аршин есть у тебя?

— Есть, ваше царское величество! — по-военному выкрикнул хозяин. — Старуха, подай сюда аршин клейменый, железный!

Пугачев осмотрел обширный двор, обставленный разными постройками. В обмазанном глиной хлевушке хрюкали свиньи, в птичнике зимовали гуси, утки, куры. Конюшня.

Емельян Иваныч, с огарком в руке, спустился в глубокий погреб, уходивший под землею деревянным срубом сажени на полторы. От погреба до крепостной батареи было на глаз около полсотни сажен.

— Ну, старик, прощайся с погребом, — сказал Пугачев и ухмыльнулся. — Самому Симонову могилу тут спроворим... Ну-ка, светите сюды! — По стене сруба, обращенной в сторону крепости, он самолично отмерил три аршина так, три — этак и, вынув из-за пояса кинжал, острием его расчертил на стене квадрат. — Эти бревна плотникам велеть вырубить. А через проем подкоп рыть. Работать по ночам, с темна до свету, чтобы симоновский глаз не видел, ухо не слышало. А ты, Толкачев, предостороги ради, проход с проездом в этой местности закрой караулом... Смотри, казак, — обратился он к Губину, — чтобы ни одна живая душа работку эту не распознала... Особливо бабку свою упреди.

Все вернулись к дому Толкачева, где имел жительство Емельян Иваныч. Возле крылечка ожидали их плотники и копачи с лопатами, многие из них сидели на завалинках и на ограде палисада. Рабочие не видели раньше «батюшку» и, тотчас приметив приближавшихся к ним атамана Овчинникова с Толкачевым, они повскакали на ноги. И вдруг...

— Здорово, детушки! — Чернобородый, в потертом полушубке, человек, подойдя к крылечку, звонко крикнул: — Я царь ваш!..

Рядом с одетым по-праздничному свитскими своими людьми Пугачев казался замухрышкой, тем не менее, словно под ударом ветра, с голов слетели шапки, толпа повалилась на колени. И — чудно! — как только чернобородый назвал себя царем, рабочему люду стало казаться, что все в незнакомом человеке, как ни был он плохо одет, особенное: и голос, и осанистые плечи, и то, как держал он голову... А глаза, глаза-то! Однажды увидишь такие глаза — вовек не позабудешь...

— Встаньте, детушки, — сказал Пугачев и начал расспрашивать людей, откуда они, что в городке делают, не творит ли им кто обид и поношений.

— Нет, надежа-государь, они всем довольны, — сказал Толкачев, — кой-кто из них беглые помещичьи крестьяне, есть беглые солдаты-татаре, черемисы, но среди копачей много и местных жителей.

— Нет ли среди вас доброго знатеца, чтобы подкоп под землей рыть? — спросил Пугачев, снижая голос.

— Подкоп? Так, так, — заговорили копачи, оглядывая один другого. — А вот, надежа-государь, есть такой знатец, он на Авзянском заводе шурфы копал. Яшка, выходи! Эй, Кубарь! Где он?

Был вытолкнут вперед маленький кривоногий человечек с желтыми, морщинистыми щечками, раскосыми глазами, — новокрещеный мордвин из Пензенского края.

— Вот ты какой!.. Кубарь и есть, — пошутил Пугачев, оглядывая кривоногого, с жиденькой бороденкой человека. — Правду ли люди бают, что подкопы ты горазд вести?

— Да уж... — закивал головой Кубарь. — Со всех сил стараться стану, царь-батюшка. А прошибусь в чем, не казни, милостивый.

По-особому, хитренько, посматривал он на Пугачева, как бы прицеливаясь, с какой стороны его обойти, объегорить.

Пугачев несколькими вопросами сделал проверку его знаний.

— Будешь главным мастером, — сказал он затем. — И чтоб работные люди тебе во всем послушны были. Да я и сам почасту буду приходить... И вот еще что... Прислушайтесь, трудники. Идите таперь по своим жительствам, забирайте всякий струмент, кой на потребу будет, а как падут сумерки, сюда, не мешкая, шагайте... Работать по ночам станете, а спать днем. И покамест свои работы не окончите, в домы свои вам ни ногой, без выпуску работать будете, уж не прогневайтесь. Дело ведь государственное, превелико секретное. Ну и, боже упаси, изменник какой промеж вас сыщется да до времени секрет разболтает, голова тому будет рублена! — резко взмахнув рукою, крикнул Пугачев и быстро пошагал к дому. За ним, прихрамывая на левую ногу, поспешал Овчинников.

Едва затеплилась на небосводе первая звезда, работа в погребе казака Губина закипела. Начало положил сам Емельян Иваныч: он вместе с Варсонофием Перешиби-Носом вырубил из стены первые три венца. Он покрякивал, по-мужичьи поплевывал.

— Мой преславный покойный дедушка Петр Великий, — говорил он, смахивая пот с лица, — сам кораблики рубил. И рубить и снастить горазд был. А вот супружница моя, самозванная императрица, так и по бабьей своей части ни в зуб толкнуть... Чепчик себе вышить не могла. Чего чепчик, даже к моим императорским шароварам пуговицу пришить не умела. Велел как-то я на мои парадные портянки вензель положить. Куды тебе! Она и губы надула, — я, говорит, вам не девка деревенская... Бывало, глядишь, глядишь на нее, бездельницу, да и раскричишься: эх, ты... ни в дудочку ты, ни в сопелочку!.. Конешно, шибко обижалась... С того больше и пошли нелады у нас.

Окружавшие, прищелкивая языками и причмокивая, с почтительным восхищением внимали его словам.

Поздним вечером, под светом ярких звезд, Пугачев обнял Ваню Почиталина за талию, ходил с ним взад-

вперед возле своей квартиры. Разговор меж ними был веселый: Пугачев громко хохотал, Почиталин осторожно посмеивался.

— А с Мишкой, с племяшем Дениса Пьянова, я еще с утра разговор имел, — сказал Пугачев. — Значит, твоя предбудущая — Марфочка Головачева, сиротка... Ладно, замест отца я ей буду... Ну, а теперь иди, хлопец, к своей матке спать, а я ужо приоденусь да сватом и пойду по девкам... Мне и Мишку на этой... как ее? Варьке Пачколиной обженить надобно... Чтоб завтра обоих вас и к венцу. Обе свадьбы зáраз обыденком справим.

— Шибко скоро, государь, — взмолился Ваня Почиталин. — Ведь у нас, у казаков, обрядность всякая... В баню с неженатиками ходим, да прочие разные там...

— Ладно, ладно, — перебил его Пугачев. — Нынче время военное, нынче всякие дела-делишки чохом-мохом, живчиком...

Вскоре Пугачев в дорогом с позументами чекмене и при сабле правился вместе с Варсонофием в избы молоденьких казачек: Марфочки и Вари... То-то обомлеют, изумятся девки, то-то будут рады!.. Ну и затейлив же царь-батюшка!

...Старый соборный пономарь Наумыч, отбивавший часы в крепости, вышел из сторожки, поглядел на семь звезд «ковшиком» и, полагая, что наступила полночь, вместо двенадцати, спросонья дернул за веревку четырнадцать раз.

Капитан Крылов в сопровождении однорукого капрала совершал обход караулам и дозорам.

— Наумыч, ты?

— Я, ваше благородие, — прокряхтел старик.

— Чего же ты, бог тебя люби, четырнадцать-то раз отбрякал? Уж скоро три пополуночи.

— Да ведь кто е знает, ваше благородие... Я-то, конешно, на печи дрыхнул, а певун-то мой, петушишко-т одноглазый, на полатях... Вот он и скукарекал. Ну, стало быть, выходи, старик, звони. Ни часов, ничего такого нетути, по петуху звоню. Да вот беда, петушишка-т шибко старый стал, сбивается,

одно званье, что петух... Давно пора голову ему оттяпать да в похлебку... Ан жаль. Все-таки душа в нем, хоть и плевенькая, петушиная, а все ж душа... Чегой-то жалостлив я стал ко всему живому — пред смертью, что ли?.. Охо-хо... — Наумыч зевнул и принялся закрещивать рот.

Капрал с фонарем впереди, Крылов позади — оба залезли на самый верх колокольни. А там, на соломенных постельниках, спала стража: два старых солдата — Зуев и Безруких. Обычно спали они чутко. Вот и сейчас, услышав скрип ступеней, оба они враз вскочили: отогнули высокие, покрытые густым инеем воротники тулупов и — за ружья.

— Посма-а-тривай! Погля-а-а-дывай!.. — дружно закричали они в ночь.

— Ну, как, молодцы, живы? Не спите?

— Как можно, ваше благородие! — воскликнули они. — Такое ль таперичь время, чтобы спать... Пугач-то у Толкачева Мишки, бают, содержится... чтоб утробе его распасться натрое...

А Пугачева у Мишки Толкачева и не было. Он хлопотал возле погреба Ивана Губина: проверил работы и подал плотникам совет, как ставить в траншее крепи — этому делу он научился еще в бытность свою в Кенигсберге. Покончив тут, он взобрался на бугор с тремя березами, где должна быть батарея. За ночь сюда уж много было навезено и камня и бревен. Распоряжался стройкой есаул Перфильев. Всем довольный, Пугачев направился с Варсонофием домой. Оба они успели «угоститься» у Марфочки и Вари, были навеселе. Емельян Иваныч подарил девушкам к свадьбе по золотому, обещал, помимо того, справить им добрую сряду.

Уже заря просилась в небо, восток бледнел, звезды блекли. Придя домой, Емельян Иваныч приказал будить хозяев. Заспанному, еще не успевшему умыться Толкачеву он сказал:

— Будет тебе, Михайло, спать. Глянь на меня, я еще и не ложился.

— Да ведь вы, известно, двужильный, батюшка, — борясь с одолевающей зевотой, ответил хозяин.

— Не жалуюсь... Вот что, братец... Скажи-ка своей хозяйке: у вас тут, в твоем доме, две свадьбы сегодня будем играть.

— Свадьбы? Это какие же такие свадьбы, надежа-государь? Чего-то в толк не возьму... — Удивленный хозяин, запустив руки под беспоясую рубаху, принялся скрести брюхо.

— Какие, какие! Самые обнаковенные. Двух казаков женю... Чуешь? Смотри — чтоб гулеванье истовое было... завей горе веревочкой!

— А подкоп-то, батюшка?..

— Подкоп своим чередом... А ты режь баранов, в лавках у торговых людей забирай моим именем, что надо... Да поболе пива медового добудь, — поди у попов есть, они, кутьехлебы, сладко живут, знаю их. Вторым делом, гостей со всех волостей присугласи да девчонок. Ась? Всю проторь на свой государев счет беру... Лескриптом!

— Что-то невидано-неслыхано, батюшка, ваше величество, чтобы этак на́пыхом свадьбу править... Ведь на нас собаки брехать станут. Ведь к свадьбе-то год готовятся...

— Ладно, Михайло Потапыч, балакать мне недосуг... Да чтобы музыка была, да пироги... Эх, жаль, Ненилы моей при мне нет... Аншеф-стряпуха моя! Ну, спать пойду. Через три часа либо через четыре буди! Отбрыкиваться стану, за шиворот хватай. Да скажи Овчинникову, чтобы казаки с башкирцами на изготовке были — поведу их за городок штурму обучать. — Говорил он скороговоркой, но притомленным расщепленным голосом, да и всем обличьем своим он был уставший.

— Пожалте, в таком разе, на пуховичок, царь-государь...

— Ну нет... Вы со своей стряпней брякать-стукать станете, заснуть не дадите... Ты ведаешь, как по-походному надлежит казаку спать?

— Господи! Мне ли не ведать.

— Ан вот и не ведаешь... По-походному так: саблю сбоку, кулак под голову, а высоко — два пальца сбрось. Чуешь? Ну, до увиданьица!..

4

Иван Наумыч Белобородов до сей поры и сном-духом не знал, что в великом восстании Емельяна Пугачева предлежит ему быть видным человеком.

Жил он собственным хозяйством в доме жены своей Ненилы Федотовны, что в большом селе Богородском. Село стояло на проезжем тракте между Кунгуром и Бирском, от него до Оренбурга, до Бердской слободы, до горячего сердца Емельяна Пугачева целые полтысячи верст. Но сказано: «Сердце сердцу весть подает». Так оно и тут вышло. Весть о появившемся царе, полыхая молнией во все стороны, достигла и села Богородского. Впрочем, в это время город Кунгур как раз осаждался башкирской толпой полковника Батыркая, а от Кунгура до Богородского — рукой подать.

В своей лавке, помещавшейся в прирубе к дому, Белобородов торговал по малости медом, воском, сальными свечами, дегтем, веревками и прочим.

Сегодня праздник — Новый год, базарный день; торговля шла бойко. Белобородов выручил четыре рубля тридцать шесть копеек с грошем — деньги не малые. После сытного обеда он сидел за прилавком, покупатели схлынули. Без дела стало Белобородову скучно, он сладко зевнул, почесал рыжему коту за ухом, покосился на икону: надо бы возблагодарить создателя за удачный торг, да рука словно онемела. «Боже, милостив буди мне, грешному», — набожно вздохнул он, раскинул по прилавку руки, опустил на них голову и задремал. И слышит сквозь сон, будто кот курныкал-курныкал, да и вымолвил по-человечьи: «Хозяин, беда!» Поборов сон, Иван Наумыч продрал слипшиеся веки, вытер рукавом рубахи бороду: — Ты что это, дрянь, колдуешь? — насупив брови, боязливо посмотрел он на кота вприщур. Но кот, как ни в чем не бывало, спокойно сидел на мешке с мукой, умывался. Белобородов сплюнул, пробурчал: — Вот ужо кошкодавы поедут мимо, я тебя, тварь, за полушку сбагрю... — И, желая разогнать сон, стал грызть каленые орехи.

Тут скрипнул дверной блок с привязанным на веревке кирпичом, взбрякал колокольчик, дверь с шумом распахнулась, с улицы, вместе с клубами мороза, ворвались в тепло трое.

— Иван Наумыч, беда стряслась! — какими-то придушенными, не своими голосами прокричали все трое. — Прибежали смутьяны каки-то на конях, возле церкви царский манифест вычитывают... Чу, набат!

И всех словно ветром вымело из лавки. Навстречу заполошному звону бежал народ. Опираясь на клюшку, култыхал и Белобородов: он сильно прихрамывал на правую ногу, сведенную еще смолоду в коленном суставе.

Подле церкви стояли пятеро конных башкирцев, шестой — Данила Бурцев, земляк Белобородова. Он только что кончил читать по бумаге манифест царя Петра Федорыча и, обратясь к толпе, гулко заговорил:

— Мимо вас, жители, идет государев полковник Канзафар Усаев с пятьюстами башкирцев да русских. А идет он по приказу государеву Кунгур брать. А и находится он во сю пору от вашего села близехонько. А мы высланы Канзафаром, чтобы занять для его воинства квартиры, а также опечатать питейные дома и торговые лавки. И кто его, Канзафара, встретит, дома того разорять не будем, а станем льготить и жаловать всякой вольностью. А кто противится альбо в бега, тех ловить и вешать, домы же отписывать на государя.

— А где он, государь-батюшка наш? — раздались голоса.

— А отец наш государь находится в Оренбурге. Оренбург он взял и Уфу взял. Собирается на Казань идти, а там и на Москву. Он, батюшка...

Но Белобородов дальше не слушал. Бросив толпу односельчан, он прытко-прытко покултыхал к себе домой. Ахти беда! Что делать, куда податься? Ежели в леса с семьей, дом с лавкой припечатают, отберут на государя. А ведь у него, Белобородова, жена, дети малые, да и достатком бог не обделил. Ко всему прочему, еще неизвестно, государь ли он, — может статься, самозванный перевертень, плут и христиан-

ским душам погубитель, бродяжка Пугачев, как гласят о нем манифесты государыни... Да нет, кабы не был он государем, Оренбург с Уфой не покорились бы ему. Ох, господи твоя воля, что же делать-то? «Эх, — прищелкнул Белобородов себя в лоб, — разве постараться императору Петру Третьему? Нешто не солдат я царский? Нешто позабыл, как самопал в руках держать да как на лихом коне носиться? Хоть хром я, да ведь еще крепок, да и годы мои не такие уж запущенные...»

Он сказал жене:

— Приготовься гостей встречать. От государя гости к нам жалуют! — Работнику он велел заседлать коня, с проворностью вскочил в седло и поехал навстречь Канзафару, за околицу. Его нагнали выборные от сельских жителей. Они ехали на трех санях с хлебом-солью и, по-праздничному делу, были вполпьяна.

Встреча выборных с Канзафаром Усаевым произошла в версте от Богородского. Видный, дородный Канзафар неторопливо слез с коня, оправил кривую у бедра саблю, одернул цветную, на лисьем меху, шубу. Скуластое лицо его лоснилось от жиру.

Выборные, сохраняя достоинство, на колени не валились, они лишь сняли шапки и отдали пугачевскому полковнику поклон.

— Добро вам, что встретили меня, — сказал полковник. — Я в великой чести у государя.

Канзафар Усаев со своими приближенными остановился у Белобородова. Канзафар на вид был строг и голос имел властный. Белобородов по-первости страшился его. Собрались в дом сельский сотник, староста и лучшие люди из крестьян. Канзафар велел своему писчику читать вслух государев манифест. Выслушав оный, жители сказали:

— Мы государю покорны, будем стараться ему со усердием.

— В таком разе, — приказал полковник, — соберите немедля со своего села сколько можно молодых мужиков с лошадьми, я поверстаю их в казаки, и чтобы были они готовы к выступлению.

Было набрано двадцать пять человек. Канзафар к ним придал двенадцать из своих людей и определил, по их желанию, сотником над ними Ивана Белобородова.

Белобородов, изменившись в лице, вскочил со стула, хотел было возразить, что он, мол, человек покалеченный, хромой и многосемейный, командовать отрядом не может. Но Канзафар, насупив брови, взглянул на него сурово и по-строгому пальцем погрозил. Да и жители закричали в голос:

— Жалаим, жалаим тебя в свои начальники! Не отрекайся, Иван Наумыч, потрудись миру. Ведь ты царской службы солдат.

Белобородов сразу как-то осел, обмяк, потерял волю над собой.

Канзафар со своей толпой прогостил в Богородском двое суток. Белобородов получил приказ: выступать в поход вместе с Канзафаром. Вот беда! Что делать? В отпор идти — пожалуй, голова слетит... Значит, доведется всю домашность свою бросить. Ну что ж, теперь пятиться поздно.

Ненила Федотовна, чтобы не подымать при начальнике гвалта, увела Белобородова на огород, в сарай, и там, как медведица на пестуна, насела на него:

— И куда тебя хромого дурака, в этакую погибель-то несет?

Она долго ругала его, даже пыталась влепить ему затрещину, да рука не поднялась: жалость к мужу повисла на руке тяжелой гирей. Белобородов выслушал женину бурю молча; душа его не покачнулась. Не потому ли стала она вдруг твердой, что он, бывший солдат, усмотрел некую цель, как стрелок — мишень, куда ему вогнать пулю? Да нет, нет, никакой цели Белобородов перед собой не видел и, не случись в Богородском Канзафара Усаева, торговать бы ему, Белобородову, в своей лавке медом да воском до самой смерти. И со вздохом он сказал жене:

— Прости меня, Ненилушка, желанная моя!.. Прости, ради бога!

И бросились они друг дружке на шею, и губы их сомкнулись в прощальном целовании, и слезы разом брызнули из глаз.

А там, на церковной площади, уже высвистывали башкирские дудки, выбрякивали бубны, громкий клич стоял:

— По ко́ням! Айда, айда!

И вот осталось Богородское позади. Прощайте все, простите...

Белобородов ехал рядом с Канзафаром. Сердце его стучало часто и тревожно, сердцу было больно. Всюду простор и солнце, кругом белые снега лежат, а перед мысленным взором непроглядные туманы: все, что впереди, укрыто-нахлобучено шапкой-невидимкой.

Если б знал Иван Наумыч, что боевой путь его будет славен, что предстоит одержать ему многие победы над врагом, он исполнился бы гордостью и великим ликованьем. Но если б по-настоящему прозрел он сам или рыжий кот-вещун шепнул бы ему во сне: «Когда начнет желтеть на березе лист, сказнят тебя, хозяин, лютой казнью», — Белобородов круто бы повернул своего коня, приурезал его ременной плетью, и понес бы, понес его быстрый конь в синие леса, в тайное укрытие...

Однако ни славных своих дней, ни своего темного конца он не ведал. Человек, как ладья, мчится вместе с теченьем по волнам бесконечности. И трижды печальна участь пловца, ежели он кинется в волны без руля, без ветрил. Лишь сильные руки, железное сердце да прозорливый ум ведут человека к цели: в тихую заводь, против воли, в бешеной схватке с природой, с привычкой, с капризом случайности.

Торговец, из крестьян, бывший солдат царской службы, Белобородов пустился в путь без руля, без ясной, осмысленной цели. Но в его темном сознании, где-то под спудом, все же брезжил некий робкий свет... Может статься, был то отблеск далекого зарева — зарева дум и надежд многострадальных предков его...

В селе Алтынном военачальники разделились: Канзафар с толпой пошел под Кунгур, Белобородов

с сотней людей подался в сибирскую сторону, через Ачитскую крепость, к Екатеринбургу.

Разлучаясь, Канзафар вручил Ивану Наумычу для публикации манифест государя и преподал наставление:

— Противникам рубить головы, а склонившихся жаловать вольностью, стричь им волосы по-казацки и приводить к присяге.

Таково было начало Белобородова как самостоятельного вождя одного из главных отрядов пугачевского движения. Таким образом, их стало трое: Белобородов, Зарубин-Чика и сам Пугачев.

ГЛАВА IV

Штурм Яицкой крепости. Малые дети. Оренбург

1

Свадьбы прошли шумно. Обе пары молодых были своей судьбой довольны выше меры. Особенно ликовал, сидя на пиру рядом с своей ненаглядной Марфочкой, Ваня Почиталин. Девятнадцатилетний парень, он успел отпустить русую бородку и походил на заправского казака.

Пугачев в церкви не был, он приехал с военного ученья к свадебному столу.

Пир шел горой до третьих петухов. Выпито, съедено было много, у залихватских плясунов поотлетели каблуки. В плясы вступил и сам Емельян Иваныч. Он держал себя не так, как в Берде, в царском дворце своем, — сановито да важно, а попросту, без затей, и лихо отплясывал с веселыми девахами. Сам заводил игры, первым был запевалою. И уж не просто песня, а зычный, в полсотни глоток, рев сотрясал стены, колебал хвостатые огоньки свечей.

Со свадебного пира дважды бегал Емельян Иваныч на работы. Копачи и плотники вели подкоп внатуг, без передыху. В траншее горело множество во-

сковых и сальных свечей. Пробовали зажигать смоляные факелы, но они очень чадили.

— Вздых спирает, — жаловались землекопы, — шибко тяжело дышать.

— Да уж порадейте, детушки, теперь недолго, — подбадривал их Пугачев.

И велел в потолке минной траншеи сверлить отдушины наружу, через три сажени одна от другой.

Поздним часом гости со свадебной пирушки разошлись. Остались мертвецки пьяные да почтенные старики. Обе пары молодых на разубранных тройках с бубенцами отправились по домам. Гости пожелали им покойной ночи, всяческих успехов в жизни и дали в их честь ружейный залп.

И лишь залп отгремел, оба старика сторожа на колокольне враз вскочили и закричали что есть силы:

— Посма-а-атривай!

— Послу-у-шивай!

И на батареях шевельнулись. Но снова все стало спокойно: песня, бубенцы, скрипка на морозном воздухе пиликает.

Из соборной сторожки вылез старый пономарь Наумыч, постоял, посмотрел на заветные семь звезд, потянулся к веревке и отбрякал в колокол десять раз. Надо бы еще надбавить, да дюже студено, и глаза слипаются, сон долит... О, господи твоя воля... Который же час-то взаправду? Чегой-то и петух не кукарекает: то ли спит, то ли сдох вовсе? Всякому дыханию свой конец приходит.

К 20 января подкоп был готов. Длина его тщательно промерена, — около пятидесяти сажен, и надсмотрщик Яков Кубарь заверил царя-батюшку, что землекопы стоят уже под валом укрепления.

Темная ночь, небо в хмаре. Тишина. Пугачев с ближними торопится к подкопу.

И как раз в этот час возле крепостных ворот трижды прокуковала кукушка. По веревочной лестнице малолеток Ваня Неулыбин перебрался через вал и был отведен к самому коменданту. Симонов еще не

ложился, вышел в кухню, поприветствовал мальчонку, спросил:

— Как дела, малец? Чего долго не бывал?

— А неможно было, васкородие, караулы у них, разъезды. Подкоп под крепость роют.

— Подкоп?! Да полно, уж не врешь ли ты? Не подослан ли, чтоб с толку меня сбить? Батька-то твой еще не переметнулся к Пугачу?

У мальчика задрожал подбородок, градом покатились слезы. Симонов, видя свою промашку, погладил мальчика по голове, сказал:

— Ну ладно, ладно. Я пошутил. Верю тебе, Иван Неулыбин! Откуда же и куда они, изверги, подкоп ведут?

— Не знаю, — утирая слезы шапкой, ответил Ваня. — И никто не знает. Я ж говорю, что караулы у них... Батенька говорил, быдто ведут подкоп от дома отставного казака Ивана Губина, а куда — неведомо.

— Проверим, — сказал Симонов и отправил посыльного за капитаном Крыловым.

Тем временем Пугачев велел поставить в край подкопа бочку с десятью пудами пороха. Порох втугую забит был тряпьем.

Часа за три до рассвета без шума выведены были яицкие казаки и расставлены в боевых местах. Они получили от батюшки приказ: как только последует взрыв, тотчас же бросаться всем гамузом на штурм ретраншемента.

Многим казакам, постоянно жившим в городке, не особенно-то хотелось воевать, да еще среди темной ночи. А казаки-пугачевцы из Берды, дорвавшись до своих собственных теплых хат, за две недели жизни в Яицком городке успели порядочно обабиться и отвыкнуть от походной обстановки. Им тоже не больно-то хотелось воевать. Впрочем, большинство казаков было настроено по-боевому: Пугачев умел разжечь жар в их сердцах и мыслях.

Вместе с Кубарем и с одним работником Емельян Иваныч спустился в галерею. В руке у него толстая восковая свеча. От ее колеблющегося света по темным стенам, подпертым бревнами, призрачные пляшут

тени. И чем дальше продвигались они вперед, тем душней становилось, спертый воздух плыл встречу, гасил пламень.

— Врешь, не погаснешь, — улыбаясь в бороду, говорит Пугачев, и его щекастое лицо в трепетном свете кажется медно-красным. — Светиленка-то в свечке зарубежная... — Он приготовил свечу сам, предварительно пропитав светильню особым составом, секрет которого вывезен был им еще из Кенигсберга. Однако технику взрывания знал он только понаслышке, хотя и объявлял себя «полным сего дела знатецом».

Яков же Кубарь во взрывных работах еще меньше Пугачева смыслил. А ведь дело предстояло опасное: десять пудов пороха — не шутка!

Пугачев шел на верный риск, он в полном сознании ставил свою жизнь на карту. Все трое подошли, наконец, к бочонку с порохом. У всех заныло, затосковало под ложечкой.

— Ну вот, — сказал Емельян Иваныч, — таперь будем взрыв чинить. — В сыром и глубоком подземелье обычно громкий голос его звучал глухо, придушенно. С потолка просачивалась влага, покапывало и на бочонок.

— Ну, Кубарь, значит, начнем.

— Начнем, батюшка...

— Дай-ка сухую тряпицу.

— Нету, батюшка, не запаслись. Ужо я сбегаю, — сказал Кубарь.

— Стой, некогда!.. Ну те к сатане... — Пугачев сбросил с плеч чекмень, снял тонкого холста набойчатую рубаху, скомкал ее и втиснул вместо отсыревшей тряпки в стоявший вверх дном бочонок с порохом. — Таперь так... Я этот огарок укреплю в середке бочонка, в тряпках. Огарок догорит, огонь и перейдет на тряпки... Понял? А мы к тому времени успеем выскочить. Ну, молитесь богу! — И он стал укреплять в тряпье горящий огарок.

— Как бы не упала свеча-то, борони бог... И не выскочишь, — пробормотал Кубарь. Он дрожал, зубы его ляскали.

И вдруг, как по злому слову, огарок кувырнулся набок, тонкой пряжи рубаха затлелась и разом вспыхнула. Кубарь дико вскрикнул, повалился на землю, работник с воем рванулся в глубину темного, как могила, штрека. Еще момент и...

Но Емельян Иваныч уже сорвал с бочонка пламя, смял его в пригоршне, кинул наземь и принялся топтать ногою. И стала вокруг тьма еще непроглядней.

— Слава богу, — выдохнул он, обливаясь холодным потом. Смерть пронеслась над ним, как черная молния. Отдышавшись, он сказал Кубарю и вернувшемуся работнику: — А ну, у кого кресало да сверкач, высекай огня. — И достал из кармана новую свечу. Из ее конца свисала длинным, в аршин, хвостом насыщенная горючей смесью светильня — «запал». — С нами бог, детушки! — вымолвил Емельян Иваныч, подошел к бочонку, утопил свечу в порох запалом вверх, не торопясь укрепил ее в тряпье.

— Ну, таперь прочно. Уходи!

Оба помощника кинулись вон. Пугачев, стиснув до скрипа зубы, зажег запал и с горящим огарком прытко пошагал вслед за людьми. Маленький, кривоногий Кубарь, расставив руки, натыкался на стены и беспрерывно бормотал: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Он бежал впереди, за ним спешил работник.

— Беги, дьяволы, беги! — кричал Пугачев, обгоняя их. Огарок в его руке погас. Все трое очутились в густой тьме. Бежали молча, шумно, со свистом дыша. Наконец-то впереди засерело; выход, рассвет, спасенье!

2

Рассвет шел по седому небу, погода была тихая, мягкая. На улицах еще сутемень, в жилищах светились первые утренние огоньки. А там, за земляным, запорошенным снегом валом, в крепости, пылали жаркие костры, отблеск их елозил по белой колокольне; она как бы покачивалась, порою зябко вздрагивала. Над кострами огромные кипучие котлы со смолой,

с бурлящим кипятком; кучки старых солдат сидят на корточках вокруг костров, подставляя теплу спины, вытянутые вперед руки. Тут же толкутся казаки, солдатские и казачьи женки с ведрами, с кувшинами, оловянными ковшами, — работы им будет много. Прошагали два офицера: капитан Крылов и поручик 6-й легкой команды Полстовалов. Лица их сердиты, озабочены. А Симонов на колокольне. Спасибо мальчонке, Ванюше Неулыбину!

В городке, среди пугачевских казаков, тоже немало женок и подростков. В их руках пилы, топоры, арканы: может, доведется крепостные столбы валить. Только доведется ли?

Пугачев отлично понимал, что все было сделано не по правилам, а тяп да ляп: не закрыты даже частые отдушины, не забит горн. Надлежало самый конец штрека завалить до потолка камнями да забить землей, чтоб бочонок с порохом сидел в склепе, как в скорлупе орех. Но для этого надобен длинный горючий шнур, который позволил бы вывести его от пороха наружу и поджечь. А где такой найдешь?

Рассвет все гуще растекался по седому небу, свеча в подземелье догорала. Что же так долго нету взрыва?

Вдруг земля под ногами встряхнулась, вылетевшая из устья штрека воздушная волна свалила коекого наземь, вслед за тем тарарахнул взрыв.

— Ур-ра! — заорали пугачевцы и схватились за оружие. С граем сорвались с берез галки и вороны, заполошно взлаяли псы, замычали коровы, лошади в конюшнях стали приплясывать и ржать.

Взрыв причинил лишь малый вред укреплению — был разрушен только внешний откос вала с головной частью батареи; земля осела в ров и засыпала его до половины. Облако порохового дыма заволокло собою место взрыва.

— На штурм! На слом!.. Вперед, детушки, вперед! — раздалась зычная команда Пугачева.

— На штурм! На слом! — подхватила огромная толпа, и пугачевцы, вперемежку с женщинами, яростно бросились вперед.

— Ур-ра! Ги-ги-ги-ги! — гремело в воздухе.

До двухсот человек кинулись с лестницами, с топорами в ров, пытаясь залезть на вал, но солдаты, усердно работая штыками и прикладами, всякий раз отбрасывали их.

По площади, по переулкам бежали к крепости казаки:

— Ги-ги-ги!.. На штурм, братья казаки!.. Ура, ура!..

С вала, с колокольни загремели пушки, затрещали ружья, картечь и пули беспощадно поражали штурмующих, нанося им большой урон. Казаки побежали врассыпную, попрятались в ближайших избах, в развалинах недавнего пожарища, открыли бешеную стрельбу по ретраншементу. Однако расстояние до укреплений было слишком велико — недаром предусмотрительный Симонов выжег в этом месте порядочную площадь, выстрелы пугачевцев были для защитников крепости мало опасны.

Клубы тухлого дыма развеялись. Подымалось солнце. Пугачеву с высокой остроконечной крыши видно было, как двести человек его смельчаков, бросившихся первыми в ров, на штурм, отчаянно рубят заплотные столбы, подкапывают насыпь, приставляют к валу лестницу, лезут, падают под градом пуль, отстреливаются и снова лезут. С вала солдаты и женщины, похожие издали на разъяренных зверей, поливают их расплавленной смолою, кипятком, швыряют в них раскаленный, с горящими углями, пепел. Изувеченные люди с душераздирающим воплем отскакивают прочь, валятся, ползут к сугробам, зарываются ошпаренной головою в снег.

Но штурм продолжается с неослабевающим упорством.

— Подмогу! Подмогу давай! — взывают осаждающие.

— А ну, детушки, на помощь! А ну! Разом, разом! — взмахивает с крыши руками Пугачев, стараясь подбодрить схоронившихся в избах и за укрытиями своих казаков.

Толкачев бегал от кучки к кучке и тоже кричал:

— Айда̀, айда̀!

Сотни три казаков и башкирцев повыскакали на погорелую площадь, пытались сбежать в ров, но, встреченные с вала картечью, падали десятками, а оставшиеся вживе разбегались.

Заскрипели крепостные ворота, отряд симоновских солдат и казаков под командой поручика Полстовалова кинулся в штыки на пугачевцев и, после упорного боя, окончательно выбил их из крепостного рва.

Военные действия закончились лишь к вечеру. Пугачевцы потеряли около четырехсот человек убитыми и ранеными. Потери Симонова были в десять раз меньше.

От неудачного штурма Пугачев был в сильном волнении и гневе. Вместе с Овчинниковым и Толкачевым, слегка раненным в руки, он стоял перед покинутым домом старшины Мартемьяна Бородина, еще в начале осени ушедшего в Оренбург с верными правительству казаками. На площади у дома торчала только что выстроенная виселица — щепки, стружки, перекинутая через перекладину веревка. Костер горел. Мимо окружавшей Пугачева толпы провозили на санях убитых и раненых. Стоны изувеченных мешались с плачем, с воплями осиротевших женщин и детей. Возбужденная толпа то обнажала головы и набожно молилась за убиенных, то в сотни глоток, не стесняясь присутствием царя, раздраженно орала:

— Повесить! Вздернуть Кубаря! Неладно подкоп прорыл.

— Эстолько людей почем зря сгубили. Повесить! Повесить!

— Где он? Эй, Кубарь! Волоки его, гада!

А желтолицый коротыш Кубарь, обливаясь слезами, валялся в ногах у Пугачева.

— Помилуй, помилуй... — вопил он, ударяя себя кулачишком в грудь.

Грянул из толпы неожиданный выстрел. Пуля ударила Кубаря в живот. Кубарь охнул, опрокинулся навзничь и пополз в сторонку умирать.

— Ведут, ведут!.. Вот они, голубчики...— в злорадстве загудела, почуяв близкую кровь, толпа.— Царь-государь! Прикажи их вздернуть! Они из богатеньких, старшинскую руку держат... Мы кровь льем, а они, злодеи, по запечью у себя...

Девять связанных по рукам рослых казаков, из тех, что на зов Симонова не пошли в крепость, а остались при домашности, были приведены к костру взбаламученным народом.

Не раздумывая, Пугачев взмахнул рукою в сторону виселиц.

Палача Ивана Бурнова здесь не было, он остался в Берде. Вешали казаки Зоркин и Быченин. Столпившийся народ, еще так недавно мирно настроенный, все более и более ожесточался. Среди толпы были пьяные. Прибежавшие матери выхватывали из людской гущи своих мокроносых на морозе ребятишек.

— Домой, чертенята, чтоб вас притка задавила! — сверкая глазами, грозились женщины ребятам.

И вот подволокли еще одного. Это дворовый человек ненавистного старшины Бородина, по имени Яков. Он был отправлен Бородиным из Оренбурга с донесеньем Симонову, но на дороге схвачен пугачевцами.

— Ваше величество,— стал рапортовать царю Михайло Толкачев.— Мы, как сюды шли из Берды с отрядом, поймали вот эту самую фрухту. А как вязали его, он твою милость сволочил.

— Как же ты смеешь, изменник, неумытая твоя харя? — проговорил Пугачев, глядя в упор на Якова.

— Сам ты неумытик! — закричал тот бешено.— Какой ты царь? Ты мужичина сиволапый, как и мы... В казанском остроге вшей кормил!

Вокруг все замерло. Рот Пугачева перекосился, глаза широко открылись, он судорожно схватился за саблю. Рослый мужик Яков, похожий телосложеньем своим на Хлопушу, вырвал нож у зазевавшегося казака и бросился на Пугачева. Но казачья пика ударила разбойника в спину, и он без стона повалился в костер. От костра брызнули в сторону горящие головешки.

Все это произошло мгновенно. Поверженного, смертельно раненного верзилу поволокли к плахе.

Стало совсем темно. Страсти в толпе затихали.

За ужином Пугачев был мрачен, вял, впадал в какую-то, не присущую его характеру, сонливость. Ел мало, но выпивал с усердием и не хмелел. На вопросы отвечал нехотя, иным часом невпопад.

— Поеду от вас на короткое время в Берду, к своему воинству, — говорил он тихо. — А вы разыщите знатеца-минера, да не такого дурня, как Кубарь. Когда вернусь к вам, учнем новый подкоп вести. А то, вишь, неудобица вышла. А Симонова я доконаю. И повешу...

— Ваше величество, — подал голос старик Губин, — уж ежели подкоп делать, так надобно не из моего погреба, а под колокольню. Хоть и грешно, да господь простит... Господь за бедность да за обиженных кровь свою пролил... А мы ли не обиженные?

— Верно, Иван Захарыч, — поддержали старика гости. — Под колокольней кабудь у Симонова пороховой погреб. Народ так балакает, слых такой пропущен.

— Угу, — сказал Пугачев. — А вы, други, приготовьтесь-ка атамана себе выбрать. Присоветуйтесь друг с другом, кто да кто у вас на примете.

— А уж мы совет держали, надежа-государь, — заговорила застолица. — Большинство склоняется посадить атаманом Никиту Каргина. Он правда, что старик злой, зато богомольный: спасения ради души своея в пустыне жил, на речке Ташле. А ныне здесяка, к семейным своим прибыл.

— Ладно, — сказал Пугачев и, ни с кем не простившись, ушел спать.

Но не спалось Емельяну Иванычу. Мерещился ему Кубарь. За что про что погиб человек — неведомо... Мерещились и девятеро повешенных. Пугачев вздыхал, поджимал к животу колени, ворочался с боку на бок. Не спалось. Тоска сосала душу... И не хватало воздуха. Пьян, что ли? Нет, кабудь не вовсе.

Скорее бы в Берду. Там все-таки чин чином, канцелярия, коллегия. А здесь самовольство, без всякой узды люди, а внатыр против толпищи не больно-то пойдешь. Взнуздать народ надо! А то никакого с ним распорядка. А без распорядка и впрямь, как балакали заводские людишки, загинешь. Не числом воюют, а распорядком.

С тем он и уснул.

3.

Наутро Пугачев усилил караул, выставил против Симонова крепкие пикеты, стал подготовлять батареи. Проходя по улицам, слышал долетавшие из хижин стоны раненых. Он сдвигал брови к переносице, бросал через плечо шагавшему чуть сзади него долговязому Почиталину:

— Ах, несчастные детушки мои... Сколь верного народу покарябал злодей Симонов.

В иных домах, где покойники, были прибиты к наружной стене черные платки — траур. Из дома в дом шлялись привезенный с бахчи знахарь и две бабушки-казачки — мастерицы останавливать кровь, залечивать рубленые раны, отхаживать «сколотых».

Знахарь, бородатый гриб, пользовал раненых заговорами, бараньей печенкой, еще собачьим мозгом. Были удавлены и освежеваны для «снадобья» пять дворовых псов. Колдун обладал большой силой внушения, и, когда он пристально смотрел раненому в глаза и что-то бормотал, режущая боль сразу же стихала, к больному возвращались силы.

В обширном подворье Мартемьяна Бородина большая толпа казаков и башкирцев с котелками, кошелями. Промеж народа сигают собачонки. Возле амбара местный житель Иван Харчев, коему поручено питание прибывших из Берды пугачевцев, рубил, развешивал и раздавал пришедшим под особые квитки мясо, рыбу, хлеб.

— Чередом, чередом подходи! — звенели выкрики. — Становись в хвост!

Горластые вороны, рассевшись по голым березам, ненавистно посматривали на людей: не уходят, не дают поживиться вкусной снедью.

Сзади Пугачева, идущего с Почиталиным, семенили гурьбой подростки.

— Царь, царь это... Самый главный... Главней Матюшки Бородина, главней Симонова...

На скрип шагов, на дробный топот Пугачев обернулся и, остановившись, поманил детей к себе. Те тоже приостановились и, оправив шапки, с любопытством воззрились на него. Пугачев заулыбался и тихонько стал подходить к ним. Они попятились, собираясь бежать.

— Не страшитесь, казачата... Чего это вы? — сказал Пугачев. — Я вас гостинчиком угощу. — И велел Почиталину купить в лавке заедок да сластей на целую полтину.

Опустившись на одно колено, он взял за плечи четырехлетнего пузана, закутанного в мамкину шаль, спросил его:

— Как звать, атаман?

— Кешкой звать, — смущенно пролепетал круглый и пухлый, как шерстяной клубок, мальчонка и вложил палец во влажный розовый роток.

— Мать дерку дала ему седни, — проверезжала осмелевшая девчонка лет семи, она подпрыгивала и крутилась на одной ноге. — Я евоная сестренка, Дунька.

— За что же тебя драли, Кешка? — участливо спросил Пугачев.

— За волосья, — прошептал шерстяной клубок.

— А ты как... царя-то любишь? — перевел Пугачев разговор на иное.

— Нет, — сказал Кешка, — я больше пряники люблю да мед, ощо кашу с маслом.

Ребятишки громко засмеялись, засмеялся и Пугачев, заулыбались и четверо конвойных молодцов-казаков.

Прохожие снимали шапки, низко кланялись Пугачеву и, понуждаемые конвойными («Проходи, проходи!»), шагали дальше. Проезжали возы с сеном, шли

бабы за водой, прошествовал долговязый верблюд, запряженный в дровни: на дровнях калмык в остроконечном малахае. Два казака выковыривали косарями из бревенчатой стены засевшую при вчерашней перестрелке картечь. На противоположной стороне дороги стоял на коленях подвыпивший Денис Пьянов и, скрестив руки на груди, кричал чрез всю улицу:

— Царь-государь!.. Пришли мало-мало на опохмел души, а то старуха ни синь пороха не дает...

Его подхватили, поволокли в переулок.

Но вот Иван Почиталин доставил кошель гостинцев. На заедки, на леденчики, на медовые ореховые пряники ребята набросились с радостным криком.

— Спасибо, царь! Спасибо, царь-государь!

— Да нешто я царь?

— А то нет? Знаем, знаем!

— Ча-а-рь, — сказал и Кешка. Ему досталось сладостей больше всех. Пугачев с Почиталиным засунули парнишке за шаль две пригоршни, и широко улыбавшийся, счастливый Кешка стал как бы еще толще.

Он побежал догонять кинувшихся домой ребят, по дороге кувыркался в снег, вскакивал, снова катился шариком.

Пугачев смотрел им вслед, вспоминая о своей далекой семье, брошенной им в Зимовейской, на Дону, станице. Живы ли, здоровы ли? Он не знал, что все его семейство «по бедности между дворов бродит, питаясь — кто что даст». Он не знал и того, что Екатерина лично повелела жену и детей его «без оказания им наималейшего огорчения, яко не имеющим участия в злодейских делах Пугачева», направить в Казань, в распоряжение губернатора Брандта.

На другой день была «закличка», был собран казачий круг. Пугачев с драгоценной саблей у бедра и в бобровой шапке с красным напуском стоял в кругу на высоком рундуке. Сзади него, с обнаженными саблями, — шестеро молодцов-казаков да атаман Ов-

чинников. Был прочитан старый манифест, где царь жаловал казаков землей и вольностью. Затем Пугачев сказал:

— Извольте, Войско Яицкое, по издревле установленному обычаю отец ваших, выбрать себе атамана и старшин. Выбирайте кого хотите, это в полной воле вашей, детушки. А ежели выбранные не будут войску угодность творить, хоть через три дня вольны вы сменить их и новых по душе да по общему в кругу совету выбрать... Довольны ли?

— Довольны, батюшка! Довольны, надежа-государь! — кричали казаки. — Спасибочка, что старинный свычай наш блюдешь.

На звание атамана был выдвинут богомольный и злой старик Никита Каргин, на должность двух старшин — приехавший из Берды с письмом к Пугачеву Афанасий Перфильев и Фофанов Иван.

Высокий, сухой, с суровыми глазами, старик Каргин, сдернув шапку, низко поклонился Пугачеву.

— Батюшка, уволь! За старостью и малограмотством своим я в столь большом достоинстве быть не могу. Уволь, бога для...

Пугачев подбоченился, приподнялся на носках и, прищурив правый глаз, напористо сказал:

— Весь мир теперь слушает меня и служит мне... А ты противиться надумал? Ась?

— Ин будь по-твоему, отец, — молвил старик и поклонился царю в ноги.

Поздравив казаков с новым атаманом и старшинами, Пугачев ушел из круга. А в кругу началась обычная церемония.

Казаки вызвали на круг трех выбранных и сорвали со своих голов шапки.

— Господин атаман и господа старшины, — говорили они, кланяясь выбранным. — Послужите нам, Войску Яицкому, верою и правдою.

Те, как всегда в подобных случаях, никли головами, смиренно отговаривались:

— Недостойны мы, господа казаки, управлять вами. Скорбны мы разумом своим. Не обессудьте...

Уговоры и отказы продолжались долго. Наконец той и другой стороне игра прискучила. И выбранные, посоветовавшись друг с другом глазами, молвили:

— Так и быть, господа Войско Яицкое, мы в согласье.

— Благодарим, благодарим! Спаси бог! — во всю мочь заорал круг.

Самый старый из казаков подошел к новому атаману и трижды ударил его нагайкой по спине. Это означало: «Мы тебя выбрали, мы тебя и сверзить можем». Атаман снял шапку, покорно поклонился кругу, затем, взяв от старика нагайку, трижды опоясал ею вдоль спин двух новых старшин. Те тоже сняли шапки и поклонились сначала кругу, потом и атаману. После этого тот же старик, теперь уже сам обнажив лысую голову и припав пред атаманом на одно колено, торжественно, при общем кличе «ура», вручил ему булаву — знак власти.

Пугачев отправил Овчинникова с отрядом казаков в Гурьев-городок за порохом, деньгами и продуктами. И вскоре сам выехал под Оренбург.

4

Положение в запертом Оренбурге с каждым днем ухудшалось. Жителям и гарнизону выдавали половинную долю провианта, продукты в купеческих лавках неимоверно вздорожали, а базаров не существовало. Жители ходили, как тени, многие стали опухать, многие захворали цингою.

Изобретательный Рычков выдумал новый способ питания: надо старую кожу, — будь то сапоги, шуба или хомут, — как следует распарить, затем мелконамелко искрошить, чем мельче, тем лучше, и это крошево подбавлять в тесто, тогда хлеб будто бы приобретает особую питательность. Впрочем, сам он своей выдумкой не пользовался, а те, кто поверили ему и отведали рычковского хлебца, долго маялись животами и свирепо бранили ученого выдумщика.

Хотя губернатор, все начальство, купечество,

Рычков и прочие люди состоятельные продолжали питаться сытно, но и они, благодаря беспрерывным волнениям духа, пожелтели, исхудали. И коллежский советник Тимофеев, под командой которого состояли находившиеся в Оренбурге казаки и татары, был, как и прежде, тучен, — в нем весу было двенадцать без малого пудов, — из-за своей тучности он очень редко выходил на улицу и все, что доносили ему казаки, принимал за правду.

Купчик Полуехтов все пропил, впал в ничтожество. Золотариха не пускала его к себе, он питался у Рычкова на кухне из милости.

Казачьи лошади были истощены не менее людей, их кормили мелко рубленными прутьями, поэтому разъезды прекратились. Рейнсдорп не мог достать «языка» и не знал, что делается в Берде, у неприятеля.

Однако и без «языка» губернатору как-то удалось выведать, что Пугачев из Берды уехал.

— В атака, господа, в атака! — кричал на совещании губернатор. — Мы грянем на Берда, будем схватить там с божья помощь всякие запасы, и Оренбург спасен... О!

1700 человек пехоты, 400 казаков и 23 орудия были разбиты на три отряда. Под общим руководством генерал-майора Валленштерна, 13 января, в 5 часов утра, когда рассвет чуть брезжил, крепостной гарнизон выступил вперед. Глубокий, выше колена, снег и ослабевшие лошади крепостного гарнизона замедляли движение.

Пугачевцы спешно приготовились к отпору. И вышло так ловко, так умело, что Валленштерн, вступив на дорогу в Берду, был почти со всех сторон окружен притаившимися в лощинах пугачевцами. Хотя он и успел подтянуть к себе отряды бригадира Корфа и майора Наумова, хотя он и открыл пальбу из двадцати трех пушек, но дело его было проиграно. Многочисленные, сытые пугачевцы, на крепких конях, были сегодня в особом ударе. Они стреляли метко, рубили сильно, преследовали быстро. Валленштерн, сделав еще несколько пушечных выстрелов, приказал отступать: мятежники подавляли его своей

массой и удалью, а из Берды, кроме того, крупными толпами валили вооруженные чем попало мужики.

Весь крепостной вал, словно серой плесенью, был покрыт народом. Сердца жителей трепетали так же сильно, как и сердца сражающихся: от исхода битвы зависело — жить им или голодной дорогой приближаться к могиле.

Любопытная Золотариха, как всегда, торчала в передних рядах. Она в богатой лисьей шубейке, на руках дорогие кольца, пропитые Полуехтовым.

— Повернули, повернули! — с отчаянием завопил народ. — Наших повернули.

Рейнсдорп, наблюдавший битву с вышки угловой батареи, затрясся, плюнул и сказал:

— Капут!

Преследование было жестокое. Под копытами конницы снег взлетал, как от взрывов, размятые в кашу сугробы осели. Пороховой дым растекался голубыми лохмотьями. Белое поле было покрыто мертвецами и ранеными: люди и лошади Валленштерна в смертельном беге к крепости падали, падали. Но вот спасительные стены неприступной твердыни, — в распахнутые ворота потрепанный гарнизон втекал, как мутный поток в прорву.

Золотариха сбежала вниз, чтоб удостовериться, цел ли ее новый любезник, сержант Кушаков?

— Ой, миленький!.. Жив-живехонек. Эй, Васятка!

Шигаев приказал дать из пушек еще два залпа по хвосту гарнизона:

— А ну, плюнь на закуску. Чтоб помнили.

Громом грохнул залп, засвистела картечь. Золотариха взмахнула руками и, пораженная свинцовым кусочком в висок, замертво рухнула на землю.

Прощай, веселая бабеночка, прощай... Все твои Васятки, все кутилы купчики сегодня же забудут тебя навеки. Но кто-нибудь, может самый простой человек, с сердцем мудрым и любящим, вспомнит по-хорошему и тебя, веселая бабеночка: ведь ты не последний обсевок в поле, тебя всегда привлекало нечто необычное в этой скучной жизни. Прощай, мирская кума Золотариха!

Не опасаясь погони, пугачевцы возвращались домой кой-как, в беспорядке.

— Здраста, Шавантай! — И, наскочив на Шванвича, поехала с ним рядом разгоревшаяся в схватке молодая Фатьма. Она в казацком наряде. Черные с просинью косы ее выпали из-под шапки. Прекрасные глаза татарки были устремлены на смутившегося молодого человека. — О, Шавантай, Шавантай... Я тебя... Знаешь чего?

Но тут подлетел на взмыленном скакуне Падуров, схватил коня Фатьмы за узду, и оба они помчались прочь.

Удивленный Шванвич видел, как Падуров ударил плетью сначала коня Фатьмы, а затем и ее. К Шванвичу подъехал Андрей Горбатов.

— Ну как, Шванвич?

— Да ничего... — хмуро ответил тот.

Вылазка дорого обошлась Рейнсдорпу: потеряны 8 орудий, 281 человек убит, 123 ранено.

Он отправил в Берду два манифеста императрицы и свое воззвание.

Губернатор умолял мятежников, пока не поздно, одуматься и разойтись по домам. В конце грозил судом божьим и праведным гневом императрицы.

Но пугачевцы и не думали о покорности. У них тройной праздник: прибыл из Яицкого городка сам государь, разбит Валленштерн, явился со своим отрядом из покоренной им Илецкой защиты Хлопуша.

— Илецкая защита поклон тебе шлет, батюшка, — докладывал он Пугачеву, — да провианту множество, да пять пушек, да триста рублев денег. Три офицера заколоты, а капитан Ядринцев, о коем жители просили, как о человеке добром, мною посажен там комендантом.

Были выкачены бочки с вином, Пугачев разрешил народу маленько попьянствовать, поздравил их с двумя «шибкими» победами.

Улучив добрый час, Шигаев спросил Пугачева:

— Ну, а как у вас там, Петр Федорыч, в Яицком городке?

— Да не больно складно. Симонов, собака, горазд укрепился, кусается. Мы подкоп вели, да обмахнулись, таперь второй поведу.

На другой день Пугачев ознакомился с последним воззванием Рейнсдорпа.

— Эка, эка, что написал, сомуститель!.. Ах он, каверзник! Он еще жив, старый баран, — сказал Пугачев и велел писать ответ. — Да такой, чтобы у немчуры в носу заперчило!

Ругательный ответ сочинялся в избе Военной коллегии «всем гамузом», точь-в-точь так же, как запорожские казаки когда-то писали турецкому султану. Сыпались подсказы, крутое сквернословие по адресу Рейнсдорпа, стоял раскатистый хохот, старик Витошнов загибал ядреные словечки горше всех.

«Оренбургскому губернатору, — писал, прислушиваясь к подсказам, Максим Горшков, — сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя, немецкий черт, по демонству сатанину не ухищрял, однако власть божию не перемудрил. Ведай, мошенник, да и повсему тебе, бестия, знать должно, сколько ты ни пробовал своего всескверного счастия, служишь единому твоему отцу — сатане. Разумей, что на тебя здесь хотя Варавиных не станет петель, ну да мы у мордвина, хотя гривну дадим, да на тебя веревку-удавку свить можем.

Не сумневайся ты: наш всемилостивый монарх, аки орел поднебесный, во всех армиях на один день (одновременно) бывает и с нами всегда присутствует, дабы мы вам советовали, оставя свое злловредие, прийти к нашему чадолюбивому отцу. Егда придешь в покорение, сколько бы твоих озлоблений ни было, тебя всемилостивейше прощает, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишает, а здесь не безызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете. Итако, объявя вам сие, да пребудем по склонности вашей ко услугам готовы» [1].

---

[1] Подлинное письмо из Берды от 23 февраля 1774 г.

Главный судья Витошнов, да и другие, тужась насмешить собравшихся, требовали вписать выражения еще посолонее, однако Шигаев резонно сказал:

— Мы не варнаку какому пишем, а губернатору. Да ведь надо в мысль и то взять, господа судьи, что мы не кто-нибудь, а Государственная военная коллегия.

— Правду говоришь, Максим Григорьич, — одобрил Пугачев. — И так занозисто написано.

На следующий день Емельян Иваныч вместе с Падуровым и в сопровождении небольшого казачьего отряда снова выехал в Яицкий городок.

Военные действия на всем охваченном восстанием пространстве продолжались. В Чесноковку, Берду, Яицкий городок пугачевские гонцы привозили утешительные сведения о победах.

Гурьев-городок взят Овчинниковым, Илецкая защита — Хлопушей. Были заняты Никиты Демидова Кыштымский и Каслинский заводы. Отряды Салавата Юлаева и Канзафара заняли Красноуфимск. Атаман Грязнов подходил к Челябе.

Белобородов с 16 по 21 января взял заводы: два Сергиевских, Билимбаевский и два Шайтанских. Выказав неожиданные военные способности, он наголову разбил правительственный отряд в сорока верстах от Екатеринбурга, а 29 января занял Уткинский завод. Атаманом калмыком Дербетевым был взят город Ставрополь. Кунгур осаждался отрядами Ивана Кузнецова[1]. Уфа была заперта «графом Чернышевым» — Чикой. Казалось бы, все шло удачно.

Однако поступали в пугачевскую Военную коллегию и печальные известия.

Так, атаман Арапов, победоносно вступивший в Самару еще 25 декабря, чрез четыре дня был выбит из нее майором Муфелем и вскоре потерпел под Алексеевской крепостью второе поражение. Князь Голицын 8 января разбил возле Черемшанской крепости отряды пугачевцев под командой Чернеева и Давыдова.

---

[1] Кузнецову были подчинены отряды Батыркая, Салавата, Канзафара и Михаила Мальцева.

О движении крупных воинских частей князя Голицына и генерала Мансурова узнал Пугачев лишь по приезде в Яицкий городок. Он отнесся к этому известию спокойно, приказав вести за отрядами крепкое смотрение и почаще доносить ему.

ГЛАВА V

Челябинск и Кунгур. Поход Белобородова. Два Ивана

1

Главный город Исетской провинции Челябинск, или, в просторечии, Челяба, был основан в степной местности в 1736 году, на реке Миасе. Как и все города, имевшие в то время военное значение, Челяба обнесен был валом, увенчанным несколькими сторожевыми башнями, или раскатами, и деревянным заплотом.

Гарнизон крепости состоял всего лишь из нескольких десятков солдат, поэтому воевода Веревкин приказал собрать с сельского населения тысячу триста человек крестьян, образовать из них так называемое «временное казачество» и прислать в Челябинск под командой выбранных в селах отставных солдат.

«Временные казаки» в лаптях и сермягах, привыкшие драться лишь кольями, да и то по пьяному делу, собирались плохо. Веревкин, в усиление защиты, сформировал дополнительно роту из последнего рекрутского набора. Несколько десятков человек было вооружено еще и купечеством.

В Челябинске повеяло духом вольности. Народ выходил из повиновения, «временное казачество» и даже солдаты кричали в открытую:

— Что это за командиры, офицеришки какие-то!.. Нам пускай генерала пришлют, да чтобы настоящего, при ленте, при звезде... Было бы кого слушаться.

Почти вся Исетская провинция постепенно переходила на сторону Емельяна Пугачева. Повсюду разъезжали небольшие партии вооруженных башкирцев, русских или тех и других. Это были партизаны-агитаторы, частью посылаемые из пугачевских толп Кузнецова, Грязнова, Белобородова, Канзафара, частью же объединившихся по своему собственному почину. Заезжая в селение, они собирали крестьян, вызывали старосту, зачитывали пугачевский манифест, приглашали идти на службу государю.

Многие из бедняков присягали Петру Федоровичу и тут же снаряжались в путь. И вот тянутся обозы со всем скарбом к Кунгуру, к Челябе, к Екатеринбургу.

На берегах озер Миясском и Тургуяке, в дачах башкирского старшины Карымова, шестьдесят человек его крепостных — башкирцев и русских — долбят пешнями лед, ловят рыбу. Из гущи леса вымахнул всадник в остроконечной шапке, башкирец.

— Чего вы тут сидите, рыбу ловите? Не рыбу, а начальство надо ловить да вешать! В Чебаркульской крепости тумаша заварилась, бунт. Сбирайтесь! — сказал он и, похлебав свежей ушки, уехал.

А вскоре появился на рыбном промысле и другой башкирец, из вотчины другого старшины, Таймасова.

— Съезжайте скорей с промыслу, — в Кундравинской слободе тумаша. Сбирайтесь!

Рыбаки, бросив семьдесят возов рыбы, иные на лошадях, а другие и пешком, направились к Далматову монастырю. Отъехав верст пять от промысла, они увидели в темноте великое, к высоте простирающееся пламя.

— Это Кундравинская слобода пластает, — сказал их набóльший, Башлык Лавров.

— То ли слобода, то ли казенный промывальный глиняный завод горит.

Таких пожаров было в то время множество. Пылали казенные и купеческие заводы, горело какое-либо барское имение или предавались огню русские и башкирские деревни. Нередки были случаи, когда

озлобленные башкирцы, не имея крепкого над собою руководства, жгли русские селения.

Сибирский губернатор Чичерин тем временем выслал в Челябу под начальством офицера Пушкарева роту солдат и полевую артиллерию.

Едва эта рота успела вступить в Челябинск, как в городе вспыхнуло восстание. Ранним утром 5 января, в воскресенье, когда народ валил из церкви от заутрени, двести человек «временных казаков», под началом хорунжего Невзорова, с криками «ура» и ружейной пальбой помчались к воеводскому дому и захватили стоявшие там пушки.

Повстанцы — бомбардиры расхаживали возле пушек с зажженными фитилями. Невзоров, размахивая саблей, без умолку кричал в народ:

— Покоряйтесь! Все миряне покоряйтесь законному императору Петру Федоровичу! Сбегайтесь сюды с оружием, вяжите начальство! Иначе — открою пальбу ядрами, разнесу весь город!..

Не оставив возле пушек вооруженной охраны, он вбежал с толпой в обширный дом воеводы Веревкина. Одни принялись грабить, другие вязать всех здесь живших. Самого Веревкина, избитого до полусмерти, казаки поволокли по снегу за волосы в свою войсковую избу, связали его там и продолжали бить. Но в этот миг, проложив себе штыками путь, ворвался со своей ротой в войсковую избу прибывший из Тобольска офицер Пушкарев и живо разогнал буянов. Невзоров бежал из города, Веревкин был освобожден, в городе настала тишина.

На другой день пришло известие, что находившиеся вокруг Челябинска крепости — Чебаркульская и Каельская, — а также слободы Верхнеувельская и Кундравинская захвачены мятежниками. Пугачевские отряды партизан во всех покоренных местах радушно принимались народом совместно с духовенством.

Челябинск был окружен мятежными толпами. Собранные «временные казаки» и крестьяне почти все разбежались из крепости, город был предоставлен своим силам: рота рекрут да триста человек молодых

солдат, приведенных из Тобольска офицером Пушкаревым.

Скрывшийся из города хорунжий Невзоров набрал в подгородных деревнях полтораста человек крестьян и ночью на 7 января подступил с ними к Челябинску.

— Сдавайтесь! Отпирайте ворота! — кричал он с коня пред стенами города. — Государева сила в сорок тысяч человек подходит к Челябе!..

Его партизанская толпа, отогнанная выстрелами, ушла в деревню, что в двух верстах от города.

Там уже находился прибывший из Уфы по приказу Пугачева и Зарубина-Чики атаман Иван Иваныч Грязнов.

Узнав о положении дел в Челябе, Грязнов отослал от себя своего мальчика-прислужника Малайку, заперся в избе, достал из походной сумы толстую восковую свечку, затеплил ее перед образом и, завесив единственное оконце боевым своим знаменем, опустился на колени для молитвы. Лысый, бородатый, но еще не старый, он устремил свои горящие глаза на темный лик иконы и с душевным жаром стал молиться. Молитва его была не многословна; он твердил одно и то же, то подымался во весь рост, то снова припадал на колени.

— Господи! Господи! — говорил он, возвышая голос до крика. — Будь милостив ко мне, грешному. Вразуми, научи. Не стерпело сердце мое. Ведь и ты, спасе наш, восставал за людишек простых. Вразуми, научи, что делать мне, сирому рабу твоему!

Его вздохи, размашистые кресты и припадания были столь порывисты, что слабый пламень свечи в этой темной маленькой избе мотался во все стороны, как бьющаяся у свечи златокрылая бабочка.

В дверь давно стучали. Грязнов, проливая слезы, все молился и молился. Но вот загрохали в окно. Грязнов впустил своего сотника, заводского крестьянина Григория Туманова, хорошо знавшего татарский и башкирский языки.

— Человек с двести, батюшка Иван Иваныч, подмоги к нам привалило из-под Челябы. А привел их хорунжий Невзоров. Молодец, видать, сорвиголова! Что прикажешь делать, батюшка?

Позвали Невзорова. Он — молодой человек, с беспокойными черными, навыкате, глазами, с черным чубом, сухощавый и юркий. Торопясь и захлебываясь, он рассказал Грязнову о происшествии в Челябе.

— Не знаю, жив ли воевода, — сказал он. — Его место заступил товарищ воеводы господин Свербеев.

И опять встал вопрос: что делать?

— Идите с богом спать, а я подумаю, — сказал Грязнов и, положив низкорослому Невзорову руку на плечо, спросил:

— Не страшишься изменить государыне-то, присягу-то рушить?

— Государю хочу служить! — нервно выкрикнул Невзоров.

— Дивлюсь, как это в столь молодых летах сердце твое озлобиться могло?

— Душа вскипела, господин атаман... К бою рвусь, как на праздник!..

— Ну, ладно. Ежели сносишь буйну голову, толк будет из тебя. Ну, идите.

Наступила ночь. Старуха хозяйка дала атаману поесть и завалилась на теплую печку спать. Малайка приготовил бумагу и чернила. Грязнов, надев очки, принялся писать, перечеркивая написанное, вставляя новые фразы, то и дело взглядывая на икону и вздыхая.

Первая грамота была товарищу воеводы — Свербееву:

«Я в удивление прихожу, что так напрасно закоснели сердца человеческие, не приходят в чувство, делают разорение православным христианам и проливают кровь неповинно, а паче называют премилосердо щедрого государя и отца отечества Петра Федоровича бродягою, донским казаком Пугачевым. Вы же думаете, что одна Исетская провинция имеет в себе разум, а прочих почитая за ничто или, словом сказать, за скоты. Поверь, любезный, ошиблись! Да и ошибаются многие, не зная, конечно, ни силы, ни

писания. Верь, душа моя, бессомненно, наш государь-батюшка сам истинно, а не самозванец: что ж за прибыль быть православным христианам в междоусобии и проливать кровь неповинных? Пожалуй, сделай себя счастливым, прикажи, чтобы крови напрасно не проливать. Всех от мала и до велика прошу вас, яко брата, уговорить. Вам же, если сие сделаете, обещаю пред богом живот, а не смерть. Разве мы не сыны церкви божией? Опомнитесь, други и браты о бозе! Затем, сократя, оканчиваю сим и остаюсь при армии, посланный от его императорского величества главной армии полковник Иван Грязнов».

Окончив письмо, напоминающее собою скорее послание апостола, Грязнов положил правый локоть на край стола, подпер голову рукой, задумался. Что он пишет, к чему призывает, какой смысл в его бумажке? «Не проливайте крови неповинной, разве мы не сыны церкви божией?» — взывает он в своем послании. «Наглец и христопродавец! Не ты ли, заблудшее чадо Христовой церкви, привел многие толпы проливать кровь неповинных? Иуда и раб сатаны! Кто уловил тебя в коварные сети духа зла, духа истребления и пагубы? Не сам ли, не своей ли волей ты бросился, как в черную пучину, в пасть христоборца Вельзевула и слуг его?!»

Так горестно раздумывал Иван Грязнов, полковник Пугачева. Эти мысли и раньше раздирали сердце атамана. Мысли темные, страшные, но теперь они с новою силой овладели им.

Вдруг где-то близко, за прокоптелою древнею стеною, всхлопав крыльями, горласто заорал петух. Иван Грязнов широко открыл блеклые глаза и ужаснулся, вспомнив реченное в писании: «Петух не успеет пропеть в нощи, как ты трижды отречешься от меня».

— Господи! Прости, прости душу мою!.. — застонал он, бросился пред иконой на колени и заплакал.

И новые мысли, внезапно зародившиеся где-то в закоулках мозга, потекли в его взбаламученном сознании и стали согревать заскорбевшую душу атамана.

Ради кого он на склоне лет должен подставлять свою грудь морозам, бурану, пулям и картечам? Не ради ли обиженных, поруганных младших своих братий во Христе? Про себя же он твердо знает, не слава ждет его, а лихая смерть чрез мучительную пытку..

«О господи, пронеси мимо чашу сию». И как огнем по бархату черной ночи вспыхнули пред ним слова: «Нет больше любви, как душу свою положить за други своя», — вот что заповедано ему. Не сохранять душу свою в тиши жизни, а жертвовать ею во благо народа своего, — вот в чем непобедимое оправдание его дел.

Облегченный, он снова примостился к столу, чтоб написать воззвание к народу. Было тихо, лишь старуха бредила на печке да Малайка похрапывал в углу. Оплывала свеча, прилепленная к опрокинутой деревянной чашке, коричневый таракан по каким-то неотложным делам спешно пересекал столешницу. Кошка, засверкав круглыми глазами, бросилась к печке на мышонка, снова запел петух. Грязнов перекрестился.

«Всему свету известно, — стал выводить он гусиным пером строки, — сколько во изнурение приведена Россия, от кого же — вам самим то небезызвестно: дворянство обладает крестьянами. Хотя в законе божьем и написано, чтоб дворяне крестьян так же содержали, как и детей своих, но они хуже их почитали собак, с которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество горных заводов и так крестьян работой утруждали, что и в каторге того не бывает. Великий же государь Петр III, ежели снова на престол свой вступит, избавит народ свой от ига работы».

Он дальше писал, что дворянство сбросило государя и заставило его скитаться одиннадцать лет за то, что он приказал отобрать от помещиков всех крестьян, что и ныне то же самое дворянство распускает слух, что будто бы государь есть самозванец, донской казак Пугачев, с позорными клеймами на щеках и на лбу... Враки!

«Сдавайте город, сдавайтесь на милость государя! Знайте, братья во Христе, что каменные стены не спасут вас. И в великое удивление мне, что вы, мирянушки, не хотите себе добра и не покоряетесь. Орды неверные покорились государю, а вы противитесь».

Он дал сам себе обещание: как можно сберегать свою армию от кровавых ранений, от смерти. И да будет над всем воля божия.

Он послал в город с особым гонцом оба воззвания — и не получил ответа. Тогда он подошел к городу с огромной толпой своей и растянул ее «вдоль по рознице, чтоб городским жителям казалось силы боле». Город молчал. Он велел открыть пальбу по крепости из пяти пушек.

Грохотом восемнадцати орудий ответил ему город. Сделав десять залпов и, не желая брать Челябинск штурмом, Грязнов приказал отступить опять к деревне Маткиной.

10 января, на восходе солнца, армия Грязнова, возросшая за последнее время до пяти тысяч человек (прибыли крестьянско-рабочие отряды из Кыштымского и других заводов), снова, уже с восемью пушками, подступила к городу.

Челябинцы сделали вылазку. Произошла горячая схватка. Хорунжий Невзоров, окруженный «ружейными» людьми, в каком-то диком исступлении наскакивал на неприятеля и, размахивая саблей, до хрипоты кричал:

— Сдавайтесь, сдавайтесь! Бросайте оружие! Покоряйтесь императору Петру! Урра!

В яростной драке он был выбит из седла и захвачен в плен.

Грязнов, помня свое обещание оберегать людей и не видя покорности от города Челябинска, отступил со всей своей армией до Чебаркульской крепости. При отступлении он объявил народу:

— Отправляйтесь со мной токмо желающие. А кто не согласен — куда хотите, туда и идите.

Многие разошлись по своим жительствам. Он оставил под Челябинском лишь небольшую толпу

башкирцев с наказом никого не пропускать в город и никого из города не выпускать.

Хорунжий Наум Андреевич Невзоров был подвергнут допросу с тяжелыми пытками и чрез пятнадцать часов после жестокого избиения скончался смертью мученика. Последние слова его были:

— На вашей стороне сила, на нашей — правда. Слепые вы кроты!

2

В это же время, и с той же неудачей для пугачевцев, протекала и блокада города Кунгура, центра Пермской провинции, куда был послан табынский казак Иван Степанович Кузнецов, который Зарубиным-Чикой назван «главным российского и азиатского войска предводителем».

Атаман Кузнецов — человек молодой, грамотный, толковый, расторопный. Отряд правился под Кунгур чрез уральские заводы, где, по приказу «графа Чернышева», атаман Кузнецов должен был набирать в свою толпу людей, а также брать пушки, зелье (порох), ядра, казну и все это направлять с охраной в Чесноковку и в Берду — для главной армии.

В Катав-Ивановском, Саткинском и других заводах, куда заезжал Кузнецов, все заводское крестьянство и работные люди «встречали и принимали его беспрепятственно». В саткинском заводе Кузнецов огласил манифест Пугачева с обещанием земли, вольностей и с призывом заготовлять для государя пушки, мортиры и вооружение. Работные люди ответили на манифест шумной радостью и стали выкрикивать из толпы:

— Оный манифест приказчик наш от народа скрыл, а батюшку-осударя всячески поносил позорным словом!

— Люди работные! Успокойтесь! — прокричал Кузнецов. Он — высокий, тощий, безбородый, только черные усы прильнули к впалым щекам накрученными кольцами. — Жизню вашу устроим, новые порядки заведем. А приказчика — в петлю!

— В бегах он, батюшка, ваше благородие, как вас... Утек, паскуда!

Был разбит «господский дом» управителя Саткинского завода, забрано все состоящее в оном имении — лошади, рогатый скот, экипаж, утварь, — взято в конторе до десяти тысяч денежной казны, а также двенадцать пушек и больше пяти пудов зелья, — все это для отправки в главную армию под Оренбург. Были выбраны всем народом для местного распорядка атаман, есаул, урядники.

События под Кунгуром развертывались так.

В конце декабря, узнав, что к Кунгуру приближаются башкирцы, воевода Миллер, человек трусливый, но заносчивый, вместе со всем начальством ночью, скрытно, бежал из Кунгура в Чусовские Городки. В управление брошенным городом вступил кунгурский магистрат, ведавший купечеством, и при помощи купцов начал готовиться к обороне. Под руководством двух торговых людей, братьев Хлебниковых, кунгурцы приступили к устройству батарей и к расстановке на них пушек, а жителям внушено было действовать «без всякой робости и трусости».

Подступившая к городу толпа башкирцев под началом Батыркая была дважды разбита и отступила в окрестные деревни. И все-таки, несмотря на видимый успех, кунгурцы считали себя беззащитными: вражеская сила была значительна, а порох подходил к концу. И совершенно неожиданно, как в засуху благодатный дождь, явился в Кунгур секунд-майор Попов с отрядом в четыреста человек вооруженных новобранцев.

Энергичный и умный боевой офицер, он взял оборону города в свои руки. Ободренные его разумными мерами, кунгурцы усердно помогали ему. Из позорного бегства явился наконец «градодержатель» воевода Миллер со всеми чиновниками.

Попов разбил город на участки, в каждом участке возглавлять воинские отряды поставил офицеров и расторопных, вроде братьев Хлебниковых, молодых

купцов, настоял прекратить по кабакам продажу вина и пива, усилил дозоры и пикеты. С наступлением темноты и до утра командиры должны находиться на своих местах и ночевать с солдатами. «А на все труды и опасности я усердно всего себя полагаю».

9 января, в полдень, восставшие подошли к Кунгуру по трем дорогам: от Осы, Екатеринбурга и Казани.

— Зачем вы нас мучите? — кричала у стен партия наездников-башкирцев. — Мы в мире хотим жить с вами. Только выдайте нам воеводу да начальников, а город сдайте. Мы не тронем вас.

С городского вала загрохотали пушки. Мятежники подались назад, но не разбежались.

Тогда Попов с небольшим отрядом при одной пушке произвел вылазку и бесстрашно атаковал неприятеля. Враг бежал. Испробовав свою силу и довольно слабые боевые качества врага, Попов решил дать сражение башкирцам в поле. 11 января он выступил из города. Пройдя три версты, он встретил пятисотенную толпу башкирцев под начальством Батыркая и вступил с ними в бой. После перестрелки, понеся большие потери, башкирцы бежали за двадцать верст, в селение Усть-Кишерт.

Секунд-майор Попов был встречен городом как герой. Жители кричали его отряду: «Ура, спасибо, братцы!» Был отслужен в соборе благодарственный молебен, прочитан манифест императрицы. Пучеглазый градодержатель воевода Миллер, потрясая шпагою и ударяя себя в грудь, произнес горячую речь, призывал к самозабвению и храбрости при защите богоспасаемого града Кунгура.

Молящиеся, дивясь столь великой наглости Миллера, переглядывались друг с другом, язвительно улыбались. А подвыпивший печник крикнул:

— Сволочь!

Его забрали и, по приказу воеводы, выдрали.

Вожди мятежных башкирцев и заводских крестьян: Салават, Канзафар, красноуфимский писарь Мальцев и другие, узнав про неудачи Батыркая, со-

брались со своими толпами в Старом Посаде и держали совет, как взять Кунгур.

В этот же день прибыл к ним и принял общее командование Иван Степаныч Кузнецов.

Прежде всего он отправил кунгурцам увещание, в коем призывал жителей верить тому, что объявившийся император Петр III есть истинный царь, «из неизвестности на монарший престол восходящий». Кузнецов уверял, что он уже прикладывает все старания к восстановлению разрушенных по неведению башкирцами церквей и просит жителей, не оказывая сопротивления, покориться.

Ответа от кунгурцев не последовало. Тогда утром 23 января, с двухтысячной толпой, Кузнецов подступил к Кунгуру и открыл пальбу из семи орудий. Кунгурцы, жалея порох, отвечали на выстрелы редко. Тогда Кузнецов велел подкатить пушки на ружейный выстрел. Над головами защитников засвистали ядра. Секунд-майор Попов и прочие офицеры ободряли жителей, но некоторые из них по неопытности, иные по трусости выходили из послушания, убегали со своих постов, прятались от свиста ядер по заугóлью. Бесстрашные братья Хлебниковы увещевали их словами, а нет, так и сильным кулаком, вернуться на места.

На ближайшей к мятежникам батарее Попов сам наводил пушки. Вот пушка ахнула картечью в группу всадников со знаменем. Всадники с гиканьем скакали вдоль линии мятежников и вдруг от выстрела смешались, поскакали обратно: две картечины стегнули в башкирского вождя, молодого Салавата.

Возле дома воеводы Миллера стояла наготове тройка, запряженная в простые крестьянские розвальни, а сам воевода, в женском меховом салопе, в длинных валенках, повязанный огромной шалью, вообще замаскированный под старую бабу, в большом волнении вышагивал по опустевшим своим горницам, охая и подпрыгивая при каждом пушечном выстреле.

Проходившие жители толпились возле тройки, шумели:

— Не пускай, братцы, не пускай его, немчуру! А ежели вздумает бежать, бей насмерть!.. За этакого воеводу и государыня не вступится.

Башкирцы, вооруженные лишь стрелами да пиками, на штурм идти опасались, лишь орали во всю глотку:

— Выдавай воеводу! Выдавай изменника Попова!

Кузнецов к вечеру прекратил обстрел и отвел толпу на четыре версты от города. Все стихло.

По улицам двигался верхом на рослом коне, одетый не под старую бабу, а уже во всей своей боевой форме градодержатель воевода Миллер, шпага сияла серебром. Объезжая батареи и пикеты, он, выкатив глаза, воинственно кричал в сторону хмуро улыбавшихся защитников:

— С победой, отважные молодцы! Враг бежал! С нами бог и государыня великая Екатерина!

Мятежники много времени отсиживались в окрестных деревнях. Раненный в ногу и руку, Салават Юлаев уехал к себе на родину.

Желтолицый, сухой, скуластый, с закрученными в кольца черными усами, Иван Кузнецов особыми военными способностями наделен не был, но старался во всем подражать своему дружку «графу Чернышеву», с которым был знаком сызмальства. Он никогда не унывал, любил кутнуть и, подвыпив, был всегда задирчив. Как-то, во время попойки в квартире Канзафара Усаева, между ним и Канзафаром произошла передряга.

— Какой ты мне начальник! — напористо сказал выведенный из терпения, всегда спокойный Канзафар. — Меня сам бачка-осударь ставил, и я не слуга тебе.

— О, черт! О, черт какой! Слыхали, братцы? — заерзал на скамье склонный к ссорам захмелевший Кузнецов. — Ты другой раз мне этого не моги говорить: я главный российского и азиатского войска предводитель! Ну, стало, и над тобой я предводитель. Черт толстый!

— Наплевать, что ты такой-сякой. Я сам полковников ставлю, — эвота недавно колченогого Белобородова полковником назначил. И ты не указ мне! Шайтан!..

Задетый за живое, Иван Кузнецов стиснул зубы, судорожно сгреб скатерть на столе, посунулся к сидевшему против него дородному Канзафару, но сдержался, только, засверкав глазами, крикнул ему в упор:

— Арестовать, арестовать изменника! Я от «графа Чернышева» главный! Ярлык при мне!

Канзафар с ленивостью взглянул на вскочившего Кузнецова, сказал спокойно:

— Руки коротки, чтобы меня арестовывать. А ежели я тебе не по нраву, бери русских и командуй ими, а ко мне с Салаваткой не цепись. Уйдем от тебя, ежели орать будешь, и всю башкирь с татарвой уведем. Пьяный шайтан ты! Барсук!..

Кузнецов замотался на месте, топнул, испустил какое-то невнятное мычание и, схватив недопитый стакан, с маху плеснул вином в жирное лицо башкирца. Гуляки со страху разинули рты, опасаясь кровавой схватки.

Канзафар промигался, не спеша отер лицо рукавом белой рубахи, встал, высокий и дородный, молча шагнул к схватившемуся за саблю Кузнецову, крепко, до хруста костей облапил его и вытолкнул за дверь.

Кончилось тем, что оскорбленные кузнецовские казаки — а их было в толпе сотни полторы — вступились за честь своего главного начальника.

На следующее утро вооруженный казачий отряд явился в избу Канзафара. По письменному приказу Ивана Кузнецова Канзафар был арестован, закован в железа и направлен на одноконной подводе с веревочной упряжкой в Чесноковку, на суд уфимского царька Зарубина-Чики. Следом за Канзафаром выехал в Чесноковку и сам Кузнецов.

Управлять толпой остался атаман Мальцев, бывший красноуфимский писаришка. Ему ли, пьянчуге, мечтать об овладении Кунгуром? Он лишь заботился

о том, чтоб удержать свою толпу под городом и не выпустить из него майора Попова.

Время тянулось под Кунгуром в бездействии, и времени прошло много.

Бибиков понимал, что Кунгур является важным пунктом, и старался скорее освободить его от блокады. Он послал на выручку Кунгура и для наведения порядка в крае опытного офицера Гагрина с двумястами человек Владимирского полка при двух орудиях.

25 января Гагрин вошел в город беспрепятственно: мятежники, проведав о приближении его отряда, быстро отступили.

8

Более удачны были действия полковника Белобородова.

Расставшись с Канзафаром, он направился по большой дороге к Екатеринбургу и 18 января прибыл на казенный Билимбаевский завод, расположенный в западных предгориях Урала[1].

Остановившись в доме бежавшего со всем семейством управителя, он потребовал к себе писаря горного ведомства Дементия Верхоланцева. Это был рослый белокурый парень, себе на уме.

— Здравствуй, друг любезный!..

— Желаю здравствовать вашему высокоблагородию! — гаркнул от двери Верхоланцев.

Полковник Белобородов, в праздничной шерстяной рубахе, с аппетитом пил после бани чай с липовым медом и сибирскими румяными шаньгами. Его угощала стряпуха управляющего, старая сибирячка Власьевна. Она — в набойчатом синем сарафане с белой травкой и в черном повойнике. На столе, накрытом браной скатертью ярославской мануфактуры,

---

[1] В тридцати пяти верстах к северо-западу от Екатеринбурга.

стояли серебряные стопки и четыре хрустальных графинчика с настойками: ежевичной, рябиновой, смородинной и облепихи-ягоды.

— Сколько у вас людей на заводе самосильных, чтоб со мной в поход могли выступить? — обратился Белобородов к Верхоланцеву.

— А так что горнорабочих подходящего естества наберется человек с полтысячи, ваше высокоблагородие!

— Ну, так ты, любезный, подготовь их к завтрашнему утру на посмотренье мне.

— Сполню, ваше высокоблагородие!

Белобородову нравилось, что его величают «по-господски», но в то же время как-то и неловко было. Он сказал:

— Я ведь не больно-то шибкий барин... Я, допряма скажу, такой же, как и ты, простой человек, отставной солдат. А как объявился наш батюшка Петр Федорыч Третий, положил я в своем сердце послужить ему по край ума своего. Да ты садись, Верхоланцев. Власьевна, плесни ему травки-то этой... барского чайку-то.

Верхоланцев отнекивался, ежился, но после второго приглашения сел. Власьевна, его родная тетка, налила ему чаю, придвинула морщинистой старушечьей рукой шаньги, вздыхая и крестясь на богатый киот с иконами, принялась рассказывать Белобородову о том, как страждет на заводах простой народ.

— Мне все ведомо, знаю, — перебил ее Белобородов. — А ты вот лучше расскажи мне, молодец, какие да какие тут, возле Екатеринбурга, заводы стоят?

— Слушаюсь... Вот пожалуйте, ваше высокоблагородие, к стенке. Там карта висит, на ней занесены всякие жительства, а такожде заводы всего горного ведомства.

Хорошо грамотный Верхоланцев был вхож к управляющему, имел от него разные ответственные поручения, часто ездил в Екатеринбург и поэтому знал

всю подноготную о горном деле на Урале, и главное — настроение рабочего люда. Умный Белобородов быстро схватывал и запоминал все, что рассказывал ему, тыча перстом в карту, писарь Верхоланцев.

Разговаривали они очень долго: Власьевна успела подогреть самовар и приготовить яичницу. А вот ужо каким обедом угостит она этого колченогого, из простых солдат полковничка! Она сдобных пирогов настряпает, гуся зажарит, маринованных рябчиков с моченой брусникой-ягодкой подаст, рыжиков с луком да сметаной, в кипящем сохатином сале испечет пшеничных пышек с хрустом, пусть полковничек на доброе здоровье покушает их со сливками, с вареньицем. Ежели завод не удержится за новым царем-батюшкой да, боже упаси, старый управитель вернется, она и пред ним сумеет оправдание себе найти: злодеи, мол, ей в лоб два пистолета наставили, а против сердца, мол, вострый нож держали, так тут уж пес с ними и с рябчиками!

Белобородов, слушая речи писаря, посматривал за окно на улицу. Вся площадь перед домом ожила. Взад-вперед сновал народ, как на пожаре: кто верхом, кто пеш, кто на подводе. А возле крыльца зеваки гуртовались, с любопытством посматривали на окна, пробовали заговаривать с вооруженными, стоявшими при дверях казаками. Чрез двойные рамы долетали до слуха Белобородова приглушенные крики:

— Эх, винишка бы, угощеньица бы!.. Ведь не кто иной, а сам государев полковничек припожаловал.

— Ванька! Ори громчей. У тя голос-то, как у медведя... Требовай!

Опираясь на палку с завитушкой, Белобородов похромал к столу и, продолжая чаепитие, стал выспрашивать Верхоланцева о Екатеринбурге.

Что ж, с полным нашим удовольствием! Екатеринбург город приличный. А главный начальник города, крепости и всех заводов, полковник Василий Афанасьевич Бибиков, человек вялый, малодушный

и ненадежного ума. («Дурак не дурак, а захлебнувшись»). По приезде в Казань генерал-аншефа А. И. Бибикова стали в Екатеринбург поступать сведения, что в Исетской провинции неспокойно. Тогда наш полковник Бибиков, перетрусив на военном совещании, ляпнул, что Екатеринбург он держать отказывается и, чтобы не сделаться бесполезною извергов жертвою, всем благородным жителям предлагает выехать отсель в места безопасные. Хотя полковник Бибиков и приказывал сохранять его решение от народа в тайности, однако народ узнал об этом и пришел в великую робость и уныние. Особенно когда увидал, что у полковника пятьдесят подвод на дворе к побегу в готовности.

Тем временем многие жители Екатеринбурга потянулись с возами к Верхостурью да к Верхотурью. Бежали и власти. Да не токмо из Екатеринбурга, а даже из многих Камских заводов; еще в глаза не видя государевых отрядов, должности свои покинули. Вот и управитель ихнего Билимбаевского завода тоже удрал со своей семьей.

На следующее утро Верхоланцев снова был допущен к пугачевскому полковнику.

— Ну что, любезный друг, исполнил ли ты мой приказ? — спросил его Белобородов.

— Точию исполнил, ваше высокоблагородие! Всю ночь не спал. Да и весь завод глаз не сомкнул.

Белобородов вышел на улицу в лисьей шубе, при бедре сабля. Опираясь на палку с завитком, он обошел пятьсот человек горнорабочих, выстроившихся против его квартиры в одну шеренгу. Он отобрал в свой отряд триста человек, боеспособных по виду, остальных — малолетних и слабых — забраковал. Затем вынул свою саблю, торжественно приподнял ее вверх и, подозвав Верхоланцева, пожаловал его в чин походного сотника.

— А вас, ребята, поздравляю с товарищем!

Толпа ответила криками «ура», а Верхоланцев поклонился полковнику и принял от него саблю.

— Когда, батюшка, в поход пойдем? — вопрошали из толпы.

— Ждите письменного от меня приказа! — гулко, по-солдатски, прокричал Белобородов. — Можете по жительствам расходиться.

Толпа бросилась громить два кабака. Уже был связан кабатчик, уже вышиблено бочонку дно, и пьяницы побежали в погреб выкатить для распития еще бочоночков с десяток, как подошли к Белобородову четыре мастера и двое молодых людей работных. Высокий старик в самодельных очках, поклонившись ему, начал говорить:

— Батюшка полковник царской! Вот мы, мастера, кои при домнице, кои на кричных молотах, прибегли упредить тебя. Напились многие... буянят... Мы было унимать бросились, так нас едва не потоптали. Останови, отец!

Белобородов кликнул Верхоланцева, велел ему:

— Сотник, возьми казаков! Безобразие у кабака пресечь, вино выпустить в землю. А на заводе, у всех мастерских, крепкий караул поставить!

Вскоре разгул у кабака прекратился. Белобородов, прихрамывая, шел осматривать завод, вел в пути разговоры с мастерами. То один, то другой работник говорил:

— На заводе нашем людишки всякие. А как услыхал народ, что твоя милость к нам припожаловала, углежоги с куреней да дровосеки набежали, — народ оголтелый, им всласть винца пожрать, душа горит. Эвот на той неделе боле сорока семейств пригнали с Расеи, их какой-то барин в карты проиграл нашему хозяину. Ну так им терять нечего... Ухорезы! Так уж ты, господин полковник, не перекладай их охальничанья на нас, людей работных. Мы-то, коренные работники, званья не возьмем безобразить...

— Ну да ведь я рабочий люд довольно знаю, — сказал Белобородов, ласково посматривая в серьезные лица мастеров и подмастерьев. — Они и на работу люты и в ратном деле хоть куда. А много ли коренных-то у вас?

— Да сот до пяти, отец. А всего-то людства поди и в четыре тыщи не уложишь. Ведь у нас баш-

кирцев да татар с черемисами немало. Ты, отец, построже с кобылкой-то востропятой, с буянами...

Пока Белобородов в сопровождении мастеров осматривал завод, толпа, хотя и лишенная соблазна выпить, все же продолжала шуметь и колобродить.

Белобородов пока что смотрел на дурачества толпы сквозь пальцы (пусть душу отведут!), он только выставил охрану на заводе и возле казенных складов. Его отряд возрос теперь до шестисот человек. Наименовав всех казаками, он разбил толпу на три части: русские, башкирцы, черемисы; над каждой частью поставил по сотнику. Каждому из сотников сочинил особую инструкцию: «Накрепко подтверждаю, чтоб воинские команды содержать во всякой строгости и крайне наблюдать, чтоб было все в единодушном его императорскому величеству усердии. А если кто из казаков оказываться будет в самовольствах, озорничествах и вам в непослушании, таких упорственников наказывать вам без всякой пощады плетьми: русских при собрании русской и татарских команд, татар — при собрании татарской и русской команд. Ежели же и затем кто окажется в наивящем своем упорстве, то уже для настоящего усмирения присылать ко мне».

Сочинять этот первый приказ было Ивану Наумычу весьма приятно: упоение властью обволакивало его мятущуюся душу. После трудового дня, после вкусного обеда и ужина он удобно лежал на управительских пуховиках в жарко натопленной горнице; перед образом лампада горела, на стене ковер с гривастым львом, на полу тоже пушистый шерстяной ковер, на окнах занавески, за окнами ночь, мороз и... неизвестность. Душу обсасывало непонятное томление — то сладостное, обольщающее великими надеждами, то гнетущее, от которого захватывало дух и сжималось сердце. Кто он, тридцатипятилетний колченогий солдат, мелкий торговец дегтем, медом, хомутами и веревками? Кто нарек его полковником?..

Так вопрошал он, вглядываясь в трепещущий от мерцания лампады красноватый полусумрак, и не

получал ответа. Строгий Никола-чудотворец, сдвинув брови, немилостиво взирал на него с иконы.

Белобородову становилось душно. Он осенял себя крестом, скороговоркой бормотал взахлеб молитву, был готов подняться с кровати, незаметно выбраться из чужих хором, крадучись вскочить на коня и мчаться, мчаться в Богородское, к родному своему дому, к жене и двум малолетним дочкам, к такой тихой, такой понятной и простой жизни, где «сегодня» похоже на «вчера», точь-в-точь такое же, как «завтра». Тихо, спокойно, малогрешно...

А что, ежели действительно без оглядки бежать, пока не поздно? И кто-то шепчет ему разящим душу голосом: «Лезешь в волки, а хвост у тебя собачий».

И вдруг из темного угла, из-под полу, из-под резной полированной кровати вздыбило нечто безликое, мрачное, опрокинулось на него и прикрыло своими черными, как сажа, раскидистыми крыльями. Белобородов пискнул, как цыпленок в когтях коршуна, и разом провалился в преисподнюю, в бездонный, в беспамятный, в смертный какой-то сон.

В Билимбаевском заводе прожил Белобородов недолго и перешел в Шайтанский купеческий, покорившийся ему завод, что в сорока верстах от Екатеринбурга. Отсюда отправил тридцать человек в Уткинский казенный завод со строгим приказом, чтобы жители покорились ему и шли на службу к государю. Жители не противились, а заступивший место сбежавшего управителя унтер-шихтмейстер Журбинский выехал на поклон к Белобородову и отвез ему 1500 рублей казенных денег. Вот и денежки завелись! Теперь можно и жалованье казакам выдать.

Белобородов произвел Журбинского сотником, приказал вернуться на Уткинский завод и набирать там ополчение для государя.

А сам со своим отрядом двинулся по дороге к Екатеринбургу. Он рассыпал казачьи мелкие части, а также своих агентов по жительствам и заводам, дабы приводить население к присяге на верность Петру III.

Некто Яков Волегов, живой свидетель тех дней, заносил в свой дневник:

«Для прельщения простых людей разъезжает с партией в знатной одежде наряженный казак, имеющий на голове золотой колпак с портретом якобы покойного императора Петра III, и носит с собой указ на показание за царской подписью народу, и приводит многих простяков в свою пагубную шайку. Мне сдается, судя по слухам, уж не Верхоланцев ли это Дементий?»

Белобородов меж тем приступил к дворянина Демидова Уткинскому непокорному заводу[1], где находился сержант Курлов с шестью солдатами и крупным отрядом вооруженных мастеровых. Курлов хорошо организовал защиту. Осада продолжалась трое суток, на четвертый день пугачевцы все же одолели. Взято было ими пятнадцать пушек, много пороха. Курлов был заколот.

После одержанной, хотя и нелегкой, победы душевное состояние Белобородова круто изменилось. Сам командуя в бою и подвергая свою жизнь опасностям, он стал себя чувствовать куда как крепче. И тревожные думы о своем селе Богородском, о домашности иссякли в нем, как высыхают в жаркие дни степные малые речушки. Да и думать-то о делах житейских было некогда; своих, военных, забот полна охапка. Надобно за всем самому смотреть — «свой глаз — алмаз», — верстать рабочих в казаки, забирать и вести учет деньгам, назначать правителей, в покоренных заводах оставлять верные гарнизоны, — словом, всюду наводить строгий боевой порядок.

Вскоре Белобородов выбрал лучших людей: трех русских, башкирца и черемиса.

— Вот что, друзья мои, видели ли вы когда-нибудь государя императора?

— Нет, батюшка. Не доводилось.

— Ну так поезжайте в его армию с пренижайшим от меня поклоном, расскажите о наших делах-

[1] Уткинских было два завода: казенный и частный, Демидовский.

делишках, да получше присмотритесь-ка, да прислушайтесь, чтобы знать в доподлинности, что есть он Петр Федорыч Третий — император. А то, сами знаете, в манифестах государыни всякую несуразицу плетут.

Много было у Белобородова побед, но вот и — неудача: Сысертский купца Турчанинова завод наотрез отказался признать какого-то там Петра Третьего, проходимца из беглых казачишек. Сам хозяин обнес завод рогатками, надолбами, устроил батареи, насыпал снежный с хворостом вал, полил его водою — не скоро-то на него заскочишь, — хорошо вооружил своих рабочих, а главное — наобещал им всякие турусы на колесах и для поддержания боевого духа сдабривал подарками и подпаивал винцом тех из них, кои почитались «в заводилах».

В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, тысячная армия[1] Белобородова тщетно пыталась овладеть заводом.

Из Екатеринбурга была выслана на помощь осажденным большая воинская команда. Белобородов отступил.

4

Заглянем опять в Берду, в главную ставку пугачевской армии.

Отец Иван жил вместе с Бурновым в маленькой покосившейся хате. Он допился до чертиков и в горячечном состоянии был опасен. В своей избе порубил топором стол и табуретки, разворотил печь, отыскивая в ней спрятавшихся бесов, ошпарил кипятком черного кота, а бородатую козу убил поленом, приняв ее за нечистую силу. Одутловатое лицо его с отвисшими мешками ниже глаз стало багровым, водянистые, выпученные глаза блуждали, как у сумасшедшего, он весь трясся и был жалок видом. Захворав белой горячкой, он сразу бросил пить. Бурнов стал ухаживать за ним, как за родным отцом: каждый день водил его в жаркую баню, до потери сознания хвостал его там

[1] 700 башкирцев, 300 заводских крестьян.

веником, отпаивал огуречным рассолом, кормил кислой капустой, редькой, луком, чесноком. И ни капли не давал вина. Сознание попа начало постепенно проясняться. А когда коновал припустил ему двадцать пять пиявок, отец Иван окончательно в ум вошел.

Спустя неделю после вытрезвления, однажды вечером, под завывание жестокой бури, они затопили русскую печь и на придвинутой скамье оба уселись возле живого огонька. Свечу не зажигали, так лучше. Сумерничали молча, бесперечь курили трубки, вздыхали.

Отец Иван весь как-то обмяк душой, ему захотелось поведать о себе постороннему человеку, услышать от него сочувственное слово. Дрова, потрескивая, разгорались. Отблески красноватого пламени прыгали людям на колени, елозили по груди, озаряли задумчивые лица, и узкое оконце с морозной белой росписью плавно покачивалось, розовело.

— Я Иван да ты Иван... два Ивана, — начал поп и прищурился в хайло печки на игривые взмахи пламени. — Два Ивана мы с тобой, токмо поставлены богом в разные концы. Я — жизнь давать людям чрез святое крещение в купели, а ты — смерть. И хоть в разные концы мы поставлены с тобой, два Ивана, а дорога наша таперичь одна — во ад кромешный, в пекло, идеже плач и стенания. — Расстрига поп горестно покивал поникшей головой и, потрепав мрачного соседа по плечу, молвил: — Слушай, чадо Иване... Как приспеет тебе время на шее моей петлю затягивать, молю тебя: сперва ударь меня по затылку кирпичом, чтоб очумел я... Просто-напросто возьми да и тяпни! Трезвый молю тебя о сей милости. А то боюсь, страшно.

— Пошто я тебя стану вешать?

— Нет, нет, будешь... Чую, что будешь! Тебе повелят тако сотворить. Язык мой неистов. Я страшусь, как бы не повернулся он супротив батюшки. А батюшка иным часом лютует... Сам не свой... Зело боюсь.

Угрюмый Бурнов молчал, поленья потрескивали, бушевала вьюга, калитка во дворе скрипела и хлопала.

— Хочешь, поведаю тебе всю печаль мою? Никогда не говорил тебе, а скажу. Слушай. Сотворил мне толикое огорчение помещик наш, гвардии штык-юнкер в отставке, Гневышев, — начал бородатый батя, не обращая внимания на всегдашние грубости Ваньки Бурнова. Отец Иван был без рясы, в синих в белую полоску заплатанных портках из домотканины, в такой же рубахе, подпоясанной мочальной лычкой, и вдрызг растоптанных грязных лаптишках. В таком наряде он походил на обычного бородатого лысого мужика. — Попадья моя, Марья Митревна, осиротила меня еще в молодых годах. Умерла, голубка, премного мучаясь родами, и оставила на моих руках младенца, дочку Вареньку, небесного херувима... Ох, господи твоя воля!.. Тяжко и вспоминать-то мне...

— Ну, так и не вспоминай!.. Ишь пристал! — кричал Бурнов, в то же время подавая отцу Ивану уголек для раскура трубки.

— Балда, слушай, — сказал расстрига, попыхивая трубкой. — И вот взросла моя возлюбленная дщерь, аки лазорев цвет в саду. Столь прекрасна была моя Варенька, столь обильна женской прелестью, что зрящие ее ахали и руками восплескали: ах, красота, ах, зрелище небесное! И любил я доченьку свою превыше всего на свете. Ну да и она, спасибо ей... Только и слышалось, бывало, в горницах моих: «Папенька, милый мой папенька! Радость моя, папенька!» Господь среди нас пребывал, благодать божия почивала... И стал я, грешный иерей, жениха присматривать ей, голубице чистой, супруга благонравного. Приход наш был бедный, — а каков приход, таков и поп: жили мы с Варенькой в нуждишке. И одевалась она, как простая вахлачка, в лапотках ходила. Да ты, чадо Иване, слушаешь меня?

— А подь ты... Я про свое думаю... Отстань!

— Ну ладно, коли так. Молчать буду. Прильпне язык мой к гортани моея.

Обиженный поп смолк, закинул ногу на ногу, сугорбился. Бурнов, подбросив в печку дров, поворошил клюкой, снова сел плечом в плечо с расстригой, сказал:

— Чего молчишь, как удавленник? Сказывай!

— Вот арясина! — забрюзжал поп. — Ладно, слушай... Пошла как-то под осень Варенька моя с девчоночкой малой в лес по грибы и не вернулась... А девчоночка суседская вмах прибежала, чуть жива, трясется вся, говорит: «Наехал, говорит, с дворней со своей наш барин, подхватили они Вареньку, да и были таковы. Варенька на весь лес гвалт подняла, как кошка, говорит, царапалась, да где там... А я, говорит, со страху чуть не лопнула, ой!» Боже мой, боже мой! И с того клятого часа начались мои сугубые страдания, велия скорбь, горше человеческой... Иване, милый, ведь дщери, дщери единокровной лишился я. Слушай дале. Я в плач, я в стенания великие; власы на себе рву, головой об стену колочусь. Нарядился я во все новое, пошел к помещику, оскорбителю своему, усачу штык-юнкеру Гневышеву. Не допустили, в шею вытолкали. Я в город, с жалобой к воеводе. А там только зубы скалят, и никакой помощи. Гневышева все боятся — богач он, задаривает и воеводу и всех стрюцких. Так неделя проходит, другая проходит, и стал я, грешный иерей, попивать. А тут, под самую осень, такая пора подоспела, что ах! Мужицкие бунтишки по нашему уезду зачались то в одном, то в другом месте, крестьянство царя-заступника поджидало. Глядь-поглядь, привалила ко мне толпища мужиков с топорами, с вилами, с ружьишками и говорит: «Батя, мы тебя шибко жалеем, извелся ты весь. Хочешь, Вареньку твою от барина отвоевывать пойдем?» А я малую толику выпивши был. И вот всей толпой двинулись мы на барский двор. Тут дворня выскочила, егеришки, собачья псятня, — гвалт, лай, крики, стрельбище! Мои мужички как напрут, да как напрут, — кого перекололи, кого связали, в хоромы ворвались. Я командую: «Православные! Ищи кровопивца барина!» А старик дворецкий и говорит: «Барин вскочил верхом да в город за солдатами ускакал. Ужо-ка будет вам!..» — «Кажи, Архипыч, где Варенька моя?» — «А твоя поповна с прочими красотками в светелочках упомещаются, вверху». Мы гурьбой наверх — я да трое старичков, духовных чад моих. Вбежали мы

наверх по вертучей лесенке, рывком распахнул я дверь, глядь: прикорнула моя голубица на диване, горько плачет, кружевным платочком утирается. А сама одета, будто княгиня — в шелках да в бархатах, и на лебединой шейке земчуга. Я припал пред ней на колени: «Варенька, утешение мое, ангел божий! Выручать тебя прибежали мы... А ежели оскорбителя твоего, штык-юнкера, поймаем, в куски изрубим. Бежим скорей, несчастное детище мое!» А она как завизжит: «И не подумаю!.. А ежели ты, отец, хоть пальцем тронешь моего Васеньку, знай, удавлюсь либо зарежусь!» Чуешь, Иване, чуешь, что дщерь-то мне рекла?

— Вона! — закричал Бурнов. — Так и надо... И я бы не пошел к тебе, будь на ее месте...

Поп Иван, весь дрожа, посмотрел с горестью в его одноглазое страховидное лицо, с рыжими торчащими вихрами, тяжело закашлялся с сипотой и вздохом и, успокоившись, укорчиво сказал:

— Эхе-хе!.. Выгнала она меня, своего родителя, и ножкой топнула. Так у меня, веришь ли, сердце человечьим голосом застонало, кровь черными печенками спеклась. Я затрясся, с порога крикнул ей: «Ты не дочь мне. Ты блудница вавилонская. Будь проклята отныне и до века!»

— Дурак ты, распоп... Бороду гладишь, а денег нет, — проговорил Бурнов. — Уж на что рыбина, и та на добрую приваду идет, а человек, тем паче девка, и подавно...

Поп Иван встал, закинул руки назад и, сильно ссутулясь, будто нес он на загорбке мешок тяжелого, как свинец, горя, принялся ходить в сумраке от стены к стене. Палач живым своим глазом внимательно следил за ним.

— С тех самых пор, чуешь, заделался я беспросыпным винопивцем, — печально сказал поп. — За стаканчик почасту держаться стал. А тут оклемался малость и довелось мне парня с девкой в храме божием венчать. Как возложил на них венцы да повел вкруг налоя, замест «Исаия, ликуй» затянул я во всю глотку: «Ай, Дунай, ты мой, Дунай», подобрал рясу, да ну вприсядку... Меня и расстригли и с позорищем

превеликим из прихода изгнали. И стал я шататься по России, яко Христа ради юродивый. Конец свой чаял где-нито в крапиве под забором; да, слава богу, дал мне приют в жизни сам царь-государь. Аминь.

Возжженная попом-расстригой лампада сияла у икон. Бурнов готовил ужин, а поп Иван надел рясу, надел измызганный парчовый епитрахиль и, возгласив: «Господу помолимся!» — опустился пред иконой на колени.

— Молись, чадо мое, Иване!

— Отстань! — возразил Бурнов. — Так и так пропала душа моя.

— Молись, Иване!

— Отстань! Я лучше кашу разогрею к ужину...

Отец Иван под вой вьюги за окном с горячим усердием выкрикивал: «Боже, милостив буди нам, грешным!» — гулко ударялся лбом в пол, орошая половицы солеными слезами. Палач натаскал в большой чугун воды, с помощью ухвата задвинул его в пламенную печь, принес корыто, выволок из мешка грязное поповское исподнее: вот уложит попа спать и займется стиркой.

За ужином поп молчал, а палач вел разговор, бросая слова отрывисто и скупо:

— Видишь, глаз у меня кривой? Это — барин. А за что? Барин пьянствовал с голыми девками, а я, парнишка, в щелку, через дверь, подсматривал. Я при барине жил, трубку подавал. Матерь моя тоже при барине. Прачка. Барин приметил меня, выскочил! Меня за волосья. В прихожей цветок стоял. Он вытащил из плошки палочку — цветок к ней подвязывали. Бряк меня на пол! Сел на меня да вострым-то концом палочки тырк-тырк мне в глаз! Я заорал и чувствий порешился. Уж дюже больно! Вспомню — о сю пору мурашки по спине. Мамынька прибегла, барину по рылу. Тот свалил ее, топтать зачал. А она пузатая... Скинула мертвенького, померла. Батьки у меня не было. Сбитень я! Меня так и звали «Сбитень». Спалил я дом барский да в бега ударился. В казаки попал! А тут и к батюшке-царю. Бар ненавижу люто... И всех супротивников батюшки.

Вздернуть кого — кладу себе во счастье! Счет веду! Я царя-батюшку хоша люблю, только ежели не царь он, а обманщик, — и его повешу...

— Неужли, Иване?

— Вот те Христос, повешу!.. — прокричал Иван Бурнов, не подозревая, что в судьбе царя-батюшки ему доведется впоследствии и впрямь сыграть роль мрачную.

Поужинав, поп лег спать. Во сне мычал и громко бредил, иногда вскакивал, таращил неспокойные глаза, закрещивал воздух: «Сгинь, сгинь!» И вновь валился.

Бурнов с усердием долго стирал бельишко. Затем разогнул уставшую спину, осмотрел поповы ошметки-лапти и швырнул их в пламя, а возле кровати, на которой храпел поп, поставил свои запасные, подшитые валенки. Голова попа-расстриги скатилась с изголовья, — он спал, разинув толстогубый рот и чуть приоткрыв глаза; выражение отечного лица его было болезненно и жалко.

По спящей слободе горластые перекликались петухи, отбивали где-то близко «побудку» да высвистывала свою песню вьюга.

ГЛАВА VI

Державин у Бибикова. «На чернь обиженную уповаю я». Преступное место выжжено и проклято. Страшный сон

1

Из Самары вернулся в Казань Державин. Бибиков, одетый в теплый, на гусином пуху, шлафрок, принимал его в своем просторном кабинете. В углу, за ширмой, походная кровать генерал-аншефа. Хозяин пил горячий пунш, ему нездоровилось.

— Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, курите. Михайлыч, подай-ка господину офицеру трубку, — обра-

тился он к старому, толстому и ленивому слуге из крепостных. — Пуншу хотите, поручик?

— Не откажусь, ваше высокопревосходительство. Зело промерз с дороги, — домой не заезжал, торопился к вам, о самарских делах доклад чинить.

— Ну, как дела?

— Прекрасны...

— Прекрасны?! — зябко передернув плечами и засунув руки в рукава, недоверчиво переспросил Бибиков, внимательно всматриваясь в обшарканное степными ветрами мужественное лицо Державина.

— Прекрасны, да не совсем...

— То-то же! Ну, излагай, голубчик.

Державин жадно отхлебнул горячего пунша и начал:

— Как известно вашему высокопревосходительству, Самара была занята атаманом изувера Пугачева Араповым в самый праздник рождества Христова. Вы изволили приказать майору Муфелю двинуться из Сызрани на освобождение Самары, а подполковнику Гриневу выступить из Симбирска и идти на соединение с Муфелем. В конце декабря Муфель подошел к Самаре. Мятежники открыли по его отряду огонь из восьми пушек. Муфель атаковал врага в лоб и выгнал его из города штыками, захватив в плен двести человек и все орудия. Великий снег валил, страшная метель была, многие трупы убитых были занесены сугробами, многие же разнесены по своим домам обывателями, а посему и число убитых мятежников определить точно не можно.

— Обывателями, говоришь? Значит, жители Самары сочувственно встретили злодейскую толпу Арапова?

— Увы, господин генерал-аншеф... Даже и доднесь самарцы оказывали нам, своим избавителям, более суровости, нежели ласки.

— Что им надо, что им, малоумным, надо?

— Даже священники, этот столп и утверждение православной веры, и те нарушили присягу всемилостивой государыне, исключив поминовение ее имени в ектениях, а поминая имя злодея самозванца. Таковых

девять человек, сиречь все самарское духовенство. Поскольку мне было препоручено вами, генерал, блюсти порядок, я оказался в положении зело щекотливом: что делать с сими прегрешившими иереями?

— Арестовать! — насупясь и затягиваясь трубкой, воскликнул Бибиков.

— Винюсь, генерал, — смущенно молвил Державин и звякнул под столом шпорами. — Я не признал возможным сего делать опасения ради, что, лиша церковь священнослужителей, не подложить бы в волнующийся народ, обольщенный разными коварствами, сильнейшего огня к зловредному разглашению, что мы-де, наказуя попов, стесняем веру.

Бибиков согласно кивнул Державину, вызвал из канцелярии капитан-поручика Савву Маврина и сказал ему:

— Вот что, голубчик, сей же день съездите, пожалуйста, к владыке Вениамину, просите его моим именем немедля отправить в Самару девять доброчтимых священников взамен... э-э-э... отстраненных там по случаю бунта. И распорядитесь, чтобы оные долгогривые бунтари были доставлены из Самары ко мне, в Казань.

Лишь вышел Маврин, явился Зряхов, правитель канцелярии Бибикова. Всмотревшись в утомленное лицо главнокомандующего и положив пред ним список просителей, сказал:

— Мне сдается, ваше высокопревосходительство, что вы недомогаете. А посему, не прикажете ли закрыть список чающих аудиенции с вами? Записалось семьдесят девять человек.

— Боже мой! — И Бибиков схватился за голову. — Лезет всякий, кому надо и кому не надо. Да когда же я всех их смогу принять? Ведь этак и ночи не хватит. А мне еще надлежит на высочайшее имя пространное доношение сочинять, да князю Волконскому, да графу Чернышеву! Верите ли, вторую неделю не могу домой жене письма составить. Объяви, голубчик, что я смогу принять только сорок человек. Сошлись на мое нездоровье, извинись. Да отбери неотложно нуждающихся, достальных вежливенько выпроводи.

Когда Зряхов уходил, в кабинет чрез открытую дверь ворвался из приемной шумливый гул многих голосов.

— Вчерась бородатый купчина с медалью явился сказать, что он жертвует на нужды действующей против турок армии десять кип сукна и тысячу рублей. А сам, пьяный, повалился мне в ноги, а уж встать не мог. Ну, так я поблагодарил его и приказал отвести в часть до вытрезвления. Народ странный, но патриотизм есть! Однако зараза весьма сильна. И сие нахожу зело опасным, — говорил главнокомандующий Державину уставшим голосом. — Не Пугачев важен, важно всеобщее... э-э-э... негодование... Вот что, голубчик, страшно! А что ж Пугачев... Пугачев — чучело, которым воры — яицкие казаки — играют. Да, довели-таки мы чернь до пагубного состояния... Да не токмо чернь, а среди духовенства, среди горожан и того же купечества наблюдается шатание умов...

— И дозволено мне будет добавить: среди солдат.

— Верно, поручик! Сие тоже немало меня угнетает... Я сам в дороге слышал! Я говорю о военных частях, двинутых сюда на утушение мятежа. И вот тебе, — мне князь Волконский сказывал, якобы среди солдат, пришедших в Москву из Петербурга, всякая гнусь стала распространяться. Солдаты Владимирского полка болтали, что под Оренбургом, мол, не Пугачев, а истинный государь, да, мол, сама государыня уж трусит — то туда, то сюда ездит из Питера, а, мол, братьев Орловых и дух уж не поминается. За полком был учрежден строгий надзор, и в Нижнем несколько солдат довелось арестовать. Я это говорю тебе, голубчик, доверительно, как лейб-гвардии поручику Преображенского полка.

Державин в ответ поклонился и снова щелкнул под стулом шпорами.

Бибиков питал некоторую привязанность к этому толковому, исполнительному офицеру, а как человек образованный он ценил в нем и дарование стихотворца. С своей стороны, Державин, видя к себе отеческое отношение главнокомандующего, всеми силами старался не за страх, а за совесть служить ему.

— Разрешите рапортовать дальше? (Бибиков кивнул.) Четвертого генваря подполковник Гринев тоже подоспел в Самару, а вкупе с ним — и я. Расследовав положение дела, я распорядился наиболее опасных из самарских обывателей и в мятеже сугубо замешанных заковать в железа и отправить сюда, в Казань. А достальных... — Державин вдруг замялся и опустил глаза.

— Ну, что достальных? — как бы подталкивая смутившегося офицера, мягко спросил Бибиков. — Как ты выполнил приказание мое?

— А достальных, ваше высокопревосходительство, довелось для страха всенародного наказать плетьми.

— Вижу, молодой человек, тяжко тебе было этим заниматься по первости-то?

— Смею признаться, меня охватило в то время сугубое волнение...

— А мне, думаешь, легко все это? Думаешь, я сугубо не волнуюсь! — вскинув породистую голову, выкрикнул Бибиков. — Ну, продолжай.

— Всех самарских жителей снова привели к присяге. И внушено им было: как самого Пугачева, так и воровскую шайку его почитать разбойниками и злодеями.

— Внушено? — с насмешливостью улыбнулся генерал-аншеф и вздохнул. — Ах, молод, молод вы еще зело, поручик... Ну-с... А где теперь Гринев со своим отрядом?

— Подполковник Гринев, невзирая на темноту ночи и большую метель, дошел до пригорода Алексеевска, что в тридцати верстах восточнее Самары, и там остановился, дабы дать людям и коням роздых. И только отряд расположился, как был атакован двухтысячной конной толпой злодейских атаманов Арапова и Чулошникова. Подполковник Гринев построил свой малочисленный отряд в каре; пугачевцы много раз налетали на каре, но всякий раз достодолжный отпор получали. Разбойники ушли вверх по реке Кинели. И я беру на себя смелость доложить вашему высокопревосходительству, что наши солдатики во всех делах, и в Самаре и под Алексеевском,

проявляли должную отвагу и стойкость, так же и казаки, немало свергая злодеев с коней пиками.

— Ну, спасибо, голубчик Державин, — со вздохом облегчения сказал Бибиков, и морщины на его высоком лбу распрямились. — Это успокаивает меня, это придает мне веры. Да и со многих мест я получаю донесения, что войска, благодарение создателю, обходятся с сообщниками Пугачева как с мятежниками, и посланные команды всюду имеют верх над злодейскими толпами. Стало быть, ныне смело можно перейти нам в наступление. И тогда, с помощью божией... Да вот, смотри сюда...

Он подвел Державина к карте, раскинутой на огромном, придвинутом к окну столе, заваленном делами, бумагами, книгами. Тут же грудились немудрые дары, приносимые тайно от Бибикова, чрез его слугу, пухлого Михайлыча: банки с медом и вареньем, бомбоньерки с конфетами, диванные подушечки с вышитыми цветами и мопсами, картузы с лучшим табаком, шелковый вязаный колпак с кисточкой, носки, чулки, фланелевые портянки, графины, побольше и поменьше, с домашними наливками и пр. и пр. Все это добро было натащено поклонниками Бибикова: помещиками с их супругами, купцами, заводскими служащими и просто обывателями.

На возглас барина выплыл из-за ширмы толстяк в опрятной ливрее и, запыхтев, остановился вблизи. Лицо старого слуги круглое, приятное, с большими ласковыми глазами.

— Зачем, Михайлыч, ты все это берешь? — проговорил, кивая на презенты, Бибиков.

— А как же не брать, батюшка Лександр Ильич, раз дают? Это они от усердия, ведь они ничего не просят. Этак недолго и обидеть, людей-то... Гоже ли будет?.. Сказано: всякое даяние благо, и всяк дар совершен, батюшка Лександр Ильич...

— Ну, нешто с тобой сговоришь! Вот это варенье, бомбоньерку и достальное все отвези ребятам в гимназию, вон тут и копченая рыбешка, и сыр, и голова сахару. Да, кажется, здесь есть детский приют, туда отвези... Ступай!.. Ну дак вот, Гаврило Романыч,

гляди сюда! Тебе надлежит в курсе всех наших дел быть. Гляди скорей: вот Челябинск, вот Кунгур — оба эти города блокируются пугачевцами: Грязновым да Кузнецовым с Канзафаром. Вот Самарская линия, вот Казань, Сызрань, Оренбург. — И Бибиков, делая карандашом отметины на карте, стал излагать план наступательных действий. — Всюду, куда нужно, уже двинуто несколько отрядов с приказом не только ловить, уничтожать и пресекать, а главное, самое главное — внедрять и выправлять поколебленный порядок. Да не крутыми мерами, а попечением отеческим, ибо виселицей неразумную чернь не устрашишь, ее лишь отпугнешь, озлобишь, укажешь верный путь в стан Пугачева. А для сего, помимо храбрости, помимо искусства воевать, нужна житейская мудрость и сердце не заскорузлое. Словом, нужны настоящие люди! А где их взять? А где их взять? — с горячностью и досадливой печалью дважды вопросил Бибиков и внимательным взглядом уставился в лицо распрямившего плечи Державина, затем, бросив карандаш, воскликнул: — Ба! Ведь я ж забыл... Совсем из памяти вылетело. Да Михельсона сюда надо, Ивана Иваныча! Ты, Державин, когда-либо встречался с ним?

— Никак нет, не доводилось. Но слыхать слыхал.

— Подполковник Михельсон!.. Храбрец и умница... Завтра же пошлю бумагу. — Бибиков слегка прищурил карие глаза, посмотрел вбок, в пространство, мысленно представил себе весь внутренний облик Михельсона и, одобрив свое решение, снова обратился к Державину: — А пока слушай... пока я опираюсь на двух действующих со мной военачальников: на генерал-майора Мансурова и князя Голицына. Мансурову предписано мною принять общее начальство над четырьмя легкими полевыми отрядами, продолжать наступление живо и проворно вверх по реке Самаре и войти в соприкосновение с отрядом генерал-майора Фреймана, расположенного в Бугульме, где, помнишь, бросил его незадачливый Кар. Ну, так-с... Далее, очистив пространство между Самарой и Бугульмой, оба генерала должны двигаться к Орен-

бургу, составляя авангард главных сил князя Голицына, попечению коего я вверил очистить землю в стороне Оренбурга. Я надеюсь Оренбург спасти, а сим уповаю и главную всему злу преграду сломать. Однако рассеявшуюся сволочь сперва переловить и землю очистить надобно, а то сей саранчи так много, что около постов генерала Фреймана и проходу нет, на нас лезут! Теперь Башкирия... Там весьма и весьма тревожно, там пожар на уральских заводах, пожар!.. Надо огонь тушить, надо Казанскую губернию оберегать от воспламенения. Ну-с, мне пора в приемную, меня там заждались, а ты прочти последние донесения этих офицеров, они для тебя будут интересны. Эй, Михайлыч! — И Бибиков ушел за ширму надевать мундир и ленту со звездой.

Державин остался один. Он уселся за письменный стол, развернул папку с донесениями, начал рассматривать бумаги. Михайлыч принес изрядный кусок жареного гуся с моченой брусникой, коробку конфет.

— Кушайте-ка, молодой человек. Вы, я вижу, голодные совсем, с дороги-то. А наш генерал-аншеф пробудет в приемной часа с два, как не боле.

— Ну и достается же Александру Ильичу, — сказал Державин, с проворством уписывая гуся.

— У-у-у, — закрутил слуга круглой лысой головой. — Страсть, прямо страсть! И во сне-то все разными делами бредит. Исхудал. Мундир-то хоть перешивай, с плеч валится. Не по годам лысеть стал да сиветь. Ну, дак ведь генерал-аншеф!.. Сама государыня препоручила ему этакое дело несусветное — богатых бар боронить от мужиков... А только... — Старый слуга-толстяк приостановился, опустил круглую голову и стал в раздумье рассматривать свои ногти, затем с некоторой опаской покосился на молодого офицера и продолжал тихим, таящимся голосом: — А только, говорю, нам с Лександром Ильичом защищать нечего, мы с ним, можно сказать, из бедных бедные, кругом в долгу, и деревенька наша заложена-перезаложена. А ведь семья, детишки, опять же вышний дворянский фасон надо держать. А как же!.. Вот

в чем суть... Да и государыня-то напоследок нам не шибко мирволила, в отдаленности нас от своей особы держала: Лександр-то Ильич как-то правду в глаза ей молвил, вот она и... Другим прочим награжденья, а нам с Лександром Ильичом — фигу с маслом. Только и всего, что чины шли... Да, да, исхудал кормилец наш... А барыня наказывала беречь барина-то. А как ты его, этакого прыткого, убережешь? Эвот бал у губернатора был, он и поплясать горазд. Только как увидал на балу этих самых, как их... фидератов польских, надул губы, ушел. Не уважает Лександр Ильич фидератов-то... Опять же в гимназии, там дворянские сынки обучение имеют, ну так и там вечер был с музыкой и вроде как ахтерское представление показывали: сами же выученики играли, и две губернаторских дочери в игре были, собой прехорошенькие...

— О-о-о, надо как-нибудь и мне повеселиться, — улыбнулся Державин.

— А чего ж зевать-то, батюшка! Ваше дело молодое, жениховское-с. А невестов тут, в Казани, как цветов в саду: прямо георгины альбо розаны. Особливо купеческого званья барышни пригожестью славятся тута-ка: рослые этакие да румяные, и губки бантиком, фу-ты ну-ты! Богачки-с!.. У-у-у, страсть какие богачки!

— Надо приударить мне...

— Надо, надо ваше благородие!.. Вот Пугача словим, — честным пирком да и за свадебку-то.

Утомленный в дороге, Державин с неохотой и леностью принялся за бумаги.

Из донесений было видно, что полковник Юрий Бибиков на пути к Заинску побил шестисотенную толпу атамана Аренкуда Асеева.

В Заинске бой шел целый день. Мятежники бежали.

От Заинска команда Бибикова двинулась на выручку Мензелинска. Оказалось, что из Мензелинска мятежные толпы ушли в степь и, в числе двух тысяч человек, укрепились в селении Пьяном Бору, но и там, после самого упорного сопротивления, были побиты и рассеяны.

Оставался Нагайбак, «куда жмутся мятежные толпы». На защиту Нагайбака пугачевец Зарубин-Чика отправил из своей Чесноковки большой отряд в четыре тысячи человек при тринадцати пушках. Отряд этот остановился в крепости Бакалах. Бибиков атаковал крепость и взял ее. Мятежники отряда Зарубина-Чики рассыпались. Полковник Бибиков получил приказ идти на соединение с Голицыным. Князь Голицын, сосредоточив свой отряд у реки Камы, разделил его на три части и пустил их по нужным направлениям. Глубокие снега задерживали движение Голицына. Он приказал, чтоб в каждой роте было по двадцати пяти лыжников. Его отряды быстро справились с калмыками, очистили окрестности Ставрополя, рассеяли толпу Арапова, вступили в связь с отрядом Юрия Бибикова. Сам Голицын соединился в Бугульме с генералом Фрейманом, а отряду полковника Хорвата приказал войти в связь с генерал-майором Мансуровым, наступавшим по Самарской линии.

— Ну, вот... Теперь положение военных дел мне ясно. А то как впотьмах бродил, — сам себе сказал Державин, отправляя в рот последнюю из коробочки конфетку (он большой сластена был), записал для памяти в свою походную тетрадь: «Из донесения лиц командующих явствует, что в начале февраля 1774 года очищено от мятежников все пространство от границ Башкирии до реки Волги и далее на юг, по рекам Ику и Кинели, до Самарской крепостной линии».

Под конец офицер Державин обратил внимание на черновик письма Бибикова к «комедиографу» Фонвизину от 29 января 1774 года. Бибиков, между прочим, писал: «Бить мы везде начали злодеев, да только сей саранчи умножилось до невероятного числа. Побить их не отчаиваюсь, но успокоить почти всеобщего черни волнения предстоят трудности. Ведь не Пугачев важен, а важно всеобщее негодование. А Пугачев чучело, которым воры, яицкие казаки, играют».

Державин споткнулся взором на фразе: «Важно всеобщее негодование», — и глубоко над нею призадумался. «Против чего же всеобщее негодование черни

имел в виду генерал-аншеф? — задал он вопрос и сам себе ответил: — Я чаю, против существующих порядков». Домой Державин возвращался в довольно омраченном состоянии.

2

Связь между главнокомандующим и его воинскими отрядами теперь была более или менее налажена. И ни сам Пугачев, ни его Военная коллегия не могли, разумеется, располагать такими обширными и точными сведениями о движении правительственных войск, какими располагал Бибиков. Да к тому же пугачевцы и не в состоянии были разом охватить и осмыслить создавшуюся довольно сложную обстановку. Емельян Иваныч кой-что знал о действии отрядов Мансурова и Голицына, но далек был от подлинной тревоги.

— Таперь снега глубокие, кругом бескормица, — говорил он, поддакивая своим атаманам, — не больно-то прытко они поскачут. Им еще далеко до нас. Генералишке Кару надавали тумаков, ну так и Голицыну-князю накостыляем в шапочку.

Однако вот уже четыре месяца осаждает он Оренбург и напрасно тратит силы на овладение Яицким городком. Четыре месяца — немалый срок.

Когда-то он гордо бросил: «Кто едет, тот и правит». Но тот, кто топчется на месте, никуда не едет. Это видит и этому радуется правящий Петербург, видит и понимает Бибиков. Чем дольше Пугачев проканителится под Оренбургом, тем легче будет Екатерине собрать против него силу. И Екатерина уже начинает обольщаться мыслью, что «самозванный супруг» ее близок к поражению. Впрочем, царице могло так казаться только издали, и вряд ли она ясно представляла себе трагическую глубину народного движения. А правящий Петербург, со всеми Чернышевыми — Орловыми, по части пугачевского восстания, пожалуй, понимал еще меньше, чем Екатерина. И лишь генерал-аншеф Бибиков своим русским охватистым умом трезво оценивает всю серьезность грозного народного

движения. Он близок к центру мятежа, ему с горы видней.

А что ж сам Пугачев? Как он смотрит на события, спешившие ему навстречу? И видит ли он что-либо в непроглядной кутерьме поднявшейся бури? Одно было несомненно: пока что весь свет заслонен для Пугачева двумя преградами: Оренбург и Яицкий городок. И где-то там «граф Чернышев» Уфу берет, атаман Грязнов — Челябинск, Кузнецов — Кунгур. Пускай берут, пускай множат его славу! Башкирцы, татары, киргизы поднялись, под его знамена крестьянство собирается, крепости ложатся в прах, уральские заводы преклоняются. Но прежде всего две горы надо повалить: Оренбург и Яицкий городок, того и атаманы ждут. А там судьба укажет...

Однако тревожные думы нет-нет да и пронижут душу Пугачева: не прозевать бы больших дел, не остаться бы в круглых дурнях на голом месте возле Оренбурга.

...Звенит колокольчик под дугой, брекочут шаркунцы, тройка бежит внатуг то ровной степью, то с увала на увал. Невиданно глубокие, белейшие снега кругом. Пугачев закутан в лисью шубу, на Падурове меховой чекмень. Круглолицый, в полушубке, парень поспешает за царскими санями, тащит в поводу тройку заводных на смену лошадей. Впереди и сзади «батюшки» движутся две полсотни яицких молодцов-казаков.

Тройка мчалась под гору. Ермилка, присвистывая, посматривал на сверкавшие подковы двух пристяжек: у левой пристяжки задняя подкова хлябала, надо подковать.

— Слышь, полковник, — обращается Пугачев к своему соседу. — А ну-ка ответь, пошто это люди женятся? И стоит ли человеку жениться? Только чего-нито смеховитое загни, а то скука! Ась?

— Со всем нашим усердием, — ответил Падуров. Ему тоже хотелось развеселить Пугачева. — Насчет женитьбы так, ваше величество. Один юноша спросил

старика: стоит ли ему, юноше, жениться? Старик, нимало не смутясь, ответствовал: «Делай, как знаешь. Впрочем, в том и другом разе пожалеешь».

— Мудрено, шибко мудрено, — помолчав, проговорил Пугачев, двигая бровями. — Стало, выходит: женишься — пожалеешь, что женился, не женишься — пожалеешь, что не женился. Ха-ха-ха!.. Вот так загадку загадал!

— Сие называется восточная мудрость, ваше величество.

— Наша казацкая премудрость куда сподручней: чик-чик, да и к сторонке... Ну, а как Фатьма-то твоя? Дружно ли живете-то? Обиды не творишь ли ей?

— Избави бог, государь, — проговорил Падуров. — Живем душа в душу. Она и по хозяйству хороша...

— Да и в бою не промах! — прервал его Пугачев. — Золотая баба! Скажи на милость — баба, а сколь сердито с неприятелем бьется! Вот гляжу-гляжу, да в сотники произведу ее... А что? Да, брат Падуров, вот я все пристреливаюсь глазом к людям-то разным, к татарам да башкирцам, да и думаю: эх, думаю, руки развязать бы им да пригреть людишек-то, что и за народ был бы!.. Якши народ, Падуров!

— Народ — не надо лучше, государь. Якши!

— Ну, а братишка-то ейный, как его...

— Ее брат, Али, при нас. На татарском наречии он многие деловые бумаги пишет, паренек не без пользы для нас. Намеднись огорчил он нас известием. Долетел до него оный слух чрез «длинное ухо», как говорят степняки-киргизы, — сиречь чрез народную молву...

— Да в чем слух-то? Говори, друг!

— Будто бы родной отец Фатьмы и Али, обозлясь на Фатьму, что мусульманский закон нарушила, ищет ее погибели. Он закоснелый изувер...

— А пускай-ка появится, мы ему башку-то с чалмой снимем... Ну, а поп Иван, тот как? Жаль, с собой не прихватили его.

— А он, государь, трезвый зарок дал, больше не пьет. А в пути соблазну опасается.

— Добро, добро, ежели пить-то бросил. Ведь он, ведаешь, тоже усердствует нам. Уж не сделать ли мне его митрополитом, ха-ха... Ась?

Снова едут молча и час и два. День сиял, день звенел солнцем и морозом. Подобно расплавленному серебру, сверкали белевшие снега. И если б не были густы длинные ресницы Пугачева, резкий свет, казалось, ослепил бы его глаза. Небо было голубое и высокое, как раскинутый над землею купол круглого шатра, и купол тот усыпан лепестками незабудок. А вверху купола солнце; оно горит, но не согревает, от солнца — свет и холод.

Лошади притомились. Ермилка стал перепрягать тройку. Свежие заводные кони побежали шибкой рысью. Пугачев хмуро посматривал по сторонам. В его темных глазах отражалась не радость морозного сияющего дня, не приятное чувство быстрого, под звон бубенцов, движения, а какое-то душевное смятение, беспокойство.

— Иным часом дума у меня: не дурака ли валяю, что под Оренбургом эстолько времени вожюкаюсь? — обращается Пугачев к Падурову; густые пушистые его ресницы смерзлись, он с усилием продрал глаза. — Ведь поди помнишь, полковник, как дело зачинали, ты присоветовал мне перво всего на Москву идтить?

— Да, надежа-государь... На Москву было бы складнее. Хотя Шигаев тогда и стыдил меня, что...

— То-то, что стыдил! Он и меня-то втапоры с толку сшиб. Все шумел: Оренбург — столица да столица, перво Оренбург взять надо. Да и не единожды разговор был. И Горшков Макся его руку тянет... Ах, анчутка их забери! Они на Оренбург меня толкают, а вот башкирцы с татарами ругать меня, государя своего, измыслили: пошто под Оренбургом сижу, а не иду Казань брать. Да ведь всех не переслушаешь! — Пугачев позевнул, примял стоячий воротник, чтоб удобней было говорить, и продолжал: — Да и то сказать, ну как я мог по первости против атаманов в натыр идти? Да они бы меня в степу бросили, зараз отреклись бы от помазанника божия... Что бы тогда? Втапоры, при

начале-то, душа моя скорбела ой как! Да ничего не поделаешь. А таперь уж, когда увязли мы тута по самую поясницу, не бросать же дело... Ась?

— Меня, ваше величество, сомнение берет, что, пока сидим здесь, правительство силу против нас уготовляет.

— Ах ты неразумный! — круто повернувшись к Падурову, воскликнул Пугачев, и большие глаза его по-злому засмеялись. — А что есть правительство твое? Это Орловы-то, да Разумовские, да разные князья Голицыны, да Бибиковы генерал-аншефы? Они на Катьку да на дворянство уповают, а я на простой народ, на чернь обиженную... уповаю!

Падуров внимательно посмотрел на Пугачева.

— Я нахожу опасность в том, государь, что правительство распоряжается войсками. Правительство свои войска супротив нас подвигнуть может. Да и двигает...

— Экой ты... чудак-рыбак! — перебил его Пугачев, сбрасывая с усов замерзшие сосульки. — А еще книжной... Хоть ты и книжной, хоть и депутат с золотой медалью, а царского понятия в тебе нетути. А ну-ка, ответь, кто такие войска? А войска, я тебе допряма молвлю: это сущий народ и есть, мужики... Токмо с бабьими косичками. А ежели я им в манифесте всю волю дам, да землю, да избавлю навеки от солдатства, — как думаешь, Падуров, не приклонятся ли они к государю своему, не пожалеют ли меня, обиженного боярством, для ради того, что я народ свой замордованный возлюбил? Ась? Чаю, крепко чаю, — так и будет. Да, брат! Да, Падуров! Ни на кого инако, как на милость божию да на народ свой уповаю!

Он говорил горячо и с такою поспешностью, точно убеждал самого себя. Падуров молчал.

Пугачев, как когда-то, остановился в доме Михайлы Толкачева. Падуров велел вывесить на крыше большой серый, с белым крестом, флаг, у крыльца выставил почетный караул из десяти казаков. Вообще он принял на себя заботы об особе государя, — «ба-

тюшка» не был теперь беспризорным, как в первый свой приезд. Жители это поняли и подтянулись.

Явился с докладом новоизбранный атаман, Никита Каргин. Дежурный Давилин не сразу допустил его до «батюшки», выдержал в коридоре, — знай, мол, к кому пришел. Высокий, постного вида, богомольный и злой Каргин, войдя к Пугачеву, долго крестился на иконы, затем, по научению Почиталина, облобызал протянутую «батюшкой» руку, сказал:

— Все, твое величество, в благополучии у нас. Посты, бекеты кругом кремля денно-нощно караулят. Новые батареи мы с Перфильевым распорядились сделать, кое-где улицы поперек завалили бревнами да камнищами. Симонова-полковника взаперти содержим, — сидит в кремле смирно, не рыпается...

— А подкоп?

— Подкоп роют справно. Работники кажинные сутки стараются наскрозь в две перемены... Без выпуску, как изволил приказать ты, чтоб разглашенья не было. Поначалу-то не соглашались под землю лезть, шумок подняли, бучу; довелось повесить семерых.

— Повесить?

— Этак, этак, батюшка. — И старик вскинул на Пугачева суровые глаза. — Перфильев приговор-то сделал, а я, атаман, утвердил.

— Ну ладно, слушай, Каргин: я к вечеру прибуду на подкоп своей персоной.

Приходил Денис Пьянов со своими стариками, бортового меду, да соленых грибов, да осетровой икры принесли в дар царю. Были по делам атаманы Чумаков, Овчинников, Творогов, заглянул Перфильев.

На место работ Пугачев с Почиталиным и Падуровым покатили в ковровых расписных санях. Тройкой правил Ермилка. Он парень хитрый, смышленый, он еще не забыл, как «батюшка» однажды повстречал на пути двух девушек, пересадил в свои сани Устю Кузнецову, повез в Берду и вел с ней веселый разговор. Ермилка по-озорному подмигнул себе, пришлепнул тройку вожжами и, сделав околесицу, пока-

тил «батюшку» вдоль широкого посада, где стояла чисто выбеленная хата с голубыми ставнями и крашеным крыльцом. Но, к огорчению покосившегося на «батюшку» Ермилки, тот в разговоре с Почиталиным и глазом не повел на дом красотки Усти. «Эх, была не была, а царю утрафить надо! Либо взбучку даст, либо скажет «благодарствуйте», — подумал Ермилка, повернул тройку за угол, обогнул квартал и снова поехал тем же местом, по уличке Устиньи.

— Ты что взад-вперед меня крутишь? — незлобиво крикнул Пугачев.

— С намереньем, ваше величество! — распустив толстощекое лицо в улыбку, чрез плечо ответил Ермилка и указал кнутом на голубые ставни.

Пугачев в момент узнал знакомый дом, он в первый свой приезд, совсем недавно, повстречал здесь Устю с ведрами воды.

— А ты, казак, я вижу — хват! — И Пугачев в шутку ткнул лихого ямщика кулаком в спину.—Хотел чуприну накрутить тебе, да уж...

— Благодарствую! — радостно всхрапнув, воскликнул Ермилка и снова припустил тройку вкруг квартала. — Эй вы, кама-а-рики!

Пугачев лихо взбил шапку, подбоченился и, выставив из саней в сторону домика чернобородое лицо, козырем промчался мимо окон Усти. И то ли почудилось ему, то ли вправду девушка приветливо помаячила ему из окна рукой. Нет, погрезилось, стекла, как ледышки...

...И все зашевелилось: казаки соскочили с лошадей, ударил барабан, землекопы опустились на колени. К Пугачеву чинно подошел атаман Никита Каргин, подвел ядреного мужичка, сказав:

— Вот этот хрестьянин — набольший указчик по работам, он гонит продольную жилу — сиречь подкоп под колокольню ведет. Матвей Ситнов звать, беглый с заводов графа Шувалова. Старается зело борзо.

Невысокий, но широкоплечий и приземистый, с ярко-рыжей бородой, указчик был похож в своем длинном нагольном полушубке и в лисьей шапке на

боровой гриб-красноголовик. Аккуратно сняв двумя руками шапку, он низко поклонился Пугачеву и приятным тенорком сказал:

— Ведем, надежа-государь, подкоп из погреба. До колокольни сто печатных саженей, высотой в мой рост будя; и не прямо ведем, а как ты повелеть изволил, коленами то в ту, то в оную сторону. А пошто так? Да чтобы Симонов не перенял встречным лазом, вот, вот... Это самое...

— Ну, знамо. Отвечай, часто ли продушины вертите?

— А вертим часто большим коленчатым буравом, а то свечи гаснут.

Пугачев со свитой спустился вниз, прошел до конца галереи, просчитал двести шестьдесят два шага, сказал: «Добро, не шибко далеко уж осталось». Снова выбрался наверх. Вынул из кармана медный компас, положил его на ладонь, пустил стрелку. Все уткнули носы и бороды в ладонь «батюшки», следили за бегающей стрелкой, прищелкивая языками. Пугачев имел самое отдаленное понятие, как пользоваться компасом, но многозначительно сказал:

— Наука! — тоже прищелкнул языком и положил диковинку в карман. — Ну, Ситный, благодарствую, — обратился он к указчику. — Струмент с наукой гласят, что галдарея твоя добропорядочная. Каргин! Вели дать всем трудникам по стакану винишка.

Они стояли, прикрытые от взоров с крепостного вала. Ермилка, сидя на облучке, рвал зубами, как волчонок, хвост вяленой рыбы; ресницы и выпущенный из-под шапки чуб его запушнели инеем. Тройка на морозе курилась паром. Пугачев посмотрел из-за соломенной подстриженной крыши на купол колокольни с сияющим под солнцем большим крестом, вздохнул, сел в сани и поехал.

Вечером собрались к нему почетные старики и, чтоб потешить государя, привели с собой древнего слепца сказителя со старинными гуслями.

Принесли вина. Стали выпивать. Слепцу поднесли большую чару. Воодушевившись, тот спел былину о том, как была Казань взята:

Уж ты, батюшка грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич,
До больших бояр немилостив,
До простых людей отец родной.

Старики сразу обратили свои головы от слепца к Емельяну Пугачеву: «Вот он, живой грозный царь!» Но Пугачев слушал певца рассеянно, думал о чем-то своем. Слепец гусляр нутром учуял это и повернул свой певучий и широкий, как степные просторы, голос, повернул звонкие трепещущие струны на веселый лад и ударил плясовую-разбойничью, разудалую и страшную:

По головушкам топорики полязгивают,
Белы косточки в могилушки попадывают!
По боярам панихиду ворон каркает...
Ты гори, гори, восковая свеча!
Ты руби, руби, топорик, со плеча!

Старики задвигали ногами, заулыбались, подбоченились. Пугачев тоже улыбнулся и сказал:

— Вот добрая песня, — но сразу же и погас.

Гусляр-сказитель исполнил далее «старину» о Стеньке Разине. Когда он кончил, Денис Пьянов обратился к Пугачеву:

— А вестно ли тебе, батюшка, что Степан-то Тимофеевич единожды в нашем Яицком городке зимовал?

— Да неужто? — удивился Пугачев.

— Этак, этак, надежа-государь, — откликнулся слепец гусляр.—Меня втапоры еще на свете не было, а родитель-то мой гулял с ним, с Разиным-то, — по Каспию гулял и в персицкие земли хаживал. Ну так он, батька-то, много кой-чего балакал о Степане.

— Занятно! — воскликнул Пугачев и налил всем хмельнику. — А ну, тряхни памятью-то, стар человек, расскажи, слышь.

Густоволосый слепец с белой бородой, которая росла почти от самых глаз, уставился незрячими очами в сторону царя, нахмурил взрытый глубокими

морщинами лоб с запавшими висками и неторопливо начал:

— Когда-то некогда поплыл Разин со своими удальцами морем из града Астрахани к устью преславной реки Яика. А там уже наши казаки дозорили-поджидали его в гости, беднота. И потянулись они вкупе всем гамузом вверх по Яику. Тут напыхом настигла Степанушку царская погоня, стрельцы да солдатишки. И содеялся велик бой. На бою том голов да старшин стрелецких со стрельцами многих горазд побили, того боле переимали, а солдат порубили в капусту... А городок-то наш Яицкий взял Степан Тимофеевич хитростью[1]. Человек с сорок вольницы его, да и сам он на придачу, оделись кои нищебродами с костылями да торбами, кои богомольцами и приступили к запертым воротам крепостным. И зачали стучать в те ворота и зачали просить слезно: «Ой, пустите нас бога для в церковь Христову помолиться: мы люди мирные, мы люди православные». Ну, их и впустили чрез лазеечку... Они же, не будь дураки, всем караульным скрутили руки назад, а ворота-то распахнули, да и впустили в крепость всю свою вольницу. Вот ладно... Как вошла вольница в крепость, Разин собрал жителей да стрельцов с солдатами в кучу и зыкнул им: «Вам всем воля! Я вас не силую: хотите — за мной в казаки идите, хотите — оставайтесь». А опосля сего, замест богомолебства, казни начались. Головы, да сотники стрелецкие, да казаки из богатеньких, кои супротивничали Разину, все смерть приняли, до тысячи душ... Вот какие дела-то, да... Он, отец наш, Разин-то Степан, пожаловал к нам седой осенью, перезимовал у нас, а по весне, как Яик вспенился, ушел на стругах на понизовье, к морю. И родитель мой с ним уплыл.

— Что же Разин зимой тут делал? — спросил Пугачев.

— Царствовал, — ответил гусляр-сказитель. — Он сам царствовал, Степан-от, а вольница его рыбу ловила, зверя промышляла алибо с татарвой да с калмыками торг вела.

---

[1] Из материалов о «Возмущении Стеньки Разина».

— Вот диво! — сказал Пугачев. — Много любопытного слыхивал я о Степане Тимофеиче, ну, а о том, что в вашем городке зимовал он, впервой слышу.

— Да, надежа-государь, — подхватил старик Пьянов, ласково посматривая на Пугачева. — Разин-то — превечный покой его рубленой головушке! — за голытьбу стоял, за чернь, бар с воеводами изничтожал, за правду жизнь положил свою. А вот сто лет минуло, как год единый, — ты, не простой человек, а сам царь, явился об это место, на нашем Яике. И мыслечки твои, я гляжу, точь-в-точь как у Степана!..

Слепец всхлипнул и начал ошаривать руками воздух, стараясь нащупать руку сидевшего против него царя.

— Дай рученьку, дай рученьку твою, — прерывистым голосом твердил он. — Очи мои давно погасли, а руки зрят. Перстами своими оглядеть тебя хочу. Царь-государь, дозволь!..

И оба они, слепец и царь, поднялись. Пугачев подошел к нему вплотную, сказал:

— Ну вот, дедушка, зри меня: я весь перед тобой.

— Ой, родименький, ой, дитятко мое! — дрожа и хныча от волнения, бормотал слепец, обняв Пугачева и припав седой головой к могучему плечу его. Растроганный Пугачев бережно посадил его на место. Похныкивая, подобно малому ребенку, дед отвел в сторону серебряную бороду свою, вытащил из-за рубахи висевший на груди вместе с нательным крестом маленький кожаный кисетик, порылся в нем пальцами и вынул на свет золотой перстень с изумрудом.

— Вот колечко, — сказал он трясущимся голосом. — Знаешь ли, царь-государь, кто оное колечко носил на своей рученьке? А носил его сам Степан Тимофеевич Разин. А сделано колечко мастерами уральскими, и камень в нем драгоценный, уральский же.

Все с изумлением уставились взорами на заветное кольцо. Глаза Пугачева засверкали, щеки подобрались, губы вытянулись в трубку.

— И жаловал он кольцом этим родителя моего, а своего есаула, — продолжал приподнятым голосом

старец.— Родитель мой в тайности держал кольцо, никто о нем не ведал, ни единая душа. А как собрался на тот свет, передал сокровище мне, единородному сыну своему. Я все на похоронки берег кольцо-то, а ведь мне невзадолге сто годов минет. Люди добрые, чаю, и так похоронят меня и поминать станут... И, помоляся господу,— зазвенел старец высоким голосом,— положил я в сердце своем поклониться разинским кольцом твоей царской милости. Прими, отец наш, без всякия корысти дарю тебе! Ни денег, ни чего другого прочего от тебя мне не треба. А как услышишь, что приспело скончание живота моего, поминай в мыслях своих раба божия старца Емельяна... Емельяном меня звать... яицкий казак я родом, Дерябин... На, носи во здравие!

— Ой, дедушка... Сударик мой! — громко воскликнул донельзя взволнованный Емельян Иваныч и, широко улыбаясь, надел на свой палец перстень с зеленоватым самоцветом.— Я сугубое береженье буду к тебе иметь, дедушка, чтоб в сытости да тепле жил ты... А я с этим кольцом заветным ни в жизнь не расстанусь, до гробовой доски буду носить его...— Произнося эти слова, он так и этак повертывал пред пламенем свечи левую руку с перстнем. Самоцветы играли на свету зеленоватыми лучами.

На радостях выпили еще по чарке. У стариков закраснелись носы, а глаза стали слезиться. Денис Пьянов отер слюнявый рот и брякнул:

— Эх, батюшка, царь-государь! Вот у тебя и перстенек завелся знатный. И не худо бы тебе для уряду обручальное колечко на рученьку надеть да, благословясь, и ожениться... Ей-богу, правда! Для ради уряду это нужно, батюшка, для благочиния. Ведь всякому государю супруга полагается. На сем русская земля стоит... Душевно тебя просим, прими венец честно́й!

Пугачев сразу вспыхнул, даже уши покраснели, а по желобку на спине, между крутых ребер, холодок прополз.

Тут встал другой старик и, поклонившись государю, молвил:

— А жениться тебе, батюшка, предлежит на казачке нашей, незамужней девушке. У нас пригладистые девчата есть и с понятием.

— Вся стать на казачке жениться тебе, ваше величество, — встал и поклонился третий старик с лицом костистым.

А Денис Пьянов подтвердил:

— Ежели оженишься на казачке, все наше войско тебе прилежно будет. Да и нам, казакам, шибко лестно: сам государь нашим родом не брезгует.

Среди наступившего безмолвия раздался задушевный, но укорчивый голос слепца сказителя:

— Ах, старики... Да ведь батюшка-т женатый... Ведь супруга-то его Катерина Алексеевна...

— Какая она мне супруга! — крикнул, внезапно вспылив, Пугачев и притопнул в пол. — Она с престола меня свергла, а сама в блуд пошла... Она враг мне лютый!..

— Этак, этак, батюшка, — в голос закричали старики. — А ты, слеподырь, не сбивай батюшку с толков!.. А на Катерину, на немку, нечего глядеть, раз она батюшку эвон как пообидела, смерти предать хотела. Да и Войско-то Яицкое немало претерпевает чрез нее. Она не в счет! Ой, надежа-государь, женись, отец наш, на казачке, как и допрежь русские цари, и дедушка твой Петр Великий, и прадедушка на своих же русских боярышнях женились...

— А что! Возьму да и женюсь! — подбоченившись, молвил Пугачев. — Назло Катьке, а вам, казачеству, на радость. Да ведь которая глянется-то, пожалуй, и не пойдет за меня, фордыбачить умыслит, скажет — стар, — потряс себя за бороду и заулыбался Пугачев.

Подвыпившие старики в ответ засмеялись, замахали на Емельяна Иваныча руками:

— Брось шутки-то шутить, твое величество! Господи! Только глазом поведи. Да чего тут... Ваше величество, дозволь сватов засылать!

— К кому же сватов-то, отцы? — шутливым голосом спросил Пугачев.

— Господи... Да ужли ж мы не знаем... Утрафим!.. Доволен будешь! — еще более оживились старики, самовольно выпивая по стакашку.

Пугачев подергал ус, нахмурился, сказал:

— Царская женитьба, старики, — дело зело важное... И мне, государю, предлежит совет об этом держать со своими атаманами. Уж такой закон издревле положен. Из предвека так. Ну, прощевайте, деды! Когда черед придет, покличу, зык подам.

— Прощевай, отец наш, царь-государь! Так засылать сватов-то?

Пугачев махнул рукой и, чтоб отвязаться от дедов, бросил:

— Коль охота большая, засылайте!

...Ночь Пугачев спал плохо. Раздумывая над словами стариков, он мимовольно кружил мыслями около одной из многих девушек, которых он перевидал на своем веку: была то Устинья Кузнецова. Строгая и почти суровая, она реяла вокруг легкой тенью. То, помахивая платочком, пускалась в пляс в паре с государем и обнимала его и жарко целовала в губы, то подходила вплотную к изголовью Емельяна Ивановича, нежной рукой гладила густые его волосы, воркующим голосом ворожила над ним: «Спи, мой желанный, спи...»

И разомлевший Пугачев, улыбаясь своим грезам, уснул.

Проснулся он рано утром. Слышно было, как на кухне, за перегородкой, хозяйка Аксинья Толкачева гремит ухватами — должно быть, сдобные пироги либо блины к завтраку печет: уж очень духовитый, такой приятный запах! Умывшись и налюбовавшись вчерашним подарком — изумрудным перстнем, Пугачев достал из своей укладки круглое фасонистое зеркальце, посмотрелся, с неудовольствием моргнул самому себе: «Ишь ты, шибко сиветь зачал», — и с горькой шутливостью подумал: «А я сажей подмажу, черным не уважу». Он когда-то слышал от стариков казаков заповедь: «Постризало да не взыдет на браду твою», — однако соблазн помолодеть взял свое, и Емельян Иванович послал Ермилку за цирюльником.

Брадобрей Мотька с облезлой головой и большим кадыком на длинной шее упал пред государем на колени.

— Встань, раб мой, — сказал Пугачев важно. — Вот тут у меня, чуешь, с бочков возле ушей召 сединка завелась... Обработай-ка меня по-императорски. Бороды не трожь, а с боков сними. Потрафь, брат!

Руки брадобрея дрожали. Прикусив кончик языка, он слегка побрил, слегка постриг высокую особу, припудрил оголенные щеки — Пугачев значительно помолодел. Он взглянул в зеркальце и удивился: да он ли это? Ха! Да ведь он теперь точь-в-точь каким был семь лет тому назад на Каме, с дружком своим Ванькой Семибратовым. «Вот бы взглянул он на меня, на императора! Как-то он там, чувырло неумытое?»

3

В это время там, в Зимовейской станице, казак Иван Семибратов вместе с большой толпой станичников стоял возле хаты своего бывшего друга Пугачева. Ядреный, большебородый, с лицом простым, широким и несколько придурковатым, он глазел на то, как сжигали пугачевское жилище.

Впереди толпы стояли: майор Рукин, войсковой старшина Туроверов, станичный атаман Прохоров, местное духовенство в облачении, почетная сотня донцов с ружьями. А возле самого дома орудовал с горящим факелом в руке палач.

Что же это за странное «позорище», чьим велением пущено пламя, превратившее в дым и пепел жилище Емельяна Ивановича Пугачева?

В январе императрица повелела Бибикову и атаману Войска Донского:

«Что же касается дома Пугачева, то Донское войско имеет, при командированном из крепости св. Димитрия[1] штаб-офицере, собрав священный той станицы чин, старейшин и прочих жителей, при всех них

---

[1] Впоследствии — Ростов-на-Дону.

сжечь и на том месте чрез палача или профоса пепел рассеять; потом то место огородить надолбами, оставя на вечные времена без поселения, яко оскверненное жительством на нем все казни и лютые истязания делами своими превосшедшего злодея, которого гнусное имя останется мерзостью навеки, а особливо для донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени».

И вот он, по приказу царицы, совершает обряд огневого поругания жилища того, чье имя должно было остаться «мерзостию навеки».

Станичный атаман, длинноусый и толстый, громоздясь на высоком, в четыре ступени, рундуке, кончал читать грамоту императрицы:

— «...яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени. Хотя отнюдь одним таким богомерзким чудовищем ни слава Войска Донского, ни усердие к нам и отечеству помрачиться не могут».

Изба Пугачева стояла в унылой покорности, как ожидающий казни человек, и задумчиво слушала слова царицы. Два окошка ее распахнуты, будто живые немигающие глаза, готовые заплакать. Серая с прозеленью из трухлявой соломы крыша притулилась вправо, словно отчаянно сдвинутая на ухо шапка. Эх, пропадать так пропадать!

А ведь старая изба многое могла бы рассказать родным станичникам. Ведь ее выстроил и умер в ней первый ее хозяин — Иван Пугач. В ней родился Омелька, и вот Омельки нет и нет его Софьюшки с ребятами. И продали ее, избу, отставному казаку Евсееву за 24 рубля 50 копеек, и новый хозяин перевез ее к себе в Есауловскую станицу. А после приехал офицер, отобрал избу от Евсеева, велел сломать и снова перевезти «прямо на то место, где его, злодея, Зимовейской станицы обитание имелось».

Протрубил медный рожок, забили барабаны. Казаки дали дружный залп из ружей. Палач в красном фартуке сверх полушубка враскачку подошел к пугачевской избе, набитой соломой, и чрез открытое оконце ткнул в солому горящий факел. Изба-преступница разом вспыхнула и, стремительно выбросив из

окошек мстительные пламенные руки, как бы пыталась схватить палача, превратить его в головешку. Но палач уже бежал к другой пугачевской «хижине с огорожею». И там запылали огни. Затем загулял топор по садовым деревьям: трупы вишен и яблонь свалены были в кучу и также преданы огню.

Иван Семибратов с грустью смотрел на пожарище, глубоко вздыхал, вспоминая своего боевого друга, и на его глазах навертывались слезы. В мыслях его, одна за другой, возникали картины их совместного странствия из Зимовейской станицы, от этих сгоревших стен на многоводную Каму. Да, да, попито, погуляно! Золотое было время. А ныне вот Семибратов остепенился, миловзорую жену себе завел, двух ребят имеет. Ну и жаль, ну до чего жаль, что нет с ним Емельяна Пугачева. «Эх, дурак, дурак, сколько всем хлопот наделал, в цари полез... Хоть бы разок взглянуть на твою рожу-то, Омелька, каков ты есть», — в простоте душевной раздумывал степенный Семибратов.

Все сгорело, все навеки исчезло с лица земли, пепел развеян, преступное место посыпано солью и проклято. Огонь, дым и пепел. Так возникла, пришла и закончилась одна из диких сказок русской истории.

Впоследствии, якобы по просьбе жителей, станица Зимовейская перенесена была в другое место и названа Потемкинской.

Екатерина, соблюдая интересы государства, издавна нянчилась с донским казачеством: одаривала чинами, землями и деньгами начальствующих, давала широкие льготы и рядовым казакам. Такая политика Екатерины принесла во время пугачевского движения свои плоды: еще в октябре 1773 года, когда раздались первые раскаты бури, Войско Донское постановило выбрать тысячу человек из лучших (зажиточных) казаков, с тем чтобы они были готовы к походу против мятежников. А в конце ноября полковник Илья Денисов просил разрешения Военной коллегии идти с отрядом в пятьсот казаков прямо под Оренбург для поражения самозванца. В рапорте он писал, что «Емельян Пугачев его старый приятель», он в Семилетнюю

войну был у Денисова ординарцем, и Денисов за некий дисциплинарный проступок наказал его «нещадно плетью».

Екатерина приказала Денисову следовать с казаками в Самару и поступить там под начальство генерал-майора Мансурова.

На подавление мятежа Екатерина потревожила и малороссийское казачество. Направляя тысячу казаков к Бибикову в Казань, царица писала ему: «В сих исстари ненависть примечена к яицким, а употребить их будете, как знаете».

Волжское казачество тоже получило соответствующие распоряжения. Таким образом, против Емельяна Пугачева с частично-передавшимися ему яицкими, илецкими и оренбургскими казаками были подняты отряды почти всего казачества империи.

— Вот прислушайтесь, атаманы-молодцы, — обратился Пугачев к собравшимся своим ближним. — Старики кладут мне совет на казачке жениться, дабы вашей и всероссийской царицей она была.

Озадаченные столь неожиданными словами «батюшки», атаманы нахмурились: то друг с другом перебросятся взглядом, то на Пугачева взор переведут.

Лишь Иван Творогов, ревновавший «батюшку» к своей красавице жене, подумал: «Разлюбезное дело было бы женить царя».

Понуждаемый упорным взглядом Пугачева, атаман Каргин, человек суровый и благочестивый, первый поднялся, первый с поклоном слово молвил:

— Батюшка, твое величество, дело со свадьбой персоны вашей зело многотрудно, надо бы об этом всем войском усоветоваться, а не тяп да ляп. Мое слово стариковское — подождать тебе, не торопиться...

Пугачев нахмурился. Вот опять атаманы в его тайные планы нос свой суют. Поднялись Перфильев с Овчинниковым, сказали:

— Ты, батюшка, еще не основал порядочное царство. Как бы худа какого не стряслось... Кто его ведает...

— Я ведаю! — сухо промолвил Пугачев и поднял голову, глаза его горели и чуть враскос пошли. — В том есть моя государственная польза. И годить мне с этим делом недосуг!

— Когда ты, батюшка, в том видишь пользу, так женись, — с готовностью сказал Иван Творогов. — Верно ли, атаманы?

— Да уж... чего тут... Его царская воля, — ворчливо отозвались старшины с атаманами.

— У нас на примете девица пригожая и постоянная, — стараясь смягчить свой суровый голос, сказал атаман Каргин. — Да к тому же, отец наш, она и тебе ведома.

Пугачев хмуро ухмыльнулся, поскреб ногтем чисто выбритое на щеке место.

Встревоженная бывшим в ночи сном, Устинья сидела под окошком в унынии. А сон вот какой: будто бы идет она вдоль речки с венком на голове, а из омутины вдруг рука выставилась, на пальцах драгоценные перстеньки сияют, поманила ее рука и снова — в омут.

— Сон дрянной, — со вздохом сказала Устинье сноха ее, Анна Григорьевна. Сам-друг сидели они дома. — Как бы тебя сатана какой в омутину не упер.

— От сатаны открещусь, — сверкнула Устинья глазами и вдруг услыхала бубенцы. Прильнула маленькими губами к оконцу, быстро продышала глазок в промороженном стекле, взглянула. — Глянь, Анна, кто подъехал-то... Глянь скорей!

И не успела от оконца отойти, как вошли в избу Толкачев со своей женой Аксиньей и Ваня Почиталин.

— Стой, Устинья Петровна! — крикнул Михайло Толкачев. — Куда ты убегаешь?

— Садитесь, гостеньки, — сказала Анна Григорьевна, сноха.

Все, не раздеваясь, сели. Устинья, опустив голову, стояла возле притолоки, исподлобья смотрела на пришедших. Толстозадая Толкачиха, оправляя шаль, приторно и лукаво улыбалась. Толкачев, отставив ногу в бараньем вверх шерстью сапоге, с важностью проговорил:

— Мы, Устинья Петровна, голубка наша, на посмотренье к тебе пришли. А ты, глупенькая, было в бег ударилась.

— Я не лошадь, а вы не цыганы. Чего меня смотреть, — дерзко ответила казачка.

— Мы со счастьицем к тебе пришли, Устинья Петровна, — начал застенчивый Почиталин и замялся.

— Уж такое ли счастьице привалило к тебе, свет ты наш Устиньюшка, такое ли счастье, что и не вымолвишь... Честь-то какая, господи помилуй, — сладким голосом взговорила Толкачиха.

У девушки обмерло сердце, и темная омутина возникла перед ее глазами. Царица небесная, спаси...

— Мы, Устинья Петровна, пришли высватать тебя за гвардионца, — сказал, подбочениваясь, Михайло Толкачев. — Оный гвардионец кланяться тебе наказывал.

— Никакого вашего гвардионца мне не надобно, — опять сверкнув глазами, проговорила Устинья. — Да к тому же и мой батенька хоронить своего племянника уехал.

Сноха Анна подала гостям кринку молока и хлеба. Гости отказались, им недосуг, их с нетерпением поджидает гвардионец, прощайте-ка покамест, извините за беспокойство, до скорого свиданьица.

И как только, низко поклонясь одной Устинье, ушли они, Анна раздраженно залопотала:

— Легко ли дело, тоже выискались... сваты, ха, подумаешь! Их много, этих гвардионцев-то, батюшка с собой навез... Эвот усач какой-то при нем, Перешиби-Нос, и прозвище-то какое, тьфу! Да нешто мало их приблудилось к государю-то?

Вскоре приехали братья Устиньи — младший, живший при доме, — Андреян и старший Егор — казак пугачевской армии. А за ними следом, уж во второй

раз, все те же сваты в сопровождении целой сотни казаков, прискакавших под началом полковника Падурова. Есаулы, сотники, хорунжие вместе с Падуровым тоже вошли в дом. Устинья заперлась в соседней горнице. Падуров толкнул к ней дверь.

— Устинья Петровна, пожалуйте к нам! Здесь собрались ваши доброжелатели.

Андреян с Егором и Анна удивленно пучили глаза. Устинья чрез дверь ответила:

— Как я выйду на люди, когда я не срядно одетая?..

— Ничего, ничего! — раздувая усы и улыбаясь, прокричал Падуров. — Выходите запросто, в чем есть, без всякого наряда.

— Повремените малость, выйду, — ответила Устинья; в ней стало разгораться и любопытство и охвативший ее дух упрямства: и чего они, псовы дети, к ней вяжутся? Ох, и намахает же она этого непрошеного гвардионца.

Наскоро переоделась, но не в лучший наряд, а в скромное платьице, в то самое, в котором ездила с симоновской Дашей к «батюшке», расчесала медным гребнем пробор на голове, взбила природные возле ушей кудерышки, белыми зубами немножко пожевала губы, чтоб оказывали ярче, и принялась со всем усердием креститься на деревянную икону.

Вдруг слышит: в горенке зашумел народ и что-то прокричал, скамьи с табуретками задвигались, шаги загромыхали, и чей-то знакомый голос звонко взговорил:

— А ну-ка, подивлюсь, какая такая отецкая дочь есть? Покажьте-ка мне ее, сироту...

У девушки сжалось сердце, она стиснула зубы, рванула дверь и, вся осиянная своей юной красотой, вышла на люди.

Глянула вперед, и голова ее закружилась: закинув ногу на ногу, сидел перед ней чернобородый, помолодевший царь в цветном полукафтане и с саблей при бедре. А позади него стоял, накручивая длинные усы и улыбаясь, бравый усач с чубом (Тимофей Падуров). Должно быть, он гвардионец-то и есть... Должно

быть, сам «батюшка» главным сватом хочет быть. Но ведь она молодешенька, ей еще в девках охота погулять...

Устинья, тяжело передохнув, поклонилась Пугачеву, обвела помутившимся взором собравшийся народ и встала возле печки, дивясь самой себе, почему на нее вдруг накатилась такая робость.

— Посмотреть хочу, какова ты есть отецкая дочка! — повторил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз и подбоченившись. — Выросла, подобрела... А ведь не столь давно была у меня, за Пустобаева просила. Ну, так сродственник твой, старик Пустобаев, здесь, с моим императорским конвоем в Яицкий городок прибыл. Довольна ли? Ась? Чего молчишь? Ну, подойди, подойди ко мне...

К Устинье подскочила сноха Анна, взяла ее за руку и подвела к Пугачеву. Устинья в упор, не мигая, смотрела на него. Глаза ее горели, горели щеки.

— Хороша... Хороша-а-а, — сказал Пугачев, накручивая ус, и встал. — Ну, так быть тебе всероссийской императрицей!

Устинья всплеснула ладонями, ее сильные руки упали, как у мертвой.

Пугачев подал ей шелковый мешочек с тридцатью серебряными рублями и проговорил:

— Помнишь, швырял я в тебя деньгами, да попасть не мог, ну а теперь вот попаду: бери! — Тут он обнял ее, поцеловал и молвил: — Поздравляю тебя царицей.

Заскрипела дверь, в избу вошел вернувшийся Петр Кузнецов. Ошеломленный, он ничего не мог понять. Плачущая дочь бросилась ему на шею:

— Батюшка... родимый!

Два казака живо подхватили Кузнецова и опустили на колени перед Пугачевым.

— Встань, — приказал Пугачев. — Ты ли хозяин сего дома и твоя ли это дочь?

Шестидесятилетний видный Петр Кузнецов, подымаясь, сказал:

— Так, надежа, точно! Я хозяин здесь, а эта девушка — родная дочерь моя, Устинья.

— Ну, спасибо, что поил да кормил ее. Я, государь, намерен возвести ее в супруги свои.

У Кузнецова разошлась бледность на лице, он снова повалился Пугачеву в ноги и подавленным голосом, пополам с отчаяньем и скорбью, закричал:

— Батюшка! Тупа, глупа она да молодехонька, ей только семнадцать минуло... Не понуждай ее, голубку, неволей замуж выходить хоша бы и за тебя, наш свет. Да и меня-то пожалей: уйдет, некому будет меня, старика, обшить, обмыть. Старухи-то нет у меня, померши.

Пугачев нагнулся и вместе с Падуровым поднял его, плачущего.

— Слушай, старый! Вдругорядь говорю тебе: я, государь, намерен на дочери твоей жениться! И чтоб к вечеру готово было к сговору, а завтра быть свадьбе! Время военное, чтоб скоропалитно было!

Затем он подошел к рыдающей Устинье, приголубил ее, сказал:

— Брось слезы лить, Устиньюшка. Готовься к венцу, — и в сопровождении свиты вышел.

Для дворца был выбран самый лучший в городке двухэтажный дом Бородина.

За убранством дворца досматривал Падуров. Он же выдумывал и всю церемонию предстоящего торжества.

Овчинников сказал ему:

— Слышь, Тимофей Иваныч! В недавнем походе бывши, я толстобрюхого повара-француза с собой привез... Барина-то Овсянкина по приговору мужиков приказал повесить, а евоного повара взял, подумал, что авось сгодится нам.

— Вот и расчудесное дело, Андрей Афанасьич!.. Пущай-ка он заморским обедом удивит нас.

Повар Людвиг орудовал в кухне Михайлы Толкачева, готовясь к завтрашнему балу. Он такое алятрю-трю загнет, что гости пальчики оближут. Уж ежели в разбойничье гнездо попал да от виселицы

спасся — бьен мерси, — он в смятку расшибется, а ихнему «мужицкому царю» потрафить должен непременно.

В избе старика Пустобаева дежурил казак: приказано было одному казаку следить, чтоб Пустобаев за эти дни к вину не касался, ибо он будет на свадьбе читать в церкви «Апостола»; он всегда, бывало, занимался этим делом на знатных свадьбах: могутней его голоса нет по всему Яику, нет ни в Оренбурге, ни в Казани. Вот-то уже рявкнет! Безграмотный, он знал «Апостола», как многие церковные стихиры, наизусть. Скучая без вина, старик становился лицом к иконам и начинал пробовать голос. Старуха бросала прясть куделю, затыкала уши, кричала:

— Окстись!.. Чего ты гайкаешь, как в степу... Верблюд нескладной!

Весь городок, узнав о свадьбе, пришел в смятение. Экое счастье привалило этим Кузнецовым, казацкой голытьбе, ужо-ка носы как задерут! А Устька-то, девчонка-то, царицей будет, ха-ха-ха! Ну, да и то сказать: казакам лестно. Только надолго ли все это, ох, — надолго ли?

Около сумерек к Кузнецовым подъехала в сопровождении судьи Военной коллегии Данилы Скобочкина подвода с сундуком. Скобочкин открыл внесенный в светлицу сундук и стал швырять из него на девичью постель всякое добро, приговаривая:

— Государь наш Петр Федорыч кланяется тебе, Устинья Петровна, сими дарами. Вот новая шуба лисья длинная — раз! Вот душегрей меховой, малодержанный — два! Вот два сарафана, вот наряд боярышни парчовый с кокошником и поднизью. Да пять рубашек самолучших голевых, да сороки, да кички бабьи, да всякого добра. Ты, свет Устинья Петровна, принарядись и суженого поджидай. Таков наказ.

Посланец уехал. Главная сваха Толкачиха с подругами невесты начали Устю обряжать. Когда принялись надевать рубаху на дрожащую всем телом девушку, разбитная, курносая баба Толкачиха, успевшая хлебнуть винца, было начала отпускать всякие словесные

нескромности по поводу женской наготы, однако девушки ее тотчас осадили.

Вот они звонкими голосами подняли заунывную:

Ой, зори, вы, зори,
Да весенние...

Устинья горько заплакала; глядя на нее, принялись плакать и подруги, заплетавшие ее густую, льняного цвета косу.

Возле печки, за переборкой, гремя ухватами и плошками, возились со стряпней сноха Анна и родная сестра невесты, двадцатидвухлетняя Марья Петровна, по мужу Шелудякова. Пекли, жарили всякую всячину, варили из сушеных урюка, ягод и ржаной муки любимую казаками кулагу.

То и дело в кухню отворялась дверь, приходили казаки-соседи, вынимали из кошелей разную снедь, с поклоном совали ее на скамьи.

— Нате-ка-те, возьмите-ка-те, — прислушивались к жалобным песням за перегородкой, мотали бородами, уходили. А в подворье, где старик Кузнецов чистил с сыном Андреяном лошадь, брали старика за плечи, целовали, поздравляли с царской милостью, заискивающе говорили:

— Кой да чего принесли твоим бабам-то... Икорки да баранинки... да рыбки! Ты ведь наш, Петр Михайлыч; ты ведь рядом с нами в непослушной стороне супротив генерала воевал. А ныне вот милосердный господь через Устинью Петровну вознес тебя. Ну, так при случае и ты не забудь нас, бедных, батюшка.

А как пал на землю вечер, в домишке Кузнецова собрались на «подвеселок» званые гости. Приехал с ближними и сам Емельян Иваныч. Он сел в красном углу под образами.

Сноха с Толкачихой вывели под локотки невесту. Высокая, статная, в голубом сарафане с позументами, с большими серебряными пуговицами на груди, в девичьем богатом кокошнике, Устинья сразу приковала к себе все взоры.

— Эх, и одета-то как! — восхищенно выкрикнул старик Денис Пьянов.

Заплаканные темные глаза Устиньи глядели как-то отрешенно в пустоту. Может быть, вместо знакомых и родных, вместо своего суженого она снова увидела бездонный омут с торчавшей из него рукой. «Сюда, ко мне», — откуда-то снизу, со дна живой реки раздается мертвый голос. И черная рука тянется, тянется из омута к ее девичьему сердцу, и все пальцы той руки в драгоценных кольцах. Ветер, шум, тьма, гнутся к земле ветлы.

Вдруг властно:

— Устинья! — и ласково-ласково, как тихие гусли: — Иди, кундюбочка моя, сюды.

Видение сразу лопнуло, как дождевой пузырь: сгинул омут, нету ветра, и вместо тьмы — мигучие огоньки горят.

И побледневшая Устинья, сомкнув обескровленные губы, села рядом с государем.

— Я буду бережение к тебе держать, Устинья, — еще ласковей шепнул он ей на ухо. Она в ответ лишь повела бровями.

И подвеселок, или сговор, начался. Гуляли, ели, пили до самой утренней зари.

ГЛАВА VII

Царская свадьба. Далматов монастырь. Душевное смятение Устиньи. Пугачевская Военная коллегия. Ропот

1

После подвеселка надо же было всем проспаться, поэтому венчанье назначено на два часа пополудни.

В Петропавловскую церковь пускали с разбором. Полковником Падуровым было кому надо внушено, что дедовские обычаи на свадьбе побоку, ибо венчаться станет не простой казак, а сам всероссийский

император. Пугачев относился к затее Падурова с внутренней ухмылкой: «А что ж, пусть позабавится, — думал он. — Да и казаков треба отблагодарить за их верность. Пусть эта свадьба им в праздник будет. Они в армии-то моей в корню идут».

Среди церкви высилось в две ступени архиерейское место, на нем — аналой с евангелием и крестом. Возле четырех углов этого помоста стояли в почетном карауле с обнаженными — к плечу — саблями четверо богатырей-казаков в богатой сряде.

В храме пахло ладаном, воском, разбросанным по полу можжевельником. Отец Кузьма в парчовой ризе, с наперсным крестом на груди, имел вид торжественный и строгий, даже грубые, видавшие всякую работу руки были начисто отпарены горячим щелоком и мылом.

На правом клиросе — хор певчих из стариков, середовичей и малолеток. Возвышаясь на голову над всеми, громоздился среди басов казак Петр Алексеич Пустобаев. Он в новом чекмене — подарке государя, а как заслуженных наград у него не было, дал ему на подержание три медали старик Яков Почиталин да одну медаль старшина Фофанов. Так что стал Пустобаев для торжественного случая о четырех медалях. На широкой груди он разместил медали очень низко, почти у пояса, чтоб они не были закрыты огромной пегой бородой.

Приглашенных было сотни две, они вели себя чинно, с нетерпением посматривали в сторону паперти, поджидали жениха с невестой. В церкви зажжены все паникадила. Прискакал гонец: «Едут!»

Духовенство направилось на паперть. С колокольни рассыпался медным плясом веселый трезвон во все колокола. Осиянный солнцем воздух взорвался за стенами церкви могучими криками «ура». Регент ударил камертоном по костяшке зажатого в кулак большого пальца. Певчие откашлялись.

Заскрипели двери, раздался возглас священника, вошел со свитой бравый Пугачев, хор дружно грянул входной концерт:

«Господи, силою твоею возвеселится царь!»

Жених взошел на возвышенное место, к аналою. Сзади него стали два шафера из неженатых детей казацких. Пугачев с рассеянным любопытством озирался по сторонам, тужась отделаться от беспокойных мыслей (еще час назад он побывал на подкопных работах, сыскал там всякие неустойки). На нем красовалась надетая через плечо широкая муаровая лента со звездой. Саблю, как учил его Падуров, он снял и передал ее Давилину.

Вскоре подкатил невестин поезд. Родня и женщины с девицами под водительством разухабистой бабы Толкачихи, окружив невесту, вошли в церковь шумно, с разговорами, как цыганский табор.

И вот невеста со своими тремя шаферами на возвышении, рядом с царем. Она в боярском сарафане, отделанном парчой и мехом, на голове ниспадающая к полу, подобно волне белого тумана, легкая кисейная фата, на шее дорогие бусы, чрез плечо красная лента со звездой.

Начался чин венчания. Отец Кузьма служил благолепно. Емельян Иваныч все покашивался то на невесту, то на правый клирос, где над всеми возвышалась кудлатая голова Пустобаева. Скорее бы вся эта музыка кончалась!

И вот с божественной книгой в руках Пустобаев вышел на середину церкви. Он остановился пред возвышенным местом, отстегнул на тяжелой книге «Деяния Апостолов» застежку с медным «жуком» на конце, не торопясь открыл книгу, развернул широкие плечи и чуть откинул назад крупную голову. Нескладный дьякон возгласил надтреснутым голосом:

— Премудр-о-о-ость!

В тон ему, но могучим потоком, прогудело из уст Пустобаева:

— К галатам послание святого апостола Павла, чтение-е-е...

— Вонме-е-е-ем! — призывая молящихся ко вниманию, ответил дьякон.

Тогда, немного опустив голову и настроив кадык как надо, Пустобаев пустил свободной густой октавой:

— Бра-а-а-тие-е-е...

В церкви водворилась полная тишина, лишь приведенный родителями пятилеток Кешка, показывая на Пугачева, лепетал:

— Знаю... Чарь, это чарь... Гостинцев дарил мне...

Его одернули, схватили за руку, но он вырвался, закричал:

— Туда, там... К дедушке. — Закутанный в мамкину вязаную шаль, он, подобно пухлому шерстяному клубку, покатился по церкви, встал впереди Пустобаева, лицом к нему, задом к иконостасу, и замер. Ну и слава богу, пусть стоит.

Пугачев, увидя Кешку, улыбнулся. Тут вмиг возникла перед ним его живомужняя жена Софья Митревна с ребятами. И покажись ему, что она с силой ударила его в самую грудь чем-то невещественным. Он боднул головой, сердце его больно защемило. Но в уши все могутней, все гуще напирали могущественные возгласы чтеца.

Голос русского богатыря властно хозяйничал во всем храме: стучался в окна, в стены, упругими валами катился по полу, орлиным взмахом взлетал в купол и, подобно каменному граду, падал оттуда вниз. От неимоверной силы звука сотрясался не только напитанный ароматным дымом воздух, но и деревянный пол небольшой уютной церкви. Застывший во внимании народ воспринимал голос Пустобаева в настороженном любопытстве, все приковались взором к вещавшему богатырю. Казалось, что даже святые угодники милостиво взирали на чтеца широко открытыми, строгого письма глазами. Кешка тоже пучеглазо воззрился на долгобородого дедушку, пыхтел и, погруженный в созерцание, пускал носом пузыри.

— Слушай, Устя, сейчас дед хватит про жену да про мужа, — шепнул Пугачев, припомнив всем известные слова «Апостола».

— Знаю, — чрез силу прошептала Устя. Из глаз ее катились слезы. Она вынула платок, посморкалась и надвинула на глаза фату. Где она? Что с ней? Мать ли она свою хоронит, или по себе панихиду служит, или в великий четверг на Христовых страстях стоит?

В ее руке теплится толстая, в золотых завитушках и цветах, свеча. Кто зажег, кто вложил ее в помертвевшую руку Усти? И как она, Устя, опора старого отца, попала в эту церковь, и чей на ней наряд, и чья фата, и чьи драгоценные бусы, подобно удавке, затянули ее лебединую шею? Ах, да, свадьба! Господи помилуй, свадьба...

Из мрачных дум вырвал ее все тот же громоносный Пустобаев. Он раскачнулся, передернул сильными плечами, расставил для устойчивости крепкие, как бревна, ноги и пустил из широкой глотки сотрясший всю церковь зык:

— А жена-а-а да убо-и-ится своего му-у-у-жжаааааа!!!

Дзинькнули стекла. Кешка шлепнулся задом на пол и засмеялся.

Отец Кузьма, при подобающих возгласах, надел на пальцы брачущихся обручальные кольца. Пугачев было протянул левую руку, с перстнем Разина, но священник, мягко улыбаясь, шепнул ему: «Извольте, ваше величество, правенькую ручку пожаловать», — и кивнул шаферам: «Венцы!»

При радостном пении хора: «Положил еси на главах их венцы», затем «Исаия, ликуй», — отец Кузьма надел брачущимся на головы венцы и трижды обвел их вокруг аналоя.

Устинья все еще как в тумане, и происходящее перед ее глазами она воспринимала как-то смутно и безжизненно. Пугачев выступал чинно, стараясь придать лицу царственную величавость. Мысли его были рассеянны и сбивчивы: он думал о подкопе, о Максиме Григорьиче Шигаеве, оставшемся вместо него в Оренбурге, то грезился ему Ванька Семибратов, то безносый каторжник Хлопуша, то любезная его сердцу покойная страдалица Харлова.

Дьякон начал возглашать многолетие:

— Благоверному государю нашему Петру Федоровичу и благоверной супруге его государыне Устинье Петро-вне...

И только тут Устинья пришла в чувство.

— Что это?.. Кому это?! — сбросив с лица фату, неожиданно воскликнула она, одновременно обращаясь к мужу, народу и священнику. Глаза ее широко открылись, как у внезапно пробудившейся от сна.

На колокольне забухали во все колокола. В ограде, раз за разом, трижды грянули ружейные залпы. А затем, по команде атамана Овчинникова, грохнула пушка.

— Пушка! — воскликнул Симонов, он писал донесение в Военную коллегию, бросил перо, схватил шапку и в одном мундире побежал на вал. За ним вприпрыжку слуга тащил его шубу.

Прогудел сигнальный колокол, ударили барабаны. Возле крепостных пушек уже стояли офицеры и солдаты. Симонов с Крыловым залезли на колокольню. Но было все спокойно, выстрелы не повторялись, и смолкли колокола отдаленной Петропавловской церкви.

— Почему пальба и трезвон?

— В толк не могу взять, — пожимая плечами, ответил Крылов. — Уж не именинник ли Пугачев?

— Надо в святцы заглянуть, у меня есть, — ответил Симонов. — Только когда он именины-то правит: на Петра или на Емельяна?

В это время Емельян Иваныч вместе с новой царицей сидели в креслах, принимая поздравления. Все подходили в полном порядке, «вожжой», целовали руку сначала царю, затем царице. Пугачеву хотелось есть. Он засунул свободную руку в карман бархатного, расшитого серебром кафтана, стал по кусочку незаметно отщипывать от просвирки и совать в рот. Скорей бы уж... Наскучила ему вся эта падуровская да поповская, бог их люби, затея.

Лицо Устиньи рдело от стыда, а руки были холодны. Она приветливо, даже заискивающе всем улыбалась, как бы говоря: «Не осуждайте меня, я не по своей воле...» Глаза улыбались, но не натурально: как будто не живой луч солнца, а лишь солнечный отблеск светился в мертвых льдинках. Полное спокойствие к ней вернулось только тогда, когда она села с мужем в сани.

«Их величества» были встречены свитою. Вылезавшего из саней Пугачева поддерживал атаман Каргин, Устинью подхватил под локоток Падуров. Когда «их величества» изволили следовать по лестнице наверх, их осыпали хмелем и житом. При входе «их величеств» во внутренние покои хор Петропавловской церкви запел «Встречу». «Их величества» были торжественно посажены под образа на красное место, за отдельный стол, к которому примыкали два длинных, вдоль стен, стола. Сзади молодых — два «царицына» брата, нечто вроде пажей, и две девушки-казачки: Прасковья Чапурина и Марья Череватая — фрейлины. Они стоят навытяжку, внимательно посматривая на Падурова, главного распорядителя.

— Садитесь, господа гости! В ногах правды нет, — говорит Пугачев.

Все, покряхтывая, почесываясь, неуклюже толпясь, принялись усаживаться. На столах баклаги и бутылки с вином, разные обильные закуски, столь затейливо изготовленные французом-поваром, что к ним страшно прикоснуться. Тут были какие-то игрушечные башенки из сливочного масла, и крутые яйца, начиненные чем-то вкусным, и разных фасонов пирожки, и всяких сортов балыки, нарезанные тонкими ломтиками, и свежая зернистая икра, усыпанная мелким луком, соленые и отварные грибы, шинкованная и тушеная, в сухарях, капуста... Господи ты боже мой, чего-чего тут только не было! Приглашенные, весело переглядываясь, сглатывали слюни, их животы давно скучали.

Пока гости по указанию Падурова садились по местам, Пугачев, пользуясь общим замешательством, схватил ложку, незаметно поддел икры и — в рот, поддел отварных грибов и — в рот, откусил кусок калача. Прикрывшись от Падурова ладонью и поглядывая на него с опаской, как бы не одернул, быстро стал прожевывать закуску. Лицо его сразу стало добрым, веселым.

— Прошу наполнить до краев кубки! — с неестественной для него изысканностью проговорил Падуров и слегка всем поклонился. Он стоял позади гостей, ря-

дом с хозяйкой дома, бабой Толкачихой, на голове которой красовалась нарядная кичка с фасонными рогами.

Гости с готовностью исполнили просьбу и сразу залили вином скатерть.

— А не можно ли, полковник, попроворней к снеди скомандовать? — сказал Пугачев и умоляюще посмотрел на Падурова.

Казаки, расправляя усы и бороды, согласно закивали головами.

— Доразу, ваше величество! — откликнулся усач Падуров и тронул за плечо старшего по чину атамана всех пугачевских сил Овчинникова. Тридцатипятилетний, горбоносый атаман быстро встал, огладил кудрявую, как овечья шерсть, русую бородку, высоко поднял чару и, устремив умные серые глаза на Пугачева, звонким голосом провозгласил:

— Здравствуй, отец наш, ваше величество, царь Петр Федорыч. Жить да быть тебе, долго здравствовать!

— Спасибочко, — ответил Пугачев.

Все как один, мужчины и женщины, поднялись и пошли чокаться с государем. Выпивали и отходили к сторонке. Толчея, пыхтенье, наступали друг другу на ноги, расплескивали вино, — горенка изрядно тесновата.

Падуров, прихлопнув в ладоши, произнес:

— Наш великий хозяин присуглашает дорогих гостей приступить к закуске. (Гости вмиг похватали вилки и ложки.) Впрочем сказать, — продолжал Падуров, улыбаясь, — хозяин просит сверх меры не наедаться, так как...

— Какое еще так-растак? Ешь, сколь влезет! — зашумел подвыпивший Денис Пьянов. Вместе со слепцом гусляром он сидел в углу возле печки, за опрокинутой вверх дном шайкой, превращенной в стол. Пред ними много закусок, а в самом уголке, на полу, — баклага с водкой.

— ...так как, — закончил Падуров, — опосля тостов последует обед французской кухни.

— Хранчюской? Ха-ха-ха! — захохотал Пьянов.

К нему подошел Давилин и кратко, но внушительно шепнул ему на ухо:

— Выведем!

— Молчу, молчу, — также кратко ответил испугавшийся Пьянов.

Певчие, стоявшие за перегородкой в соседней горенке, возле открытых дверей, пели государю «многолетие».

Когда все утолили первый голод, по знаку Падурова встал с кубком новоизбранный атаман Войска Яицкого, старик Каргин.

— Здравствуй, матушка, благая государыня наша Устинья Петровна! — подняв над головой кубок с вином, воскликнул книжный и набожный Каргин. — Ты суть ветвь от древа нашего казацкого, праведная дщерь роду нашего. Прими на себя, матушка, заступление свое за нас, сирых, за войско казацкое и за старую веру нашу дониконианскую.

Устинья слегка улыбнулась, вздохнула и, не подымая глаз, кивнула старику. Снова все с шумом поднялись, прокричали:

— Здравствуй, матушка, государыня Устинья Петровна! — и гурьбой пошли чокаться к царице.

Певчие пропели «многолетие» государыне, гости выпили, сели, закусили. Затем с той же церемонией была провозглашена здравица за наследника Павла Петровича. Вскоре столы были опустошены: закуски съедены, вино выпито. Многие «любожорцы», забыв предосторогу Падурова, умудрились наесться до отвала.

Стало темновато, зажгли многочисленные свечи, для прохлаждения распахнули на минуту дверь. Шибанул в горенку морозный воздух, гости враз взбодрились, жадно задышали полной грудью.

— Повелите, государь, открыть почестен пир, — с разученным поклоном и как бы играючи, обратился Падуров к Пугачеву.

— Приемлемо, — кивнул головою Пугачев.

В открытую наружную дверь ввалился толстый, как бочка, повар. Он в белом с нагрудником фартуке,

в белом колпаке, за поясом кухонный широкий нож. Припав на одно колено и вскинув вверх правую руку, повар, обращаясь к Пугачеву, быстро-быстро залопотал по-французски.

— Благодарствую, — нетерпеливо прервал его Пугачев. — Я ведь зело борзо знал по-иностранному-то, да трохи-трохи позабыл... Ну ладно, мирсит твою! Давай, чего у тебя... Вали!

Повар принял из рук поваренка дымящуюся густым паром фарфоровую миску, передал ее в руки подскочившему казаку Андреяну, а тот бережно поставил миску пред их величествами.

— Антре потофе! — грассируя, громко выкрикнул повар, повернулся и вышел.

— Давай, давай сюда!.. Что за Андрей Катафей такой, — шутили рассолодевшие гости, наливая черпаками из поданных пяти мисок горячий суп по своим тарелкам.

Услужливые руки расставляли по столам горы слоеных пирожков и поджаренных розоватых гренков. Наступило вожделенное молчаливое чавканье. Устинья после трех чарок раскраснелась. Она шарила взором по лицам гостей: вот ее любимый отец, вот сестра Марья с мужем Шелудяковым, вот огромный, потешный Пустобаев с усердием питается — только ложечка мелькает да в широкий рот пирожки летят, вот ее близкие подруги... Устинья улыбается отцу, улыбается подругам, и те отвечают ей приятными улыбками, отец даже подмигнул Устинье и закивал седовласой головой. И все, сколько было гостей, с каким-то особым упованием нет-нет да умильно и посмотрят на нее. Устинью это взбадривает, вино течет по жилам, дурманит голову, мрачные думы отлетают, будущее тонет в настоящем, таком необычном и сладостном, как колдовское сновиденье. «Я вас всех люблю, — хочется крикнуть ей, — только поберегите вы меня, младешеньку». Она берет слоеный пирожок, он рассыпается у нее во рту и тает.

— Эта похлебка, — во всеуслышание начинает Пугачев, — помню, звалась при дворце трю-трю...

— Ах, ах, ах!.. Неужто трю-трю? — поднял бороду атаман Каргин.

— Трю-трю, — так и говорилось. Ведь я, бывало, сладко ел, тетушка Лизавета Петровна, превечный покой ее головушке, баловала меня. Бывало, позовет, да и скажет: «А ну-тка, скажет, Петенька, открой вот тот шкафчик, я тебе кое да что приготовила». Ну, я открою, а там на трех блюдах оладьи, кои с патокой, а кои с вареньем. Ну и нажрешься до отвалу... То бишь это... как его... — спохватился Пугачев.

— Я слышал, ваше величество, — начал Падуров, всегда в трудные минуты поспевавший царю на помощь, — я слышал, будто бы в некое время в Париже был для знати обед, а главный повар сплоховал: кушанье одно не удалось. Так он из самолюбия повесился.

— Вона! — вскричал Пугачев. — Я втапоры в Париже-то был своей персоной. Он, поваришка-т, не сам повесился, а его взяли да повесили. Не плошай. Только и делов...

В пол снизу, из кухни, постучали. Услыхав этот сигнал, Падуров приготовился. Явился вновь повар с блюдом, прокричал:

— Экстюржон!

Огромный, пуда в два, осетр покоился, за неимением большого блюда, на саженном деревянном подносе, прикрытом холстиною. В ноздрях у него гераневые зеленые листочки, вареные глаза взирают на людей с любопытством и презрением, как на рыбешку, которая мелко еще плавает. Осетр пронес себя над головами притихших гостей и неспешно подплыл к их величествам.

— Пошто рыбина-то не порушена на порционы? — досадливо спросил Пугачев, ковырнув вилкой в розово-серую кожу осетра, покрытую чешуйчатым панцирем.

Повар быстро, взахлеб, заговорил по-французски: «Пуасон, пуасон... экстюржон», — и ловким движением при помощи двух вилок загнул наверх кожу осетра, там лежали желтоватые ломтики разварной

рыбы, уснащенные подливками. Вильнув хвостом и оскалив острые зубы, осетр поплыл от стола их величеств к зачарованным гостям. А вино убывало, убывало, и все развязней становились гости. Пугачев поцеловал Устинью в правый локоток, а затем в щечку, Давилин прижал к печке пышную бабу Толкачиху, Падуров щекотнул в бочок царицыну сестрицу Марью. Бражники закричали:

— Будет еще какая еда?

— Будет, будет!

— Ха-ха-ха!.. Ей-бо, лопнем.

Толкачев с Каргиным, хотя и пьяны были, но дела своего не забывали, они вышли во двор, вскочили на коней и поехали проверять караулы, дозоры. Потемневшее небо уже было в звездах, из-за сыртов выходила плешивая большелобая луна. Тихий воздух свеж, бодрящ.

А там, перед глазами их величеств, новое усердное чудачество француза-чародея: на круглом блюде сидит обыкновенный заяц; этакий белобокий степной «куян». Сидит себе на задних лапах, левое ухо торчком, а правое прижато лапкой, будто зверек умывается. И раскосые глаза блестят. Живой, что ли? Ха-ха-ха!

С трудом опустившись на одно колено, повар держал блюдо с зайцем над головой, перебирая руками, медленно вращал его во все стороны, как бы давая всем полюбоваться. Пугачев, ничего не понимая, защелкал языком, а охмелевшим бражникам казалось, что заяц дрыгает передними лапками, рубит ими воздух, как капусту. Ха-ха-ха!

Повар поставил блюдо на стол пред их величествами, схватил зайца за уши и свободно сдернул с него шкурку. Заяц сразу утратил свое звериное достоинство: стал бос, наг и жалок видом. Затем повар перевернул прошпигованную свиным салом тушку на бочок и заработал ножом: внутри зайца лежала прожаренная утка, в утке цыпленок, в цыпленке — рябчик, в рябчике — два особо фаршированных грецких ореха. Повар меж тем непрерывно лопотал и саль-

ными руками делал выразительные жесты, очевидно желая внушить их величествам, в каком порядке надо кушать сие блюдо. Гости таращили пьяные глаза, недоуменно подталкивали локтями друг друга.

— Приемлемо, мирсит твою, Людовик, — покровительственно молвил Пугачев и махнул повару рукой. Тот поклонился и, расталкивая брюхом толпившихся гостей, вышел.

— Заяц-то пил, ваше величество! — смешливые зазвенели голоса. — Винишка-то добавить треба. Усохло.

Волшебные руки вмиг подсунули на стол полные вина баклаги.

— Эх, разнопьяное винцо-пойлицо! — И гости наполнили кубки, выпили.

— Сторонись, душа, — оболью! — гаркнул Пустобаев и тоже выпил.

Заяц и вся жареная убоинка были съедены их величествами и сидевшими возле них гостями. Что же касаемо крупных, начиненных пряностями грецких орехов, то их, как некие ненужные, положенные для украшения отбросы, проглотили не жевавши каких-то два затесавшихся с улицы пьяных старика.

Пугачеву заяц очень понравился, он удовлетворенно обсасывал пальцы, утирался рушником. Вот так заяц!

Вошедший с сахарными пышками-пампушками повар, узнав, что оба грецких ореха была сожраны простыми стариками, пришел в ужас.

— О, мон дье! — схватившись за голову, воскликнул он полным отчаянья голосом. Его белый колпак съехал на ухо, чисто бритое тестообразное лицо с двойным подзобком исказилось гримасой возмущения. — Ой, вей-вей. Разве такие императоры бывают. Он не смыслит, как надо кушать старинное блюдо королей великой Франции. В этом блюде кушают лишь два орешка, знатно фаршированных. А все остальное — зайчатину и прочее — выбрасывают псам. Ведь вся мясная оболочка не более как футляр для драгоценного сувенира — двух орехов.

Черт бы побрал эту варварскую Россию! Вив ля Франс!..

— Что это он там выборматывает? — Со скорбью посмотрев на пустое из-под зайца блюдо, Пугачев прищурился на несчастного француза, взмотнул рукой, крикнул: — Квасу с тертым хреном, мирсит твою. Эй, Людовик!

Пять блюд с сахарными пышками-пампушками поплыли воздухом к «высочайшему» столу и на столы обыкновенных смертных. Все лакомились пышками-пампушками с особым восхищением. Впрочем, пьяные казаки утратили всякий вкус к еде. Они уже не понимали, где у них руки, где ноги, только еще не забыли, где дорога в рот, и, закрыв полусонные глаза, шумно чавкали, пожирая сахарные пышки.

Появился холодный квас. Было притомившийся Емельян Иваныч вновь ожил. Он поболтал в своем жбане ложкой, чтобы взбаламутить осевший на дно хрен, и стал пить не отрываясь. Бражники с каким-то радостным утробным прикряком тоже отводили душу забористым, в меру убродившимся кваском.

Удовлетворенный Пугачев сонным голосом, без обычного огня, рассказывал:

— Помню, у короля прусского Фредерика я в гостях был, ну дак там подали целого теленка жареного. А в теленке-то большой баран с рогами, в баране-то добрый поросенок полугодовалый, а в поросенке четыре курицы, пятый петух...

— А орехи-то были, ваше величество?

— Орехи были, сам видел. Да мы их двум собачонкам стравили, мопса два. А достальное скушали. Ну дак ведь застолица-то немалая там сидела, сто пятьдесят шесть человек, окромя женских.

Впрочем, его почти никто теперь не слушал, все как сумасшедшие крикливо говорили разом, невпопад смеялись, обнимали друг друга за шеи, соприкасаясь мокрыми растрепанными бородами, заводили песни. Старик Витошнов, переложив винца, дважды падал с лавки на пол. В дальнем углу стали бить посуду.

Пугачеву не понравилось такое невнимание к его словам. Он нахмурился и уже потвердевшим голосом заговорил:

— Вот мы сидим да бражничаем, а Симонов рядом, как бельмо на глазу. А мы тут... Эй, атаманы, слышите?!

Но пьяные гости продолжали гулко шуметь, совсем забыв про государя своего. Пугачев вскочил и грохнул кулаком в столешницу:

— Замолчь!

Вскочила и Устинья, она схватила его за руку и, заглядывая вдруг потемневшими глазами в исказившееся лицо его, взвыла:

— Батюшка, заспокойся! Сдурел ты?!

Он оттолкнул ее. Она сдвинула брови и снова схватила его за руки. Пугачев, сверкая взором на примолкших, поднявшихся на ноги гостей, крикнул:

— Затеяли гулянку... Послать в Берду за Шигаевым! Где Шигаев? Где Горбатов-офицер? Я им верю.

— А нам, батюшка, не веришь, что ли? — косясь на Пугачева и потряхивая широкой бородой, обидчиво кидал шумно дышавший Чумаков.

— Верю! И вам верю... Да не всем. Забыли Митьку Лысова? Я ему тоже поначалу верил... Ох, вы мне, атаманы-молодцы!

Пугачев, стиснув зубы и вырвавшись из рук Устиньи, заорал:

— К черту! Все перекострячу!.. Я царь ваш, царь!

Люди разинули рты, замерли, кое-кто трясся со страху. Вдруг где-то совсем близко ударила пушка.

— Казаки! На-конь! — весь как-то оскалившись, во всю мочь гаркнул Пугачев.

Витошнов упал. А Пугачев с Падуровым и Пустобаевым выбежали в чем были на улицу. Следом вынесли им теплую сряду. Устинья со всем усердием одевала мужа. Из дома гурьбой выходили гости. Все сгрудились возле государя.

Вот вывернулись из-за угла и подъехали два всадника — Каргин и Толкачев.

— Чего вы тут?! — нетерпеливо крикнул встречу им Емельян Иваныч.

Они соскочили с коней, сдернули шапки. Толкачев сказал:

— Проверку, твое величество, делали... Симонов спит, наши дозоры да посты в оба глаза смотрят...

— А кто палил?

— Да это я, царь-государь, распорядился, — ответил зело подгулявший атаман Каргин, держась за повод лошади и привалившись плечом к Михайле Толкачеву. — Хотелось поздравку сделать в честь... в честь свадьбы вашей, так я чугунный арбузик в крепость на закуску бросил. Ха-ха-ха...

— Спьяну это ты, атаман, — неодобрительно молвил Пугачев.

И все двинулись по направлению к церкви. Широкая улица, легкий морозец. Звезды окрепли, полунощная луна круто стояла в небе. Ее голубое сияние текло по всему просторному миру. Но никто из бражников не видел ни звезд, ни сиянья, ни луны. Впереди их величеств шествовали музыканты: две скрипки, гусли, дудки и рылейки. Они играли с азартом, подгикивая, подсвистывая.

Пугачева вели под руки «пажи», Устинью — «фрейлины». Пугачев следил за своими ногами. Все хорошо, прилично. А ежели его и брал легкий шат, так это уж не его вина: вся дорога под его ногами ходила ходуном, покачивалась.

К церкви поспешал Падуров. Там Ваня Почиталин и молодые казаки зажигали плошки с салом, с дегтем. Загорелись два вензеля, сначала «П», затем «У» — Петр и Устинья.

— Пу! — прочел громко Пугачев, ткнув, как маленький, пальцем по направлению к вензелю. — Пу! — повторил он и испугался: а вдруг после этого «пу» да «глаголь» загорится, а потом «аз» и прочие буквицы, будет «Пу-га-чев»... «Тогды до разу сничтожу Падурова», — покачиваясь с пяток на носки, подумал он. Но вместо буквиц загорелись огненные колосья, опахнули полнеба красные, синие и желтые «мигальские огни».

Удивленная Устинья била в ладоши, хохотала. Гости кричали «ура» и тоже хохотали.

Назад пришли не все, иные по дороге попадали, ползали на четвереньках, норовили где-нито притулиться в сугробе под забором «напродрых», — их разводили по домам. Благочестивый атаман Каргин, присоединившийся к компании, возвращался с прогулки так: несколько шагов влево, несколько шагов вправо, шага три назад, затем, набравшись ретивости, он бежал по прямой линии вперед и, упав плашмя, бороздил снег горбатым носом. Пугачев шел вольно, в окружении атаманов, старшин и есаулов.

...И как только собралась шумная застолица, как только подали новые сладости с горячим сбитнем и медовым квасом, сразу зазвенела песня. Нарядные девушки, посматривая с завистью на Устинью, запели:

Без тебя, ой без тебя, мой друг,
Постелюшка холодна,
Одеяльце призаиндело в ногах.

Осипшими хмельными голосами подхватили и мужчины:

Одеяльце призаиндело в ногах...

Было исполнено много старинных, трогающих сердце песен. Пугачев, облокотившись на стол и подперев кулаком встрепанную голову, слушал внимательно. Устинья, потупясь, сидела не шелохнувшись.

— Теперь послушайте-ка донскую казачью, только, чур, не сбивать меня, — внезапно проговорил, оживляясь, Пугачев.

Ему давно хотелось показать свое уменье. Не меняя позы, он поднял брови, окинул гостей взором и не спеша запел. Он пел с большим природным мастерством, полузакрыв глаза и прислушиваясь к тому, как звучит родная песня. Его звонкий, доходчивый голос то выразительно взлетал, то падал и бередил сердце. Он пел:

Под ракитовым кустом казак навек уснул.
Перед ним-то стоит его верный конь,
Он копытом бьет во сыру землю,
Выбил ямищу по колено он.

Своего будит он хозяина:
«Ты, хозяин мой, млад донской казак,
Ты садись на меня, слугу верного,
Понесу я тебя да на тихий Дон».

Слова были самые обыкновенные, простые, но певец вкладывал в них столько души, что гости, замерев, глубоко вздыхали, никли головами и уже не могли вырваться из охватившего их сладостного плена. Ну и наградил же бог человека таким даром, ну и горазд же «батюшка» голосом владеть!

— Эту песню, — сказал растроганный Пугачев, — я перенял от моих конвойных донцов, что были при дворце.

Огромный и могучий, словно отлитый из меди, Пустобаев стоял возле перегородки и не спускал с «батюшки» глаз.

Пугачев улыбнулся, наскоро обнял Устинью, сбросил с плеча кафтан со звездой и, попробовав, могут ли работать ноги, сказал:

— Эх, притопнуть бы, господа казаки, а то скука берет... Поплясать бы надлежало. Да, вишь, теснота... Простору нет!

— Как это простору нет?! — насупясь, гаркнул Пустобаев и со всей силы ударил кулачищем в переборку. Две доски с хрустом вылетели вон. — Как это простору нет? — повторил мрачно Пустобаев и двинул кулаком во второй раз. Доски снова затрещали, вылетели вон. — Как это простору нет? — сказал Пустобаев в третий раз и, навалившись плечом на дверные косяки, вместе со всей рухнувшей перегородкой растянулся в соседней горенке.

Дружный общий хохот, победные крики, будто неприступную крепость взяли. Молодые казаки, бабы, девчата живо убрали древесный хлам, — зальце стало вдвое больше, плясы начались.

Первым бросился отплясывать неуемный Пустобаев. Мужественное лицо его было все так же хмуро, почти мрачно, но вся душа в нем хохотала и козырилась.

Эх, лапоточки мои — рыта бархата,
Вы онучи мои — объярь алая!

Когда он пустился в присядку, гуляки выкрикивали:

— Легче, легче, подполковник! Мотри, на бороду себе не наступи...

...Пред утром молодых повезли на новую квартиру, в дом Бородина. И как только залез Пугачев в сани рядом с Устиньей, вдруг отрезвел он, да так, что кровь смерзлась в жилах.

«Эх, Емельян, Емельян, отпетая твоя головушка», — подумал он с тоской и злобой.

Луна уже не сияла, как раньше, но звезды пылали еще ярче, и в их холодном огне зловеще вычерчивались на сизом небосводе высокая колокольня и зубчатые стены крепостного частокола. Вот она, крепость, — вся как на ладони, а поди-ка выкуси ее... А там — Оренбург, а за Оренбургом многие тысячи подобных крепостей — до самого аж Петербурга.

Он откинулся к задку саней, отдаваясь своему мрачному раздумью, тяжело, протяжно вздохнул. Устинья вся затаилась: вот оно, начинается... И чем дальше летели минуты, тем угрюмей становилось на сердце у нее. Не выдержав, она уткнулась в пушистую шаль и всхлипнула.

Емельян Иваныч опомнился. Он высвободил из-под шали голову новореченной супруги, зажал в своих ладонях девичьи щеки и заговорил голосом, какого Устинья не слышала раньше, не услышит и потом — до конца дней ее с этим желанным и страшным человеком.

— Ястребок мой сизый... подстреленный, — вымолвил он и вздохнул еще тягостней.

Тройка лихо подкатила к изукрашенному флагами крыльцу Бородина. Из-под порожек с пронзительным лаем выскочила востроухая собачонка, человек замахнулся на нее с облучка кнутовищем:

— На царя гавкать, а!..

И грозно полез с облучка, но Емельян Иваныч остановил его:

— У нее хозяин дома — царь, на том стоит!

На другой день были розданы свадебные подарки новой родне и духовенству. Начальствующие лица пришли поздравить молодых. Благочестивый атаман

Каргин — голова у него обмотана, переносица расцарапана, глаз распух, — кланяясь государю, сказал смиренно:

— Вот, батюшка, ваше царское величество, со свадьбы-то твоей по-лягушечьи довелось до дома-то добираться...

— Как, по-лягушечьи? — улыбнулся Пугачев.

— А так, по-лягушечьи... Где поползешь, а где и прыгнешь. Вот глаз подбил.

Пугачев засмеялся и, обратясь к Овчинникову, спросил:

— А где Грязнов-старик да Кузнецов Иван? Помнится, я их к графу Чернышеву направил, к Чике.

— Граф Чернышев доносил нам, ваше величество, — ответил Овчинников, — мол, атаман Грязнов под Челябу им отправлен, а Ванюха Кузнецов под Кунгур.

— Надлежало бы гонцов к ним спосылать, дознаться, что да как? — молвил Емельян Пугачев.

И все двинулись осматривать подкоп.

2

Тем временем атаман Грязнов после неудачного приступа к Челябинску отошел к Чебаркульской крепости. А Челябинск вскоре занял Деколонг.

Грязнов снова подступил к Челябинску и остановился в шести верстах от города в деревне Першиной. У него в толпе 4000 человек — крестьян, башкирцев и киргизов. Небольшие грязновские партии разъезжали по окрестностям, хозяйничали в селениях. Трусливый и старый Деколонг бездействовал. Окрестное население, не видя себе законной защиты от Деколонга, передавалось Грязнову. Силы пугачевцев с каждым днем возрастали. Челябинску угрожала блокада, отряду Деколонга и всем жителям — голод.

Чтоб не быть запертым в городе, Деколонг вынужден был Челябинск покинуть. Кстати представился случай: от полковника Василия Бибикова он получил из Екатеринбурга письмо с просьбой о помощи, так

как «самый Екатеринбург и его окрестности от злодейских обращений весьма опасны».

8 февраля весь воинский отряд его — около 3000 человек — выступил из города. Деколонг забрал с собой воеводу Веревкина, всех рекрут, всех чиновников, купцов, казну и годную артиллерию.

По дороге пугачевцы то и дело нападали на Деколонга, но тот ни разу не переходил в наступление, торопливо удирая, и чрез неделю достиг села Воскресенского. Отсюда послал полное отчаянья донесение сибирскому губернатору Чичерину, стараясь преувеличить опасность и прося себе помощи.

С уходом Деколонга из Челябинска пугачевцы стали полными хозяевами не только всей Исетской провинции, но отдельные партии их начали проникать и в Сибирскую губернию.

Чичерин скрепя сердце послал Деколонгу некоторую помощь и в то же время пожаловался на него генерал-аншефу Бибикову. Разгневавшись на бездеятельного Деколонга, Бибиков, между прочим, писал императрице:

«Странность поведения генерала Деколонга или лета его, или вкоренившаяся сибирская косность причиною. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я бы лучше желал, чтоб сей генерал на нынешнее время там не был, и если бы возможно кого надежнейшего отправить, а его отозвать...» и т. д.

Екатерина ответила ему, что сделала указание отправить на место Деколонга генерал-поручика Суворова. Однако фельдмаршал Румянцев с театра военных действий Суворова не отпустил и, таким образом, полученного им повеления императрицы не исполнил.

Деколонг остался на прежнем месте и продолжал с той же трусливой осторожностью командовать своим отрядом.

Часть пугачевцев из армии Грязнова мелкими отрядами правилась к Далматову монастырю. Эта старинная твердыня большим была для них соблазном. Заняв ее, они могли держать в своих руках всю

долину реки Исети с многолюдными селеньями: в монастыре были пушки, порох, ружья, продовольствие.

Далматов Успенский монастырь[1] стоял на высоком левом берегу реки Исети, на сибирском тракте, в 160 верстах к востоку от Екатеринбурга. Монастырь был обнесен высокими кирпичными стенами с башнями, бойницами. Он напоминал собою крепость.

Подтянувшиеся к монастырю отряды полагали овладеть им с помощью экономических крестьян, ненавидевших монастырское начальство за притеснения и неправые поборы. Двенадцать лет тому назад возле монастыря возгорелся бунт:[2] крестьяне пытались поколотить монахов, а жестокого настоятеля, архимандрита Иакинфа — убить. Бунт был подавлен, наказанные крестьяне затаили к монастырю злобу.

При первом же известии о появившемся под Оренбургом Петре Федорыче все монастырское крестьянство подняло голову. Архимандрит Иакинф, предвидя неспокойное время, стал готовиться к защите и в начале января 1774 года выехал в Тобольск просить губернатора Чичерина о воинской помощи.

Вскоре отряд пугачевцев в полтысячи человек прибыл из-под Челябинска в окрестности монастыря. Командовали отрядом Пестерев и Тараканов.

Отсутствующего архимандрита заменил экономический казначей, секунд-майор Заворотков. Человек деятельный и бывалый, он хорошо подготовил монастырь к встрече мятежников. Он приглашал на борьбу с ними подчиненных ему крестьян близлежащего многолюдного села Никольского:

— Спешите укрыться в стенах святой обители! Беритесь за мечи, за ружья.

Более зажиточные крестьяне, всего 383 человека, перебрались в монастырь с семействами и скарбом. Огромное же большинство крестьян осталось в Ни-

---

[1] Впоследствии город Далматов.

[2] Известный под именем «дубинщины».

кольском. Дух мятежного неповиновения поддерживал в своих прихожанах сельский священник Петр Лебедев.

11 февраля с высокой монастырской колокольни дозорные заметили приближавшихся пугачевцев. Защитники высыпали на стены и взялись за оружие. В монастыре было 15 пушек, 80 ружей.

Местный крестьянин Боголюбов, приблизясь от толпы мятежников к монастырю, передал монастырской братии бумагу. Походный атаман Пестерев писал в своем «известии о благополучии», что он прислан от армии его величества с полутора тысячами человек команды при двадцати орудиях и просит без кроволитья покориться ему. Он сообщал, что вся Казанская губерния, царствующий град Москва, также Нижний и другие города «склонены наследником, государем-цесаревичем Павлом Петровичем, так и государем нашим Петром Федоровичем. Оренбургская губерния и показанные: Челяба, Троицкая крепость и прочие жительства в склонность приведены благополучно...»

В тот же день, к вечеру, мятежники, не получив ответа, ворвались в Никольское, зажгли два крестьянских овина и разбрелись по избам. Атаман Пестерев велел устроить возле своей квартиры две виселицы.

Бушевавшая толпа приволокла к месту казни несколько монастырских служителей, капитана Вырубова и попа Хорсина. Все они были повешены.

На другой день Пестерев послал к воротам монастыря крестьянина Мокрушникова с требованием монастырю сдаться. Все монастырские стены снова были усыпаны защитниками. Мокрушников, задрав бороду, кричал:

— Сдавайтесь, православные! Довольно злодей архимандрит измывался над вами! Царь-батюшка всех нас, рабов своих, льготить обещал. Он, отец наш, все вольности дает нам, крест и бороду, леса, реки, травы!.. Вот я тут царский манифест на колышек приколю. А вы сдавайтесь, а то смерти-то всех вас исказнят.

В сводчатой трапезной, размалеванной рукой немудрого живописца, собрались монастырские заправилы со старшей братией и при тусклом свете восковых свечей стали сочинять увещание мятежникам. Писал гусиным пером на добротном листе бумаги молоденький послушник Дорофей, сын крестьянский. Волосы у него длинные с льняным отливом, лицо сухощекое и бледное, глаза голубые, в них смятение и грусть об уходящей юности, руки белые с длинными тонкими пальцами, и весь он, как березка, тонкий, с перехваченной кожаным поясом девичьей талией. На голове бархатная остроконечная скуфейка.

Экономический казначей из села Никольского секунд-майор Заворотков да седой монах с крупным красным носом и блудливыми глазами диктовали:

— Пиши, сыне...

«О благополучии вашем, — выводил пером юный Дорофей, — известие сюда от вас, чрез нашего мужика, прислано, в коем смешного достойныя прописаны бредни, чему никоим образом статься не можно. Да и помыслить ужасно, чтоб покойному государю Петру III, прежде чаемого общего воскресения, из мертвых одному воскреснуть...

...А сия гнусная чучела, Пугачев, назвавшись таким ужасным по России именем, наподобие якобы воскрес из мертвых и желает похитить самим богом узаконенную власть грабежами, разбоем и кровопролитьем, чего и в целом свете не слыхано. Всякий монарх вступает на престол тишиною и полезным всему обществу спокойствием. А как ваш мнимый император Петр III, в своем ложном, и то письменном, а не печатном, манифесте, всему обществу в сведение не предъявил, где он и в каких местах через двенадцатилетнее время находился и для чего только в одну Оренбургскую губернию вкрался... И склонившихся ему ослепленных мужиков прельщать старается крестом и бородою, травами и морями — чем мы и без его награждения от милостей нашей монархини довольствуемся. Крест Спасителя нашего всякий из православных чтит и поклоняется, а бороды природ-

ные у всякого по человечеству имеются. Растущие на ней волосы по своей воле кто стрижет и бреет, а иной отпущает. Травами же мы без награждения вашего довольны и недостатка никакого не имеем».

Строчки перечеркивались, вместо них скрипучее перо выводило новые, юный Дорофей дважды чинил перо брадобрейным ножом, перемазал чернилами пальцы, и — боже, милостив буди нам, грешным! — в его неискушенное людскими страстями сердце вползал от лукавого сатаны соблазн: вот сейчас он безраздельно верит тому, что пишет, а когда читался манифест новоявленного государя, он без колебания верил тому манифесту. Господи, отведи напасть, изведи из темницы душу!.. Впрочем, на лице светловолосого с голубыми глазами юноши не отразилось и тени страдания, он только на минуту задумался, но его думы прервал повелевающий голос:

— Пиши!

Красноносый седой монах то и дело нюхал из тавлинки и чихал, сотрясая стол и колебля огоньки свечей. Секунд-майор в новом мундире похаживал, крутил черные усы.

«Покориться, конешно, мы были бы готовы, — писал послушник под диктовку, — ежели б называющий себя государем Петром III появился в царствующем граде Петербурге, там был принят и объявил о своем восшествии на престол без грабежей и разорения народа».

Грамота эта, помеченная 12 февраля 1774 года, была без подписей, но с монастырскою со шнуром печатью[1].

Многие крестьяне и монахи ночь провели в соборе, с усердием молились богородице. Юный Дорофей высоким, почти женским голосом читал книгу о разных чудесах, о том, как благословенная богоматерь спасла великий град Константинополь от Епифского воеводы, свирепого зверя-кабана, и потопила в море лютые бусурманские полки его. Читал он бледными устами, а сердцем был в селе Никольском возле род-

---

[1] Приводится в большом сокращении.

ной своей крестьянки-матери, возле двух своих сестренок. И твердо решил послушник, если будет неустойка, он передастся царю Петру Третьему: государь простой народ льготит и повсеместно волю возвещает.

Ранним утром были отслужены в переполненном людьми соборе утреня, обедня и молебен о ниспослании победы. Иеромонах благословил крестом всех защитников.

Вдруг, сотрясая воздух, загрохотали пушки. Началась перестрелка между враждующими сторонами. Пальба из пушек, ружей и пищалей длилась весь день, весь вечер до полуночи, потери в том и другом лагере были ничтожны. Обстрел монастыря продолжался и на следующий день, ядра отскакивали от монастырских стен, ворота были крепки и хорошо защищены, монахи и не думали сдаваться. Такая канитель, бесполезная для пугачевцев и нестрашная для монахов, длилась две недели.

К толпе атамана Пестерева подходили новые партии, отделившиеся от Белобородова, разбитого майором Гагриным, а также — от Кузнецова, но толку не было: монастырские стены стояли, как скала.

1 марта произошло под стенами монастыря непостижимое для осажденных чудо. Со стен заметили приближение со стороны Шадринска новой толпы пугачевцев. Прибывшие наскоро переговорили с осаждающими и вдруг всей массой стали поспешно отступать по дороге к Челябинску, покинутому Деколонгом. Монахи, вытаращив глаза, смотрели им вслед, мотали бородами, воздевали руки к небу, громогласно славословили владычицу мира за содеянное ею чудо.

Но никакого чуда не произошло. Переполох в толпе пугачевцев наделало разосланное Деколонгом объявление, в котором он требовал от них полной покорности и в дальнейшем сообщал, что «с состоящими при мне войсками, коих не менее трех тысяч, имею следовать к Екатеринбургу, для того в деревне Коротковой, в Далматовом монастыре и в прочих по тракту лежащих местах приготовить к продоволь-

ствию тех войск провианта, овса и сена безнедостаточно».

Возблагодарив богородицу за чудесное избавление от злокозненных нечестивцев, монастырское начальство и представитель гражданской власти секунд-майор Заворотков приступили к расправе. Крестьян, принимавших участие в мятеже, собрали к северным воротам, якобы для выслушивания «всемилостивейшего» манифеста императрицы, а жившие в монастыре солдаты окружили их и штыками загнали в ограду.

Было опознано двадцать девять главных бунтовщиков. Их возвели на открытое крыльцо верхнего корпуса и учинили им скорый суд. Допрашивали: секунд-майор Заворотков и возвратившийся из Тобольска архимандрит Иакинф, человек жестокий и ненавидимый крестьянами. Участь двадцати девяти была предрешена.

— Палки! Плети! — неистово кричал на подсудимых иссохший рыжий Иакинф, ударяя в каменный пол тяжелым архимандритским жезлом. — Властию, мне данною, я вас научу, зверей несмысленых, как присягу рушить. Вы, скоты безрогие, самозванцу предались, священника да офицера и с ними сколько-то монастырской братии повесили.

— Мы не вешали...

— Молчать! — И архимандрит с такой силой ударил жезлом в каменные плиты, что из-под стального острия брызнули искры. — Камни сии вопиют к небу о вашем злодеянии! Вы святую обитель нашу и покровительницу Далматова монастыря преблагословенную богородицу в немалую скорбь ввели! И за сие примете наказание велие... Так ли, всечестная братия моя? — обратился он к заседавшему ареопагу старцев.

— Так, — невнятно гнусили седобородые монахи, с тяжелыми вздохами опуская взоры: могут ли они прекословить столь строптивому Иакинфу?

— Палки! Плети! Стража, хватай! Палачи, постарайся во имя святой обители, дабы прочим изуверам-мужикам неповадно было.

Приговоренных по очереди валят на каменный промерзший пол, срывают одежду и начинают увечить гибкими палками и ременными плетями. Вопли избиваемых несутся по белу свету во все стороны, в исетские леса, на уральские заводы, догоняют отступающих пугачевцев, летят по сыртам, степям, увалам, мчатся в Оренбургский край к самому Емельяну Пугачеву — авось мирской заступник услышит их чутким своим ухом, а не услышит, ему вольный ветер перескажет, а всего верней — примчится к царю на скакуне какой-нибудь отчаянный крестьянин-самовидец, упадет в ноги, завопит: «Слышишь ли, надежа-государь, как лихой богоотступник Иакинф мучает верное тебе крестьянство?» — «Слышу, — ответит государь. — Точи топор, настанет пора-времечко катиться голове твоего Акинфа с плеч долой».

Внизу, сострадая воплям избиваемых, гулко шумела огромная толпа крестьян.

— Какой ты архимандрит! Ты бесу служишь!

— Богоослушник ты!

— У тебя две любовницы на стороне, две бабы!

— Ты жилы из нас тянешь!.. Да и все монахи-то клянут тебя!..

Сухопарый Иакинф, мстительно стиснув зубы, криво улыбнулся, его реденькая, мочального цвета бороденка загнулась влево, испитое желтоватое лицо покрылось болезненными пятнами, из-под густых щетинистых бровей сверкали какие-то ехидные, шныряющие по сторонам глаза.

Вот он сорвался с места и, путаясь в длинной лисьей шубе, подскочил к перилам высокого крыльца.

— Молчать, дети сатаны! — закричал он на шумевшую толпу. — Здесь суд господен совершается!

— Сам сатана! Сам пес рыжий! — выкрикивали из толпы. — Дай срок, дождешься. Пошто ты мужиков-то мучаешь, рысь лесная? Ежели они винны пред тобой, отправь их в губернию... А ты не судья нам!

— Молчите, изуверы!

— Сам молчи, рыжий дьявол... Ты и веру-то православную мараешь.

— Про-о-о-кляну!

— Кляни!

Иакинф, подняв над головой руку с жезлом и отведя ее назад, скривил рот, избоченился и с силой низринул в толпу тяжелый жезл свой, как копье.

— Гей, стража! Хватай изменников! — закричал он резким и скоргочущим, как скрип немазаной телеги, голосом. — Хватай черномазого с цыганской образиной. Волоки!

День шел к вечеру. Вечернее солнце облекало снежные увалы то в розоватые, то в светло-голубые нежнейшие оттенки, оно отражалось своим сверканием в остекленных окнах монастырских зданий, в золоченых церковных крестах и главах, в бисерных глазенках нахохлившихся воробьев, что подняли предвесенний гомон на пряслах и в кустарнике, оно сверкало в наперсном, выпущенном поверх шубы, золотом кресте архимандрита и в луже крестьянской крови, растекавшейся по каменным плитам пола. Вечернее солнце заботливо освещало мягкими лучами весь грешный мир суеты и скорби. Солнце было ко всему равнодушным и далеким.

О, как тяжело, как бесконечно больно в этот осиянный солнцем вечер умирать! Ведь весна не за горами; вот растает снег и разольются многоводьем реки, а там подоспеет благостное лето, и все кругом зазеленеет, зацветут душистые цветы, засеребрится ковыль в степях, зазвенят весенние хоры залетных птиц, заколосятся золотистые нивы. И вот прощай жизнь — всему и навсегда прощай!..

Лишившихся чувств или едва дышавших, по знаку Иакинфа, подволакивали к внешнему краю стены, уходившей в глубокий овраг. На дне оврага, сквозь сугробы, бурели, как стадо медведей, крупные скатные камнищи.

— Подхватывай! — командовал секунд-майор стражникам и старикам солдатам. — Швыряй!

Казнимых схватывали за руки и за ноги, раскачивали и, творя покаянную молитву, швыряли в пропасть. Так было сброшено двадцать девять человек.

Послушник Дорофей находился в толпе монастырской братии на широкой с зубчатыми бойницами стене. Всякий раз, когда сбрасывали в овраг очередную жертву, он вскрикивал и судорожно хватался за голову. Волосы его растрепались, свисли на лицо, глаза горели, он весь содрогался.

Когда, кувыркаясь в воздухе, полетел вниз последний человек, Дорофей внезапно нагнулся, подхватил увесистый камень и, набежав на Иакинфа сзади, метко швырнул ему камень в голову. Архимандрит ахнул и упал. В поднявшейся суматохе юному Дорофею удалось бесследно скрыться.

Сидевший в Шадринске Деколонг иногда выходил из города, отгонял бродившие в окрестностях толпы, иногда наносил им поражения, но отойти далеко от Шадринска боялся. От 27 февраля он рапортовал Бибикову: «Я здесь, а вокруг меня и за мною в Сибирской губернии, по большой почтовой дороге в Тюмени, сие зло, прорвавшись, начинает пылать» и что силы мятежников растут все больше и больше.

Деколонг был прав: общее количество многочисленных отрядов пугачевцев составляло в окольных местах пять с лишним тысяч человек. Отдельные группы партизан ныне составлялись из монастырских крестьян села Никольского и других экономических селений. Они направились к сибирским городам — Тюмени, Туринску, Краснослободску, а самая большая группа, под начальством священника-пугачевца Петра Лебедева, пошла в сторону Кургана. К его отряду пристал и послушник Дорофей. Он подстриг волосы в кружок, сменил рясу на старый полушубок, а скуфейку на овчинную шапку. Слезы матери и двух девушек-сестренок не могли остановить его, он уверовал в правое дело «царя-батюшки» и пошел мстить за обиженных крестьян.

К сибирскому городу Кургану, кроме группы священника Лебедева, стянулась трехтысячная толпа пугачевцев с пятью пушками. Для отражения мятежни-

ков был сформирован двухтысячный отряд вооруженных крестьян, к нему придана рота солдат при одной пушке. Майор Салманов повел отряд к окруженному пугачевцами Кургану. Как только обе стороны вошли в соприкосновение, крестьяне правительственного отряда схватили своего командира майора Салманова с двумя офицерами и выдали мятежникам. Все трое были повешены, пугачевцы заняли Курган. Большая часть населения окрестных сел и деревень, более 18 000 человек, целиком передались пугачевцам.

Сибирский губернатор Чичерин быстро мобилизовал остатки сил, имевшихся в его распоряжении, и направил на выручку Кургана небольшой, но крепко сбитый отряд майора Эрдмана. Смелою атакою Эрдман разогнал у Осиновой слободы трехтысячную толпу пугачевцев и вскоре взял Курган.

Прочие отряды мятежников тоже претерпевали неудачи. В Краснослободске, Туринске и Тюмени они получили поражение от сибирских рот и ополченцев. Чичерин доносил Бибикову: «Оных поражая, разгоняют, предводителей ловят и присылают в Тобольск, слободы и деревни утверждают вновь присягою».

Напрасно Чичерин своими донесениями вводил в заблуждение генерал-аншефа Бибикова: новые присяги никакого спокойствия средь взбаламученных крестьян не утверждали, и лишь только правительственные отряды покидали «замиренную» местность, как многие из крестьян, только что присягнувших на верность государыне, брались за топоры и поспешали к «батюшке».

Западные окраины Сибирской губернии, вся Исетская провинция с Екатеринбургом и северная часть Оренбургского края были в полном восстании, там целиком властвовали пугачевцы.

8

Подкоп подходил к концу. Русский мужик Ситнов, руководивший работами, известил Пугачева, что траншея уперлась в фундамент колокольни. Пугачев велел

приостановить работу, выкопать в конце траншеи глубокую яму и заложить в нее бочонки с порохом. Затем все рабочие были выведены из траншеи и помещены в двух амбарах «безвыходно» впредь до того часа, когда воспоследует взрыв.

В самую полночь, 19 февраля, возле крепостной стены вскуковала кукушка. Казачок Ваня Неулыбин, и на этот раз впущенный в крепость, сообщил полковнику Симонову, что казаки собираются взорвать колокольню и броситься на кремль. Какие-то темные, неуловимые силы, вопреки всем предосторожностям, принятым Пугачевым, продолжали действовать.

Симонов приказал тотчас же убрать хранившийся у него под колокольней порох и приступить к устройству контрминной траншеи.

А пугачевцы меж тем приготовились к штурму. Небо было затянуто низкими тучами. Яицкий городок лежал во тьме. Не прошло и двух часов, как раздался глухой звук, словно отдаленный раскат грома, земля встряхнулась, белая колокольня вздрогнула и тихо-тихо начала валиться в ретраншемент. И — удивительное дело: два спавших на верхнем ярусе колокольни старых стража вместе с соломенными постельниками были как бы «положены» на землю[1]. Очнувшись от страха, они вскочили и, ничего не соображая, дико закричали свое привычное:

— Посма-а-тривай!

— Погля-а-а-дывай!

Камни рухнувшей колокольни не были расшвыряны, они свалились в груду, придавив собою около полсотни защитников крепости. И не успела еще осесть пыль от взрыва, как с крепостных батарей загрохотали пушечные выстрелы, затрещали залпы ружей.

— Измена! — пронеслось по рядам казаков-пугачевцев. — Откуда мог Симонов пронюхать?

Они надеялись, как только рухнет колокольня, неожиданно ворваться в спящую крепость, — и все

[1] «Отечественные записки», 1824, № 52, стр. 171.

кончено! А теперь, когда всюду гремят пушки, казаки на штурм не отваживались.

— На штурм! На слом, атаманы-молодцы! — слышались в темноте разрозненные выкрики, но в них мало было воинственного пыла.

Засев за своими завалами и укрываясь по задворкам от сильного крепостного огня, казаки кричали: «На штурм, на слом! Ги-ги! Ги!..» — но сами ни с места.

От кучки к кучке перебегали озлившиеся и растерянные атаманы: хромой Овчинников, Витошнов, с подбитым глазом Каргин. Все вместе поощрительно взывали:

— Не трусь, казаки-молодцы. Вперед, вперед! Дай духу, дай духу!..

Один лишь Пугачев мог бы увлечь за собою казаков и бросить их в бой. Но он видел, что дело проиграно, и не хотел зря жертвовать самым верным своим оплотом. К тому же он не мог не понимать, что не в Симонове, не в Яицкой крепости наипервейшая задача, ведь он и походом-то двинулся сюда, уступая настоянию атаманов.

Штурм был отменен. Все труды с новым подкопом пропали даром. Симонов, видя бездействие со стороны мятежников, сбавил силу огня, а перед утром крепость вовсе замолчала. Однако крики, гиканье, устрашающий визг звучали со стороны штурмующих до самого рассвета.

Начались сборы Пугачева в Берду. Тихий городок зашевелился: приводились в порядок сани, лафеты, колеса пушек, грузились возы рыбой, овсом, мукой, казаки чистили скребницами кошлатых своих лошадок.

Пугачев говорил войсковому атаману Каргину:

— Послужи же, старик, мне верою и правдою. Я, государь, отправляюсь под Оренбург к своей великой армии, а государыню здесь оставляю. Ежели бог приведет, я вскорости возворочусь сюды. А вы все, от мала до велика, почитайте государыню все равно так, как и меня чтите, своего государя. И во всяк час будьте ей послушны.

— Сполню, батюшка, ваше величество, — сказал Каргин и, достав из кармана, подал Пугачеву две вырезанных печати с гербом и прописью «Петр Третий». — Вот, батюшка, государственные печати вам сготовлены...

— А-а-а, ништо, ништо... Знатно сработаны, — залюбовался Пугачев печатями. — Кто делал?

— А делали их три серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне, а четвертый — проживающий в нашем городке армянин.

Прошел в сборах день, наступила последняя ночь. Разлучаясь с мужем, Устинья плакала. Она лежала на кровати, прикрывшись до подбородка шелковым одеялом и разбросав по одеялу красивые обнаженные руки в браслетах и кольцах. Он взад-вперед ходил, босые ноги его неслышно ступали по пышному ковру. Нарядный кафтан был небрежно кинут на стул, лента со звездой валялась на столе, покрытом суконной вышитой скатертью. Стол был уставлен блюдами со сладостями, орехами, подсолнечными семечками и кувшинами с вишневой наливкой, квасом, медовой брагой. Скорлупки, шелуха, гребень с очесами волос, янтарные бусы. Две свечи горят. От изразцовой печки пышет зноем. Пугачев в беспоясой рубахе, ворот расстегнут, широкие и длинные шаровары как юбка.

Устинья глядит в пространство, слезы покапывают на подушку, но лицо у нее окаменелое, застывшее. Она говорит негромко, то вызывающе и властно, то робко и приниженно, и тогда Пугачеву становится жаль ее.

— Вот пир был, свадьба... Царицей я стала, — говорит она. — А на сердце-то спокойно ли у меня, на душе-то, ну-ка, спроси? Две недели скоро, а я все еще как полоумная... Лихо мне.

Пугачев на ходу почесывает поясницу, поддергивает шаровары, ерошит волосы, кряхтит. Он груб, прямолинеен, и в женской душе ему трудно разобраться. «Блажит баба», — думает он.

— Скажи, уж подлинно ли ты государь есть? — раздается ее голос. Пугачев хмурит брови, молчит,

сердито гремит кружкой, большими глотками пьет квас. — Сумнительство меня берет, почто ты женился на мне, на простой казачке? Обманул меня, молодость мою заел. Ведь ты человек старый, держаный, а мне восьмнадцатый пошел.

— Ну ладно, ладно!.. Чего больно-то в старики меня произвела? Вот бороду да усы сниму, все рыло выскоблю — много моложе буду. Я в Питенбурхе-то, понимаешь, завсегда бритый ходил.

— Бороду снимешь, казакам не будешь люб, — возразила Устинья.

— Да уж это так... Пуще всего этого опасаюсь. А для ради тебя — готов, прилюбилась ты мне шибко, — сказал Пугачев и подошел к Устинье, поцеловал ее в губы и протянул ей медовый пряник. — Не плачь, кундюбочка моя, утри слезки.

— Где это слыхано, где это видано, чтоб у царя две жены было? — помедля, сказала Устинья и устремила пристальный взор в смущенное, с круто вздернутыми бровями лицо своего супруга. — Ведь ты имеешь государыню... И смех и грех, вот те Христос!

— Какая она мне жена! — вскричал Пугачев. — Она потаскуха! А меня с царства сверзила. Она злодейка мне!

— Не кричи столь громко-то, — тихо сказала Устинья. — А то внизу подумают, что бьешь меня... Так неужли тебе супругу-то свою прежнюю не жаль, Екатерину Алексеевну-то?

— А она меня жалела? Мне только Павлушу жаль, детище мое возлюбленное. Он, наследник-цесаревич, законный сын мой... А ей, коварнице, как только милостивый господь допустит в Питер, тем же часом голову срублю.

— Тебе допрежь голову-то срубят, — сказала Устинья, и на ее щеках, покрытых еще не просохшими ручейками слез, заиграли улыбчивые ямочки. — Разве этакого допустят в Питер?

— Вот Оренбург возьму, до Питера дойду беспрепятственно...

— До Питера поди еще много городов.

— Мне бы только Оренбург взять, а достальные города сами ко мне приклонятся... Народ мой замаялся под изменницей жить. Меня, государя своего законного, ждут не дождутся все...

Снова наступило безмолвие. Сбивчивые, противоречивые мысли бросали Емельяна Ивановича в щемящий сердце сумрак. «Мне ли, темному, быть царем? Да Россией-то, пожалуй, и самому Рейнсдорпу не управить. Дворяне, генералы, царедворцы, они — один хитрей другого... Да нешто всех переказнишь? А ведь от них вся канитель... И, пожалуй, верно говорит Устинья: «Тебя, мол, первого и сказнят». Он гонит хмурые мысли прочь, он утомился. «Поспать бы да напоследок Устинью приголубить», — думает и надбавляет шагу. Но горенка не особенно просторна, и он движется, как в клетке волк. Вдруг наступил босой ногой на острую скорлупку, резко крикнул: «Ой!»

— Ой! — встряхнувшись, выкрикнула и задремавшая было Устинья. — Чтой-то ты, миленький, взгайкал как?..

— Скорлупка, стрель ей в пятку, до боли проняла. — Пугачев нагнулся и швырнул скорлупу от грецкого ореха в печь.

— Тебе вот больно, а мне того больней, — со вздохом протянула Устинья. — Вот ты наутро в поход... Поиграл со мной, как кот с мышью, да и бросил... И осталась я, молодешенька, ни в тех, ни в сех.. Ну, кто я, кто?

— Государыня!

Устинья сдвинула брови и, приподнявшись на кровати, крикнула:

— А ты-то кто?! Богом святым заклинаю тебя — царь ты али... злодей-путаник?

Пугачев запыхтел, жилы на висках у него надулись. «Эта похуже, пожалуй, Лидии Харловой! Допросчица какая...» Он дунул на одну, на другую свечу — в горенке темно стало; а когда глаз присмотрелся, — выплыли из тьмы два голубых оконца: чрез разукрашенные морозом стекла глядела полуночная луна.

Емельян Иваныч разделся, подошел к Устинье, проговорил:

— А ну, чуток подвинься... Государю всея России спать охота.

Утром в соседней горенке был приготовлен стол с яствами и питием. При государыне оставлены две фрейлины из молодых казачек: Прасковья Чапурина и Марья Череватая. А главной смотрительницей дома — ловкая баба Толкачиха. Из мужчин в придворный штат входили: отец Устиньи — Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов. Пугачев распорядился отвести в нижнем этаже «дворца» горенку для старца-сказителя Емельяна Дерябина и взять его на казенный кошт.

Уезжая, он приказал иметь у дворца постоянный казачий караул, а войсковому атаману Никите Каргину сказал:

— Ты, старик, держи Симонова в блокаде. А учрежденные мною посты сохранять безо всякой отмены. Нарушишь приказ — строгий взыск буду чинить.

По отъезду Пугачева сила блокады не ослабевала: крепость была обложена старательно.

Перфильев попытался вступить с комендантом крепости в переговоры. Полковник Симонов выслал для переговоров капитана Крылова.

Беседа происходила в просторной опрятной избе Перфильева. Он жил с женой хорошо, угощал гостя по-богатому. Откупорил бутылку рома, привезенного из Питера. Икра, жареная рыба, яичница со свиным салом, вареные в масле пышки, соленый арбуз. Сначала выпили по стакану водки, а затем уже перешли на ром. Крепкий, склонный к полноте Крылов за время блокады отощал. Вчера пошел во щи последний кусок солонины. А с сего дня капитану пришлось перейти на хлеб, капусту, брюкву.

— Так-тося, ваше благородие, Андрей Прохорыч, — завел речь Перфильев. — Вот я и толкую... Не пора ли вам образумиться да принести Петру Федорычу покорность?

— Брось-ка ты, Перфильев, злодействовать-то... Ведь разбойнику вы служите. Бога ты забыл, да и присягу на верность ее императорскому величеству. Ведь ты от всемилостивой монархини сюда, на Яик, с высочайшим повелением из Санкт-Петербурга послан.

— Я знаю, с чем я послан от государыни,— с горячностью возразил Перфильев, — и меня увещевать и учить тебе, Андрей Прохорыч, не приходится. Мне в Питере граф Орлов сказал, что батюшка — не царь, а простой казак Пугачев. Так это врачки!.. Уж поверь мне! Как приехал к нему да увидал — ну, подлинный государь!.. Так как же мог я неслыханное злодейство предпринять супротив законного царя, коему в оное время присягу творили и ты, и я, и Симонов-полковник?

— Плетешь ты, Перфильев, петли крутишь, как заяц в степи. Рому, что ли, переложил?..

— Не я, господин капитан, а вы петляете по-лисьи. — Изрытое оспинами лицо Перфильева раскраснелось, угрюмые глаза сердито сверкали исподлобья. — Лучше придите в память да сдайтесь батюшке, он всех вас простит, да и пожалует. Ты вот здесь капитан, а у него, может статься, генералом будешь. Уж ты не сумлевайся, пожалуй, — он, право, подлинный.

Крылов захохотал, похлопал Перфильева по плечу.

— Брось-ка ты, брось, Афанасий Петрович, пожалей свою голову! Ведь тебе сколько? Сорок пять годков есть? Вот то-то же... Ведь ты и в Питере сколь времени жил, да и вообще казачество считает тебя человеком умным... А ты вот с линии сшибся... И тебе ли меня в обман вводить? Меня, строевого офицера?

— Вот ты не веришь, господин капитан, — вспыхнул Перфильев, и рыжеватые щетинистые усы его встопорщились. — А при государе в Берде один коллежский асессор из Симбирска служит, так ему уж видней, чем нам с тобой, кому он служит — царю али самозванцу.

— Да плюнь ты этому асессору в маковку! — вспылил в свой черед Крылов. — Ум-то у тебя в башке есть или собаки съели? Умер государь Петр Федорович! Откуда же ему в живых быть? А самозванцы часто бывали на Руси. И темные люди шли за ними, а потом и ахали... Нет, Перфильев, нам с вами не по дорожке...

— Как знаешь, Андрей Прохорыч, как знаешь. Не согласны ворота отворить, мы вас голодом выморим.

— Вам выморить нас не удастся, а что вы все в петле качаться будете — это да...

— Ну что ж, либо рыбку съесть, либо раком сесть! Слыхал такое?

4

В Военной коллегии всяческих дел было выше головы. Ежедневно занимались с утра до вечера, иногда и в вечернюю пору, при огне. Максим Григорьевич Шигаев, заменявший в Берде Пугачева, начальник строгий, требовательный.

Возле избы, где коллегия помещалась, кучка ходоков-крестьян. Так было почти всякий день. По белым степным просторам шагали ходоки в Берду. Они сбивались в кучки, чтоб можно было обороняться от волков или от лихого человека. Мужики шли в поисках правды, несли царю свои обиды и ожидали от него защиты, скорой милости.

Губернская администрация, давным-давно выведенная из привычного строя, бездействовала, единственная в крае власть была — власть Пугачева.

Крестьяне окружили подошедшего Шигаева (на рукавах у него нашивка из золоченого позумента), иные поклонились ему в пояс, иные опустились на колени и загалдели в десяток голосов.

— Стойте, мирянушки, — выкрикнул Шигаев, — давай по порядку. Дед, говори, с чем пришел?

— Ох, батюшка ты мой, да вот атаман-то ваш, Илья Карпов. — И старик с печальными, уставшими от жизни глазами, кашляя и поматывая бородой,

обсказал Шигаеву свои жалобы на атамана. — Меня от семи деревень, отец, послали до царя управу искать: Машкино, да Кочки, да Красные Петушки, да...

Шигаев опросил всех крестьян, писчик записал: кто, откуда, по какому делу.

— Ступайте ночевать вон в тот домок, — сказал ходокам Шигаев, — да скажите, чтоб попитали вас. Мол, полковник Шигаев приказал.

— Да у нас свое, отец... Свой харч-то прихвачен, свой кус.

— Добро! А утресь об это место приходите: будет резолюция.

Он вошел в избу, посмотрел бумаги, зашумел на писчиков:

— Плохо стараетесь, ребята... Дело наше не куется, не плющится.

— Да ведь с государем которые уехали, господин полковник. А нам не ослепнуть стать, — оправдывались писчики из молодых казаков.

Их пятеро. Они с усердием скрипели перьями. Был еще не поздний час, но крошечные оконца давали скудный свет. Горели два фонаря да две свечи. Груда написанных бумаг: к Нур-Али-хану в Башкирию, во многие горные заводы, к «графу Чернышеву» под Уфу, на форпосты и подначальные пугачевцам крепости. В особой стопке лежали полковые листы, с поименными списками коренных казаков и новых людей, поверстанных в казаки. Тут же — ведомости на выдачу жалованья всем служилым людям. Вот описи принятого в покоренных крепостях имущества и прочее и прочее...

В местностях, занятых Пугачевым, Военная коллегия вершила массу сложнейших дел. Так, во многих городах и селениях вновь посаженным атаманам вменялось в строгую обязанность блюсти государственные доходы от торговли солью и «о сих доходах рапортовать в коллегию с присылом собранных денег». Нужно было следить и за правильной работой, «постоянно действующей почты». «Кто какого жительства услышит неприятельские находы, то чтобы

неотложно во всякой скорости рапортовали в Военную коллегию через почту». Надо было заботиться и о том, чтобы крестьяне, поверстанные в казаки пугачевской армии, а также и жители, нуждающиеся в «личных документах», были снабжены от Военной коллегии паспортами. Военная коллегия указывала: «Из здешней армии без письменных билетов много в домы свои разошлись, того ради тебе, села Крылова старосте Дмитрию Запарову, естли хто из здешней армии без билетов, оных людей не пропускать». Были также «указы» к защищению православной церкви. Так, указ Военной коллегии на имя есаула Чугвинцова, находившегося в Красноуфимске, повелевает:

«...Да и того вам накрепко незаконной причины наблюсти: всякого звания люди — башкирцы, киргизы или мещеряки до российских церквей божиих обиды или грабежи как сам их начальник, так и его команды люди, то есть иноверческие, разорения никакого бы не оказывали. Да и от веры христианского закона, кто будучи в нем, от того не отпадать. А кто противу сего учинит нарушение христианской веры, таковы примут от его величества за нарушения закону тягчайшие истязания».

При решении сложнейших и важных вопросов, в особенности когда дело касалось смертной казни, присутствовал сам Пугачев. И нередко, если вопрос не задевал интересов движения в целом, Емельян Иваныч, вопреки постановлению коллегии, оказывал виновным милость. Но к нарушителям воинской дисциплины, явным изменникам или злостным «супротивникам» он неизменно был суров.

Шигаев послюнил пальцы, снял нагар с двух свечей, присел к столу и принялся за дело. Горшков читал ему и подписывал указы, именные повеления, ярлыки на беспрепятственный проезд, а коллежский асессор Струков, запойный лысый старичок с трясущимися руками, пришлепывал к бумагам печать с государственным гербом. Говорят, он занимал в Сызрани доходное место, но пропил казенные деньги и, будучи человеком одиноким, недавно бежал

от суда в Берду вместе с несколькими крестьянами и дворовыми людьми, приклонившимися «батюшке». Впрочем, точных сведений о том, кто этот человек, Военная коллегия не имела и проверку его личности, к сожалению, не чинила. Коллежскому асессору почему-то поверили на слово. Шигаев дорожил им как знатецом казенных порядков.

Начали готовить указы и повеления по ходатайству крестьян-просителей.

Вдруг послышался звяк бубенцов, отворилась дверь и, в сопровождении Падурова, вошел в канцелярию Пугачев, в лисьей шубе. Поздоровался, задвигал строго бровями, сказал:

— Поздравляю вас с новой государыней, Устиньей Петровной. (Все удивленно вытаращили глаза и почему-то испугались. У Шигаева замерло сердце.) Оповестить о сем по армии! Такожде наказать попам, чтобы в церквах Устинью Петровну упоминали. Ты кто? — обратился он к старику асессору, насквозь прощупывая его взором.

— Чиновник, ваше величество... Струков... Коллежский асессор, — забормотал тот, пуская пьяную слезу и кланяясь. — Будучи затравлен гонителями... верой и правдой... по неисповедимым путям...

— Служи... Только, вижу, — пропойца ты... Нос-от выдает тебя. На деле, гляди, не пей, ваше благородие, иначе гнев увидишь мой.

Пугачев задал несколько вопросов касательно крестьянских дел и вслед направился домой. Вместе с ним сел в сани и Шигаев.

— Что же вы государыню-то с собой не прихватили, хе-хе-хе-хе, — засмеялся, закашлялся Шигаев. — А напрасно! Ах, напрасно!..

— А чего ей тут делать? У нас жизня военная тута-ка.

— Я не про то, батюшка Петр Федорыч... Напрасно, мол, ожениться-то изволили, не ко времени.

— Вот те здравствуй... Мне старики казаки присоветовали.

— Казаки-то казаками, им лестно, а ведь у нас, в армии-то, мужиков многие тысячи... Звон пойдет...

пересуды! Маху дал ты, батюшка Петр Федорыч, как бы худа какого не приключилось.

Пугачев хмуро молчал. Бубенцы звякали, тройка неслась, Ермилка присвистывал, он нарочно мчал по всей слободе; пусть знают людишки, что «сам возворотился».

— Окудесили тебя, ваше величество, оволхвовали! — как шмель, зудил Шигаев над ухом Пугачева. — Ну да уж теперича не воротишь... Ау!

— Брось ныть! Сколько у тебя вина?

— Сто семьдесят бочек, батюшка.

— Выкати народу бочек сорок. — И, помедля, добавил: — А за этим стрюцким, за пьянчужкой-то, глаз да глаз надобен... Чегой-то не дюже он поглянулся мне.

На другой день были призваны к Пугачеву атаманы со старшинами. Он объявил им о своей женитьбе на дочери яицкого казака Устинье Кузнецовой и закончил:

— Признайте и вы, господа атаманы, Устинью Петровну за всероссийскую государыню, почитайте ее со всем усердием и пребудьте верны как мне, великому государю, так и ей, великой государыне.

Полковник Шигаев поклонился Пугачеву и громогласно при всех поздравил его с супругой. А все прочие, как бы опечалясь «сею ведомостью», наклонили головы и стояли молча. Такое настроение ближних кольнуло Пугачева. Он понял, что дело с женитьбой вышло для него «боком». Он почувствовал себя на какой-то момент одиноким и слабым, но тут же оправился.

— А ну, атаманы, подержимся за стакашки да выпьем в честь государыни!

Все выпили по чарке, затем не спеша разошлись.

Ненила к женитьбе Пугачева отнеслась также не очень благосклонно. Она пожурила «батюшку», но, играя на мужском самолюбии, обольстила его приятными словами:

— Да ведь ты, батюшка, ампираторское величество, эвон какой пригожий стал, как подбрил щечки-то! Не любя полюбишь, не хваля похвалишь!

Вот девка-то и кинулась тебе на шею. — А уходя к себе, она по простоте душевной, добавила точь-в-точь словами Максима Шигаева: — Ой да и окудесили тебя там, оволхвовали!

В тот же день вся армия узнала о свадьбе государя. По пушечному выстрелу началась гулянка. Виночерпиями были поп Иван, палач Бурнов, «чиновная ярыжка» — как прозвал народ коллежского асессора, и другие. Но асессор скоро свалился и был отнесен в баню.

— Надрался, чадо неразумное, — подмигнул трезвый поп Иван своему другу Ваньке Бурнову.

Вот загремели песни, запылали костры, гуляки разбились на кучки. Одни ударились в плясы, другие, взявшись за руки и растянувшись поперек улицы «цепочкой», расхаживали по слободе, встречных почетных людей качали с криками «ура». Навстречу попался им сотник Лункин; народ презирал этого соглядатая и доносчика.

— Качать! — заорали гуляки. Схватив и высоко подбросив Лункина, все прытко разбежались. Лункин ударился о накатанную дорогу и повредил себе руку. Зато офицера Горбатова качали любовно, со всем усердием.

— Спасибо, братцы!

— Тебе спасибо, ваше благородие! Мы тобой много довольны. Ты до нас приклоняешься, до наших нуждишек. Ты усерден к нам!

Когда стемнело и загорелись яркие предвесенние звезды, в отдельных кучках у костров, в землянках, ямах, избах завязались разговоры. Может быть, в сотне мест говорили все про одно и то же. Говорили шепотом, с оглядкой, с опасением, чтоб не подслушал какой-нибудь высмотрень, а то ведь недолго и на релях закачаться.

— Оно, конешно, дело не наше, дело государево, — кряхтел пожилой крестьянин, переобуваясь у костра. — А все-таки... этово-тово... нескладица, мол, получилась, несусветица... От живой жены...

Двоеженство это, не по-божески... Мужик, к примеру, и то не допустит этакого срама, а ведь он, мотри, реченный царь.

— Да царь ли? — без опаски выкрикнул курносый парень Андрейка, сын этого крестьянина.

— Нишкни! — прошипел батька.

В другой кучке, в версте от слободы, илецкие казаки, карауливщие дорогу, толковали:

— Мысленное ли дело, чтобы на простой казачьей девке царь обженился...

— Ведь цари-то, — сказал хорунжий Ополовня, — берут за себя из других государств, на королевах, на царских дочках женятся.

— То ца-а-ари, — почесывая затылок и ухмыляясь в бороду, тянет степенный казак с толстыми обмороженными щеками. — А мы сидим вот под Оренбургом который месяц... Ни Оренбурга, ни Яицкий городок полонить не можем.

В бане, где приютились трое старых солдат и двое работных людей Шимского завода, горит в глиняном черепке жировушка. Люди доедают коровью требуху, допивают остатки винца, но не пьяны. Да и многие захмелевшие с полден головы, будучи взбудоражены небывалым известием, скоро протрезвели.

— Ладно, барабаны-палки, — продолжая разговор, шамкал старый солдат. — Допустим, что царь волен и не по поступкам поступать, — какую захочет, такую и возьмет, барабаны-палки!.. А все-таки, братцы, куда ни поверни, у него, у батюшки, супруга есть — государыня Екатерина Алексеевна. Ведь она, чуете, жива-здорова. Вот какая штука, барабаны-палки! — Он насупил брови, зажег от жировушки лучинку, принялся раскуривать трубку. — А вторым делом, кабудь не ко времени свадьбу-то играть... Войной надобно к Москве идтить да к Питеру, барабаны-палки, а не женихаться... За зря только деньки уходят, вот ты что говори...

— Во-во-во! — ввязался другой солдат. — Нам горазд наскучило на одном месте-то толочься. Надобно либо крепость забирать, либо плюнуть на

Оренбург-то да в Расею подаваться, вот чего... А ежели батюшка свадьбу справил, так и са́мо хорошо!.. Не в свадьбе дело...

— А все ж таки, сдается, не прямой он царь, а подставной, — хрипит низким голосом третий солдат и достает из кармана еще полштофа водки. — Тут куст, да не та ягода!

— Ну, это ты, служба, обожди молоть! — тенористо восклицает черный, как жук, заводской работный человек. — Прямой ли, подставной ли — не нашего ума дело. Уж мы на готовенькое с тобой пришли. А раз народ почитает его за царя, — значит, царь!

Почти каждая яма, почти каждый куст в степи повторяли одно и то же. Камень-невидимка, прилетевший из Яицкого городка в оренбургское людское озеро, разогнал широкую волну, и кой-кто в этой волне захлебнулся.

Военная коллегия была хорошо осведомлена о начавшемся — отнюдь не во всей, а лишь в неустойчивой части армии — глухом брожении. Наиболее толковые из приближенных Пугачева прекрасно понимали, что тут дело не в одной свадьбе, что известие о женитьбе государя могло быть лишь причиной разговоров, а что корни брожения лежат, видимо, в военных неудачах последнего времени. Да и на самом деле: дважды брали Яицкий городок, два подкопа вели и не одолели; почти полгода армия сидит под Оренбургом, крепости взять не может... А былые пугачевские победы, как-то: поражение генерала Кара, пленение полковника Чернышева, неудачные вылазки Рейнсдорпа — все эти славные дела народом позабыты. А время-то идет... Эдак до той поры на одном месте досидеться можно, что царицыны генералы окружат вольную армию, и тогда, батюшка пресветлый царь, прости-прощай барская земелька да вольность мужицкая... Так народ и думал. Народ ждал больших и скорых дел, ждал похода в глубь России, а тут вот... свадьба!

Так или иначе, начавшееся брожение довелось Военной коллегии, кроме словесных наставлений,

пресекать мерами жестокими: двадцать человек из зачинщиков было выдрано, трое повешено. Но среди очень немногих пугачевцев все же остались недовольные «батюшкой» и главным образом начальствующей верхушкой. Были такие недовольные и среди приближенных Емельяна Иваныча. Например, краснощекий Тимоха Мясников, немало потрудившийся при самом зарождении пугачевского восстания. Както зазвал он к себе на квартиру приятеля своего Максима Горшкова. Угощались вином и пивом, охмелели. Мясников гораздо сделался пьян, начал бранить Овчинникова.

— Смотри, пожалуй, — говорил Тимоха, — допрежь этого Овчинникова и черт не знал, а ныне в какую большую милость вошел к государю! И сделался над нами командиром, так что и слова не дает нам, хромой черт, вымолвить и ни во что нас не почитает. Да ведь государя-то мы нашли! — бия себя в грудь, кричал тонким голосом Тимоха. — Мы его, батюшку, возвели! А в те поры этаких Овчинниковых-то и в глазах не было. А ныне государь-то изволит жаловать больше его и других, подобных ему, не знаю за что. А нас отставляет.

Пугачев тайком приказал Падурову написать письмо государыне Устинье. И как только письмо было готово, Падуров пришел во дворец. Оба они с Пугачевым затворились в горенке-боковушке, Падуров огласил письмо.

— Складно. Только шибко кудреватисто, — сказал Пугачев. — Давай-ка вместях варачкать, ты да я.

И вот государево письмо готово:

«Всеавгустейшей, державнейшей великой государыне императрице Устинье Петровне, любезнейшей супруге моей радоваться желаю на несчетные лета! О здешнем состоянии, ни о чем другом сведению вашему донести не нахожу: по сие течение со всею армией все благополучно, напротиву того я от вас всегда известного получения ежедневно слышать и видеть писанием желаю. При сем послано от двора

моего с подателем сего, казаком Кузьмою Фофановым, семь сундуков за замками и за собственными своими печатями, которые, по получении вам, что в них есть, не отмыкать до моего императорского величества прибытия... Сверх того, что послано съестных припасов, тому при сем прилагается полный реестр. Впрочем, донеся вам, любезная моя императрица, остаюся я, великий Государь»[1].

— Извольте подписать, — предложил Падуров.

— Нет, полковник, — просматривая письмо, ответил Пугачев. — Пока не воссяду на прародительский престол, руку свою оказывать опасаюсь: ведь где рука, там и голова. Отправь лескрип без подпису...

Они спустились в нижний этаж, в подызбицу, где жил Кузьма Фофанов. Пугачев открыл сундуки, велел Фофанову перебрать вещи, а Падурову составить в двух экземплярах опись отправляемого богатства. В первом сундуке были материи кусками и 25 серебряных чарок; во втором — мужские бешметы и казачьи уборы с позументами; в третьем — восемь шуб мужских и женских; в четвертом — меха лисьи и беличьи; в остальных трех сундуках — серебряные стаканы, чарки, подносы, подсвечники, кумачи, китайки, белье, домашняя рухлядь. В кладовой на шесте висели шубы, одежда мужская и женская.

— Это все не мое, а государственное, — сказал важно Пугачев. — Я человек военный, сегодня здесь, завтра там, мне оный шурум-бурум не надобен. Настанет черед, народу буду раздавать. Возьми-ка ты себе, Тимофей Иваныч, шубу самую добрецкую,—обратился он к Падурову, — а вот этот бабий салопец, крытый бархатом, своей жене перешли в Оренбург, она поди там в бедности живет, сердешная. А этот беличий бешмет ты, Фофанов, себе забирай. Опричь того, отбери-ка вон те две шубы попроще да отдай их моим именем есаулу Ваньке Бурнову с попом Иваном. Оному же попу-расстриге вот энти обутки выдай, — жрать винище бросил, сказывают. — Пугачев

---

[1] Это письмо, без числа и месяца, хранится в Государственном архиве.

снял с шеста пару новых сапог и швырнул их к ногам Фофанова.

Затем он потрогал висевшую на гвозде смотанную восьмеркой казацкую веревку и, притворно нахмурившись, сказал:

— Сей арканчик надлежало бы переслать от нашего державства губернатору Рейнсдорпу в дар, а то ему, сердяге, поди и удавиться-то не на чем. Да, дюже жаль...

— Кого, ваше величество, Рейнсдорпа? — с вольной игривостью спросил Падуров.

— Ха-ха-ха... Веревку!

ГЛАВА VIII

Генеральный бой под стенами Татищевой

1

Тем временем большие отряды князя Голицына и генерал-майора Мансурова, преодолевая глубокие снега, все ближе продвигались к Оренбургу.

Мансуров шел по Самарской линии, в сторону Бузулука. Пугачевским немногочисленным отрядам трудно было бороться с правительственными войсками, они постепенно отступали. В Бузулуке, как и в Бугульме, находились продовольственные склады пугачевцев. Военная коллегия предусмотрительно выслала туда большую толпу крестьян с лопатами, — дорога между Бузулуком и Яицким городком была очищена от снежных сугробов, и двести пятьдесят подвод с хлебом и мясом было из-под носа Мансурова вывезено в Яицкий городок.

Атаман Арапов сосредоточил в Бузулуке две тысячи человек при пятнадцати орудиях. Мансуров обложил крепость со всех сторон. Сражение длилось четыре часа. Арапов был разбит и, бросив все пушки, отступил.

Мансуров стал поджидать в занятом им Бузулуке прибытия Голицына. Морозы и метели замедляли продвижение голицынских частей. Им доводилось много раз останавливаться в степи и укрываться от буранов под обозными кибитками. В конце февраля Голицын приказал Мансурову занять крепость Тоцкую, а сам двинулся к крепости Сорочинской, расположенной в ста пятидесяти верстах западнее Оренбурга.

В Сорочинской было большое сборище мятежников. На защиту ее спешил и сам Пугачев с Овчинниковым.

Высланный Голицыным довольно сильный отряд майора Елагина без всякого сопротивления занял деревню Пронкину и, не имея сведений о неприятеле, там заночевал.

Ночь настала бурная, темная. Разбушевавшийся буран выл, крутил, валил с ног все живое. Даже в деревне было страшно высунуть нос на улицу. А в степи и по сыртам творилось что-то несусветное. В степи верная гибель грозила путнику: закрутит, бросит наземь, занесет липким вертучим снегом, и следов не сыщешь!

Однако Емельян Иваныч со своей смелой ратью страха не боится. Как сказочные богатыри, они презирают опасность и самую смерть. Впереди — железный всадник с отважным сердцем, за ним — конная дружина, за нею — пешая немалая толпа. То здесь, то там пробуют кричать команду, или подбодрить отстающих, или, наконец, поядренее обругать эту свалившуюся с неба адскую кутерьму. Но какая тут команда, когда всякий звук, всякое слово ветер тотчас вбивает обратно в рот! Среди сумасшедшей ночи, с трудом преодолевая удары снежной бури, движутся черные призраки. Они прошли без передыху тридцать семь томительных верст!

Буря носилась по степи — слепая, страшная, безудержная сила. Задыхавшимся путникам чудилось, что в этой свистопляске без лешего, без окаянных демонов не обошлось. Это они согнали на сырты всех

ведьм, разлохматили им седые космы, заставили выть и плакать замогильными голосами. Это они взломали ржавые льды на болотах, вымели оттуда всю нечисть, всех чертей, больших и малых, и велели им дудеть в лешевы дудки, высвистывать в кулак, бить в ладони, хохотать и гайкать на всю степь. Это они опрокинули кресты на погостах, подняли из могил мертвецов, чтобы те затевали пляс, чтоб громче стучали костями, чтоб в вихрях снега яростней взмахивали белыми саванами.

В буре слышались путникам вой, свист, плач, стон, заливистый хохот и скрежет зубов. Все трудней становилось дышать, некуда было податься: будто все сущее сгибло, будто исчез простор, исчез воздух и небо упало на землю, и степь всколыхнулась; буря встряхивала всю твердь, как белую козью шубу.

Под ногами всадников вдруг разверзались ухабы, вырванные резким ударом урагана, и конь нырял в них, как с крутой волны челн. То, вихрясь белым облаком, вмиг вырастал курган, и конь, отчаянно всхрапывая, набирался последних сил, чтоб превозмочь его... Да, труден, мучителен путь... А куда он ведет ватагу отчаянной вольницы, в жизнь или смерть, — неведомо...

Конь Пугачева притомился. Он подставлял бурану то правый, то левый бок, но ветер бьет коня в хвост, в лоб, в гриву. Пугачев стиснул зубы. Он знает, что в его двухтысячной толпе много обмороженных, есть и упавшие, погибшие, засыпанные снегом.

Люди изнемогали. Ветер с маху врывался под одежду, знобил тело, охолаживал кровь. И вот измученные, растрепанные бурей люди подходят к спящей деревне Пронкиной.

Передовые вражеские пикеты сбиты, орудия внезапно захвачены, часть толпы с гиком ворвалась в селение. По первой же тревоге майор Елагин бросился с резервом вперед и тотчас был окружен пугачевцами. Гренадеры и егерские команды дрались отчаянно. Защищавший пушки поручик Москотиньев получил двенадцать ран. Вблизи него отбивался майор Елагин. Его подняли на копья.

Буран улегся, ночь окончилась, наступило погожее утро.

Меж тем оставшийся в живых секунд-майор Пушкин успел привести в порядок потрепанный отряд гренадер и напал на пугачевцев, а два другие офицера со своими частями атаковали неприятеля в тыл и фланг. Истомленные ночным переходом пугачевцы, потеряв добытые в бою орудия, отступили в крепость Сорочинскую.

Отправляясь со всей толпой обратно в Берду, Пугачев дал приказ атаману Овчинникову:

— Вот что, Афанасьич... Ты сиди в Сорочинской, скопляй себе силу. А коль скоро князь Голицын займет Пронкину, ты втикай тем же часом в Илецкую крепость. Ведь мы не знаем, куда Голицын-то пойдет: чи на Яицкий городок, чи к Оренбургу. Ну, как думаешь, Афанасьич, супротив правительственных-то выдюжим?

— Да надо бы, батюшка! Ведь в твоих руках, в Берде-то, сила эвона какая!..

— Да ведь и у них тоже не мала, Андрей Афанасьич.

Вскоре обстоятельства сложились так, что пугачевцам довелось во что бы то ни стало оборонять крепость Татищеву [1]. Эта крепость была важным пунктом для обеих сторон: она прикрывала пути в Оренбург, Илецк и Яицкий городок.

Пугачев собрал в Берде добрую половину армии и, оставив там, по обыкновению, своим заместителем Шигаева, спешно двинулся в Татищеву. С присоединением отряда атамана Овчинникова, приведшего из Илецка около двух тысяч человек, у Пугачева скопилось в Татищевой более семи тысяч войска.

Предстояли жестокие бои. Пугачев с отчетливостью представлял себе все значение надвигавшихся событий. Он знал, что правительственные войска наступают на него широким фронтом и что

---

[1] В пятидесяти верстах западнее Оренбурга.

его многочисленные отряды почти всюду терпели от них поражение.

И вот приспело время столкнуться в единоборстве двум крупным силам — правительственным многочисленным воинским частям под начальством трех опытных генералов и армии Пугачева под его личным водительством.

Неудачный для Пугачева исход сражения мог бы оказаться смертельной раной всему казацко-крестьянскому движению.

Емельян Иваныч дни и ночи был в труде, никто не знал, когда он спит. Он приказал к полуразрушенным крепостным стенам досыпать снеговые валы и обильно поливать их водой. Все работали не покладая рук, вплоть до женщин и детей. Валы превратились в лед, окрепли, казались неприступными. Он сам расставил на батареях и раскатах пушки, назначил к ним прислугу из опытных людей горнозаводских, а также из захваченных в плен канониров и солдат, среди коих пожелал быть и престарелый бомбардир Павел Носов.

— Ну вот, дедушка, опять мы вместях с тобой, как в прусскую войну, — сказал ему Пугачев.

— Вместях, батюшка, как есть вместях, — ответил старик, оглаживая лоснящееся дуло медной пушки. — Я еще, мотри, зорок, мое ядро за зря не полетит.

Пугачев с офицером Андреем Горбатовым повертывал пушки жерлами в ту сторону, с которой ожидался враг. Было сделано несколько пробных пушечных выстрелов. Емельян Иваныч лично измерял расстояние до различных отметок впереди крепости, обозначая вешками и разноцветными флажками определенные поражаемые пункты. Все было обдумано, налажено, разнесены по местам ядра и ящики со снарядами, роздан порох и свинец, всякий человек снабжен с достатком сухарями и вяленой таранью, выточены сабли и ножи, вывострены пики, отлиты свинцовые пули, или, как их называли казаки, «жеребьи». И — ни капли никому вина. Пугачев объявил: «Пьяному — петля!»

Пред трудными днями Емельяну Иванычу захотелось остаться одному, душа его была неспокойна. С поникшей в раздумье головой он снова обошел вал крепости, залез на вышку, осмотрелся. Вот погоревший, знакомый Пугачеву Татищев-городок, вот мрачная крепость с домом капитана Елагина. В этом самом доме родилась и проводила юность Лидия Харлова. Теперь нет на свете ни Елагина, ни его жены, ни Харловой с ее братом. Повешен и толстомясый бригадир Билов.

Сколь скоротечно летит время! Уже полгода минуло, как здесь гремел жестокий бой — и крепость пала. Полгода — немалый срок, а словно было это вчерашний день. Вот ряд оголенных, озябших берез. Сейчас зима идет, а тогда была золотая осень. Тогда березы еще не всю потеряли листву, и ярко рдела поспевшая рябина, и дрозды порхали перелетными стайками и вовсю звучал набат, стреляли пушки, и бушевало среди построек разливное огненное пламя.

Через два дня, поутру, Емельян Иваныч велел делать «закличку» в круг. Под звуки трубы и бой тулумбаса народ сошелся на крепостную площадь, все разделились по своим полкам: три тысячи яицких, илецких и оренбургских казаков, две тысячи двести заводских и ссылочных крестьян, остальные — около двух с половиной тысяч — башкирцы, татары, калмыки, киргизы и набеглые крестьяне. Над всеми начальствовал Овчинников.

Пугачев — при ленте, при звезде, за поясом два пистолета, у бедра дорогая сабля, в кармане, — «глядельная» труба (он с нею редко расставался). Он звонко, с коня, кричал в народ:

— Ну, детушки, вот и генералы настигли нас! Токмо вы не опасайтесь, а служите мне, государю, и делу нашему казацкому с храбростью! Генерал Кар трохи-трохи каркнул на нас, да едва ноги уволок... Ну, так мы и Голицыну-князю пятки к затылку подведем, — смешается, в кою сторону бежать. И я вам, детушки, верные мои народы, делаю предосторогу: коль скоро Голицын-Рукавицын к Татищевой приступать учнет, чтобы у нас тишина была и чтобы люди

всячески скрылись, дабы не видно было ни единой души. И до та пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать, покудова князя корпус не подойдет к нам на пушечный выстрел. Крепче держитесь, детушки, и чтобы рука ваша не дрогнула! Над нами бог, впереди нас враг, а я, государь ваш, с вами!

В 4 часа утра, 21 марта, князь Голицын лично произвел рекогносцировку возле крепости Татищевой. Его разъезды, побывавшие вблизи крепостных стен, никого не встретили. Голицын решил, что крепость либо пуста, либо будет без боя оставлена мятежниками. Но посылаемые в течение дня новые разъезды убедили его, что крепость многолюдна и намерена защищаться.

На следующее утро Голицын атаковал пугачевцев. В его распоряжении было около семи тысяч человек. Он выслал под начальством полковника Юрия Бибикова авангард в составе двух батальонов гренадер-егерей, трех эскадронов кавалерии и двухсот лыжников. Через час двинулись и основные голицынские силы. Бибиков успел подойти к валу на четыре версты. Крепость молчала, и — нигде ни коня, ни человека. Подступившие почти вплотную к крепости разъезды никого не обнаружили. Три чугуевских казака поехали удостовериться, есть ли кто-либо там, за валом.

Пугачев с Овчинниковым и Араповым, притаившись за вышкой возле крепостных ворот, зорко наблюдали за движением вражеских разъездов. Пугачев подозвал мимо проходившую молодую женщину, дал ей заранее приготовленное блюдо с хлебом-солью, сказал:

— Вот что, милая... Выходи ты вражеским разведчикам встречу, кланяйся ото всех мирян тутошних хлебом-солью и толкуй: были, мол, воры-злодеи, да все ушли невесть куды. А все миряне-татищевцы просят, мол, князя Голицына вступить в крепость безбоязненно... Поняла ли, милая? Ась? Ну, ступай, голубка!

Тетка, страшась ослушаться, покрестилась на церковь и вышла за ворота. Чугуевцы, не слезая с лоша-

дей, выслушали женщину, но не поверили ей, закрутили головами. Рыжебородый казак-чугуевец подъехал к чуть приоткрытым воротам и заглянул внутрь: там густо толпились вооруженные люди, стояли подернутые инеем заседланные лошади.

Чугуевец сердито засмеялся, крикнул своим:

— Обман, братцы!

И едва успел рот закрыть, как его шею обвила удавка, ноги его выскочили из стремян, а тело грузно поползло по ледяному валу вверх. Рыжебородый хрипел, болтал в воздухе руками.

Два других чугуевца, оробев, стоптали тетку и двинулись на рысях прочь, то и дело оглядываясь. Пугачев с Овчинниковым и Ермилкой бросились за ними в погоню:

— Коли! Руби! Хватай!

Овчинников ловко накинул на заднего петлю, тот грохнулся на землю, а его лошадь, сделав круг, возвратилась к поверженному хозяину. Третий чугуевец, нашпаривая своего скакуна плетью, быстро уходил. И ему удалось бы скрыться, если б не вывернувшийся из густого черемушника Пустобаев. Наскакав сбоку на врага, старик ударил его пикой с такой силой, что проколол ему грудь насквозь, а пика в мощной руке старика хрустнула, как сухая лучина.

— Откудов ты взялся? — спросил подъехавший Пугачев, одобрительно посматривая на Пустобаева, который снимал оружие с убитого чугуевца.

— Да вот сена коню пошукать выехал, — ответил старик.

Рыжебородого казака Пугачев допрашивал в крепости лично. Тот показал, что у Голицына пять тысяч только одной пехоты, не считая многочисленной кавалерии, и семьдесят больших пушек.

— Слыхал, Овчинников? Семьдесят!.. — нахмурившись, воскликнул Пугачев.

— Да, ваше величество, — вздохнув, ответил тот. — Ежели изменник не врет, у них вдвое более супротив нашего-то...

— То-то и оно-то...

Тем временем по приказу Голицына полковник Юрий Бибиков занял ближайшие высоты егерями и лыжниками, на выдающихся же местах выставил орудия. Прибывший к авангарду князь Голицын «учредил своему корпусу марш в две колонны». Правою колонною командовал генерал Мансуров, левою — генерал Фрейман, а передовой деташемент Бибикова составлял с правой стороны особую, третью колонну, «дабы отнять способы бунтовщикам зайти во фланг».

Обе колонны, Мансурова и Фреймана, спустились в глубокий овраг, который, по предположению Голицына, никак нельзя было обстреливать из крепости. Воспользовавшись этим, Голицын построил в глубине оврага войска в боевой порядок: в первую линию он поставил пехоту, во вторую — кавалерию, состоявшую из четырнадцати эскадронов. Когда же обе линии были построены, вдруг с полной неожиданностью, «спасительный» овраг подвергся обстрелу: чугунные ядра, одно за другим, били по людям. Это три вывезенных с Воскресенского завода секретных пушки с высоко приподнятыми, особого устройства, лафетами, стреляли по оврагу крутым навесным огнем. Батарея была сооружена в крепости лично Пугачевым, и пушки заранее по оврагу пристреляны: Емельян Иваныч предвидел, что неприятель оврагом воспользуется. Пушки наводил сам Пугачев с Чумаковым, канониром был подручный Чумакова, казак Алексей Темнов. Кроме секретных орудий, открыт был огонь из единорога и двух мортир. Они били разрывными, начиненными в Берде бомбами.

— Давай, давай! — покрикивал Пугачев, потирая руки и перебегая от пушки к пушке.— Кажись, влепили ладно!..

Вот он заскочил на вышку, воззрился чрез «глядельную» трубу в сторону оврага, закричал:

— Дай духу!.. Шпарь еще! Зашевелились, скаженные!

Голицын с тремя офицерами стоял на невысокой сопке. Наблюдая происходившее в овраге, он выкатил удивленно глаза и гулко закричал команду:

— Прими влево!.. Пехота, влево!.. Ах, дьяволы!.. Представьте, господа, навесным жарят, — сказал он, обращаясь к офицерам. — Кавалерия, вправо! Повзводно, впра-а-во!.. — И снова к офицерам: — Мечутся как угорелые... Орлов и вы, Веселаго, скачите, перестройте ряды... (Офицеры двинулись чрез глубокие снега.) Ах, дьявол! Валятся, валятся мои... Батюшки! Бомбы... Да еще с каким эффектом рвутся!.. Фу ты!..

Обе колонны, то есть пехоту и четырнадцать эскадронов, пришлось вывести из «спасительного» оврага и построить значительно дальше от крепости.

Две главные высоты, командующие над местностью, пугачевцы прозевали занять. Их захватил Голицын и поставил там пушки. Оставалась еще в левой стороне третья высота. Опасаясь, что ее займут мятежники и выставят на ней свои пушки, Голицын направил туда батальон князя Одоевского с четырьмя орудиями.

С трудом прокладывая себе через снега дорогу, батальон уже успел подняться на половину высоты. И вдруг из лесу, что сзади сопки, вымахнули конные башкирцы и татары, конная сотня заводских работников и большая толпища набеглых крестьян с топорами, с дубинами. И вся эта масса с гиканьем, свистом, ревом устремилась на врага. Батальон Одоевского, изумленный столь нежданным нападением, опешил. Завыли стрелы, затрещали ружья.

Весь крепостной вал был усеян любопытными. Пугачев кричал на вышке:

— Дай бою! Дай бою!.. Грудью, грудью, детушки! — Он знал, что его слова не долетят до сопки, но уже так, само собой, кричалось. Он весь кипел, глаза пылали. Он велел бросить к лесу на подмогу сотню илецких. Битва длилась недолго. На сопке снег взлетал облаками, кони взвивались на дыбы, люди падали десятками. Под напором пугачевских всадников одоевцы начали скатываться со склонов сопки. Бросив четыре свои пушки и обоз с припасами, они стали спешно отступать.

— Ур-ра! Ур-ра-а-а! — радостно раскатывалось по всей крепости: пугачевцы приветствовали с вала победителей.

К сопке выехал Чумаков, чтоб установить на ее вершине отбитые у врага орудия.

Утро выдалось солнечное. Снега кругом ослепительно сверкали. Стоявшие на валу люди жмурились. У Пугачева за последнее время болели глаза, воспалившиеся от весеннего солнечного света в снежных степных просторах. Поэтому на его лицо была приспущена сетка из черного конского волоса.

Он был на той же самой сторожевой вышке, на которой полгода тому назад стоял во время боя отец Харловой — старик Елагин. Окинув бодрым взором выстроившиеся внутри крепости войска свои, Пугачев остался доволен их молодецким видом. Это не безликая толпища собранных с бору да с сосенки людей, это хотя и недостаточно вооруженная, но все же благоустроенная армия. Над созданием ее долгие месяцы старались Овчинников, Шигаев, Падуров, Чумаков, Творогов, позднее — офицер Горбатов, а наипаче — сам Емельян Иваныч. Его железной волей и неусыпными заботами многотысячная масса превратилась во внушительную боевую силу. Казачьи конные полки стояли со значками, пешие полки с боевыми знаменами, в стороне — три сотни лыжников.

— Добро, зело! Гарно, — проговорил кто-то подле Пугачева.

— Гарно-то гарно, да не вовсе, — подал в ответ голос Емельян Иваныч. Он прикидывал в уме да сравнивал силы свои и вражьи.

Выходило так. У него, Пугачева, народа под десяток тысяч, у Голицына тысяч до семи. Зато у Пугачева всего-навсего тысяча двести семьдесят ружей, а у Голицына — не менее семи тысяч штук огнестрельного оружия; у Пугачева тридцать восемь пушек, у Голицына все восемьдесят.

— Да, плохо, брат Афанасьич, плохо, — бросил Пугачев подошедшему Овчинникову.

— Это чего, батюшка, плохо-то?

— Оруженья маловато! Огня у нас маловато! — И Пугачев изложил атаману свои соображения.

— Зато народу у нас гораздо больше супротив Голицына, ваше величество, — помявшись, сказал Овчинников.

— Так у нас — народ, а у Голицына — войско, Афанасьич... Чуешь, где ночуешь? Войска, говорю!

Крупных военных действий ни с той, ни с другой стороны еще не начиналось. Вскоре Голицын приказал открыть огонь по крепости. Пугачев подал команду, и крепость тотчас ответила из тридцати орудий. Все кругом застонало. Галки и грачи сорвались с крепостных деревьев, темным облаком принялись кружиться над крепостью, оглашая воздух граем, затем скрылись за лесами. Жители городка попрятались в погреба, подвалы, многие из местной молодежи, похватав оружие, присоединились к пугачевцам.

Время от времени приподымая сетку, Емельян Иваныч, прищурившись, всматривался вдаль. Там, далеко-далеко, возле сопок, копошились среди снегов маленькие человечки — пешие либо конные на крохотных, как кошки, лошаденках. Они карабкаются по склонам возвышенностей, втягивают на их взлобки смертоносные орудия. «Проворонили», — с досадой думает Пугачев и, косясь чрез плечо на стоявшего рядом с ним офицера Горбатова, говорит ему:

— Проворонили, ваше благородие, сопочки-то? Ась?

— Мнится мне, государь, что ихние ядра едва ли до нас достигнут. Дистанция, на мой взгляд, с двух дальних сопок более полутора верст.

— Навряд, Горбатов... Ось попробуем!

Пугачев живо сбежал по ступенькам сторожевой вышки и приблизился к Павлу Носову:

— А ну-ка, стар человек, плюнь горяченьким! Эвот, эвот в ту сопочку, в толпишку.

Пушкари, внатуг работая, повернули забитую ядром пушку, Носов направил дуло, куда надо, Пугачев проверил, сказал: «Так», — и звонко крикнул:

— Горбатов! Присмотрись в трубу.

Пушка грохнула, откатилась на лафете, клуб порохового дыма задумчиво остановился на момент в воздухе и стал вздыматься вверх. С вышки Горбатов ответил:

— Недолет, ваше величество! Сажен с сотню не донесло...

— Чуть покруче надобно, — виновато сказал Павел Носов.

— Держи так, — возразил Пугачев, наведя пушку. — Трохи-трохи пороху поболе всыпь.

Второе ядро угодило прямо в цель. Простым глазом видно было, как люди на увале прянули во все стороны, а Горбатов с вышки закричал:

— Пушка вверх колесами!.. Двое по снегу ползут... Третий — замертво!

— Спасибо, Носов! — весело бросил Пугачев.

Растроганный Носов тихо, чтоб никто не слыхал, пробубнил в ответ:

— Видать, ваше величество, Емельян Иваныч, уроки-то мои в прусском походе впрок тебе сгодились: знатный бы бомбардир из тебя вышел, кабы не эта затея твоя...

Пугачев подмигнул ему и побежал к Горбатову на вышку.

Канонада с обеих сторон длилась больше трех часов. Изредка попадавшие в крепость ядра особого вреда не причиняли. Но вот с воем прилетела пущенная с высокой сопки бомба, из нее торчал короткий хвост дымящегося запала, она врезалась в дальний угол крепости и тотчас там разорвалась, ранив казака и покалечив лошадь. Вторая бомба ударила в людное место, зарылась в снег и зашипела. Ближние прянули в стороны. Увешанный кривыми ножами Идыркей выхватил шипевшую бомбу из снега и, пробежав шагов пять, спустил ее в чан с питьевой водой. Оцепеневшие на миг люди заорали: «Ура!» И Пугачев с вышки крикнул: «Молодчага, Идорка!.. Благодарствую!»

Идыркей всей грудью выдохнул — ууух! — сдернул лохматую шапку, отер рукавом азяма толстое вспотевшее лицо с подстриженной бородкой и, пошатываясь, заковылял в толпу.

2

Голицын приказал Фрейману начать наступление на правый фланг врага, Фрейман двинулся вперед.

Пугачев велел распахнуть ворота, затем скомандовал атаману Арапову взять батальон пехоты с тремя сотнями оренбургских казаков и сделать вылазку за пределы крепости.

Слыша эту команду, многие из боевых частей закричали, устремляя глаза на вышку к государю, потрясая пиками, дубинками, взмахивая шапками:

— Нас, нас!.. Батюшка, нас пошли!..

— Надежа-государь! Нас спосылай!.. Застоялись мы... Погреться охота!

— Давай, бачка! — выкрикивали из башкирской толпы. — Адя, адя, бачка!.. Тудой-сюдой...

Пугачев довольным голосом гремел с вышки:

— Каждому свой черед, детушки! Дожидайте зову моего императорского.

В крепости горели яркие костры. Бегали две собачонки, — они рады были многолюдству: им перепадали вкусные куски, они нажрались до отвала. Крестьяне у костров переобувались, сушили прелые онучи, попыхивали трубками, на их загорелых лицах то робость, то отвага, то отчаяние: многие из них порох нюхают впервые. Башкирцы с татарами рвут белыми зубами вяленое мясо, тарань, лепешки, — кабы не война, самое время обедать. Крестьяне и парни из местных жителей без перерыва подтаскивают к батареям заряды. Над крепостью плавает сизоватый с прожелтью, пахнущий тухлятиной дымок от пушечной пальбы.

В темно-зеленом чекмене, в рысьих, вверх шерстью, сапогах стоял перед Пугачевым Илья Арапов — храбрец и забулдыга, недавний покоритель Самары. Лицо у него огрубевшее, чернобородое, длинный нос навис на густые усы, глаза горят задором. Напутствуя своего верного вояку, Пугачев приказал:

— Вот что, атаман! Прихвати-ка с собой с полдюжинки пушек! — И, обращаясь к Горбунову: — Так ли, ваше благородие?

— Правильно, ваше величество... Дозвольте мне с седьмой...

— Вали!

Все семь пушек потащились к пригорку, выбранному Горбатовым. Орудия везли лошади, в трудных местах их подхватывали люди: кругом убродные снега, путь был неспособен. Заскрипели, распахнулись кованные железом крепостные ворота. На волю из ворот выходил в строю батальон пехоты с белыми повязками на рукавах, выезжали оренбургские казаки в лихо заломленных шапках. Низкорослые, но сытые лошаденки, частокол высоких пик, бороды, бороды, выпущенные из-под лохматых шапок чубы.

В крепости, как в огромном улье, многоголосый говор сливается в общий глухой гул, будто в обширной осиновой роще при порывах ветра. И, как большой шмель среди пчел, рокочет всюду слышный голос Пустобаева. Народ пока что держит себя вольно: кто лежит у костра, кто дуется в карты, в «носки», кто бродит возле своей части.

— Ну, барабаны-палки!.. Только держитесь таперь! Ни кто да нибудь, а генералы противу нас прут, барабаны-палки! — говорит седоусый беззубый солдат старому гренадеру Фаддею Киселеву, который грел в котелке воду (чтоб хлебнуть с сухарями горяченького). — Ну да как-нито выдюжим, барабаны-палки! Ведь у нас, мотри, крепость да вал водой улит, на него и кошке не залезть.

— С нами бог, выдюжим, дядя Сидор! — отзывается Киселев, подбрасывая в кипящий котелок толченой черемухи. — А ежели и не выдюжим, так нам, брат-старина, все едино жить-то уж недолго... Не зря, чай, головы кладем... А вот своего барина-то молодого, офицерика Шванвича, не довелось сманить с собой. Больным сказался...

— А Горбатов-то офицер, видал, барабаны-палки? Прямо сокол!..

— Ого!.. Горбатов совсем другого смыслу господин. Мы с ним вместях живем, с ним да со Шванвичем... Ну, Горбатов-то, чуешь, сам передался батюшке...

— Знаю, барабаны-палки...

— Стой-ка, ужо!.. Чегой-то государь шумит...

— Детуш-шки! — покрывая гул толпы, гремел голос Пугачева. — Приготовься-ка сотенка заводских! Да полсотни илецких!..

В крепости зашевелились.

Меж тем умело выставленные Горбатовым на двух взлобках семь пушек открыли по наступающим огонь картечью. А конные и пешие пугачевцы, выбравшись из крепости и пройдя версты две, устремились рассыпным строем в контратаку. Два наступавших батальона генерала Фреймана едва сдерживали бурный натиск одного батальона пугачевцев.

— Братцы! Солдаты! — в разных местах взывали пугачевцы, врезаясь в серые ряды солдат. — Что вы делаете? Своих братьев-крестьян убивать идете? Опомнитесь! Ведь мы его величество защищаем, государя Петра Федорыча. Он здесь, в крепости, сам находится, отец наш всеобщий!

Слыша эти призывы, солдаты было дрогнули, приостановились. Даже послышались бесстрашные голоса:

— Будет нам братскую кровь проливать! Ведь они за мужика, супротив бар. Сдавайся, братцы! — Но к смелым крикунам тотчас подлетали офицеры, замахивались на них прикладами, тесаками, устрашающе кричали:

— Расстрела захотели?

И все же два фреймановских батальона стали шаг за шагом пятиться, ряды расстроились. А пугачевцы все крепче и крепче наступали.

— Берем, берем, берем!.. Не трусь, ребята! — разжигал свою пехоту удалой атаман Арапов. А три сотни его оренбуржцев уже заводили на флангах неприятеля легкие пока схватки с вражеской кавалерией.

Генерал Фрейман, видя растерянность своих солдат, тотчас двинул им на помощь свежий батальон князя Долгорукова. И, подбодрив солдат, снова перешел соединенной силой в наступление.

Пугачев, стиснув зубы, следил за ходом битвы. Он время от времени подбрасывал в бой новые, хотя и небольшие, части.

Сражение постепенно разгоралось. Глубокие снега, местами коню по грудь, сильно мешали военным действиям. Но обе стороны дрались отчаянно.

И Голицын и Пугачев понимали, что участь Татищевой решается именно здесь, именно сейчас — под крепостными стенами.

Вот уже несколько часов шел вблизи крепости упорный бой с переменным успехом. То бежали вспять группы солдат, и тогда с крепостных стен кричали: «Наша берет!.. Солдатня в бег ударилась!.. Ура!..» То под натиском кавалерии пятились пугачевцы, и тогда ликовали Голицын со штабом: «Побежала сволочь! Глядите, глядите-ка — солдаты на валу!»

Действительно, порядочная толпа смельчаков из голицынского стана, пробравшись к дальнему краю крепости, пыталась вскарабкаться по ледяному валу: обрывались, впереверт скользили вниз, снова с азартом лезли, прорубали тесками по льду ступеньки. Вот с криком «ура» солдаты достигли вершины, но притаившиеся за валом казаки быстро смели их пиками, а офицеру успели накинуть на шею аркан и, поддернув, снести его голову.

А там, на главном фронте, сражение не ослабевало, и кто кого — неизвестно: боевое счастье переходит то к голицынцам, то к пугачевцам. Князь Голицын теперь сам принял команду над всеми своими войсками. Он перевел на левый фланг всю пехоту генерала Мансурова, а ему самому поручил начальствовать над всей кавалерией. В резерве Голицына оставался всего лишь один батальон Томского полка под командой поручика Толстого. Голицын решил и этот последний запас свой ввести в дело: он шел на неизбежный риск.

В резерве у Пугачева были яицкие и оренбургские казаки, под командой Андрея Витошнова с Григорием Бородиным, да еще небольшой отряд отборной пехоты из заводских людей и беглых солдат под начальством Варсонофия Перешиби-Нос.

Пугачев вскочил в седло и вместе с атаманом Овчинниковым и Витошновым стал готовить казаков к бою.

Пушки с занятых Голицыным высот, из опасения нанести ущерб своим, пальбу по людям прекратили, лишь изредка стреляли в сторону опустевшей крепости. Место битвы подернуто пороховым дымом, всюду стоял гул от ружейной стрельбы, людского крика, звяка оружия. Башкирцы пускали из сайдаков стрелы, однако под напором вражеской кавалерии многие из них с гиком и визгом стремились наутек и только некоторые хорошо рубились. Бросив ненужную теперь пушку, бежал на врага офицер Горбатов, увлекая за собой группу конных и пеших крестьян с забеглыми солдатами.

— Вперед, вперед! — кричал он. — Добывай землю! Добывай волю!

И Пугачев подавал с коня громкую, всюду слышную команду:

— Детушки! Верные казаки! Не трусь... Равняй бугры, рви кочки!.. — Его взмокшие на морозе волосы вылезли из-под шапки, в лице ни кровинки, лишь черные глаза горели. — Грудью, грудью, детушки! Дай духу!

— Ура! Ура! — голосили бежавшие на врага казаки. — Або добыть, або дома не быть!.. Дай духу, дай духу!

Старик Витошнов двинулся с сотней яицких казаков вправо, Григорий Бородин — влево, навстречь наседавшим вражеским конникам.

Витошнов действовал храбро и в открытую, Григорий Бородин все больше норовил скакать по-за кустами.

Засверкали, закровянились сабли, пики. Кони взмывали на дыбы, сшибаясь грудью. Белыми вьюнами снег взлетал из-под копыт. Многие кавалеристы под казацкими ударами падали с коней, но и яростно рубившиеся казаки тоже несли изрядные потери.

— Гайда, гайда, детушки! — неистово голосил Пугачев.

По всему снежному, побуревшему полю лежали многочисленные трупы людей и лошадей, взлохмаченные шапки и пики, ружья. То здесь, то там со стоном ползли раненые. Пугачев видел, что его людей побито много больше, чем голицынских.

— В оружии нехватка, Афанасьич! — жалуясь, бросал он Овчинникову. — У голицынских-то семь тысяч ружей, а у нас и полутора тысяч не набрать.

— Правда твоя, батюшка... Маловато у нас, маловато...

Вот бежит на врага насыщенная яростью, оглушительно орущая толпа. Впереди, с крепко ужатым в руках штыком, Варсонофий Перешиби-Нос. Рыжеватые усищи его разлохматились, рот перекосился. «Ур-ра! Ура!» — не переставая вопит он сиплым голосом. За ним — рыжебородый дядя в расстегнутой овчинной безрукавке. Он охмелел от битвы, тычет острой рогатиной, «на злу голову» кричит:

— Ой, раз родила мати, раз и умирати! Ур-ра!..— и с маху падает, сраженный пулей.

Чубастый Ермилка на коне держит возле Пугачева высоко приподнятое государево знамя. Пугачевцы в разгаре боя нет-нет да и воззрятся в эту сторону и, завидя священную хоругвь, подумают: «Батюшка с нами».

Вот, не дождавшись команды, вырвались из перелеска затаившиеся там башкирцы с калмыками. Они было помчались в атаку на чугуевцев, но попали под губительный обстрел голицынской батареи. К ним от Овчинникова уже скакал гонец.

— Назад, черти, назад! — голосил он. — Нешто была вам команда?

— Бульна долга терпеть, бачка! — тонкими голосами вразнобой кричали в ответ башкиры. — Не можна терпеть! Адя, адя!— и, обнажив кривые сабли, насторожив копья, продолжали наезжать на врага.

Картечь сражала их десятками. Упал с коня посланный к ним гонец, раненный.

— Эх, дурни! — взмотнул головой Пугачев. Он тотчас послал вестового к бившемуся с врагом у дубовой рощи Илье Арапову, чтобы тот кинул на

подмогу оплошавшим башкирцам полсотни оренбургских.

И вот завязалась в сугробах, возле башкирцев, схватка. Подоспели казаки, набежали с топорами, с вилами мужики, а на помощь чугуевцам спешили солдаты Томского полка. И когда пальба картечью прекратилась, разгорелся не на живот, а на смерть рукопашный бой. Всадников стаскивали за ноги с коней, валили наземь ударами вил. В драке, незаметно для самих себя, люди разбились на кучки. Бросались впятером на одного, били чем попало, топтали, вминали сапожищами в снег столь глубоко, что и человека не было видно. На победителей в свою очередь нападали со всех сторон, сшибали с ног, втаптывали в сугробы, бежали дальше... Уже было умерщвлено или покалечено множество народа: чугуевцев, мужиков, башкирцев, солдат Томского полка.

Обезлюдевшие сугробы, где только что происходила схватка, вдруг начинают оживать: то здесь, то там из глубоких снеговых могил выпрастываются люди, тяжело подымаются на ноги, встряхиваются, иные снова падают, иные, набрав силы, идут, пошатываясь, прочь, всяк в свою сторону — одни к крепостным воротам, другие к голицынским частям.

Бой постепенно откатывался к лесу. Туда стремились укрыться голицынцы, считая себя побежденными. Туда же отступали и мужики с башкирцами да с оренбургскими казаками, они также полагали себя побитыми.

Среди некоторых отступавших мужиков с набеглыми солдатами был злобный ропот:

— Пропадаем за зря!.. Палки да вилы-то наши не стреляют...

— Нет чтобы пушек да ружей из Яицкого городка доставить, а он, царь-от, замест того обабился там, другую государыню завел!..

— Ну и пущай сам воюет, а мы ему не ваньки!

— Геть, замолчь! — крутя нагайкой, шумел на крикунов казак. — Другую государыню, другую государыню... А перва-то нешто по головке гладит вас?

Это она и есть с генералами своими в зад-то вам, дурням, шпарит!

— Да мы ведь ничего, мы ведь промеж собой, сынок...

— Ура! Ура! — гремит вдали. И снова грохот умолкших было пушек.

С ближних сопок сползают голицынские солдаты. С крепостных батарей летят в них ядра. Поле битвы стало широким, обе стороны ввели в бой все свои силы.

Подскакали к Пугачеву три казака; один из них пожилой, бородатый, двое голоусиков. Взмыленные кони курились паром: примчались удальцы издалека.

— Батюшка-надежа, — задышливо начал пожилой, у него часть уха и шапка разрублены, висок и щека в крови. — Мы далече заехали да с гусарами сшибку имели, семерых прикончили, ну и наших троечка полегла... Ух ты!.. Дай передохнуть...

— Хлопцы, толкуйте вы, — приказал Пугачев молодежи.

— Ваше величство! — выкрикнул круглолицый, у него наискосок разрублен на спине полушубок, клочьями торчит овчина. — Как мы были во вражеском тылу, так усмотрели...

— Усмотрели, батюшка, — снова заскрипел старик, — у Голицына-то князя не осталось в резерве ни хрена, все тут. И сам князь последних солдат повел, поскребыши.

Емельян Иваныч, советуясь с Овчинниковым, то и дело рассылает гонцов то в одну, то в другую сторону.

— Эй, шурин! — наказывает он своему родственнику, Егору Кузнецову. — Айда к оренбуржцам, пускай живчиком примут вправо: голицынские чего-то там зашевелились. Да Гришухе Бородину вели настрого ехать, чтобы живо подавался на переднюю!.. Я вижу, как он, бугай такой, по рощам-то хоронится... Дьяволов племянник!..

Иван Почиталин был направлен Пугачевым с наказом к третьему батальону уральско-заводского

полка, Василий Коновалов — к илецким сотням и к башкирцам с каргалинскими татарами.

Князь Голицын видел, что враг далеко еще не сломлен, силен и опасен. Боясь упустить время, Голицын решил действовать со всей энергией. Он приказал Юрию Бибикову ударить с егерями во фланг пугачевцам, генералу Мансурову перейти с конницей в наступление, генералу Фрейману атаковать мятежников сразу тремя батальонами.

Офицеры и солдаты сражались самоотверженно, Фрейман схватил знамя Второго гренадерского полка и бросился вперед, увлекая за собой остальные войска, в их числе и резервный, последний батальон капитан-поручика Толстого.

Впереди этого батальона, почти по грудь в снегу, поспешал с обнаженной шпагой сам князь Голицын.

На левом фланге отчаянно бьются с мансуровской конницей казаки атамана Витошнова. Но под напором превосходящих сил казаки пришли в замешательство, ряды их редеют.

— Братья казаки!.. Держись! — кричит с коня изнемогший Витошнов. — Держись!.. Арапов бежит на выручку...

— Ги-ги-ги! — орали араповцы, врезаясь в ряды вражеской конницы. Впереди озверевший Илья Арапов, зеленый праздничный чекмень на нем весь изорван, под ним уже третий конь — два коня убиты, — и левая рука его пониже плеча поражена. — Рубай, так их так!.. Ги-ги-ги!..

Витошновцы оправились и вместе с подоспевшими товарищами стали дружно наседать на неприятельских конников. Вскоре показался со своей потрепанной сотней и Григорий Бородин. Казаки крепче солдат сидели в седле, отважней рубились, ловчее сажали на пики. «Ги-ги-ги!.. Ур-ра!..» Вот кувыркнулся щеголь-офицер, вот упали в снег два вахмистра в белых форсистых полушубках с черной выпушкой, казацкие сабли то смертельно ранили солдат, то сносили им головы. Передние ряды кавалеристов впали в робость. Но у Мансурова четырнадцать эскадронов — сила!.. Свежие ряды кавалеристов, подбадриваемые

военачальниками, продолжали с упорством наседать на казаков, подавляя их численностью.

На правом фланге, верстах в полутора от крепости, шла схватка с егерями Юрия Бибикова. Там старался Андрей Горбатов со своими наполовину конными, наполовину пешими заводскими работниками и беглыми солдатами. Егеря Бибикова заняли большую березовую рощу и повели наступление цепями. Пешие горбатовцы засели за поваленные давнишней бурей деревья и оттуда стреляли в наступавших.

— Лети, моя пуля, барабаны-палки! — напутствовал свои меткие выстрелы седоусый солдат-гренадер. Рядом с ним, выгорбив уставшую спину, целился из-за пня гренадер Фаддей Киселев. Он лежал в снегу, вытертая овчинная кацавейка грела плохо. У старика ломило поясницу, он надрывно кашлял, чихал.

Разделив конников на две части, Горбатов собирался повести их в бой. Приказом Овчинникова сюда подвозили два орудия с запасами картечи и пороха.

Все три генерала действовали теперь уверенно. Им стало ясно, что их силы значительно превозмогают силы плохо вооруженных пугачевцев, что поражение мятежников неизбежно.

Генерал Фрейман с полковым знаменем в руках двигался вперед. Его три батальона, увязая в сугробах, шли убивать безоружных мужиков. Солдаты злы: их подняли чем свет, целый день то вправо, то влево передвигали по нетоптаным снегам; они вконец измотались и к тому же, как собаки, голодны... Но вот им поднесли по чарке вина и сказали: «Добивайте изменников государыни, получите награждение и — по домам!» Одурманенные на голодный желудок сивухой, пехотные батальоны свирепо перли вперед.

— Вперед, братцы! Помни присягу! За мной! — покрикивал Фрейман, приостанавливаясь и потрясая знаменем.

Из крестьянской сизо-желтой хмары тоже летели к солдатам отчаянные выкрики:

— Солдатушки! Родненькие!.. Одумайтесь... На кого руку поднимаете? На своих... Хватайте генералов!

А когда солдаты стали приближаться к ним, тысячи мужиков и несколько сот башкирцев с калмыками подняли столь громкий воинственный вопль и гвалт, что начавшаяся пальба из пушек казалась ничтожной. В солдат облаками полетели гудящие стрелы, они пронзали подбитые куделью казакины и впивались в тело. Солдаты отстреливались из ружей. Наконец враги сблизились вплотную. Пугачев, видя это, скомандовал яицким: «На-конь!»

У крестьян пошли в ход топоры, вилы-тройчатки, железные дубинки. Башкирцы работали с коней саблями и копьями. Солдаты разили их штыками.

Небольшую кучку пожилых крестьян пехотинцы оттеснили от общей схватки, загнали в сугроб. Крестьяне были безоружны: они в драке потеряли даже шапки с рукавицами. Стоя выше пояса в снегу, они ненавистно смотрели в глаза солдат. Лысый благообразный старик кидал в сторону остановившихся в смущении голицынцев:

— Бога вы забыли, подлецы!.. Глянь, сколь народу-то положили, каиновы дети!.. Ну, убивайте, убивайте и нас!.. — По щекам, по бороде старика градом катились слезы, он перхал, горбился, отсмаркивался в снег.

— Замолчь! — орали солдаты, замахиваясь штыками.

— Мы царю-батюшке помогать набежали. Он, крестьянский заступник, супротив бар идет... — не унимались мужики. — А вы что, баре, что ли, сукины вы дети?!

Старый солдат с косичкой гаркнул на крестьян:

— А ну вас в дыру!.. Из-за вас вся мутня! Айда в полон!..

— Подь ты к кобыле с полоном-то! — заголосили крестьяне в обиде и злобе. — Краше нам сдохнуть. Бей!

Из крепости пушечная пальба почти смолкла, ядра там были на исходе, но по всему полю гремел гром

битвы — крики «ура», разрозненные ружейные и пистолетные выстрелы, исступленное гиканье, визг, стоны, ожесточенная ругань, ржание коней.

3

Три последние сотни яицких казаков двинулись в бой. Впереди, выхватив саблю, — сам Пугачев; возле него серое знамя с восьмиконечным белым крестом. Знамя, как легкое облако, гонимое вихрем битвы, проплывало над полем; под знаменем, подобно вспугнутому орлу, носился на сером скакуне Пугачев. Рядом с ним, не отставая от него, — атаман Овчинников, позади — двадцать всадников-богатырей, личная охрана государя, или, как их называл Пугачев, «черные гусары». Среди них огромный бородатый старик — Пустобаев.

Емельян Иваныч, всюду выкрикивая слова воодушевления, видел, что армия его, невзирая на всю свою отвагу, отходит к стенам крепости. Он знал, что многие из его воинства имели против вражеских ружей — топоры, против пистолетов и сабель — кулаки да палки. А когда враг докатится до крепости на пушечный выстрел, у него, Пугачева, пожалуй, не будет ни пороху, ни ядер.

Меж высоко вскинутыми бровями Емельяна Иваныча врубилась складка, и мучительно сжимается, не переставая ноет сердце.

Все притомились — люди и лошади, пугачевцы и голицынцы; притомилось-устало и солнце: закрывшись тучей, оно склонялось к горизонту.

Ведущий наступление генерал Мансуров предпринял коварный шаг: два эскадрона он послал на илецкую дорогу, двум сотням чугуевских казаков и двум эскадронам бахмутских гусар приказал занять большой оренбургский тракт, дабы отрезать пугачевцам отступление. В напутствие своему отряду генерал Мансуров сказал:

— Ежели вам этот маневр удастся, Пугачеву вживе не уйти от нас.

Гусары и чугуевцы начали не спеша огибать городок и крепость, но глубокие сугробы препятствовали их действиям.

Овчинников, заметив это движение врага, тревожно сказал Пугачеву:

— Видишь, батюшка?

— Вижу, — ответил Пугачев и тяжко, рывком, вздохнул. — Что делать, Афанасьич?

— Нам воевать, а тебе скрываться, батюшка! А то, не дай боже, как бы в лапы тебе к ним не угодить. Я навстречь им кину сотенки полторы яицких да толпишку башкирскую, пускай задержат ворога на часок. А покамест дорога свободна, батюшка...

— Как можно, Афанасьич, — насупясь, прервал его Пугачев. — На то нет моего согласия, чтобы спокинуть армию...

— Не перечь, твое величество! — взбросив голову, уже сердито проговорил Овчинников. — Не перечь! Худого советовать не стану.

Пугачев ударил себя в грудь:

— Да лучше я лютую смерть приму, чем народ спокину!

— Брось, батюшка! Беги, пока не поздно!

— Сам беги!

— Нас-то таких много, а ты — царь! Пожалей себя и нас.

— Себя мне не жалко!

— Дело пожалей.

От сильного душевного смятения в лице Емельяна Иваныча подергивались мускулы и непроизвольно взмигивал правый глаз.

Умысел генерала Мансурова подметили и многие из пугачевцев. По два, по три, а то и в одиночку, они скакали на конях, бежали пешими с разных мест к государеву знамени.

— Батюшка, втикай! — задышливо кричали люди, указывая на пробиравшихся к дорогам мансуровских всадников. — Глянь, дорога-то! Уходи, отец наш!

И вот толпа набежавших людей окружила Пугачева.

— Скрывайся, батюшка! Сохраняй себя, государь великий!

И к Овчинникову:

— Уйми, атаман, дьяволов-то, не лезли бы на дороги!

— А нешто не видите? — И атаман Овчинников махнул с коня рукой в сторону спешившего напересек мансуровцам отряда яицких казаков и башкирцев. Впереди скакал на рыжей лошади атаман Арапов.

— Детушки! — во всю грудь взголосил Пугачев. — У меня умысел был положен: либо побить всех изменников, либо с народом смерть принять.

— Ой, што ты, што ты! Тебе ли погибать?! — закричали в народе. — Не сироти нас.

Пугачев опустил голову.

— Ин будь по-вашему, — проговорил он глухо. — Поспешайте же и вы всяк в свое место!

Когда народ отхлынул, Пугачев обратился к Овчинникову:

— Прощай, Афанасьич! И вот что: коль скоро Катькины войска будут наступать с горячностью, доразу и ты втикай... всем гамузом. Да в крепость запирайтесь, там и стойте до последа!..

Они обнялись и, под несмолкаемые шумы сражения, расцеловались.

Битва шла теперь все более убыстряющимся потоком. Овчинников предвидел скорую развязку. Он приказал распахнуть крепостные ворота, и ближайшие к валу пугачевцы уже начали втягиваться в крепость, другие же отхлынули к городским постройкам.

...По дороге к Оренбургу скакали во весь опор всадники. С Пугачевым ехали: Почиталин, Коновалов, шурин Пугачева — Кузнецов, ослабевший в бою старик Витошнов, Пустобаев, Ермилка и незаметно примазавшийся Григорий Бородин. Вслед им мчалась полусотня чугуевцев, гикая и стреляя. Одна пуля на излете угодила в плечо Пугачеву, но под его чекме-

нем надет железный башкирский панцирь. Бородач Пустобаев, видя, что Пугачев схватился за плечо, зычно крикнул ему:

— Батюшка, скачи! А мы чуток отстанем да острастку ворогу дадим.

Пугачев ударил коня плетью, а сопровождавшие его приостановились и, укрывшись за деревьями, приготовились к защите. Но притомившаяся, на измученных лошадях, погоня преследование прекратила. Чугуевцы повернули назад, а пятеро из них, подняв ружья кверху и звонко голося, устремились к выехавшим на дорогу пугачевцам.

— Не стреляйте! — голосили они. — Мы с поклоном к государю.

И всей гурьбой, радостные, поскакали вслед за Пугачевым.

А когда начало темнеть и утомленные, проголодавшиеся путники принуждены были позаботиться о пристанище, Коновалов сказал:

— Эвот в той рощице, недалечко от трахту, умет есть. А содерживает его оброчный крестьянин, старик Фома.

Иван Почиталин точас поскакал в умет для наведения там порядка. Остальные, чтоб дать коням роздых, поехали шагом.

Емельян Иваныч со всеми ласково беседовал. Только на Григория Бородина — ни малейшего внимания. Впрочем, ему соблазнительно было спросить казака: «Пошто, мол, ты, этакий детина, не остался в крепости?» — Но он воздержался от вопроса, опасаясь, что Гришуха, подобно Митьке Лысову, чего доброго, внатыр пойдет да скажет: «А ты, мол, сам пошто из крепости-то сбежал?» И еще у Пугачева был соблазн: послать своего шурина Егора Кузнецова в Яицкий городок за голубкой осиротевшей, за великой государыней Устиньей. «Нет, не под стать мне оные непотребные думки, да еще в этакое время», — упрекнул себя Емельян Иваныч.

Между тем правительственные войска, окружив крепость, лезли на обледенелый вал со всех сторон.

Вдоль вала шла резня. Солнце давно село, наступили сумерки, а крепость еще держалась. Гренадеры и владимирцы ворвались в крепость первыми. Кавалерия, преследуя отступавших, проникла в Татищеву тремя въездами. Большая часть пугачевцев после сильной перепалки успела из крепости вырваться. Отступая, они вели упорный бой на илецкой дороге, противу команды Юрия Бибикова. Те, что остались в Татищевой крепости, защищались от ворвавшихся голицынцев с отчаянным ожесточением.

Войска Голицына преследовали отступавших. Атаман Овчинников с частью своих сил ушел в Илецкий городок, остальная толпа побежала бездорожной степью в сторону Переволоцкой крепости. Потери пугачевцев были очень велики. В плен попало около трехсот яицких и илецких казаков и более двух тысяч плохо обученных военному делу крестьян, башкир, татар, калмыков.

Потери правительственных войск тоже были значительны: три офицера и сто тридцать восемь солдат убито, девятнадцать офицеров и четыреста семнадцать солдат тяжело ранено.

Вконец истоптанное поле битвы было пусто. Лишь играли на нем две прибежавших из Татищевой сытые собаки. Одна, черная, с торчащими ушами, схватила валявшуюся шапку и помчалась прочь, все время косясь через плечо — гонится ли за ней лохматый, рыжий, хвост кренделем, приятель. Тот догнал, на бегу вцепился в ту же шапку, и вот оба бегут рядом, как в дышлах кони. Враз бросили поноску — человеческая голова лежит! Наскоро полизали запекшуюся кровь на разрубленной шее, лизнули в нос, в бороду, в полузакрытые глаза. И снова — обе к шапке. Схватили, и каждая тянет шапку в свою сторону, упруго приседая на задние лапы, улыбчиво поглядывая друг дружке в зеленоватые глаза и незлобно урча.

Когда же спустилась сутемень, из рощи, из перелесков прокрались на место побоища хозяйственные мужички, весь день махавшие топорами и вилами на этом поле. Этакий изъян учинился им!.. Андрон то-

пор потерял да самодельный нож, Ванюха — железный штырь с набалдашником да кожаные голицы, Вавила — топор да шапку, Митрий — новый кушак с кистями.

В небе каленые звезды крепли, всходила луна. Вправо темнела крепость. Из-за вала маячили отблески огней. Доносились к мужикам отдельные выкрики, звяк котлов. Вот ударил, рассыпался мелкой дробью барабан, затем ненадолго — тишина, и, нарушая ее, полилось во все стороны тысячегрудое пение вечерней молитвы: войска Голицына напились, наелись, готовились ко сну.

Крестьяне, их десятка два, ползали по снегу, выискивали нужное: топоры, шапки, рукавицы, пистолеты, ружья.

— В домашности все сгодится... Аркан? Давай аркан... Седла-то, седла с уздечками снимай с палых лошадей. Седла да ружья с пистолями царю-батюшке пойдут. Поди сыщем его, надежу-государя...

В иных местах крестьяне, кряхтя и корячась на снегу, проворно переобувались: подобранные добротные валенки надевали на свои помороженные, в лаптишках, ноги.

— Ну, мужики, возище добра-то!.. А как дотащим?.. Мотри, пымают, — головы ссекут!..

— Ни хрена не пымают!.. Дрыхнут! И солдатня и начальники. Притомились все...

— Глянь! На коне кто-то бежит. Втикай, робя! — И крестьяне стадом бросились к оврагу.

— Стой, стой!.. — кричал, настигая их, всадник. — Не страшитесь, православные, это я, Максим!.. Ужли не признали?.. Я — Максим Обабкин!..

— Макся, ты?

— А кто же? — прохрипел всадник. — Ну, робя, молись богу, господь-батюшка нам милости послал! Полдюжины коней из крепости в рощу прибежали, там сено в стогах. Лошади-то, должно, еще днем сено-то заприметили, как бой был... У лошадей-то, чуешь, память дюжее, чем у кошек... Во!

Шестеро крестьян, прытко взлягивая, побежали к роще.

...На следующий день Голицын распорядился отслужить панихиду на могилах коменданта Елагина, его жены и бригадира Билова. В их память прогремел пушечный салют.

В числе четырех приговоренных к казни пугачевцев был повешен и старый дядька Шванвича — солдат-гренадер Фаддей Киселев. Он сам вызвался следовать из Берды за «батюшкой» в Татищевскую крепость и там нашел себе могилу.

К генералу-аншефу Бибикову и в Петербург поскакали курьеры с донесением князя Голицына о полной победе над Пугачевым.

4

На умете, куда подъехали путники, оказалось немало нагруженных скарбом подвод да с десяток верховых коней. Седла сложены в кучу, покрыты дерюгой. С полсотни было людей — пожилых и молодежи. Все они из дальних деревень устремлялись в Берду, к «батюшке».

Когда узналось, что сам батюшка приближается, народ всколыхнулся:

— Государь!

А вот и он сам. Крестьяне опустились на колени, вышел с непокрытой головой и старик Фома, хозяин умета, с ним трое бородачей — его сыны.

— Встаньте, детушки! — сказал Пугачев утомленным голосом. — Кто такие? И куда правите путь?

— К тебе, отец наш, к тебе, надежа-государь!... — загалдели, подымаясь, крестьяне.

— Спасибо, детушки! Я в людях немалую нуждицу имею. Вот генералы царицыны наседают на меня. Крушат мою силу-то. Чаю, и посейчас под Татищевой бой идет. А я за подкреплением в Берду спешу.

— Не тужи, батюшка, не печалуйся, осударь великой, — заговорили в толпе крестьян. — Нашей мужицкой силушки будет при тебе, свет наш, сколь хошь.

— Благодарствую... Не ради себя, ради вас, мир людской, радею, — растроганно сказал Пугачев. — Ну, здорово, дедушка Фома! — обратился он к кивавшему лысой головой хозяину умета. — Вот приехали погостевать к тебе. Дай, стар человек, приют нам.

— Батюшка, отец наш! — закричал и от прилива чувств скосоротился старик. — Все для вашей милости и для слуг твоих сготовлено...

Уж из трубы дым валил, в печке потрескивали поленья, две хозяйки стряпали в обширной избе ужин.

— Ты, как поснедаешь, твое величество, — обращаясь к Пугачеву, сказал пожилой вожак артели, — ложись с богом на спокой. А уж мы твою милость постережем. Животы положим за тебя. Уж ты поверь, с тем шли. Мы, ведаешь, из лесов сами-то, звероловы, ружьишки с собой прихватили, вот и две собачонки-медвежатницы. Эй, Андрюха! — закричал он, оглядывая сквозь густые сумерки толпу крестьян. — Отбери-ка поскореича с десяток наших, кои подюжее, да айда за мной к околице. Ребята! Оружайся! Бекеты выставим, всю ночь караул держать будем. Да парочку вершних коней, еще Волчка с Шариком. В случае чего — примчим, шум подымем!.. Сами не дозрим — псы учухают.

— Где, старинушка, ногу-то потерял? — спросил Пугачев ядреного, брюхатенького, на деревянной ноге деда.

— В прусскую кампанию, ваше величество! Бывший лизаветинский солдат.

— Под Кенигсбергом был?

— Бог сподобил, ваше величество! А при корпусе графа Румянцева, как брали крепость Кольберг, ноженька моя обманула меня, похарчилась, ядром сразило...

— Так неужели и ты ко мне против супостатов собрался?

— Этак, этак, ваше величество!.. Да ведь на коне-то я управный. Из ружья могу, а нет, так и пикой чекалдыхну!

— Ведь он, батюшка, паронщик, пароны снимает, — заголосили обступившие царя крестьяне.

— Какой такой паронщик? Не слыхивал, — сказал Пугачев.

— Да я, ваше величество, кровь останавливаю да от ран лечу, стреляных да рубленых. Сего ради зовусь — паронщик. И заговаривать могу. От пули, от картечи, от ядра...

— А пошто же себя не заговорил? — улыбнулся Пугачев.

— Да, чуешь, заговор-то спознал я опосля ноги поврежденья, ваше величество.

— Ну, послужи, послужи мне, старина!

Когда Емельян Иваныч направился к избе, его бережно подхватили под руки.

— Люб ты нам, надежа! — закричали мужики срывающимися голосами. — Простой ты, ваше величество, свой! — шумели они, гурьбой провожая батюшку до дверей.

Во дворе зажгли костры. Приготовились караул держать всю ночь.

Емельян Иваныч долго не мог после ужина уснуть. На него, как пуганые птицы на приманку, спускались сны и тотчас отлетали, опять опускались и отлетали вновь. В его взбудораженном мозгу одна за другой возникали только что пережитые сцены боя. В полубредовом состоянии он вдруг встряхивался, кричал: «Детушки, грудью, грудью!» — и приходил в сознание. Его сердце переполнялось кровью, в ушах гремели раскаты пушечной пальбы, перед закрытыми глазами скакали всадники, бежали, валились люди... Так неужто же всему конец?

Непереносимая тоска опрокинулась на него, он застонал, поднялся с кровати и, выставив вперед руки, пошагал через тьму к слабо освещенному извне окну. Сквозь наполовину промерзшее стекло заглянул во двор. Два костра, возле них крестьяне: сидят, балакают, попыхивают трубками. «Караулят меня, государя», — подумал Емельян Иваныч и вдруг почувствовал, что тяжесть сваливается с его сердца.

— Нет, врешь! Погодите-ка, Голицыны-Рукавицыны... Мы еще побарахтаемся! — произнес он вслух и широко заулыбался.

Вот этого главного, этого основного у Емельяна Пугачева — «побарахтаемся!» — недооценили ни правящий Петербург, ни сам Бибиков. «Точно жернов с сердца свалился», — писал он жене в день получения известия о победе под Татищевой. А князю Волконскому в Москву генерал-аншеф писал: «Теперь я почти могу ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо только одно главное затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою».

В свою очередь князь Волконский спешил поздравить Екатерину: «Я обрадован, что злодей Пугачев с его воровскою толпой князем П. М. Голицыным совершенно разбит и что оно, внутреннее беспокойство, которое столь много ваше милосердное матерно сердце трогало, ко концу почти пришло, приношу всенижайшее и всеусерднейшее поздравление».

Радостное известие это Екатерина прочла рано утром, еще в папильотках, чепце и пеньюаре.

— Браво, брависсимо! — воскликнула она. — Стало быть, инсуррекции конец! C'est fini!..

На имя Екатерины тотчас посыпались поздравления, и она сама спешила поделиться этой радостной вестью со своими близкими. В одном из своих писем она говорила, что после дела под Татищевой «гордящиеся сим разбоем ненавистники наши поубавят свое ликование». В адрес таких «ненавистников» в коллегии иностранных дел уже сочинялась графом Никитой Паниным для гамбургских газет особая статья о победе под Оренбургом. Послы и посланники европейских держав спешили известить свои правительства. Так, сэр Роберт Гуннинг писал 8 апреля графу Суффольку: «Вчера от генерала Бибикова приехал курьер и привез весьма приятное известие об окончательном подавлении мятежа, вследствие совершенной победы, рассеявшей все мятежное войско».

Однако ближайшие события показали, что взбаламученное народное море еще долго будет шуметь и волноваться.

ГЛАВА IX

Оборона Уфы. «Чиновная ярыжка». Берда встревожена. Хлопуша идет за кандалами

1

Говорят, сердце сердцу весть подает. А вот сердце Устиньи не почуяло, что с ее венчанным супругом приключилась сущая беда. Она все еще томилась новизной своего необычного положения, наслаждалась сытой жизнью и тем непривычным вниманием, которым была окружена. Но все же продолжала скорбеть и тосковать, как тоскует вольная птица, посаженная в золотую клетку. Где ты, красная девичья воля, где душевный покой, где ты, юная казачка Устя, песенница и первая плясунья!

Просыпается она поздно, и белоснежная наволочка на ее подушке почасту мокра от слез. Одеваться помогают ей «фрейлины», обращаются к ней: «ваше величество». Такое титулование ей было сначала смешно, — она снисходительно улыбалась; затем вызывало раздражение; теперь она стала привыкать, как привыкает человек к обидной кличке.

Сегодня одно платье, а завтра другое; сегодня — утренний чай с малиновым вареньем и жаренными в масле пышками, завтра — с янтарным медом и пирожками с осетриной, рисом, яйцами. Щеки Устиньи начали круглеть, движения отяжелели, молодое тело расслабилось в непривычной, вынужденной лености.

Ее отец Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов — «стражи ближние ее здоровья» — жили в том же доме, внизу. Там же помещался и гуслярслепец Дерябин. Поднимались они наверх только по зову, и к обеду Устинья их не приглашала. С нею обедали лишь «фрейлины» и главная распорядительница, Аксинья Толкачиха. Обеды были обильные, с вином и сладостями. Внизу тоже кормились неплохо: баба Толкачиха, заботясь о своем муженьке Михайле, тащила туда жареным и пареным. Денис

Пьянов со слепым Дерябиным всегда были под хмельком.

Степенный Петр Кузнецов тосковал по дочери, он иногда заходил к ней без приглашенья и не знал, как вести себя с «великой государыней». Ежели был у нее народ, она отзывала отца в спальню, кидалась ему на шею, жарко выдыхала: «Батюшка, родимый батюшка», — и тихо плакала. Он всячески старался подбодрить ее, успокоить; не искренние, не от сердца, а от фальши, ронял ненужные ей слова: «Это господь вознес тебя на такую высь... Шутка ли — царица!» Она выслушивала отца молча, сквозь слезы смотрела на него скорбными глазами, говорила: «Да ведь ежели это счастье, то и ему, батюшка, конец виден... Чует сердце-то...» — «Ништо, дитятко, ништо, — утешал ее отец, и глаза его тоже увлажнялись. — Молись богу, пуще молись, вот и во счастье будешь. Да ведь о твоем здравии царском и по церквам попы богомолебствуют. Поди скучаешь о государе-то своем?» — «Скучаю», — помолчав и повертывая голову к окну, раздумчиво отвечала Устинья. Отец, пристально посмотрев на нее, вздыхал и говорил: «Вишь, в какой холе содерживает государыню свою... Эвот платище-то какое!» — «Это называется — фижмы: китовый ус подоткнут с испода-то, — вишь, как топорщится». — «Богатства у тебя много, семь сундуков у нас внизу». — «Так ведь они запечатаны, государь не приказывал трогать». — «Часто ли пишешь государю-то?» — «Часто. Ведь я у дьячка Парамоныча училась грамоте-то, сам знаешь. Хошь и коряво, а выходит. И оставлены мне батюшкой формы, как подписываться: «Царица и государыня Устинья». Старик опять, крадучись, вздыхал, смотрел на дочь с великим сожалением, затем осенял себя крестом и, улыбаясь, говорил: «Взыскал нас своей милостью господь праведный».

Каждое утро приходит к Устинье атаман Каргин, чтоб рапортовать государыне о состоянии постов и вообще о разных «казенных» делах-делишках. Иногда он или его помощники спрашивают ее приказаний. Она машет на них рукой, говорит:

— Уж это как хотите, так и делайте. Коли сами не умеете, шлите гонца к государю, он вас поправит.

Она сидит, они стоят навытяжку.

По воскресеньям и в другие праздничные дни приходит к ней на поклон с поздравлением все начальство. Благочестивый атаман Каргин, кланяясь, кладет возле нее на стол просвирку.

— За драгоценное ваше оздравие подавал• я, твое величество, — говорит он, снова отвешивая поклоны.

Кивком головы она благодарит его и приказывает Толкачихе поднести гостям по стакану вина. Они выпивают, кланяются и уходят.

Когда она появляется с Толкачихой и фрейлинами на улицу, дежурный есаул выкрикивает честь — приветствия. Государыня милостиво раскланивается с бравыми молодцами и садится в сани, чтоб из улицы в улицу проехаться по городку.

Грачи прилетели. Солнышко. Весна идет. Радоваться бы! Но у государыни Устиньи голова огрузла от дум. Едет она из улицы в улицу, отвечает встречным на поклоны. «Эх, Даши нет, прокатилась бы с нею, умным словечком перемолвилась бы, — думает она. — Несчастная Даша... Государь сказывал мне, что Николаева твоего убили. Нет, ты счастливая, ты найдешь себе по душе другого. А вот я — как птица в клетке. Придет кот, взломает клетку и... прощай жизнь! Может, Симонов, может, Рейнсдорп или другой какой... Да закогтят они и государя моего...»

— Поворачивай лошадок, Васенька, довольно, накаталась!

Иногда по ее зову собираются к ней девушки поиграть, повеселиться. Они одеты в лучшие наряды. Устинья надевает аметистовые бусы, жемчужные серьги, дорогие кольца. Самоцветы искрятся переливными огоньками, как под морозною луною снег. Девушки ведут себя стеснительно, жеманно. Говорят вполголоса иль шепчутся, а сами не спускают умильно улыбчивых, но завидущих глаз с этой Устиньи Кузнечихи, что вознеслась над ними, что увешала себя

разноцветными каменьями да расфуфырилась, как пава!

Но вот подают вина, подают сладости. Девушки пьют, языки их развязываются, ноги просятся в пляс. Призывают слепца гусляра, зачинается веселье. И чем больше выпито вина, тем угарней становится пирушка. А когда в теплых сенцах кукарекают третьи петухи, все пьяным-пьяно. Пьяна и государыня. Возле нее сгрудились подгулявшие казачки. Они стараются обнять ее за шею, ластятся к ней, как котята к кошке, другие ползают в ногах, целуют колени, третьи норовят ехидно ущипнуть ее, якобы щупая добротность платья. И все наперебой уже не «ваше величество», а:

— Устя! Слышь, Устинья!.. Подруженька наша... Высоко залетела ты!

Устинья, опираясь о ручки кресла, вдруг вскакивает, прикусывает побелевшие губы, с силой топает золотою туфелькою в пол и, сверкая обозленными глазами, кричит:

— Подите прочь! Вон! Все вон!

Становится тихо и безлюдно, лишь свечи горят да капелька по капельке булькает из рукомойника вода в лохань. Одинокая Устинья срывает с себя дорогие бусы, валится возле стола на колени, взбрасывает локти на столешницу, стискивает ладонями голову и разражается жалобным плачем.

Толкачиха выглядывает из-за двери и страшится войти, чтоб ее утешить.

2

Одновременно с боями под Татищевой, под Кунгуром и Челябинском завязались большие дела и под Уфой, у Зарубина-Чики, — наступление правительственных войск шло по широкому фронту.

Мы уже видели, что нападение на Уфу, предпринятое «графом Чернышевым» 23 декабря 1773 года, ни к чему не привело: город умел обороняться.

На освобождение Уфы был направлен из Казани шеф дворянского корпуса генерал-майор Ларионов

(родственник главнокомандующего Бибикова). Этот старый щеголь, хотя и «воспаленный ревностью и примером патриотических чувств дворянства», был человек леностный и трусливый. Он возил за собой сундук с костюмами и раза по три в день менял всяких фасонов куртки.

Испуганный известием, что Нагайбак снова захвачен пугачевцами, Ларионов с прямой дороги на Уфу свернул в Бугульму, здесь усилил свой корпус людьми и пушками, а 28 февраля 1774 года прибыл в селение Акташ, откуда донес Бибикову, что мятежники, услышав о его движении, в страхе разбежались.

Отдохнув в Акташе, генерал Ларионов не спеша двинулся к Нагайбаку и занял его. Мятежники тем временем отступили к Стерлитамаку и Бакалам. Ларионов выступил было на выручку Бакалов, но, испугавшись глубоких снегов и пугачевских партизан, вернулся обратно.

Прошло полтора месяца, как Ларионов выступил из Казани на освобождение Уфы, но Уфа еще долго не могла получить от него никакой помощи. А. И. Бибиков, весьма недовольный медлительностью Ларионова, писал: «За грехи мои навязался мне братец мой генерал Ларионов, сам вызвался командовать особым деташементом, а теперь с места сдвинуть не могу». Бибиков крайне был обрадован, вскоре получив от Ларионова письменную просьбу об отставке.

К этому времени прибыл в Казань Санкт-Петербургский карабинерный полк, в котором находился долгожданный Бибиковым подполковник Иван Иваныч Михельсон. Этого деятельного храброго вояку Бибиков и определил вместо Ларионова, с приказанием освободить Уфу. Бибиков 10 марта писал состоявшему в секретной комиссии капитану Лунину: «Дворянского шефа Ларионова принужден переменить со всеми его куртками, а послать Михельсона. Упетал меня сей храбрый герой Ларионов: не мог с места целый месяц двинуться».

Город Уфа, обложенный со всех сторон пугачевцами, расположен в гористой, обрывистой местности. Лед на реке Белой, обтекающей Уфу, был вырублен, свободное течение реки значительно способствовало защите города. Вокруг Уфы были построены четыре земляных батареи: на реке Белой — для обстрела Оренбургского тракта; на Усольской сопке, на кладбище, — для обороны доступов со стороны сибирской дороги; и на горе, над рекой Белой, — для обстреливания трех улиц. А пятая батарея, из четырех орудий, была подвижная — для усиления, в случае надобности, мест угрожаемых. Город разбит на участки, охраняемые вооруженными гражданами.

Душою обороны были: комендант города полковник Мясоедов, воевода Борисов и прибывший в Уфу из Ростова Великого купец Иван Игнатьевич Дюков.

Купцу всего двадцать три года. По своему уму, деловитости, трезвому уменью разбираться в событиях он был прямой противоположностью придурковатого чудодея Полуехтова, подвизавшегося в Оренбурге. Дюков — невысокого роста, мускулистый; простое щекастое, с густым румянцем, лицо его чисто выбрито, большие серые глаза то строги, то улыбчивы, голос крепкий: купец крикнет на шумную толпу — и сразу тишина. Видя в молодце характер стойкий, люди ему с охотой подчиняются.

— Глянь, по годам он парнишка, а ума у него — не баран начхал!

Мещанство и купечество выбрало Дюкова своим предводителем. А съехавшееся из поместий многочисленное дворянство, составив из себя ополчение, избрало своим начальником отставного майора Пекарского. Прочими силами — гарнизонною ротою, казаками и крестьянами окрестных сел, сбежавшимися под защиту города, — командовал капитан Пастухов. Общее число защитников было до двух тысяч человек при сорока орудиях.

В начале осады башкирцы не решались брать город силой и потому вели беспрерывные переговоры с уфимским начальством.

— Передай воеводе,—говорили башкирские старшины купцу Дюкову, — чтоб он не противился законному государю. Ежели добровольно не сдадите город, все жители до одного человека будут перебиты.

Дюков, раскурив трубку, стал дружелюбно передавать ее для затяжки старшинам. Затем повел с ними хитрый разговор.

— Мы с начальством совещаемся каждый день,— начал он. — Мы сами видим: городу не устоять, — людей у нас мало, оружия с порохом мало, да и хлеба недостаточно. А вот ничего с народом поделать не можем, народ хочет защищаться. Ежели угрaживать жителям, чтобы сдавались, — бунт подымется, людишки все начальство перережут. А надо выждать: может статься, воевода с комендантом как-либо и договорятся с жителями сдать город.

Сбитые с толку депутаты помолчали. Один из них, уральский работный человек Сизов, недоверчиво прищурившись на румяного, как анисовое яблоко, купца, сказал:

— По указу его величества Петра Федорыча дается вам сроку три дня. Страшитесь государева гнева! — выкрикнул он, затянулся трубкой, передал ее Дюкову и в упор спросил его: — А ты, умная голова, тоже не из командиров ли?

— Нет, — утаив правду, ответил молодой купец и снял пыжиковую с наушниками шапку. — Я ныне только временный солдат всемилостивой государыни нашей Екатерины Алексеевны, исполняю волю начальства, как совесть и присяга повелевают.

— В таком разе ступай, умная голова, да перескажи начальству, что слышал от нас, да и жителям толкуй, особливо казакам, что-де тяжкий грех подымать руку на законного государя, что-де бог и царь их накажут.

По возвращении Дюкова был собран на базарной площади народ. Воевода Борисов приказал Дюкову сообщить толпе о своих переговорах. Затем воевода спросил горожан:

— Что же, православные, защищаться или сдавать город злодеям-клятвонарушителям?

— Защищаться! Ур-ра! Веди нас, воевода, супротив злодеев!.. Мы рады стоять за веру и отечество!..— вразноголосицу кричала толпа.

Однако среди населения было много сторонников царя-батюшки. Пугачевские манифесты и указы, поступавшие от мятежников, тайно расклеивались жителями на воротах, домах, даже церквах. Для прекращения подобных публикаций было объявлено, что за принятие, хранение или расклейку «воровских листов» — виновным смертная казнь. Вскоре были схвачены с «воровскими листами» двое и публично повешены.

«Граф Чернышев» (Чика) появился в Чесноковке, как уже известно, в начале зимы. После нескольких неудачных наступлений на Уфу он всюду стал рассылать приказы, чтоб все способные носить оружие собирались в его ставку. В течение нескольких дней стеклось в Чесноковку до двадцати тысяч мятежного населения. Это были главным образом плохо вооруженные башкирцы, отчасти татары, а также помещичьи безоружные крестьяне.

С этими силами Зарубин-Чика 23 декабря двинулся чем свет на Уфу и открыл канонаду из 23 пушек. Городские батареи метко отстреливались.

Чика заметил, что на окраине города, у выхода Усольской улицы, мало защитников. Тогда его распоряжением чрез реку Белую мятежники переправили два орудия, втянули их на гору и открыли огонь по городу. От обстрела страдали городские строения, были человеческие жертвы, но захватить эту опасную батарею недоставало у защитников сил. Отставной вахмистр из дворян, Дмитрий Аничков, с двадцатью вооруженными людьми умело обошел батарею и стал стрелять в тыл пугачевцам. Прислуга при батарее была частью перебита, частью бежала. К трем часам дня вся остальная толпа Зарубина-Чики была отогнана от города.

25 декабря, в день рождества, было после обедни торжественное молебствие. Купечество, дворяне и люди зажиточные устроили защитникам праздничное угощение. От казны было отпущено пять бочек вина. Многие взяли к себе в дом вооруженных людей «к сделанию с приятелями веселого времени».

Ровно месяц спустя Зарубин-Чика с двенадцатитысячной армией предпринял новый штурм города. С колоколен раздались звуки набата. Призванные к оружию защитники заняли свои места. Купец Дюков и начальство сели на коней. Обе стороны открыли артиллерийский огонь. Полковник Губанов из армии Чики прорвался было со своим полком на Сибирскую улицу, но был оттуда прогнан. А сам «граф Чернышев» направился опять на ту же улицу Усольскую и, расположившись на горе, командовал боем.

В эту необычайно снежную зиму сугробы лежали в Уфе выше заборов. Татары с башкирцами под командой своих старшин двинулись вдоль улицы. Они были вооружены преимущественно луками, копьями, закомелистыми дубинками и топорами. Меткие пули защитников разили их насмерть. Сугробы задерживали путь; нападающие, увязая в снегу, подвигались вперед медленно. Купец Дюков с отставным капралом Лодыгиным, прихватив с собою человек тридцать хорошо обученных мещан, зашли атакующим в тыл и открыли ружейный огонь. Татары с башкирцами дрогнули. Им на выручку бросился Чика с удальцами. Он — в белом полушубке, под полушубком железная кольчуга.

— Не поддавайся, братцы! — кричал он с коня; потемневшее лицо его грозно, зубы оскалены. — Ура, ура! Бей их!

— Алла-а-а!.. Алла-а-а! — вопили татары с башкирцами, пуская меткие стрелы и стреляя из ружей.

В пылу схватки капрал Лодыгин налетел с обнаженным тесаком на Зарубина-Чику, тот выстрелил

в нападавшего из пистолета, но пистолет дал осечку. Тогда Чика выхватил саблю и, отбив смертельный удар тесака, срубил Лодыгину голову. Команда убитого стала разбегаться. В это время купец Дюков примчался с подвижной батареей, и все четыре орудия, одно за другим, ударили картечью в густую толпу атакующих.

— Не робей, братцы-товарищи! Вперед, вперед!— громко выкрикивал Чика, сверкая отточенной саблей. Но смертельно раненный конь его рухнул вместе со всадником.

На упавшего Чику бросился было разгорячившийся Дюков с задорным криком: «Хватай его, ребята!» Однако его лошадь тотчас провалилась в сугроб по брюхо.

Зарубин-Чика успел вскочить на другого коня и, смяв окруживших его мещан, умчался. За ним двинулась вся его большая толпа.

Отступление было тяжелое. Люди вязли в сугробах, их расстреливали, кололи, рубили.

Эта неудача обошлась Зарубину-Чике не особенно дорого, он потерял всего лишь двести пятьдесят человек убитыми и около сотни пленными.

На следующий день состоялись в Уфе торжественные похороны при Смоленском соборе капрала Лодыгина и других погибших защитников.

Для офицеров и начальства комендант полковник Мясоедов устроил обед. Провозглашались тосты, произносились патриотические речи. Очередь дошла до купца Дюкова. Он долго отказывался, отбивался руками и выкрикивал: «Что вы, господа почтенные, куды мне!» Затем встал, окинул гостей вдумчивым взглядом, опустил голову и в замешательстве принялся чертить на скатерти указательным пальцем. Наконец, овладев собой, сказал:

— Мы люди простые, торговые, известное дело, к такой господской компании не приобыкли. Мы — как собаки: все понимаем, а говорить не можем...

— Вы можете! — поощрил молодого купца Мясоедов, оправляя георгиевский офицерский крест на

груди. — Вы умная голова... Вас и народ так зовет: умная голова... Продолжайте, голубчик Иван Игнатьич...

Дюков еще более раскраснелся, исподлобья взглянул в седоусое лицо Мясоедова, стал в волнении катать из хлеба шарик. Гости, прекратив еду, с любопытством смотрели на конфузливого молодца, лишь священник Троицкой церкви отец Илья продолжал усердно трудиться над сдобным пирогом с визигой.

— Вот вы, ваше высокоблагородие, — сдвинулся с мертвой точки Дюков, — вы говорите, что простой народ прозвал меня умной головой. Хорошо-с... Так и запишем. И вот-с, этот простой народ требует: веди, дескать, нас под Чесноковку, мы выгоним оттуда ихнего царька пугачевского, град Уфу освободим... А то, дескать, нам жрать скоро будет нечего. И я, ростовский первой гильдии купец Дюков, советую: давайте-ка, господа командиры, общими силами ударим по разбойничьему гнезду и разом положим крамольному делу окончание. Храбрыми бог владеет! Вот и весь сказ. — Дюков сдвинул брови, порывисто сел, впопыхах не заметив своего бокала, залпом осушил бокал соседа-священника, схватился за нож и вилку, стал с проворством есть утку с мочеными яблоками.

— ...Неосновательно, — продолжал говорить между тем Мясоедов. — Хотя одушевление защитников и вера в свои силы зело велики у них, но тем не менее нам, господа, об действиях наступательных нечего и помышлять, а дай боже отсидеться под прикрытием пушек. Малейшая же неудача в наступлении может предать город в руки инсургентов. А мы уж лучше, уповая на защищение божие, будем терпеливо ожидать прибытия помощи.

Гости согласно закивали головами, а священник сказал:

— Правильно, правильно. Нет, благодарю покорно в плену у извергов быть! Я сидел, я знаю!.. Хватит!

— Отец Илья, сделайте милость, расскажите, как это вы... — попросил недавно прибывший в Уфу пухлый помещик с отвисшими, как у старой собаки, нижними веками.

— Извольте, извольте, досточтимый Геннадий Львович. — Священник огладил темную бороду, башкирского склада лицо его осерьезилось. — Не далее как двенадцатого декабря минувшего года большая часть жителей, даже женщины, вышли за город на соседние луга к нетронутым стогам, дабы запастись сеном, ибо ощущалось в городе оскуденье фуража. Нас прикрывала воинская команда при одной пушке. И только мы приступили к делу, как налетел на нас злодейский отряд, команду нашу опрокинул. Народ побежал, а полсотенки уфимцев в полон попало, и аз, многогрешный иерей, вкупе с ними. В Чесноковке обыскали нас, завязали глаза, увели в тюрьму с объявлением, что мы будем повешены. Всю ночь, пребывая в узилище, мы взывали ко господу, стенали и плакали горько. Утром повели нас к наиглавнейшему начальнику. Сия персона квартиру содержала в доме тамошнего священника отца Андрея. Видим мы: сидит в переднем углу под образами полуодетый, босой, цыганского обличья подгулявший человек. Нам объявили, что сидящий в углу суть «граф Чернышев». Мы стоим, трясемся, ждем гнева и казни. Вдруг рекомый граф поглядел на нас, улыбнулся, сказал: «Ну, мирянушки, ни толикой казни вам не учиню, всех вас милую, дарую жизнь! Идите с богом по домам, перескажите людям, что слышали и видели, да уговаривайте население исполнить волю государя Петра Федорыча — сдать город без боя. Пускай хватают начальство, а я именем государя великую вам милость окажу». Сказав так, граф отпустил нас с честью. Оное происшествие я занес на память потомству в дневник свой, а прибыв домой, слег со страху в постель на целую неделю. Так будем же, возлюбленные чада мои, паки и паки ожидать помощи от господа бога и христолюбивого воинства...

Однако время шло быстро, о помощи же ни слуху, ни духу.

«Граф Чернышев» не очень горевал, что Уфа не дается ему в руки.

— Не беда, не беда, — успокаивал он своих атаманов. — Сам батюшка эвона сколь времени с Оренбургом возюкается, да не может взять... Как он, свет наш, умыслил Оренбург выморить голодом, ну так и мы той же дорожкой пойдем.

Атаманы хмурились, да и сам Чика утратил всегдашнюю веселость. Больше уж не раздавался по Чесноковке его хохот, и перестал он выпивать.

— Отрезано!— кричал он, борясь сам с собой. — Отрезано!..

Запертая со всех сторон Уфа испытывала все невзгоды: население терпело голод, стали развиваться болезни, а вместе с тем появился ропот, начались побеги. Бежали главным образом помещичьи крестьяне, собранные на защиту города.

Уфа не знала, что Михельсон спешит на помощь ей, но Зарубин-Чика имел о движении правительственных войск точные сведения. Поэтому все имевшееся у него, добытое в помещичьих усадьбах, ценное имущество и богатую казну он распорядился переправить в Табынск.

Михельсон, выступив из Бакалов и пройдя несколько селений, не мог добыть «языка», так как при стычке ему не удавалось захватить в плен ни одного человека. «Из сих злодеев ни один живой не сдается», — доносил он Бибикову. Наконец Михельсон узнал, что по дороге из Уфы, в деревне Жуковой, стоят две тысячи человек при четырех орудиях, а в Чесноковке — сам «граф Чернышев» с армией в десять тысяч человек и значительным числом орудий.

Михельсон решил устремиться на главные силы противника, на Чесноковку. С успешными боями он быстро шел вперед. Когда он оказался в пяти верстах от Чесноковки, Зарубин-Чика успел выслать ему навстречу семь тысяч при десяти орудиях. Он приказал

растянуть по дороге в одну линию, на целую версту, до четырех тысяч пехоты и конницы, а по бокам выставить лыжников.

— Мы, братцы-товарищи, окружим Михельсона с флангов и с тыла,—уже в третий раз пояснял Чика своим командирам. — А как облапим изменника, тогда напустим на него с фронта густую толпу в три тысячи коней. Геть с дороги!..

Рано поутру, 24 марта, когда над черной землей распевали жаворонки, враги сцепились. Шедший в авангарде майор Харин, встреченный огнем семи орудий, остановился, выдвинул вперед одну пушку и начал отстреливаться. Михельсон отправил ему подкрепление. Мятежники, большинство татары и башкирцы, действовали отчаянно, в плен не сдавались. Бой длился уже несколько часов. Михельсон, наконец, перешел в наступление. В конном и пешем строю он атаковал неприятеля. Мятежники, израсходовав все патроны и стрелы, после яростного сопротивления и не в силах выдержать согласованных действий правительственных войск, бросились бежать к Чесноковке, которую уже успел занять майор Харин.

Уфимцы, услышав пушечную пальбу, не знали, что и подумать.

«А не иначе, как межусобица в злодейском лагере вышла, друг в дружку палят», — думали многие жители.

Однако вскоре получилось в Уфе известие, что «граф Чернышев», будучи разбит подполковником Михельсоном, с двумя десятками человек своих ближних бежал в Табынск.

Заняв Чесноковку, Михельсон повесил захваченных двух главных предводителей—башкирского старшину и русского, а трех жестоко высек плетьми. Отец Андрей, приютивший Зарубина-Чику и гулявший с ним, хотя от наказания был освобожден, но получил от Михельсона строжайший выговор. Все же остальные пленные, — а их более полуторы тысяч человек, — после увещаний были распущены по домам. Михельсон в своем рапорте жаловался Бибикову на

отчаянность башкирцев: «В них злость и жестокосердие с такой яростью вкоренились, что редкий живой в полон отдавался, а которые и были захвачены, то некоторые вынимали ножи из карманов и резали людей, их ловивших. Найденные в сенях и под полами, видя себя открытыми, выскакивали с копьями и колами, чиня сопротивление».

В городок Табынск, расположенный по реке Белой, между Уфой и Стерлитамаком, Зарубин-Чика прибыл ночью. Его сопровождали Илья Ульянов, Губанов, несколько яицких казаков и работников с Воскресенского завода.

Все были в удрученном состоянии, в особенности сам Чика. Он впервые видел отличные действия михельсоновского отряда, хорошее вооружение солдат и впадал в отчаяние, предчувствуя невозможность выполнить взятое им на себя обязательство перед государем. «Одно остается — втикать до батюшки, повалиться ему в ноги, да и молить: прости-помилуй, отец, Михельсону Уфа досталась, а не графу Чернышеву твоему!» Он приказал казакам все переправленное сюда из Чесноковки имущество с казной, нагрузив на подводы, немедля везти, пока не поздно, в Берду, в государеву армию. «Прими, батюшка Емельян Иваныч!.. Последний поклон тебе до сырой земли... Доведется ли на сем свете нам встренуться?» — печально раздумывал Чика, прощаясь с самым любимым в жизни человеком.

Чике с Губановым и Ульяновым отвели для ночлега хорошую избу, хозяев выгнали к соседям, печку жарко протопили. Расстроенный Чика сказал своим товарищам:

— Желательно мне, атаманы, одному побыть. Идите с ночевой в другое место.

Губанов с легким сердцем ушел, а Илья Ульянов, приглядываясь при свете масляного фонаря к болезненно-напряженному лицу Чики, сказал:

— Да что с тобой, граф Иван Никифорыч? Ты прямо весь сказился!

— Тоска, понимаешь! — И Чика вдруг заплакал. Он недвижно сидел на скамейке, запрокинув голову и опираясь затылком в стену.

Ульянов пристально, с жалостью глядел на него. По исхудавшему горбоносому лицу Чики из полуприкрытых глаз катились слезы, а обросший бородой и усами рот беспомощно кривился. Ульянов вздохнул и, не сказав ни слова, тоже сел на лавку. Он никак не чаял увидать товарища в таком подавленном душевном состоянии. Неужели этот разудалый Чика, этот задирчивый, бесстрашный и решительный сорвиголова может плакать?

— Эка штука, что чуток помяли нас... Да-кось наплевать, — стараясь подбодрить товарища, но все-таки дрогнувшим голосом проговорил Ульянов. — Опять народишко собирается к нам... Эка штука!

— Иди, Ульянов, к себе, чегой-то меня сон долит, — тихо сказал Чика-Зарубин, продолжая сидеть неподвижно, все так же с полуприкрытыми глазами. Ульянов, пробыв некоторое время, вздохнул и ушел.

Чика остался один, запер дверь на крючок. Глухая ночь была, ставни закрыты, на улице спокойно, тихо. Кругом безмолвие, а в душе Чики жестокая бушевала буря. «Как я свою рожу покажу батюшке? — вслух думает он, безнадежно разводит руками, хмурит густые брови. — Что скажу ему? Прогулял! Проньянствовал! Ведь двадцать тысяч народу!.. Двадцать, а какой прок в них? Где ружья, где пушки с порохом? А все ж таки батюшка не кому иному, а мне доверился, меня под Уфу послал, меня в графья произвел. Вот и награфствовал я, нагадил батюшке-то, замест помощи!.. Эх, Ванька, Ванька! Рассукин ты сын, подлая твоя душа!..»

Вдруг ярость вломилась в кровь Чики.

— Казнить меня, казнить! — закричал он, затряс кулаками, опрокинул ногою скамейку, отшвырнул табуретку к печке и с заполошным воем стал рвать на себе волосы, стал биться лбом о стену, а слезы ручьем, ручьем:

— Ой, Емельян Иваныч!.. Прости ты меня, прости!..

Вдруг, оборвав крик и плач, он пришел в чувство, распахнул глаза, глубоко передохнул, огляделся, вынул из-за пояса пистолет и весь, от загривка до пят, содрогнулся. Страшно ли умирать? Нет, не страшно... Он твердой рукой взвел курок, натрусил на полку пороху и нащупал то место в груди, где бьется сердце. Но сердце вдруг упало. В нижней части живота прошла неприятная судорога. Руки и ноги онемели, и все тело стало чужим, безвольным и бесчувственным. К горлу подкатился тошнотный ком, обильная слюна пошла, а вискам стало холодно... Он стиснул зубы и крепко сжал в руке пистолет. В последний момент жизни оружие показалось ему страшным: в нем пуля, пламя, смерть. «Не дури, Ванька, брось, — сказал он вслух. — Лучше вгони пулю в лоб Михельсону, сшибись с ним, подкарауль...» Защурив и вновь распахнув глаза, он осмотрелся. Все чуждо, все мертво, только живое сердце с силой стучится в грудь, хочет выпрыгнуть, бежать от смерти.

В этот миг на улице родились, окрепли многие голоса, в калитке сбрякало кольцо, и в запертую дверь Чики стали ломиться.

— Отпирай, шайтан! Эй, слышишь?.. Граф Чернышев!..

Еще момент и — дверь слетела с петель. Чика враз загасил огонь, наугад выстрелил в ворвавшихся людей и в каком-то исступлении стал направо-налево рубить во тьме саблей.

...Отправив своих раненых, отбитые пушки и собственные экипажи в Уфу, Михельсон направился к Табынску и по дороге получил рапорт табынского казачьего есаула о том, что он, есаул Медведев, собрав поздней ночью народ, схватил и заковал в цепи прибывших в Табынск Зарубина-Чику, Ульянова и Губанова со всеми их товарищами. «Как брали, пятеро наших порублено, постреляно злодеем не душевредно, не до смерти, а шестого пересек злодей Чика надвое».

По прибытии в Табынск Михельсон препроводил арестованных под сильным конвоем в Уфу. А 4 апреля и сам вступил в этот город, где был встречен жителями восторженно. С этого времени спокойствие в Уфе не нарушалось.

С поражением и арестом Зарубина-Чики башкирцы, мещеряки и русские стали разбредаться по своим деревням и присылать к Михельсону депутатов с повинной. Особенно усердно раскаивались мещеряки. Их старшины, Мендей Тюнеев и Султан-Мурад Янышев даже собрали пятьсот человек отборного, из мещеряков, войска и передали его Михельсону. «Каждый из наших старшин наберет войско, каковое будет следовать, куда ты укажешь, — говорили депутаты. — Мы благодарны тебе, что ты всех наших пленных, не сделавши им наказания, отпустил по домам». Башкирцы под давлением своих начальников во многих селениях стали доставлять Михельсону фураж, продукты, лошадей.

Но не везде выходило так гладко. Например, в окрестностях Бакалов «пошаливала» большая толпа русских с башкирцами. Вели толпу атаман Торнов и бывший депутат Большой комиссии Гаврило Давыдов, тот самый лысый, низкорослый, в больших сапогах, мужичок, который не столь давно посетил Емельяна Иваныча и, между прочим, жаловался ему, что, мол, вез он, Давыдов, сладкие пироги в подарок батюшке, да по дороге «лошади пироги те схрумкали».

А вот ныне башкирский старшина Кидряс «схрумкал» самого Давыдова, а за компанию с ним и атамана Торнова. Лишенная руководства, толпа рассыпалась. Старшина Кидряс — человек зажиточный. Семь лет тому, во время путешествия Екатерины в Казань, он за свое усердие получил особое награждение, но, невзирая на это, когда появились пугачевцы, он вступил в толпу мятежников, однако вскоре опомнился и снова возвратился «на путь истины, ибо колебание его верности происходило единственно от слабости духа».

Подобное «колебание верности» с последующим вступлением «на путь истины» повторялось и с прочими случайными руководителями восстания. Всюду

по Башкирии водворялся «порядок». Да иначе и быть не могло, ибо мятежным жителям некуда было податься: с запада и юга они были окружены правительственными войсками, на востоке простиралась обедневшая, разоренная часть Пермской провинции, с севера угрожал отряд майора Гагрина, освободивший от осады Кунгур и разогнавший бродившие в его окрестностях скопища.

Впрочем, Башкирия только внешне могла казаться «замиренной». На самом же деле мятежные силы лишь по необходимости на время притаились, бунтарский огонь ушел под землю. При первом же бушующем ветре он снова выступит наружу и разгорится в пожарище восстания.

4

О пленении Зарубина-Чики и освобождении Уфы никто в Берде не знал.

Емельян Иваныч прискакал в Берду в полночь и тотчас приказал сменить с постов и караулов всех солдат и крестьян, а вместо них поставить яицких казаков, как более опытных в сторожевой службе.

Пикетчики немало дивились тому, что их сменяют казаками, и, толпами возвращаясь в Берду, переговаривались между собою:

— Что такое, братцы? Ночь глухая, они тут... Чего-то не тае... Неспроста.

Их начальники, к которым они обращались за разъяснением, тоже ничего не могли ответить, они и сами удивлялись непонятному распоряжению.

А над Бердой и над всем Оренбургским краем нависало темное небо в крупных весенних звездах. Вся природа была скована сном. Спали Пугачев, Рейнсдорп, Хлопуша, Фатьма, Падуров, Шванвич, даже спали горластые петухи, и только лишь совы с огненными глазами бодрствовали по лесным трущобам, да незамерзающий теплый ручеек журчал в овраге.

Впрочем, кроме стражи да пикетов при дорогах, не спали еще двое: Григорий Бородин и коллежский асессор Струков. Этот почтенный старичок, или, как

звали его в Берде, «чиновная ярыжка», какими-то темными путями первый пронюхал о несчастии под Татищевой крепостью. Как хищная лиса, он прокрался в землянку, где жили бежавшие с ним из Сызрани четверо дворовых людей помещика Хворова. Впрочем, теперь в землянке только трое, а четвертый — лакей, ловкий парень Васька, несколько дней тому назад по приказу «чиновной ярыжки» ускакал в Ставрополь к агенту французской разведки де Вальсу, бывшему управляющему псковской вотчиной графа Ягужинского. Васька повез тайное известие о том, что мятежники дважды штурмовали Яицкую крепость, дважды вели подкопы под крепостной вал, взорвали церковь, но никакого успеха не имели; и что сам Пугачев женился на простой казачке Яицкого городка, девке Устинье Кузнецовой.

— Теперича твой черед, Вахромеев, — потирая руки и покашливая, сказал «чиновная ярыжка», обращаясь к бритому барскому егерю с хитрыми глазами. — Бери-ка ты в дорогу всякого кусу: баранины, рыбы, пшена, да скачи немедля к де Вальсу. Пока ночь, сведешь себе двух лошадей, — башкирцы дрыхнут. Ну, парень, не мешкай, одевайся, одевайся живчиком!

Нора была вырыта в полугоре, земляные стены укреплены бревнами, еловыми ветвями; глинобитная небольшая печка еще не остыла, горела масляная «жировушка». Было мрачно, грязно, неуютно. Пока Вахромеев обувался, асессор, заглядывая чрез очки в бумагу, говорил ему:

— Запоминай!.. Толкуй де Вальсу: пугачевская толпа, численностью до десяти тысяч человек, вдрызг разбита под Татищевой крепостью. Численностью до десяти тысяч... Слышишь? Войсками руководствовал князь Голицын, ему помогал генерал Мансуров. Оба военачальника шествуют сюда на выручку Оренбурга. Прибежавший в Берду Пугачев завтра же должен убираться отсель, куда глаза глядят. Но бежать ему затруднительно, ибо он окружен верными правительственными войсками. Есть некая надежда, что его схватят атаманы и предадут властям. Имею сведения,

что Зарубин-Чика, рекомый «граф Чернышев», под Уфой побит подполковником Михельсоном. Слышишь? Подполковником Михельсоном... Тщусь сей слух проверить, — дай бог, чтоб сие было не ложно. С гонцом Вахромеевым ожидаю от вас, господин де Вальс, договоренного жалованья как мне, коллежскому асессору Струкову, так и моим четверым ребятам, вперед за два месяца, да на разную смазь нужным людишкам, — то есть всего не менее, как триста рублей серебром. Прошу сие исполнить неукоснительно. Впредь мы будем полезны, ибо события обещают быть зело любопытными.

Струков прочитал бумагу дважды, велел Вахромееву сказанное повторить на память.

— Ну ладно. Правильно. Соображенья у тебя достаточно. А в случае чего, эту бумажку подавись да сожри! Иначе так и так башку с тебя снимут, — и бунтовщики и военный разъезд какой-нибудь.

Вахромеев взял бумажку, скатал ее в трубочку, зашил в шапку.

— На обратном пути заедешь в Сызрань, к Ивану Иванычу, передашь вот эту цидулю. И деньги такожде возьмешь от него, сколь прошу.

— Ладно, — сказал Вахромеев, натягивая на плечи полушубок. — А где мне тебя, Нил Нилыч, искать прикажешь?

— А ты догадлив, — ответил чиновник, — вопросил правильно. Ежели меня здесь не дозришь, стукнись к попу Сидору, он скажет, в кою сторону ушел Пугачев. Другой человек — в Каргале, татарин Махмет Беков. Он такожде вестен будет. Да навряд ли мы далеко-то уйдем. Дней через восемь тебя в обрат ждать буду.

Вахромеев покряхтел, покрестился, сказал:

— Ну, прощевайте, Нил Нилыч. Прощевайте, братцы! — поклонился он чиновнику и двум сидевшим на нарах полусонным товарищам, нахлобучил шапку, заткнул нагайку за кушак и вышел.

Чиновник повалился на его еще не остывшее место — спать.

На другой день уже возвратился из своей поездки к де Вальсу Васька. Пока он ехал обратно, шифрованное сообщение де Вальса, согласно донесению «чиновной ярыжки» о событиях в Яицком городке, уже было вручено в Питере французскому послу, и вскоре секретной почтой эти сведения очутятся в Париже.

Польская и немецкая разведки тоже имели своих агентов в лице немногих, живших при пугачевской армии польских конфедератов. Все эти три тайных агентуры вели свое дело столь скрытно, что ни одна из них не подозревала о существовании других разведок в стане Пугачева.

Старик Струков действовал весьма умело. Он пил мало или вовсе не пил, но прикидывался пьяницей; сумел проникнуть в Военную коллегию, и вот уже больше месяца, войдя в доверие Шигаева, знал все, что в коллегии, а равным образом и в доме Пугачева происходит. Его в свое время подкупил де Вальс и направил в самую гущу народного движения.

Пока «чиновная ярыжка» вел переговоры с Вахромеевым, в избу Максима Шигаева постучали. Он не вдруг проснулся. Его разбудила хозяйка избы. Он встал, вздул свет в масляной лампе, накинул на плечи бухарский халат, впустил Григория Бородина.

— А, Гриша! — воскликнул удивленный Шигаев. — Да откуда это ты, живая душа? Ночь ведь...

— Ночь, Максим Григорьич, это верно, — каким-то загадочным, с придыханием, голосом сказал Бородин и запер дверь на крюк.

Шигаев жил, как монах, — один, в чистой половине, через сени от хозяев. Семейство оставил он в Яицком городке.

Волнуясь, Бородин поведал полковнику о поражении пугачевцев у крепости Татищевой.

— Ай, беда, беда!.. Ай, беда, беда! — всплескивая руками, причмокивая, крутил головой Шигаев; его вдруг охватило душевное смятенье, робость. Он опустился на скамью, положил локти на стол, стиснул ладонями голову и, закрыв глаза, сидел в молчании с минуту, затем спросил: — А сам-то где? Цел ли?

— А чего ему подеется... С нами прискакал...— Григорий Бородин был толстощекий, белобрысый, бритый детина лет тридцати. — Давай-ка по душам, Максим Григорьич... Чевой-то не вовсе по нраву мне... Как бы не тово, не этого... Ой, маху дадим, пропадем тогды!.. Всю кашу из нашей утробы повытрясут...

— Ну-у-у... Малодушнай!..

— Супротив генералов нам не выдюжить, Григорьич... У нас еще головы не с того боку затесаны.

— Выдюжим!.. Бивали мы и генералов. Вон Кар едва ноги уволок. Дело, Гриша, в людях да в пушках, а не в генералах.

Шигаев говорил вдумчиво, старался успокоить Бородина. Тот вел свою линию, под конец стал сердиться и собрался уходить. На прощанье Бородин тихо, чтоб никто не мог подслушать, сказал:

— Я лажу уехать в Оренбург. Может, возворочусь, а может, и там останусь. А вам, атаманы, советовал бы связать его. По всем видимостям, он не природный, а подставной.

— Будет тебе брякать-то! Он, батюшка, доподлинный!

— Ну, там доподлинный ли, нет ли, а головы наши все едино повалятся с плеч, как стреляные галки с тына.

Шигаев на эти слова Бородина как бы призадумался. Желая поглубже проверить мысли казака, он пристально посмотрел ему в лицо, сказал:

— Да я и сам подмечаю, что усердие к его службе стало кой у кого истребляться. Только знай, Гришуха, — твердо добавил он, — я клятву приносил — и нашему казацкому делу не изменник!.. Иди-ка, брат, домой.

Выпроводив незваного гостя, взволнованный Шигаев уже не ложился спать. Он умылся, расчесал надвое бороду, усердно помолился богу и вышел на улицу.

Ночь кончалась, звезды бледнели. В церковной сторожке горел огонек: должно быть, пономарь собирался звонить к заутрене. Вот замутнели огоньки и

в доме Пугачева. Полковник Шигаев с робостью в сердце направился туда.

В это время Григорий Бородин уже кончал ночные переговоры с хорунжим Трифоном Горловым, Осипом Бановым и калмыком Гибзаном. Он всячески запугивал их, рассказав о страшном поражении под Татищевой.

— Ныне добра нам ждать нечего, друзья-товарищи. Батюшке больше не оправиться. Может, мужики-то и сбегутся к нему, а пушек-то черт-ма, — они все Голицыну в руки попали. Советую вам, братейники, покамест не поздно, батюшку выдать, да и явиться с повинной в Оренбург. Тогда и всей мутне придет скончание, спокой увидим.

— Кто увидит, а кто и нет, — бросил хорунжий Горлов, покосился на Бородина и пошел прочь.

Долговязый Шигаев, ссутулясь более обычного, приблизился к Пугачеву на цыпочках, поклонился ему. «Батюшка» надевал валенки. Ненила с припухшими, заплаканными глазами суетливо накрывала на стол. Кошка, задрав хвост, ластилась к Пугачеву, мурлыкала свою бесконечную уветливую песенку. Горели две свечи. Лицо Емельяна Иваныча бледное, помятое, голова не причесана, давно не бритые щеки заросли седоватой щетинкой.

— Садись к столу, полковник, — отрывисто сказал Пугачев. — Дело наше дохлое под Татищевой. Овчинников там остался, а я вот за подкрепленьем сюда... Да уж какое тут подкрепленье!.. Так думаю, поскорей втикать нам отседов доведется, Максим Григорьич.

— Надо оглядеться, Петр Федорыч батюшка, да подумать покрепче, — унылым голосом молвил Шигаев, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде,

— А бились мы, друг мой, не надо лучше! — вскричал Пугачев, расчесывая гребнем волосы и бороду. — Знатно бились! Кабы силенки поболе нам, а первым делом — оруженья, — стоптал бы я этого Рукавицына-Голицына вместях с Мансуровым да еще

с третьим каким-то генералишком... Надо бы мне отсюдов хоть бы народу-то поболе втапоры взять... Обмахнулись мы!.. Так вот что, Максим Григорьич, бери-ка вот эту трубку да езжай на Высокую гору, пошукай с вершины-то, не идет ли из Черноречья наш Овчинников с воинством моим, да не гонятся ли за ним генералы?.. Предосторога не вредит. А я покамест атаманов скличу, а как вернешься, станем совет держать, в кою сторону подаваться нам теперь... Да, Максим Григорьич, проторчали мы, как кулики в болоте, коло Оренбурга-то, раздуй его горой... — Пугачев засопел, нахмурился и недружелюбно сказал Шигаеву: — А ведь мотри, верно я при изначале дела толковал: под Казань-де идти треба, а не под Оренбург... А вот ты поупорствовал тогда и меня-то с Падуровым сшиб с толков... Эхма!..

Шигаев взял подзорную трубу и, глядя в землю, холодно ответил:

— Да ведь... Кабы знато да ведано, — и не спеша, нога за ногу, вышел. Горько было на его душе.

...Серый конь под ним бежит ходко. С неба рассвет плывет.

— Стой, Шигаев! — слышит он сзади и останавливает коня.

Подъехали начальник артиллерии Федор Чумаков — бурая борода лопатой, с ним Василий Беспрозванный, бывший запорожец. А как взобрались все трое на гору да стали во все стороны в трубу глядеть, подкатили на рысях Григорий Бородин — в дорогом чекмене, при дорогом оружии, с ним яицкий казак Морунов. У Бородина в поводу запасной конь, нагруженный туго набитыми кожаными торбами.

— Чего рано дозорите? Еще не рассвенуло, — каким-то фальшивым голосом выкрикнул толстощекий Бородин, посматривая выпученными глазами в сторону окутанного предутренней мглой Оренбурга. А Шигаеву, вплотную приблизясь к нему, чуть слышно сказал: — Я, Григорьич, чуешь, многим балакал, да и калмыков повестил... Чаю, ты, как вернешься, застанешь его уже связанным. А я с Моруновым, понимаешь, спроворил ехать в Оренбург и оповестить там.

Помчим вместях с нами, Максим Григорьич... Пожалей голову свою...

Шигаев подумал, помигал часто, сказал чрез вздох:

— Нет уж, Гришуха... Управь бог твой путь! Поезжай, коли совесть потерял. У тебя там дед — бывший атаман, да дядя Мартемьян Бородин — главный старшина яицкий, они за тебя заступят. А я никого там не имею, да и пред батюшкой изменником не хочу быть. А ты, видать, — в дядю, вам с ним окаянствовать-то не впервой!..

— Считал я тебя, Шигаев, за умного, а ты дурной!.. — оскалив в притворной улыбке зубы, бросил Бородин. — Ведь я шутки ради тебе брякаю, а ты думал — вправду. Заспокойся, друг!.. Я тоже в изменниках царю-батюшке не хаживал...

Все стали спускаться с горы. Бородин с опаской посматривал на незнакомого ему запорожца, говорил всем вслух:

— Что вы, братцы казаки, знаете? Ведь сотник Михайло Логинов изменил батюшке-то, в Оренбург ушел... Вот змей какой! Да и опричь него которые изменники бегут. Вы правьтесь в Берду, а я с Моруновым поеду по речке Сакмаре да пошукаю, не попадутся ли беглецы какие. Насмерть рубить их стану!.. И не крякну! — Глаза Бородина виляли, лукавили.

Вдвоем с Моруновым Бородин тронулся на Сакмару. А Шигаев с Чумаковым и запорожцем, переговариваясь о делах, шагом двигались обратно к Берде.

И уже, в разговорах, спустились с горы, вдруг видят: во весь мах скачут от Берды десять казаков — у кого винтовка, у кого пика.

— Тьфу, чертяка тебя забери! — крикнул с коня ведущий казаков хорунжий Трофим Горлов. — Государь думал, что и ты, Шигаев, с Бородиным ушел. Не видал ли ты его? Ведь он и меня, дьявол-изменник, подбивал...

— Я только что встренулся с ним, — сказал взволнованный Шигаев, мазнув пальцами по бороде. — Он брякал нам, что поедет с Моруновым ловить по Сакмаре беглых.

— Ха!.. Ловить! — зло захохотал Горлов. — Он-то словит. Ведь он сам бежал. Ведь государь, сведав о том, едва старика Витошнова не повесил, что за Гришкой не досматривал. Казаки насилу упросили батюшку помиловать старого человека. Ах, змей! Ах, змей тот Гришка!.. В дя-ядюшку!

— Ну, коли Бородин бежал, его уж не догонишь. Он, может, теперь близко Оренбурга, — сказал Чумаков.

— Ну, черт с ним, коли ушел! — И хорунжий Горлов обругался матерно. — За всеми ведь не угоняешься...

...И Шигаев снова у батюшки. Пугачев был хмур, сердит. Как сдвинул брови, так, кажется, целую неделю их и не распрямлял. Руки назад, быстро вышагивал взад-вперед по золотому зальцу. Уж не последние ли часы доводится быть ему в своем обжитом «дворце» с гербами, зеркалами от потолка до полу, с портретом своего «любимого детища»?

— Ничего с горы не дозрили, батюшка Петр Федорыч, — сказал, кланяясь, Шигаев. — С Чумаковым Федей смотрели мы...

— А ты Бородина Гришку не видал? — крикливо спросил Пугачев.

— Видал, батюшка. Он нам сказал, что едет ловить беглых.

— Да ведь он, собака, сбежал от нас!.. Измену сотворил мне!.. Я ведь за ним погоню выслал...

— Погоня, ваше величество, назад вернулась... Уж теперь не словить его...

— Ну, милостив его бог! А я тотчас повесил бы его. Ведь ты не ведаешь, что он наделал: ведь он, наглец, зачал было подговаривать многих, чтобы меня связали да отвезли в Оренбург! Только спасибо Горлову-казаку, он мне донес об этом. Вот, брат!.. А уж я ли этому бесу Гришухе не мирволил? В товарищи, нечестивец, втерся ко мне. Ведь он крест целовал, клялся во всем добра мне хотеть. Ах, изменник, ах, клятвопреступник! Ведь он и в Татищевой-то, как бой шел, все больше по перелескам пырхал, берег себя. Ну, да отольются ему мои слезы-воздыхания. — Пугачев

круто повернулся к смирно стоявшему Шигаеву, взмахнул рукой и приказал: — Ну иди, полковник, снаряжай армию в поход. Чтоб сегодня же выступить!

На улицах, распоряжением полковника Творогова, некоторые казачьи части уже начали грузить воза. Среди подвод расхаживал и Творогов. К нему подошел Хлопуша, спросил:

— Куда это, Иван Александрыч?

— А тебе что за нужда, — нахмурился Творогов. — Это казаки, что приезжали из своих мест за хлебом, а теперь в обрат собрались, вот и я жену свою отправляю с ними. А ты, Хлопуша, знал бы свое дело да лежал бы на своем месте. Чего поднялся этакую рань?..

Рассвет быстро шел с востока. Румяная заря вставала. Пономарь ударил в колокол к заутрене. По слободе заскрипели калитки, бабы с ведрами пошли за водой. К Пугачеву, один по одному, собирались военачальники: Чумаков, Горшков, Падуров, Витошнов, Творогов. Последним пришел покашливающий Шигаев.

...В это время Григорий Бородин уже бражничал в Оренбурге у своего дяди Мартемьяна. Безбородое лицо Григория заплакано, дядя шпыняет его изрядно, без пощады.

— Осрамил ты род наш бородинский не надо хуже, — брюзжит он. — Как я поручусь, что его высокопревосходительство, генерал Рейнсдорп, пойдет на милость и клятвопреступничество твое простит?..

— Да пусть он меня накажет по-отечески, уж я за этим не гонюсь, — кривит рот Григорий, — только бы скончание живота мне не положил... Вот чего... Эх, дядя!.. Добро было бы по Берде ударить сейчас, без промедления. Башкой поручусь — всех бы злодеев на аркане приволокли сюда. Ты, дядя, не медли доложить о сем господину губернатору...

— Пойду доложусь, — согласился Мартемьян и, подбирая большое брюхо, начал одеваться в парадную форму. — Только напредки ведаю, что высокопревосходительство на это ни в жисть не отважится, чтоб

приступ сделать. Добрых коней у нас нет, Гришуха, сеченым прутом, замест овса да сена, лошадей-то кормим, они, бедные, едва ноги волокут...

— Ну вот, атаманы, — проговорил Пугачев. — Я без утайки поведал вам, как было. Теперь рассудите да присоветуйте, куды двинуться нам, чтобы последней порухи делу нашему не доспелось?..

— Твоя воля, батюшка, а мы не ведаем, — помедля, уклончиво ответили пугачевские соратники.

Дверь на кухонную лестницу вниз была чуть приоткрыта. Прячась за дверью и прильнув к щели ухом, Ненила прислушивалась к разговорам, из ее глаз покапывали слезы.

— Нам, атаманы, способней всего было бы пробираться степью через Переволоцкую крепость да прямо в Яицкий городок. Поусердствовав, Яицкую крепость мы, с божьей помощью, одолели бы да укрепились бы в ней. Ась?

— Куды вы, туды и мы, — отвечали присутствовавшие. — Власть ваша!.. Приказывайте, батюшка...

«Власть, власть... Что я прикажу? — злобился Пугачев, чувствуя, что его власти кладется некий предел, его же не прейдеши. — Повластвовал! — Его душе было муторно. Он искал среди своих поддержки и, казалось ему, не находил ее. — Гришка, злодей, связать меня хотел, народ подбивал... Да и свяжут, свяжут!» — Он, впрочем сказать, принял меры к охране своей жизни. В передней и на крыльце топчутся две дюжины богатырей, среди них верный Идорка, увешанный кривыми ножами. А возле «батюшки» — три изготовленных пистолета да две сабли.

Он испытующе, не распрямляя сдвинутых бровей, водит сумным взором от лица к лицу. Творогов, посматривая чрез окно на улицу, где грузят добром его воз, говорит:

— А не поехать ли нам, ваше величество, под Уфу, ко графу Чернышеву? А если не удастся, там под боком Башкирия, прокорм там сыщется и укрыться есть где.

Пугачев не ответил ему и, глядя в глаза Шигаеву, сказал:

— Не лучше ли нам убраться на Яик, на реку, ведь там близко Гурьев-городок, он весьма крепок, и хлеба там много оставлено...

— А что ж, — ответил Шигаев. — Речи ваши ладные, батюшка Петр Федорыч. Чрез Сорочинскую крепость можно на Яик-то пройти. Только вот путик-то неведом нам.

Послали за Хлопушей. Пугачев спросил его:

— Ты шатался много по степям, так не ведома ли тебе дорога Общим Сыртом, чтобы на Яик пробраться нам?

— Нет, не доводилось, — с неприязнью в голосе ответил Хлопуша, задетый за живое тем, что его раньше не позвали на совещание: ведь он как-никак полковник!

— Ваше величество, — поднялся Падуров. — У меня имеется хутор на Общем Сырту. Вчерась оттуда прибыл казак Репин, он сказывал, что дорога там есть. Вот его и заставим вожатым быть.

Решено было: всем полковникам готовить свои полки к походу. Брать в поход только доброконных, а остальные и все пешие пускай идут, кто куда хочет.

— Ты, Максим Григорьич, — приказал Пугачев полковнику Шигаеву, — вино и все деньги раздай людям по усмотрению. В казне свыше четырех тысяч, да, кажись, больше медяками все, — куда их нам, их на десять возов не уложишь... А ты, Тимофей Иваныч, — обратился он к Падурову, — расставь скорей в сторону Оренбурга наособицу караулы из самых верных людей, чтоб не пропускать туда ни единого беглеца, а кто вознамерится бежать, того колоть.

После несчастной битвы под Татищевой в душе Падурова произошло мучительное раздвоение. Всем существом своим он чувствовал, что судьба его навсегда связана с судьбой обожаемого им Емельяна Пугачева. Но он уже не рад был этом странному, овладевшему им чувству. И как-никак у него в Оренбурге жена и сын... А главное, он предвидел все усиливающийся напор правительственных войск на сла-

бую во многих отношениях мятежную армию, и ему подчас думалось, что Пугачеву гулять недолго. Так не лучше ли загодя бросить его, отрясти прах от ног своих, посыпать голову пеплом?

«Нет, не могу! Ну, разрази меня гром небесный, не могу!.. Офицер Горбатов сам пришел к «батюшке», я тоже передался без принуждения... Так можно ли бросить человека в такое время, можно ли изменять своей клятве? Не по-казацки это, не по-честному!» И Падуров твердо решил остаться при Пугачеве до конца. И как только решил он это, как только прекратились его колебания, на душе у него стало, как никогда раньше, светло и спокойно, точно довелось ему выиграть сражение, затемнившее тяжкую неудачу под Татищевой.

Впоследствии в секретной комиссии он дал любопытные показания. Вот его подлинные слова:

«...помышлял было от него отстать. Но сего исполнить — не знаю, по какой причине — не в состоянии был, ибо не знаю, как будто что удерживало меня и наводило страх отстать от него. Словом сказать, привязан я был к нему так, как бы невидимою силою или, просто сказать, волшебством. Но отчего сие со мною последовало, я не знаю».

В этих своих показаниях Падуров, без сомнения, несколько кривил душой. Он великолепно знал, что «волшебство», привязавшее его к Емельяну Пугачеву, есть высокое чувство его преклонения пред личностью вождя, принявшего на свои плечи непомерный груз быть защитником угнетенных. Да здравствует вовеки Емельян Иваныч.

Встало весеннее солнце. Это было 23 марта. В слободе столпотворение. Сроду не бывало здесь такой суеты, такого шума. Взад-вперед рыскают казаки, тянут за собой в поводу лошадей, седлают их. По дворам, огородам, переулкам, улицам запрягают подводы, валят, кто на сани, кто на телеги, всяк свое добро. Перебранка: не туда положил, не свое кладешь, сволочь! Возле Военной коллегии густая — не

пробиться — толпа крестьян: что случилось, куда им деваться, где надежа-государь? Еще никто не знал толком о поражении под Татищевой. В Военной коллегии Максим Горшков со штатом писарей, среди которых «чиновная ярыжка», строчат последние бумаги. Поп Иван печальной тенью проходит вдоль шумной улицы.

Красавица Стеша в тугой шубейке с белым воротником и в шелковой, нежно-голубого цвета, с фасоном повязанной шали сидит на своем возу, глаз не спускает с заветных окошечек государева «дворца». «Где ты, свет мой, покажись...» — шепчут ее губы, и вся она — томная, сияющая красотой своей, свежая, статная, в неизбывной тоске и горести. «Прощай, батюшка, прощай!»

А там, возле склада, выкачены с вином бочки, упивается народ. Там драка, свалка, шум. Около своей квартиры, где в сарае хранилась под караулом армейская казна, Шигаев раздает людям медяки. Без счету, без весу, пригоршнями сыплет он деньги в шапки подходящему волной народу: крестьянам, башкирцам, казакам.

— Чего ты спозаранку расселась, быдто барыня? — сказал сердито своей жене подъехавший Творогов. — Иди пока в избу, а то, мотри, замерзнешь в козловых-то сапогах, форсунья!..

— А ты куда, Иван Лександрыч? — хмурясь от солнца, спросила Стеша.

— Надо посты проверить, а то живо Голицыну в хайло угодим.

— Ой, скорей вертайся да уж не то поедем, что ли!

Творогов усмехнулся в бороду, стегнул коня и ускакал.

Стеша видит: Ненила с Ермилкой да с Фофановым вытаскивают из подызбицы государева жилища всякое имущество, накладывают на телеги. Стеша соскочила с возу и стремглав по крыльцу во «дворец». Пугачев, нагнувшись над столом, свертывал в трубку знамя. Стеша стремительно заперла дверь в кухню, закрючила входную дверь, сбросила шу-

бейку с шалью и кинулась на грудь Пугачеву. Прерывистые вздохи, всхлипы, последнее — навек — прощай.

— Родненький ты мой! И пошто ты на Устинье оженился-то!

Поцелуи длились и переставали, переставали и, возникнув, как блеск огня, снова обжигали душу.

И вот — разлука!

Стеша обвила его шею и, заглядывая ему в орлиные глаза, шептала сквозь всхлипы:

— Тепереча до гробовой доски, свет мой! Ты в одну сторонушку, а я, горькая-разгорькая, в другую. Живи, царствуй, да не дюже атаманам-то верь своим...

— Связать меня хотел дьявол Гришка Бородин, паскудник!.. Заговор супротив помазанника вел...

— Берегись, батюшка, свет мой!.. А в случае — к нам беги... У сердца своего тебя укрою. Мужа кину, с тобой, зернышко мое, в Узени уйдем либо на Иргиз, в леса... — Говоря так, она заливалась неудержимыми слезами и уже не видела из-за слез лица светлого царя, только ощущала его своими руками, своей грудью...

Пугачев снял с руки алмазное кольцо, надел его на палец Стеши, сказал:

— Береги. Такого колечка у самой государыни Устиньи нетути...

По лестнице из кухни заскрипели шаги. И последние слова Стеши были:

— Вот бы, вот бы царево детище мне от тебя родить, государева сынка.

— Родишь, кундюбочка моя! Как свят бог, родишь! — прощаясь с ней, шепчет Пугачев.

5

Толпа у бочек с вином все еще бушевала. Многие перепились, свалились. Ненужная, несуразная в эту пору песня распластала крылья над опечаленной Бердской слободой. Шум, гвалт, дикие крики.

— Чего это они, безумцы? Рейнсдорпу сигналы, что ли, подают? — сказал Пугачев и велел выбить из бочек днища, а людям готовиться немедля к походу.

И вот полилось вино по улицам Берды, воздух замутился пьяным духом. К Емельяну Иванычу пришел Хлопуша.

— Батюшка, дозвольте проводить жену да сына в Сакмару? — попросил он, кланяясь в пояс.

— Ну, дак иди, только не задерживайся больно-то...

— Живчиком, царь-государь, живчиком!

— Деньги-то есть ли у тебя?

— Есть, батюшка.

— На еще, сгодятся. — И Пугачев подал ему два червонца. Он привязался к Хлопуше-Соколову, он любил его.

Емельяну Иванычу опасно было дожидаться, пока соберется вся армия, он решил взять с собой лишь десять пушек и две тысячи отборного войска вместе с яицкими казаками.

Перед маршем он еще раз обратился к атаманам:

— А как же с крестьянством быть? Ведь их в пять тысяч не уложишь...

— Да ведь мы усоветовались, батюшка, чтобы излишек крестьянства по жилам распустить, — сказал Шигаев, — чтобы всяк в свою сторону правился.

— Негоже так-то, Максим Григорьич. Ой, негоже что-то! — возразил Пугачев. — Для крестьянства так-то горазд обидно покажется.

Он велел собрать крестьян и появился на коне среди огромной их толпы.

— Детушки, верное мое крестьянство! — приветливо и громко возгласил он. — Вам поди ведомо, что царицыны генералишки одолели нас под крепостью Татищевой. А бились мы, особливо крестьянство, да и казачество, допрямо скажу, бились храбро. А ныне мы рассудили, что приспело время нам отсюдов уходить. А то припрутся генералишки, да Рейнсдорп из укрытия выйдет... Ну, так мы опасаемся, как бы нам не очутиться вместях с народом промеж двух костров.

— Так, батюшка, государь великий, правильны твои речи! — закричали из толпы. — Конешно, уходить отсель нужно... А вот мы-то как?

— Нудить вас, детушки, за собой идти мне, государю, негоже... А пошто так? Да пото, что в дороге сражение с генеральскими войсками доведется иметь. И вас, безоружных, солдаты порубят да постреляют насмерть. И вот вам мой императорский совет: кто похощет, езжай в обрат в свои домы, а ежели встренутся где в лесах солдатские отряды, бей их, а ихние обозы — грабь! А кои у вас доброконные, и ежели у них есть хотенье от моей армии не отлучаться, езжай за нами следом. Ну только в таком разе за жизни ваши ответы на свою душу не беру. И вдругорядь говорю вам: в пути армии моей многая опасность предлежит.

— Надежа-государь! — раздались голоса. — А коли мы проведаем, что ты, свет наш, где да нибудь обосновался, живой рукой оглобли повернем к тебе!

— Спасибо, детушки! Благодарствую! Да и по жительствам подымайте народ, чтобы ко мне скоплялся. А то куда я без народа? Сила моя в вас!

Пугачев помедлил, затем снял шапку, поклонился народу, гулко сказал:

— Ну, а покамест прощай, верное мое крестьянство! Прости мне все прегрешенья пред тобой!..

— Что ты, батюшка, что ты! — взорвалась криками толпа. — Нас прости бога для, государь великой!..

Пугачев заметил, что многие крестьяне утирали кулаками слезы. Да и у него самого дрожало в груди.

Не мешкая, окруженный ближними, он впереди своей армии выехал из Берды в Переволоцкую крепость.

В сторону Оренбурга посмотрел он с яростью.

Взбаламученные крестьяне по отъезде Пугачева не расходились: вопрос о своей судьбе им предстояло решать немедля. Положение их было действительно

отчаянное: дороги рухнули, из Берды нет хода ни на санях, ни на телегах. Начались горячие споры, советы, пререкания. На душе у людей сплошное горе, переходящее в гневный, но бессильный ропот на судьбу, на бога, на то, что вот они со многих отдаленных местностей собрались защищать «батюшку», ожидали скорой победы над врагом, а замест того под Татищевой беда стряслась! Удар этот упал на их головы совершенно неожиданно, как небесный гром зимой. Крестьяне соболезнующе говорили:

— Уж ежели нам, мужикам, тяжелехонько, так батюшке-то каково?

— Прямо с лица он изошел! Видали, братцы? Обыденком щеки-то ввалились.

— Нам горе, а ему вдвое!..

И снова споры, рассужденья. Конники склонялись к тому, чтобы, побросав сани и телеги, спешить верхом за «батюшкой» либо податься в свою сторону. Безлошадникам же выбраться было тяжеленько: поди-ка пошагай сотни верст по рухнувшим дорогам. Эхма-а-а!..

И вот среди шумной, озлобленной толпы появился в накинутой на плечи замызганной овчинной шубе, в чиновничьей шляпенке с бляхой тертый калач «чиновная ярыжка». Прислушался, принюхался и стал крестьян застращивать, стал давать всякие советы.

— Глупые вы, разглупые мужики! — обидно подхехекивая и прихлюпывая утиным носом, гнусил он. — Ежели за рекомым батюшкой — хе-хе! — ударитесь, тогда войска ее императорского величества государыни Екатерины из вас кишки выпустят. А ежели домой тронетесь, тогда воинские отряды его высокопревосходительства губернатора Рейнсдорпа вас настигнут, в Оренбург отведут, там учнут вас, сиволапых, пытать да вешать... Так и так пропадать вам!..

— Так чего же делать-то? — вопрошали сбитые с толку, вконец запуганные и еще более озлобившиеся крестьяне.

— А вот вам мой совет, мужики неразумные, — прошамкал беззубый стрюцкий, облизнулся и поджал бритые изморщенные губы. Затем, подбоченясь, каким-то начальническим тоном произнес: — Немедля ступайте-ка вы всем миром в Оренбург, ко дворцу господина губернатора, да со слезами и стенаниями покайтеся в великих ваших прегрешениях пред государыней императрицей...

— Мила-а-й! — закричали крестьяне, в их глазах вдруг вспыхнуло гневное сверкание. — А ты сам-то, сам-то? Ведь мы тебя в канцелярии при батюшке видали сколько разов. А ты эвона какие слова зашибаешь!.. Да ты кто, этак твою так? За батюшку ты али за губернатора?

— А уж это не ваше собачье дело, — окрысился, забрызгался слюной «чиновная ярыжка». — Мне вас жаль, неразумные вы мужики! Вас злые люди в обман ввели и меня такожде... Я думал — царь он, батюшка-то ваш, а он обманщик, он беглый из казанского острога казак Пугачев Емелька, вот он кто!..

Тут разом налетели на него крестьяне: — Бей ярыжку, бей стрюцкого! — сшибли с ног, стали колошматить его, топтать ногами. Крестьяне — как взбесились: за время сборов и душевного смятения в них столько накопилось ярости, что они уже не помнили себя, они били ярыжку беспощадно, как насмерть бьют зачумевшую собаку.

Трусливый Рейнсдорп не предпринимал никаких действий к занятию опустевшей Берды. И лишь под вечер, когда армия Пугачева со всем обозом скрылась из поля зрения оренбургских жителей, усеявших вал крепости, губернатор решил послать в Берду воинский отряд под начальством офицера Зубова. Отряд, окруженный толпой голодных оренбуржцев, двигался степью. Зубов занял слободу без всякого сопротивления, захватил около пятидесяти, правда неважных, пушек с боевыми припасами и семнадцать бочек медной монеты (1700 р.). А пришедшие с ним жители расхищали остатки имущества пугачевцев и

все, что попадало под руку, главным же образом накидывались на продукты. И тут, конечно, не обошлось без ссор, без драк: изголодавшиеся люди раздражительны, жестоки.

К офицеру Зубову подвели схваченного, одетого в казацкий чекмень Шванвича. Под мышкой у молодого человека французская книга, в руке свежевырезанный хлыстик.

— Я офицер Шванвич — пленник Пугачева, — просто и без особого волнения сказал он.

— А вы знали, что то был Пугачев? И ежели знали, то почему же не предприняли никаких шагов к побегу?

— Считал это бесполезным и опасным для своей жизни.

— Вы арестованы! Вы изменник! — запальчиво выкрикнул Зубов.

— Вопрос о том, кто я — изменник или не изменник, надеюсь, будет выясняться не здесь и не вами, — отпарировал грубый наскок пугачевский есаул Шванвич.

Оставленных пугачевцами припасов было в Берде немалое количество. В Оренбург потянулись обозы со съестным. Цены в городе сразу понизились. Пуд ржаной муки, стоивший за последнее время тринадцать рублей, 24 марта продавался за пятьдесят копеек.

Таким образом, всякая угроза Оренбургу миновала.

24 марта к Рейнсдорпу прискакал от князя Голицына гонец с известием о победе под Татищевой.

А вслед за явившимся гонцом привезли в город скованного по рукам и ногам Хлопушу.

Когда с женой и сыном он прибыл в Каргалу, то спросил пугачевского ставленника, каргалинского атамана Мусу Улеева:

— Собираешься ли ты, батюшка, за государем-то? А я вот в Сакмару бабу-то с ребенчишком везу.

— Дело наше больно кудой, брат Хлопуша, — ответил Улеев. — Ты собирайся, куда знаешь, а я

своего полка не пустил ни одна татарина. Все по домам сидят. Дело наше — яман... Сапсем дрянь!..

Хлопуша запечалился, мигал белесыми глазами, отяжелевшей, словно чужой, рукой оправлял он тряпицу на носу.

— А наш татарка Фатьма у вас работат? — спросил Улеев, скосив на Хлопушу глаза.

— У нас, — ответил Хлопуша. — Саблей рубится славно, казаку не уступит!

— Яман ее дело!.. Сапсем тьфу! Сапсем кудой... Закон рушит... Ая-яй, какой дрянь баба!.. Ая-яй!

В это время послышался за окнами женский визг и крики. Это голосили на улице жена Хлопуши с сыном. Их вязал с артелью татар тоже ставленник Пугачева, каргалинский сотник Абрешит. Хлопуша выбежал на шум и также был схвачен, отведен в кузню и закован.

Новые кандалы показались ему много тяжелее старых.

Страшная судьба этого человека завершилась внезапно... Судьба оглушила Хлопушу, как рыбаки глушат рыбу подо льдом. Сквозь густую тучу его жизни вдруг прорвалось яркое солнце, обманно засверкала недолгая свобода, и снова туча сомкнула свою хмурь, — впереди стена, мрак, беспощадный путь в насильственную смерть. Хлопуша — закаленный человек, но и он сник. И одно лишь желание в нем было — желание вечного покоя.

Оренбург украсился флагами. В соборе служили благодарственный молебен. Рейнсдорп писал Голицыну на немецком языке:

«Победа, которую ваше сиятельство одержали над мятежниками, возвратила жизнь обитателям Оренбурга. Блокированный в течение шести месяцев город этот обречен был на ужасный голод, а теперь оглашается радостью, и жители шлют пожелания благоденствия своему знаменитому избавителю».

В конце послания Рейнсдорп не постеснялся приписать и себе немалые заслуги: «Пугачев, чрез высланную от меня команду, будучи приведен в крайнее замешательство, бежал чрез Общий Сырт, по-видимому, на Переволоцкую крепость». Впрочем, наглое вранье губернатора послужило ему на пользу. Впоследствии он был хотя и не особенно щедро, но все же награжден Екатериной. Ему пожалованы знаки ордена Александра Невского и пятнадцать тысяч рублей.

Жители Оренбурга были на два года освобождены от подушного сбора.

Так закончилась знаменитая осада пугачевцами Оренбурга.

СОДЕРЖАНИЕ

Емельян Пугачев

Книга вторая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Шишков
Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 7

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *С. Розова*
Корректоры *М. Муромцева*
и *А. Стукова*

Сдано в набор 20/X 1960 г.
Подписано к печати 11/II 1961 г.
Бум. 84×108[1]/[32] = 26,5 печ. л. 43,46 усл.
печ. л. 41,11 уч.-изд. л. Тираж 180 000.
Заказ № 1880. Цена 1 р. 37 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.